МИЛОШ
ЦРНЯНСКИЙ

Пере-селение

I

Москва

«Художественная литература»

1978



Милош Црнянский

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

роман

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

перевод с сербскохорватского
И. ДОРБЫ

Москва
«Художественная литература»
1978

И (Югосл)
Ц 82

Предисловие
Н. ЯКОВЛЕВОЙ

Примечания
В. ЗЕЛЕНИНА

Оформление художника
В. САЛЬНИКОВА

Ц $\frac{70304-422}{028(01)-78}$ 166-78

М. ЦРНЯНСКИЙ И ЕГО РОМАН «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»

Имя Милоша Црнянского вошло в литературу Югославии сразу после первой мировой войны. За долгую писательскую жизнь, хотя в ней были годы и даже десятилетия молчания, М. Црнянский создал немало книг — романов, стихотворных циклов, драм, эссе, воспоминаний и путевых очерков. И среди них такое значительное произведение, как роман «Переселение». Однако обстоятельства творческой и гражданской судьбы М. Црнянского сложились таким образом, что его книги не сразу стали в ряд произведений писателей Югославии, получивших широкое признание и в своей стране, и за ее пределами.

М. Црнянский родился в 1893 году в городе Илинче, в Воеводине. Он учился в университетах Вены, затем Белграда, Берлина, Парижа, Лондона. Но еще до того, как он получил диплом историка в Белграде и второй диплом по специальности «международные отношения» в Лондоне, его жизнь была пересечена войной. Начало первой мировой войны застало будущего писателя в Хорватии, входившей тогда, как и Воеводина, в Австро-Венгрию, и он был призван в австрийскую армию.

Для славянских народов Австро-Венгрии, принужденных воевать на стороне своего угнетателя, империалистическая война предстала такой чудовищной бессмыслицей, которую невозможно было закамуфлировать никакой патриотической фразеологией. Первые произведения Црнянского — поэтическая комедия «Маски» (1918), стихотворения «Лирика Итаки» (1919), поэма «Стражилово» (1921), прозаические произведения «Рассказы о чести» (1920), «Записки о Чарноевиче» (1921) — связаны с опытом, вынесенным из войны. Война определила и темы, и драматическую тональность этих произведений, написанных в духе экспрессионизма. Они полны гнева и боли за исковерканную жизнь молодого поколения, отчаянной горечи, окрасившей все представления автора об окружающем мире.

Сохранилась ироническая аттестация, которую дал себе начинающий писатель в 1918 году: «Милош Црнянский молод. Родом из Воеводины. Жил в селах и городах, на море и в лесах, как и все прочие. Листал пыльные книги, целовал женщин, бывал на кладбищах... В детстве ходил с деревянной саблей и уже на двенадцатом году создал плагиат известной песни «Ой, девица, ой, вот так, ой, Босфор, ой!». Тогда он был националистом. После читал «Пражскую стражу» и со слезами смотрел на прекрасное лицо Светозара Марковича (сербский революционер-демократ.— *Н. Я.).* Тогда он был интернационалистом. Потом познал войну и желание умереть. Теперь он счастлив. Ему все равно, похвалят его или посмеются над ним. Он не верит в бога — только в будущее. Все беды наши, всю гордость, весь позор наш — все он знает. И спрашивают ли его о смерти или любви, о Загребе или народном единстве, о пессимизме или оптимизме, о традиционной литературе или футуризме, он от всего этого отмахивается презрительно, отчаянно и дружески.

Кто его породил? Мештровичевская мать из камня.

Кто его отец? Ох, он сын Дон-Кихота!»

В этом бегло очерченном автопортрете за свойственной молодости полемичностью и отчасти позой проглядывают черты времени, своеобразно преломившиеся в мировосприятии Милоша Црнянского. В 1918 году, когда это было написано, идея национального объединения, долгое время вдохновлявшая югославских писателей, перестала быть актуальной, хотя отзвуки ее еще были слышны в потоке литературы. Столкновение с действительностью первой мировой войны и последовавшие за ней перемены в положении югославянских народов заставляли по-иному смотреть и на действительность, и на художественное творчество. В литературах южных славян резко проявилось стремление отбросить связывающие с прошлым традиции, преодолеть «национальную ограниченность», сблизить национальное и интернациональное в художественной практике. Конкретное выражение этих стремлений часто было весьма различным. Милош Црнянский не случайно возводит свою родословную к гранитным фигурам Ивана Мештровича, югославского скульптора, гениально воплотившего женские типы народов Югославии, и к мечтателю Дон-Кихоту. Сведя вместе эти несхожие художественные образы, Црнянский дал концентрированное выражение своего взгляда на мир.

Первая мировая война и вызванный ею распад Австро-Венгрии породили необъятную литературу самых различных жанров и идейной направленности — от Гашека, Запотоцкого, Пуймановой, Крлежи, Вайскопфа до Музиля и Кафки. В про-

изведениях, создававшихся на всех языках бывшей лоскутной империи, по-разному толковались причины войны и распада монархии, высказывались различные представления о будущем освободившихся и получивших свою государственность народов. В те годы лишь немногие писатели — в Югославии это были М. Крлежа и А. Цесарец — сумели различить в событиях, потрясших мир, опрокинувших устоявшиеся представления о жизни, банкротство исторически изжившего себя общественного строя и неизбежность социальных перемен, путь к которым указала Октябрьская революция. Для многих других писателей империалистическая война и крах Австро-Венгрии стали мрачным символом абсурдной действительности, источником построения модели мира, основанной на перевернутых, алогичных зависимостях и связях. Писателями этого круга — к их числу относился и Црнянский — происходящее воспринималось как космический хаос, в котором безнадежно терялся не только отдельный человек, но и целые народы, а выход из сложившейся ситуации представлялся чрезвычайно туманно. Настроение подъема, вызванное Октябрьской революцией, которое на некоторое время захватило в Югославии людей самых различных убеждений и судеб, у Црнянского было связано не с осознанием революции как социального и политического переворота, а с его постоянным интересом к великой славянской стране, и скоро прошло.

Действительность созданного после раздела Австро-Венгрии самостоятельного государства южных славян — Королевства сербов, хорватов и словенцев — не оправдала надежд, и это еще больше усилило пессимизм писателя, его разочарование, его неверие в плодотворность активного социального действия.

Црнянский писал позже о своих настроениях и понимании действительности в ту пору: «Австрия, война, политические столкновения, революция представлялись мне не борьбой народов и наций, но борьбой двух начал: добра и зла. Борьбой, в которой насильник торжествует, слабый унижен». То, что Црнянский, писатель, которому, безусловно, не были безразличны беды и страдания народа, не понял и не принял революционного пути истории, имело трагические последствия для всей его писательской жизни. Ограниченность взглядов писателя и, прежде всего, представление о «неуправляемом», как он считал, ходе истории, проявившееся уже в его раннем творчестве, впоследствии, в тридцатые годы,— период резкой поляризации сил в культуре,— увели его в лагерь реакции, а еще позже, когда Югославия была оккупирована фашистской Гер-

манией, в эмиграцию, надолго выключившую его из литературы родной страны.

Годы изгнаннической жизни в Лондоне, где М. Црнянский, перед войной сотрудник югославского посольства в Риме, оказался вместе с королевским правительством Югославии, стали для него трудным уроком жизни. Это были годы переоценки им своего пути. Писатель нашел в себе силы преодолеть свои политические заблуждения и вернуться на родину. Это произошло в 1965 году. В годы эмиграции М. Црнянский не опубликовал ничего, кроме одной небольшой книжечки «Избранные стихи» (Париж, 1954). Все созданное им за рубежом опубликовано в социалистической Югославии. Еще до того как он вернулся на родину, в 1956 году были переизданы «Записки о Чарноевиче», первая книга романа «Переселение» (1929) и затем напечатаны новые произведения: драма «Дворец» (1958), поэма «Плач по Белграду» (1962) и вторая книга романа «Переселение» (1962). Позже вышли романы «Капля испанской крови» (1970), «Роман о Лондоне» (1971), стихотворные произведения, эссе. В 1966 году начало печататься 10-томное Собрание сочинений Црнянского, куда вошли и новые произведения писателя — «Итака и комментарии», «У гиперборейцев». В последние годы жизни Црнянский работал над романом о жизни предвоенного Белграда, оставшимся незаконченным, и над мемуарами, рассказывавшими о его дипломатической службе в Берлине и Риме в тридцатые годы. Умер Црнянский в 1977 году.

Есть писатели, которые по мере накопления жизненного и творческого опыта отдаляются от своего раннего художественного мира. Црнянский — художник иного склада. На протяжении всего творческого пути он остался верен внутренним темам, мыслям-метафорам, которые определились уже в его первых произведениях, а затем, от одной книги к другой, варьировались, расширялись и обогащались новыми оттенками.

Через все его творчество проходит тема природы, в гармонии и высшем порядке которой ему виделась альтернатива «неуправляемой» общественной истории, тема хрупкости земного существования человека и вечного непокоя человеческого духа как главной движущей силы жизни. О чем бы ни писал Црнянский, эти мотивы постоянно звучат в сложной оркестровке его произведений.

Но, несомненно, один из самых существенных постоянных лейтмотивов творчества Црнянского — это Россия. Обращение писателя к теме России — примечательная особенность его творчества. Эта тема находит широкое и разнообразное воплощение в его поэзии и прозе. В стихах нередко встречаются образы рус-

ской природы — просторы Волги, заснеженные вершины Урала — как символы спокойствия и гармонии, которых так недоставало писателю в окружающем мире. В эссе на различные, часто далекие темы, возникают ассоциации с именами и явлениями русской культуры. Наконец, тема России становится центральной в самом крупном, в определенном смысле итоговом, писавшемся на протяжении, примерно, тридцати лет, произведении Црнянского — его романе-дилогии «Переселение». Глубокие исторические связи сербского и русского народов являются в «Переселении» предметом непосредственного изображения. Россия приобретает здесь также характер монументального поэтического символа, «беспредельного круга», к которому снова и снова возвращается мысль героев романа.

В «Переселении» Црнянский обратился к трудной исторической судьбе сербского народа, которому на протяжении веков пришлось вести упорную и героическую борьбу за национальную независимость.

Фактическую основу романа составляет судьба сербов, переселившихся в Воеводину, и последующее их переселение в Россию в середине XVIII века. В Воеводине, входившей в то время в состав Австрийской монархии, обосновались тысячи сербов, бежавших из центральной Сербии от османского ига. Австрийское правительство использовало переселенцев и как заслон на австро-турецкой границе, и как военную силу в своих захватнических походах,— один из таких походов описан в первой книге романа. Сербы бежали за Дунай, спасаясь от физического уничтожения, от насильственного обращения в ислам, «отуречивания». Они стремились сохранить свое национальное лицо, язык, веру, все то, над чем нависла реальная угроза в Сербии, задавленной чужеземным игом. Усилиями переселенцев Воеводина первой половины XVIII века была превращена в очаг сербской культуры и просвещения. Здесь были открыты первые сербские школы, отсюда распространялись сначала переписанные, а потом отпечатанные в типографии книги. Для сербского просвещения и культуры, для духовной жизни сербов большое значение имела деятельность русских и украинских учителей, которых приглашали церковные власти Воеводины. Прибывавшие из России учителя становились проводниками русского и украинского культурного и языкового влияния. Из России привозили книги, многие молодые сербы отправлялись туда учиться, чаще всего в Киевскую духовную академию. Все это укрепляло и расширяло русско-сербские и украинско-сербские культурные связи. Поэтому, когда экономическое и правовое положение сербского населения в Австрии ухудшилось, когда

усилились религиозные притеснения со стороны католического духовенства, мысль сербов обратилась к России, в которой они со времен Петра I видели свою защитницу и покровительницу. Началось движение за новое переселение — в Россию. Переселение получило такой размах, что в 1752 году императрица Мария Терезия специальным указом остановила его под страхом смертной казни.

Этот драматический период национальной истории прямо или косвенно отражен в романе.

Резкими, яркими мазками обрисовано в нем участие сербских солдат в военных кампаниях европейских держав. Автор заметно стремится избегать иллюстративности, экстенсивной описательности, но удачно найденные детали создают развернутое представление о положении сербского населения в Габсбургской монархии, о его бесправии, жестоко подавляемых вспышках протеста — достаточно вспомнить гневное изображение тюрьмы в Граце, где заживо похоронены десятки сербов, или полный горькой иронии рассказ о забытом Иване Текелии, «воевавшем не по карте» и изменившем исход решающего сражения, весь успех которого достался австрийским генералам. Роман показывает и столкновение интересов Австрии и России вокруг сербских переселенцев, и неоднородность стремлений самого сербского населения. Волнующе запечатлен заключительный эпизод многолетней борьбы сербов — транспорты переселенцев в заснеженных Карпатах.

Исторический ряд событий, прямое изображение прошлого сербского народа составляют очень важный пласт романа. Но не только история была перед глазами писателя, когда он создавал свою дилогию. В истории он старался найти ответ на трудные вопросы современной ему действительности.

Црнянский опровергал точку зрения на «Переселение» как на традиционный исторический роман; такой роман он считал устаревшим и изжившим себя. «Менее всего этот роман исторический, несмотря на то, что он основан на мемуарах того времени и архивных данных»,— говорил Црнянский в интервью. Вук Исакович, братья Трифун, Петр, Юрат, Исак Исаковичи — все это исторически подлинные лица, описанные в известных мемуарах С. Пишчевича о той эпохе. Црнянский хорошо знал эти мемуары (он даже упоминает их автора в романе как еще одну подлинную личность того времени), судьбы всех членов семьи Исаковичей были им тщательно изучены. Нельзя, однако, оставить без внимания предупреждение писателя о том, что в романе Исаковичи — не исторические лица, а вымышленные. Метафорическое преображение исторического материала — важ-

нейшая, определяющая особенность художественной манеры Црнянского. История, на которую писатель опирался, которая составляет конкретную ткань романа, вместе с тем служит параллелью современной действительности, как она видится писателю, превращается в символ более широкого, общезначимого движения жизни.

Метафорический роман получил в литературе XX века широкое распространение. Можно сказать, что в дилогии Црнянского по-своему отразились важные процессы развития современного романа. В литературе Югославии, в творчестве югославских писателей И. Андрича и М. Селимовича, уже известных советским читателям, как и в творчестве Црнянского, сложилась особая разновидность романа такого типа. Этот роман, построенный на материале национального прошлого, чужд экспериментаторской игры с историей, но за непосредственным повествованием о прошлом в нем всегда просвечивает второй, более или менее скрытый план, повернутый к современности. И когда Црнянский подчеркивает, что рассказанное им не просто воспроизведение истории, свойственное хронике, это означает не отступление от исторического факта, а стремление установить связь между отдельными моментами истории. Прошлое здесь воссоздается по своим, особым художественным законам, соединяясь с небеспристрастным отношением к нему рассказчика, а герои, исторически достоверные лица, становятся «ликами», в равной мере принадлежащими XVIII веку и современности, какой она представляется писателю.

Многие явления и события изображены в романе в таком двойном свете. Само понятие «переселения», «странствия», «скитания», помимо обозначения конкретного факта сербской истории, заключает в себе второй, более общий и едва ли не более важный смысл. Подобно тому, как в других произведениях Црнянского исторические или географические названия (Суматра, Итака, Гиперборея) являются эмблемами определенной духовной сферы бытия, так и здесь «переселение» означает не только бегство сербов от угнетения и национального унижения, но и извечный поиск человеком справедливости, правды, разума. Поиск, который, говорит своим романом писатель, так же никогда не останавливается, как не останавливается движение жизни.

Можно отметить определенную общность в принципе построения образной системы у Црнянского и Андрича. Оба писателя от исторического национального опыта поднимаются к общезначимым философским выводам, воплощенным в образах-символах. Ключевой для творчества Андрича образ моста, сим-

вол человеческого единения, вырастает из действительности средневековой Боснии, разъедаемой социальными, национальными, религиозными противоречиями; у Црнянского исторический факт переселения сербов превращается в символ поисков свободной и гармоничной жизни человеком и народом. Но сопоставление произведений Андрича и Црнянского выявляет и существенное их различие. Это сопоставление показывает, насколько у Црнянского острее, обнаженнее прорывается в изображаемой реальности состояние собственной души, как стремление писателя к самораскрытию обнаруживает себя не только в поэзии, но и в эпическом произведении.

Принято считать, что современный роман расстался со «всеведущим» автором, безраздельно царящим в созданном им мире, как это было в классическом реалистическом романе, что теперь автор сознательно уходит со сцены, передавая слово своему герою. О прозе Црнянского этого сказать нельзя. Личность автора постоянно ощущается в произведении. Авторское «я» проявляется и в напряженно-эмоциональном тоне повествования, и в лирических пейзажах и портретах героев, и в символике. Лиризм объединяет стилевые элементы романа, сообщает прозаическому произведению ту поэтичность, которую неизменно отмечают югославские исследователи творчества Црнянского. Это проза поэта, сочетающая картину исторической действительности с глубоким лиризмом, с пафосом самовыражения.

В первом романе Црнянского «Записки о Чарноевиче», произведении автобиографическом, с большой силой переданы настроения, владевшие близкой ему группой молодых югославов, обучавшихся в Австро-Венгрии. Связанные с этой страной воспитанием и образованием, но внутренне чуждые ей, они остро переживали вынужденный отрыв от родины, свою скитальческую судьбу: «Мы всегда жили на чужбине. Скитались, скитались... А умирали от чахотки на родине, дома». Уже в этом романе взволнованно звучит тема России и славянского единства, контрастно оттеняя тему скитания: «Каждый вечер говорили мы о России... Говорили только о России, об искусстве... Все мы знали, знали, что мы обездоленные, но с отчаянной радостью говорили о славянстве».

Драму молодого поколения из «Записок о Чарноевиче», единственной мечтой которого — «светлым кругом» — была Россия и братство всех славян, писатель в «Переселении» переносит в далекое прошлое, где эта драма, по его убеждению, берет истоки. Лирическая стихия, всегда присущая Црнянскому, переполняет и это, историческое в своей основе, произведение.

Видный югославский критик В. Глигорич пишет о первой книге «Переселения»: «В романе не так важны документальные исторические картины военного похода во Францию, как глубоко эмоциональное изображение трагической участи людей, не знающих, за что они гибнут... Внутренний мир Црнянского, смятение и горечь, вынесенные им из первой мировой войны, проявились и в показе прошлого сербов, бежавших за Дунай и Саву, и в огромном поэтическом вдохновении, проникающем весь роман». Действительно, поэтическое, лирическое начало пронизывает всю структуру романа, оно определяет способ изображения самой исторической действительности и людей той эпохи.

В центре первой книги «Переселения» три главных лица: Вук Исакович, его брат Аранджел, жена Вука, Дафина. Но это не роман характеров. Перипетии судеб героев слишком явно подчинены «проверке идеи» — доказательству авторской мысли об ограниченности человеческих возможностей.

Старший из братьев, Вук, во главе Славонско-Подунайского полка отправляется в очередной поход, не зная, с кем, где, когда ему придется сражаться. После многих месяцев переходов и боев, муштры и унижений, оставив бóльшую часть своих солдат в чужой земле, Вук открывает для себя роковую истину: и сам он, и его полк — только орудие в политическом и военном соперничестве европейских держав. В службе Габсбургской монархии он видел средство укрепить положение сербов в Австрии. Теперь, когда перед ним открылась истина, служба эта потеряла всякий смысл, и он под конец жизни оказывается перед «ужасающей, головокружительной пустотой».

В сравнении с Вуком, живущим «по чужой воле», его брат Аранджел, богатый и удачливый торговец, является, на первый взгляд, антиподом, человеком, который способен утвердиться в окружающей среде. Но только на первый взгляд. Накопленные богатства, купеческий практицизм Аранджела, его умение подчинять и использовать людей и обстоятельства теряют для него всякую цену, потому что для него недостижимо самое жгучее и тайное желание всей его жизни: единственная любимая им женщина, жена брата. Когда он наконец, казалось бы, достигает цели, эту женщину уносит смерть. Таким образом, и этот герой романа приходит к мысли о всемогуществе рока, о том, что, кроме прочного мира цифр, счетов, обмана и доходов, где он так уверенно себя чувствует, существует другой мир, невидимый и непостижимый, в котором он ничего не властен изменить.

Характер, нравственный облик, наконец жизненные цели у

братьев Исаковичей различны, даже противоположны. Личность Вука раскрывается в сфере общественной, национальной. Он военный и духовный руководитель своих соотечественников. Его мечта о России продиктована заботой не о своем только личном благополучии, но о благополучии всех сербов, страдающих в чужой стране. Его брат стремится к эгоистичному счастью. Их цели различны, их активность по-разному направлена. Но итог их жизни одинаков: признание тщетности любых усилий, признание беспомощности человека перед неподвластным ему течением жизни.

Судьбы героев «Переселения» как бы переливаются одна в другую, подтверждая эту развиваемую автором подспудную тему романа. Их взаимная связанность подчеркнута монтажной композицией: рассказ об одном герое автор прерывает на драматическом эпизоде, чтобы начать с подобного же эпизода и часто в тех же выражениях новую главу о другом герое. Повествовательная манера — повторяющиеся, как рефрен, одни и те же переживания персонажей, мысли, ключевые слова, поэтические образы — еще больше усиливает внутреннюю связь этих судеб.

Однако в романе есть нечто большее, чем повествование о двух братьях и связавшей их женщине. Это судьба сербского народа в Австрии. Вероятно, В. Глигорич прав, предполагая, что создание исторической картины не было главным намерением автора романа. Но независимо от авторских намерений массовые сцены, показывающие участие сербского полка в австро-французской войне, и эпизодические лица, мгновенно и ярко очерченные, все вместе создают глубокое представление о положении сербов, воюющих «за чужой интерес». Частные человеческие судьбы, поставленные в центр романа, не могут заслонить картин, где проявляются начала общей народной жизни. После прочтения книги надолго остаются в памяти сербские солдаты, с бессмысленной удалью, с ножами в зубах берущие города, названий которых они не могут заучить, а после — никому ненужные, брошенные среди болот и снегов; трудно забыть казнь трех безымянных солдат, изображенную очень скупо, но приоткрывающую завесу над каждым из этих голодных и бесправных бедолаг, так по-разному встретивших смерть, и над общей участью людей, лишенных родины; так же памятны встречи с другими эпизодическими героями. Таких сцен в первой книге романа немного, но их удельный вес высок: они обозначают поворот от передачи автором своего восприятия исторического события к воссозданию самой исторической действительности.

Вторая книга «Переселения», написанная в Лондоне и вобравшая более чем тридцатилетний жизненный и творческий опыт писателя, отразила заметные сдвиги в его понимании и изображении исторического процесса. Если начало дилогии генетически восходит к первой мировой войне, то завершающая ее книга не может быть не соотнесена со второй мировой войной и антифашистским Сопротивлением. Сама действительность, в которую писатель вглядывался, пытаясь разгадать направление ее развития, доказала силу народа как ведущего фактора истории. В борьбе с фашизмом народы Европы, и народы Югославии в том числе, утвердили это со всей непреложностью. В этой борьбе Црнянский не был со своим народом. Но крушение реакционных идей, которые защищал Црнянский в тридцатые годы в публицистике, не могло пройти бесследно, не могло не заставить его задуматься над прошлым, не могло не поколебать прежних воззрений на движение истории и роль народа в нем.

Во второй книге романа в центре находится не драма личности, а сама история, массовое движение народа. Уже это эпическое и объективное изображение событий национального масштаба заключает в себе невольное признание писателем позитивной логики за самой историей. Его понимание истории как движения отчужденных от человека законов опровергается здесь самим реалистическим изображением событий, во всяком случае вступает с ним в спор.

Две книги «Переселения» формально почти не связаны, в них нет общих сюжетных линий или общих героев. Главный герой второй книги — Павел Исакович, пасынок Вука Исаковича. Вук, состарившийся и отстранившийся от дел, здесь только упоминается. Связь между этими книгами в другом. Две книги «Переселения» это как бы два варианта ответа на вопрос о внутренней свободе человека, о способности человека изменить свою судьбу, достичь поставленной цели.

Павел Исакович и его братья вместе с несколькими сотнями соотечественников, рискуя жизнью, ценой огромных усилий и жертв, осуществляют мечту, завещанную Вуком,— переселяются в Россию.

Значит ли это, что Црнянский теперь положительно отвечает на вопрос о достижимости для человека поставленной цели? В первой книге ответ на этот вопрос был однозначно отрицательным, во второй он значительно усложнился. Именно здесь появляется смысловая многослойность романа и центрального символа — «переселения». Црнянский не сводит вопрос о цели человеческого существования к житейским бытовым

меркам человеческого благополучия. Такая цель достижима. Она достигнута, например, Юратом Исаковичем, без труда вошедшим в новую среду, ожидающим в недалеком будущем полковничий, а затем генеральский чин. Она достигнута многими другими его соотечественниками, у которых представление о счастье не выходит за рамки удовлетворения основных жизненных потребностей — получения плодородных украинских земель, повышения в чине и т. п. Но это не единственная и, конечно, не главная, считает Црнянский, сторона человеческого бытия. Материальному, приземленному началу жизни он противопоставляет беспокойство духа, страстную мечту, устремленную к не всегда, может быть, ясным, но всегда зовущим человека вперед пределам. Этот взлет духа — удел немногих. Одного из таких людей и показывает Црнянский в главном герое романа.

Павел Исакович, тот, чьей энергии и мужеству обязаны переселенцы-сербы достижением своей цели, по-видимому, менее всех удовлетворен совершившимся переселением. В житейском смысле перед ним открываются большие возможности, но эта сторона жизни безразлична ему. В романе это подчеркнуто много раз, нагляднее всего — через сопоставление Павла с Вишневским. Положение Вишневского, «бывшего серба» из Вишнича, теперь царского вельможи, беззастенчиво извлекающего корысть и удовольствие из службы русскому императорскому двору и из бедствий своих соплеменников, не привлекает Павла. Рискуя навлечь на себя гнев, он отказывается стать его преемником.

Можно предположить различные причины, по которым Павел чувствует себя в России не так, как ему мечталось. Не потому ли он тоскует, что понимает неосуществимость своих представлений о правде и справедливости в елизаветинскую эпоху, когда «усекновение языков», кнут, ссылка в Сибирь были обычным делом? Видит ли он, что русские генералы того времени не были ни просвещеннее, ни гуманнее австрийских генералов? Этого героя, хотя он и отрешен от прозы жизни, автор наделяет гораздо более высокой социальной прозорливостью, чем его окружение.

Но скорее всего, душевное смятение и необычное, с общепринятой точки зрения, поведение Павла объясняется тем, что в сфере духовной жизни вообще не может быть успокоенности и благополучия, не может быть удовлетворения достигнутым. В этом для Црнянского главное. В Павле Црнянский показывает духовное начало жизни, не связанное, как он считает, с прозаическими повседневными элементарными потребностями.

Таким людям жизнь обязана своим движением. Но судьба такой личности трагична. Выражая дух эпохи, смутные надежды и мечты народа, она идет впереди своего времени; и платит за это одиночеством и гибелью.

Своеобразная, присущая Црнянскому манера художественного повествования — лиризм, живое, непосредственное присутствие автора в романе, нервный, напряженный стиль — сохранился и во второй книге «Переселения». Вместе с тем эпичность повествования во второй книге заметно возросла. История, вошедшая в роман как предмет изображения, вызвала перемены в самой структуре повествования.

Роман теперь включает много событий, действующих лиц, его фабула усложнилась и разветвилась. Прослеживая жизненные пути Павла и Евдокии, Петра и Варвары, Юрата и Анны, других персонажей, Црнянский находит сюжетные повороты, которые выявляют взаимодействие разных человеческих судеб, связывают частную жизнь персонажей с историческим процессом. Некоторые эпизоды, на первый взгляд уводящие повествование в сторону, оказываются необходимыми для раскрытия основной темы романа. Такова, например, на десятках страниц рассказанная история любви Павла и Евдокии. Здесь проявилась одна из важных особенностей художественного мышления писателя, его интерес к так называемым вечным вопросам человеческого существования, умение проникнуть в мир интимных человеческих отношений. Этот эпизод помогает также понять, как созревал и утверждался замысел переселения. Во время объяснений с Евдокией Павел особенно остро ощущает, насколько чужд для него и его соотечественников, воспитанных в нормах патриархальной морали, образ жизни столичных кругов. Разрыв с Евдокией — это и разрыв с определенной, неприемлемой для него средой: «По мере того, как Павел удалялся от Вены, где ему и его соотечественникам приходилось жить, весь этот мир офицерской среды столичного гарнизона просвещенной империи, пронизанный причудливым рококо, рассыпался в прах». После этого он со своими братьями, их женами и соплеменниками трогается в трудный путь через Карпаты, в Россию. Расширение охвата событий, обилие переплетающихся сюжетных линий — все это помогает передать многообразие жизни. Вместе с тем это освобождает авторскую мысль от альтернативной прямолинейности, делает ее многосложнее и объективнее.

Утверждением нескончаемости жизни, постоянства ее движения звучат заключительные слова романа: «Есть переселение. Смерти нет!» Этот завершающий аккорд не просто ожив-

ляет сумрачную эмоциональную тональность романа. Он заключает в себе и признание объективного значения исторических перемен, втягивающих в свой поток каждого человека. Впрочем, иногда Црнянский как будто перестает доверять найденному им решению основной темы своего творчества. Тогда в реальные связи человека и истории вплетается действие необъяснимых законов вселенной, а судьба личности оказывается зависимой от игры безличных сил и стечения обстоятельств не меньше, чем от событий истории. Автор знает о несбыточности идеалов Павла и провидит крушение честолюбивых замыслов Юрата. Все они в руках судьбы, в руках «комедианта-случая». Рок, судьба, которые выступают в романе рядом с историей, почти на одинаковых с нею правах, уравнивают всех его героев — и тех, кто живет будничными интересами, и тех, кто устремлен к высшим сферам духа. В «Переселении» много крушений и несбывшихся надежд. И все-таки этот роман — не только показ бесконечного ряда бед, угрожающих человеку. Несмотря на ощущение несоизмеримости человека и исторического события, не оставляющее писателя, он утверждает в этом романе гуманистическую веру в жизнь и в возможности человека.

Црнянский не останавливался в настойчивых усилиях понять и объяснить причины, делающие жизнь враждебной человеку. Такого рода исследование предпринято и в его последнем большом произведении — «Романе о Лондоне».

В центре «Романа о Лондоне» — князь Репнин, русский эмигрант. Его одиссея, начавшаяся в Керчи, через Прагу, Париж, Лиссабон привела его в Лондон, где ему суждено закончить свои дни. Так же часто, как города, меняются в его жизни занятия — тренер верховой езды, служащий в обувной мастерской, разносчик книг. Русский князь-эмигрант — еще одна вариация образа человека-скитальца, человека на чужбине, еще одно воплощение писателем его постоянной темы.

Обстоятельства жизни Црнянского, родные ему места, города и страны, оказавшиеся на его прихотливом жизненном пути, всегда присутствуют в его творчестве. «Роман о Лондоне» отразил, и острее, чем любое другое произведение, личную драму писателя, его собственное пребывание в эмиграции.

Главной темой «Романа о Лондоне» становится тема одиночества. Князь и его жена беспредельно одиноки в многомиллионном городе. Вот как говорит об этом сам герой: «Нужно привыкнуть к чувству, что мы одни-одинешеньки на этом пустом острове, на котором живет пятьдесят миллионов человек, мужчин и женщин. Представьте только, одни-одинешеньки, у

нас нет никого и никто не интересуется нами, никому нет дела до нас среди этих миллионов мужчин и женщин! Можете ли вы представить это одиночество? Вокруг нас дома, улицы, поезда гудят и несутся, несутся, мужчины и женщины плачут, смеются, любят, идет дождь, туман или снег, как сейчас, кругом причалы, корабли пристают, отходят. И никому до нас нет дела».

Репнин всегда один — в грохочущем вагоне подземки, перед пригородной станцией, засыпанной глубоким снегом, на улице Лондона; с ним никто не здоровается, никто не замечает его; в дом, где он живет с женой, никто не заходит — ни почтальон, ни молочник, ни мусорщик. «Уже год никто не спрашивает, живы ли они». Такое одиночество страшнее бедности, страшнее старости, оно страшнее смерти.

Показывая — с большим пониманием и сочувствием — эмигрантское существование князя, писатель пытается выяснить истоки его бедственного положения. Этот человек обособлен, так как не скрывает своей привязанности к оставленной им родине, к России, о которой он, впрочем, судит больше по фотографиям петербургской поры, чем по ее сегодняшнему облику. Он одинок потому, что лишен практической хватки и не смог прочно стать на ноги в том мире, куда забросила его судьба. Может быть, играет роль и то, что он иностранец, хотя, роняет автор мимоходом, никого в Лондоне не окружают таким вниманием, как иностранцев, если они богаты. Все эти реальные причины существуют, и они названы, но главное, по мнению писателя, не в них. Разъединенность людей предстает в этом романе общим законом жизни громадного города.

Главный герой «Романа о Лондоне» — это сам Лондон. Црнянский создает большой силы образ современного капиталистического города со многими достоверными и легко узнаваемыми чертами. Многомиллионное население Лондона видится писателю скоплением изолированных одиночек. Населяющие его люди, которых, «как сардинки в жестяных коробках», везут утром на работу в Лондон и возвращают вечером обратно, бесконечно разобщены. Весь город, по замечанию героини, состоит из камер, клеток, в которых заключены одиночки. Среди многих примет лондонской жизни, метко воспроизведенных писателем, который провел в Лондоне около двух десятков лет, главная — каменное равнодушие в отношениях человека к человеку. И сам город, каменная громада, ассоциируется в романе со сфинксом, который безразлично и немо следит за миллионами людей.

Обширный двухтомный роман страница за страницей про-

слеживает путь человека, внутренне порядочного и привлекательного, который, оказавшись в разладе с историей, оторвавшись от родины и своего народа, не находит себе места в жизни. Князь Репнин кончает жизнь самоубийством.

В рассказанной писателем истории много щемящей жалости к герою. В ней проявилась присущая Црнянскому тонкость проникновения в индивидуальные особенности человеческого характера, в глубоко спрятанные движения души. Но конфликт князя Репнина со своим временем в значительной степени остался символом извечного столкновения человека с жизнью и подтверждением важной для Црнянского мысли о случайности человеческого существования. Эта мысль заявлена прямо, публицистически, от «автора» на страницах, открывающих роман. Мир, в котором мы живем, говорится там, это «нечто вроде большой, удивительной сцены, на которой все мы некоторое время играем свою роль. А потом уходим со сцены, чтобы больше никогда на ней не появиться. Никогда — *никогда* (это написано по-русски.— *Н. Я.*). И ничего не известно — ни почему человек играл в этом театре, ни почему играл именно эту роль, ни кто ему эту роль дал, и зрители не знают, куда он ушел из театра... известно лишь, что когда мы уходим со сцены, мы все равны. И короли, и нищие».

Такое миропонимание писателя, ограничивающее его историческое видение, преломилось в судьбах и одинокого эмигранта и миллионов неназванных, столь же одиноких, в глазах писателя, жителей Лондона.

В XX веке история ворвалась в жизнь человека, лишив его возможности остаться в стороне, потребовав от него участия в событиях эпохи. Литература по-разному показывает это состояние человека. Црнянский наделил своих героев — и современных, и одетых в исторические костюмы — способностью ощущать мир, время как постоянную тяжесть на своих плечах. И как все, они постоянно оказываются перед выбором: капитуляция или борьба. Одни, как герой «Романа о Лондоне», капитулируют. Но чаще герои Црнянского предпринимают отчаянные попытки найти выход из обстоятельств, которые всегда против них, прорваться к добру, справедливости, человечности. Гуманистическое убеждение Црнянского в том, что человек не способен мириться с несправедливостью и злом, нашедшие в его творчестве неповторимо индивидуальное художественное выражение, привлекает и будет привлекать читателей к его прозе.

Н. Яковлева



КНИГА
первая

I

Беспредельный голубой круг. В нем — звезда

Ивняки, затянутые туманом, курятся еще со вчерашнего дня, тучи, клубясь, спускаются все ниже. Долина, по которой течет река, мрачна и неприступна. Кругом непроглядная, моросящая темь...

Глухо шумит в темноте мочажина. Лунный свет скользнет по ней, мелькнет во мгле и сгинет в ненастной ночи, которая то появится, то исчезнет, то появится, то исчезнет, обходя его и увлажняя его широкую грудь и горячий вздутый живот под пропитанными пóтом бараньими шкурами. Каплет сквозь камышовую крышу, каплет: даже в густом мраке видно, как по земляному полу прыгает жаба, все ближе к нему, ближе.

Время от времени раздается собачий лай и петушиный крик, он слышит их уже с полуночи, но издалека. А рядом, точно из-под земли, звучат сквозь дрему глухие удары конских копыт. От частого пробуждения он словно качается в холодной темноте. Под спину и ребра ему забирается холод и заставляет ежиться. Не отличая окружающего мрака от мрака в душе, он ничего не видит, хотя глаза его широко раскрыты. Вот он услышал прыжки жабы у изголовья, и тут же его одолевает сон, и снова все тонет в тяжелом запахе овчины, на которой рядом с головой жены лежит верхняя часть его туловища.

Несколько дней тому назад, когда он начал собирать полк, его ударила лошадь в ногу выше колена, и теперь боль часто будит его по ночам, но и боль, и ломоту в костях, и страшную слабость перебарывает

усталость. Каждую минуту он со стоном пробуждается и тут же, скрипнув зубами, засыпает.

И чего только он не увидит за это мгновение полусна, пока снова не забудется! И реку под обрывом, наполняющую ночь своим рокотом. И отражение месяца в залитых водой яминах и оврагах. И камышовые стрехи и окна, с которых непрестанно каплет — капля за каплей. И тучи, что клубятся все ниже и ниже. И необозримые верхушки ив среди низкого кустарника.

Качаясь, он снова погружается в лихорадочный, полный каких-то всполохов сон, кубарем, в каком-то пестром мельтешении летит в необозримую даль, в неоглядную высь, в бездонную глубь, пока его не будит просочившаяся сквозь кровлю вода. И снова до его затуманенного сознания доносятся собачий лай и пенье петухов, он таращит глаза во мрак и не видит ничего, только в вышине ему чудится беспредельный голубой круг. И в нем — звезда.

Наконец сонная одурь прошла, в голове утих шум, он понял, что окончательно проснулся. Он лежал в темноте, широко раскрыв глаза и дрожа от холода. Теперь пенье петухов и собачий лай доносились уже наяву. Жена, уснувшая на его руке, дышала ему на грудь. Он слышал даже, как хрустнула его шея, когда он потянулся, так тихо было во дворе перед домом. Сквозь щель в еловых досках пробивалась узкая полоска света, окончательно вернувшая его к действительности. Пора в путь.

Под навесом скотного двора у конюшен горел костер, вокруг которого с вечера — кто в одиночку, кто с женой и детьми — улеглись его люди. И словно эта первая ясная мысль прозвучала в голове неслышной командой, ему показалось, что люди эти один за другим бегут к нему, как на учениях, своим беглым, страшным шагом, в меховых шапках, с длинными ружьями наперевес и кинжалами в зубах. Он видел лицо каждого, знал каждого по имени, помнил, где кто убит.

Так и запечатлелась у него навеки в глазах картина, что представилась ему там, во дворе, под дождем, в темноте: круча, внизу Дунай, у берега барки, на которых они поплывут, бесконечные заросли тальника и камыша, синяя равнина и красные кусты лозняка.

Заскрипел журавль, и в тот же миг забарабанили в дверь.

И будто проснулся не только он, но и все живое, затаившееся до этой поры во мраке, раздался топот копыт и хрипло залаяли собаки — совсем близко.

В небе опять пролетела большая воронья стая, ее грай, вздымаясь ввысь, заполнил ночь.

Еще весь во власти сна, он пытался высвободиться в темноте от простынь, в которых запутался, и, потный, голый — он всегда спал голым,— выбраться из-под жарких шкур. И тут проснулась жена; в безумном страхе она нащупала очаг, сдунула с жара пепел и зажгла ночник. Он осветил ее всю и бросил на стену его огромную тень. И тут только, увидав мужа, она вскрикнула, кинулась к нему и заголосила, обнимая его, целуя ему грудь, плечо, шею, ухо.

Уже почти две недели с того самого дня, как от маркиза Асканио Гваданьи, коменданта крепости Осека, пришло распоряжение снарядить триста отборных солдат на войну с французами, она не перестает плакать. С распухшими от слез глазами, надломленная страхом, на третьем месяце беременности, она не отходит от мужа ни на шаг. Признанная красавица, в первый год замужества она стала еще краше. Зачав, она вся — ее кожа, стан, смех, дыхание — излучала какой-то мягкий свет. В самые тяжелые месяцы беременности веселье било в ней ключом, а после родов она худела и дурнела, становилась тихой и крутой со слугами и служанками. Две недели назад она приехала за ним на берег Дуная, чтобы уже не расставаться до отъезда. А на последние два дня, оставив дочек в селе, перебралась в маленькую, крытую камышом хатенку неподалеку от скотного двора и реки, чтобы только побыть с ним ночь. Часами лежала она у него на груди, шептала невразумительный вздор и, как безумная, целовала его грудь, шею, глаза, губы, уши.

Кривоногий и грузный, в эти последние дни он снаряжал солдат и с утра до вечера не сходил с седла, мысленно посылая ко всем чертям эти ее объятья и поцелуи.

Дни он проводил в мучительных распрях с рекрутами, которые являлись пьяными и без оружия, а вечера просиживал с писарями, готовившими списки Славонско-Подунайского полка. Однако подлинный ад

начинался ночью. Ее объятья, безумная жажда ласки, длинные, не знающие устали пальцы. Ее неземная при свете очага красота, ее взгляд, ее рыдания. Огромный, толстопузый, косая сажень в плечах, он в полном изнеможении, весь в тревоге о детях, крестился и диву давался ее неистовству, а порой громко хохотал.

Увидав при слабом свете ночника жену, еще не пришедшую в себя после сна, он понял, что нынче утром, в час расставания, будет труднее всего. Порывистые, безумные поцелуи, которыми она его осыпала, были мокрыми от слез. Поднявшись, чтоб сподручнее было обнять хмуро отбивавшегося мужа, она топталась на разостланных на земляном полу подушках, шкурах и коврах и, неожиданно наступив голой ногой на жабу, истерически взвизгнула. Выведенный из себя этим бабьим исступлением, он оттолкнул жену — ему хотелось швырнуть ее наземь — и вразвалку, словно нес на спине бочку, двинулся к двери, опрокинув по дороге чашу со святой водой и базиликом, которые она приготовила, собираясь поутру окропить его.

На дворе моросил дождь. В серых сумерках утра он тотчас увидел собак, кинувшихся к нему, лошадей под шелковицами, а у скотного двора —на другом конце выгона — целый табор расположившихся там с вечера людей. Костры еще чертили в тусклом сумраке призрачные тени, но едва лишь грянул первый выстрел, все словно разом вскочило с земли и заплясало. Одни с пением и ревом кинулись умываться к колодцу и корытам, другие, неся на руках детей и кутая их в тряпки, спускались с кручи к баркам. Женщины, ударяя себя в грудь, заголосили, замахали белыми холстинами, платками, портянками. А из-за скотного двора, над кручей, в мутном, дождливом рассвете он увидел не беспредельный голубой круг и звезду в нем, как во сне, а неоглядные заросли лозняка и камыша.

Пробегая мимо лошадей и заплаканных женщин, которых на берег к лодкам не пустили, собирались, окликая друг друга, солдаты. Иные отставали, со слезами на глазах прощались и крестились. Один подошел к нему с посиневшим от холода грудным младенцем в меховой шапке и попросил разрешения положить ребенка у очага. Собаки носились вокруг женщин и стариков, стоявших на круче, прыгали по лужам, раз-

брызгивая грязь, и лаяли на спускавшихся к реке солдат.

А он все стоял, повергая в изумление своих слуг, стоял босой на холодной, влажной земле, в запахнутом на голом теле плаще и большой черной, обшитой серебряным позументом, треуголке с плюмажем, которую впопыхах, со сна напялил на голову. Опомнившись, слуги подбежали к его руке и подвели упиравшегося коня.

Громко чихнув несколько раз, так что все вокруг задрожало, он нырнул обратно в темноту и духоту, где его встретила все еще плачущая жена. Торопливо одевая мужа, она целовала его суконную одежду, ремни и оправленное серебром оружие, а когда он умылся, утерла ему лицо своими волосами и поцеловала в обе щеки. Он жалостливо потрепал ее по плечу, но когда она заголосила, сердито заворчал.

Стоило ему появиться на пороге в полном снаряжении, стоило слугам снова подвести ему коня, как поднялась такая суматоха, с такими воплями и криками, кинулись к его руке стоявшие на выгоне люди, так заголосили и запричитали женщины, что он яростно рыкнул на них.

Конь, перепуганный шумом и суетой, кружился и шарахался, двое слуг держали подпруги, остальные с другой стороны поднимали его в седло; ухватившись своими волосатыми ручищами за луку, кряхтя и пыхтя, он сел на коня, который зашатался под ним, словно под тяжелой бочкой.

Забрызгивая грязью кусты, траву и бегущих за ним собак, конь помчал его под гору к Дунаю и, вырвавшись из хаоса причитаний и воплей, зарысил между мокрыми деревьями и кустами. Дождь перестал, но земля была скользкая и вязкая.

Густой туман над болотами и плавнями, поросшими камышами, поредел. Там ничего не происходило, словно это был другой мир. Здесь вверху каркали вороны, а внизу поблескивали темные и светлые струи воды. Вдалеке у костров чернели лодки, привязанные к старым вербам и вбитым в илистую почву колам. Подняв голову, он увидел тихое серое небо и неслышно улетавших ворон. Берега Дуная уходили вдаль, один — желтый — круто поднимался к небу, другой — стелился болотистым кочкарником и камышом.

Миновав кустарник, он погнал увязавшую в непролазной грязи лошадь к кострам, где уже снимали с вертелов ягнят. Разместившись на ночь в больших протекающих барках, на соломе и сухой пожелтелой листве, люди вставали, чистили оружие или уже готовились подхватить на штык кусок разделанного барашка. Крикливо пели.

Когда он, весь заляпанный грязью, подъехал к горящим среди верб кострам, его встретили два офицера и прибывший вместе с его братом из сребробогатого Земуна священник, чтобы проводить сына и благословить воинство. Надо было скорей отправлять полк, он погнал коня к лодкам и велел отчаливать.

В барках поднялась суета, солдаты повскакали с мест, желая еще раз увидать своих. Лодочники отвязывали концы и, стоя по пояс в воде, с дружным криком отталкивали барки от берега; дрожащие от холода горемыки, нанятые тащить барки вверх по течению весь день, всю ночь и еще один день, взялись за канаты и зашлепали по грязи. Двое цыган, почти совсем голые, с лямками на груди, пытались на ходу обглаживать опаленные бабки, на которые никто не польстился.

Озябшие и промокшие старики застыли как изваяния на илистом берегу, а женщины с детьми и собаками кинулись вдоль кромки отвесного берега и бежали, плача и причитая, до тех пор, пока барки не скрылись за чащей ивняка. Еще какое-то время до них доносилась хриплая песня, но и она, когда не стало видно провожающих, постепенно расстроилась и вскоре совсем умолкла. И только на высоком берегу долго еще не смолкал бабий вой.

Едва лишь барки отчалили, он погнал коня обратно в гору. Лошадь фыркала и была вся в мыле. Пора было и ему готовиться в дорогу.

У конюшен и скотного двора собрался народ поглазеть на его отъезд, а особенно на рыдван, лошадей и слуг его брата, известного во всем Подунавье и Потисье своим богатством купца Аранджела Исаковича.

Брат, как условились, ночевал в селе с детьми, а рано утром должен был приехать сюда, чтобы помочь ему при расставании с женой, горячего нрава которой они оба побаивались. И в самом деле, едва он, прово-

шей дочери брата, которую он привез попрощаться с отцом и которую слуга не спускал с рук.

Старший брат, понимая, что он не в силах будет смотреть на то, что жена станет вытворять в последнюю минуту, договорился с младшим обмануть ее. И наказал тому подъехать с ребенком в рыдване к хатенке у скотного двора. Здесь был последний ночлег, перед тем как погрузиться в барки и плыть до самого Варадина. Сюда приехала жена, чтобы провести с ним последнюю ночь. В этой хибаре обычно жили зимой пастухи. Слуге было приказано стегнуть по лошадям, как только старший брат выйдет из дома и вскочит в экипаж.

Все свершилось мгновенно. Покуда она, полумертвая от горя, приводила в порядок платье, чтобы выйти с мужем на люди, он, услышав щелканье кнута, украдкой перекрестился, кинулся к двери и оказался лицом к лицу с братом. Наспех расцеловавшись с ним и оборвав ему четки, так что те разлетелись по грязи, он вскочил в рыдван.

Услыхав лошадиный топот и крики, ничего до тех пор не подозревавшая женщина выбежала на порог и, увидав, что экипаж уже скрывается в кустах за шелковицами на другой стороне выгона, как пьяная, без памяти повалилась на руки деверя.

Приподнявшись с заплаканной дочерью на руках в огромном расписном рыдване, прыгавшем на ухабах, старший Исакович увидел только, что жена его лишилась чувств. Склонив голову к ребенку, он молча смотрел, как экипаж, разбрызгивая грязь и налетая на корни, пни и кочки, завернул за редкую рощицу акаций и как кучер, упершись ногами в окованный железными украшениями передок, остановил наконец понесшую тройку.

Отругав слуг, он, все еще прижимая к груди дочь, удостоверился, что оружие, одежда, сапоги и новенькая, кованная серебром сбруя — на дне экипажа, а дукаты, нож и часы-луковица — в поясе. Ничего не забыто.

Потом приказал ехать медленнее и, лаская девочку, принялся, словно разряженный, матерый медведь, урчать, подпрыгивать и пританцовывать на месте. А она, гладя его ручонками, смеялась сквозь слезы и теребила серебряные бляхи на его треуголке.

Над плавнями и ивняком прояснялось, перед экипажем взлетали с песней первые жаворонки. В небе кружились стаи ворон. Все больше светлело от необозримых заливных лугов и заводей. Катясь по дороге вдоль берега, мимо крутых склонов, спускавшихся в мокрые луга, рыдван быстро нагнал три большие черные барки, которые медленно ползли вверх по течению.

Теплые объятья детских ручонок казались продолжением сна. Он слушал перестук копыт, поскрипывание колес, детский голосок, в которые вливались трели жаворонка и воронье карканье, слушал словно сквозь сон и глядел на дождевые тучки, которые быстро таяли под лучами бесконечно далекого, но огромного солнца.

Не получая ответа на свои вопросы, девочка без конца повторяла их обиженно и настойчиво, дергая отца за уши, за позумент, за усы. Невыспавшаяся и слабенькая, она лепетала все тише и тише. Он, тихо напевая, укачивал ее. Вскоре девочка уснула у него на груди.

После ненастья наступил погожий весенний день. В плавнях и лозняках на противоположном берегу закурился тяжелый молочный туман, он становился все гуще и вскоре затянул всю реку. Песня плывущих в барках долетала среди мертвой тишины едва слышно, словно из-под земли.

По вырисовывавшимся слева лиловым горам и лесам можно было заключить, что утро будет ясным и солнечным. У ряда высоких тополей он велел остановиться. Расцеловал уснувшую дочь, положил ее на сиденье, а сам, при помощи слуг, уселся на коня и, въехав в кустарник, спокойно дождался, пока перегрузят вещи на вьючных лошадей. Потом отпустил слуг брата, посторонился, чтобы дать развернуться рыдвану, и долго смотрел, как он катит по густой траве и как из-под лошадиных копыт взлетают вспугнутые жаворонки.

Сняв треуголку, он отдал ее слугам и зарысил перед ними, трясясь в седле, как мешок.

Все было кончено. Стоило ему только сесть на коня и отослать дочь, как вся усталость последних бессонных ночей, сборов, дней, проведенных в седле, будто уселась к нему на спину. Запах влажных кустов, пар-

ная духота низких, озаренных солнцем облаков, ползущий с реки густой, как молоко, туман затрудняли дыхание и клонили ко сну. Беды, сдавалось, остались позади, перед ним расстилались лишь поросшие густой травой дали, которые отнимали силы. Он был спокоен. Двинулись они рано, и он рассчитывал к ночи добраться до Варадина, где к ним присоединятся остальные подразделения. Полк формировался по селам Славонии и Срема и под его командой должен был направиться сначала на смотр в Печуй, а потом в стан Карла Лотарингского, который под началом генерал-фельдмаршал-лейтенанта, барона Йоганна Леопольда Беренклау уже выставил свои форпосты вдоль Рейна до Штукштадта.

Склонный к меланхолии, что с возрастом делала его все молчаливее, он, подобно отцу, на которого всегда ссылался, спокойно отправлялся на войну. Ему надоело кочевать, опротивела неутихавшая в нем и в тех, кого он вел, тревога. Неженатым он прошел с родичами почти по всем городам вдоль Дуная и Тисы, помогая в торговых делах брата. Потом женился и вернулся на военную службу. Его ценили, поручали важные дела и часто перемещали, чтоб он успокаивал переселявшийся с места на место народ.

Он знал, что после смотра их тотчас пошлют в места сражений. Спокойный и уверенный в себе, он предвидел все, что предстояло в пути, все, что могло случиться, и то, как будут вести себя при этом его солдаты. И опасался только, как бы не опоздали на смотр под Варадином роты капитана Пишчевича из Шида.

Сонный и отяжелевший, он ехал, уронив голову на грудь, по высокой траве. И чем светлее и теплее становилось небо, тем хуже он себя чувствовал. Ритмичное покачивание в седле совсем его разморило. Всего, что он оставил позади, будто и не было: и плач жены, и взгляд брата, и тепло ребенка — все затянулось туманом. Ехавшие за ним слуги отстали, и он ощутил полное одиночество.

Мысли о том, как распределить офицеров и солдат, которых он знал всех в лицо, совсем его усыпили. Что ж, подумал он, достаточно уехать и все, что оставляешь, забывается, будто ничего и не было. И он устремил взгляд на далекие горы, из-за которых выкатыва-

лось солнце. А когда заиграло серебро на его мундире, он почувствовал себя бодрым и легким, словно невесомым. Озаренный сверкающим солнцем, он ощутил в себе какое-то тепло, тяжесть в теле исчезла, точно не он ехал верхом на коне и не ему бил в лицо невидимый ветер.

И он погнал коня рысью, в пустоту.

Вот так весной тысяча семьсот сорок четвертого года Вук Исакович пошел на войну.

II

Ушли, и не осталось после них ничего. Ничего

В Печуй они вошли такие встрепанные, немытые, мокрые и с таким неистовством, что дети при виде их плакали, а выбежавшие за ворота женщины с визгом рассыпались кто куда. Усталые и голодные, солдаты торопливо шагали, горланя и крича, окруженные сверкавшими серебром офицерами, и напоминали голодных псов, которых на сворке ведут на охоту.

Они колотили прикладами по заборам, избивали собак, вырывали посаженные перед домами молодые деревца, чтобы чуть подальше швырнуть их во дворы. Улюлюкая, они обратили в бегство повстречавшееся им на перекрестке стадо волов.

Закупорив узкие улочки нижнего города, они лезли в гору, по дороге разбредались по сторонам, несмотря на призывные крики выехавших их встречать квартирмейстеров. Трубачи около знамени, которое несли от самого Варадина, и офицеры на испуганных, взмыленных конях, не в силах были заглушить и перекричать песельников, дравших горло на один и тот же лад: «Эй... эй... эй...» Этот напоминавший причитание напев ширился, долетал до слуха отставших, которые толклись по колено в грязи у попадавшихся по пути колодцев, а потом бегом догоняли пустынными улицами удалявшийся с шумом и гамом полк.

Комиссар увидел полк еще у первых виноградников, за садами епископства, и решил расположить его за городом, у кладбища.

Приманкой должны были послужить костры, на которых жарили баранов и возле которых беспрестанно

трубили в горны и били в барабаны. В спускавшихся сумерках Исаковичу удалось наконец вывести солдат на поляну, упиравшуюся в ограду, из-за которой, словно пни в каменных тюрбанах, торчали из травы турецкие надгробья. Впрочем, как только полк собрался на поляне, его окружили немецкие пушкари; видно было, как они стоят в темноте у своих пушек с зажженными фитилями в руках.

Но все и без того кончилось благополучно, стоило лишь людям снять с себя поклажу и оружие.

Песня умолкла, поднялся гомон, а когда офицеры спешились и перемешались с солдатами, водворился порядок. Палатки принимали ротами, а при раздаче соломы и вина ротмистры получали вполне внятные ответы.

Загорелись небольшие костры, и лагерь, словно растянувшееся в ниточку село, был вскоре разделен крест-накрест дорогами, отмеченными пламенем костров и дымом от мокрой молодой травы. Солдаты копали ямы для ночлега, как делали это у себя дома, потом уже без суматохи под бой барабанов натягивали шатры.

Большей частью это были молодые, впервые призванные рекруты, но были и такие, что воевали уже несколько лет в разных местах. Проливали кровь и под Белградом и Гроцкой и даже рубили турок у Варадина и Темишвара под знаменами принца Евгения Савойского почти тридцать лет тому назад.

Над лагерем, над крутыми древними улочками Печуя, у подножья запущенного кладбища, на выгоне темнело так же быстро, как и дома, только там серые туманные сумерки, словно дождь, заливали болота, а тут весенний вечер опускал на них бесконечную небесную синь. В вечерней мгле показались синие скаты гор, поросшие до того редким и чахлым лесом, что в глубине его еще пламенело зарево заката. Над необъятной ширью лесов затеплились звезды, застрекотали бесчисленные цикады. Удивили солдат первые горы, особенно после привычных им равнин, удивили и взволновали.

И потому все больше становилось тех, кто, улегшись поначалу под шатрами, в ямах на соломе, поднимал головы.

Смерклось. Погасли костры. Для сна недоставало

только тишины, из города на них лился необычный и чужой звон колокола, на светившихся под горой улицах лаяли собаки, слышались крики, глухая музыка, а вскоре начали перекликаться часовые, стоявшие вокруг лагеря и у пушек. Но больше всего будоражил аромат фруктовых садов — таких обширных садов в их местах не было.

И чем больше они свыкались и примирялись с лагерем, тем меньше им хотелось спать. Несмотря на усталость и ломоту во всем теле от шестидневного перехода с оружием и амуницией, заснули лишь те, кто уже давно ко всему привык и ничему не удивлялся — ни ясному бархатному ночному небу; ни фруктовым садам, наполнявшим темноту благоуханием; ни всюду одинаковому собачьему бреху; ни костру, от которого слезятся глаза, покрывается сажей лицо и нагревается лишь одна половина тела, в то время как другая мерзнет.

Новички вставали на колени, перешептывались, окликали друг друга приглушенными голосами и тихо, как тени, собирались за шатрами.

А когда взошел месяц, под темной горой их глазам открылись необъятные просторы, залитые светом. Они увидели деревья там, где до того царил один только мрак, городские кровли вдруг вынырнули словно из-под земли, а совсем близко, казалось, за изгородями окраинных улочек, засновало множество пестрых силуэтов.

Над ними раскинулся синий небосвод, кое-где покрытый облаками, заметными только тогда, когда они проплывали под созвездиями. Необозримые до самого горизонта травы на холмах и низинах затопили едва слышным шелестом весь лагерь, где у каждого шатра так же неслышно и незаметно вырастали насыпи, вырытые невидимыми кротами. Чуть слышно перешептываясь в глубокой тишине, солдаты, прячась в тени шатров, выползали на четвереньках из лагеря и скрывались в темноте за ближайшими плетнями, в траве, в канавах, в кустах. Тихо пересвистываясь, то ползком, то бегом, низко согнувшись, быстро и сноровисто, как суслики, они перемещались от холмика к холмику, от дерева к дереву, прорываясь сквозь цепь часовых, которые, хоть и чуяли что-то неладное, но ничего понять не могли и только таращили глаза, тщетно пытаясь при

свете месяца что-нибудь разглядеть, и наугад стреляли время от времени в густую тьму.

Вскоре добрая половина тех, кому не спалось, рассеялась в потемках, устремившись к городу. В последние перед выступлением дни они всласть насытились своими женами, целуя и колотя их среди общего переполоха, плача и причитаний, и теперь шли вовсе не в поисках женщин. С горящими ногами, с натруженными шеями, они отправились в ночь, пораженные и прельщенные близостью города, большого и удивительного, так быстро промелькнувшего у них перед глазами на закате солнца по дороге в лагерь. Они хорошо понимали, что с собой не унесешь ни золота, ни посуды, не уведешь корову или теленка, и все-таки им мерещились несусветные богатства, прекрасные и необыкновенные вещи. И зная, что их ждет в лучшем случае какая-нибудь морщинистая баба, вязка лука, недоуздок или серебряная застежка от пояса, они взволнованно ушли в ночь, ушли воровать.

Поджидая друг друга неподалеку от лагеря, они собирались втроем или вчетвером, наспех расспрашивали, кто из какого села и кто у какого офицера под командой, и продирались сквозь кусты в поисках дороги, следуя за тем, кто двинулся первым. Большинство никогда в этих краях не бывали.

И чего только они не пережили в течение ночи! Все те, кто прополз сквозь кусты у лагеря, пробрались и через сады и городские стены. Точно волки, ворвались они в город по крутым проулкам, узким и влажным, как водосточные канавы. И хотя улицы были пустынны, они и в темноте находили то, что искали. Не трогая цыплят на насестах и обходя гусей, они хватали нежных голубей. Прижатые лунным светом к стенам, они отрывали окровавленными пальцами, к которым липли перья, сизые головки, чувствуя, как еще несколько мгновений горячие маленькие тельца трепещут в их руках. Их раскоряченные скачущие тени пугали собак. Там, где еще горел свет, они задерживались дольше, разглядывая сквозь щели незнакомые лица, и потом устало продолжали свое странствие.

Ушли, и не осталось после них ничего. Ничего.

Некоторые же врывались в дома. Появившись на пороге выломанной двери, они весело рычали что-то непонятное и, приблизившись к оцепеневшим от стра-

ха хозяевам, успокаивая, ласково трепали их по плечу, и своими широкими, как лопата, руками выталкивали из углов, куда те забивались, снова к очагу. Не зная языка, они мычали, мяукали, рычали и ржали, подражая всевозможным звукам, которые они слышали днем и ночью у себя дома: вою ветра, цоканью копыт, а больше всего кукареканью петуха. И бог знает как, но вскоре они договаривались с хозяевами и, собрав всех вокруг очага, что-то им рассказывали, и, хотя никто не понимал ни слова, все дружно кивали головами. Сна как ни бывало.

Они шли от дома к дому и ненароком, совсем не стремясь к этому, наталкивались и на женщин. После приглушенного визга и возни, парочки скрывались в темноте, а прощались нежно, любовно, под заросшими терновником изгородями, возле которых журча бежал ручеек. А иная даже провожала солдата по залитой лунным светом улице до самого лагеря. Из темных до того домов, из распахнутых настежь дверей после их ухода вырывался сноп света.

Однако не везде все кончалось так хорошо. Кое-где солдаты и бесчинствовали, а в двух домах без всякой на то причины подожгли кровли.

Ясный, белый, как иней, лунный свет с особой силой заливает сады, и чем темнее ночь, тем лучше они видны. На горе с широким откосом, по которому между домами рыскали конные патрули с фонарями, вылавливая беглецов, стояла церковь с огромными часами-курантами. В тени ее стен притаилась кучка беглецов; спасаясь от преследования, они случайно выскочили на городскую площадь, озаренную лунным светом, немую и безлюдную.

Огромные часы, непрестанно скрежетавшие, словно в них то и дело рвались какие-то веревки, с железными стрелками и намалеванными на белом кругу большими, непонятными знаками, поразили воображение беглецов. Они улеглись в тени стены, чтобы поглядеть, как бьют куранты, натягивая две железные, качающиеся над их головами гири. После глухого звона часы умолкали и будто прислушивались. Луна освещала большие дома перед церковью, стены и крыши нижней части города и даже леса и горы в мерцающей дали.

Ночь, озаренная молочным светом, льющимся, словно мелкий дождик, была на исходе. Новобранцы в

ссадинах, смертельно усталые, грустно потянулись, спотыкаясь, то и дело присаживаясь отдохнуть и засыпая на ходу, к лагерю.

Пробираясь безлюдными улочками, по которым рыскали патрули кирасир, почти все солдаты благополучно вернулись в лагерь. В городе задержали только двоих, затеявших драку.

Правда, на рассвете подобрали много пьяных, которые заснули в домах или на конюшнях, а разбуженные стали гоняться с ножом в руке за людьми и скотиной.

Последним в руки патрульных попал денщик Исаковича Аркадий. Схватили его уже среди бела дня около лагеря. Привязав к ноге поросной свиньи веревку, он тихо и мирно гнал ее, ласково понукая и напевая себе что-то под нос. Всю дорогу он громко икал. От корчмы в нижней части города, где он украл свинью, до лагеря путь был долгий.

Аркадий казался трезвым, шел спокойно и потому у бодрствовавших в ту ночь горожан, глядевших на него сквозь щели задвинутых на засов ворот, он вызывал лишь недоумение. Появившийся патруль не произвел на него никакого впечатления: он не кричал, не озирался по сторонам. Лениво передвигая ноги, до того лениво, что свинья сама его дергала и тащила, он плелся, бормоча ласковые слова, пока наконец совсем не умолк.

Так молча, уронив голову на грудь, он добрых полчаса шагал за свиньей от большого колодца, что у городских ворот, до деревянного распятия перед кладбищем, сопровождаемый не решавшейся задержать его толпой.

И тут свинья внезапно остановилась, он споткнулся об нее и упал. Пьяным он уже не был, просто по лености характера уснул на ходу.

Аркадий был единственным, кто вернулся из самовольной отлучки, когда уже светило солнце.

В этот день был назначен полковой смотр.

Рано поутру солдат разбудили звуки труб и бой барабанов. Ротмистры пинками будили тех, у кого был крепкий сон, а то и шатры валили. Раздали жир для смазки ружей, пистолетов и штыков.

Задымило несколько сот трубок, залоснилось несколько сот усов.

Влажные от росы, с соломой в нечесаных волосах солдаты, к ужасу офицеров, походили скорее на цыган из табора. И как только они принялись за чистку и смазку ружей, пороховниц, железных шомполов, курков, замков, цевок и прочей заржавелой чертовщины, которую передавали друг другу со страшной руганью, песельники снова затянули свое «Эй... эй...», постепенно разлившееся по лагерю подобно причитанию и плачу.

Смазав ремни, они расстилали на земле свои кафтаны, соскребали с них грязь, чесали, точно овец, свои черные меховые шапки и уже не замечали ни затянутых голубой дымкой горных вершин, ни тронутых зеленью лесов, ни утреннего благоухания трав, ни того, как первые потоки света на востоке силятся залить мглистые долины. С трудом двигая разбитыми, опухшими ногами, безвольно, едва сознавая, куда идут, начисто позабыв о доме и семье, они молча, без смеха и гомона строились в затылок друг другу и бежали вслед за едущими с палками в руках офицерами. В центре лагеря взбесился жеребец капитана Антоновича, и мигом целая толпа кинулась его укрощать. Тем временем у последних домов Печуя появился экипаж, пестреющий плюмажами и белыми париками офицеров.

Забили барабаны, меж неостывшими еще кострищами поднялась беготня. Солдаты строились, выравнивались, подтягивались.

Вынесли знамена. Одно— императорское, огромное, украшенное, словно кирасиры, перевязями, шелковыми бантами и кистями.

Поставили длинный стол, навалили на него кипу списков, прочли по ним не только их имена, но имена их отцов, жен и даже детей, и это снова восхитило их, удивило и огорчило.

Тем временем в доме комиссара, где остановился командир полка, стало уже известно все, что натворили ночью в Печуе пандуры. Двор был забит людьми. Слуги запрягали лошадей в огромную парадную карету. Торговцы и ремесленники пришли сообщить о кражах; из нижнего города с жалобами прибежали целые семейства. Женщины приволокли в качестве свидетелей плачущих детей, мужчины — стариков. Кру-

гом только и говорили о кражах, поджогах, драках и даже об одном изнасиловании.

Комиссар, еще не одетый, высунувшись из окна во втором этаже, громко бранился. В другом окне старого дома видно было, как денщик моет Вуку Исаковичу голову. Тот был в одной рубахе.

Проснувшись, честнейший Исакович подивился висящим над головой картинам, часам, которые, хоть он и выругался при этом, сыграли ему менуэт, множеству тонконогих столиков и шелковым покрывалам, на которых спали две белые кошки.

Назначенный командиром полка, он ждал, что здесь его произведут в подполковники, и потому ему хотелось, чтобы смотр прошел гладко. Тем более, что накануне комиссар ни словом не обмолвился о повышении, а до глубокой ночи разглагольствовал о глупостях, совершенных дорогой подполковником Арсением Вуичем, да о беспорядках, учиненных приморскими граничарами, которых повел на войну Иван Хорват. Словом, комиссар надоел ему за вечер до черта.

Свежий и умытый, Исакович долго стоял перед зеркалом и внимательно рассматривал широкий шрам от раны на правом плече и свои толстые обвисшие щеки, время от времени бросая взгляд во двор. И хотя ему уже надо было спешить, он делал ненужные жесты, переставал одеваться и долго оглядывал себя в большом зеркале, каких в их краях не водилось. Мясистая грудь, толстые, как бревна, ноги, припухшие веки, золотистые в крапинку зрачки и особенно живот выглядели в зеркале смешными и незнакомыми. Когда он натягивал свои красные чикчиры, ему показалось, что одевается кто-то другой, и этот другой, а вовсе не он, выйдет разряженный из комнаты.

На рассвете ему приснилась жена, и он думал о ней и сейчас, поглядывая сквозь запотевшее стекло на своего тонконогого скакуна, которому слуги мыли бабки. А вспомнив о детях, он на глазах одевавшего его солдата тихонько всхлипнул. Внезапный призыв на войну смешал все его планы. Разойдясь с братом, который поселился в Земуне и собирался приобрести большой дом в Буде, Вук мечтал сколотить семьсот дукатов и переселиться в Россию. А Россия представлялась ему огромной, неоглядной зеленой равниной, по которой он будет скакать на коне.

Дети похварывали — у младшей дочки то и дело вскакивали чирья, а он, тяжелый и толстый, как бочка, едва лишь приходил приказ, становился легким, как перышко. Мотался он по Рейну и раньше; чуть голову не сложил в битве где-то неподалеку от устья Дуная; посылали его и в Италию, хоть он и отбояривался всячески: уже был женат и обзавелся детьми. Он подал в отставку, поселился в Галаце, но все равно пришлось кочевать, гонять барки с зерном в Вену. Проторговался. Земля, скотина, болезни детей, слезы — ничто не спасало, хочешь не хочешь — колеси по миру.

Не лучше получалось, когда он кочевал всем домом. Иной раз селились где-нибудь у воды, среди садов, в тишине, тепле и покое. Но перезимовав, снова отправлялись в путь. После смерти отца он решил угомониться. Он вдруг почувствовал тесную с ним связь: отец вливал в душу покой, мир, вокруг же была одна безумная суета, бессмысленная сутолока.

А живые, о которых он заботился, жена и особенно горячо любимые дети, знай себе кочевали из весны в осень, из лета в зиму, из смеха в плач, из утра в ночь. И он не мог ни помочь им, ни уберечь их, ни удержать при себе. В первый раз он оставил их на высоком крутом берегу Дуная, в большом, желтом, окруженном тополями турецком доме, а внизу на воде покачивались лодки контрабандистов. В другой раз он покинул семью в приземистой немецкой гостинице, неподалеку от Вены. В третий раз, два года тому назад — уже родилась младшенькая,— он расстался с ними в доме какого-то грека, в Славонском Броде, где им пришлось зимовать в ожидании его брата Аранджела, который уехал по делам в Венецию. Эти дома он видел мельком, всего по несколько минут ночью и плохо их запомнил. В память врезалась только какая-то беззубая старуха, которая тряслась от плача, когда он прощался с женой. Сейчас его семья жила у брата в Земуне в большом дощатом доме с двойными стенами, засыпанными землей, на берегу Дуная, там перед окнами качались разноцветные барки, точно деревянные лебеди с изогнутыми шеями и широкой грудью. Как им там будет? Увидит ли он их еще когда-нибудь?

Мучаясь болью под коленом, на которую он старался не обращать внимания, Вук долго еще сидел, пону-

рившись, не в силах одеться до конца и опоясать оружие.

А в голову ему внезапно пришли и другие мысли. Не только его семья, но и его полк, церковь, весь народ не знали, куда податься, что делать. Свары среди духовенства в ту зиму были особенно ожесточенными, не ладилась и затеянная им постройка церкви в центре села и корчевка леса на острове, где торчали огромные, как утесы, пни,— все шло вопреки его желанию и воле. Перед самым призывом на войну его посылали в Вену с несколькими монахами, но и там он застал ужасную неразбериху вкупе с подлостью.

Лишь огромный надгробный камень на могиле отца, над которым он воздвиг голубец, незыблемо высился над зарослями трав и хлебами, вызревавшими в последние годы и в низине.

Три тополя шелестели там на ветру, и он ясно видел их из любой дали. Мудрость, покой и мир охватывали душу, когда он объезжал со сворой борзых хлеба, откуда так хорошо было видно могилу на горе. Так и сейчас, когда он смотрел на городские кровли, а в голове у него была полная сумятица, мысли об отце немедленно перенесли его на склон горы с далеко открывающимися глазу весенними просторами, и в душе воцарялись мир и порядок.

Тем временем комиссар, расфуфыренный и надутый, как индюк, с красным лицом и лиловым затылком орал на снующих по комнатам, лестницам и по двору офицеров и спасал, что еще можно было спасти. Освободил от кандалов закованных; пьяных велел окунуть головами в бочки с водой — пусть хоть захлебнутся!— оценил, скостив наполовину, и распорядился возместить причиненный жителям ущерб, а с женщинами и стариками вообще не пожелал разговаривать. Сказал только: идите богу жалуйтесь. А в единственный случай изнасилования и вовсе отказался поверить, поскольку считал, что таких случаев должно быть гораздо больше.

Быстро очистив от людей двор перед большими, обвитыми плющом окнами мрачного здания в стиле барокко, он вскочил в пышно разукрашенную коляску и заорал, в третий раз спрашивая, где командир полка Исакович. Потом спрыгнул на землю и замахал руками в сторону окна, над которым сидели в окружении

полубогов лепные голые, обвитые гирляндами женщины, сплошь усеянные воробьями.

Все это время испуганный часовой у ворот, выпятив грудь, стоял истуканом, взяв ружье «на караул» и чуть покачиваясь на пятках.

Голова комиссара была целиком занята предстоящей речью, он то и дело вытаскивал из кармана длинный, скрепленный большими красными печатями свиток с циркуляром, который прислал ему инспектор действующей армии, генерал от кавалерии граф Сербеллони, на этом самом свитке комиссар написал для памяти первую фразу своей речи. Ее, собственно, он только и помнил: «Вы, сербы, охотнее всего избираете военное поприще, потому...»

Волнуясь, что совершенно забыл продолжение речи, комиссар упорно твердил первую фразу, разумеется по-немецки, каждому, кто в это утро попадался ему на глаза. Но дальше дело никак не шло.

По-сербски комиссар умел только сквернословить, он выкрикивал в лицо офицерам самые отборные ругательства, о ночных же происшествиях говорил по-немецки. Однако по рассеянности он и после крепких слов обращался к адъютанту, который следовал за ним по пятам, и говорил:

— Ауэрсперг, скажите им это по-сербски...

Наконец, весь запыхавшись, прибежал Исакович, и оба они, взбешенные и сконфуженные, уселись в коляску и покатили в окружении эскорта конных офицеров.

Всю дорогу оба хранили молчание, только комиссар выпалил первую фразу из своей речи и тут же в ужасе убедился, что дальше так и не может припомнить. Исакович злился, чувствуя страх перед этой разряженной бабой в военной форме, а комиссар злился потому, что Исакович своим весом накренил коляску на одну сторону и ему пришлось сидеть скособочившись.

Их встретил грохот стрельбы, реющие знамена, рев команд, приветственные крики и рапорты...

Солнце не могло пробиться сквозь тучи. Утро выдалось пасмурное, но теплое.

Выйдя из коляски, комиссар поглядел на небо, не будет ли дождя, и остановился перед строем. Солдаты дрожали от страха, да и он сам дрожал от страха, когда воскликнул:

— Вы, сербы, охотнее всего избираете военное поприще, потому...

Ничего больше комиссар из себя так и не выдавил. Чтоб замять дело, он быстро прочел рескрипт коменданта города Осека, маркиза Гваданьи. Потом, широко шагая, подошел к столу и начал смотр.

Окруженный толпой немецких офицеров-кирасиров, он, потея и пыхтя, сам лично осматривал ружье за ружьем, солдата за солдатом, пистолет за пистолетом; стараясь обнаружить грязь, совал в каждое дуло мизинец и отстранял от себя направленные в грудь ружья. Проверял записи в книге, осматривал головы, ноги, штык каждого солдата. Отстегнув саблю, он все чаще поворачивался к своим офицерам и все веселей твердил:

— Какие люди! Какие косматые люди!

Так оглядев, ощупав и опросив сотни солдат, пропустив через свои руки тысячи ремней, пистолетов, застежек, отослав одних к кузнецу, других к ружейникам, третьих к шорникам, он задержал тех, кого хотел наградить. Комиссар был доволен: набралось больше сотни солдат, которые умели хорошо выговорить «Мария Терезия...», добавляя при этом «Виват!». Кроме того, было немало таких, что, не останавливаясь, могли взять на караул. Найдя полк в отличном состоянии и получив указание быть снисходительным, комиссар решил замять то, что произошло ночью.

У него была болезненная страсть наказывать рапортами. Он имел обыкновение пропустить полк, а вдогонку послать написанное колючими, как иглы, словами четкое и резкое донесение. Пусть с полка дерут шкуру другие! И все-таки, чтобы излить желчь, он, весь красный и потный под напудренным париком, обернулся к неподвижно застывшим с непокрытыми головами офицерам и, сунув одну перчатку за пояс, принялся всех их мерить взглядом. Потом с любезным, но несколько озабоченным видом, устремив взор к церковным куполам, вокруг которых кружилась стая голубей, процедил сквозь зубы:

— Господин Исакович, поздравляю вас, особенно хорошо оружие, да и фураж не плох. Все наказания за прошлую ночь отменяются... то есть... кроме одного. Насильника прогнать сквозь строй!

Вот таким образом было решено пролить кровь Сла-

вонско-Подунайского полка, пролить прежде, чем он дойдет до Рейна.

После короткого, молчаливого замешательства, охватившего весь полк, раздались новые команды, и солдаты, сложив оружие, были выведены за лагерь, дабы произвести экзекуцию и навсегда запомнить ночь краж, непокорства, пьянства и блуда.

Полк выстроился как на параде в две шеренги, солдатам роздали триста крепких прутьев, мокрых и сизых, свистевших при взмахе.

Опустив головы, упершись тяжелыми ножищами в землю, они молча стояли друг против друга.

Взглядывая исподлобья направо и налево, они видели два бесконечных ряда огромных ног, и каждая пара словно приросла к земле.

Осужденного со связанными чуть повыше лодыжек ногами и руками, стянутыми у локтей, принесли и бросили перед входом в эту необычную аллею, через которую ему предстояло промчаться не переводя дыхания, аллею, где вместо деревьев неподвижно стояли его земляки с прутьями. Связанный по рукам и ногам, с заткнутым ртом, тяжело сопя, он ждал, что его понесут, и время от времени дергался так, как еще недавно дергались лежавшие тут перед закланием овцы.

Пока у знамени под барабанный бой читали приказ с большими висящими печатями, осужденный, поджав под себя ноги, лежал на земле, и лицо у него было темным, как земля.

Офицеры надели треуголки и вскочили на коней.

Исакович, наливаясь бессильной яростью, приказал позвать фельдшера и подъехать повозке, чтобы после экзекуции взвалить на нее несчастного как падаль. Он знал этого солдата, как знал их всех в лицо.

Потрясенный мыслью, что через несколько минут солдат будет, вероятно, искалечен и слеп, он подъехал ближе, перегнулся в седле так, что едва не свалился с лошади, и увидел, что бывший пономарь из его села плачет. И Вук Исакович, повинуясь какому-то безотчетному побуждению души, тихо промолвил:

— Прости мя, Секула, в недоумении моем, что делать! Рассуждай: нахожуся в нужде! Не проливай слез! Обрящу ли аз полк к далекой велелепной деннице? И мой долгий живот пройдет, аки краткое житие. И камо аз пойду... горькость смерти вижу...

Потом голого по пояс солдата понесли к двум живым берегам узкой прямой речки, которую он должен проплыть до конца, над ней поднялись, точно ветви верб, прутья...

А когда ему развязали ноги и вынули изо рта кляп, он закричал, уже ощущая удары, но спасения не было — в тот же миг его толкнули между шеренгами.

Первый неловко ударил его по голове. Прут рассек под волосами кожу, но не сильно, на лбу появилась тонкая струйка крови. Барабанщики забили в барабаны.

Какое-то мгновение он стоял, широко открыв глаза, но тут второй ударил его по лицу, так что лопнули губы и брызнула кровь. И только тогда он кинулся бежать, осыпаемый градом неловких ударов по голове, шее, спине и груди.

Воя от боли, окровавленный, со связанными руками, он бежал тяжело, весь извиваясь и покачиваясь из стороны в сторону; издали комиссару в экипаже и кирасирам на лошадях казалось, что это колышется на ветру большой цветок — то белый, то красный.

Когда он упал в первый раз, его окатили водой и толкнули дальше. На мгновение вода, облившая лицо, голову и грудь, вернула ему зрение и силы, и он как безумный побежал снова. Оба его уха, похожие на рыбьи жабры, уже висели кровавыми лоскутьями.

Вскоре он упал снова, сунувшись связанными руками между ног солдат. Ноздри его были разорваны, ладони и пальцы висели точно лохмотья.

Размахивая связанными руками, прижимая их к ничего не видящим глазам, он теперь не бежал, а шатался из стороны в сторону, падал, полз на четвереньках, брызжа тонкими струйками и родничками крови.

Согнувшись над упавшим кровавым клубком, солдаты, торопясь опустить прутья, секли друг друга.

На загривке и плечах кожа у него была содрана, и кровавое мясо свисало клочьями, голова упала на грудь, наконец он свалился без памяти. Изредка приходя в себя, он дергался от ужасной боли.

Все кончилось за несколько секунд. Фельдшер обмывал и перевязывал беднягу, не в силах обнаружить у него ни носа, ни губ, ни ушей, ни глаз. Теперь и родная мать не узнала бы сына.

После экзекуции полк вернулся в лагерь. Постави-

ли усиленные караулы и не только вокруг, но и в самом лагере.

Когда в городе узнали, как наказан полк, жителей охватил безумный страх. С раннего вечера все крепко-накрепко заперлись. А когда лунный свет залил улочки, весь город трясся от страха.

Однако вечер прошел тихо и мирно, лишь полк, как побитый пес, скулил и завывал за околицей.

На заре предстояло идти дальше. Следующий бивак был назначен у города Радкерсбурга.

Полковые офицеры собрались в тот вечер во дворце печуйского епископа, который знал их язык, так как в окрестностях города жили тысячи правоверных католиков-славян.

Исакович весь день провел в доме комиссара, и команду над полком принял старший из офицеров Пишчевич из Шида. В ожидании назначенного часа офицеры стояли в глубине большого парка у мрачного здания, над входом в которое ангелы держали епископский герб.

Откуда-то доносился запах сирени, разливался свет фонаря. Над головами офицеров с ангела спускался по широко раскинутой сети огромный паук, но черные парадные треуголки мешали им его заметить.

Точно в назначенное время встреченные слугами офицеры вошли во дворец, чтобы прослушать торжественную мессу во дворцовой церкви за «многие лета и дарование победы» Марии Терезии.

Статные, косматые, в расшитых серебром красных суконных мундирах, они, недоуменно переглядываясь, крестились тремя перстами, когда епископ благословляя их, гнусавил:

— Dominus vobiscum! [1]

Они слушали мессу как одурманенные, их завораживало все — небесная игра органа, пение хора, запах ладана, непонятные латинские слова и ангельский вид красивых мальчиков, которые помогали епископу во время богослужения.

Озаренные неярким светом, пробивавшимся сквозь разноцветные стекла, сербы сидели на огромных ска-

---

[1] Господь с вами! *(лат.)*

мьях, сгорбившись, звякая при каждом движении саблями и млели от охватывающего их восторга. Они следили за размеренными движениями священников, часто преклонявших колено перед золотым потиром, разглядывали русоволосых детей с ангельскими личиками и необычные окна, в которые врывался небесными красками догорающий вечер.

Вспоминая свои причудливые деревянные церкви, где пели скопом и громко плевались, диких, неистовых попов, они, таясь друг от друга, все больше размякали и, умиленные, потрясенные, вбирали в себя чистые и мелодичные католические кантилены, пение скрипок, великолепный хоровод священников вокруг епископа, стоявшего под дорогим балдахином.

К концу службы подавленные сербы почувствовали страшную усталость, словно их околдовали. Безмолвно, не обменявшись друг с другом ни словом, они прошли через парк к освещенной лестнице дворца, приложившись перед тем к руке епископа.

По соседству с парадным залом, в котором был накрыт ужин, в комнате с балконом, обтянутой красным шелком, они долго ждали Исаковича. Когда он наконец пришел, их поразило его мрачное и серое, как пепел, лицо.

Разукрашенный голубыми шелковыми лентами и перевязями, в треуголке с белыми перьями и серебряными кистями, он походил на набитое соломой чучело.

Чикчиры его были скроены так, что едва не лопались, когда он сидел, а когда стоял — висели мешком. Тело его, казалось, было смято и силой втиснуто в мундир. Седовато-рыжие жесткие, как щетина, волосы топорщились; растрепанные усы подергивались; вытаращенные глаза смотрели в сторону. То ли он порывался куда-то идти, то ли сказать о чем-то своим болезненно кривящимся ртом. Его отекшее лицо тряслось от гнева и отчаяния и только большой плоский нос и две тяжелые слезы на нем были неподвижны.

Тщетно пытались успокоить Вука подбежавшие офицеры, уложив его, точно колоду, на стоявший вдоль стены диван. Он кипел от ярости и дрожал всем телом.

Зная, что он страдает от удушья и колик, ему ослабили ремни, расстегнули ворот и обнажили грудь, между кружевами рубахи зачернели густой порослью

волосы, обильно покрытые крупными горошинами пота. Судорожно схватившись за живот и приподнявшись, он закачался, словно в забытьи, из стороны в сторону.

Когда слуги распахнули двери в трапезную и пригласили всех к богато накрытому столу, Исакович вздрогнул и с какой-то медвежьей силой поднялся на ноги. Веки у него совсем посинели. Предложив офицерам знаком пройти вперед, он тихо сказал:

— Идите и не будьте в обиде на немощь мою. И да не потребует ум ваш от меня праздных слов. Воздайте честь царствующей императрице. Но храните в душе тихую надежду нашу: сладостное православие.

И когда он увидел, что они с удивлением на него смотрят, снова указал им рукой, чтобы они шли, и еще тише повторил:

— Сладостное православие.

Они не знали, как тяжко и горько закончился день в Печуе перед уходом на войну для командира Славонско-Подунайского полка, его благородия майора Вука Исаковича. Зажатый между огромными вазами из фаянса и венецианского стекла, которые он боялся разбить, и уже изрядно нагрузившимся комиссаром, еще больше, чем сам он, разукрашенным различными перевязями и шелковыми лентами, на которые он все время боялся сесть, Вук должен был рассуждать о делах рая и ада, об ангелах и архангелах, поскольку епископ и комиссар втемяшили себе в голову во что бы то ни стало его окатоличить.

Комиссар страстно любил рапортовать об успехах. Вот он и воспылал желанием, проводив Славонско-Подунайский полк на поле рати, написать своим тонким острым почерком рапорт о том, как командир полка, Вук Исакович, один из лучших подчиненных ему офицеров, просвещенный чудотворящими речами печуйского епископа, склонился к тому, чтобы поцеловать туфлю его святейшества папы и таким образом отправиться воевать на Рейн как правоверный, то бишь наиправовернейший герой из «подведомственного ему военного округа».

Не обмолвясь ни единым словом о производстве Исаковича в подполковники, комиссар пел все те же песенки об императрице, о дворе, о Вене, которые должны были подтвердить то, что было и так ясно как

день, а именно: Вук Исакович должен принять католичество.

На желтой стене между двумя шестисвечниками висела икона св. Екатерины Сиенской со стигмами на коже и глазами, устремленными в небо.

Комиссар, накричавшись за целый день, наконец умолк, предоставив дело епископу. Он раскис от вина и запарился в своем тяжелом парике. Нижняя губа его отвисла, лицо позеленело — ни дать ни взять старуха, которую вот-вот вывернет наизнанку. Про себя он уже составлял рапорт о своей неудаче в четких и резких выражениях. При этом ему хотелось подробно описать православный мир в «своем военном округе». В помутившемся сознании наметилась и первая фраза: «Сербы охотнее всего избирают военное поприще, потому...», но скоро ему наскучило думать и почудилось вдруг, что посиневший Исакович превратился в икону.

Комиссар совсем оцепенел и только осоловело хлопал из-под парика глазами.

Дома уже, верно, укладываются, думал он, обе кошки спят. Поглаживая указательным пальцем свой крючковатый нос, он ожидал, как поведет дело епископ. Завтра надо будет послать графу Сербеллони два донесения. Сегодня он наденет чистую ночную рубаху. Это очень приятно.

Зал был оклеен желтыми обоями. Рядом с иконой св. Екатерины Сиенской висела св. Терезия, а в углу дева Мария наступала голой красивой ногой на змею и на серп месяца.

Какие жилы на руках! Вино просто дрянь! Он открыл было рот, чтобы кликнуть адъютанта: «Ауэрсперг!», но того в комнате не было. В трапезной звучала музыка. Сквозь распахнутые двери доносился запах сирени. Сегодня он наденет чистую ночную рубашку.

Комиссар принялся считать свечи. Дошел до одиннадцати и сбился.

Мягкий и улыбчивый епископ полагался на волю божью.

Он распорядился накрыть для них троих стол в комнате над церковью, в южном крыле дворца, где обычно гостила сестра или тетка.

Эта комната со множеством ангелов на потолке

пропахла каким-то особым запахом. Весной из окон открывался прекрасный вид на окрестные горы.

Комната была далеко от трапезной, и епископ привел Исаковича ужинать сюда, где было тихо и спокойно и никто не мешал обильно запивать ужин отличным вином, которому было почти столько же лет, сколько мальчикам из церковного хора.

Сделав вид, что он устал от спора, начатого им еще вчера вечером, епископ ждал, пока утихнут страсти вокруг церковных обрядов, патриарха, причастия, крещения, пасхи, о чем, кстати, ни тот, ни другой не сказал и одного умного слова. А каких только глупостей не наговорили они о латинском клире!

Распахнув настежь двери так, что из сада в комнату заглядывали кисти сирени, грозди акации и свечи каштанов, а синие горы да мерцающие в небе звезды казались ближе, епископ слушал музыку, склонив голову к левому плечу, и доказывал, что католическая церковь — прежде всего ласковая, нежная и внимательная мать. Не упоминая о возможных выгодах, он уговаривал майора лишь поразмыслить со своими офицерами над тем, сколько горя могут причинить их детям злые люди, ненавидящие православных схизматиков, а таких людей он немало встречал и при дворе. Время от времени его преосвященство клал свою пухлую белую руку, на которой поблескивал перстень с большим черным камнем, на руку уже изрядно опьяневшего Исаковича.

Вот так, в глубине темного парка, в крыле старого дворца с большими освещенными окнами, под сенью их черных крестовин и теней на стене от серебряных подсвечников, велась долгая упорная борьба.

Окруженные с трех сторон желтыми стенами, они сидели у заставленного яствами и винами стола, усталые и отяжелевшие, и своими речами, шепотом, восклицаниями все глубже погружались через распахнутые белые двери в ночь, так приблизившую к ним леса, горы и бескрайнее звездное небо, поблескивающее над городом.

— Надобно быть католиком! Разве можно не быть им, если и сама императрица католичка? Прекрасная императрица. Императрица, соединившая в себе два дивных имени: Мария и Терезия. Мария! Мария безгрешная, Мария пречистая, сосуд избранный, звезда

утренняя. Мария чудесная, Мария Богородица. А чтит ли кто из сербов и знает ли святую Терезию? Терезия! Огонь! Солнечный круг, опоясывающий тело. Пламя, в котором сгорают, стремясь к грядущей лучшей и сладостной жизни. Терезия! Мечом пронзенные, белые, мужчиной не тронутые груди! И, наконец, свет! А свой народ надо вести к свету. А свет только в католицизме! Когда солнце заходит на западе, в тот же миг оно появляется на востоке. В католицизме! И каково будет солдатам, которые в глазах своего государя были и остались схизматиками? Неужто он, Исакович, хочет обречь себя на вечные муки, на мытарства души не только своей, но и своих детей, на муки, которые подобно извести в могиле до скончания века будут разъедать им мясо до кости, пока они живут в этой стране, а их из нее уже не выпустят?

Мария Терезия. В первой букве ее имени заключена таинственная сила: «М»—обозначает тысячу. «М»—потому что Мать, «А» — потому что Ангельская. «Р» — потому что Рассадница. «И» — потому что Избранная. «Я» — потому что Ясная.

И Терезия: «Т» — потому что Теодицийная. «Е» — потому что Евангельская. «Р» — потому что вторично будет Рассадницей. «Е» — потому что Единственная. «З» — потому что Зенитная. «И» — потому что Иерусалимская. «Я» — потому что Ясная.

Исакович, почувствовавший после ужина привычную резь в желудке, страшно перепугался велеречия епископа. Опасаясь, что ему не удастся отвертеться и его тут же, в Печуе, окатоличат, он воззвал в лютой печали к своему патрону святому Мрату.

И святой Мрат помог ему среди моря разливанного вина, сверкающих бокалов и горящих свечей, он надоумил его поступить так, как поступал его брат Аранджел при заключении торговых сделок, спаивая валахов, турок или венгров. Вспомнив об этом, честнейший Исакович решил последовать примеру брата и напиться самому. Рассудив, что уж если его окрестят силой, то хотя бы не трезвого.

И приналег на вино с таким усердием, что епископ онемел от удивления.

Все более багровея, сохраняя лишь проблески сознания, Исакович доказал, что не нуждается в длительной поддержке святого Мрата.

— Здравствуй,— сказал он,— мое благословенное православие, многие лета матери моей церкви, и пусть вовеки живет она в моих потомках. Благословенна будь и Россия наша. Бога творца молю дать мне узреть путь мой в Россию. Россия! «Р» — потому что Рождество. «О» — потому что Оживотворение. «С» — потому что Славянская. «И» — потому что Иисусова. «Я» — потому что...

Майор так и не закончил: хоть он и насосался, как губка, он понял, что говорит не то, что следует, и струсил. Испугавшись, он совсем обмяк и попытался замазать свои слова, прибавив: все, мол, тлен, прах, суета сует... празднословие... умираешь все равно как скотина. При этом он попробовал встать, чтобы уйти.

— Ни души нет,— бормотал он,— ни бога... тщета одна, а не жизнь... все тлен... смерть... празднословие.

Тут епископ отвел от него холодный взгляд и, поеживщись, поглядел в темноту. Полночь давно уже миновала.

— А если посмотреть в ночь? — спросил он.— Стать вот у дверей, на пороге тьмы, оглядеть залитые лунным светом поля? Вот эти горы на горизонте... город, крыши... облака... созвездия... небо, полное света? Если помолчать, глядя на все это? Неужто и тогда все покажется бренным и безумным... бессмысленным... и возможно ли, что все это лишь пустая бездна?

Честнейший Исакович принялся будить комиссара и, уже совершенно пьяный, уставился в усыпанное звездами небо, поглядел на залитые лунным светом поля... далекие леса... горы... облака... и прошептал прямо в лицо епископа:

— Туда аз пойду...— И заплакал.

III

День и ночь текла широкая, ленивая река, а в ней — ее тень

Весной тысяча семьсот сорок четвертого года дом Аранджела Исаковича — большое строение у самой воды на окраине сребробогатого Земуна — был заново оштукатурен. Окрашенный желтой и голубой краской, он возвышался над окрестными соломенными кровля-

ми и был хорошо виден сквозь чащу верб, на фоне пожарищ и шанцев, где поселились аисты; все рыбаки и барочники его хорошо знали.

Стоял он, зарывшись в крутой, взрыхленной весенними водами, первыми травами и кротами берег Дуная, в окружении множества деревянных расписных, с выгнутыми шеями, ладей-лебедей. Глинобитный, с крышей, сделанной из палубы баржи для перевозки зерна, он господствовал над всеми окрестными конюшнями и хлевами и походил на какой-то допотопный корабль. Оттуда неслось хриплое мычание волов и коров, блеянье козлов и баранов, овец и ягнят, слышался конский топот и рев верблюдов.

За высокими заборами усадьбы, где с утра до ночи, увязая в глубокой грязи, грузили суда, Аранджел Исакович держал оборыши скотины, пригнанной с лиловых долин Шара и пастбищ на берегах Быстрицы.

Направо поблескивали широкие воды и залитые острова, над которыми белели в голубом небе минареты и крепостные стены Белграда, налево — разлившаяся река переходила в бескрайнее море грязи, сливавшееся с темной синью горизонта.

Окруженный глубокими канавами, сараями, загонами, скирдами сена, запах которого на закате пропитывал не только сверкающий воздух, но и проникал сквозь накаленные и плотные глинобитные стены, этот дом среди непрестанной суеты, несмолкаемых криков пастухов и лодочников, рева скотины и понукания погонщиков все-таки оставался тихим. Закрытый со всех сторон, он имел одно-единственное низенькое крыльцо, где постоянно копошились голуби и сушились на стропилах кожи. А по вечерам, когда к нему подходили барки и вокруг зажигалось множество костров, он и в самом деле напоминал огромный, застрявший в болоте корабль.

Вот сюда-то и отправил Вук Исакович жену и дочек. Прибыли они под плач и причитания толпы женщин и старых слуг в тяжелом рыдване, заваленном расшитыми зубунами, коврами, мехами, серебром, были там и серебряные пуговицы и даже иглы для шитья жемчугом.

Аранджел Исакович относился к старшему брату как к младшему. Сухой, как щепка, он снисходительно поглядывал на толстого, как бочка, брата, благосклонно

уступал ему место поудобней, а разговаривая, улыбался и смотрел не в глаза, а куда-то повыше плеча и никогда не отвечал на вопрос сразу.

Еще с тех времен, когда брат служил в Белграде у принца Александра Вюртембергского, Аранджел привык платить его долги, вызволять после драк из тюрьмы и лечить от ран и болезней после войны. Сопровождая отца, который ходил с войсками до Стамбула и Вены, он торговал зерном, скотиной, табаком, а потом все больше серебром, давал взаймы деньги всем и каждому и уже спустя несколько лет, преодолевая по вечерам дрему, тщетно старался подсчитать, кто и сколько ему должен. Брат был для него последней заботой. Аранджел вспоминал о нем где-нибудь в дороге лишь как о случайном должнике в военной треуголке, затесавшемся по недоразумению среди шляп и фесок горожан, с которыми он вел дела в Валахии или Турции.

Он пытался отвратить Вука от военной службы, обучить его торговле, но того очень скоро вновь потянуло к лошадям и сабле. После смерти отца братья довольно долго жили вместе, но Вук стал сущим наказанием, растолстел— бочка бочкой, превратился в пьяницу, развратника и страшного скандалиста.

Тогда Аранджел женил брата, умолив предварительно все комендатуры до самой Вены и подкупив весь чиновный Осек, откуда его пришлось с большим трудом вызволять, чтобы повезти на заручины. Невесту ему он нашел случайно, в Триесте, куда приехал по делам, в доме неких Христодуло, которые задолжали ему восемь тысяч серебром. Они быстро договорились. Вуку девушка понравилась, она была молодая, высокая, сильная и упорно молчала, глядя на него своими большими синими глазами.

Венчал их Аранджел по дороге, в Броде, торопясь по делам, в доме своего приятеля грека. Потом отправил за свой счет прокатиться вверх и вниз по Дунаю, как отправлял гурты скота. И только услыхав, что невестка на сносях, гордясь за Вуковичей-Исаковичей, по примеру старших, поехал проведать молодоженов, а заодно немного передохнуть от бесконечных путешествий, торговли и всяких, уже ставших привычными подлостей. И вот тогда-то, увидев беременную Дафину, Аранджел понял, кого отдал брату.

Стройная и сильная, напоминавшая ангела на иконе,

длинноногая и полногрудая, она проплыла мимо него, покачивая бедрами, словно хотела показать, что ее налитое, твердое, как камень, тело все играет и колышется. Аранджелу показалось, что ничего подобного он никогда еще не видал.

Погостив у брата всего несколько дней, Аранджел бежал из его дома сломя голову, как дьявол от креста. И потом присылал только подарки — серебро, шелка, кораллы — а если и приходилось ему приезжать, то делал он это с большой неохотой и каждый раз покидал дом брата совершенно разбитый. Он высох прежде времени, пожелтел, у него разболелись суставы. Он предпочитал водные торговые пути и плавал на своих судах, молчаливый и задумчивый. Через несколько лет плечи его опустились, а пальцы стали дрожать.

Дафина снилась ему почти каждую ночь.

Он видел ее в каждом темном углу. Ему чудилось, будто его окутывают ее легкие, как шелк, волосы с густым ореховым запахом. Они касались его не раз, когда она подходила к руке. И он тоже изредка касался ее головы, а потом быстро вонзал свои ногти в табак, который сушился на солнце или у очага.

В ее отсутствие он часто погружался в задумчивость, представляя себе ее высокий лоб и брови, которые ее братья называли пиявками, а когда она была дома, то не спускал глаз с ее бледного лица с чуть изогнутыми губами и длинными ресницами, под которыми таился мрак. Он мог часами под любым предлогом ждать минуты, когда она, устав от табачного дыма и кофе, идет на покой, как расправляет, покачивая перетянутой талией, крутые широкие плечи, чтобы вынуть два крупных жемчуга из ушей. При этом ее движении Аранджела начинала бить дрожь.

Прикрыв веки, он видел ее белую кожу, грудь, глаза, большие и синие, цвета зимнего, чистого, вечернего неба, которые никогда не мутнели, глядя на него.

Первые годы он бежал от невестки, как бегут от беды, сердито бормоча: «Господи, пронеси!» Подобно тому, как он избегал горячих лошадей и крепких вин, подобно тому, как однажды он в страхе тайком убежал из одного постоялого двора в Брусе, он оставил и дом брата. О том, чтобы отнять у брата жену, он не мог и подумать. Ему вдруг показалось, что это вовсе не та женщина, которую он высватал для брата. Поначалу

он даже испугался за него, увидев, что привел в дом дьяволицу. Эти стройные, сильные ноги, грудной смех, волнующаяся под платьем грудь, покачивающаяся походка! Как глубоко она затягивалась, когда курила! Как колыхалось под венецианским одеялом ее податливое тело! Все это вызывало в памяти валашек, итальянок или армянок, с которыми он сходился во время своих коммерческих вояжей. И он испугался, как бы она тут же, в доме, под боком у мужа, не пошла на грех в благодарность за те подарки — бусы и жемчуг, которые он ей приносил. Или, чего доброго, не спуталась с каким-нибудь слугой, матросом, бог знает с кем. И снова удирал.

Потом он увидел ее с грудным младенцем и чуть не заплакал. Столько было небесной чистоты в ее взгляде, столько целомудрия в движениях, кротости в голосе. С невольным чувством жалости к себе, он в шутку сказал ей однажды, как бы она жила, если б была его женой. Как бы он лелеял ее, возил повсюду с собой, как наряжал. Аранджелу казалось, что жизнь прекрасна и куда бы он с этой женщиной и ее ребенком ни поехал, ему все было бы в радость. А целуя ее ребенка, он вспоминал сотни и сотни валашских, немецких и венгерских детишек, с отцов которых он немилосердно драл шкуру. Он понял, что люди, которых он до сих пор любил мучить, сидят вот так же подле своих жен и детей, и поклялся отныне оставить их в покое. Тогда он впервые осмелился ее коснуться. Украдкой трогал ее расплетенные волосы; прильнул как-то долгим поцелуем к ее щеке, а однажды невольно сжал ее крепкие плечи, когда помогал застегнуть платье, хотя она его об этом не просила. Часами он просиживал возле невестки, возясь с ребенком или с собаками, и пожирал ее глазами. Но ему ни на минуту не приходило в голову, что он может пожелать жену брата своего. Напротив, Вук казался ему счастливым человеком, а его собственная любовь к невестке, непонятная другим, была чем-то само собой разумеющимся. Он жил для них, запустил даже свою торговлю, чтоб только устроить их наконец на постоянное место жительства.

Понимая, что счастье выпало брату случайно, Аранджел решил, что такова судьба, что он тоже мог бы случайно жениться на этой женщине, но коли не пришлось, значит, так тому и быть. И потому не огорчаясь

и не отчаиваясь, прожил с ними до самой весны. Раскатывал в своем рыдване по залитому паводком краю, следил за постройкой церкви, которую затеял брат в основанном еще покойным отцом селе, ездил по церковным делам, в которые его втянул Вук, а возвращаясь домой, всегда целовал Дафину и ее дочь, словно они были его женой и ребенком. Совершенно счастливый, он отправлялся поглядеть на поднимавшуюся среди болот в долине озимь; с мыслями о Дафине наблюдал за полетом птиц, сидя в барке и греясь на солнышке во время своих частых поездок в Буду.

И все-таки после этих полных тихого покоя дней, осененных белыми облаками акаций, Аранджел, сам того не сознавая, начал вносить в семью брата разлад. Все чаще касался он рукою волос Дафины, плечей ее и стана; все чаще приближался к ней, чтобы вдохнуть запах ее кружев под горлом; все чаще стал помогать, несмотря на множество горничных и нянек, укачивать на ночь ребенка или одевать его поутру. Вук постоянно уезжал под Варадин обучать солдат рыть осадные апроши и шанцы или в оружейные мастерские в Митровицу и ничего не замечал. А о том, что замечала и думала сама Дафина, прочесть по ее лицу и глазам было невозможно. И вот как-то вечером на вербной неделе Аранджел пришел к ним и, узнав, что она купается в закуте, где стояла большая глиняная печь для выпечки хлеба, захотел туда войти и, дрожа всем телом, понял наконец, чего добивается и чего ждет. И тут же, не простившись, уехал и долго, несмотря на просьбы брата, не возвращался и не давал о себе знать.

И только когда у них родилась вторая дочь и когда она вся покрылась чирьями, Аранджел откликнулся на просьбу брата, который собирался в Италию, и приехал к ним в Вену. Жили они в низенькой маленькой гостинице среди фруктового сада. Брат раздался, отяжелел и совсем поседел, но все еще был красив. Дафина любила его горячо и страстно, но любовь ее показалась Аранджелу животной и тошнотворной. Они целовались, не стесняясь его присутствия, поминутно обнимались и прижимались друг к другу. Всю ночь он слышал их шепот и воркование, а больной ребенок без конца просыпался и плакал. И хоть она была еще краше, но уже не пьянила его своей походкой, гибким станом и пышной грудью. Так, по крайней мере, поначалу ему представ-

лялось. При прощании ее опухшее от бурных бессонных ночей лицо было заплакано. Боясь потерять мужа, она целовала его ненасытно, бесстыдно ревнуя его к фурланкам и венецианкам, за которыми он будет волочиться, и пыталась так угодить ему перед разлукой, чтоб он каждый день мечтал о возвращении.

Пыталась она это сделать всячески. Надевала привезенные из Триеста и Венеции наряды с прозрачными кружевами, шелковые чулки, лифы и снова все снимала. И хотя ей было не до песен и ходила она вся заплаканная, Дафина пила и пела. Уединяясь с мужем, целовала его в шею, губы, уши.

Аранджел, сухой и желтый, прожил эти несколько недель как в аду. Стольный город напомнил ему сумасшедший дом, по которому бегают неизвестно почему и зачем солдаты, лошади, пожилые господа и полуголые дамы, дворцовые офицеры и ремесленники. Заработав тысячу талеров на продаже серебра знакомому греку, некоему Димитрию Копше, Аранджел был не то что недоволен, просто ему было необычайно скучно. Вука он любил с детства за его силу, за то, что тот умел говорить по-цыгански, любил и сейчас как память об отце, как глупого, пустого солдафона, который только его и побаивался. Прибрав к рукам после смерти отца обманным путем все наследство и богатея с каждым днем, Аранджел раскаялся потом в своем поступке и щедро, по-братски помогал Вуку. И вот сейчас впервые он показался ему совсем чужим.

Отправляясь ежедневно в Штаб или ко двору, брат натягивал рейтузы и напяливал на голову парик, он сбрил усы и кичливо носил ордена и голубые ленты — одну в ладонь шириной и другую поуже — в палец. Он доставил двору письмо от патриарха Шакабенты, работал с графом Гайсруком над переписью военных славонских поселений, стал задумчивым, озабоченным, молчаливым, но в то же время надменным. Разумеется, это раздражало Аранджела и не вызывало в нем никаких братских чувств, напротив, было непонятно, почему он должен любить этого разодетого, как пугало, толстого увальня с этим его огромным носом и налитыми кровью желтоватыми в крапинку глазами. Все это время Аранджел ничего не делал и только курил без остановки да перебирал без конца свои четки. Ему нисколько не было жаль, что одряхлевшему, израненному

и состарившемуся брату снова приходится уходить на войну, что его могут убить и что сам он, Аранджел, через неделю-другую может остаться на свете один как перст, без отца, без брата. По-прежнему будут сновать люди, проплывать барки, а он будет так же торговать, есть, перебирать четки. Какое ему дело до брата! До его носа, до его вечно больного желудка, до его монахов, о которых он беспрестанно говорит, до его детей, которых он хочет сбагрить ему,— он так об этом и сказал.

И невестка сейчас была неприятна Аранджелу. Она уже не была той прекрасной женщиной с ребенком, которую он однажды, пораженный и опечаленный, поцеловал, весь дрожа от грешного желания. Теперь она вызывала омерзение. По утрам он видел ее в постели, разгоряченную, с расширенными от страсти глазами. Вечерами слышал через стену ее любовный шепот. Видел, как она увлекает брата пораньше в постель, как меняет то и дело наряды, повизгивает или плачет на шее мужа. Правда, только теперь она расцвела в пышную красавицу, страстную и бесстыжую, но разве она была не такая, как все прочие, с которыми он имел дело? И разве эти вечно больные, хнычущие дети и к вечеру обычно немного пьяная женщина — это то, чему можно завидовать так же, как шрамам, орденам, славе? Пусть Вук ломает себе шею вместе со своим конем где-нибудь в Италии, но не рассчитывает, что это в какой-то мере касается его брата.

Все это он выложил Вуку.

А когда тот вернулся, Аранджел снова стал избегать его дом, по-прежнему испытывая в тайниках души вожделение к невестке.

И только когда Вук должен был отправиться на войну в четвертый раз, Аранджел согласился приехать и проститься с ним.

По дороге он сначала заехал в Земун, откуда было проще наладить торговлю с турками, чтобы осмотреть купленный им дом. Потом, не предчувствуя беды, явился к брату таким же враждебным, ехидным и желчным, как при расставании. Вук, постаревший и переменившийся, тоже встретил его неласково.

Но при виде невестки Аранджел остановился словно громом пораженный.

Это была уже не та, рано вышедшая замуж статная

девушка, и не чудесная молодая мать с дочкой у груди, и не полная, грудастая баба, что целыми ночами целуется и воркует за стеной. Такой женщины он еще никогда не видел!

Ее лицо в обрамлении волос, которые, как и брови, стали еще чернее, покрывала бледность. От лба и переносицы исходило какое-то сияние, возникавшее от игры света, и Аранджелу порой чудилось, что перед ним белая шелковая венецианская маска. Только возле розовых ноздрей лежали тени, рот стал меньше, губы — бледней и неподвижнее, их словно сковала странная улыбка, которая не исчезла и тогда, когда она грустно посмотрела на него своими широко открытыми глазами. И когда он глядел в эти глаза, ему казалось, что он на берегу глубокого синего моря.

Прикинувшись, будто она видит его чуть ли не впервые, Дафина заговорила о посторонних вещах, о каких прежде никогда с ним не говорила. «О, если бы Вук погиб на войне!» — подумал он и тут же ужаснулся так, что ему захотелось перекреститься.

Она больше не покачивала бедрами на ходу, но охотно останавливалась перед ним и стояла, высокая и статная, сильная и красивая, словно не замечая, что он весь дрожит. Никогда еще она не была так хороша! Тихая и какая-то совсем другая, она часто касалась его рукой, а однажды вечером при отворенной двери, так что он видел, переодевалась в новое венецианское платье.

Она лгала. В первый же день он поймал ее на лжи. С ясной, невинной улыбкой на устах Дафина говорила мужу неправду. Она властвовала в доме, на полях, где уже внизу у воды начали пахать, на пастбищах, где паслись стада, над слугами и пастухами и над целым селом. Люди ненавидели и боялись ее, боялись ее улыбки.

Детей она отдала на попечение слуг и только при муже сажала их на колени. И улыбалась. Однажды утром она спросила деверя, не кажется ли ему, что его брат очень уж скоро состарился? В тот день Аранджел Исакович предложил Вуку поселить жену и детей в своем земунском доме.

Дафина переехала в дом деверя. Ей предстояло прожить тут с дочерьми несколько месяцев, а может быть, и лет, пока муж не вернется с войны. Тут же она должна была разрешиться от бремени, так как была на тре-

тьем месяце, в чем открылась мужу перед самым его отъездом.

Прибыла она на двух возках, битком набитых платьями, почти никем не замеченная, хотя перед домом Аранджела Исаковича собрались поглядеть на нее едва ли не все жители Земуна, одетые в синие антерии, в черные меховые шапки, сапоги, в швабские офицерские треуголки, в желтые шелковые шальвары, затянутые лентами или в домотканые длинные юбки,

Устроив детей с няньками в задней половине дома, в какой-то треугольной комнате с низким потолком, провисшим под тяжестью муки, сложенной на чердаке, кишащем мышами, она выбрала для себя увешанную коврами невысокую комнату, просторную, с большой глиняной печью, деревянным полом и подпертым жердями потолком. Войдя в нее, перво-наперво осмотрела оба выхода, потом сказала, каков будет новый распорядок в доме, и надолго задержалась у широкого, глядящего на реку зарешеченного окна. Это место она выбрала для того, чтобы в первые дни выплакаться. Тут, под окном, день и ночь текла широкая, ленивая река. И в ней — ее тень.

И хотя часть дня была отведена для слез, тем не менее в первые же несколько дней она ухитрилась принять у себя половину Земуна. Побывали тут и офицерские жены — немки и купеческие дочери, намного моложе ее, и гречанки, и жены друзей деверя и мужа, и их дочери, и какая-то толстая турчанка с набрякшими веками, которая перебежала в Земун при взятии Белграда, и, наконец, две сестры-валашки, о которых никто не знал, ни чьи они, ни что собой представляют.

Потчуя гостей кофеем, шербетом и кальяном, Дафина выспрашивала их о том, что известно Земуну, а Земун хотел знать, что известно ей. Вскоре она узнала, что дома в городе желтые и синие, высокие и низкие, узнала, какой кому принадлежит. Кто умер в угловом доме и кого тошнило в доме с большой шелковицей. Какой купец женит сына, а какой — выдает замуж дочь. Кто чья невеста, кто чей жених. Заведя речь о родах, она узнала, кто должен родить в этом месяце, а кто в следующем, узнала, как умерла одна женщина, которая принимала вареный в уксусе пепел, чтобы больше не рожать, поскольку у нее уже было шестеро, и что теперь она прилетает по ночам в белом саване.

Узнала она о том, что Димче Диаманти при живой венчанной жене привел в дом вторую и что теперь они живут втроем. Что про ее мужа, майора Вука Исаковича, ходят слухи, будто его связанного отвели из Печуя в темишварскую крепость, что там его увидел барон Энгельсгофен, поцеловал, освободил и, таким образом, он скоро вернется домой и на войну больше не пойдет. С ним вернутся и те семеро солдат, что ушли из Земуна. Ей стало известно, что дочь Николы Панайота привезла из Вены рубахи, которые не покрывают даже колен. И, наконец, что она, Дафина, хромает на левую ногу.

Земун, со своей стороны, узнал от Дафины тоже немало: что лучшее лекарство от болезни желчного пузыря подсолнечное масло с жженым сахаром; что по ту сторону реки, в Белграде, живет повитуха, турчанка, которая готовит особую ракию и что достаточно раз в месяц выпить ее, сидя в жаркой бане, и никакой беременности не будет; что война с Германией идет уже вовсю и что ее муж вовсе не в Печуе, на прошлой неделе он писал брату из города, который называется Радкерсбург; что в Венеции она видела не только рубахи до колен, какие, как рассказывают, привезла из Вены дочь Николы Панайота, но и платья, которые до колен доходят лишь спереди, а сзади волочатся по полу.

Потом Земуну стало известно, что, выходя замуж за Исаковича, она была сиротой и думала, что первый год, пока не родится ребенок, майор будет ей вместо отца, а потом только станет мужем; что она и раньше часто оставалась одна и слез пролила немало. Узнал Земун и про испорченных и злых женщин, румынок, венгерок и немок, с которыми жил Вук; как, впрочем, и его брат, Аранджел, в чьем доме она поселилась. Аранджел водился, кроме того, еще и с гречанками, армянками и венецианками — он язык их понимает. Узнал Земун, что ее мужа любила жена принца Вюртембергского, принц жил в Белграде, вон в том большом доме, где сейчас паша. И, наконец, что она плачет по ночам, потому что ее мучают кошмары — муж является ей во сне то как мертвец, то в страшном облике жабы, то зверя, то крысы. Чтобы рассеять сплетни о том, будто она хромает на левую ногу, она тут же показала свои ноги и спереди и сзади — пусть сами убедятся.

Таким образом, никуда не выходя и проливая слезы, госпожа Дафина Исакович познакомилась с Земуном, а Земун с нею.

И если ее отношения с людьми были простыми и заурядными, что называется чисто земными, то с деверем, как и с мужем, они были вовсе не простыми и заурядными, а скорее неземными. Так с деверем она старалась не разговаривать. И ни словом ему ни о чем не обмолвилась. Да и вообще вела себя с ним совсем по-другому.

При нем больше молчала, либо, вся заплаканная, улыбалась загадочной улыбкой. А если и говорила, то совсем о другом. О том, что боится ночи, что в темноте ее охватывает ужас и чудятся призраки. О прошедшей молодости, о трудной жизни и — со слезами на глазах — о муже, который, похоже, ее больше не любит, а может быть, и никогда не любил.

Дафина часто стояла перед деверем, заломив в отчаянии руки над головой и выпятив грудь. Она не кричала в его присутствии, не бездельничала, валяясь на застланном ковром полу, не судачила с женщинами. Им посвящался день, ему — вечер. При нем не было ни хихиканья, ни болтовни, ни всего прочего. При нем у нее был и другой голос, и другой взгляд, при нем менялось все ее существо. И менялась не только она, с его приходом без какого-либо указания менялись и служанки. Светильники заставляли стеклами, и дом превращался в тихую обитель.

В отличие от Аранджела Исаковича Дафина не считала себя необыкновенной красавицей, но цену себе знала. Например, своими ступнями, казавшимися Аранджелу ступнями сильного ангела, она вовсе не была довольна и прятала их под шелком своих нарядов, показывая лишь носки красивых туфель. Зато о своих икрах и коленях была с ним одного мнения и выставляла их где и как только могла. Ровной, твердой поступью кружила она вокруг деверя, покачивая бедрами. Руки ее никогда еще не смыкались на его шее, они лишь скользили, извиваясь как змеи, где-то совсем рядом. Груди свои она придвигала к нему так близко, словно губы для поцелуя. И все-таки больше всего она рассчитывала на свои глаза. Глядя на него, они наливались грустью.

Аранджел Исакович как хороший купец понимал, в

чем дело. Понимал, что бывшая пугливая сиротка, привыкшая к одиночеству и несбыточным мечтам, превратилась в здоровое, откормленное животное, по ночам предававшееся неистовству со своим медведем. Но что происходило с ней сейчас, Аранджел понять не мог.

Да и ждать не было сил. Придя в ужас от своего замысла, он спешил. Не хотел думать о том, что будет после. Решив сойтись с невесткой, он старался не думать о брате. А Вук, огромный, грузный, сверкая серебром и белым плюмажем, непрестанно стоял перед его глазами. Измученный угрызениями совести и бессонницей, не делясь ни с кем ни единым словом, опасаясь выдать себя взглядом, движением, вздохом, Аранджел надеялся, что все произойдет тайно, как во сне. И, разумеется, без всяких потрясений. Он сох от желания, видел ее каждую ночь в бесстыжих снах, но вовсе не помышлял ни связываться с этой женщиной надолго, ни отбивать ее у мужа. Расхаживая целыми днями с опущенной головой, он даже вынашивал безумную мысль потом открыться Вуку, ее прогнать, а им помириться — ведь как-никак они братья.

Желая поскорей добиться своего, он осыпал ее подарками и пытался двусмысленными комплиментами заставить ее намекнуть о своем согласии. Однако такого намека не последовало.

Дафина безмятежно смотрела на него своими красивыми синими глазами цвета ясного вечернего зимнего неба, и ему казалось, что над ним сияют звезды. Вольные речи она принимала как безобидные слова, извращенные ласки — как родственные объятья. Болтая целый день глупости, к вечеру эта женщина становилась мудрой и проницательной.

Измученный, пожелтевший от томления и ожидания, Аранджел с несчастным видом ходил вокруг нее в своем длинном синем кафтане и наконец решился. Он все чаще брал ее за руку, гладил по голове. Отрывая ее однажды всю в слезах от постели больной дочери, он взял ее под руки и, дрожа всем телом, поцеловал.

Но и этой, совсем уже явной ласке, она придала родственный характер, как и в его недвусмысленных предложениях видела лишь родственную заботу. Спокойно снимая с себя его легкие руки, словно не замечая, что деверь дрожит от страсти, она смотрела на него своими синими глазами, холодными и прекрасными, в которых

даже в тот миг не было искры огня. А он все больше сходил с ума и смутно чувствовал в этом холодном взгляде ее волю: будет так, как она захочет.

Словно торгуя серебром, он хотел взвесить ее согласие, но она не клала его на весы. Ни малейшего намека, ни единого поощряющего слова. Неизменно целомудренная, отсутствующая, холодная. Похоже, она ни за что на свете ему не отдастся. А она просто хотела, чтобы он взял ее силой.

Дафина, истое дитя нескольких поколений купцов и сребролюбцев, отлично понимала, о чем идет речь, и не торопилась. Ей не хотелось отдаваться этому, пусть более молодому, но желчному, сухопарому деверю, который напоминал ей дом и братьев; ей противны были его руки с желтыми ногтями, черные редкие усы и бороденка, как у монаха, желтые мутные глаза и сплюснутый, тонкий нос, а еще противней желтые, всегда липкие от сладостей зубы. Аранджел представлялся ей высохшим двойником брата с почти неслышной поступью. Если когда-либо домогания деверя и пробуждали в ней желание, то не к нему, а к мужу — огромному, грузному, которого она когда-то безумно любила и который сейчас сильно постарел и сдал, хоть и казался на коне могучим как медведь.

Горячая и чувственная натура, она часто страдала головными болями, но после того, как муж обманул ее при расставании, осрамив перед всеми, так как испугался ее слез, рыданий и обморока, без чего прощание обычно не обходится,— Дафина оставалась совершенно холодной. До сих пор она никогда не подвергалась искушению; кроме мужа, ни один мужчина не жил в такой близости от нее. Случись это года два или три назад, она умерла бы со стыда и срама, непременно кинулась бы в эту разлившуюся желтую, сонную реку, которая протекала под ее окнами. А произойди это в прошлом году, она слезами, мольбами, поцелуями успокоила бы Аранджела, заставила бы его опомниться, отказаться от задуманного, не тащить ее с собой в ад.

Но сейчас, сейчас она без волнения ощущала на себе его дыхание, безучастно слушала его притворно легкомысленную болтовню и в предвечерних сумерках видела рядом с собой его тень. Так же она смотрела, стоя у окна, и на свою тень в мутной воде, что текла внизу день и ночь.

Ее мучило одиночество. Уверенности, что муж вернется, не было. Он был где-то далеко-далеко со своими дикими солдатами, лошадьми и собаками и толстым животом. Дрожь ее брала лишь при мысли, что он сейчас беспокоится о своих дочерях.

Было интересно, что сделает деверь, когда совсем обезумеет. Хотелось ей этого просто от скуки, от ощущения бездонной пропасти, в которую, как ей казалось, она вот-вот полетит вниз головой. Она жаждала увидеть, как брат мужа, подобно ей, корчившейся от желания безумно и покорно целовать грудь, шею и уши мужа, будет целовать ее, покорно склонясь над ее руками, коленями и лоном. Она угадывала, что при всей его робости и нерешительности достаточно малости, чтобы этот на вид тихий ручей с ревом и неистовством низвергся в мутную реку.

Она понимала, что день этот близок, и, не чувствуя желания, в ужасе содрогалась и боязливо улыбалась. Минуло три недели, как она жила в доме у деверя.

Однажды, как это часто случается в тех местах, после весеннего тепла, когда уже расцвели плодовые сады, ударил мороз, а потом хлынул ледяной ливень. Ветер с косохлестом залил водой и перевернул барку с лошадьми, которых Аранджел Исакович вез к туркам. Вытащили хозяина уже без памяти.

Когда хозяина принесли домой, поднялись такие вопли и крики, что никто не удивился тихому приказу Дафины, отданному посиневшими губами, перенести Аранджела в ее комнату и положить на большую печь, возле которой стояла ее широкая венецианская кровать. Дафина взвизгивала от ужаса при мысли, что будет, если деверь умрет и оставит ее с малыми ребятами, беззащитную, среди этих своих слуг, смахивающих на цыган-разбойников.

В тот день до самого обеда Вук Исакович перебирался с полком через узкий мостик у австрийского города Кремсминстера. Беспорядок был страшный.

Вдруг им перебежал дорогу заяц.

«Черт! Только бы мост не рухнул,— подумал он,— или, упаси бог, поклажа в реку не свалилась!» Потом, уставясь в затянутое дождевыми тучами небо, придержал коня и, повернувшись к ехавшему рядом капитану Пишчевичу, озабоченно спросил:

— Что означает сие знамение при заходе солнца? Прибыли мы тихо и спокойно, в добром здравии. Пыль, подобную завесе, ветер на дороге развеял. Может, дщерь моя первородная в минуту сию разболелась?..

Вуку Исаковичу даже и в голову не пришло, что его обманывает жена.

IV

Ушел Вук Исакович. А с ним ушла и Фрушка-Гора

Аранджел Исакович тонул в холодной воде вместе с лошадью, которая передними ногами разбрызгивала ил, а задними мутила воду желтым песком.

Когда перевернулась барка, перевернулись и стены белградской крепости над рекой, и мгновение он видел только небо. Потом вдруг промелькнула река, но невероятно широкая — такой он никогда ее не видел, стоя в барке или на берегу,— ему показалось, что ее не переплыть ни за два, ни за три часа, и он тут же бултыхнулся вниз головой в желтовато-зеленую пучину, мрачную и холодную, которая сомкнулась над ним.

Когда он снова вынырнул на свет среди обезумевших от страха лошадей, он не мог кричать, горло и рот были полны песка и воды. А дно под ногами тем временем превратилось в скользкую бездну, и он почувствовал, что погружается в нее с головой и руками, как в пустоту; он тщетно пытался идти, ползти на четвереньках, карабкаться. Пальцами и ногтями, забитыми конским волосом, он ухватился за камыш, потом за пень — на этот пень его и вытащили облепленного грязью, которая текла из ушей, носа и рта.

Когда его несли домой, он трясся точно в лихорадке и все же чувствовал себя победителем, вспоминая, как в адском хороводе конских крупов, ног и морд появилась над водой его голова. В тот день ему то и дело чудилось, будто он опять колотит руками по воде, из последних сил протискиваясь через страшное месиво конских тел и волос в ледяных волнах. И снова тщетно старается задержать свое погружение, карабкается вверх, ползет на четвереньках сквозь темноту.

Его раздели догола, растерли песком, закутали в овчину и понесли, точно мертвеца с широко раскрытыми

глазами. Он посинел и дрожал, но ему было легко, словно какие-то холодные птицы вылетели из его тела. Он лежал на ковре, и ему казалось, что нельзя двигаться, потому что над ним еще течет река, плывут берега с зарослями камыша, небо и его, будто тоже плывущий, дом.

Когда слуги несли его под аханье и плач домочадцев, хлопанье крыльев вспугнутых голубей, шлепая по грязи и перешагивая через бревна, он вдруг ощутил безумное желание, чтобы его положили в ее комнату. Совсем как при торге, он вдруг почуял, что пришло время покупать.

И вот теперь, лежа на глиняной печи рядом с ее кроватью, он чувствовал себя на седьмом небе. Ни на один миг он не вспомнил брата, ни на один миг не встали перед глазами ее дети. Аранджел пребывал один на какой-то изумительно приятной, прохладной высоте. Ничто не связывало его с братом. Он безраздельно будет владеть этой женщиной. После того как его вытащили из ила и воды и растерли водкой, ему сдавалось, что он парит над огнем в этой широкой глиняной печи. Над его головой — потолок, внизу — белая постель невестки, с четырех сторон желтые стены, и он чувствовал себя совершенно отрезанным от мира. Другое дело, будь он где-нибудь на улице, в Земуне. Здесь же, в своем доме, он в полной безопасности. Никто не узнает. Дафина, он уверен, будет молчать. И все произойдет как во сне. В этих четырех стенах они могут делать все, что им вздумается. Подобно их темным теням на стене, тут они свободны и неуловимы. В комнате было жарко. Трещали дрова. Снаружи завывал ветер.

Разгоряченный, он лежал на печи, ясно отдавая себе отчет в том, что собирается сделать. Он приказал себя переодеть еще раз. Она стыдливо отошла к окну, не смея взглянуть прислуге в глаза, но из комнаты не вышла. Даже тогда, когда его положили в ее постель.

А он, утопая в блаженстве, шевелил своими еще задубевшими членами и словно парил в высоте. В теплом полусвете огня оставались лишь он и она, и никого больше. Только бы кто-нибудь чужой, из Земуна, не нарушил их уединения. Теперь он твердо знал, что этот вечер не пропустит.

Огонек плошки на печи освещал большую комнату как с горы. Тени были огромные. Аранджел Исакович,

в полном сознании, вымытый, чистый и вне всякой опасности, казался в полутьме на белой постели пожелтевшим, посиневшим, словно на смертном одре. Огромные тени от кровати, стола и черного ларя для одежды падали на раскаленную стену подобно летней сени деревьев. В полной тишине Дафина подошла к решетке окна, под которым с непрестанным журчаньем текла река.

Зажмурившись так крепко, что на нижних веках ощущал верхние, Аранджел Исакович прислушивался, как в доме все затихает. Боясь что-либо попросить, чтоб она не позвала слуг, он старался не двигаться под красной периной, за волнами которой, казавшимися ему сейчас бескрайним морем, почти ничего не видел. Удары сердца отдавали в голову, словно удары молота. Застыв в полной неподвижности и оцепенении, он ждал, когда догорит плошка и воцарится мрак.

Дафина, опершись о подоконник, сидела на высоком стуле, свесив сильные ноги в оранжевых чулках и шитых золотом шлепанцах. Ее белое платье, все в шелковых оборках, словно гроздь акации, мягкой волной поднималось на округлом животе. Склонив голову, она улыбалась в полумраке пухлыми губами.

Поняв, что деверь проведет ночь в ее постели, Дафина словно окаменела, но горничных своих все-таки отпустила. Кладя деверю на голову смоченное уксусом полотенце, она сунула ему под рубаху икону св. Мрата, невольно, но непереносимо щекоча ему своими длинными пальцами грудь.

Аранджел Исакович храбрился, в сотый раз повторяя про себя, что об этом никто не узнает. Он был уверен, что она будет молчать. Многие годы в своих мечтах он покорно, как собака, лизал ей руки, и сейчас горел желанием враз сломить ее, истерзать, изорвать в клочья. Он никак не думал, что после такого длительного колебания решится на это так внезапно. Обычно робкий, теперь он был уверен в себе. Всего, чего он боялся, здесь, в этих четырех желтых стенах, не существовало. Здесь он мог делать все, что ему заблагорассудится. Ему представлялось совершенной нелепостью, что она — жена брата, и еще большей нелепостью, что она не может стать его женой. Он считал невероятным, что кто-нибудь вмешается в это дело или призовет его к ответу. У него мороз прошел по коже, когда он вообра-

зил, каким голосом вскрикнул бы любой, обнаружив их в одной постели. Но он тут же успокоился, ощутив, как мирен вокруг полумрак, и поняв, что никто в этих четырех стенах их не увидит.

Снаружи завывал ветер, брехали собаки, под окном шумела река. В комнате было жарко и до того тихо, что было слышно, как бегают мыши.

Белградская крепость, пестрый турецкий рынок, тонущие в реке лошади, его большой голубой дом, грязь, сети, барки, омуты, побеленная печь всплывали, кружась перед его глазами, но тут же исчезали в глубокой тишине теплой комнаты; в полумраке была отчетливо видна лишь сидящая у окна женщина. Он задыхался от желания сказать какие-то слова, которые привели бы ее в постель.

Он уже чувствовал, как она идет к нему. Брата, родного брата, который, уехав, вот уже три недели представлялся ему грудой форменной одежды, гайтанов, сукна и перьев, словно уже не существовало. Аранджел силился вообразить его рядом с этой женщиной и не мог: здесь его не было. Даже детей, о которых он знал, что они здесь и, может быть, сейчас где-то за стеной, проснувшись, плачут, кричат и зовут мать, тоже словно не существовало.

Эта женщина у решетки окна принадлежала ему. В этом он совершенно уверен. Она будет лежать рядом с ним, целовать его и называть ласковыми именами. Умирала она от страсти по мужу или нет — он далеко. Сюда Вук не может проникнуть, как не могут проникнуть ветер и вода, что шумит под окном. Сюда он не может войти, как не может войти и старый слуга Ананий, который спит всегда у порога его двери. Брат его, ее муж, далеко, далеко и ее отчим, безусый и безбородый Христодуло, который до сих пор не заплатил ему за табак. Не помешают ему своими наставлениями и проповедями ни поп, ни компаньон Димче Диаманти. Все, что за стенами дома, там и останется, а она здесь и будет здесь, рядом с ним. И никто о том не узнает. Он был уверен, что она будет молчать.

Пьянящая радость охватила его. Вода, камыши, песок, небо — все отодвинулось куда-то далеко. И Земун, которому все надо знать, и ее муж, который, вероятно, уже не вернется.

Она была тут, близко. В доме все угомонились. За-

снули. Ничто не нарушает тишины, кроме ветра и собачьего лая. Да еще непрестанного шума реки.

Аранджел поднял руку, и большая черная тень появилась на стене. Он хотел тихо окликнуть ее, позвать. Уговорить раздеться. Сказать, что она устанет сидеть так молча, одетой. Он может лечь на пол, а она пусть даже одетой — на постель. Сказать, что ей нечего бояться. Или он погасит светильник, пока она разденется, и ляжет рядом, когда она уже заснет. Что ей нечего бояться.

И как раз в тот миг, когда он открыл было рот, Дафина перегнулась на стуле и страшно вскрикнула. И побледнев как мел, вытаращив глаза и широко раскрыв рот, она, не в силах вымолвить ни слова, только махала руками.

Измученной от бдения, усталой, несчастной, перепуганной и полной тревожных мыслей, Дафине показалось, будто она, засыпая, вдруг увидела, как под окном, весь в крови, мокрый, раздетый и взлохмаченный, идет по воде Вук Исакович с огромной дубиной до самого потолка...

Проснулась она, когда деверь тихо отворил дверь. Она видела его одно мгновение, он будто шагнул куда-то вверх, в открывшийся проем. Синий кафтан, желтое лицо с утиным носом, бороденка, жидкие волосы на долю секунды мелькнули в свете зари, словно продолжение сна. Какое-то мгновение она видела бледное утреннее небо, часть кровли и ветку, потом полоска света в притворенной двери сузилась и погасла.

Быстро поднявшись в постели, потная, с голыми плечами, она чуть не вскрикнула. Откинув с глаз рассыпавшиеся по лицу волосы, она различила в густой темноте белую печь, занавешенное окно, потом черный квадрат большого сундука с ее платьями и услыхала непрерывный рокот воды за стеной. Поняв, что произошло, Дафина сжала колени и запустила руки в спутанные волосы.

Значит, она провела ночь с деверем.

В первую минуту она сама себе не поверила. Она ничего не помнила, не чувствовала ни усталости, ни сонливости, ни даже неудовлетворения. Спала как обычно, поначалу ей показалось, будто она и в самом деле была одна. Но, вытянувшись, она с гадливостью ощутила на теле следы любовной ночи. И неожиданно, хотя и в темноте, с ненавистью увидела возле себя руки

и зубы своего деверя и его редкую бороденку, услыхала его смех и пугливо охватила руками его тонкую шею.

Чуть не подпрыгнув в постели, она в ужасе закрыла ладонями лицо, в ее памяти встали все мерзости и гадости, все, что он с ней вытворял. И ощутив снова, как он лижет ей руки и колени, Дафина испуганно закрылась подушкой, точно защищаясь от вскочившего на постель пса. Поняв до конца, что она сделала, она в отчаянии ударилась головой о глиняную печь, готовая закричать от страха. К тому же Аранджел был в ту ночь до тошноты отвратителен, жалок и смешон.

И она заголосила, заголосила, испытывая удовольствие от собственных слез. Приди сейчас муж, она сказала бы ему, почему это сделала. Сказала бы, что изменила ему потому, что он осрамил ее перед людьми при расставании, не простился с ней как положено. Потому что все время оставляет ее одну и, точно цыган, кочует с места на место. Потому, что она устала от бесконечных болот, островов и топей.

Плача, уткнувшись в подушку, она видела, что рассветает и отдельные предметы все яснее выплывают из мрака. Из-под двери врывался свет, окно в комнате посветлело и напоминало открытую занавешенную и зарешеченную дверь. Она легла на спину и заплакала, с новой силой отдавшись своему горю. Дафина не слышала мычания стад, которые, меся грязь, проходили мимо дома и каждый раз будили ее на заре, не заметила, что остыла печь.

Дафина плакала над своей судьбой, как, впрочем, делала это довольно часто с тех пор, как муж так внезапно постарел. Ей было безмерно жаль себя. Собственное девичество казалось ей убогим, будто жизнь прислуги. И муж, бросивший ее сейчас, и вся жизнь с ним, представлялись ей сплошным несчастьем, от которого она тщетно старалась уйти.

Заливаясь слезами, она вспомнила мужа и, зарывшись лицом в подушку, принялась мысленно его целовать. Как красив был Вук Исакович, когда она выходила за него замуж. Его холодная, гладкая кожа, очень чистая и приятная, была для нее подлинным наслаждением, а его карие в черных крапинках глаза, тогда еще не угасшие, что светились под длинными, загнутыми вверх ресницами, невозможно было забыть, как нельзя забыть золотой дождь солнечного заката на

опушке молодого леса. А как забыть его мягкие, шелковистые, начинающие седеть волосы и розовую верхнюю губу, вздрагивающую при улыбке? Она слышала от других, будто он бьет людей и лошадей кулаком по голове, что, напившись, прыгает через столы. Слышала и об его отвратительных шашнях с румынками и венгерками. Она-то знала его совсем другим. С ней он с самого начала вел какую-то таинственную жизнь. Поженили их неожиданно, без любви, он почти два года относился к ней с учтивостью постороннего человека, целовал нежно и бережно, словно боялся разбить или сломать ее, такую высокую, красивую и хрупкую. Дни напролет он скакал со своими молодыми офицерами через канавы и рвы, обучал новобранцев забрасывать бочонки с порохом в окопы и являлся домой лишь к вечеру, весь потный и взъерошенный, и все-таки куда-нибудь выводил жену или ездил с ней верхом всю ночь под звездами — по полям, перелескам и горам.

В первые месяцы он не мог даже с ней толком объясниться: Дафина не говорила по-немецки, а он не знал ни греческого, ни итальянского и потому призывал на помощь песню, танцы, взгляды и поцелуи. А поскольку возить жену на балы в Брод или Осек удавалось редко, он брал ее на лисью охоту. Это, кстати, было единственным его развлечением в течение многих месяцев.

Молодая женщина впервые тогда наслаждалась запахами влажной мягкой земли, свежей травой, ивняком, на котором в апреле начинали наливаться и пахнуть почки, зелеными склонами гор, голубым весенним небом, и точно так же она, будто отравой, упивалась своим мужем. Ни за какие блага мира, ни под какими плетьми и пытками она не отреклась бы от него и его чудной улыбки, какой никогда не видела на лице своего отчима или братьев.

Она запомнила его прислонившимся спиной к стволу дерева, на вершине горы, под густыми ветвями среди высокой травы, усталого от любви, с ясным лицом, хотя и утомленным жизнью, о которой она не имела понятия, пока ей не растолковал Аранджел Исакович. Дафине достаточно было подумать о первых годах брака, и перед ее глазами возникали славонские горы, набухающие на ветвях почки, игра облаков над долинами, приходили на память ночи, напоенные благоуханием

трав, темные леса, кусты с дикими красными ягодами, журчанье воды и особенно — яркое небо и проплывавшие над ней звезды и созвездья.

И вот теперь Вук Исакович с его кожей, глазами, губами представлялся ей каким-то цветком или созвездием, которые она так и не могла позабыть, пока вдруг он не возникал в ее памяти таким, каким был ныне: кривоногим, обрюзгшим и толстым, как бочка.

Перестав плакать, она, вся задрожав, вспомнила, как быстро прошли те чудесные годы, оборвавшиеся с его первым уходом на войну и ее первыми родами. С войны он вернулся растолстевшим, да еще с причудами. Они больше не ходили на балы и редко выезжали верхами. Вук с отцом построил под городом Варадином целое селение и всю весну ходил босиком по колено в грязи, заставляя своих новых крестьян пахать заболоченную землю. Кормя ребенка и безумно скучая, Дафина впервые почувствовала, что он смотрит на нее своими светло-карими глазами как на вещь, как на кровать, печь или сундук с ее платьями. И во всем был виноват его отец, который всюду таскал сына за собой.

Когда Вук ушел из армии, якобы по болезни, и принялся торговать, ее жизнь стала совсем бессмысленной. Муж бросал ее одну, где придется, на всем водном пути от Галаца до Вены, чаще всего без денег, в бедности, и потом даже не спрашивал, как и чем она жила. После его возвращения в армию они некоторое время прожили очень весело, однако вскоре муж снова ушел на войну. Вернулся он молчаливым и толстым. Подружился с монахами, еще сильнее переменился и стал уже совсем чужим.

Когда он уходил в третий раз, Дафина по-настоящему и не пыталась его удерживать. Неискренняя и лживая, она целовала его с притворной страстью, но слезы, которыми она заливала свои поцелуи, уже не были горькими, как уже не были ясными его глаза.

И все-таки, чувственная и ревнивая, она хотела нацеловаться и намиловаться с ним досыта, закрыв глаза на действительность. В глубине души она была уверена, что он ее больше не любит и с войны живым не вернется. А вернулся он совсем другим человеком, преждевременно одряхлевшим и странным. Посреди села он вдруг принялся строить церковь. По виду, да и по летам, он годился ей скорее в отцы, чем в мужья.

И все-таки даже тогда отношения их не утратили таинственной сладости, непостижимой и загадочной. Чудаковатый и угрюмый, он смотрел на нее таким взглядом, каким не смотрел ни на кого. Влечение к нему, несмотря на все беды, принесенные им, все еще было для нее ни с чем не сравнимым и сладостно-прекрасным. Его лицо, голос, имя, сама мысль о нем, прикосновение к нему, заставляли загораться все ее существо. Все прочее казалось лишь унылой равниной бесконечного грязного снега.

Так думала госпожа Дафина о муже и, изнемогая от слез, чуть не заснула снова.

Пришла она в себя от пробравшегося в постель холода. Открыв заплаканные глаза, она увидела, что уже совсем рассвело, и поняла, что день, верно, будет холодным, дождливым и хмурым.

В жизни Дафины Исакович было немало несчастливых и печальных дней, как, впрочем, в жизни всех женщин, но ни один из них не был таким печальным и тяжким, как этот влажный, холодный, серый день,— первый после измены мужу.

Дафина не раз думала о том, что женщина — жалкое создание, игрушка, вещь, понимала никчемность своей жизни, но никогда еще то, что господь бог посылает людям, не казалось ей таким страшным, как в тот день в доме деверя. Отцовский дом, папуши табака, штуки сукна и груды прочего товара, теткина комната, увешанная иконами и лампадами, в которой происходили смотрины, и все прочие дома и комнаты, где она жила с мужем, пронеслись в ее памяти — печальные, пустые, лишенные всякого смысла. И все-таки они бывали порой чем-то приятны, но эти желтые стены, шум реки за окном, тень кровати и печи были ужасны в своей неизменности, постоянстве и окаменелости.

Без раскаяния, да и в чем, собственно, ей раскаиваться, она восприняла то, что сделала. Ее почти не занимало, как все это скрыть. Ей было безразлично, если даже каким-нибудь образом об этом узнает муж где-то там, далеко, на краю света. Она заплакала лишь при мысли, что опять предстоят роды.

В конце концов муж этого и хотел. Не впервые он уезжал и оставлял ее, оставлял, как оставлял своих лошадей, слуг. Без нежности, без сожаления, без раз-

думья. Уезжал на войну, непостижимую и ужасную для нее, Дафины, которой при одном лишь воспоминании о его страшном шраме от сабли становилось дурно. Да и вообще, какой толк в том, что она его жена? Разве он не радел больше о своих церквах, о своих солдатах и лошадях, чем о ней? И детей своих любил так, словно не она ему родила их. Да и сколько женщин у него было, кроме нее?

От этих мыслей ей стало немного легче. Второй казался ей лучше хотя бы потому, что с ним, разумеется, она будет жить в богатстве, барыней и без переселений. Муж, думала она, уже не вернется. Нет, на этот раз наверняка не вернется. Иногда где-нибудь на горе, в лесу, в весенних сумерках он вдруг вспомнится ей красивый, как олень, но будут и такие дни, когда он будет ей отвратителен, как медведь в вонючей берлоге. И она заплакала снова. Что ж, коли любовь так убога, придется ей жить без любви с этим сухим, желтым человеком, который взвешивает серебро на безмене и лижет ей униженно, как собачонка, руки. Так, спокойно, в довольстве, и пройдет жизнь без этого ужасного шума, крика и суматохи, которые наступали, как только муж возвращался домой.

Сейчас Аранджел Исакович казался ей не таким противным, как ночью, она не без удовольствия вспомнила о том, что он с ней вытворял, и на лице ее заиграла озорная улыбка. Подобных переживаний у нее с мужем не было, поначалу они представлялись ей гораздо омерзительней, чем теперь, когда она о них снова вспоминала. Деверь, выходит, не такой уж недоносок, как она о нем думала. В конце концов, может быть, первого, страшного и разнузданного, должен сменить второй, который, если и будет не мил, то, во всяком случае, весьма умудрен по части того, чтобы угодить и приласкать. И Дафина решила ни в чем его не упрекать, но заставить взять ее в жены.

Когда пришли горничные, она, вспомнив о содеянном, в первое мгновение снова оцепенела от испуга, но потом, увидев их спокойные взгляды, и сама успокоилась. Оставив свои деревянные башмаки у порога, они подошли к ней молча. И она также не сказала о себе ни слова и даже спрятала глаза. Сказала лишь, что у нее болит голова, и она останется в постели. А когда они доложили, что кир Аранджел уехал к туркам в Белград

отвезти проданных коней, Дафина немного ожила и приказала приготовить ей воду для умывания.

Так в мелких заботах неприметно прошел этот день, и никто не понял по ее поведению, что́ произошло. Заметили только, что она много плакала, и об этом стало известно всему дому. Старый Ананий, спавший каждую ночь на пороге с большим заржавелым кинжалом под головой, рассказывал, будто слышал, как госпожа Дафина пронзительно кричала. В доме пошли разговоры о том, будто брат является во сне брату и жене весь в крови, с раскроенным лицом и отрубленной головой, приплывая по реке на огромной жабе. Поэтому, заключили слуги, так страшно в прошлую ночь и выли собаки. Впрочем, восемь лет тому назад покойный Лазар Исакович тоже являлся по ночам, торгуя якобы оружием, а все потому, что сын после смерти не проткнул ему сердце иглой.

Первый день после измены показался Дафине Исакович ничем не примечательным. Перед вечером она уже совсем изнемогла от ожидания, но ничего необычного не происходило.

До обеда она плакала, размышляла и наряжалась, после обеда ожидала Аранджела, уехавшего на ту сторону Дуная, в Белград, чтобы отдать туркам лошадей, из-за которых он чуть было не утонул в реке.

Но вот в большом желто-голубом доме, полном му́ки, точно водяная мельница, под неумолчный шум воды наступил и вечер, Дафине хотелось кричать — только бы нарушить невыносимую тишину, которая казалась удушливой от пыли и запаха прелой пшеницы и ржи.

Дафина не жалела, что изменила мужу, просто ей стало тошно, когда она поняла, что ничего не переменилось. Она провела с деверем ночь, и ни одно зернышко овса на чердаке над их головами от этого не шелохнулось. Несмотря на всю свою власть в доме, она чувствовала себя, как и прежде, вещью, мимо которой можно спокойно пройти; ей хотелось перевернуть все вверх дном, все неподвижное, застывшее, неизменное раздражало и беспокоило ее. Дафина горела желанием увидеть деверя, чтобы прежде всего вырвать у него обещание жениться на ней и увезти отсюда в новый дом в Буду.

Она приказала служанкам привести детей, но и это не помогло.

Меньшая девочка, вся в струпьях, лежала забинтованная и завернутая, как грудной младенец. Сося палец и уставясь своими светло-карими глазами с черными крапинками в потолок, она сучила ножками и даже не заметила, что ее перенесли из одного конца дома в другой. Старшая поначалу с робкой радостью кинулась в объятья матери, но быстро отошла и принялась играть в прятки среди пестрых платьев, что висели за печью. Дафина вскоре поняла, что ей нечего сказать детям и нет желания на них смотреть. Наблюдая за ними, она нашла их глупыми и какими-то чужими. Дети не обращали на нее никакого внимания. Взгляды девочек привлекали висящие пестрые тряпки, решетка на окне и особенно жарко натопленная печь, а не ее горе и заплаканные глаза. Даже сидя у нее на коленях, они тянули руки к далеким вещам, точно к другому берегу реки, и с криком вырывались из ее рук, точно из объятий страшного людоеда. И в конце концов она прогнала их вместе с прислугой.

Дафина велела позвать жену Димче Диаманти (законную), длинную черную метлу, слонявшуюся целыми днями по дому в ленточках и бантиках. Она умела гадать на картах и любила поболтать, задумчиво теребя при этом свою волосатую бородавку. Не помогло и это. Госпожа Финка Диаманти только и сумела рассказать о том, как одна из тонувших лошадей, выбираясь на берег, сшибла ее мужа, который кинулся спасать утопающих и прежде всего своего компаньона Аранджела Исаковича, о чем сейчас толкует весь Земун. И тотчас ушла.

Таким образом, когда смерклось, Дафина снова осталась одна. Этот томительный ненастный день, от которого еще недавно она столько ждала, навел на нее ужас.

Все казалось ей бессмысленным. Сделала она это или не сделала? То, о чем неделями твердил ей деверь Аранджел, представлялось сейчас правдой. И хотя у нее перед глазами все еще стояла эта ночь любви, она чувствовала, что может позабыть о ней тотчас и никогда даже не вспомнит. Особенно, если бы вдруг вернулся муж. Она понимала, что прелюбодеяние не принесет ей радости. Она могла завтра же согрешить с другим, подумаешь, какая важность! И Дафина принялась раз-

мышлять и тешить себя мыслями о богатстве, в котором она отныне будет жить, если выйдет замуж за деверя; начала придумывать, какие наряды себе закажет и уже ощущала на теле приятный холодок шелка. Но и при мысли о новой жизни она не ощутила особого удовлетворения, скорее ей стало грустно. Не все ли равно, принадлежать одному брату или другому? В тот вечерний час ей казалось, что, пожалуй, она согласилась бы принадлежать и тому и другому. А то и вообще кому угодно.

В окно было видно, как сумерки охватывают разлившуюся реку и холодное серое небо. Вода была мутная и желтая от ила, ивняки уже пустили было почки, но в последние дни их тронул мороз. Над островами, на самом горизонте, вдруг очистилось лазурное небо, и в сумеречном свете отчетливо встали минареты и крепостные стены Белграда. У дома неистово, яростно заквакали лягушки.

Широкая светлая полоса озарила и одну из стен комнаты, где Дафина, потеряв свои вытканные золотом туфли одну за печью, а другую у порога, вертелась в постели и, чуть не плача, томилась тоской и отчаянием. Она решила было потушить висевшую над головой у большого старинного лика Христа лампаду, но вдруг испугалась надвигающейся темноты. Не смея подобрать свои шлепанцы, боясь даже пошевелиться, она лежала, откинувшись на подушки, в клубах густого табачного дыма. Голова от непрерывного курения стала тяжелой. Только теперь она заметила, что в комнате почти темно.

Стены и мебель уже поглотил мрак, и только на ту стену, где стояла печь, падал мертвенный свет последнего вечернего отблеска реки, теряясь в пологе постели. Большой темный сундук с платьями вздымался высокой могилой.

Сквозь дым турецкого табака она, устав от дум, смотрела на светлый квадрат окна, как смотрят темной ночью на сияющий месяц. Услыхав позади себя мышиную возню, она оглянулась и увидела, что в комнате совсем темно, хотела крикнуть, но крик застрял в горле.

Широко раскрыв глаза, Дафина поняла, что ей не спастись от так пугавшей ее темноты, которая ее уже окружила. Кроме побеленной печки, где сушилась, точ-

но привидение, простыня, да светлого проема окна, все уже погрузилось в глубокий мрак, наполненный шумом воды. Пропали столы, кровать, двери, и Дафина в ужасе обнаружила, что не видит больше на ковре свою туфлю. Во дворе выли собаки.

Мрак сдавил ей горло, а страх не давал пошелохнуться. Она тряслась в ознобе, чувствуя, как ледяной холод наползает на ноги. Пальцы совсем окоченели. Она хотела подняться и бежать, а вместо этого еще глубже зарывалась в подушки.

Ей почудилось, будто простыня на печи шевелится, а из-за полога слышно чье-то холодное дыхание. Потом она увидела вдруг, как из черного сундука, где хранились ее платья, поползли мыши. Скорчившись и дрожа всем телом, она таращила глаза на сундук, где кишмя кишели жабы, слизняки, страшные клубки змей. Подобрав к животу колени, с застрявшим в горле криком смотрела она готовыми выскочить из орбит глазами, как белая простыня с печи приближается к ней. Тут же она поняла, что в темноте за пологом кто-то стоит. Трясясь в ледяном ознобе всем телом и вцепившись трясущимися руками в волосы, Дафина вдруг увидела, как из темноты протянулась рука.

Белые, как мел, пальцы, извиваясь, порознь подползали все ближе. Вот рука сошла, словно белая кошка, с освещенной стены и поползла по вещам и печке. В тот же миг Дафина увидела и другую руку, она зашла со спины и, хватая платья со стены, комкала их и разбрасывала по полу. Наконец Дафина приглушенно вскрикнула: у полога постели показался живот, огромный живот ее мужа, а на белой простыне — его рот, глаза, нос и вся голова, окровавленная, с перерезанным горлом, над головой плавала черная треуголка.

Потом позади призрака зашаталась стена, и она вдруг увидела золотые колосья и горы, увлекаемые куда-то потоком пшеницы, овса и ржи, льющимся с чердака. Перед ее глазами поплыли хороводы звезд — голубых, фиолетовых, желтых, залившие необычайно теплые воды, над которыми синело небо. С душераздирающим криком она вскочила с постели и оказалась лицом к лицу с мужем, кровавым и страшным, увидела Вука Исаковича — мертвого, разлагающегося. Такое бывает во сне, когда, спасаясь от волков, выбегаешь из

леса и внезапно у отвесной скалы натыкаешься на громадного медведя.

Так Дафина в первый же день после измены мужу, ударив руками о темноту, упала и повредила в себе плод.

Таким образом, в ту весну, которая вслед за поздними морозами расцвела с необузданной пышностью, воспаленный мозг, страх, одиночество, безумные мороки госпожи Дафины, порожденные фантасмагорией темного вечера, загубили мир и покой в доме Аранджела Исаковича.

Дафину нашли лежащей без памяти в луже крови. Две недели повитухи не могли остановить кровотечение. Сгорбившаяся, пожелтевшая и худая — кожа да кости — она с трудом делала четыре шага от постели к зарешеченному окну, где ее усаживали на подушки.

Здесь она с утра до вечера наблюдала за током реки, цветением на островах и облаками в небе.

За исключением одного часа утром, когда являлся старый врач-турок из Белграда (его привозил на своей барке сам кир Аранджел), чтобы лечить ее какими-то травами, которые она должна была пить в теплой ванне, и одного часа вечером в среду, когда приезжал врач из Осека (за каждый визит он получал по дукату и лечил ее при помощи железных трубок, при этом укладывал ее на целый час так, что она лежала чуть ли не головой вниз), Дафина была в полном одиночестве, все оставляли ее в покое, вернее покидали ее.

Прислуга — от страха, соседи — потому что она была желтой и казалась умирающей, а кир Аранджел — кир Аранджел, потому что гнушался ею.

Впрочем, больная была спокойна и тиха. С того страшного вечера глаза ее так и остались вытаращенными, большими, синими, она стала непохожа на себя, ссохлась и сморщилась. С кружевным венецианским платком в руках она сидела у своего окна совершенно неподвижно. После длившихся всю ночь истошных воплей, когда ее наконец привели в себя, она замолчала как мертвая.

Перемена произошла так быстро и была так разительна, что, казалось, разум теперь почти не повиновался ей. Богатство, веселая жизнь в Буде, смиренная любовь желтого деверя, молодость, которой она соби-

ралась наконец насладиться, все утекло со сгустками ее крови. Она скоро поняла, что подурнеет, сморщится, превратится в ходячую тень. Не удивилась она и тогда, когда прислуга перестала ее обихаживать, а деверь начал убегать из дома. Она упрямо молчала, проводя день за днем у окна над водой.

Здесь, кроме редких расписных барок, которые то причаливали, то отчаливали, ничего не менялось, а кроме глубоких хриплых звуков корабельного рога, ничего не было слышно. Юркие ласточки в том году прилетели и стали носиться над самой водой гораздо позже.

Каждый день на одном и том же месте она обнаруживала рой мошек над окном, блестящих, как взвихрившийся песок, торчащие из болота шесты рыбачьих сетей, ивняки, день ото дня становившиеся все гуще и темней, зеленые острова, волнующиеся камыши, а над ними — глиняный желтый откос крепости. Дафина теперь хорошо знала широкие воды и белые минареты, которые в полдень дрожали в теплом мареве над городом.

Она научилась подмечать малейшие перемены, видимые и невидимые для глаза. Через несколько дней она уже угадывала по окраске воды и ивняка, который час. Вечером по цвету неба, по форме облаков она могла точно определить, какая будет завтра погода. Она приметила, как у острова появилась песчаная отмель, вскоре заселенная птицами, среди которых узнала по длинным красным ногам аистов.

Вскоре она могла точно распознать наступление заката и рассвета, за которым, мучимая бессонницей, наблюдала, подходя, словно сомнамбула, к окну; иногда она вставала после полуночи и пугала слуг, не оставлявших ее по ночам одну.

Опротивев самой себе, она все-таки еще не верила в приближение смерти, в то, что это сидение перед окном — и есть уже медленное умирание. Когда она просовывала руку сквозь решетку, ощущая нагретый солнцем воздух, у нее было такое чувство, будто она может слиться с теплым лоном реки, всем своим существом она ощущала и песок, и заросли камышей у островов, и ветви ивняка, густо покрывшегося почками, и зной на вершине горы, а по вечерам, когда она раздевалась и ложилась, то вбирала в себя глубокую, неоглядную не-

след, поскакала бы на лошади, чувствуя за собой его дыхание — дымку прошлого. И уж он, наверное, не оставил бы ее. Положил бы свою широкую ладонь ей на живот, и боли утихли бы.

Но, проливая слезы по мужу, Дафина не скрывала от себя, что больше жаждет другого, с которым провела лишь одну ночь, поначалу показавшуюся ей такой же ужасной, жалкой и отвратительной, как и его гладкая, желтая, твердая, как янтарь, рука, сперва такая робкая в темноте.

Вук Исакович ушел, а вместе с ним исчезли, затуманились картины ее прошлой жизни и горы, которые она видела в последний раз при расставании с ним.

Остался лишь Аранджел Исакович со своими необыкновенными руками, которым она отдалась сперва от скуки, но о которых с каждым днем вспоминала все чаще. Увы, все напрасно! Как вещь принесли ее в дом, как вещь вынесут, чтобы освободить место для другой, которую будут также обволакивать словами, осыпать серебром, униженно просить и, дрожа, целовать. Потому-то она и хотела как можно скорей хотя бы обвенчаться.

Что касается Аранджела Исаковича, то он был почти убежден, что сойдет с ума.

Того, что случилось, никто не мог ни предречь, ни предвидеть. Так хорошо возведенная башня блестящих торговых дел рухнула ему на голову. Удовлетворение животной похоти, годами мутившей ему рассудок и не дававшей покоя по ночам чарующими сновидениями, Аранджел Исакович представлял себе совсем по-другому. А конец любви к невестке, которую он годами в себе подавлял и с которой так долго носился, конец этой своей болезни он воображал приятным, не сопровождающимся никакими бедами.

И хотя время от времени взбудораженный, раздувая ноздри, он думал о том, что эта грешная страсть погаснет после нескольких ночей, проведенных с невесткой, и даже порой со злорадством помышлял о том, что прогонит ее, как обычно, насытившись, прогонял своих молодых служанок, в глубине души он чувствовал, что этого не произойдет, что он не скоро сможет расстаться с Дафиной.

Вечные переезды еще при жизни отца, необузданность брата, вся жизнь семьи, родичей и прочих сопле-

менников, переселившихся вместе с ними из Сербии и вернувшихся обратно в Сербию, казалась Аранджелу Исаковичу чистым безумием. Видя вокруг одни топи и болота, людей, что рыли землянки, чтоб весною или с первым снегом снова двинуться дальше, Аранджел Исакович ощущал в себе неистребимое желание стать на пути всего этого, где-то остановиться самому и заставить остановиться других.

Непрерывно ссорясь с отцом, который передвигался вместе с армией и со своим сыном Вуком, преуспевавшим на военной службе, Аранджел Исакович возненавидел всех, кто шел за ними. Плавая на своих пестрых барках вдоль всего побережья, он вел еще более пеструю торговлю и привык все презирать и ни к чему не привязываться. Постоянная перемена мест, жилья, людей, с которыми он встречался, сделали его самоуверенным и кичливым, потому что он, желтый и смуглый, с костлявыми руками, хоть и был слабее других, не менялся и оставался прежним.

А еще Аранджел Исакович отчетливо сознавал сверхъестественную силу своих талеров, ибо там, где он вытряхивал их из мошны, появлялись его причалы и его дома. Все двигалось только по его воле и по его предначертаниям, и вскоре ему стало казаться, что и дожди лили, и весны наступали тогда и так, когда и как он того хотел. Возненавидев солдат, которые по приказу разряженных офицеров шли драться с турками, французами, пруссаками и венграми, он старался причинить вред всем, кто снимался с места. Когда брат и некоторые его друзья начали поговаривать о России и о переселении в Россию, он первым стал писать доносы военным властям и оговаривать их перед католическими епископами.

Аранджел Исакович хотел всех людей, привыкших уже к цыганскому образу жизни, связать торговлей. Особенно ненавидел он уездных начальников, которые уводили его людей на войну, а еще больше тех, за кем трогалось все семейство. Деньги он давал только торговцам и ремесленникам, которые осели и больше не помышляли о возвращении в Турцию, куда он продолжал наезжать по торговым делам.

При помощи денег он мешал переселению с места на место семьи и родичей, связывая их по рукам и ногам и принуждая оседать в назначенных им городах

вдоль рек. Непрерывно плавая на своих барках с мешками серебра, он приглядывал подходящие города и упорно скупал там дома, большей частью вблизи церкви, скотные дворы, огороды и гостиницы, под которые поначалу давал любые займы.

Так он недавно купил дом в Пожуне, а также в Буде — огромный каменный дом с лабазами и погребами на высоком берегу реки. Он больше и слышать не хотел о возвращении в Турцию, а тем более — о переселении в Россию.

В погоне за устойчивостью и постоянством Аранджелу внезапно удалось осуществить свое давнее желание — овладеть телом своей невестки, которую он любил и о которой мечтал, хотя ему и приводили множество женщин, стоило ему где-нибудь заночевать или задержаться на два-три дня по торговым делам.

На дне его души, как на дне реки, по которой он уже столько лет плавал, лежало, подобно тяжелому камню, тело Дафины, оно задерживало его барки, его добро, его дела и помыслы — дивное, белое тело, с которым ему не хотелось расставаться.

И бог ему дал его.

А теперь вот, кажется, оно уходит вслед за Вуком Исаковичем и, кажется, уйдет, оставив ему лишь страшный ток крови, что непрерывно, уже две недели, давит на его мозг.

V

Скитания и переселения сделали их серыми и летучими, как дым после битвы

В то время как Дафина оказалась в руках деверя, Вук Исакович со своими людьми шел в Штирию.

После смотра в Печуе Славонско-Подунайский полк отправился воевать, как побитый пес, покорный и тихий. Растянув свои нестройные сдвоенные ряды, вздымая, подобно скоту, пыль, полк, обходя села и болота, шагал с утра до ночи по лугам, песку и грязи. Ночуя под темной сенью лесов на траве, солдаты просыпались на рассвете, как пьяные, озябшие, с заиндевевшими косицами и усами, и, протяжно подвывая, затягивали свое «Эй... эй...», но тотчас умолкали и припоясывали ору-

жие, снова убеждаясь, что не знают — ни где они находятся, ни куда их ведут.

Полк подошел к рубежам страны, о которой столько говорили по селам и в землянках, вступал в незнакомый, неведомый мир, откуда вернутся далеко не все.

Сбиваясь все теснее, солдаты брели, точно стадо, и чем дальше они уходили, тем ниже опускали головы, даже не поднимая глаз на поля и селения, мимо которых шли. При переходе через мосты возникала давка, бессмысленные и ожесточенные споры. Длинные, окованные медью и серебром ружья, которые солдаты несли как палки, через несколько дней ускоренного марша натирали плечи. Пистолеты, кинжалы, патроны в сумках на животе оттягивали шеи, и люди шли раскорячившись, словно им на зады привязали суковатые пни.

Пыль, пот и мелкие черные мошки залепляли ноздри и глаза. На зубах скрипел песок.

Выдвинутые вперед песельники умолкли. В голове колонны на лошадях ехали, покуривая трубки, офицеры в сопровождении охотничьих собак, за которыми увязалось множество деревенских псов; потеряв дорогу домой, они теперь путались под ногами солдат, поджав хвосты и вывалив языки. От полка уже издали воняло козлом.

Через несколько дней непрерывного марша полк, совершенно отупев, несся, словно увлекаемый паводком все дальше и дальше, в неизвестность.

Никто больше не озирался по сторонам, лишь изредка люди взглядывали на небо, будто покидали землю. Страх перед чужбиной и собственным безумием сковал полк.

Останавливаясь среди незнакомых сел, протискиваясь по необычным мостам, ночуя зачастую у колодцев, едва различимых в темноте, солдаты никак не могли взять в толк, что заставило их двинуться в этот поход.

В окрестных селах Печуя их еще догоняли кумовья с хлебом. Были женщины, что провожали братьев две недели, прежде чем вернуться домой. Голодные по вечерам и зябнущие у зажженных стогов по утрам, солдаты только теперь начинали понимать, что́ произошло. Покинув родные села, все привычное, осязаемое, полк вторгся в непонятный и чуждый ему мир.

Крестьяне, которых солдаты встречали на полях,

пахали, сидя верхом на лошадях. Только здешние овцы напоминали им их овец, да порой какой-нибудь гнедко был точь-в-точь как их собственный.

И когда наконец весь полк до последнего человека убедился, что идет в поход не на турок, как прежде, солдат охватило глубокое уныние, и край, по которому они шли, показался им таинственным и неведомым.

То, что солдаты оставили до́ма, в их памяти, как и в памяти их командира Вука Исаковича, стало расплываться и исчезать как дым. Они углублялись все дальше и дальше в горы, и болотистая равнина с ее колодцами и загонами для скота, которую они покинули, вспоминалась уже как во сне. Подобно туману, что низко стлался над полянами и исчезал, исчезали и лица их жен и детей.

Когда же изменилась растительность — сначала далеко на горизонте, а потом тут же, рядом с ними,— когда изменилась под ногами земля и воздух стал прозрачным и холодным, они и совсем пали духом. На их глазах совершались великие перемены: вдоль рек потянулись густые леса, в их чаще, ломая кусты, рыли сырую после дождя землю дикие кабаны; кобчики, кружась над головами солдат, провожали их до подножья скал, на которые они, уже совсем изнемогшие, начали подниматься.

В душах солдат, как и в душе Исаковича, воцарилась пустота. О доме и о хозяйстве они позабыли, о женах и детях больше не думали, их все сильней терзали собственные муки. Им было противно жить, противно вспоминать об оставленных дома родных. Они не верили, что вернутся назад. Отупели настолько, что, даже смежив воспаленные веки, не могли уже себе представить своих родных и близких; лица их осунулись больше от внутренней боли и терзаний, чем от ходьбы и усталости. Холостые смеялись над ними, а бывалые воины своими байками заполняли тишину и ночью хватали по пути все, что попадалось под руку.

После отдыха в городе Радкерсбурге Исакович принялся изводить полк упражнениями в походе. Он учил солдат бежать с пистолетом в руке и кинжалом в зубах. И они бежали толпой, стреляли в стволы деревьев, ударяли кинжалами по веткам и громко, в такт, выкрикивали «Мария Терезия!». Взобравшись на пригорок, Исакович перестраивал полк и приказывал солдатам

бежать вниз и стрелять на ходу, а выйдя в долину, он снова перестраивал их и поднимал в атаку на гору, куда уже поспешно выносили знамя.

У мостов он делил их на два лагеря и вел друг против друга, сталкивал на мосту, а сам вертелся на коне как дьявол, в пороховом дыму, среди сверкающих тесаков солдат, сбитых с толку, завывающих, раздраженных и жаждущих крови.

Когда становились лагерем, он заставлял их рыть окопы, в которых они должны были лежать, пока взлетали в воздух закопанные в землю бочки с порохом.

Изнемогая от беспрестанных учений, солдаты карабкались по лесистым горам. Бывали дни, когда они по пять раз переходили вброд извилистую Муру. Казалось, полк от всего этого сойдет с ума.

Они шли по горам, а где-то далеко внизу, с высоты птичьего полета, виднелись поля, села, церкви, виноградники. Они проходили под огромными, нависшими над головами утесами. Множество прозрачных ручейков журчало со всех сторон, а воздух вонзался в грудь как нож. Люди начали болеть.

Потрясали их каменные города, невиданные мосты, всевозможные предметы, употребления которых они не знали, удивляли целые горы кос, которые были проданы русским купцам. Они слушали музыку, доносившуюся из-за стен, и ничего не понимали. На крыше дома они увидели однажды железного кузнеца, который, как живой, железными руками поднимал молот и ударял по наковальне. Одни недоуменно крестились, другие же, вытащив изо рта трубки, яростно плевались, глубоко уверенные, что это какое-то наваждение.

Здешний воздух пьянил их.

Разлогий, болотистый, мглистый край, в котором они прежде жили, его горячие испарения, неоглядные леса, колыхание камыша и лозняка, землянки и грязные загоны для скота, деревянные церквушки — все стиралось из их памяти. Новая земля, зеленая и холодная, темные леса, поляны, над которыми блеск глубокого неба напоминал прозрачное озеро, была вся напоена мягким воздухом, на какое-то время вытеснила из сердец другую землю, с бушующими над ней ветрами. Опустив головы, они дышали жадно, вбирая в себя необычайную красоту гор и видели, не веря собственным глазам, сверкающий на далеких вершинах снег. Гряз-



ные и жалкие, они ходили по мощенным камнем крестьянским дворам, заваленным сеном и полным скотины, и вспоминали беспредельность своей бедности и безмерность болот, среди которых они жили.

Они невольно сопоставляли свою мученическую жизнь с жизнью в этих чужих селах, где их весело встречали музыкой, жареной козлятиной, колокольным звоном и целыми котлами вина. Родная земля с ее ленивыми, мутными, застоявшимися реками, с островами, поросшими беленой, бузиной и татарником, с ее тополями и ее лягушачьим кваканьем, напоминавшим подземный вой, являлась им все реже и точно во сне. Память подкидывала им грязные и страшные картины того, что они оставили дома, и впервые стали раздаваться голоса, что не стоит возвращаться домой.

Оставляя позади села, они, случалось, проходили мимо огромных печей и литейных, откуда выбегали поглазеть на них одетые в кожу, закоптелые и черные как черти работники. Огромные зарева, встававшие над печами, по вечерам освещавшие горные вершины, бросали отблески на их ночной бивак, и им мерещились во сне невиданные красные звери, пылающие воды, горящие волы и буйволы, ад.

Разнузданные и разъяренные в начале похода, теперь на чужбине они стали тихими и кроткими. У них не было больше сил ломать и крушить, и женщин они больше не трогали. Сбившись в кучу, они робко стояли посреди села, братаясь и заводя дружбу со всяким, кто к ним подходил. Никогда еще здесь не видывали более смирных солдат.

К тому же каждый день их изматывали учения. Изголодавшиеся — ели и пили они от случая к случаю,— с натертыми ногами, они вошли в город Грац пожелтевшие, высохшие, с налитыми кровью мутными глазами. Полк потряс жителей Граца своим сверкающим, специально для этого случая начищенным оружием, устрашающим беглым шагом и дружными криками. А после их ухода к императрице был послан фельдъегерь.

Устав от учений и страдая коликами, Вук Исакович вошел с полком в Австрию. Он все чаще слезал с седла, покидал своих гарцевавших впереди офицеров и садил-

ся в повозку, которая везла его, точно покойника, в тучах вздымавшейся за полком пыли.

Едучи позади, точно огромный бурдюк с вином, Вук Исакович воспринимал мир как во сне.

Он уже много лет привык отправляться на войну вот так, на повозке, не видя в этом ни цели, ни смысла, подчиняясь какому-то железному закону, чужой воле.

Хотя на чужбине у него не было никого и ничего своего, он все-таки обнаруживал там следы своих солдат, да и свои собственные. Он снова видел города, где уже однажды побывал, где когда-то дожидался зари или располагался на ночлег, где несколько лет назад проходил с полком между крепостными стенами, по освещенным призрачным лунным светом дорогам.

Он узнавал контрабандистов и паромщиков; натыкался на давно позабытых своих любовниц и любовниц своих товарищей; на места, где прежде кутил и где порой случались несчастья. И даже когда он проезжал по совсем незнакомым краям, задремывая под ясным солнышком и мучаясь от резей в животе, перед ним точно призраки вставали конюшни, дома, забитые заразными больными и стонущими ранеными, дождливые ночи — все, что было пережито раньше.

Его ничто уже больше не заботило, потому что он ошалел от бешенства и отчаяния. И не только от того, что его оскорбили и мучили в Печуе, но еще и от того, что ему не дали чина подполковника, на что он, во всяком случае, мог рассчитывать, принимая во внимание свой возраст и обещание, данное ему в Варадине.

Вспоминая о своей семье и думая о ней, Вук Исакович понимал, что с ней разорвано окончательно. Шепни ему кто-нибудь, что его жена и дети умерли, он поверил бы, одиноко трясясь в своем возке, где он лишь с трудом мог вытянуться из-за груды треуголок, гайтанов, котелков и седел. Размышляя о своих близких, он сознавал, что принадлежит теперь другим, тем, кто посылает его то туда, то сюда, посылает и его, нелепо вырядившегося офицера, и этих четко отбивающих шаг земляков, которые поднимают такие тучи пыли, что он видит одни только их ноги.

Ему стало в конце концов казаться, будто все замерло, только он один едет этой тряской дорогой мимо лугов, лесов и полей, едет куда-то без цели и смысла.

Далеко впереди слышался мерный ритм беглого шага, бряцание оружия и громкое, дружное скандирование:

— Ма-ри-я, Ма-ри-я, Те-ре-зи-я, Те-ре-зи-я!

Теплый ветерок обдавал его на перекрестках дорог, а при въезде в лес его окутывала приятная прохлада. Внизу на скатах и склонах гор виднелись селения, на вершинах — купола церквей, их заливал свет, будто ливень, принесенный ветром.

Хотя он точно рассчитал, сколько дней потребуется для перехода до места сражений, скоро стало недоставать и провианта, и денег; солдаты болели от перемены воды. Он завидовал своим беззаботно ехавшим впереди офицерам, а еще больше солдатам, которые даже не знали, куда идут. Вук Исакович теперь верил плачу и причитаниям на проводах, предрекавших ему, что это будет его последний поход, что на этой войне он умрет.

В те дни у него часто менялось настроение. Он то ехал впереди полка с офицерами, покуривая трубку, то вдруг заваливался в повозку, которая тарахтела за полком. Или, сдвинув набекрень треуголку, весело гарцевал в такт песни, а потом вдруг умолкал, отъезжал в сторону и свирепо бил коня сапогом в брюхо. Кряхтя от боли в тряской повозке, он воображал, будто уже несколько дней идет дождь и ему нет конца, будто этот дождь смывает, уносит с собой не только его жену и детей, но и всю его прошлую жизнь, и все, что он видел прежде. Глядя с повозки, как над высокими горами плывут облака, он воображал, что они катятся подобно лавине каменных глыб вниз, где белеют огромные пространства глубокого снега и лежат темные тени утесов.

Он поднимался за полком по еловому бору, потеряв из виду землю, села и долины. Его усыпляли поскрипывание кузова, ступиц и непрерывное потрескивание игл и веточек, устлавших всю гору легким, как мох, покровом, таким толстым, что колеса уходили в него на целую пядь.

В тишине, которую не могло нарушить даже движение полка, вершины гор в застывшем воздухе были отчетливо видны, и Вук Исакович весь день не спускал с них глаз. А они, точно бесконечные волны, все приближались, росли, их занесенные снегом обрывы будто низвергались в мрачные темные пропасти, разливаясь там еловым бором, где точно паводком покрывала пни, камни и ручьи высокая трава.

Предчувствуя близкую смерть, он, как это часто бывает с толстыми и здоровыми людьми, ни с того ни с сего впадал в тоску. Точно камень, сорвавшийся с горы, он казался себе ослабевшим, дряхлым и, лежа в неторопливо следовавшей за полком повозке, все больше предавался унынию.

Устремив взгляд на исполинские пики и синие их тени на снегу, он в теплые весенние дни ехал, вдыхая аромат елового бора и вспоминая прожитую им жизнь. Несмотря на страшные громады каменных утесов среди елей, ветви которых издали напоминали распростертые над бездонными пропастями крылья, все казалось тут необычайно легким, готовым вот-вот воспарить в небо.

Вообразив себя умирающим, он останавливал повозку, ложился у дороги меж старых пней и грел на солнце больной живот; надвинув на глаза треуголку, он часами наблюдал за кишащими у его головы муравьями.

Разжалобясь, он настолько уходил в свои мысли, что ему порой чудилось, будто его везут на сене в повозке. Мерещилось, что он сидит у самого себя в ногах под высокой елью и смотрит на свои огромные сапоги и обтянутые ляжки, на раскрытую волосатую грудь, на кружева рубашки и серебряные гайтаны, на черный плащ, на обвислые щеки и приплюснутый нос и разговаривает с самим собою, глядя в свои большие желтые глаза с припухшими веками и темными крапинками вокруг зрачков.

Молодость не только не приходила ему на память, но даже когда он силился ее вспомнить, неясные картины тут же исчезали и таяли, неизменно оттесняемые образами жены и детей. И золотая пора, проведенная в войнах с турками, тоже не вспоминалась, она смешивалась с картинами бесконечных мест, где он останавливался с женой и где родились их дети. Все в его прошлом казалось ему теперь бессмысленным.

Словно тени, следовали за ним жена, надоевшая ему донельзя, и дети, хотя и родные, но жившие всегда вдалеке от него. Он не знал, вернется он к ним или нет, но ощущение окончательного разрыва с семьей крепко засело в его мозгу. Зачем все это, если даже нет возможности сделать для них то, что хочешь, если с ними или без них все равно вертишься волчком по чужой воле. И он такой, каким стал теперь, расфуфыренный и головастый, уже принадлежит не своей жене и детям, ко-

торые по нему плакали, а совсем другим людям, которым стоит только шевельнуть пальцем, и он тотчас же побежит без оглядки через горы и реки, не считаясь ни с собственными муками, ни с горем, в какое повергает своих близких, ни с безумием, которое подстерегает его впереди.

Ведя по чужой воле эту страшную жизнь, он, весь искромсанный, оставлял частицы своего существа в разных странах, куда больше никогда уже не ступала его нога. Разве он не привык жить так, чтобы видимое не видеть, а невидимое видеть, покидать то, что не хочется, и сидеть там, откуда бы с радостью ушел? Мало того что после смерти он не сможет уже попасть туда, где ему было так хорошо и где его с радостью встречали, он и сейчас, при жизни, не волен уже вернуться туда, где прожил по десятку лет и где ему хотелось бы осесть. Почувствовал ли он двадцать лет тому назад или не почувствовал нежнейшее пробуждение весны под Осеком или тишайшую тишину вечеров под Варадином, никто его не спрашивал. И туда и сюда путь ему заказан, дорога ведет его по чужой указке, совсем в другую сторону. Разве не он пролежал несколько месяцев неподвижно, находясь между жизнью и смертью, со страшной раной, что тянулась от горла до правого плеча? Там, у самого устья Дуная, в его глазах стояли только желтые отсветы разлившейся воды, песка и верхушек тополей. А через три года, когда он вновь там проходил, никто и имени его не помнил, а валашка, которую он тогда особенно жаловал и щедро награждал, даже не узнала его.

Лежа в траве под елями над простиравшимися внизу разлогими долинами и темными лесами, убаюкиваемый свежим горным воздухом, он мучительно искал в своей прошлой жизни такое, что могло бы поддержать в охватившей его непреодолимой усталости и предчувствии смерти.

Догнав на своей тяжелой повозке полк, располагавшийся на отдых в селах и у мостов, либо своих офицеров, которые от нечего делать охотились, устраивали облавы с гончими, а по ночам ходили на даваемые в их честь вечеринки, Вук Исакович обычно выбирал себе место для ночлега повыше, оставляя полк неподалеку в лесистой долине. Сверху люди, лежащие в траве вокруг костров, в отсветах пламени напоминали ему зверей.

Во мраке постепенно пропадала дорога, которая под-

нималась все выше, и еще долго виднелись освещенные солнцем вершины.

В долине он скоро различил ближайшее село, оно казалось отсюда нагромождением камней в высохшем русле реки. К нему спускался густой лес с одиночными кудрявыми деревьями впереди, бросавшими на траву длинные тени.

Просторные поляны, раскинувшиеся над селением и прорезанные рядами деревьев и ручьями, видны были дольше. На полянах у самой опушки ему бросался в глаза какой-нибудь одинокий домишко, похожий на пень или дерево, которое тяжело и неуклюже, словно медведь, выходило из чащи. Дальше опять начинался густой бор, который лез все вверх и вверх, а за ним огромным каменным занавесом поднимались отвесные стены скал. Небо над ними долго, почти до полуночи, оставалось светлым, усыпанным бледными, но крупными звездами, на заре они становились мелкими, но зато яркими и мерцающими.

Разбив бивак у подножья самой большой ели, Вук Исакович, окруженный собаками, еще долго сидел, повернувшись спиной к огню и недовольно ворча. Кругом все давно уже спали, а он продолжал греться у костра, закутав живот овчиной. Несколько дней как он по совету слуги лечился голодом, ничего не ел и только пил вино и ракию.

Люди его лежали на сене возле лошадей, которые во сне глухо били копытами о землю. Собаки, рыскавшие весь день по горам, удивленно поглядывали на хозяина, недоумевая, почему он не спит, и дрожали от жажды и голода. Умаявшись от тряски, истомившись от беспрерывных дум о прожитой жизни, о жене и детях, он сквозь дрему упорно всматривался в завиток дороги, на котором белели камни, точно ползущие в одном направлении улитки. Огромная ель и росшая рядом с ней маленькая елочка мрачно приближались к нему по высокой траве, где гулял прохладный, невидимый низовой ветер. Справа от него в нескольких шагах высился бор, там было совершенно темно, видно было только множество веток, будто перышек. В глубоких провалах мрака его взгляд снова нащупал широкие полосы снега, белыми потоками спускавшиеся по заваленным камнями ущельям, а над ними высились пики, совсем уже призрачные, как во сне. Потом его взгляд

приковало ясное синее небо, и он долго, не мигая, смотрел ввысь.

Тогда в нем впервые, как и в его солдатах, зародилось смутное желание не возвращаться домой. К предчувствию смерти, до той поры еще не изведанному, примешивалась привычная скука, не отпускавшая его, пока не начинались бои. Перебирая в памяти больных солдат и обезножевших лошадей, он с бесконечным презрением думал о тех солдатах, что здоровы и были готовы к дальнейшему походу и к битве. И все же, несмотря на всю свою выдержку и самоуверенность, он прежде всего осыпал бранью себя, а потом уже других. Непрерывные мучения, постоянные войны сделали его непревзойденным мастером по снаряжению полка, он предвидел все до мелочей, предугадывал возможные повороты в событиях. Если порой ему еще случалось обмануться в каком-нибудь норовистом валашском коне или тяжеловесной немецкой кобыле, недуг или норов которых на глаз не определишь, то в выборе повозок, колес или людей он никогда не ошибался. И сейчас даже недостаток провианта нисколько его не беспокоил, хотя его людям самим приходилось заботиться о харчах и об амуниции — просто ему все чертовски надоело. Он знал: главное довести их туда, где свистят пули. Но возникшее в душе презрение, смешанное с жалостью, мучило его сильнее, чем обычно. Возможность не возвращаться больше домой и перестать маяться со всем этим, представлялась его усталой душе недостижимым счастьем. Прекратить наконец вечно выравнивать эти огромные ножищи, которые никак не хотели и не умели держать шаг, колотить по спинам и животам солдат, неумеющих брать ружье на караул. И главное — не бить их больше, не бить, когда они, разинув рты, таращат глаза на бочку с порохом, которую надо поджечь; не бить их больше по лицу, голове, коленям. И прежде всего не возвращаться с ними домой. Не видеть слез и метания обезумевших баб, не слышать их воплей, запевок и причитаний по убитым.

Край, откуда они пришли и где он оставил семью, вызывал теперь в нем отвращение. Наряду с приказом обучать людей рыть осадные траншеи он получил распоряжение научить их осушать болота, и сейчас наравне со стрельбой из ружей он учил солдат (и совершенно

без толку) воздвигать глиняные дамбы возле трясин и поросших ивами топей, где они охотнее всего селились в землянках и шалашах, среди зарослей кустарников или под деревьями, и где умирали, скорчившись. Этот дурацкий край, мокрый, болотистый и ровный, как скатерть, вконец осточертел ему, и, будь его воля, он давно бы уже покинул его на веки вечные.

Свыкнувшись с военным делом и овладев им в совершенстве, он теперь презирал его, а еще больше презирал своих соплеменников, которые походили на цыган, так же как их жилища походили на цыганские шатры. Причем не на те шатры в Валахии, которые в памяти Вука Исаковича остались сладостным воспоминанием, связанным с молоденькими цыганочками, а бедняцкие шатры турецкой голытьбы, разбитые подле мусорных свалок. В гневе Вук Исакович охотно предал бы огню и мечу весь тот край, который он в свое время пересек вместе с отцом и братом, когда они ездили по торговым делам, вместе с боготворившими его людьми, которых он сам привел и поселил у Варадина.

Впрочем, и в минуты жалости, внезапно сменявшей гнев, Вуку Исаковичу хотелось уйти вместе со своими людьми куда-нибудь подальше от этой юдоли.

В страшной мешанине мыслей он с бессильной яростью вспоминал брата с его мелочностью и делячеством, хотя и был ему благодарен за то, что тот приютил его жену и детей. Скопидомство, крохоборство и торгашество брата казались ему нелепыми. Перед отъездом пришлось с ним мириться, так и не выцарапав ни своих денег, ни талеров жены, да еще выслушав его бесконечные насмешки над тем, что он, Вук, носится с мыслью переселиться — может, даже в Россию.

Жизнь дома для Вука Исаковича была не жизнь; настоящая жизнь, чудесная, наполненная смыслом, виделась ему где-то на стороне. До́ма были лишь грязь да убожество, вечная купля-продажа, скитания по грязным городишкам, в которых Аранджелу Исаковичу виделись полные мошны денег и в которых он расточал любезные улыбки и вел деловые разговоры. Вук Исакович, будь его воля, не удостоил бы и взглядом этот край, не говоря уже о Турции, куда кое-кто из переселенцев начал снова возвращаться. Турцию Вук Исакович ненавидел, он так и не заметил ее мощеных дворов,

фонтанов, красивых мостов и прекрасных, подобных длинным древним копьям, минаретов.

Мечта куда-нибудь уйти и жить там беззаботно, увести с собой своих людей, чтоб им тоже жилось легко и приятно, представлялась Вуку Исаковичу вполне осуществимой. Должен же где-то быть светлый, прекрасный край. Туда и следовало уйти. Глядя сверху на солдат, лежащих вповалку на траве вокруг повозок, освещенных огнями костров, Вук Исакович, опершись на колесо, думал о том, как было бы хорошо увести их далеко-далеко. Заглядевшись на отвесные высокие скалы, над которыми сияло чистое голубое небо, он на минуту забывал, где находится и куда направляется, и наконец затихал, как и его Славонско-Подунайский полк.

Солдаты спали. Когда боли в животе утихали, дремал и он, время от времени просыпаясь и поглаживая своих собак, которые ластились к нему и заползали под теплую овчину. Дальше, за повозкой, жевали жвачку телята (их гнали из Граца для него и офицеров), а за лесом звенели бесчисленные цикады.

Доказать, что в Баварию можно пройти путем, который предложил он, а не тем, которым распорядился идти генерал от кавалерии граф Сербеллони, все-таки оставалось его главной заботой. Поэтому, как только боли в животе утихли, он поднял полк раньше обычного, чтобы продолжить форсированный марш к Дунаю.

Спустившись в долины и сады плодородной равнины Верхней Австрии, полк, который теперь лучше кормили и по причине спешки освободили от учений, шел с большой охотой.

Дни протекали в беспрестанном марше растянутой колонной, а ночи — в непробудном сне. В честь проходящих сербов в селах устраивали вечеринки, а богатые помещики давали балы-маскарады. Солдаты повеселели, от их угрюмой молчаливости и следа не осталось, они снова пели, особенно с тех пор, как на их пути стали попадаться городки, где было много хорошего вина. Вернулись в строй даже больные, прежде ехавшие в обозе. Свернув у Кремсминстера к Дунаю, который всем им был так мил, полк снова помчался вперед, как мчался от Срема до Печуя — с криком и гиканьем, сокрушая на своем пути заборы и плетни.

Но и вторая буря быстро улеглась, едва только вошли в изголодавшуюся и обедневшую Баварию.

Вук Исакович снова ехал впереди в сопровождении своего ленивого и толстого денщика Аркадия, известного на весь полк пьянчужку и песельника, и нескольких офицеров, которые, попыхивая трубками, пели, а полк подтягивал и выкрикивал на разные голоса, стараясь побольше растянуть и пониже взять две заключительные ноты: «Э... Эй... Э... Эй...»

Вытаскивая с трудом ноги из вязкого солончака, полк без потерь кое-как дотащился со своими повозками до Ингельштадта на Дунае, где ему предстояло соединиться с частями австрийской армии, формировавшимися на Рейне, и со своими земляками с Военной границы.

На заре полк с юга подошел к городу, расположенному на другой стороне Дуная, и остановился посреди болотистой местности, чтобы отдышаться, прежде чем переправляться через реку и показываться на люди. Но едва рассвело, с противоположного берега зазвучали хриплые голоса, посыпалась неслыханная в здешних местах брань, выражавшая всю полноту братских чувств. Это кричали, размахивали руками только что разбуженные, еще в исподниках, солдаты подполковника Арсения Вуича, который с двумя своими полками уже присоединился к главным силам. Новички тут же почувствовали себя как дома и развеселились.

Пограничники из Приморья, которых вел обер-капитан Иван Хорват, еще не подошли. Ходили слухи, будто они все еще где-то в Нижней Баварии и творят там такое, что чертям тошно.

Две недели солдаты Вука Исаковича стояли лагерем под Ингельштадтом, бок о бок с полками Вуича, которые во многом им уступали. Отдохнув, части двинулись каждая по заранее намеченному для нее маршруту — на Рейн.

Исакович решил пропустить всех вперед и нагнать их на последнем переходе. Истязая солдат, раздраженных и тем, что они идут позади, и бесконечными переправами через реку, он готовил их к тому, что им предстояло,— к сече и резне. Построившись в каре, роты полка стреляли и наступали, будто завороженные его криками, и с каждым разом все увереннее, все ожесточеннее и все яростней. За два дня до ухода он попросил у соседей по лагерю кавалерию и бросил ее с обнаженными саблями на свой полк. Земля тряслась от топота

копыт бешеных коней. А он с дубиной в руке скакал туда, где возникало замешательство и солдаты готовы были отступить.

Наконец двинулся в путь и он, гордо пройдя через город — без единого больного и без единой неисправной повозки. Покинув Баварию, которая считалась неприятельской страной, он вошел в цветущие сады и полные аромата леса и горы Вюртемберга; здесь он хотел найти удобное место, чтобы оставить до зимы шкуры, тулупы и одеяла, которые полк тащил с собой от самого дома. Весна уже была в разгаре, на пороге было теплое лето.

Переночевав прямо на траве, уже не слишком росистой, хотя по утрам над расцветшими лугами и поднимались еще весенние туманы, полк шагал без передышки целыми днями, обедал на площадях небольших горных городков, а ужинал где-нибудь совсем далеко, в суровом высокогорном селе: вечером солдаты, несмотря на усталость, плясали при свете месяца. Акации издавали пряный запах, а жуки жужжали всю ночь.

Исакович, вконец измочалив солдат, дал им перед смертью немного воли. Постовые по ночам не были уже так строги, и если на заре какого-нибудь солдата не было на месте, то он отделывался всего лишь несколькими палочными ударами.

И только когда крестьяне стали приносить мертвецки пьяными даже ветеранов, когда однажды ночью исчез его слуга Аркадий и отыскался лишь на третий день без штанов, с множеством напяленных на него юбок, Вук Исакович принял новое решение: днем полк спал, а ночью, при полной луне, шел вперед.

Двух недель, проведенных в Ингельштадте по соседству с лагерем Вуича, оказалось достаточно, чтобы привести Вука Исаковича в уныние. Он узнал, что о подполковничьем чине не может быть и речи, что им вообще очень недовольны и в Военном совете даже поднимался разговор о том, чтобы распределить его солдат по регулярным полкам. Кирасиры, все без исключения носившие парики, разговаривали с его офицерами весьма холодно, а один из его помощников, капитан Антонович, лишь с помощью сабли сохранил свое место в гостинице, куда кирасиры привели двух итальянских актрис, чтобы устроить там представление.

Для всех этих разряженных, напыщенных австрийских офицеров сербы служили постоянной мишенью для насмешек, сербский народ был никому неведомым, неизвестным, австрийцы с трудом верили в его существование, сколько бы им ни доказывали, что народ этот заслужил особые привилегии императора.

Провиант выдавался сербам самый скверный, какой только доставляли в армию. Тщетно грозил Вуич пожаловаться в Вену. У него отобрали всех лошадей и даже повозки с порохом, купленным на деньги, привезенные еще с границы. Да еще требовали нести вокруг лагеря караулы, так что более половины людей подчас круглосуточно стояло на часах, в то время как остальные уходили в город.

Как и все прочие, Исакович понимал, что обманут, и только скрипел зубами. Он знал цену армии, в которую они влились и которой было наплевать на сербов, этих жителей болот, вместе со всеми их нуждами и жалобами, с их монахами и соборами, с их «сладчайшим православием». Кроме того, приближаясь в четвертый раз к полю боя, он предчувствовал, что будет еще хуже, чем раньше, что их не только распределят по регулярным полкам, но и до́ма, в родном краю, расселят по разным округам и городам как рабов, как слуг, как паоров. Не позволят им остаться солдатами, не позволят молиться в своих церквах, как не позволяют называть свой край Новой Сербией.

Потому на последнем отрезке пути он вдруг стал помягче обращаться с солдатами. Ничего не говоря им, он смотрел, как они отбивают шаг, вглядывался в их лица, обводил взглядом всю колонну, которая, словно туча пыли, что вздымается над дорогой, должно быть, тоже вскоре рассеется и исчезнет. Целыми днями он молча смотрел на своих солдат и старался щадить их, зная, что скоро их не станет, что они развеются как дым после битвы.

Измученный этими мыслями и обидами, очутившись среди земляков, таких же, каких вел на смерть он сам, Вук Исакович скорбел теперь не только о своих людях, но и о солдатах Вуича, собранных по долинам Савы, Дравы и Пакры. Осознание тщеты жизни, бессмысленности того, что он делает, ненужности всего того, что он имеет — семьи, жены, детей, усадьбы, невозможности возвратиться домой, стало для него еще

мучительнее, когда он увидел вдали от родной стороны, на чужбине, колонны этих солдат, которые шли, точно глухонемые, не зная, куда их ведут. Устав от унижений, ослабев от болезни, Вук Исакович терял последние силы от накипавшей в нем желчи и приливавшей к голове крови. Он ехал на своем коне, разговаривал сам с собой, шевеля усами, и в отличие от других нисколько не был растроган красотой этой чудесной весны, не останавливался перед каждой корчмой и каждым расцветшим деревом, перед каждым за́мком с железными воротами и стенами, заросшими плющом, глициниями и шиповником, он ехал как потерявший надежду душевнобольной, желтый, отекший, злой, с большим животом и опущенной головой. В путанице его мыслей беспрестанно чередовались письма патриарха Шакабенты, прошения, когда-то поданные императрице, ссоры с братом Аранджелом и все те слова, которые он сам себе говорил с горечью и отчаянием. Вук Исакович не замечал плодовых деревьев, которые покрывали окрестные холмы и с которых душистым дождем опадали цветы, не видел людей, наводнявших улицы и выглядывавших из окон, дивясь ему, его огромному коню, его поющим офицерам, одетым в странные крестьянские одежды одинакового кроя и цвета, гарцующих с обнаженными саблями.

Но если судьбе было угодно в этот поход измучить ему душу сильнее, чем когда бы то ни было, то случай захотел унизить еще и его тело, некогда столь падкое на утехи и наслаждения. Вук Исакович проходил через Вюртемберг, тая в душе воспоминания, о которых его старшие офицеры только догадывались.

В княжестве Вюртембергском, которое легко могло стать полем боя, ширились слухи о приближении войск Марии Терезии. В ожидании французов, о которых особенно много говорили в дамском обществе, все кинулись смотреть на тех, кто, как полагали, скоро побежит с позором назад. Поэтому не проходило дня, чтобы в честь двигавшейся к Рейну армии не давалось бы бала, где пиво лилось рекой, или ужина на городской площади перед церковью, под фонарями, где ели до отвала.

В первый же день после перехода границы к Вуку Исаковичу прискакал фельдъегерь с приказом князя Карла Евгения Вюртембергского следовать непосредст-

венно за Вуичем, поскольку его высочество принц соблаговолит появиться перед войсками, дабы поглядеть на сербов, что так преданно служили его отцу, блаженной памяти славному Карлу Александру, фельдмаршалу и победителю под Темишваром, губернатору Сербии и прочая и прочая. Особо подчеркивалось, что сербов выразила желание видеть также принцесса мать, живущая после смерти мужа вдали от света, у своего сына.

Уже на следующий день пришло уведомление от подполковника Арсения Вуича, который с двумя своими полками опередил Вука на два дня пути, что он остановился, разбил лагерь и ждет его, чтобы вместе предстать перед принцессой матерью с сыном.

Для полка Вука такая весть была большой радостью — все уже предвкушали волов на вертеле, сытную еду, пиво и по меньшей мере два дня отдыха. Вука Исаковича это известие неожиданно привело в непонятное, но сильное смятение.

В тот вечер полк заночевал близ какой-то реки, берегом которой они шли. Вук Исакович, понурившись, до глубокой ночи просидел на седле, поглядывая на поблескивавшую в темноте воду. Он был потрясен, словно рыбак, увидевший вдруг, что сеть, которую он вытащил, полна трепещущих странных рыб — серебристых, красных, зеленых, самых невероятных!

Так и у него начинало рябить в глазах при мысли о предстоящих днях.

Дома у него хранился портрет Карла Александра Вюртембергского в серебре, эмали и турмалине, подаренный ему в пору его службы в Белградской крепости. Он ясно представил себе эту драгоценную реликвию: миниатюрный портрет держали барочный Геркулес с палицей в руке и Марс со щитом, на котором разевала пасть голова Медузы, а над ними парила крылатая Победа с необычайно розовыми грудями и дула в фанфару. Знамена с полумесяцем, барабаны, буздованы, секиры и бунчуки покорно лежали перед жеманным принцем в доспехах и парике.

Потом перед глазами Вука Исаковича замелькали другие, уже живые образы, из тех времен, когда Дунайский полк воевал против турок и стоял гарнизоном в Белградской крепости. Самый младший в полку, он пользовался тогда нескрываемой любовью двора и ча-

сто нес службу при особе принца. Служба эта была нелегкой. Чаще всего он занимался личными делами принца, ходил в меняльные лавки греков и евреев, которые все вместе не могли дать ему столько, сколько тому было нужно, прислуживал в спальных покоях, стоял за игорными столами, где надо было уметь играть в мартингал [1]. Да, служба эта была не из легких, хотя и заключалась главным образом в том, чтобы помалкивать, стоять смирно и держать свечу.

Исаковича, грузного и неряшливого, каким он был сейчас, воспоминания эти не обескуражили и не пробудили в нем гордыни. Принц представлялся ему теперь уродливым чудовищем с отвратительной привычкой держать собеседника за пуговицу и, разговаривая, дышать ему в лицо.

Воспоминания, приведшие в смятение Вука Исаковича, грязного, с пыльной шевелюрой, с обвислыми щеками и мятыми чикчирами, касались принцессы матери, вдовы покойного Карла Александра, в то время молодой женщины, ходившей на атласных, высотой в целую пядь каблучках, с открытой розовой грудью — точь-в-точь как у Победы на портрете принца.

VI

Прошлое — страшная, черная пропасть:
что уйдет в ее тьму, того больше не существует
и никогда не существовало

Исакович не был любовником жены Александра Вюртембергского. В Белградской крепости у нее вообще не было любовников.

Встречая у двери своего мужа статного молодого человека, она вскоре заметила его полный восхищения, страсти и страха взгляд. Он смотрел на нее так, словно она сошла с небес. Это показалось ей забавным, и принцесса стала на него исподтишка поглядывать, как поглядывает кошка на клубок ниток, который ей бросят. А мужу сказала, что офицер этот кажется ей сущим ребенком, хотя в военной форме, вытянувшись в струнку и замерев, он и походит на саженное бревно.

---

[1] Играть на квит *(фр.)*.

Потом она все чаще начала проходить мимо него и, оглядывая свои юбки, всегда находила никому невидимую пушинку или соринку, чтобы бережно ее снять в его присутствии. Или останавливалась у окна и, словно ангел, глядела в вечернее небо над земляными валами и разлившимися водами. И краешком глаза следила за ним, бросая время от времени сопровождавшим ее дамам ничего не значащие слова.

Она казалась ему возвышенной и чистой. Хотя у нее был уже взрослый сын, ей хотелось, чтобы юный дикарь из этого странного племени, думал о ней как о невинной и недосягаемой девушке. И это ей удалось. Как только Вук Исакович являлся утром на службу, она словно бы случайно, с оголенной грудью, без парика, встряхивая своими черными, как у дьяволицы, локонами, проходила мимо, стрельнув в него через лорнет одним глазом, так что он цепенел, бледнел и, не мигая, таращил на нее глаза.

Когда его приглашали на ужин к принцу, она вела себя так, словно его вовсе и не было за столом, а он терзался, не зная, куда деть свои дрожащие руки.

Так что-то тайное плелось и тянулось между ними всю весну в первый год ее пребывания в Белграде. Женщины, особенно одна француженка из темишварской артистической труппы, уже посвятили Вука Исаковича в секреты всего того, что любят дамы, и он хорошо знал, как следовало поступить, но боялся. Ему казалось, что принцесса не похожа на других, что она возвышенная, дивная, неземная. Никто из его друзей-офицеров не смел и думать о ней, хотя многие пользовались при дворе славой завидных любовников. Вук Исакович видел ее высокие атласные каблучки, вышитые золотыми цветами чулки, ее плечи и даже полные колени цвета персика, когда помогал ей садиться в седло, но уверял себя, что все у нее не такое, как у других женщин, и что она умерла бы, если бы знала, о чем он думает. Впрочем, и остальные сербы, имевшие честь когда-либо ужинать в ее присутствии, думали так же.

Играя почти каждый вечер за карточным столом принцессы, он был счастлив, когда мог незаметно коснуться ее брошенной перчатки или провести рукой по ее накидке. И хотя Вук Исакович, как и его друзья, вы-

учился танцевать и танцевал отлично, она никогда его не выбирала, и в большинстве случаев ему приходилось раскланиваться под жалобные звуки скрипок перед какой-нибудь обожавшей его старухой. После таких вечеров он с приятелями обычно пьянствовал до зари, завывая под гусли и захлебываясь словами от избытка сил.

Он высох от любви и желания, страдания его стали замечать и другие. Как безупречному, известному своей смелостью служаке, Вуку Исаковичу поручили, по особой просьбе принца, укротить и объездить несколько валашских лошадей. Так подающий надежды младший офицер полка, сын лучшего поставщика принца Вюртембергского, за немногие месяцы молча испытал все: и одиночество в весенние ночи у опочивальни принцессы, когда он прислушивался к ее шагам, когда видел, как горничные выносят ее платье и приносят рубашку, и дурманящий запах травы и земли, отброшенной копытами ее лошади на утренней прогулке.

Тайна их становилась все невыносимее, потому что принцесса не упускала возможности показаться ему, пока он стоял на посту, а особенно ночью и утром, когда она проходила мимо него еще разгоряченная родившимся в сновидениях пламенным желанием. Ночью она продлевала в них свою дневную жизнь, хотя и знала, что пробудет здесь, как и в Темишваре, недолго. Однажды, чуть не упав с лошади, она, когда Вук Исакович подбежал к ней, оперлась на него всем телом. Тогда он впервые отважился, весь съежившись, коснуться ее.

Вот так, мучаясь, неловкий и покорный, Вук Исакович прожил как в аду чуть ли не полгода, не глядя на других женщин и видя только ее — высокую, необыкновенную, благоухающую. Сгорая от желания и сходя с ума, он, точно глас с неба, воспринял известие о готовящемся в начале осени походе на турок и о том, что принцесса переезжает в Темишвар. Не осмеливаясь ни жестом, ни словом признаться ей в любви, он был уже рад избавиться от каждодневной пытки. Это была его первая настоящая любовь, и пришла она как раз в то время, когда отец задумал его женить.

И тем не менее в ужасе, что он больше никогда ее не увидит, Вук так таращил на нее глаза и смотрел с

такой печалью, что принцесса стала терять уверенность в своем всесилии и уже сама не знала, как вести себя с ним в эти последние перед отъездом дни. Ей все больше казалось, что она пересолила и что следовало его хоть чем-то вознаградить. Принцесса не сомневалась, что этот молодой офицер, которого она часто рисовала себе атаманом разбойников, безумно в нее влюблен. Но случая, к ее большому сожалению, уже не представилось.

Поэтому однажды в сентябрьский полдень, когда принцесса, направляясь к мужу, который рассчитывался с греками и кричал так, что слышно было через два зала, увидела Исаковича, она остановилась и вернулась, чтобы снять парик и распустить свои кудри. Потом снова вышла в коридор, где усач офицер приветствовал ее, опустив ружье к ноге. Когда она затворила за собой дверь, Вук Исакович вздрогнул.

У открытого окна, где он стоял, вился рой мошек, под окном зеленели крепостные валы. К северу раскинулись бесконечные луга, поросшие у воды камышами, на реке стояли боевые суда с высокими зелеными парусами, в тени которых зияли жерла пушек. А сверху над водами огромным мокрым полотнищем нависло облачное небо.

Играя маленьким золотым крестиком и тем привлекая его взгляд к розовой темной ложбинке между грудями, она осведомилась, прибыла ли ее дорожная карета с молодым графом Паташичем, который должен сопровождать ее до Темишвара. Потом, подойдя к нему ближе и впервые заглянув ему в глаза, спросила, приедет ли он в Темишвар, где жизнь гораздо удобнее и приятнее, или в Вену, где она проведет зиму, или в Вюртемберг, где она наградила бы его за преданную службу мужу. И вдруг засмеялась так зовуще и беззастенчиво, что у него задрожали колени. Потом, словно невзначай, высунулась в окно, нагнулась над пропастью, словно нечаянно выронила из рук цепочку и тихо вскрикнула.

Исакович, едва дыша, услужливо подбежал к ней, а она попросила его нагнуться и посмотреть, нет ли в траве цепочки. И одновременно прислушивалась, не идет ли кто. Принцесса знала, что от кабинета мужа их отделяет два зала.

Окно было узкое, и он беспомощно, с трудом, будто

латник в доспехах, протиснулся в него, прижимаясь к стене, чтобы не коснуться ее. А она, по-прежнему высунувшись наружу, схватила его за руку, холодную как у мертвеца, и снова приказала нагнуться. Чуть повернувшись, она коснулась его грудью, почувствовала его сильное тело и только тут поняла, чего лишилась. Вук Исакович в эту минуту был неотразимо красив, глаза его лихорадочно блестели, отливая старым золотом, посиневшие губы были скрыты черными как вороново крыло, опущенными вниз змеевидными усами, казавшимися ей какими-то необычными. Он был смертельно бледен и более, чем когда-либо, скован.

В тот день она больше не выходила из своих покоев, раздраженная и заплаканная. Перед самым вечером она узнала, что карета прибыла и отъезд назначен на послезавтра.

Проснувшись на следующий день теплым утром и увидев во дворе большую дорожную карету, она едва не расхворалась от досады. Теперь, когда надо было уезжать, ей безумно захотелось остаться, чтобы провести с ним наедине хотя бы час.

И принцесса, развращенность которой стала ее второй натурой, почувствовала, что сходит с ума и что охотно осталась бы и дальше под этим голубым восточным небом, казавшимся ей раньше таким же скучным, как крепостные валы и болота, как одна и та же рыба на обед, как одни и те же разговоры. Исакович так отличался от ее мужа и всех ее любовников своим угрюмым, молчаливым, покорным и серьезным нравом, своим могучим телом!

Промучившись все утро неудовлетворенным желанием, она в страхе и возбуждении, как змея подлещиваясь к старшим офицерам и мужу, попыталась включить его в свою свиту или в охрану или перевести в Темишвар. Потом, махнув на все рукой и отдавшись на волю судьбы, она горько заплакала, а статс-дамы и служанки тем временем мыли ее, растирали, одевали и готовили к завтрашней дороге. Затем пришли от молодого красавца, графа Паташича, который почтительнейше просил ее распорядиться, как ему ехать: верхом или же составить ей компанию в карете.

В полдень, вспомнив вчерашнее, она совсем потеряла голову и в порыве страсти и уязвленного самолюбия сначала отослала стоявшего у двери офицера, по-

том ворвалась в пыльную неубранную комнату Исаковича, где он рассматривал купленное принцем турецкое седло.

Черный от бессонных ночей, он встал, в полном изумлении, а она, дерзко улыбаясь, приказала ему отворить окно. Подойдя к Исаковичу вплотную, она нагнулась так же, как накануне, над валами и рвом и, глядя в его глубоко запавшие, мутные глаза, спросила, не отыскали ли солдаты ее цепочку.

День стоял душный и жаркий, парило, облачное небо предвещало грозу.

Спросив, видит ли он что-нибудь внизу, в траве, она придвинулась к нему еще ближе, почувствовав сквозь легкую мягкую ткань амазонки его колени и бедра. И замерла так на несколько секунд, склонившись над лугами, пряно пахнувшими созревшими травами, зажатая между твердой стеной и им. Воцарилась тишина. Потом, будто увидев в траве цепочку, она нагнулась еще ниже и тут же, почувствовав, что он, весь дрожа, тоже склонился над ней, закрыла лицо руками. Прижимаясь все теснее к нему, она слабела от охватившей ее истомы, голова ее кружилась, тело пронзала дрожь.

Когда принцесса, уже совсем замлев, хотела повернуться и полуоткрытыми губами выдохнуть какие-то слова, она вдруг в напряжении всех чувств ощутила, что какая-то неземная прекрасная сила наполнила ее блаженством и поднимает ввысь; она удивленно открыла глаза, пытаясь понять, что с ней, но голова ее неожиданно сделалась тяжелой от духоты и одуряющего запаха трав, и она все с тем же недоумением на лице, сжав колени, упала без чувств.

Все это в продолжение нескольких лет, скитаясь по разным городам, Вук Исакович перебирал в голове и так и этак, пока наконец не позабыл.

И вот теперь он должен вновь встретиться с этой женщиной, которая в его памяти нерасторжимо связана с городом над Дунаем, друзьями по старому Подунайскому полку, молодостью, с женщиной, к которой он питал безмерное и неизменное восхищение, хотя не видел ее почти тридцать лет, встретиться на сей раз не по собственному желанию. Принцесса ждала его в не-

большом городке, через который, как было известно, должны пройти войска.

Едучи по этой непонятно-близкой ему чужой стране, Вук Исакович не раз помышлял о том, чтобы как-нибудь избежать или отложить эту встречу, предчувствуя, что она будет ужасной.

А тем временем в полк прибывал нарочный за нарочным с приветствиями и приглашениями от едущих навстречу принца и принцессы матери.

— Я бы вас не узнала,— говорила после торжественной встречи принцесса, мать Карла Евгения Вюртембергского, Вуку Исаковичу, стоявшему перед ней столбом в своем голубом мундире, в огромных белых перчатках до локтей и красных чикчирах, свисавших спереди переметными сумами, а сзади мешком.— Вы так переменились и так постарели!

Смущенно и виновато улыбаясь, Вук Исакович чувствовал себя особенно неловко, так как в зеркале, перед которым она стояла, отражался и он и целая группа его офицеров, которые, застыв, слушали ее и дышали ему прямо в затылок.

Разглядывая в большое, как ворота, зеркало будто молоком вымытые и позолоченные стены, потолок со множеством белых ангелов и пастушек в подобранных и подвязанных юбках, так что видны были их розовые коленки; медные канделябры с коваными листьями и маленькими ангелочками, унизанные бесчисленными свечами, Исакович с испугом увидел ее спину раньше, чем взглянул ей в лицо.

Одета она была как молодая девушка. На голове целая копна волос, подхваченных белой лентой и свисавших сзади как подвязанный конский хвост. Обнаженные плечи, изборожденные морщинами, присыпанными белой пудрой, сверкали точно высохшие на солнце кости. Окостеневшая спина была затянута в шелковый панцирь, твердая, округлая талия напоминала ствол старой корявой груши и годилась разве только на то, чтобы было на чем держаться шелковым просторным юбкам, расшитым цветочками и веточками, расширенным книзу наподобие шатра, под которым ничего нет. Рядом с этой уродиной стоявшие под большими деревянными часами со сверкающим как солнце медным, раскачивающимся маятником его товарищи с их густо напомаженными волосами, повязанными шел-

ком шеями, широкими новыми золотыми аксельбантами и крепко прижатыми к сердцу треуголками, тоже выглядели в зеркале какими-то чучелами. На секунду у него помутилось в голове, и он никак не мог понять, где находится.

Потом он с ужасом увидел ее в розовых и белых кружевах с двумя огромными бантами на груди и с широченными, размером с юбку, рукавами. К парику был приколот жемчугом пук перьев, подбородок подхвачен широкой голубой лентой, а на левом плече красовался букетик цветов. Шея у нее была вся в морщинах, на левой стороне оголенной груди синела длинная, тонкая, извилистая жилка. Непомерно большие груди мешали ей, она стянула их вместе с грудной клеткой, так что они обрели, хоть и плоскую, но все же привлекательную форму. Принцесса непрестанно обмахивалась веером, расписанным птичками и ягнятами, в его ручку были вделаны маленькие часики. Пальцы у нее были узловатые, рука переплетена вздувшимися жилами.

Вытаращив глаза, Вук Исакович глядел на ее постаревшее лицо с двойным подбородком, обвислую под ушами кожу, очень маленький подбородок и красные скулы, на которых из-под густого слоя белой пудры чернели наклеенные мушки. Нос ее состоял из трех бугров — кончика и двух мясистых ноздрей, брови казались двумя грубо намалеванными дугами. Лишь в ее больших глазах еще таилась былая красота, но и они запали в ямины, затянутые кожаными мешками, складками, морщинами и всякой мерзостью.

Глядя на него с насмешкой, принцесса тоже была поражена его нескладной фигурой, дряблыми губами, обвислыми усами и усталым взглядом, особенно ее раздражала его привычка беспрестанно переминаться с ноги на ногу. И ей, как и другим, он напоминал разукрашенный пустой бочонок.

И даже стараясь быть любезной, она с презрительной усмешкой подносила свою руку под нос всем этим воинам, из коих знакома была лишь со старшим офицером Подунайского полка Вуком Исаковичем, служившим у ее покойного мужа в Белградской крепости.

И, пока к ее руке подходили другие, она еще несколько раз взглянула на него с кислой, недоуменной

улыбкой, не лишенной, впрочем, некоторой доли удовлетворения.

Чувствуя на себе ее оценивающий взгляд, слушая ее голос и тихий смех, он в полной растерянности, с ощущением ужасной пустоты в душе, весь похолодев, с крупными горошинами пота на лбу, подводил к ней и представлял своих офицеров.

Наконец, обратившись к сыну, принцу Карлу Евгению, который тоже был в напудренном парике, перевязанном черной тесьмой, и стоял в кружевах и латах сразу за ней впереди свиты дам, придворных и кирасир, принцесса мать громко, чтобы все могли слышать, сказала:

— Поглядите на этих офицеров. Эти верные и честные люди служили под началом моего покойного мужа, были преданны ему всей душой, и он неизменно дарил им свою любовь и уважение.

Принц вертел левой рукой цепочку от часов, разглядывая амуров, мифологических богинь и цветы на стенах и потолке. Уразумев, что мать поставила его в трудное положение и ему следует что-то сказать, принц так и не смог выдавить из себя ни слова, хотя все смотрели на него в ожидании, и только приподнял правой рукой полу своего сюртука.

К счастью, принцесса прервала свою речь лишь на мгновение и тут же, умиленно глядя на сербов, продолжала:

— Этот день я считаю одним из самых счастливых в моей жизни, потому что мне представился случай еще раз увидеть тех, кто всегда и при всех обстоятельствах относился к нам с любовью и преданностью.

Тут слезы закапали у нее из глаз. Принцесса не могла удержаться и всхлипнула, вспомнив о днях, проведенных у мужа в Сербии.

Привыкшие во всем следовать примеру своего командира, офицеры, разряженные, вычищенные, вылощенные, затянутые в новые ремни, скрипевшие при каждом их движении, искоса поглядывали на Исаковича, тем более, что в полку ходили слухи о его прежнем знакомстве с принцессой. Настроение у них было ничуть не лучше, чем у него. При свете многих сотен свечей им казалось, что они так и не смогли избавиться от следов хлеставших их бесконечных дождей, ночлегов в селах и под повозками, долгих недель, проведен-

ных в грязи, неряшестве и неухоженности. Чувствуя себя неуверенно на скользком паркете, они пугливо озирались на статуи полуголых женщин, стоявшие по углам, куда им хотелось забиться. Предупредительно вежливые придворные, надушенные и причесанные, в шелковых чулках и в длинных бархатных камзолах, с тонкими, как прутик, шпагами на боку, предлагавшие сыграть в карты, казались им столь же странными, как и придворные дамы, которые допытывались у них, как это они проводят ночи под открытым небом. У дам на голове были целые сооружения из волос, цветов и перьев, лица их были раскрашены, грудь — оголена, а из-за широких кринолинов, когда офицерам случалось обходить дам, они боялись опрокинуть столики со стоящими на них алебастровыми вазами.

Затянутые в мундиры, они потели от неловкости, вечер для них, как и для их командира, тянулся мучительно долго. Они держались все вместе, кланялись, угодливо улыбались, краснея, отвечали на вопросы и готовы были провалиться сквозь землю. Многие узы полковой дружбы и побратимства завязались в муках того вечера.

Вместо молодого принца, придворные старались, согласно приказу, растолковать им щекотливое положение Вюртемберга во всей этой военной кутерьме вокруг венского престола, на котором к тому же сидела женщина, и вдохновить их на бой, превознося дружбу вюртембергцев и сербов, скрепленную кровью и столь важную для обеих сторон. Но главное, говорили они, слава о сербах должна прогреметь по всему миру, ибо такова воля божья. Однако готовясь сесть за карточные столы, офицеры Вука Исаковича нисколько не были тронуты этим славословием. Самый богатый среди них, заядлый игрок, капитан Антонович заранее предупредил товарищей, что их будут обманывать и что особенно следует им опасаться женщин, которые усядутся с ними рядом. Таким образом, придворные красавицы, ожидавшие от них совсем иного, тщетно сидели с любезным видом в их обществе, растерянно мигая и скрывая улыбки веерами. Дам принимали в игру скрепя сердце; судорожно стискивая одной рукой карты, а другой — кошелек, офицеры громко переговаривались по-сербски, отпускали остроты по адресу присутствующих, уверенные в том, что никто их не поймет

и никто не перехитрит. Что же касается связей Вюртемберга и сербов, то у них на этот счет было свое мнение — они сквозь зубы проклинали Вюртемберг со всеми его потрохами.

И все-таки дьявольское пламя свечей в серебряных канделябрах, сверкание зеркал, блеск черных лакированных столиков, мраморных каминов и обтянутой шелком мебели ослепили и одурманили их настолько, что им вдруг захотелось проиграться; внимание теснящихся вокруг них оголенных благоухающих дам льстило им и подымало в собственных глазах, у них появилось желание показать себя, показать свое богатство и значительность, щедрость и широту души, рыцарскую учтивость. Они наперегонки кинулись брать карты у красивейших дам, осыпаемые их ароматной пудрой, жевали сласти и засовывали в карманы полученные под столом на память платочки и локоны этих красавиц. Тщетно взывал к ним капитан Антонович, раздавая карты и собирая золотые. Оттаяв наконец и повеселев, они толкали столики и качались в креслах так, что те трещали как орехи.

А позже, когда растворили двери, они увидели, что наступил вечер и длинные тени пустынных подстриженных зеленых аллей, завершающихся белыми колоннами, уже подошли к ступеням террасы. Едва ощутимый легкий ветерок приятно освежал, а небо своей однотонной, водянисто-спокойной окраской вносило успокоение. Не менее хрупкие, чем стекло в больших распахнутых неподалеку от них дверях, тонкое, непрочное, готовое разлететься вдребезги, если вдруг ненароком угодишь в него локтем, палкой, шпагой или стулом, они не думали сейчас, что смерть, быть может, уже у порога и через несколько дней их уже не будет на свете, как не будет пестрых гирлянд из позолоченной бумаги, цветов и стекляруса, развешанных в их честь. И никому из этих офицеров не приходило в голову, что после них не останется ничего вечного, умиротворенного и прекрасного, такого, как этот вечерний сад, обычно полный жизни, а сейчас затихший, чтобы снова проснуться на заре, а останется лишь вонючий, обтянутый волосатой кожей труп да недолгая память там, в их юдоли, среди болот и топей. Слова Исаковича о том, что пора прощаться, они встретили с неудовольствием: уходить им не хотелось. В сверкании зеркал им

вдруг представилось, будто они вознеслись на небо и сидят, легонько покачиваясь, среди звезд на мерцающем Млечном Пути. После пыли, забивавшейся в горло, нос и рот, оседавшей в морщинах на их лицах, после тяжелого похода через горы и реки, через болота и овраги, через села и сады, дворы и гумна, они вдруг вообразили, будто попали в другой, застывший навеки мир и сидят, разодетые в шелка, среди расписных стен, мебели из розового дерева, туи, бархата и драгоценных камней, и любуются вечером, садами, чудесными фонтанами и полными очарования красавицами; и стоит только протянуть руку к этим озаренным лунным светом зеркалам, и твоими станут прекрасные ожерелья, божественно округлые груди, вечернее небо, тишина и забвение.

Присутствие и внимание дам наполняли их гордостью, проигрыш не тяготил, они просто забыли, откуда и зачем пришли. Словно очутились они в этом мире не на несколько часов и, быть может, перед смертью, а пребывали в нем всегда, все же прочие забрели сюда случайно. Счастье переполняло их души. Если, садясь за столы, они конфузились и недовольно хмурились, то теперь они очаровали свиту Карла Евгения своей щедростью, красотой и веселостью.

Кое-кто из вюртембергских кирасир пустил в ход крапленые карты, а кое-кто из дам стал уговаривать сербских офицеров пройтись по саду. При расставании настроение у всех было превосходное, и принцесса мать осталась довольна своими подопечными.

Но даже во время самых оживленных разговоров или нескромных перешептываний с дамами, играя в карты или хохоча во все горло, почти все офицеры не спускали взгляда с Исаковича, куда бы он ни двинулся, опасливо следуя за огромными бантами и лентами принцессы матери.

Они знали, что их мужская сила пользуется известностью, гордились тем, что эту славу они несут и в немецкое царство. Весь Дунайский полк, так же, как и они, был осведомлен о том, что Исакович был любимцем при дворе Александра Вюртембергского, и сейчас их разбирало любопытство: остался ли он в сердце принцессы? Им было жаль обмануться в своих надеждах. Недовольные тем, что пора покидать такое приятное общество, они с досадой и в то же время со злорад-

ством отмечали, что принцесса сторонится Исаковича и что он все больше сникает.

В сущности, Вук Исакович сам избегал принцессы матери, хотя в этом и не было особой нужды, так как она и не стремилась к нему. Избегал смотреть ей в лицо, стоять возле нее. Разница между той, которую он помнил, и той, которую сейчас видел, была так ужасна, что он, как безумный, весь вечер бродил по залу с вытаращенными глазами, убитый тем, что злой рок судил ему пережить и это, и мечтал, чтобы все поскорее кончилось. И поэтому попрощался он с нею довольно небрежно.

Принцесса мать выразила желание осмотреть лагерь. Вук Исакович пообещал к завтрашнему утру подготовить полк к ее приезду. Еще раз улыбнувшись усталой, но ехидной улыбкой, она сказала, что пошлет солдатам баранов, волов и пива, а офицерам — цыплятины, вина и овощей, и снова сунула ему под нос для поцелуя свою жилистую руку.

Таким образом, Вук Исакович вышел с полком на последний отрезок пути до небольшого городка Штукштадта на Рейне, где находился лагерь генерала фельдмаршал-лейтенанта Йоганна Леопольда Беренклау, командующего авангардными войсками.

На противоположной стороне реки стояли передовые части французов, которые ни днем, ни ночью не прекращали стрельбы.

Главные силы австрийской армии всю весну 1744 года сосредоточивались на Рейне; медленно и опасливо, как улитки, они ползли через враждебную им Баварию и Верхний Пфальц, через колеблющийся Вюртемберг, через Баден и Гессен, чтобы обрушиться на французов, не забывая при этом, что за спиной у них — страшная железная Пруссия.

Главнокомандующий австрийской армии принц Карл Лотарингский не торопился двинуть свои полки на врага, он гонял их точно большое стадо то в одну, то в другую сторону и готов был принять любую заблудшую овцу, откликнуться на любой мирный шаг, исходи он даже от заштатного городка или села. И хотя на той стороне Рейна была его родина, земля его предков, он так привык думать по-австрийски, что почти не ощу-

щал тоски по охотничьим угодьям, дворцам и даже престолу. Он был доволен женитьбой своего брата Франца на Марии Терезии и полагал, что и на брата, разумеется, возложат императорский венец.

Поэтому ему больше всего хотелось предоставить англичанам драться с французами; баварцев же с их претендентом на престол, саксонцев и всех прочих он глубоко презирал еще с прошлых войн. По-настоящему он боялся только пруссаков, которые били его уже несколько раз, хотя принц считал себя талантливее Фридриха, правда менее везучим, да и задачи у него были посложнее. Карл Лотарингский действовал на огромной территории, которая простиралась от Рейна до Силезии и которую ему предстояло усеять костями разноплеменных, необученных, невежественных солдат, что настраивало его — не удел солдат, а размер территории — на меланхолический лад.

Устав от скитаний по скверным дорогам от Рейна до Вены и обратно, принц радовался случаю отдохнуть и посмотреть итальянский балет или послушать французскую комедию, мимоходом он знакомился и сближался с малыми дворами, шутя ссорил и мирил принцев, княжества и города посланиями, подарками, угрозами и передвижением войск.

Постепенно он привык не делать разницы между своими придворными дамами и дворами и народами, с которыми его сводила судьба. И если объявлялся новый союзник, он говорил своей свите, что затеял любовную интрижку с таким-то и таким-то княжеством, что оно уже прихорашивается, чтобы больше ему понравиться; если за ужином, перед тем, как сесть за карты, говорилось, к примеру, о переговорах с Саксонией, он попросту замечал, что Саксония уже на сносях, а если генералы указывали ему на ненадежность позиций правого крыла в связи с возможными переменами в Вестфалии, он признавал, что будут трудности и что, к сожалению, придется лишить невинности и Нассау. И лишь время от времени, поглядев случайно из кареты на порабощенную, бедную, обнищавшую Баварию, на ее села, на измученных болезнями и голодом жителей, принц ощущал невыносимую скуку.

Взирая на соседние княжества как на своих танцовщиц и строптивых актерок, принц старался скоротать весну, не слишком ввязываясь в войну, особенно с тех

пор, как ему сообщили из Версаля, что Пруссия ведет успешные переговоры с французским двором, что готовится заключение нового союза и что года не пройдет, как она нападет на Австрию.

А тем временем Вена все нетерпеливее требовала начать военные действия, и в конце весны он уступил, приготовясь внутренне, как и его солдаты, к сражениям, трупам, горящим улицам городов, убитым женщинам, к дождям, лесам, горам и лугам, но, в отличие от солдат, ему все это виделось как на сцене театра, когда можно самому не пачкать рук и сохранять веселый тон и решпект ко двору из боязни, как бы не вмешали в дело грубого, вспыльчивого графа Бачани, который жаждал крови и славы.

Итак, когда пришлось, по его выражению, начать игру в фараон с французским королем и перейти Рейн, что представлялось ему глупой и ненужной затеей, которая могла только ожесточить французов, Карл Лотарингский между балами и вечерами по случаю отъезда, придумал поставить в своем театре новый спектакль, в котором ни он, ни его войска не будут участвовать и в котором он использует ни на что иное не пригодную толпу дурней и бедолаг.

Замедлив еще больше ход армии, он решил выдвинуть далеко вперед в горы, под облака авангард: пусть он себе дерется, как хочет, а он сам будет наблюдать за ним с высокого противоположного берега реки, сохраняя армию для другого, более опасного противника, который отравляет ему жизнь и ждет его в далекой Силезии.

В редких лесах на правом берегу Рейна под Майнцем и Вормсом он сосредоточил войска генерала фельдмаршал-лейтенанта барона Йоганна Леопольда Беренклау, свирепого покорителя Баварии, которого Карл Лотарингский назначил для лобового удара. Войска состояли из хорватских, венгерских и сербских конных полков, отборной пограничной пехоты, пандуров и гайдуков, к ним же на крайний случай в качестве резерва присоединили полк «разбойников», собранный бароном Тренком в славонских лесах.

Карл Лотарингский выбрал славонские части не из любви к ним, а по необходимости. Они были плохо одеты, от них шла нестерпимая вонь и к тому же ими невозможно было командовать. Двигались они по каким-

то собственным правилам, которых никто не мог уразуметь, прибывали на место когда раньше, когда позже и вообще создавали множество непредвиденных трудностей. Бросались в схватку там, где не требовалось, и совершенно неожиданно отходили. Они и стреляли не как положено, и отступали не как все. Болели скопом, напивались скопом, грабили где угодно и что угодно. Кроме того, они погибали в таком страшном количестве, что их ни в коем случае нельзя было бросать в бой вместе с другими, потому что с ними гибли либо попадали в плен самые обученные и отборные полки.

Однако если Карлу Лотарингскому славонские полки были не по душе, их любил барон Беренклау; с ними он разорил и покорил страну соперника Марии Терезии — Баварию, и стал любимцем императрицы.

Испытывая отвращение к своему ремеслу при взгляде на эту толпу усатых, диких, засаленных, косматых воинов, теряя терпение из-за их бесконечных драк, пьянок и болезней, он тем не менее прощал им все, потому что они были ему милее прочих. О них не приходилось заботиться — ни об их пище, ни об их обмундировании. Спали они прямо в грязи, переходили реки и шли до тех пор, пока не валились с ног. Они не знали, за что воюют, и не спрашивали его, а он не считал себя обязанным это им объяснять. Барону они отнюдь не казались непослушными, как Карлу Лотарингскому, напротив, у него всегда было впечатление, что он отправляется на охоту с собаками, которые не спускают с него покорных и преданных глаз и которых можно натравить на кого угодно. Он был к ним строг и зверски немилосерден вовсе не потому, что они этого заслуживали, ему просто хотелось, чтобы они совершали чудеса. Зная всего несколько слов на их языке, он, точно шпион, проник в их душу. Он злил и мучил их, и не только солдат, но и офицеров, а потом шумно мирился. Доведя их до исступления, он бросался с ними в самые страшные сражения, а после боя терпеливо сносил их крики и пьяный разгул. И они никогда не создавали ему непредвиденных трудностей, напротив, он точно знал, что можно от них ожидать. Они поспевали туда, куда он хотел, и погибали в таком количестве, какое он предвидел. Для него они были не блудливые, разнузданные мародеры, а напротив, скромные, рассудительные, серьезные люди с вечной печалью в сердце.

Неуклюжие, хоть в большинстве своем и статные, они не принадлежали к частям, какие любят показывать на парадах. На смотрах с ними была сплошная мука, и все-таки каждый раз барон Беренклау просил передать их ему. Потому что в конце концов он, как и служившие под его командованием офицеры, в том числе и Вук Исакович, ценили в них главное. Бились они страшно. Резали, хватали за грудки, валили с ног, вонзали свои ножи, раздирали руками горло, рвали в лоскутья кожу и мясо, перебивали прикладами ребра, руки и колени, разбивали головы, как тыквы. Потому и только потому, когда барону насмешливо бросали при дворе: «Ваши пандуры», он тут же надменно отвечал: «Да, мои пандуры».

Старушечье, как у попа, лицо фельдмаршал-лейтенанта барона Беренклау всегда покрывала бледность. Оно никогда не улыбалось, на нем запечатлелись следы всего, что он видел, шагая вместе со своими славянами с палашом в руке и не сзади их, а в первом ряду.

Славяне огнем и мечом создали ему бранную славу, а он только такую славу и признавал. Он полюбил войну изблизи, но воевать так, как он любил, ему нравилось лишь с ними. Искренне и неискренне, когда как, но он был любезен с ними и при отступлении, и на марше, когда он молча ехал на коне. Обласканный двором, живя месяцами без музыки, гостиных и мягкой постели, он уже не мог себе представить войну иначе, чем с бесконечными ужасами, страданиями и смертью, которой не раз глядел в глаза. Не зная страха, барон Беренклау полагал, что победа будет сопутствовать ему всюду, где бы он ни появился, и почти перестал обращать внимание на военные советы, на приказы главнокомандующего и письма двора. Достаточно было зарядить дождям, подняться буре или наступить темным ночам, чтоб он объявил наступление. Давать сражения он предпочитал в ночное время, во мраке он продвигался без особых перегруппировок в полной тишине, отдав приказ резать противника без всякой пощады.

От бессонницы и недоедания от него остались кожа да кости, и он продолжал сохнуть, щеки ввалились, скулы выдавались вперед, а глаза пылали, как у отшельника. Лицо вытянулось, надбровья под огромным, изборожденным морщинами лбом свисали, словно стреха, над большими глазами. Тонкие губы терялись в

складках морщинистой кожи, зубы напоминали выщербленную пилу. Навсегда надорвавший глотку он тем не менее отдавал команды громко и внятно. Солдаты прозвали его «старой бабой» и боялись как ведьмы. У него были страшные руки, одни кости, которыми он их хватал. Одевался он почти всегда в черный шелк и золотом шитый бархат и всюду, где нужно и не нужно, появлялся в тяжелых охотничьих сапогах и латах.

И вот этот человек ждал их. Разместив полки Вуича, Хорвата и Венцела по редким лесам над Штукштадтом, он устраивал им смотры, учил и мучил, посылал каждую ночь лазутчиков на ту сторону реки, главным образом в Майнц. Исаковичу не удалось догнать остальных на последнем отрезке пути, он прибыл с опозданием на три дня. О нем Беренклау получил отличные вести из Ингельштадта, из Граца, а также из Печуя от комиссара, который прислал написанный острым, с закорючками почерком длинный, чрезвычайно обстоятельный доклад о Дунайском полке с подробными сведениями об офицерах, солдатах, вооружении, запасах, упомянув особо о православии этих сербов, об их верноподданнических чувствах к императрице и возможных в связи с этим недоразумениях.

Воспитанник иезуитов, барон Беренклау, весьма презрительно относившийся к схизматическому духовенству в своей армии, прочитал доклад довольно невнимательно. Он полагал, что все эти вопросы следует решать потом, теперь же, напротив, монахов надо им еще придать. Они будут весьма кстати после боев и на зимних квартирах, когда обычно солдаты мрут как мухи, тем более, что у этого народа он заметил глубокую потребность молиться, отпевать покойников, проводя целые ночи после боя у костров, в пьяных молениях и сетованиях.

Исакович же, очень ценимый в армии, приведет ему триста отборных воинов, которых барон Беренклау рассчитывал использовать главным образом при осаде, и потому он вовсе не собирался отказывать Исаковичу в чине подполковника, если, конечно, тот не погибнет в бою.

План наступления, который Карл Лотарингский считал своим, был у Беренклау уже готов. Он хотел одним внезапным ударом с фланга ворваться в Майнц, потом захватить лежавшие на Рейне Вормс, Шпейер, форт

Сен Луи и, наконец, Страсбург, а оттуда вклиниться в Лотарингию, куда Карл Лотарингский с остальной армией мог бы уже двинуться не торопясь.

Прибыв наконец в лагерь, Исакович провел первую ночь в лесу, откуда был виден городок Штукштадт и небольшой рукав Рейна с синеющими вдали горами, избранный бароном Беренклау местом прорыва.

После многих дней непрерывного похода солдаты с облегчением вздохнули и, надеясь выспаться под теплым, летним, звездным небом, улеглись.

Им казалось, что они дома. Такая же равнина, такая же река, такие же болота, песок, ивняки, за которыми голубели горы. Из камышей вылетали аисты, а лягушки квакали всю ночь.

Но едва забрезжило, мимо них, точно колдун, проскакал Беренклау с приказом поднять полк и вывести его из леса под пригорок на смотр.

Рассвет тоже показался им знакомым, широкой волной спускался он с пологих темных гор на равнину, поросшую густою травой. На реке светало еле заметно, лишь слабый ветерок рябил водную гладь. Над неподвижной поверхностью, будто подернутой паутиной, взлетали зеленые стрекозы и маленькие, едва видимые глазу мошки.

На стрежне Рейн катил быстрее, ясно различались какие-то ветки, уносимые им, противоположный же берег расплывался в дымке. Среди густых деревьев там были вырыты шанцы французов с двумя пушками.

Ближе к тому берегу темнели очертания поросшего лесом острова. Беренклау задумал связать его со своими позициями мостом, но для этого требовалось перебросить туда ночью несколько человек, чтобы выкопать редут. Берег острова перед лесом был песчаный, и укрыться на нем от пуль было невозможно.

Глядя на противоположный берег, солдаты ничего не видели, кроме деревьев и глубоких темных провалов, в которых таилась неизвестность. Не рискуя подходить к воде, они, так и не умывшись, смазывали ремни, оружие, колеса и свои натертые, сбитые ноги. Без обычного шума построились неподалеку от неприятеля в длинные шеренги и неуверенным шагом, застегивая друг другу ранцы на спинах и насаживая штыки на ружья, вышли из леса, спотыкаясь в полумраке о пеньки.

Когда рассвело, они построились за пригорком у вырубленного виноградника, по которому бегали суслики, построились в полной тишине, выполняя негромкие команды своих командиров, хотя даже крик их не донесся бы до противоположного берега.

Уперев в землю ружья, они слушали жаворонков, смотрели на необычные кровли Штукштадта и старались не слишком переминаться с ноги на ногу, чтобы пыль не попала в смазанные дула. Офицеры в ожидании командира подравнивали их, заглядывали в ранцы, осматривали ружья, тесаки, пистолеты. Увидев командира, они заняли свои места перед строем. Исакович был в новеньком мундире красного сукна, но весь какой-то распухший и плохо выбритый. Видимо, Аркадий брил сегодня своего хозяина спустя рукава. Невыспавшийся и непротрезвевший слуга ехал весьма неуверенно на своей кобыле, вертящейся во все стороны, и вел в поводу белого жеребца, с которым конюх вечно не ладил.

Промучившись с добрый час, разъезжая вдоль рядов и командуя «на караул», Вук Исакович добился наконец того, чего хотел: перед ним стояли две вытянутые в ниточки шеренги солдат со знаменами на правом фланге. После этого он подал команду: «Вольно, с места не сходить!» В таком положении полк оставался еще почти четыре часа, хотя смотр был назначен экстренный. И солнце уже высоко поднялось, а Беренклау все еще не прибыл. Задержался он ненамеренно, потратив больше времени, чем рассчитывал, на осмотр и прослушивание позиций на противоположном берегу, что он проделывал каждый день.

Наконец он появился, трясясь на лошади, в сопровождении нескольких генералов, офицеров и мушкетеров и, едва поздоровавшись с Исаковичем, приказал приступить к упражнениям. Исакович начал с боевого клича: «Мария Терезия!»; потом солдаты приветствовали барона. Поднимая знамя, они выкрикивали его имя и титул, однако, сколько их ни наказывали, они под громкое «виват» невольно кричали не «Беренклау», а «Ребенклау».

Потом Исакович пустил полк беглым шагом с ножами в зубах в атаку прямо на него. Генералы переполошились, а у Беренклау от удовольствия мурашки по-

бежали по телу. Потом Вук построил полк в три шеренги и скомандовал: «Ружья на изготовку!»

Сидя на лошади так, словно он обнимал ее своими длинными ногами за шею, фельдмаршал-лейтенант барон Йоганн Леопольд Беренклау принялся за смотр людей, рассказывая свите о прежних боях, что было у него признаком наилучшего расположения духа. Потом приказал Исаковичу явиться к нему после обеда и уже на ходу, отдавая честь знамени, спросил, умеют ли солдаты грести.

Когда к великой радости Исаковича всем довольный барон Беренклау уже покидал полк, который все еще стоял, замерев на месте, что-то заставило фельдмаршал-лейтенанта оглянуться. Он нахмурился. Исаковича всего передернуло.

Аркадий, который, ведя его жеребца в поводу, старался держаться сзади, неожиданно стал их обгонять, покачиваясь из стороны в сторону, что на фоне застывших шеренг не могло не броситься в глаза.

— Какого черта? — немигающим взглядом уставясь на денщика, тихо спросил Беренклау, которому хотелось, чтоб первый смотр прошел как можно торжественнее.

Исакович, мечтавший о том же, обомлел, не в силах выдавить из себя ни слова.

А денщик, увидев нахмуренное лицо Беренклау, дернул жеребца за повод, пытаясь его успокоить, зашептал ему что-то ласковое, но почувствовал, что соскальзывает с лошади вместе с седлом, судорожно ухватился за гриву своей кобылы. Напился он, как и каждую ночь, оплакивая погибель, ожидавшую их всех, и только сейчас начал трезветь от страха и боли.

Когда Беренклау заорал на него, у бедняги потемнело в глазах, он сообразил, какое зло причинил полку, и решил, что он причина всех несчастий. Совершенно отрезвев, извиваясь от боли в лодыжке и напрягая все силы, чтобы не упасть вместе с седлом, у которого ослабла подпруга, он ухватился за хвост вертевшейся лошади.

Беренклау гневно посмотрел на него, не зная, что железное стремя вонзилось в ногу денщика, и погнал коня рысью. Генералы, офицеры и мушкетеры последовали за ним.

Аркадию надо было ехать за сопровождавшим

командующего Исаковичем. Кое-как выпрямившись, он стегнул по силившейся сбросить его кобыле. В глазах мельтешили пригорки и лозняки, его бил озноб, от боли он обливался холодным потом. Пытаясь уразуметь, что крикнул ему по-немецки Беренклау, Аркадий, потрясенный до глубины души, с тоской смотрел на австрийских генералов и офицеров и крыл их про себя последними словами.

А отупевший и усталый полк тем временем двинулся обратно к лагерю, в лес.

Выехав из лощины между двумя холмами, они увидели внезапно открывшуюся им покрытую лесом противоположную сторону Рейна, залитую солнцем, с очертаниями Вормса у подножья далеких гор. В то же мгновение французы открыли по ним огонь. Все пришпорили лошадей, кроме Аркадия, который, хоть и слышал свист пуль и чувствовал, как дрожит лошадь, не мог отвести глаз от привольных, светлых горизонтов на той стороне реки.

Когда стрельба усилилась, он сошел с лошади, которая остановилась как вкопанная, чтобы отвести ее в сторонку и успокоить. Увидав, что он остался на пригорке с лошадьми один, Аркадий, озираясь на французские форпосты на том берегу, начал нашептывать ласковые слова своей кобыле и дергать за повод жеребца. Чтобы спасти лошадей, он надумал зайти за холм и у дерева осмотреться и решить, что делать дальше. Он побежал, но пули засвистели со всех сторон, ударяясь в землю у самых его ног, и Аркадий лег. Внезапная стрельба и то, что его заметили, удивили его. Он вскинул тяжелую с похмелья голову, поднялся, чтоб поглядеть на французов и обругать их так же, как незадолго до того обругал австрийцев.

Так, чуть позже, Аркадий и погиб, поднимаясь в четвертый раз, чтобы отвести лошадей. Пуля попала ему в живот, схватившись за ремень, он, теряя сознание, страдальчески пробормотал себе под нос: «Господи, господи!»

В ту же ночь Беренклау отдал приказ навести мост на остров, при этом погибло еще одиннадцать человек, а семерых ранило.

Вот так, без всяких околичностей начал редеть на Рейне Подунайский полк, неизвестно зачем и почему.

VII

Метались туда-сюда, как безголовые мухи; ели, пили, спали, чтобы в конце концов погибнуть по чужой воле и за чужой интерес, беглым шагом ступив в пустоту

Вся лотарингская кампания, в которой участвовал во главе своих трехсот отборных солдат Вук Исакович, закончилась в несколько недель. Командующий авангардом, фельдмаршал-лейтенант барон Йоганн Леопольд Беренклау внезапной атакой захватил редуты под Майнцем, после чего сдался и город. Тогда перешел Рейн со своей армией и Карл Лотарингский. Спустя три дня, обменявшись несколькими пистолетными выстрелами с французскими гусарами, войска вошли в Вормс, а затем под проливным дождем без единого выстрела — в Шпейер. После трехдневной передышки они обложили крепость Сен Луи, да тут и застряли. Канонада длилась целыми днями, ядра падали в лагерь, французы запрудили реку, и она разлилась, затопляя повозки, лошадей, пушки и чуть не утопив в грязи армию. Поскольку взять крепость приступом не удалось, войска обошли ее и двинулись к Страсбургу, куда как раз прибыл и французский король.

Тут было заключено перемирие, но ненадолго, вскоре снова начались стычки с французской кавалерией, затем войска получили задание пробиваться в Эльзас. Штурмом взяли Цаберн, потеряв в уличных боях немало людей, а в это время Тренк со своими хорватскими пандурами окружал в окрестных лесах и резал толпы оцепеневших от страха вражеских офицеров и солдат, находившихся в засадах.

Однако, едва лишь они углубились в неприятельскую страну, их потеснили, и они спешно отступили к Рейну, у села Дайнхайм перешли его и сожгли за собой мосты. Карл Лотарингский торопился в Чехию, потому что Пруссия вступила в войну.

Авангард превратился в арьергард, нападающие — в обороняющихся. На Дунай к Шердингу они подошли уже совершенно изнемогшие и больные и узнали, что будут зимовать в Верхнем Пфальце, где, по слухам, уже поумирало немало их кумовьев, братьев и дядьев в другой армии, находившейся в Чехии в лагерях варадинского полковника князя Атанасия Рашковича.

— Потрудитесь во славу и честь нашего полка накормить моим иждивением осиротевшие семьи, и да будет это в память имени моего,— сказал он при отступлении, стоя перед Цаберном, капитану Антоновичу, посылая его в город на разведку с несколькими всадниками.

Капитан, видя, как он обессилен и озабочен, и думая сделать ему приятное, сказал:

— Мне бы также хотелось пожертвовать что-нибудь во славу императрицы...

Исакович сердито его оборвал:

— Сладость богатства для вас, Антонович, есть суета сует. Пройдут, исчезнут все земные блага и слава царствующих. Аще в печали ко гробу приближахуся, виновник печали моей не императрица царствующая, а чрево мое недужное. Ступайте! — заорал он и отвернулся.

Ему порой казалось, будто его пробуждают ото сна, ото сна, который тянется лет десять, ото сна, в котором он ясно сознает собственную слабость и беспомощность. Не зная стратегических планов Карла Лотарингского, как, впрочем, и самих причин войны, Вук Исакович не интересовался ни фамилиями генералов, которые то появлялись на поле боя, то снова возвращались в тыл, ни названиями возникавших перед ним городов, на заре словно умытых, а после битвы — горящих; он не чувствовал за спиной Пруссии, как не знал, что перед ним Лотарингия. Ему было безразлично, удастся ли Марии Терезии короновать своего мужа после победы в Германии, как, впрочем, и ей было безразлично, произведут ли самого Вука в подполковники. Из всей этой войны Вук Исакович запомнил лишь бесконечные метания, бессмысленные блуждания в знойные летние ночи и дождливые дни, когда не видишь положения городов, состояния крепостей, неприятельских позиций, а видишь горные скаты, берега рек, акации и изменчивое небо летних и осенних дней. Он прошел, точно во сне, по этим чужим краям до самого Рейна и поздней осенью вернулся на Дунай с тем же ощущением полной бессмысленности и ненужности всего происходящего. Он обрадовался слухам, будто они должны перейти горы и вступить в Чехию, чтобы сражаться против пруссаков в окрестностях Хэба, откуда недавно

Рашкович перенес тело замученного и, как говорили в полку, отравленного деспота Георгия Бранковича.

Жалея, как никогда прежде, своих солдат, он ни на ком не мог излить свою досаду, свою желчь, которая все больше и больше накипала на сердце. Месяцы прошли в ожидании чина подполковника, и это обострило его чувства, сейчас он яснее представлял себе несчастную судьбу своих солдат: рванье, в которое они были одеты, смрад раненых, не захотевших расстаться с полком, равнодушие, с которым их бросили под пушки. На все позиции, включая и полк Ивана Хорвата, им дали лишь одного лекаря, чтобы перевязывать раненых. Подполковник Арсений Вуич, командир двух полков, то и дело посылал к нему офицеров с просьбой одолжить денег, поскольку его обворовывали на поставках; во время перемирия начали вешать солдат, уличенных в малейшей краже, даже если они срезали в поле один-единственный кочан капусты.

И не только Вук Исакович, но и его офицеры и солдаты чувствовали себя опустошенными, после боев их шатало на ходу из стороны в сторону, как во сне. Солдаты не только не знали, где и за что воюют, но даже не сумели выучить имя своего командующего, которое должны были выкликать на параде, хотя их усиленно муштровали во время переходов. Две тысячи человек, выстроенные в каре, орали во все горло вслед за громкими выкриками офицеров: «фельдмаршал-лейтенант» — «фельдмаршал-лейтенант», «барон» — «барон», «Йоганн — Йоганн», «Леопольд — Леопольд», «Беренклау» — «Ребенклау», «Беренклау» — «Ребенклау». Тут не помогали и палки.

Битвы запечатлелись в памяти Исаковича тоже какими-то обессмысленными и нелепыми. Например, та ночь, когда они форсировали Рейн. Беренклау три дня бродил с ними по лесам над Штукштадтом, подбираясь к Рейну. Одевшись простым солдатом, он тихо повел их, как зверей, вдоль берега через кустарник в лес. Там, у самой воды, они в полном мраке лежали на песке под зеленою листвой густых ветвей. Беренклау вынюхивал, что делается на противоположном берегу, прислушивался к гомону голосов и перекличке французских часовых. Теплая летняя ночь, тучи мошкары, щекочущая нос и уши трава. К утру руки и рубахи были в красных пятнах от раздавленных ягод. Случалось, что

в темноте кто-нибудь оступался в ямину, полную воды, или в лужу с лягушками, после чего долго слышался приглушенный смех остальных. Слизняки падали за ворот, прилеплялись к лицу, к рукам, когда они спали.

После полуночи поднималась луна, и, чтобы себя не обнаружить, им приходилось неподвижно лежать, уткнувшись носами друг другу в грязные опорки и острые штыки, не смея шевельнуть головой. Перед ними ясно обозначалась шумная река, медленно вертевшая в своем потоке и перебрасывавшая порой на противоположный берег пни и ветки, которые французы встречали пальбой из ружей. Над залитыми лунным сиянием лесами стояла в те часы полная тишина, лишь изредка прерываемая далеким собачьим лаем из Майнца. Промокшие от утренней росы, прозябшие, солдаты, точно прилипнув к грязи, дожидались дня, прислушиваясь, как в вышине постукивают дятлы. В траншеях на той стороне четко различались силуэты французов.

Иногда Беренклау заставлял поднимать шум, чтобы французы подумали, будто лагерь снимается с места. Зажигали костры, дико орали и били в барабаны.

Решив наконец, что неприятель достаточно сбит с толку, фельдмаршал-лейтенант, дождавшись особенно темной ночи, подошел по берегу Рейна к Майнцу. И, договорившись с Исаковичем о форсировании реки перед рассветом, удалился, чтобы пригнать лодки.

Оставив солдат лежать в перелеске, Исакович спустился на песчаный берег и вошел в воду. Над ним было звездное небо, на той стороне — лес, а посреди черневшей реки — два небольших острова. Вокруг тишина. Сквозь тяжелые сапоги проникала влага. Усталым движением плеча он с удовольствием сбросил с себя накидку, ставшую тяжелой, и почувствовал, что еще холодно. Подняв пистолеты к самому носу, чтобы еще раз проверить, на месте ли пули, сунул их обратно, потом вытащил саблю, отбросил далеко на берег, к солдатам, ножны, неторопливо засучил правый рукав и, хотя его обнаженная почти по локоть волосатая рука покрылась гусиной кожей, разгоряченному телу это было приятно.

То было единственное в своем роде мгновение, которое всегда доставляло ему подлинную радость. Мгновение, когда казалось, будто сжатые пальцы срослись

с эфесом и никакими силами их уже не разжать. То был могучий прилив сил, сладчайшее из всех наслаждений, когда словно утихали все боли, исчезали все недуги и он превращался в великана, который может остановить реку, вырвать с корнем дерево и рассечь облако.

Он слышал, как солдат тихонько добрался до его плаща и поднял его, потом увидел появившиеся из-за небольшого островка лодки. Вернувшись к полку, он быстро повел его через редкий лесок по течению реки к Беренклау, который ждал у лодок.

Никто не проронил ни слова.

У берега стояло двенадцать больших лодок с гребцами. Беренклау вскочил в первую.

Как только люди уселись, лодки двинулись вниз по течению и перебросили их к темному берегу острова.

Только-только светало, и в пятидесяти шагах еще ничего не было видно.

Бесшумно проплыв мимо кустов, они внезапно очутились на быстрине. Их завертело. Две первые лодки уткнулись в песок. Исакович еще видел, как Беренклау поднялся, а солдаты соскочили в воду, чтобы стащить лодку с мели, и тут же они потонули в предрассветном полумраке, а спустя миг показался противоположный берег.

Десять лодок едва слышно врезались в песок. Солдаты быстро выскочили на берег и схватили ружья, насыпали на полки пороху, сменили пистоны и взяли ножи в зубы.

Французы еще ничего не замечали.

И только когда Исакович с несколькими солдатами показался на крутизне, один из неприятельских солдат дико вскрикнул. В этот миг подоспел с двумя отставшими лодками и Беренклау, и тишину ночи нарушил ритмичный рев: «Ма-ри-я Те-ре-зи-я!»

Загремели ружья, бешено затрещали пистолеты, раздались ужасные крики и вой. Сербы с ножами в зубах прыгали в траншеи прямо на головы французов.

Спустя полчаса, оставляя за собой падавших на землю и извивавшихся от боли раненых и умирающих, Исакович с горсточкой солдат пробился на главную улицу города; запыхавшись, обливаясь потом, с налитыми кровью глазами он шел, упираясь в стены домов своей окровавленной саблей, а его солдаты стреляли в

темный провал улицы. Над ней почти что сомкнулись два ряда черных закоптелых островерхих кровель, недвижимых и пустых, в узкой голубой полоске над ними горела денница.

Вот так, без особой радости, но и без сожаления он пропустил парламентеров, направлявшихся к барону Беренклау договариваться о сдаче города, и телегу, нагруженную убитыми доверху, так что свисали руки и ноги.

Также без всякого удовольствия он услышал, что армия следует за ними и мост уже построен. Три дня, пока Карл Лотарингский перебрасывал войска, он, мертвецки пьяный, проспал.

Во сне ему привиделись два человека, головы которых он собственноручно рассек. Постепенно изглаживаясь из его памяти, они еще несколько дней маячили где-то за пределами сознания. Наконец они исчезли, но потом неожиданно воскресли, неясные и окровавленные, в разрезанных пополам красных арбузах, которыми в это время кормили полк.

Получив благодарность за взятие Майнца, полк остался стоять в авангарде, в болотах под Вормсом. Карл Лотарингский приказал выдать каждому солдату по серебряному флорину, и Вук Исакович их роздал после приличествующего случаю слова о великомученике царе Лазаре.

Через несколько дней полк привели под крепость Сен Луи с особым заданием: взять стены приступом с помощью специальных траншей — апрошей. До́ма, под Варадином, он учил этому солдат больше всего.

Крепость Сен Луи, глубоко врытая в землю среди болотистой низменности, утопала в зелени. С одной стороны ее защищал многоводный Рейн и его рукав, с другой — крепкие стены и скрытые, наполненные водой рвы.

Ночью было душно, кусали комары, днем среди густой травы царила мертвая тишина, лишь изредка пролетал ястреб или вспархивала стайка воробьев. И если бы не падали ядра, Исакович и его солдаты позабыли бы, где они находятся,— до того все это напоминало им учения под Варадином.

По ночам они завывали под гусли, опершись спинами о свежевырытую землю, которая сыпалась им за

шиворот, и спустив ноги в болото, поросшее камышами, где прыгали лягушки.

Они пели, потому что многие были убиты, многие разболелись. Оплакивая мертвых и живых, они пели протяжно, завывая и причитая так долго, что неприятель начинал стрелять все реже и наконец умолкал совсем.

Вук Исакович велел построить для себя шалаш из лозы и камыша на краю глубокой, только что выкопанной траншеи, в которую с большим трудом втиснули две пушки. Шалаш был такой низкий, что приходилось влезать в него на четвереньках. Но лежа на широкой земляной лежанке и покрывшись попоной, он видел сквозь щели в камыше почти все окрестности города, крепость с ее стенами и свои траншеи.

И днем было на что посмотреть! Едва лишь стрельба немного стихала, солдаты начинали бродить, проваливаясь в болото, от траншеи к траншее, разнося кочаны капусты, тыквы, пригоршни фасоли до тех пор, пока французские бомбардиры не открывали по ним огонь. Тогда они пускались в бегство, бросаясь из стороны в сторону, ложась в лужи, в болото и прорывая себе путь, как поросята, сквозь тину, в которую падали ядра. А за потерянным кочаном выбегали иногда целой гурьбой.

Когда наступала тишина, прерываемая время от времени ружейными залпами и пушечной пальбой, Исакович, как сквозь сон, снова смотрел в неоглядное море камышей, на болота и крепостные стены. И снова видел себя в двух лицах, мысленно проходил через всю свою жизнь. Так он спокойно прожил несколько дней. Шалаш его совсем потонул среди кустов, ряски и шуршавшего над ним камыша.

В каком-то полудремотном состоянии, казавшемся приближением смерти, он принимал офицеров и посланцев Беренклау с приказами и известиями о ходе осады. Исаковича не производили в подполковники, и он, отличный военачальник, решил, что отныне он не ударит пальцем о палец. Не произвел ни одной ночной вылазки, не захватил даже ближайших траншей, в общем не делал ничего. Война ему опостылела.

Как-то ночью французы перекрыли рукав реки и пустили воды Рейна на осадные траншеи, и в то вре-

мя, когда, разбивая повозки, тонули лошади, а пушки увязали в грязи, Исакович спокойно спал в своем шалаше. Ему снилось, что он выдает замуж дочь, что у нее лицо и стан принцессы Вюртембергской, когда та была молодой, а не такой, какой он видел ее недавно. За дочерью шел его любимый святой, которому он и его брат Аранджел задумали воздвигнуть над могилой отца церковь, деспот Стефан Штилянович. Деспот поглядел на него ласково и, остановившись у его изголовья, сказал: «Отверсты вижу двери смерти твоей, Исакович, при последнем ты издыхании! Жена твоя червми истлета будет. И горькость души твоей пройдет. За долгий страстотерпческий путь твой лишь потомки обретут в ночи благозрачную Денницу».

Заснув непробудным сном, так что хоть из пушек стреляй, он разговаривал со святителем и ангелами и даже не проснулся, когда вода подхватила и понесла его вместе с шалашом в глубокий запруженный рукав, широким потоком заливавший низину у крепости.

В ту ночь все войско утопало в воде, увязало в грязи и едва спасло свои пушки. Лишь спустя несколько дней австрийцы снова стали лагерем у крепости Сен Луи, но далеко от ее стен, а потом, обойдя ее стороной, двинулись на Страсбург.

Под Страсбургом Исакович спал еще больше. Французские гусары подъезжали к шатрам, стреляли у него под носом из своих длинных пистолетов, а его солдаты прирезали всего лишь несколько солдат с аванпостов.

Каждое утро перед ним среди освещенного солнцем моря травы вставали валы и стены города, засаженные деревьями. Любуясь высокими остроконечными колокольнями, лиловым небом над ними, влажным от дождя, с большими голубыми «окнами» на горизонте, он подумал, что здесь можно было бы пожить. Однажды вечером, когда кавалеристы привели к нему пленных, он подробно расспрашивал их через переводчика о старших офицерах, особенно подполковниках и полковниках, и зеленел от бессильного гнева.

Беренклау, приходивший в отчаяние от способа, которым Карл Лотарингский ведет войну, придвинул свои аванпосты к самым стенам города и через Вуича поручил Исаковичу попытаться в одну из ночей прямо из лагеря взять приступом большую каменную сторо-

жевую башню, ворота которой целыми днями стояли распахнутыми. И вот безо всякой охоты и желания Исакович как-то ночью поднял своих офицеров и приказал тихонько разбудить солдат, которые по вечерам убегали под городские стены воровать по капустникам и бахчам. И пока они, заспанные и взлохмаченные, вылезали из шатров и сбивались как черные бараны в отары, Исакович указал офицерам на сторожевую башню, которая темнела в глубокой тишине предрассветных сумерек, точно далекая скала. В подзорную трубу уже хорошо можно было различить часовых на стенах, отдельные дома и кроны деревьев. Над полянами стелился молочный туман, доходивший лошадям до колен. В лагере никто и не подозревал о том, что готовится. Часовые у шатров, повозок, больших стогов сена и соломы спали, опершись на ружья, как пастухи на посохи, и не заметили их.

Исакович выехал из лагеря в звездный предутренний полумрак, в зелень трав, греясь теплом лошади, и направился к купе деревьев, чтобы осмотреть дорогу, по которой им придется идти. Среди широких зеленых полей, в тишине далеких земляных валов смутно темнела стена, на нее им предстояло наброситься с ревом еще до восхода солнца. Отпустив повод, он повернулся в седле и в утренних сумерках увидел, как на поляне вокруг офицеров, заряжая ружья и пистолеты, собираются его солдаты.

Лошадь все время чего-то пугалась, пятилась и непрестанно мотала головой. Исакович, сдерживая ее, снова ощутил тот восторг, который охватывал его перед атакой и был ему милее всего на свете. Тихая радость снова пронзила все его существо от затылка до пят, мурашки пробежали по спине, и он, пришпорив жеребца, поскакал к солдатам, чтобы вести полк на приступ. Быстрая езда, казалось, изгоняла недуг и так мучившую его боль в костях и суставах. Исакович вдыхал запах росистой травы и железа, ощущал тепло арабского коня, слушал удары его копыт и в один миг стряхнул с себя ночную одурь, винные пары, гнет грустных мыслей. Потом заорал во все горло солдатам, так круто завернув перед ними коня, что те даже шарахнулись. Исакович хотел, по обычаю, перед смертным боем сказать им несколько слов, помянуть святого деспота Стефана Штиляновича, побранив сначала за то,

что они по ночам убегают из лагеря, шатаются по окрестным усадьбам крестьян и воруют что попало, как вдруг вдали, в крепости, заиграла труба.

Французский король захотел по пути ненадолго посетить осажденный Страсбург и произвести смотр своим войскам. И он осуществил свое желание как раз в то самое утро, когда задолго перед рассветом Вук Исакович намеревался со своим Подунайским полком по приказу барона Беренклау захватить одну из плохо охраняемых сторожевых башен города, перед которой не было ни траншей, ни аванпостов.

И вот под рев труб французские пехотные полки и конные части стали выходить из города, спускаться с земляных валов на поляну и строиться для церемониального марша перед большими шатрами своих аванпостов почти на расстоянии выстрела от австрийского лагеря. За ними, крича и размахивая шляпами, сбежались и жители города.

Чтобы поглядеть на юного короля, примчались на поляну кавалеристы, сбежались офицеры из ближайших французских лагерей, сотни и сотни мушкетеров, а кавалеристы королевской гвардии носились взад и вперед между двумя живыми стенами застывших рот. Тут и прокатила королевская коляска, запряженная восьмеркой белых лошадей, сопровождаемая эскортом кавалькады гарцевавших на своих скакунах с саблями наголо гвардейцев, то и дело с опаской озиравшихся на белые и пестрые шатры австрийского авангарда.

Пушки крепости приветствовали короля тремястами выстрелами, а войска — тремя залпами.

Исаковичу и его офицерам, которые, лежа в траве, за всем этим наблюдали и в подзорные трубы и невооруженным глазом, не оставалось ничего другого, как не соваться в эти дела. Сойдя с лошадей, они молча переглядывались в ожидании нового приказа Беренклау.

Тем временем Карл Лотарингский заключил перемирие и в тот же день в сербских лагерях поднялись крики, вопли, запели гусли, закружилось коло[1]. Всюду

---

[1] Массовый национальный танец *(сербскохорв.)*.

били в барабаны, глашатаи выкрикивали приказы, грозившие солдатам смертью за грабежи во время перемирия, даже за воровство фруктов или овощей из соседних садов можно было лишиться головы.

И Подунайский полк снова захлестнули крик и шум; солдаты ходили с растрепанными пучками соломы и сена в космах, от них несло порохом и говяжьим жиром, которым они смазывали себе ноги, ножи, ружья, патроны и ремни; до обеда они упражнялись в стрельбе залпами в три ряда, а после обеда — в разучивании ответа на приветствие главнокомандующего, причем правильно они могли произнести лишь одно латинское слово «виват», а Каролус и в тысячный раз произносили Калорус, дукс — дус, а Лотарингия — Лотрагиния.

Но как только темнело, несмотря на часовых и угрозу наказания, измученные и голодные солдаты разбегались по окольным селам в поисках съестного. Исаковичу казалось, что он сойдет с ума, если эта война еще затянется. Подобно Вуичу, Марковичу и другим командирам, он целыми днями торчал перед шатром комиссара, чтобы раздобыть провиант.

Он стыдился драных шатров, малого количества повозок и одичавших собак, которые бродили по лагерю. За ближайшими французскими постами видны были крепостные пушки, деревья, пасущийся под городскими стенами скот и крестьяне, собиравшие последние фрукты. Эту картину он видел изо дня в день, она напоминала ему игру облаков: те же поляны, те же строения, сторожевые башни, бастионы, батареи, люди, что трясли фруктовые деревья, а за ними — те же кусты, та же высокая конопля и голая равнина.

Уже на следующий день за кражу яблок повесили двух солдат из полка Вуича. Немецкий кавалерийский отряд в сопровождении священника и палача объезжал окрестности и вешал мародеров на месте преступления. Поп исповедовал смертников.

Исакович покинул свой шалаш, приказал выкопать землянку, покрыть ее травой и сделать вход так, чтобы видеть не крепость, а свой лагерь с раскиданной повсюду прелой соломой и множеством собак, которые носились среди шатров, подбрасывая мордами солому. Находясь в полном неведении, он не осмеливался покидать лагерь, в то время как его офицеры не только

ходили в гости к соседям, но и на охоту и в поисках девиц в трактиры окрестных городков.

Так, мучаясь, Вук Исакович и прожил конец необычно знойного лета, не имея представления о том, что ждет его впереди, все еще глубоко уверенный в том, что живым с войны не вернется. Молча наблюдая за всем происходившим вокруг, он горько раскаивался, что вообще просил повышения. Стало ясно, что времена турецких войн больше не вернутся и что Карлу наплевать на его, Вуича и Хорвата полки.

Незнакомый край, где велась война, совсем их замучил, да и потери были велики. Воспоминание о встрече со старухой принцессой, точно червь, точило его мозг, горевал он и по своему слуге Аркадию, тело которого так и не нашли. Пропали и обе лошади. Видимо, крестьяне ограбили убитого, труп бросили в Рейн, а коней увели.

Так, по крайней мере, думал Исакович, стоя под Страсбургом. Его тяжелые сапоги порыжели, чикчиры потеряли всякий вид и висели сзади мешком. Он сам их латал. Ветер и солнце сделали его лицо бронзовым, от постоянной ходьбы и усилий он окреп, налился силой и снова стал бочка бочкой. И несмотря на годы, на душевную тоску, он, проспав двое суток непробудным сном, все-таки начал изредка поглядывать на крестьянок. Думая о предстоящей смерти, он помягчел, но лошадей по-прежнему лупил кулаком.

Он перестал бриться, и лицо его приобрело спокойное и даже благообразное выражение. И только когда и в его полк прислали католического священника, в его желтых глазах с черными крапинками появился лихорадочный блеск. Говоря языком, не похожим на тот, каким говорили все его офицеры, а словно поп, Вук в те дни отбирал людей, которых собирался отпустить домой.

— Прочитайте сие с усердием,— сказал он как-то капитану Антоновичу, передавая ему список,— и исправьте мя, аще где прегрешение обрящете. Напишите: «Через Лорену рукою ратною пройдоше и воеваше; дому приидоше и при нем в служба́х военных быти...»

По сути дела, ему было жалко, что, посылая своих людей в Варадин, он не может вот таким же витиеватым росчерком своего пера направить их в Россию.

Мучимый болезнью, на которую он не обращал внимания, потеряв всякую надежду на производство в подполковники, доведенный до бешенства нехватками муки и мяса для солдат, Вук Исакович, лежа в своей норе под Страсбургом во время перемирия, окончательно убедился, что стал смешон и никчемен, словно старый растолстевший поп, который все еще служит, но в сущности давно уже ни на что не годен. Как это бывает с приходом старости, перед Исаковичем ясно разверзлась бездонная пропасть.

Отправляясь на войну, четвертый раз в жизни встречаясь лицом к лицу со смертью, он надеялся совершить наконец нечто беспримерное, из ряда вон выходящее, то, что ему никогда раньше не удавалось. Он мечтал появиться со своими людьми в составе какого-то необыкновенного войска в яростной схватке, могучими, прославленными, отмеченными высочайшими наградами — он еще сам не знал какими, но, по его представлениям, необычайно лестными и значительными и для него и для солдат. Уходя на войну, он избавлялся от забот, в ту весну особенно его допекавших; избавлялся от неразрешимого спора с братом из-за приданого жены, от болезни ребенка, покрывшегося коростой, от опостылевшей жены, с которой уже не мог совладать, и, наконец, от своего селения среди болот под Варадином, где люди уже принялись ставить глинобитные дома. Они жаловались каждый день на свою судьбу, ожидая, что он их накормит, найдет им бревна и балки, запишет их в войско, и норовили сбежать от него в старые и более богатые окольные села. Измученный последние дни перед отъездом рытьем колодцев, поисками питьевой воды и непорядками на строительстве церкви, Исакович уехал с радостью, уверенный в том, что все это тлен и суета и что на войне его ждет нечто величественное, светлое и оно может закончиться чем-то прекрасным и для него и для его людей.

Жизнь перед отъездом опостылела ему не только из-за нищеты и убожества, с которыми он сталкивался на каждом шагу и в своем доме, и в хижинах своих крестьян, и в загонах для скота, и в окрестностях нового поселения вдоль Дуная до самого Варадина, но также из-за вечных раздоров с маркизом Гваданьи, комендантом Осека, возникавших при основании новых сла-

вонских поселений и в связи с ходатайствами и письменными петициями патриарха Шакабенты, к которым и Вук был причастен. Ему казалось, что все, подобно ему, ощущают тщету своей жизни, этих вечных переселений с места на место, всего, что тут, вдоль Дуная, появляется на свет божий. Казалось, стоит лишь ему подняться на высокий пригорок в весеннее теплое утро, как болота и топи с их ядовитыми испарениями, непомерная мука бесконечных кочевок, падеж скотины, пахота по колено в грязи или в солончаках — все это останется позади, и он будет вознагражден чем-то таким, что всем поможет и всех обрадует. Предчувствуя, что он уже не вернется домой, Вук Исакович все-таки думал о том, как, возвращаясь, они спустятся по ту сторону воображаемой горы и, довольные, поскачут по домам, находя все преображенным и радостным. Исакович не беспокоился за детей и жену, переехавших в дом брата, и воображал, что кто-то позаботится о крестьянах его селения, и он застанет их среди высоких хлебов, всходы которых уже зеленеют на равнине, избавленной от мора и всякой заразы. Люди, верил Исакович, откажутся от краж и убийств, которые ему приходилось каждый день разбирать, и уповал, что над солдатами в течение всего пути на ратное поле будет распростерта десница цесаря или господа бога. И потому особенно следил за тем, чтобы красиво вписать названия и местоположение отдельных поселений и рот в список, который комиссар должен был отослать с нарочным Военному совету в Вену.

Отец, под крылышком которого он вырос, продавал скот еще принцу Савойскому и отдавал в австрийскую армию, теснившую турок, своих детей, братьев, родичей, кумовьев и приятелей. Молодой Вук в армии жил вовсе не плохо. Поначалу его баловали и часто награждали, в нем теплилось туманное, но глубокое ощущение счастья и довольства, питаемое твердой надеждой, что все эти войны завершатся однажды всеобщим миром, и тогда он, его сородичи, приятели и все его солдаты, разодетые в пух и прах, обойдут поля сражений по всей империи, и люди вокруг будут восклицать: «Гляди-ка, сербы!»

Под влиянием отца, который внушал сыну, что при возвращении его ждет сожженная, вырезанная, опустошенная Сербия, Вук, уповая на грядущее счастье, бес-

печно, в полном довольстве провел в армии не только мирное время, но и все три войны. Только после смерти отца, все глубже погрязая в военной службе, связанной с заселением границ, всевозможными переписями, организацией военных поселений, Вук Исакович понял, что ничего хорошего не произойдет, и наконец ясно увидел окружавшие его болота, топи, нужду и жалкую, убогую жизнь своих земляков в военных поселениях, шанцах, в домах на воде, в землянках, в хижинах и вырытых в земле ямах.

Таким образом, в последние годы ему довелось пережить все тяготы кочевой жизни и армейской службы, а также вкусить горечь разочарования вместе с сербскими военными старейшинами и патриархом. А на этой войне, начиная с Печуя, ему было все тяжелее. Униженный, как ему казалось, умышленно, он перешел Рейн и шагал, будто во сне, среди трупов, по горящим улицам, воспринимая все свои поступки так, словно их совершал кто-то другой. И только тут, под Страсбургом, во время этого тягостного перемирия, ощутил наконец эту страшную, головокружительную пустоту перед собой, в которой уже нет ничего.

Лежа в невероятной духоте на попоне в низкой хижине, покрытой травой, которая, высохнув, пьянила своим запахом, Вук Исакович почти целыми днями оставался совсем один, возле него стоял лишь кувшин с водой, время от времени он перемещался с попоной и седлом с припека в тень, сбрасывая муравьев с изголовья. Вытянув ноги и сложив руки на больном животе, который с тех пор, как начались бои, беспокоил его меньше, он лежал как покойник, избегая днем появляться в расположившемся среди повозок лагере — настоящем цыганском таборе, где солдаты вокруг костров орали во всю глотку под гусли, правда, больше от голода, чем от спиртного. Потягиваясь в полусне, Исакович представлял себе, будто он ногами достает до городских редутов, а руками — до шатра Беренклау, и таким образом пятками может сбить укрепления, а пятернями задавить нескольких Беренклау. Так он частенько и засыпал, полный ярости и отчаяния, просыпаясь под вечер от песен солдат и треска барабанов.

Окрепший после сна и отдохнувший, он переносился сквозь лагерный шум и гам, удары копыт, позвяки-

вание колокольчиков скотины, звон кузнечных наковален в умиротворяющий сумрак вечера, в тихое пение цикад на широкой поляне, в бездонную пустоту, которая на склоне лет так внезапно разверзалась у самых его ног. Опасаясь, что ему станут досаждать делами, а также приглашениями на пирушки, он оставлял без всякого внимания офицеров и не появлялся в шатре Беренклау, где шла азартная игра и буйное веселье. Один на один с собой, с вечно маячащими перед глазами жалкими повозками, развешанными хомутами и путами, раскаленным небом и длинными полосками сожженных полей, Исакович полностью отрешился от всех своих надежд. За свое неудавшееся производство в подполковники он честил и Беренклау, которым раньше так восторгался, и всех расфуфыренных военачальников в париках. Теперь ему было наплевать на австрийскую армию, которой он и его солдаты прокладывали путь кровавой резней, а все прошлое казалось ему беспросветной глупостью. Ничего он больше не ожидал и от возвращения домой, понимая, что несчастный народ, поселившийся на низинных болотах, обманули и предали.

Но вслед за службой, с которой он мысленно с презрением порывал, он порывал и со всем остальным. С женой и детьми, из-за которых он страдал и которых никогда нет рядом, чтоб прийти к нему приласкать и утешить; с болотами, куда он должен вернуться, со своим убогим и бессмысленным существованием. Со всеми делами, которыми он прежде собирался заняться.

В бездонную темную пустоту погрузился в этот вечер не только шалаш, где он лежал, но и, казалось, вся его жизнь. Сгинула, сбросила его, как он сам когда-то с пьяным хохотом сбрасывал с себя перед девками шитое серебром платье. И вместо первой любви появилась шлюха, вместо городов, где он жил, торговал, копал траншеи, стрелял и убивал людей — пустыня.

Из всей его жизни, размышлял он, неомраченными сохранились в памяти лишь яркие, чистые звезды да серебристые лесные тропы, над которыми спускались апрельские туманы и по которым он скакал на лисьей охоте, проводя медовый месяц в небольшом скучном славонском гарнизоне и мечтая в будущем уехать в необъятную, занесенную снегом Россию, чтобы нако-

нец зажить по-человечески, успокоиться и отдохнуть.

Мысли Исаковича, когда он вышел в тот вечер из своей землянки, были далеки от спутанных лошадей, больных солдат, лежащих на соломе, шатров, ружей, бочек с порохом. Часовые его приветствовали. Поглядев на уходящий вдаль лагерь, пышащий жаром и кишащий солдатами, он окинул взглядом горизонт. Несносный зной, казалось, никогда не кончится. На звездном небе не было ни облачка. От вздымавшихся вдали гор, сожженной травы и фруктовых садов веяло пылью и духотой.

К далеким сельским колокольням тянулись вдоль реки длинные ряды деревьев и кустов, а на возвышенностях и редутах французов темнели большие стога сена, скошенные и сожженные нивы отливали то медью, то золотом. Над низинами, солончаками и поросшими кустарником болотами поднимались покрытые садами холмы и пригорки. Там стояли вкопанные в землю пушки. Город дрожал в мареве зноя и, казалось, реял над тучами пыли, висевшей над дорогами, по которым тянулись длинные вереницы всадников и повозок.

Привалившись спиной к хижине, полураздетый, он выслушал рапорт капитана Антоновича, который заступил на ночное дежурство по лагерю; капитан сообщил Исаковичу пароль и передал ему приглашение Беренклау пожаловать к нему завтра на обед. Вытянув ноги в траве и сломав стебли бурьяна, лезшего в лицо своими засохшими плодами, в которых колотились зернышки, он лег на спину под кустом, росшим над хижиной, оголил грудь, чтобы немного остыть, и не мигая уставился на пробивавшиеся сквозь пыль снопы света над далекими земляными валами. Угрюмо приказав ночью не задерживать убегающих из лагеря, а на заре тех, кто вернется, не передавать караулу, он тут же отпустил капитана. Потом бросил мимолетный взгляд на солдата, который чуть в стороне, стоя на коленях в сене, чистил его пистолеты, и устремил взгляд в бездонную голубую высь.

Он ждал, когда смеркнется, вдыхая запах дыма от горящей между шатрами травы. Под собачий брех на долину опускалась темнота. Первые далекие костры осветили лица солдат, которые, сидя на корточках, чистили картошку, резали тыкву и варили их в котлах

или пекли на горячих угольях. Побледневшее небо низко нависло над садами. И сразу повеяло приятной прохладой. Снова завыли и загудели гусли, запела свирель. Вместе с мраком наступала тишина. Вскоре тьма смешалась с туманом, а пыль укутала все вокруг до самых верхушек далеких фруктовых садов. Вук Исакович успокоился.

Перед ним навеки разверзлась бездна, позади лежало суетное прошлое. Он, как и все прочие, ничего не добился и в этой войне, а кочевая жизнь и маета все продолжались. И все-таки в глубине души он чувствовал, что так попусту жизнь не может пройти, внутренний голос обещал ему в конце что-то необыкновенное.

Стоя над страшной бездной, на краю которой он оказался, обнаружив, что жизнь прошла, что ничего поправить уже нельзя, в том числе и жалкую судьбу всех тех, кто не по своей воле и для чужой корысти пошел с ним и кто либо погибнет, либо вернется в свои болота, отказавшись от всякой надежды, он все-таки чувствовал над собой нечто обещающее, как чувствовал это небо, несущее летним вечером прохладу.

Окидывая взглядом широкую равнину, уходящую к реке и дальше, до синих гор, он в этих далях черпал чувство, что он не рожден для этой неизреченно-тяжкой тоски и пустоты, в которой очутился. Где-то, подобно этому радостному снопу света, вспыхнувшему на фоне звездного неба над городом, где под темной сенью кровель прячутся голуби и ласточки, должна быть и для него какая-то небесная радость. Когда-нибудь и он должен добраться туда, где в радостном водовороте событий жизнь льется легко, как прозрачный, чистый, холодный, приятный пенистый водопад. Поэтому надо уйти отсюда, поселиться в каком-то другом месте — прозрачном, чистом, ровном, как поверхность глубоких горных озер, думал он, лежа весь потный рядом со своими собаками, которые, растянувшись на соломе, гамкая, ловили мух. Надо забрать всех, забрать патриарха и уйти от этих болот, от бесконечных войн, службы и обязанностей. Жить по своей воле, избавиться от этой страшной неразберихи, жить той жизнью, для которой рожден человек. Жить тем необыкновенным, что, как небо, все покрывает и все завершает. Чтобы все то, что он до сих пор делал, перестало бы казаться глупым и

бесполезным, чтобы будущее стало понятным и ожидание мира не было бы уж таким безысходным.

После стольких недель тяжких мук и скитаний, выбравшись в полном изнеможении из страшной бездны отчаяния, Вук Исакович испытывал небывалую жажду чего-то радостного и светлого; уходить с этого света обездоленным, старым и опустошенным он теперь не хотел. Никогда еще он с таким восторгом не прислушивался к шепоту небес, говорившему, что сама судьба предопределила ему вести свой полк, который вдруг стал милее и лучше всех прочих на свете. И те, кто остались дома, никогда раньше не представлялись ему столь достойными лучшей доли. Засыпая в духоте летней ночи у порога своей землянки под Страсбургом, Вук Исакович грезил о чем-то неземном, что ждет не только его, но и его сородичей, пусть униженных сейчас и обманутых, но рожденных для чего-то чистого, светлого, необыкновенного и вечного, как вот эти яркие созвездия и серебристая синь неба, мерцающая над городскими кровлями, травами, горами и рекой. А вдоль реки трепетало пламя лагерных костров, на которые, будто тихий летний дождь, лился лунный свет.

На другой день утром, едва проснувшись, он узнал, что на заре опять повесили трех солдат, уличенных в воровстве возле одного из ближайших сел. Капитан Антонович в неряшливо написанном рапорте особо подчеркнул: профос, прибывший с отрядом драгун, пьяная каналья, бьет солдат эфесом сабли по лицу и вешает без допроса и следствия на ближайшем дереве. К тому же с отрядом ездит католический поп, который исповедует и православных, так что сербы плачут от горя, не имея возможности ни помолиться, ни послать последний привет родным. И, наконец, поскольку солдаты уже провисели три часа, он просит распоряжения передать их для захоронения подполковнику Арсению Вуичу, потому что солдаты, видимо, в последнюю минуту своей жизни дали ложные показания: они не из их полка.

Умываясь неподалеку от землянки, Исакович, синий от гнева и досады, совал голову в ведро. Вода стекала с подбородка на голую грудь, сердце учащенно билось. Приказав Антоновичу тотчас послать монаха к покойным и обо всем сообщить Беренклау, а солдат преду-

предить, чтобы не выходили из лагеря без тесака, он переоделся, поглядел на забитые повозками французов дороги, тучи пыли, поля, над которыми низко кружились жаворонки, окинул взглядом форпосты, редуты, крепостные стены и на самом горизонте увидел ряд акаций и фруктовых деревьев небольшого селения. Там, решил он, они и висят.

И пока ему седлали коня, он, осевший и подавленный, все смотрел туда, в открытое поле, пересеченное межами, поросшими репейником и крапивой, с нависшими над ним серыми дождевыми облаками.

Конь, обычно спокойный, опустив морду к земле и пофыркивая, ел мякину. Когда Исакович подошел, он вдруг шарахнулся. Пока слуги стягивали подпругу, животное беспокойно закружилось на месте, пугливо косясь на него своими большими черными глазами. Но когда Исакович ударил коня кулаком, он задрожал и стал как вкопанный. Вскочив в седло, Исакович подумал о том, что еще способен ездить верхом, как юноша, и зарысил по равнине, подтягивая поясные ремни.

Поскакал он прямо в душную, паркую мглу хмурого утра мимо конюшен Беренклау, мимо нагромождения оглобель и колес, мешков, стогов сена, мимо вкопанных в землю пушек, через поваленные плетни и порубленные сады к небольшому пригорку.

Ехал он не спуская глаз с далеких акаций и домов, а они все не приближались. И даже порой среди зеленой шири на мглистом небосклоне казались еще более неподвижными от того, что конь тряс его, бешено фыркая на заросли крапивы, кусты осоки, спотыкаясь на вскопанных грядках и ударяя копытом о копыто.

Был хмурый душный день, и пока доехали, он весь взмок. Уже издалека показались тянувшаяся вдоль канавы со стоячей водой бахча, высокая конопля, несколько строений, коровы и поле, поросшее высокой травой и усеянное красными маками. У большого намета соломы копошились куры, тут же возле двуколки с высокими колесами собралась большая толпа крестьян, крестьянок и ребят. Перед ними, держа под уздцы лошадей, стояли два драгуна, по виду очень довольные. Из громкого гама и шума, царивших вокруг них, по поведению молодух и девушек и по тому, как драгуны что-то выделывали ногами и утирали шеи, Исакович понял, что они танцуют.

Погнав через канаву коня, он заехал за дома в коноплю, так что его не успели заметить, и по упавшим заборам перебрался на другой край бахчи, где вдоль канавы со стоячей водой выстроились восемь акаций. Несколько теплых дождевых капель упало ему на лицо, и он остановил коня. Над головой застрекотала сорока и тотчас ей отозвались вороны.

В тот же миг конь вздрогнул, подался назад, задрожал и стал как вкопанный. Приподнявшись на стременах, Исакович заметил, как по скошенной ниве к пригорку, закрывавшему большую часть Страсбурга, бегут два жаворонка; дернув коня за узду, он увидел в нескольких шагах от себя фруктовый сад и три ближайшие груши, на которых неподвижно висели на фоне пустынных далеких полей три пугала.

Солдаты были повешены так низко, что их ноги почти касались тыкв и арбузов, их больших желтых цветов, а также огромных огурцов, росших тут же. Им не связали колени, а только сняли опанки, и ноги их были раскорячены, словно они собирались сесть в своих тесных серых штанах на что-то высокое. Ступни опухли и отливали синевой, словно отмороженные. Увидев эти шесть судорожно сведенных ног, будто шесть освежеванных ягнят, Исакович с трудом осмелился поднять глаза выше.

Руки им связали за спиной, лица не закрыли, и у глаз и носа роились мухи. Повешенные невысоко от земли, где у стволов расходились ветви, они висели неподвижно, согнув шеи, словно совершали дикий скачок с деревьями на спинах через тянувшуюся вдоль бахчи канаву со стоячей водой. В открывшемся позади них просторе летали от стога к стогу воробьиные стайки.

На ближайшей груше, где висел первый солдат, было еще много зрелых плодов и, хотя лошадь уперлась и не хотела продвинуться ни на шаг, обомлевший от ужаса Исакович видел его совершенно отчетливо. Это был высокий грузный человек, видимо он долго защищался и вырывался, потому что нижняя рубаха вылезла из-под пояса и свисала клочьями, а на коленях и локтях зияли дыры.

Его взлохмаченная голова склонилась налево, шея вспухла от крови и посинела, вывалившийся язык почти касался веревки.

Средний был огромный детина с длинными усами. Поднятая высоко над землей одна его нога был согнута и переброшена через другую, пальцы которой касались земли. Ветка, на которой он был повешен, почти отломилась от ствола, и, когда он бился в смертельных конвульсиях, груши с нее попадали на землю. В страшной борьбе с захлестнувшей его петлею плечевые мышцы напряглись, а огромные желтые зубы нижней челюсти закусили верхнюю губу до крови. Он висел, закинув голову назад, заведя белки глаз в небо, весь посинев.

Лишь третьему они сразу сломали шею, и он висел прямой, низко опустив голову, так что видны были только волосы и седоватые усы, с которых капала кровь.

Только через три часа, когда дождь лил уже вовсю, драгуны сняли и положили повешенных на телегу посреди двора, возле которого их поймали. Исакович отправил двух монахов их отпевать.

Его землянку заливало водой, и в тот вечер он, дрожа от холода, заснул под повозкой. Мокрый лагерь затих, умолкли даже собаки.

На другое утро, вскоре после его пробуждения, ему доложили, что два его солдата лежат избитые в главном караульном помещении лагеря, а третий, ветеран, который нес в платке кочан капусты,— кстати он утверждал, что купил его,— ухитрился отбиться от драгун при помощи тесака и удрать.

Дежурный генерал еще до обеда выслушал Исаковича, а перед вечером Вук предстал перед Карлом Лотарингским, опасавшимся, что ветеран из полка Исаковича перебежит к неприятелю. Разговаривая с Исаковичем, Карл удивленно, в лорнет, смотрел на взбешенного бородача.

С того дня солдат больше не вешали.

Только били палками тех, кого хватали в поле, а ветеран из полка Исаковича к вечеру появился в лагере и был еще награжден пятью золотыми, когда показал Карлу Лотарингскому свои шрамы, полученные во время войн с турками.

Два дня спустя французские гусары нарушили перемирие, и славонские полки ушли к Цаберну, куда хитроумный Беренклау уже послал пандуров Тренка и кавалерию Марковича. Гарнизон города был перебит, и взяты в плен даже штабы.

Рассвет застал Исаковича невыспавшимся на расстоянии выстрела от города, под горой, в загоне, полном овец. Австрийский разведчик довел их незамеченными до самых французских форпостов. Лежа в высокой траве, солдаты Подунайского полка сначала плотно поели, а уж потом на четвереньках выползли на пригорок и увидели среди зелени садов первые городские дома так близко, что их ослепил блеск вымытых окон. Их большие треуголки зачернели на верху пригорка в высокой траве, словно стадо овец, которое, выйдя из загона, перевалило гору. Французы, заметив их, подняли стрельбу, в ответ со всех сторон из-за кустов, холмиков и рощ загремели выстрелы.

Беспорядочной толпой солдаты Исаковича скатились с пригорка к домам и подожженным воротам города, по которым били из мортир. Сидя по горло в траве, эти мортиры дымились и походили на бесчисленные движущиеся под землей печные трубы.

Тихий город, казавшийся вымершим, горел с двух сторон. По улицам, ведущим наверх к крепости, в беспорядке отходили, поднимая пыль, пехота и артиллерия противника. Подоспевшие с запада полки Вуича, выстроившись в две шеренги, стреляли в отступавших с колена из какого-то леска. Офицеры, сидя на лошадях, выкрикивали команды так зычно, что отдельные слова доносились в другой конец пока еще мирного, освещенного солнцем города.

Исакович сполз, опираясь правой рукой о землю, с покатого пригорка, где трава была уже скошена, выскочил со своими ординарцами на дорогу, которая шла через сады, и увидел, как стоявший у обгоревших столбов и обуглившихся балок караул из нескольких вражеских гусар, заприметив их, тотчас повернул коней и умчался.

Кинувшись к горящим домам, он увидел еще, как гусары заехали за дома, и перед ним открылась безлюдная, широкая улица с наглухо закрытыми ставнями или занавешенными окнами. Солдаты, заметив Вука у городских ворот, сбегались по высокой траве к нему.

За ними, в долине, откуда они наступали, Исакович увидел и экипаж Беренклау и самого фельдмаршал-лейтенанта. В одежде простого солдата, он быстро шел

в окружении офицеров рядом с лошадью и что-то издалека кричал ему и размахивал руками.

Солдаты, пробегая, оглядывались на своего командира, заполняли улицу криками и топотом ног. Оглянулся и он, окинув быстрым взглядом деревья, поднимавшуюся из долины дорогу, мортиры, которые подтягивали ближе, и сбегавшихся с обеих сторон дороги солдат. Потом посмотрел на свисавшие над головой кровли, на окна, уставленные цветами в глиняных вазонах, на слуг, ведущих в поводу лошадей, один из которых вдруг упал на мостовую как подкошенный.

Исакович быстро двинулся по улице и от поднявшегося шума и треска выстрелов не слышал, что ему кричали. Он видел только, как впереди, в глубине улицы, гибнут его солдаты, как разбегаются они по сторонам и прижимаются к стенам. Потом солдаты стали падать и около него. Французы стреляли прямо в лоб.

Отступая, французские солдаты попробовали найти выход на другом конце города, на горе, у крепости, надеясь спастись в близлежащих лесах и совершенно не предполагая, что там их поджидает Тренк со своими хорватскими пандурами и славонскими «разбойниками». Забив до отказа выход из города, французы дружно стреляли — залп за залпом, и вскоре широкая мостовая, перекрестки и подворотни покрылись мертвыми и слетевшими с их голов черными треуголками.

Вук Исакович шел среди этого ада, вдоль задымленных стен, впереди спокойных лошадей, не обращавших внимания на стрельбу, сопровождаемый собаками, которые недоуменно принюхивались к запаху порохового дыма, и заглядывал в лица убитых. Где его полк, он не знал, ибо все солдаты перемешались.

Заметив наконец среди страшнейшего крика и грохота ружей, что стреляют также и из прикрытых ставнями окон и запертых ворот, он остановился в подворотне под сводом оконного фонаря, украшенного большим деревянным петухом голубого цвета, и стоял так между жизнью и смертью, такими непостижимо и страшно близкими друг другу. Шансы были одинаковы, он мог остаться как на этом свете с высокими травами, с зелеными горами, на этой пустынной улице, где лежали убитые, точно пестрые куклы, а раненые стонали от боли, так и на том свете, в царстве покоя, среди мертвых.

Когда пули исковыряли стену над его головой, он пригнулся и стал освобождаться от ремней, оставив при себе только саблю. Вдруг из-за угла, в нескольких шагах от него выскочили два французских солдата, видимо заблудившихся. И не успев опомниться, тут же захрипели под прикладами и штыками его ординарцев.

Начали сбегаться и отыскавшие его наконец солдаты и, сгибаясь и сжимаясь под пулями, сообщали о том, кто убит. Из-за дыма он с трудом различал в глубине улицы солдат, стрелявших залпами, хотя до них было всего несколько десятков шагов. Увидев, что огромная карета барона Беренклау, подпрыгивая на разбитой ядрами мостовой, приближается, Исакович приказал открыть огонь по верхним и нижним окнам. Потом, отбросив в сторону треуголку и окликнув собак, он выскочил на середину улицы с саблей наголо. Солдаты по мере того как узнавали его, кидались за ним.

Добежав до лежавших на мостовой солдат, которые, окутанные пороховым дымом, стреляли залпами, подавая сами себе команды: «Дешарж, первый, второй, первый, второй», он поднял их, крича во все горло своим любимцам ветеранам, которым молодые солдаты заряжали ружья: «Сербы! За графа Валлиса! Сербы! За графа Валлиса!..», размахивая при этом саблей и беспрестанно оборачиваясь, следя за тем, чтоб не получить вражеской пули в спину.

Вот так погиб в тот вечер на крутых улицах Цаберна Славонско-Подунайский полк, загнав неприятеля в засаду к Тренку.

Шесть дней после этого Беренклау прожил в лучшем доме на площади Цаберна и снова спал в шелковой рубахе на роскошной постели, а Подунайский полк два дня хоронил за городом во рвах своих мертвых, среди которых было немало и офицеров.

Взятие Цаберна открыло ворота в Эльзас, но было последней битвой Подунайского полка в этой кампании. Спустя шесть дней Карл Лотарингский двинулся всей армией к Рейну и перешел его по горящим мостам у села Дайнхайм.

Полк Исаковича, в начале кампании переходивший Рейн первым, сейчас последним перебежал мост уже по горящим балкам.

За ним, на той стороне Рейна, остались лишь дым и пыль, но и они вскоре рассеялись.

А то, что произошло потом, было уж совсем печально.

В неприятельской, ограбленной, пустынной Баварии, по которой они безостановочно шли до самой Чехии, их мучили голод и жажда.

Осень наступила раньше обычного, и погода стояла дождливая. Исакович, вконец добитый болезнью, заботами и муками, спал под повозкой. О брате и жене не было никаких вестей, он их почти забыл.

Ходили слухи, будто их полк поставят на зимние квартиры в Верхнем Пфальце, а остальные сербские полки пойдут драться с пруссаками. Шли также разговоры о том, что их отпустят домой, что раскассируют по другим полкам. И чтобы окончательно омрачить Исаковичу жизнь, к нему в полк были прикомандированы два офицера-немца. А через две недели заковали в кандалы и увезли на суд капитана Пишчевича за то, что он якобы подбивал к бунту. Карл Лотарингский уехал в Вену, и верховное командование принял граф Бачани.

Став лагерем у города Шердинга на берегу реки Ин, Подунайский полк точно сгинул в осенних туманах и дождях. Исакович спал. Целыми днями спал под повозкой.

Однажды он услышал, что его разыскивает в городе какой-то торговец, чтобы передать от некоего венского купца Димитрия Копши вести от брата.

Под вечер Исакович спустился к реке и стал ждать у парома торговца, за которым послал солдата. День был ветреный, холодный. Исакович, устроившись на старом пароме, севшем на мель у крутого берега, с трудом заметил в наступающих сумерках среди густого темного кустарника лодку и людей, отчаливших от противоположного берега.

Мрак спускался в туман, моросил обложной дождь, и Вук Исакович насилу дождался, чтобы можно было наконец встать и подойти ближе к воде, протекающей под старыми балками.

Когда лодка приблизилась, он нетерпеливо окликнул солдата, которого послал в город, а потом по-немецки и купца.

Человек, закутанный в военный плащ, поднялся в лодке и крикнул, что привез ему вести от брата, а когда Исакович уже спустился в грязь, добавил, что есть вести и о его жене. Исакович смотрел, как большая чер-

ная лодка приближается, как ее поворачивают веслами по течению совсем почерневшей реки, чтобы пристать к корням дерева. Последние удары весел, и лодка неслышно приблизилась, он схватил ее и потащил на берег. Высокий мужчина, которого солдат поддержал, чтобы он не свалился, назвавшись Ахимом Ригелом, торговцем из Шердинга, сообщил, что три недели тому назад он ездил в Вену и что там знакомый купец Димитрий Копша попросил его при помощи друзей разыскать Вука Исаковича в Ингельштадте, поскольку ни на какие письма тот не отвечает, и передать ему, что его дети и брат живы-здоровы, а жена, госпожа Дафина Исакович, умерла.

VIII

С грустью увидев всю тщету родов, ибо даже
в собственных детях не останется
и следа ее души, она умерла,
сожалея лишь о том, что не может усладить
хотя бы разгоряченное страстью тело

Смертный час госпожи Дафины Исакович пробил в летний погожий день в конце августа, после трехнедельной засухи.

Кровотечение, остановленное на какое-то время то ли купаниями турецкого лекаря, то ли железными трубками врача из Осека, началось снова.

Кровь ее при этом стала распространять такое зловоние, что со всего дома сбегались старухи, крестясь и шепча заговоры.

Последнюю ночь перед смертью она провела в лихорадке, беспрестанно умоляя деверя поехать к патриарху и испросить у него разрешение перевезти ее в монастырь. Она все еще надеялась, что там исцелится. Успокоилась Дафина только на заре, когда услышала, как обливают из ведер карету Аранджела Исаковича и выводят лошадей. Деверь уезжал на самом деле. Он решился наконец после стольких недель колебания отправиться к патриарху и поговорить с ним о расторжении святого таинства супружеского союза, которому он в свое время сам же способствовал.

Дафина, измученная жаром, в полном изнеможении

заснула, вытянувшись, как мертвая, на своем ложе, глаза ее глубоко запали, сквозь кожу просвечивала каждая косточка, каждая жилка.

Облитая точно утренней росой холодным потом, крупными горошинами стекавшим в глазницы, она не двигалась, не просыпалась; ее посиневшие губы и ноздри были так же безучастны к свету наступающего дня, как белая печь рядом с ее постелью или стул с подушками у зарешеченного окна, или как дверь, обрамленная тонкой полоской света, пробивавшегося сквозь щели.

Забытье скрыло от нее и смену красок на вещах, и все более четко проступающую на занавеске тень железной решетки на окне, на которую она привыкла смотреть каждое утро, и летающих под побеленным потолком сначала с тихим, а затем со все более громким жужжанием больших мух, за которыми она наблюдала во время болезни, просыпаясь по утрам. Не доносился до ее ушей и плеск реки, протекавшей рядом с домом, пропахшим муко́й; сперва этот плеск тревожил ее, а позднее убаюкивал, как и шум мельничного колеса на реке, который доносился издалека и едва слышно, но который она все-таки слышала непрестанно.

Дафина не видела, как из-за горы солнечный свет разлился по ивнякам, по залитым водою кустам, болотам с летающими аистами и чибисами, за которыми она привыкла наблюдать, сидя у окна, как и за мирными стадами, что пасутся у берега и отражаются в воде вверх ногами. Она не проснулась и тогда, когда исчез с неба серебряный месяц, а в последние дни, напуганная своим состоянием, она с особым удовольствием находила его в синем небе, усаживаясь на заре у окна. Без нее далеко-далеко на горе проступила и череда деревьев, которая становилась видна лишь тогда, когда солнечные лучи уже заливали равнины; этой минуты она вот уже скоро два месяца неизменно и с радостным нетерпением ждала, потому что тут же исчезали смрадные болотные испарения под окном и солнце начинало так приятно пригревать, освещая ее с ног до пояса, когда она, вся застывшая, полулежала, откинувшись на стуле, что ей казалось, будто она поправится.

Она не проснулась и тогда, когда поднялся весь дом с его барочниками, пастухами и свинарями, заскрипели

журавли у колодцев и замычали волы, не проснулась, когда ее служанки, заглянув через тихо отворенные двери и увидев, что она спит, на цыпочках подходили к ее сундуку с новыми платьями, которые они в последние дни ей шили.

Она лежала без памяти, губы ее дрожали, зубы, на которых налипла пена, выбивали дробь, ее даже оставили бредовые картины, вперемежку с реальными живо встававшие каждое утром перед ее глазами.

Плавни, болота, муж со страшными ранами на теле, с распоротым животом, с вытекшими глазами, разбитым теменем, разведя руки, старается схватить и задушить ее, она же выскальзывает из его рук как тень. Мимо нее шагают все быстрее и быстрее роты солдат, среди которых она десятки раз обнаруживает мужа — страшного, головастого, окровавленного. Какие-то далекие города, по крутым улицам которых она, вся запыхавшись, бежит с мужем, а в них, особенно в нее, без конца стреляют; и не только солдаты, но и ружья, парящие в воздухе или висящие на деревьях. Своего деверя Аранджела во время болезни она часто и с удовольствием видела во сне, он целовал ее под мышкой и щекотал.

Переходя из забытья в забытье, она порвала в то утро всякую связь с небом и землей и лежала недвижно, вся в поту, почернев как труп.

Но в полдень Дафина все же пришла в себя. Устало открыв большие глаза, она увидела потолок и толстую побеленную балку, на которой были глубоко врезаны символы Христа, и мгновенно узнала свою комнату, всю устланную простынями, смоченными уксусом, и двух старух, которые мельтешились возле нее и, поджав губы и крестясь, вытирали ей рот и глаза. И тут, пораженная, она поняла, что умирает.

В ужасе она хотела вскочить, закричать, но только забилась и задрожала, старухи тут же подхватили ее. Крик был едва слышен во дворе, хотя ей казалось, что она кричит так громко, что ее услышат и на той стороне Дуная, а судорожные усилия рук лишь чуть-чуть приподняли тело. Внезапная слабость, по сравнению с которой вчерашнее состояние казалось самим здоровьем, напугала ее так, что она ударилась в слезы. И сразу во всем доме запричитали, заголосили женщины. Ее приподняли на подушках, утирали пот со лба и с губ

пену, а она невнятно, как помешанная, бормотала и все к чему-то тянулась руками; успокоилась она только тогда, когда к ней подвели детей.

Приподняв голову, она дышала быстро-быстро, и взгляд ее широко открытых глаз непрерывно бегал от стены к стене.

Дафина была в сознании, но ежеминутно забывала, где она. И так, то закрывая глаза, то снова их открывая, то теряя слух, то улавливая самый тихий шепот, то заикаясь, то говоря тихо, но вполне внятно, она промучилась до самой ночи.

В безумном отчаянии ей захотелось еще раз увидеть мужа, хотя она ясно сознавала, что Вук Исакович ушел на войну. Годами страшась за его жизнь, боясь, что его убьют, содрогаясь при одной мысли об этом, она в глубине души смирилась с тем, что он погибнет, что однажды его привезут домой окровавленным, тем более, что он всегда сам об этом говорил. И сейчас ей казалось невероятным, что она умирает раньше его, и еще более невероятным, что его здесь нет. Ей представлялось, что одного лишь его присутствия было бы достаточно, чтобы смерть отодвинулась или, во всяком случае, была бы легче — заснуть и все. Дафине и в голову не приходило, что ее неверность могла как-то этому помешать. Напротив, она собиралась рассказать мужу и об этом, как и о всех прочих своих страданиях за время его отсутствия. Главное, чтобы он был здесь, возле нее, а она была уверена, что он приехал бы, если бы знал, что она умирает.

Четыре раза в тот день ей чудилось, будто в комнату входит муж, четыре раза спрашивала она о нем и говорила о нем как о присутствующем, так что старухам, а особенно старому Ананию, мнился в доме нечистый.

Безудержное желание увидеть мужа было не единственным и всепоглощающим в тот страшный для нее день, с равным нетерпением ждала она и своего деверя, Аранджела, то и дело спрашивая о нем и прислушиваясь, не раздаются ли его шаги или голос. Когда во время болезни ей становилось легче, она не только не находила его желтым и отвратительным, а наоборот, с каждым днем он все больше казался ей выточенным из янтаря, особенно когда своими беспокойными руками обнимал ее колени.

Мужа и супружескую жизнь с ним она вспоминала в тот последний день точно в тумане, отрывочно и бегло. И напротив, будущая жизнь с деверем, который после первой ночи был ей неприятен, представлялась чудесной. Чудесной, ибо лишь теперь она узнала, как надо жить. Прежде она и думать об этом не смела.

Не обладая твердостью характера, Дафина поняла, что не проявляла решительности и в своих желаниях. Она лишь чувствовала, что эти три бабы — турчанка и две сестры-румынки, которых раньше она так не любила и которые приходили к ней почти каждый день и рассказывали о том, что они вытворяли с мужчинами, были правы: они хоть знали, ради чего жили. Она завидовала их развратной жизни и безудержным наслаждениям, которым они предавались, и в своем разгоряченном мозгу представляла себе их бурную жизнь, сцены, какие они при ней смаковали. Вспоминая ночь, проведенную в объятьях деверя, она хотела даже в последний свой день уверить себя, что с Аранджелом Исаковичем ее ждет до муки приятная жизнь, по сравнению с которой прежняя была не только убогой, но и пустой, ужасающе пустой — детство у отчима, девичество у тетки, замужество, роды, бедность, вечные переселения, однообразие и скука.

Учащенно и тяжело дыша, она, лежа на высоко взбитых подушках, окинула еще раз мысленным взором пустоту свой женской юдоли и поняла, что подобно этим глинобитным стенам, белому потолку, пшенице на чердаке, платьям, разбросанным по сундуку, она была вся во власти прихотей и страстей мужа и деверя, между которыми она так нелепо оказалась.

С застывшим от ужаса взглядом Дафина попросила дать ей зеркало, то самое зеркало в раме из кованых железных цветов, которое старухи недавно совали ей под нос, чтобы узнать, дышит ли она еще. Увидев свои запавшие глаза, белый лоб, высохшую шею, она подумала о том, как, должно быть, сейчас уродливо ее покрытое одеялом тело, и снова заплакала. Эти двое мужчин будут жить в свое удовольствие, они здоровы и, хоть постарели, не страдают никакими хворями и кровотечениями, а ее, она это чувствовала, вышвырнут из дома как ветошь. Заметив стоявших у постели дочерей, Дафина быстро перевела взгляд, в котором сквозило

больше отвращения, чем жалости, с меньшой, сплошь покрытой коростой, на старшую. Девочка, держась за руку горничной, без конца о чем-то ее расспрашивала. Видно, в ее памяти скорее всего останется лишь смутный облик матери, который она будет с трудом вспоминать. Раньше, раздумывая о том, как она выйдет замуж за богатого Аранджела, особенно если мужа убьют на войне, Дафина словно забывала про то, что у нее есть дети, они наводили на нее тоску. Она не могла о них заботиться, и никто этого от нее не требовал. Зная уже, что умрет, она расставалась с ними с чувством полного бессилия удержать их подле себя, как и все прочее, что ей на короткое время дали словно бы в собственность, а потом отобрали. Все безнадежно уходило в пустоту, не принося ни пользы, ни благодарности, ни надежды. И вот она осталась одна, со своим страшным порожним чревом, откуда исходил тяжелый дух, со своими муками и страданиями.

Под вечер Дафина приходила в себя реже и ненадолго.

В эти минуты она видела, как незнакомые лица, словно тени, подходят к ее освещенной лампадой постели; поглядеть на нее привалило полкупеческого Земуна.

Примерно около пяти она пришла в себя, вспомнила о лошади, которую ей подарил Аранджел, и слабым голосом приказала отнести ей сахару. Тут же произнесла несколько весьма похвальных слов о девере, заметив при этом, что она переселится с ним в Буду.

Немного погодя Дафина посмотрела на всех своими большими, синими, как зимнее небо, глазами, спокойно и ясно, она была в полном сознании. Спросила о муже и тотчас заставила себя вспомнить о первых годах брака. И ей снова подумалось, что лишь то лето с зелеными травами и пышной листвой, с мелкими букашками и мурашками, с серебряными по ночам лесами было настоящим. При воспоминании о первых днях жизни с Вуком Исаковичем его брат со всеми своими ласками показался ей просто смешным, таким дивным было начало ее супружества. Она словно увидела себя еще раз в своих любимых пестрых — голубых, желтых и зеленых — шелках, с сильными красивыми ногами, роскошными плечами, и глаза ее потемнели от жалости к самой себе. Даже в ту минуту ей хотелось любви.

Она не заметила, как закатилось солнце, не чувствовала духоты и пыли, не знала уже, в какой стороне горы, ивняки, острова, не слышала ни шума реки, ни слов священника в глубине комнаты, который непрестанно бормотал по-гречески молитвы.

Около семи она попросила раздвинуть занавеси и впустить воздух летнего вечера, в котором стихало все: и барки на реке, и стада, и длинные вереницы ослов, позвякивавших колокольчиками.

Она смотрела, словно сквозь какую-то дымку, со своего высокого, пропитанного потом изголовья на опускавшийся вечер, горные склоны, неизмеримый водный простор, высохшие болота, стены крепости — словом, на все то, что было видно из ее окна. Собрав последние силы, тяжко мучаясь, она потребовала, чтобы ее выкупали и умыли, к изумлению плачущих служанок, причесала волосы и велела подстричь и накрасить себе ногти. Потом, покрыв голову шелковым платком, который она нерешительно выбрала, отдала хранившийся у нее под подушкой кошель с дукатами старому слуге своего деверя и уставилась на дверь, будто кого-то ожидая.

Так она и лежала — умытая, причесанная, спокойная, с широко открытыми глазами, при последнем издыхании; никто не решался к ней подойти, не зная, жива ли она еще или уже мертва.

В день смерти жены брата Аранджел Исакович трясся в своем рыдване по неровной дороге, уверенный, что она не выживет.

Врачи давно уже ему сказали, что невестка безнадежна. Оба были убеждены, что она, желая избавиться от плода, выпила какое-то зелье. Не сомневаясь в ее смерти, оба считали, что конец близок. Турок говорил, что вся утроба ее гниет, и этим объяснял кровотечение, другой врач — что утроба кровоточит потому, что в ней что-то гниет. И оба твердили, что больная умрет.

Аранджел Исакович был уверен, что о разводе не может быть и речи, что нет такого попа или патриарха, который отнимет ее у брата и передаст ему. И все-таки каждый день обещал невестке поехать к патриарху.

С того дня, как с нею случилась беда, Аранджел Исакович словно обезумел. Он почти перестал выезжать из дому. Первое время он еще плавал на своих судах и баржах до Осека и Ковина, торопясь, не останавливаясь даже на ночь, ни с кем не разговаривая. В то

лето тщетно ожидали его до самой осени на верхнем Дунае, в Вене и Буде, где у него скопились большие партии дубленых кож и лошадиной сбруи. А спустя две недели он уже не ездил ни в Осек, ни в Петроварадин, ни даже на ту сторону, к туркам. Зеленый от злости из-за понесенных убытков, он неслышно бродил по комнатам своего просторного дома, то и дело взглядывая на невестку, когда она спала, и целуя ее, когда ей на день-другой становилось легче. Испытывая гадливость к тому, что с ней произошло, он, видимо, единственный воочию видел, как стремительно гибнет ее редкая красота. Согнав свои барки ближе к дому и загонам, он начал изымать деньги из Турции и Валахии и вкладывать их на севере. Аранджел Исакович больше не хотел оставлять невестку, не хотел ездить на юг за скотом, решив торговать одним серебром, но так же рискованно и смело, безоглядно и хищнически, как торговал скотиной и зерном. Бóльшую часть дня он проводил около Дафины, даже в душе не упрекая ее в том, сколько терпит из-за этого убытков, он каждый раз обиняками давал понять, как горячо он ее любит и как она должна быть ему за это благодарна.

Сидя в синем, затянутом шелковым пестрым поясом кафтане у нее на постели, он сжимал своими желтыми руками ее плечи, уже далеко не такие пышные и красивые, как прежде, умильно щурил на нее свои желтые глаза, морщил утиный нос, бодал головой в грудь, как ручной козел, и щекотал редкой бороденкой.

Все это она принимала молча и довольно холодно, считая его виновником своего несчастья и болезни, и тогда он начинал пространно вспоминать подробности той страшной ночи-оргии, когда он скорее силой, чем добром, овладел ею. Приглушенным шепотом говорил о пережитой с ним любви, расхваливал на все лады ее полные страсти движения, красоту ее тела, описывал все до мельчайших подробностей, при этом глаза его горели, и он целовал ее как безумный пахнущими дорогим табаком, липкими от турецких сладостей губами.

Дафина, не слышавшая от мужа ничего подобного (Вук Исакович молчал не только после, но и во время любовных утех), испытывала отвращение к любовному сюсюканью своего деверя. Отвернув голову в сторону, скорчившись от боли, она принимала его пугливые поцелуи с такой же неопределенной улыбкой, как в ту

роковую ночь, ничем не показывая, доставляет ли это ей в самом деле удовольствие.

Вначале болезнь невестки вызывала в нем такую гадливость, что Аранджел Исакович просто убегал из дома, но прошло какое-то время, и, взяв себя в руки, перепуганный и пораженный, он уже до конца был к ней внимателен. У него были свои расчеты. В дни, когда ей становилось лучше, он часто присаживался к ней на постель и целовал ее. Когда же ей стало совсем худо, он не только не убежал, но целыми днями сидел у изголовья постели и, томясь желанием, часами держал ее на руках.

В ней уже не было прежней силы, но ее колен он не мог забыть. И страсть в ней угасла, но голос по-прежнему был ему мил, а ее объятья все еще вызывали дрожь. Он не мог думать о другой женщине, он только и твердил о том, какой она была в ту ночь, повторял, что она единственная, ни на кого не похожая. Упорно, точно околдованный, Аранджел Исакович без конца восхвалял ее обворожительное тело, которого уже не было, восхвалял так, что она плакала.

Ее болезнь и позднее не только не отталкивала его, а все больше притягивала. Воздержанность его превратилась в какое-то ожидание, редкое и необычное для него. Потешив беса со множеством женщин, он считал, что с Дафиной он возносится на небо. Глядя в ее глаза, Аранджел Исакович стал даже спокойнее относиться к тому, что она может умереть, тем более, что связь с ней на всю жизнь и сейчас казалась ему безумием.

Вечно разъезжая по своим торговым делам, он привык к разврату, и вот теперь у него вдруг вспыхнуло к умирающей невестке чистое, необыкновенно сильное и до сих пор неиспытанное им чувство, от которого он хотел и не мог избавиться. Споря с самим собой, он видел, что в нем происходит нечто такое, о чем прежде он и не помышлял.

Точно пугало, трясясь и раскачиваясь, он стоял в рыдване и подгонял слуг, мчался сломя голову, не разбирая дорог, на Фрушка-Гору, через рощи, кусты и скошенные поля. Вне себя от возбуждения, Аранджел Исакович был готов на все, готов был надувать, выторговывать, как это делал при купле-продаже, только чтоб хоть что-нибудь выклянчить у попов, пусть даже и не развода. Почему ему вздумалось открыться чужим лю-

дям, почему он вдруг понадеялся получить от священников какую-то помощь, когда раньше был уверен, что исповедь бесполезна и глупа, он и сам не знал. Ясно было лишь одно: надо сделать все, чего она хочет, дать все, чего она просит. Потом, может, он и сбежит от нее, но сейчас он готов развести ее с братом и взять в жены вместе с детьми. И хотя Аранджел Исакович догадывался, что невестка стремится к его талерам, он решил допустить ее и к ним и дарил ей суда, скот, дома. Ему хотелось ей перво-наперво хорошо заплатить, как платят любовницам, тем более, что она, видимо, скоро умрет. Впрочем, едва лишь возникала мысль отказаться от нее, Дафина вставала перед ним точно страшная ведьма. Жизнь становилась ему немила, как только он представлял себе ее слезы и укоры.

Он вообще такого исхода никак не предполагал, и это было самое страшное, ведь он все умел отлично учитывать. Его точил червь: почему он всегда так хорошо устраивал свои дела, а здесь оказался таким беспомощным. Всю весну ему безумно везло с продажей скота и, ограбив пол-Валахии, он рассчитывал после отъезда брата без всяких помех насладиться своей невесткой. Втайне от людей всласть поразвратничать в тиши своего большого дома на воде, а потом, щедро наградив, оставить ее в доме до возвращения брата, а если тот не вернется, то и навсегда. После стольких женщин ему хотелось наконец насладиться любовью без капризов, без непременных брошек и колечек, преподносимых в подарок, а также платьев и дукатов, без вечных причитаний и слез, нытья и клянченья, без мук и хлопот. Хотелось пожить словно под зеленым, бесконечным покровом водной стихии, где мягкий рассеянный свет дня, где движения ленивы как во сне, где можно лечь и вода тебя понесет, понесет, как несет его суда в безветрие, легко и неслышно. У него не выходило из головы, что вместо этого он чуть было не утонул с лошадьми в болоте и, барахтаясь в иле, наглотался песка. Он горел желанием овладеть невесткой, насладиться ее сильным, красивым телом, не думая о том, что его грех станет известен людям, полагая, что будет избавлен от неприятностей и огорчений, которые обычно доставляли ему отношения с другими женщинами. И вдруг вместо райского блаженства наслаждений, вместо сладкой неги паши в саду у фонтана, нагрянула нежданно-нега-

данно беда, и она опечалила его, сокрушила, потрясла до глубины души.

Желто-зеленый от бессильной ярости и отчаяния, Аранджел продолжал упрямо надеяться, хотя уже и сам видел, что все кончено. Он не думал о брате, не ждал его, не боялся, брат для него вообще не существовал, и угрызения совести его не мучили. Аранджел Исакович был подавлен свалившимся на его плечи несчастьем. О бесконечных любовницах, с которыми его сталкивала судьба во время разъездов, он никогда не спрашивал и, расставшись с ними, никогда ими не интересовался. Ему даже в голову не приходило, что к кому-то он должен вернуться. То, что его невестка попала в беду, что красота ее увяла как раз тогда, когда он ею овладел, не вмещалось у него в сознании. Казалось невероятным, что эта роскошная с высокой грудью, пышными плечами и стройными ногами женщина не останется такой же красавицей, хотя бы до тех пор, пока он досыта ею не насладится. Казалось невозможным, что ее красота, прекрасные формы тела никогда уже не возродятся. Убегая из дому лишь тогда, когда она начинала громко стонать, чтобы привести лекаря, Аранджел Исакович целыми днями не отходил от нее, и как только ей становилось немного лучше, смотрел как зачарованный на ее посветлевший лоб, горько улыбающиеся губы и сразу снова становившиеся прекрасными белые руки. Все-таки, думал он, ее еще можно спасти так же, как и его, но то, что дивное беззаботное время, которое он мечтал провести с невесткой, прошло бы, как и с другими женщинами,— в тягостной тоскливой докуке и даже в муках и страданиях,— об этом Аранджел Исакович никогда не думал. Он верил, что на сей раз ему дано изведать нечто такое, чего он раньше никогда не испытывал, чего другие женщины не могли ему дать, верил, что в его жизни наступит счастливая пора, когда ему будет приятно, легко и хорошо, как на небе... Подобно тому, как брат его Вук верил, что есть где-то добрая прекрасная земля, куда им всем следует переселиться.

Когда же он убедился, что невестка в самом деле умирает, он совсем растерялся и уже не знал, что думать и желать. Подавляя в себе нетерпение, Аранджел Исакович считал, что со смертью Дафины придет конец всем его терзаниям. Грех останется в тайне, ею никто

больше не будет владеть, и единственная в его жизни настоящая любовь останется в ореоле света, в противном случае, он это чувствовал, она могла бы превратиться в невыносимую муку и наказание. Порой смерть невестки представлялась ему даже естественным завершением необузданных движений ее обнаженного, прекрасного, страстного тела. И тут же он спохватывался и думал, что, собственно, бояться нечего, если она и останется жить, и тогда смерть Дафины после того, как он столько лет мечтал о ней, казалась такой ужасной, что впору было самому умереть, броситься с криком отчаяния головой в омут, только не оставаться у себя в доме с ее детьми опозоренным, обманутым, безутешным и ждать брата. Думал он и о том, что после ее смерти он мог бы жить, только если бы не нужно было больше никуда ездить, если бы можно было замкнуться в полном одиночестве и молчании, окаменеть.

В Карловцы он поехал лишь ради того, чтобы в доме успокоились и чтобы выполнить ее желание и привезти священника. Он знал, что едет напрасно, и все-таки спешил.

Рыдван мчался по полям, болотам и корчевинам, колеса прыгали по корням осокорей, тополей и акаций, которые, не оставаясь в долгу, цеплялись за него и хлестали хозяина ветками по голове.

Когда рыдван вырывался из густой тени на солнечный простор равнины, Аранджел Исакович, гораздо менее чувствительный к красотам природы, чем брат, не оглядывался по сторонам, ни разу не посмотрел на усталых собак, то и дело поднимавших из травы жаворонков. Покрикивая на слуг, которые, рискуя каждую минуту упасть между лошадьми, скакали, держась высоко и прямо в седле, не смея даже обернуться, он не видел ни лугов, ни новых поселений; он стоял в рыдване, стиснув зубы, глубоко задумавшись о своей жизни и доме, где умирала невестка.

И только когда рыдван медленно полез в гору к карловацкой заставе, Аранджел Исакович в изнеможении упал на сидение, закрыл глаза, чувствуя после палящей жары приятную прохладу тенистой дубовой рощи, аромат душистых виноградников и журчанье ручья, протекавшего через сады и сливняки, в которых от грохота рыдвана летели на землю сливы.

Западая колесами в колдобины, размытые летними

дождями, и наклоняясь так, что, казалось, вот-вот опрокинется и покатится с горы, рыдван Аранджела Исаковича уже в пригородах Карловцев вызвал большое оживление в домах и дворах, особенно в землянках новоселов, которые пришли из Сербии вместе с патриархом всего лишь семь лет тому назад. Отца Аранджела, Лазара Исаковича, они знали хорошо: одни работали у него погонщиками, другие продавали скотину, следуя за австрийским войском, преследующим турок.

Свежевыкрашенный, увешанный бубенцами рыдван Аранджела Исаковича, покачиваясь на окольных пригорках, еще издалека привлекал всеобщее внимание. И старые, и малые бежали к нему навстречу или ждали его приближения, словно прибытия корабля в гавань. Форейторы и стоявшие на запятках слуги, силившиеся держаться прямо, щелкали бичами и кричали на собиравшуюся толпу, приостанавливая на мгновение рыдван, когда Аранджел Исакович швырял в траву, в колючки или вверх, в чащу деревьев, пригоршню денег, каждый раз раздражая этим движением собак, так что они набрасывались на людей.

Развалившись на подушках, он задумчиво глядел вовсе не на толпу, а на коров, на овины и кровли хижин, возвышавшихся над землей не более чем на две пяди, мысленно он все это продавал и покупал.

Переезжая через овраги, он видел напряженные крупы и животы лошадей со вздутыми жилами, а потом вдруг, точно выныривая из сна,— своих слуг, которые дружно соскакивали с запяток то вправо, то влево и подкладывали под колеса чурбаки, чтоб притормозить.

Когда они спускались в каменную часть города, за огромным рыдваном уже тянулась толпа любопытных, которых невозможно было разогнать. Аранджел Исакович, привыкший к осаждавшим его просьбами людям, позволял подходить к руке, спокойно терпел тех, кто бежал за каретой, и даже тех, кто хватал его, канюча, за рукав. Остановившись у источника, он оставил карету под сливами и спустился в сопровождении любопытных через вскопанные виноградники и колючий кустарник к летней резиденции патриарха.

Подойдя к воротам, разодетый, надушенный, с четками в руках в окружении теснящейся и толкающейся бедноты, провожаемый взглядами из темных оконцев, Аранджел Исакович почувствовал и сам, что в своем

крикливом наряде, с собаками, он совсем не похож на паломника.

Он постоял какое-то время перед огромными воротами с двумя вырезанными на них крестами, оглядывая окружающие дома и кровли, пока его не впустили, но лишь с одним слугой.

Очутившись после яркого солнца и жары в темноте и прохладе под тяжелыми сводами ворот, увешанными иконами, Аранджел Исакович, склонив голову, назвал монахам свое имя.

Потом, неуверенно шагая по положенным на земле доскам, подошел к вделанной в стену скамье и сел, недоумевая, почему монахи так смущенно на него смотрят вместо того, чтобы вести к патриарху. Дом, куда он вошел, был старым, застроенным со всех сторон зданием, с двором и конюшнями; перед ними когда-то насыпали холм. Он порос буйной травой, и над ним поднялось несколько яблонь, сейчас их ветви склонялись до земли под тяжестью зрелых плодов.

Второй этаж опоясывала деревянная галерея с огромными лампадами. По ней, точно черные тени, сновали монахи. В конце двора высилась бревенчатая звонница, на макушке которой сидели вороны. Со звонницы свисала длинная веревка, свернувшаяся на земле белой толстой змеей. Во дворе царила мертвая тишина. Между высокими стенами синел узкий прямоугольник глубокого ясного неба.

Аранджел Исакович согнулся еще больше, он устал после долгой езды и подумал, что, собственно, от встречи с патриархом зависит жизнь или спокойная смерть Дафины.

Стены вокруг него и галерея казались такими умиротворяющими, а монахи подходили так неторопливо и неслышно, что ему поначалу показалось даже бессмысленным говорить здесь о чем-либо: все должно решиться само собой.

Когда монахи вернулись и сказали, что его преосвященство принять не может, наехало много гостей и как раз нынче прибыла сестра его святейшества, жена полковника Рашковича с дочерьми, Аранджел Исакович обиженно поднялся со скамьи, и хотя был он среднего роста и очень худ, сейчас со своим желтым испитым лицом, выглядел выше и надменнее, чем обычно. Тогда один из монахов, глядя в землю, добавил, что его прео-

священство уже много дней страдает глазами, что ему приходится лежать в темной келье, что он ни с кем не разговаривает и только молится богу.

Аранджел Исакович расстегнул кафтан, выпятил грудь под своими пестрыми шелками, напыжился и положил руки на роскошный пояс. Тихим голосом, вежливо, с напускным смирением, он снова назвал себя, упомянул брата Вука и сказал, что все-таки хочет лично говорить с его преосвященством и что он уже имел честь в прошлую зиму дважды вести с ним продолжительную беседу.

Услыхав о Вуке Исаковиче, монахи повеселели, принялись восхвалять и благословлять его ратные доблести, приверженность православию и неизменную к ним щедрость. Судя по их восторженным восклицаниям, Вук Исакович представлялся им этаким христианским святителем на коне, который встал на защиту несчастных монахов и прочих беглецов из истекающей кровью Сербии и от которого они ожидали еще много добра, когда он вернется с войны.

Аранджел Исакович, отослав их опять к патриарху, остался снова со своим слугой, который застыл у ворот. «Не считают ли они меня блудником? Может, прослышали что?» — подумал он, тупо уставясь на звонницу. Поняв, что монахи ничем ему не помогут и несомненно осведомлены о его разгульной жизни, Аранджел Исакович пожалел, что приехал. Ему вдруг почудилось, будто его презирают, хотя он не скупился на пожертвования. Показалось даже, что в одном из окон второго этажа мелькнуло заросшее до горла и ушей бородой и маленькими усиками лицо патриарха с лукавыми глазками. Заметил он, что за ним наблюдают и из других окон. Тогда от стыда и гнева он сел на каменную скамью, скрестив ноги по-турецки, и закурил.

Монахи пришли опять и передали, что его святейшество принять его не может, однако к больной госпоже Дафине Исакович пошлют монаха. А вообще его святейшество советует отправиться к хорошо ему знакомому епископу Ненадовичу и с ним разрешить тот важный вопрос, который его так интересует.

Аранджел Исакович, потеряв наконец терпение, начал упрекать монахов поначалу довольно сдержанно, с кислым видом и горькой улыбкой. Они, мол, хуже солдат, что проливают кровь и живут как цыгане, где

придется. Корил их за то, что по их вине народ кочует с места на место и торговцы и ремесленники не могут нигде осесть. Что же касается брата Вука, которого они так восхваляют, он-то и есть настоящий цыган, оправдывающий свое озорство и бездельничанье тем, что без конца дает зарок уехать в Россию, где все, мол, пойдет на лад. Потом он обрушился на патриарха и наговорил перепуганным монахам такого, что не следовало говорить. Обозвал бывшего печского архиепископа и славяносербского патриарха Венгрии, Сербии, Болгарии, Боснии, Греции, Далмации, Хорватии, Славонии и всей Иллирии жадным сквалыгой, которому еще понадобятся его деньги. И тут же, высыпав на колени два кошеля дукатов, принялся их пересчитывать, приговаривая при этом, что, дескать, столько-то он хотел пожертвовать на постройку патриаршей церкви, столько-то и столько-то на колокола, на портрет блаженнопочившего царя Уроша Слабого, на ремонт монастыря и, наконец, столько-то и столько-то патриаршим монахам. При этом он глубоко вздыхал, а монахи тем временем все чаще нюхали базилик.

Потом как бы между прочим заметил, что и он, Аранджел Исакович, хоть всего лишь купец, однако не менее заслуженный человек, чем его брат Вук, который только тем и прославился, что горланит на соборах, болтает да обещает, а он, Аранджел, по-настоящему торгует, продает и покупает, а что купит, умеет хранить. Они еще разочаруются в его брате Вуке, который охотнее всего погнал бы их через степи, горы, болота и леса в эту самую неведомую Россию — а до нее прежде чем доберешься, подохнешь, и увидят, кто таков он, Аранджел Исакович, кому уже надоели странствия и кто останется здесь, где они поселились. И не только останется, но и все купит, и от своего добра оделит и церковь, как оделяет ремесленников и лодочников, и пощедрее, чем брат. Оскорбленный Аранджел Исакович понимал, что его не пустили дальше ворот, и стоял, словно его окатили ушатом холодной воды, подергивая свои широкие купеческие рукава, все выше задирал голову и порывался уйти, протискиваясь через толпу монахов, которые, растерявшись, не знали, что делать, не понимали, почему он так сердится и о чем толкует. Впрочем, не унимался он, ему-де известно, что болтают о невестке, которая живет в его доме в Земуне. Но ведь

брат на войне, и кому-то надо приютить малых детей, чья мать лежит при смерти, вот об этом-то он и хотел говорить с патриархом, потому что тут и его святейшество должен сказать свое мнение.

Не давая монахам вымолвить ни слова, хотя один из них заикнулся о том, что надо бы еще раз сходить наверх и передать его просьбу, Аранджел Исакович совсем разошелся и принялся на прощание визгливо расхваливать самого себя. Коли он купец, так пусть знают: что попало к нему в руки, он уже из своих рук не выпустит. Чьи денежки раздавал брат церквам да монахам, как не его, и кто сохранит им все то, что они получают, как не он и не его люди, которые прочно осели здесь и дальше кочевать не намерены. Все принадлежит тому, кто сидит на месте, а не кочует, как цыган. Кто выдержал падеж скота без крика и шума, тот выдержит все и не уйдет. А кто видел, что у Аранджела Исаковича хоть один мускул на лице дрогнул, когда у него утонули суда или угнали гурты скота? Если же болтают о том, будто он блудник и женщин покупает, то еще неизвестно, не станет ли он у них церковным старостой и не заживет ли как настоящий святой, когда угомонится. И он обещает, как только вернется в Земун, выслать им полный воз икон и гораздо лучших, чем эти, здесь, на стенах, а звонница,— и он бросил презрительный взгляд в глубину двора,— звонница в его поселении выше, и из бревен потолще, и на каменном фундаменте. Так и скажите его святейшеству.

И глядя на деревянную звонницу с застывшим колоколом, на оцепеневший сад с неподвижно висящими яблоками, конюшни, галереи, верхние окна дома, где все словно вымерло, Аранджел Исакович внезапно понял, что под этой мрачной прохладой сада, перед иконами и лампадами он говорит неуместно громко, по сути дела бранится. И он, зеленея от стыда, вдруг умолк, быстро направился к воротам, вышел к толпе в окружении монахов, которые делали все возможное, чтобы его удержать, и, чихая на солнцепеке, закричал на своих слуг.

Среди собравшейся перед воротами бедноты было несколько цыганят в лохмотьях, почти совсем голых, которые тут же запрыгали на одной ножке и заканючили, выпрашивая милостыню. Никто не имел понятия о том, что происходило за воротами. Аранджел Исакович

со своими слугами, щелкавшими бичами, зашагал к экипажу, толпа, сама не зная зачем, потянулась за ним.

Рыдван Аранджела Исаковича быстро катил в гору, пересекая овраги и фруктовые сады, сверху казалось, что он едет по крышам домов с соломенными и камышовыми стрехами, по овинам и хлевам, вырытым в земле под огромными стволами и корнями дубов и акаций. Между деревьями за ними бежали еще несколько нищих, прочие отстали. Сверху как на ладони, в долине и на склонах, между болотами и камышами раскинулся город, дальше шли корчевья и, наконец, широкая река с камышами, топями и лозняками, за которой виднелась бескрайняя равнина.

Солнце жарило вовсю; рыдван, словно окованный раскаленным железом, покачиваясь и подпрыгивая среди канав и деревьев, провожаемый изнемогающими собаками, направлялся к садам епископа Ненадовича. Этим летом он воздвиг неподалеку от своего дома небольшую деревянную церковку, собрал нескольких монахов, добровольно согласившихся отречься от пустыннической дикой жизни по лесам и виноградникам и поселиться братствами в фрушкогорских монастырях.

Трясясь по пути к этим садам, Аранджел Исакович, не желая больше вспоминать ни о патриархе, ни о разводе невестки с братом, решил сделать хотя бы что-нибудь для того, чтобы облегчить ей последние часы, о чем он на время позабыл. Думая о невестке, он намеревался упросить кого-нибудь из монахов поехать с ним в Земун и сказать, будто он прибыл от патриарха, лишь бы только замолкли ее истошные вопли и бредовый, молящий шепот, которые он слышал перед отъездом. Весь в поту от нестерпимой жары, он словно одурманенный катил в своем рыдване мимо домов, лугов и камышей, с трудом пробивавшимся сквозь высокую траву от дерева к дереву. Аранджел Исакович уже неделями не вел никаких торговых дел, понимал, что жизнь его отныне никогда не будет такой, какой была — веселой и приятной, и что после ее смерти ему уж ничего не будет нужно. Развалившись на подушках, Аранджел Исакович готов был завидовать себе, вспоминая то время, когда был далек от невестки, когда принял твердое решение обладать ею не более двух-трех раз.

Между тем рыдван пробился сквозь кусты вдоль высохшей канавы к бревенчатому мосту, покрытому

прутьями. Лошади, чувствуя, как под копытами прогибаются и ломаются ветки, качаются и трещат бревна, становились на дыбы, и слуги немало помучились, стараясь успокоить их.

Аранджел Исакович поднялся на сидении и увидел ряд переплетенных прутьями старых акаций, дальше ехать было нельзя. Весенние паводки нанесли на эту живую изгородь траву и прочие растения, сейчас они гнили, издавая тяжелый запах.

За поднимавшейся в гору лужайкой с несколькими сливовыми деревьями, которые ломились от зрелых плодов, показались большой дом, окрашенный в желтый цвет, и верх деревянной церковки под огромными дубами, а между ними открывался до самого горизонта вид на поросшие травою долины, виноградники и густые леса. Не зная, с какой стороны подъехать к дому,— монахи, не вдаваясь в подробности, лишь ткнули в видневшийся на горе дом — Аранджел Исакович хотел уже приказать слугам ломать изгородь, как вдруг взгляд его упал на странную фигуру, черневшую за деревьями.

На траве под акацией, согнувшись, неподвижно сидел монах с оголенной грудью, видимо весь ушедший в молитву.

Земля перед ним была ровной до самой кручи, откуда открывался вид на низовья Дуная. Перед ним был вбитый в землю заостренный и очищенный от коры кол из ствола молодой акации; казалось совершенно невероятным, как мог молодой монах бросаться на него грудью, животом или плечами и не кричать от боли. Он ничего не видел, не слышал, словно одержимый, только молча крестился, извивался, воздевал к небу руки и бил поклоны. Потом только Аранджел Исакович заметил, что он плачет.

Покуда слуги усмиряли лошадей и, ухватившись за колеса, пытались повернуть карету, Аранджел Исакович весь съежился, словно заостренный кол впивался в его тело, а не в тело монаха, который, казалось, ничего не чувствовал. Окинув удивленным взглядом раскаленное небо, на котором не было ни одного облачка, леса и горные склоны и то, что происходило перед ним, Аранджел Исакович вздрогнул, не понимая, как может человек на зеленой поляне в этом нестерпимом пекле с таким безумным упорством вытворять подобное. Монах

в черной разорванной рясе, судорожно отбивающий поклоны над заостренным колом, выглядел чистым безумцем и наводил такой ужас, что впору было кричать. И когда, не выдержав, Аранджел крикнул так, что испугался собственного голоса и шарахнулись лошади, монах вскочил, словно его хлестнули кнутом.

Тогда лишь Аранджел Исакович увидел, что монах бос, высок, что грудь у него окровавлена, лицо — кожа да кости, глаза большие, а взгляд мутный, лихорадочный. Монах подошел к нему, сердито показывая жестами, что надо объехать сад — там находился въезд.

Слугам удалось наконец осадить экипаж, повернуть разгоряченных лошадей, и вскоре господский рыдван подъехал, минуя акации, к воротам на каменных столбах. По одну сторону от Аранджела Исаковича тянулись сливняки, горы, долины и широкая река, а по другую — деревянные звонницы с кровлями из очерета. Но перед глазами его все еще был одержимый монах, который то и дело нагибался над колом, извиваясь от боли, ничего не видя, не слыша, не замечая ни жаркого летнего дня, ни прохладной тени акаций, ни всего того, что открывалось глазу с горы — высоких трав, усадеб, заводей и каменных домов, на которых неподвижно застыли жестяные петухи. Монах словно обнимал кол, хотел остаться на нем, не отрываться от него и потому все чаще и чаще склонялся над ним, извиваясь от боли.

Проехав ворота, карета выкатила на широкую лужайку, где стояли церковка и большой дом, и остановилась под вековыми дубами. Навстречу гостю вышел старый игумен и тут же успокоил его, сказав, что епископ дома, где-то в саду, а брат, отбивавший поклоны над колом, это иеромонах Пантелеймон, недавно прибывший из Сербии. Нынче исполнилось семь лет, как всю его семью, бежавшую от турок, поймали и у него на глазах посажали на колы. Он и помешался. Турки вырвали ему язык, поэтому он молчит. Бояться его не надо, он тих и кроток, только все время плачет.

Аранджела Исаковича повели в дом. С высокого деревянного крыльца он увидел реку, подожженные солнцем в далеких плавнях заросли камыша и поднимающийся к небу густой черный дым. Его ненадолго оставили в комнате, где, кроме написанного на стене изображения Ивана Пустынника с большим топором, ничего не было; во дворе прямо под окном внимание Арандже-

ла Исаковича привлекли три монаха. Один, огромный и толстый, лежал на животе и, зарывшись головой в траву, спал, а два других,— один красивый и рыхлый, как женщина, с каштановыми волосами, второй черный и бородатый,— сидя в траве и упершись спинами друг в друга, что-то напевали и, хохоча, старались схватить один другого через голову за горло. С этой стороны дома лес был в нескольких шагах.

Усталый и голодный, весь мокрый от пота, Исакович прислонился к холодной стене, так что холодок пронизывал до костей. Вскоре он услышал шаги. Ожидая увидеть епископа, с которым был знаком еще по Буде, он думал: «Скажу ему, что привез десять дукатов на монастыри, а десять на ризы. Скажу, чтоб пустил ее к монашкам в Язак, может тамошняя вода ее излечит. Скажу, что отнял ее у брата, что она от меня забеременела и что я не хочу с ней расставаться». И, перебирая без конца четки, он машинально забормотал, повторяя одно и то же.

О том, что́ он говорил епископу Ненадовичу, которого знал еще писарем в Будском магистрате, и что́ с ним было в летней резиденции владыки, в этой первой монашеской обители, отличавшейся в сравнении с распущенной жизнью монахов по скитам большой строгостью, Аранджел Исакович и позже, в глубокой старости, когда превратился в бездушного скрягу, никогда и словом не обмолвился.

Когда в тот вечер слуги везли его домой пьяным, чего с ним давно уже не случалось, они слышали лишь, что все свое добро он завещает церкви, что и им следует перед смертью поступить так же, потому что жизнь прекрасна только на небесах. И что завтра же он повезет Дафину в Язак, где есть целебная вода, которая наверняка ее излечит. Что, состарившись, а может, и раньше,— рыдван в это время проезжал мимо карловацкой заставы, откуда выскочили солдаты, решившие, что едет какой-нибудь генерал из Петроварадина,— он уйдет в монахи, отдохнет в ските от мирских дел и от торговли с проклятыми валахами и хромоногими греками. Там он наконец утешится, валяясь и распевая, сколько душе угодно. Захочется вина, будет вино, а пройдет какая-нибудь пухленькая селяночка, он подставит ей свой монашеский посох, она споткнется и завернет к нему. Расхваливая епископа, Аранджел Иса-

кович все же был против общежития, потому что хотел остаться наедине с богом, о монахах же говорил так, словно прожил с ними всю жизнь. Уверял слуг, что отныне он приятель монахов, которые хранят святые мощи деспота, и ближе к ним, чем его брат Вук, и что ему растолковали, в чем он согрешил, и отпустили грехи.

Слуги, с которыми он до сих пор никогда не разговаривал, старались не вслушиваться в его пьяные речи — будь их воля, они вовсе заткнули бы уши — и только испуганно переглядывались, понимая, что, протрезвившись, он горько раскается в своей болтовне и неделями, пока не забудет, станет их из-за этого мучить.

И в самом деле, едва лишь вечерний ветерок немного его освежил, он пришел в себя и умолк. Безмолвно смотрел он, как рыдван опускается к придунайским плавням и как за ними на горе остаются еще освещенные солнцем карловацкие дома.

Проезжая в густой тени и полумраке рощ мимо сгоревших камышей и трав, он слушал, как вдалеке лают его собаки, охотившиеся за жаворонками и перепелками. Перед лесом остановились, слуги должны были проверить и зарядить ружья и пистолеты — дорога лесом была весьма небезопасна,— а он снова под действием винных паров пересаживался с места на место, пытаясь даже взобраться на железные украшения рыдвана.

Видно, что-то веселое и приятное услышал он от епископа, недаром же он так его расхваливал и то и дело распевал псалмы, которым там выучился.

Хмель на вечернем воздухе снова забродил в голове, и Аранджел Исакович опять принялся разглагольствовать о том, что уйдет в монахи. Потом заплакал, вспоминая семью Пантелеймона, которую турки посажали на колы, и с горечью стал перечислять всевозможных святых, которых при отъезде он одарил дукатом. Он был твердо убежден, что монастырская вода исцелит невестку и она снова сможет рожать. И еще как! Тогда он помирится с братом, который был всегда счастливее его, да почему бы им и не помириться, они как-никак братья.

Уверенность в том, что невестку еще не поздно спасти, что на смерть ее обрекли лишь дураки врачи, привела его в такой буйный восторг, что еще немного и он

пустился бы в пляс в рыдване. Простирая руки в наступающую прохладу вечера, он тщетно пытался восстановить в памяти, что́ говорил монахам он и что́ сказали ему они, и только радовался за невестку. Ведь впервые в жизни Аранджелу Исаковичу так не повезло. Внезапность беды потрясла и поразила его. Острее и по-другому, чем Вука, Аранджела Исаковича охватывал ужас, безысходный ужас от переменчивости и бессмысленности жизни, которая идет вразрез желаниям и надеждам человека. Ему все сильнее хотелось как-то помириться с братом и вместе бежать в эту новую, болотистую и низменную, но благоухающую солнечную землю, где они после стольких блужданий начали бы наконец обретать покой. Обезумевшему от желания обладать телом своей невестки, ему прежде даже в голову не приходило, что это желание когда-либо исполнится.

Потому он теперь и страдал, что Дафина умирает в его доме. Каким жалким казалось ему сейчас первоначальное его намерение тайком поразвлечься с ней, а после вернуть ее брату. При воспоминании о ее прекрасном теле, прохладной коже, порывистых движениях, одна мысль возвратить ее брату, которому она принадлежала, представлялась ему безумной. Он чувствовал, что никому бы ее не уступил, как никому не уступил бы возможности пройтись по этой покрытой рябью голубой реке или по небу над лесом.

Словно все эти женщины, с которыми он, запыхавшийся, потный, нередко и пьяный, сходился — чернявые, русые, рыжие, грудастые, глубоко вздыхавшие и тихо посапывающие в его объятиях, остались на другом берегу реки, а на этой стороне, распростершись, как мертвая, ехала с ним в рыдване единственная женщина с пьянящим запахом, гладкой кожей, которая всегда была ему мила, с глазами цвета густой синевы ясного зимнего неба.

Если бы она не умерла и родила бы ребенка — в данную минуту пьяному Аранджелу Исаковичу это вовсе не мнилось чем-то невероятным — все ее беды наверняка окончились бы, и он тогда был бы мил и приятен и самому себе, и ей, и брату, и всем.

Увидеть ее еще раз здоровой, обезуметь от страсти, впиться пальцами в бедра, извиваться возле нее, пусть она даже будет холодной, ровно камень, как в ту первую ночь, ему, пьяному, казалось верхом блаженства, и

он снова провалился в туманную бездну безумия, катя в своем рыдване словно в рай по залитой лунным светом равнине.

Все его старания в этот день были напрасными. Следовало затаиться и молчать, все равно уже никто им помочь не мог.

Пересекая широкую равнину и оставляя за собой утопающие в прозрачных сумерках карловацкие горы, окончательно протрезвев от вечерней прохлады, напоенной запахами воды и прибрежных трав, Аранджел Исакович пригорюнился, вспомнив, что едет домой и даже не знает, застанет ли он ее еще в живых. Ежась от ночного холодка, он понуро сидел и курил, все больше обвиняя во всем случившемся себя. В его памяти она встала такой, какой была прежде,— с высокими коленями, ангелоподобными ногами, незабвенной красотой, и потом такой, какой она стала, едва лишь начала жить с ним,— осунувшейся, сникшей, с повязанной поясницей.

То, что он мог стать причиной такого несчастья и таких неожиданных страданий, приводило его в отчаяние.

До дома была целая ночь пути. Ехать надо было еще несколько часов. Слева тянулись плавни. После долгой засухи они высохли и теперь при свете луны выглядели какими-то призрачными, от них веяло холодом. Громко шуршали густые камыши, за ними поблескивала как будто застывшая вместе с ивняком река. Когда карета въезжала в лесок, навстречу летели светлячки. Земля так отвердела от засухи, что топот копыт раздавался глухо, будто они ехали по мосту. Предстояло до утра смотреть на мертвенный свет подвешенного к дышлу фонаря, на беспрестанное мельканье лошадиных ног и давно уже выдохшихся от долгого бега собак.

Справа раскинулись и вдаль и вширь тучные пажити с редкими поселениями, откуда доносился собачий брех, даль тонула во мраке, смерть там казалась понятной и неизбежной. Но если над рекой и плавнями небо было как черная непроницаемая бездна над мрачной, темной равниной, заросшей густой травой, здесь оно было синее, прозрачное, высокое и звездное.

Под переливы бубенцов и мерцание звезд на высоком ночном ясном небе, слушая перестук колес по дороге, которую он видел настолько, насколько доставал

фонарь, окруженный неподвижными, прямыми и совершенно призрачными фигурами, которые, может, вовсе уже и не были его слугами — лица их скрывал мрак,— Аранджел Исакович отрезвел и резко переменился.

Теперь он все отчетливее понимал, что намерение пойти к патриарху и, воспользовавшись старой дружбой отца, Лазара Исаковича, с митрополитом Йовановичем, исповедоваться ему, было несусветной глупостью. А то, как он признался в грехе с невесткой епископу Ненадовичу, как тот его утешал и пил с ним, приняв кошель с дукатами на монастырь, словно происходило на том свете.

Бревенчатые звонницы церквей, монастырские иконы, будто сопровождавшие его таким же заклинающим шепотом, каким он, уходя, шептал про себя, представлялись ему сейчас непрочными, преходящими, бессильными помочь ему, как и все прочее, что он видел в тот день. Один на один с собой, едучи в своем рыдване ночью по равнине, Аранджел Исакович отбросил радужные надежды, снова стал самим собой и понял, что ему вообще следовало молчать.

С ним случилось то же, что и с его братом на войне: вся его прошлая жизнь ушла вместе с этой женщиной, и он остался с глазу на глаз лишь с тем немногим, что ждало еще его впереди.

То, о чем раньше Аранджел Исакович охотнее всего размышлял,— штабеля кож, папуши табака, серебро, должники,— с этой ночи навсегда потеряло для него всякий интерес. Опустив безвольно руку, так что она свисала из экипажа, он подумал о том, что все его дома, скотные дворы, кушаки с серебром — ни на йоту не могут помочь ему в том, в чем он так нуждался. Он ехал вдоль подсохших, но еще поблескивающих пойм, и такими пустыми и ничтожными показались ему его торговля, деньги, розданные под проценты в тысячи рук, купеческое достоинство. Потрясенный мыслью, что, не застав ее в живых, он будет годами убиваться по ней, он почувствовал, как и его брат Вук, что провел свою жизнь будто во сне. Не швырнув в жизни ни одного золотого без расчета и даже ни одной серебрушки, кроме самых мелких, которые бросал бедноте в торжественных случаях, он вдруг загорелся желанием разбросать дукаты, которые нащупал в поясе. Содрогаясь от жалости и наслаждения, он протянул руку над тра-

вами и сжал ее с такой силой, что дукаты, проскальзывая между пальцами, неслышно, точно золотые капли, падали на землю.

Значит, стоило ему только попытаться добиться ее не только под покровом полумрака в той страшной комнате своего дома, но и открыто, перед людьми, как пришлось тотчас убедиться, что это невозможно. Достаточно было произнести ее имя, чтобы епископ взвился. Надо было молчать.

Сгинула жизнь, до сих пор казавшаяся незыблемой, состоящая из цифр и счетов, жизнь, в которой обманывают и приобретают, жизнь, в которой он грабил и наслаждался меняющимися как в калейдоскопе женщинами, жизнь, где он был волен поступать по своему желанию, пользоваться всеми возможными наслаждениями, надувать и мучить людей, насмехаться над ними и до глубины души презирать их. Но, впрочем, когда приходила беда, он сам, презираемый людьми, лебезил и угодничал, чтоб добиться своего.

Между тем существует иная жизнь, невидимая и непостижимая, в которой он не может ничего изменить, и прекрасная, как лунный свет на дороге перед его экипажем, что словно путаными нитями протянулся от неба до земли и от земли до неба. И хотя в этой жизни все происходило с безумной, потрясающей неожиданностью, в ней все было освещено благодатным и для тела и для души трепетно-звездным сиянием. В этой жизни никто не мог ему помешать, и в этой жизни, тайной и непредвиденной, и он, и его невестка, распаленные чудовищной силы страстью, решили, что на них никто не обращает внимания. А потом пришло одиночество. В эту ночь по дороге домой в конце того лета, когда исполнилось самое заветное его желание, Аранджел Исакович, подобно его брату в далекой чужой земле, за несколько часов состарился.

На рассвете, когда они подъезжали к Земуну, он лежал в своем рыдване, измученный ночной поездкой, бледный, постаревший, точно старый козел с трясущейся бородой. Он уже не смотрел на гаснущие звезды и на мерцающий в небе свет. Увидав вдали городские колокольни, Аранджел Исакович в последний раз прикрикнул на задремавших слуг, на вконец загнанных лошадей. Поднявшись, он равнодушно оглядел далекие крыши и водяные мельницы на реке. Он понял, что вся

его жизнь до этого утра прошла как сон, и отныне начнется совсем другая.

Подъехав, он печально и снисходительно улыбнулся людям, собравшимся на мосту возле дома, и по их заплаканным лицам понял, что Дафина умерла.

Достаточно было увидеть у калитки его желтую руку и знакомый рукав, его профиль, как все заголосили, запричитали, ударяя себя в грудь, словно в барабаны. В комнатах пахло горящими свечами.

Дафина лежала ясная, спокойная, с широко открытыми глазами и вытянутыми руками, в белых шелках, словно привидение на белой оштукатуренной стене.

Ее страшный, строгий взгляд вперился в двери. Рявкнув на старух, чтобы не мозолили ей глаза, Аранджел Исакович не знал, что она уже не видит, что и его она не узнала, что она умрет как раз в то мгновение, когда он подойдет к ней и возьмет ее на руки.

Обняв ее вместе с подушкой, он приподнял ее, прижал к груди и, раскачиваясь вместе с ней, заплакал. Глядя неотрывно в ее лицо и посиневшие веки, он весь корчился и содрогался от рыданий. Отталкивая от себя подходивших людей, он все крепче прижимал ее к себе, не давая женщинам закрыть ей глаза. Свеча, которую ей сунули в руки, упала на него и подожгла его платье. Казалось, он сошел с ума. Его тень на стене сейчас в точности походила на отбивающего поклоны над забитым в землю колом черного инока, на которого он только вчера смотрел, не веря своим глазам.

Аранджел Исакович опомнился лишь тогда, когда заглянул в глаза покойной Дафины, в два недвижных синих круга цвета зимнего неба, холодного и ясного. Они были маленькие, но чем ближе он к ним наклонялся, тем они становились больше и охватывали его всего.

Только эти глаза он и запомнил на всю жизнь. С последним вздохом невестки, которая уже не могла говорить, в ее глазах как бы засинело высокое небо. Как и его брат во сне, он вне себя от ужаса и горя, увидел над ней голубые круги, а в них — звезды.

Синь ее глаз разлилась по всей комнате, и он с помутившимся разумом бормотал над покойницей молитвы, называя ее: «Дафинушка моя, Дафинушка!», а себя: «Аранджелко, маленький Аранджелко», и рыдал навзрыд. А бабы голосили, тщетно пытаясь вырвать ее тело из его объятий.

А Дафина, уже не замечая и не слыша ничего вокруг, с бисерным ожерельем капелек смертельного пота на лбу, видела в неземном сиянии снежного бурана и огненного вихря, в коловращении славонских лесов и небесных созвездий Вука Исаковича.

IX

Один, самый убогий из них,
сберег и после смерти свой светлый облик,
смог вернуться и появился у околицы села на дороге,
в том самом месте,
где весною расцветает первая акация

До самой осени в славонских селах ничего не было слышно о тех, кто ушел на войну. Ушли и пропали, точно в воду канули.

Раньше, когда резались с турками, людям виделись пылающие села, плывущие по реке турецкие фелюги, наполненные невольниками, до них доходили вести о том, что турки жгут монастыри, насилуют женщин, подкидывают вверх детей и поддевают их на штыки, теперь об этом не было речи.

Ушедшие на войну были бог весть в каких неведомых землях, названия которых никто не знал, сражались с войсками, которых и в глаза не видели. Все это наводило на людей страх и ужас, и по вечерам, когда у очага вели о том разговоры, мороз подирал по коже. Это представлялось страшнее, чем резня и зверства турок. Перед глазами, когда они смотрели в ту сторону, куда ушел полк Исаковича, маячила речная глубь, темнели ивняки и серело мутное, осеннее, дождливое небо.

Вести о том, будто полк Исаковича направили во Францию, а других, из-под Варадина, бросили на Пруссию, потрясли славонцев. Они охали и ахали от ужаса и горя, что их разделяют и разлучают, даже умереть вместе не дают.

Впрочем, слухи были самые невероятные и запутанные. Полк должен был якобы биться с разными народами и перемещаться в разные страны с непривычным климатом, удивительными водами и лесами и еще более удивительными обычаями. И будто бы им там при-

дется остаться на долгие годы. Сперва пошли слухи, что они все переженились, потом заговорили о том, что они больше не вернутся, и, наконец, будто они уж детьми обзавелись. С начала осени бабы ударились в слезы и причитания, слышались и проклятья.

Уже не вымышленное, а точное известие о том, что до полусмерти избит Секула, которого все знали, потому что он был человеком Исаковича и сторожем местной бревенчатой звонницы и церквушки, всех просто ошарашило. Говорили, будто его везут домой, будто у него вытек глаз, отбиты уши, а лицо — точно голова ободранного барана — одни кости торчат.

Край, где сербы должны были пустить корни и осесть, летом казавшийся таким благодатным и таким теплым, что даже высохли все болота, осенью дождями и наводнениями доводил их до ужаса и отчаянного желания снова куда-то бежать. Тонула скотина, загрязнялись колодцы, гибли заповедные рощи, рушились загоны. Вода несла в села вырванные с корнем деревья, скошенное сено, оставляя после себя толстые пласты ила и грязи у оград, по дорогам, на крышах глинобитных домов, в хижинах и землянках. Кроме того, повсюду, не минуя самых малых селений, прошел слух о переносе тела деспота и графа Георгия Бранковича с чужбины и захоронении его на Фрушка-Горе. Слух этот словно был разлит в прозрачном дрожащем воздухе последних теплых солнечных дней, наставших после долгих дождей хмурой и холодной осени.

И тут на мокрые славонские села снова обрушились страшные вести, сбивчивые, сумбурные, с перепутанными именами и неясной связью событий. В том, что полк Исаковича перебит почти поголовно, никто уже не сомневался, но вести, приходившие из сел, где набирал свои два полка Вуич, были еще страшнее. Когда же стало известно, что произошло с теми, кто ушел с полковником князем Рашковичем в Чехию, заголосили, запричитали и на равнине по ту сторону реки и плавней.

Весь край, в котором они прокладывали себе путь сквозь леса и болота к теплым, плодородным и затишным холмам, показал себя еще раз таким, каким он впервые перед ними предстал.

Курились мглистые ивняки, и облака клубились все ниже. Воды рек были мутные и бурные. Кругом была непроглядная, моросящая темь.

Во тьме шумели и клокотали воды. Над болотами по ночам вставала луна, но осветив темноту, исчезала среди необозримых зарослей ивняков и сухостоя.

Этой осенью от дождей и наводнений особенно пострадали земли у обрывистого берега Дуная, откуда Вук Исакович двинулся на лодках в поход и где еще отец Вука поселил несколько семей.

Изо дня в день дождевые воды размывали и отваливали пласты земли, унося плетни и стога сена в реку и в болота, что тянулись вдоль берега реки. Дом Исаковича с северной стороны дал трещину, и казалось, что, если дожди продолжатся, он рухнет. Раскинувшийся перед домом высоко над рекою луг пропитался водой настолько, что в земле появились ямины и трещины, в которые проваливалась скотина. Внизу колыхались густые, высокие заросли камыша. За домом поднимался лес, который начали корчевать солдаты Вука Исаковича, и находились землянки тех, кто еще не построил себе глинобитного дома в спускавшемся к реке селе, с деревянной бревенчатой колокольней, под стрехой которой были развешаны иконы, привезенные из старых домов Исаковичей и Вуковичей. В стороне от села среди верб и кустов можно было различить хлевы и хижину, где Вук Исакович провел с женой последнюю ночь перед уходом на войну.

В этом краю было особенно много слухов, приходивших с чужбины. Тут люди первыми услыхали о гибели слуги Исаковича Аркадия и о том, что тело его не было найдено, как и обо всем прочем. О том, что многие убиты, и среди них немало офицеров, что Мария Терезия послала солдатам по талеру за геройство. Одно время поговаривали и о гибели богача капитана Антоновича, и о том, будто темишварские купцы строят в память ему церковь чуть повыше села, на горе, напротив петроварадинских траншей. А когда услыхали, что некоторых солдат повесили за кражу яблок, вой и причитания начались с новой силой.

Смерть Дафины и ее жизнь были в конце лета на языке у всех жителей этого селения.

Все знали, отчего она умерла, и считали это наказанием за грехи и разнузданность Исаковичей. Говорили, что весь сребробогатый Земун повалил поглядеть на нее в гробу, до того она в своих дорогих нарядах и драгоценностях даже мертвой была хороша. Жалели, что по-

гребение свершится так далеко, что туда пешком не доберешься. Шла молва, будто на поминки в дом Аранджела Исаковича приедут поглазеть даже из Турции.

Потом пошли слухи и о распре, возникшей из-за ее похорон.

Земунские священники доказывали, что Христодуло всегда были именитыми и добрыми ктиторами греческих храмов, потому и похоронить ее должны греческие священники в церковной ограде. Аранджел Исакович упирался, утверждая, что ее мать, уехав на чужбину, вышла вторично замуж за грека, а сама Дафина чистокровная сербка. Потому ее следует хоронить согласно новым обрядам сербской православной церкви.

Таким образом, в селах, где все знали Вука Исаковича, очень обрадовались, услыхав о том, что пакостный Аранджел Исакович решил не отдавать тело невестки греческим попам, а велел перевезти его и похоронить на горе над селом, за домом Вука, рядом с видной издалека могилой Лазара Исаковича.

Люди, провожавшие на войну Вука Исаковича, могли теперь досыта наплакаться, провожая в могилу его жену. И хотя измученная бедностью и вестями с поля боя толпа услышала лишь короткое отпевание, люди разошлись довольные. Они видели рыдван Араджела, лошадей, по-иноземному разодетых слуг и, хоть и мимолетно, самого Аранджела с его странными желтыми глазами, приплюснутым носом, костистыми руками, унизанными золотыми перстнями пальцами, из которых всю дорогу струйкой лилось серебро для бедноты — щедрее, чем когда-либо раньше. Он был, словно паша, в шелках, в белых чулках, золотых застежках, кружевах, с четками.

Таким образом, госпожа Дафина и в самом деле проехала еще раз, мертвой, мимо того места, где так бурно провела свою последнюю ночь с мужем. Гроб с телом выставили на крытом побеленном крыльце, с балок которого свисали бесчисленные связки лука, перца и кукурузных початков. Кто хотел поглазеть на гроб, лез под истошный вой и причитания босыми ногами на лежащие неподалеку большие мешки с фасолью.

Пришли старики и тут же раскисли после выпитой ракии, а старухи, вытащив из гроба руку покойной, с воплями и причитаниями прикладывались к ней.

На несколько мгновений, когда священник запел заупокойную, появился, обратив на себя всеобщее внимание, и стал за гробом с обнаженной головою Аранджел Исакович, со следами бессонных ночей на лице, сникший и сморщенный, он смотрел по сторонам отсутствующим взглядом и косил глазами. Он считал справедливым, что жену брата следует похоронить вблизи дома Вука, а не своего.

Пока подходили к его руке, он стоял оцепенелый, ничего не видя и ничего не чувствуя. Полагая, что смерть невестки не будет для него неожиданностью, Аранджел Исакович сейчас, когда это случилось, не мог прийти в себя от страшного потрясения. Понурившись, он стоял перед плачущей толпой у изголовья покойной, злой и зеленый, смотрел на свои пустые ладони, словно из них вырвалась пойманная горлица, потом тело его затряслось, а из глаз полились слезы.

Тут, в доме брата, Аранджелу вдруг почудилось, что во всем виноват только он, его отвратительная похоть и коварный замысел овладеть невесткой в своем доме, пока брат воюет на чужбине. Вук ушел на войну, а Дафина заболела и умерла, казалось, только из-за того, что он, Аранджел, удовлетворил свою мимолетную страсть. Будто все бесконечные, запутанные события и ненужные страдания вызвал он сам, чтобы только на миг утолить свой голод.

Кроме того, у него просто не укладывалось в сознании, что она мертва и что всему конец. Напротив, Аранджел думал о ней, и особенно о ее теле, словно все оставалось по-прежнему. Упрямо уставившись на гроб, весь утыканный свечами, он повторял про себя: вот та женщина, единственная женщина, которая оставалась желанной после той ночи, когда он удовлетворил свою страсть.

Он вспоминал ее глаза — большие, синие, необычайно красивые даже в минуту смерти — и хранил в душе ее светившийся изнутри и не терявший своего голубого сияния взгляд. До сих пор он размышлял о том, что, кроме разврата и чувственных наслаждений, так хорошо ему знакомых, он мог бы получить то непреходящее, что способно поднять в вечную голубую высь. Аранджел Исакович понял, что, торгуя скотом и отвешивая на безмене серебро, он лишь попусту тратил

время вместо того, чтобы соприкоснуться с чем-то прекрасным, необычным, поднявшимся над всем подобно верхушке серебристой ели, хватающим за сердце среди полного мрака, в котором, как казалось, ему придется отныне жить.

Спустя несколько минут гроб отнесли на гору и засыпали землей, а слуги, подхватив под руки Аранджела Исаковича, который не мог ступить и шага, с трудом усадили его в рыдван.

После похорон Дафины и отъезда Аранджела Исаковича селение у леса и дома Вука Исаковича опять утонуло в осеннем ненастье. Сырость проникала сквозь стены; с крыш струями лилась вода; травы пожухли и гнили. По целым дням не видно было живой души ни на горе, ни над кручами, ни у домов. Все до самого неба над ивняками и горами, над однообразными водами и серыми равнинами затянуло густой, мглистой пеленой дождя. Жабы стали забираться в дома и землянки, а вода затекала под колоды, на которых были настелены нары.

Поселившийся в доме Вука Исаковича старый слуга Аранджела Ананий с женой и дочерьми без конца таскали сено, солому и целые стога кукурузы. Всегда окруженный собаками, этот старый слуга, весь заросший, с косматыми бровями, по-прежнему, как цепной пес, спал на пороге, закутавшись в овчины, под которыми была одна рубаха, так, что нельзя было разобрать, где у него голова, а где ноги, и только когда он начинал копошиться, как поросенок в мешке, сбрасывая с себя бесконечные овчины, внезапно в густой шерсти загорались его маленькие, но ясные и умные голубые глаза. Целыми днями он сидел прямо на земле, выбрав сухое место, и не отрываясь смотрел на затянутый дождем небосвод, на поля и селение, которое со своими глинобитными постройками, неухоженной скотиной и непокрытыми скирдами хлеба гибло от мокропогодицы.

Ананий не захотел взламывать дверь и поселил свою семью на крытом крыльце, полагая, что, если Вук Исакович не вернется с войны, это произойдет само собой.

На необычайно бледном, болезненном лице слуги

запечатлелся ужас от всего виденного и слышанного, о чем он не смел никому рассказать. Жена и дочери ничего не знали, но ему было известно все: и почему госпожа Дафина была привезена в дом Аранджела Исаковича, и что он с ней там делал. Ананий видел вблизи и ее болезнь и то, как она умирала, видел часто и то, о чем господа даже не подозревали. Живя годами бок о бок с Аранджелом Исаковичем, Ананий мог на память перечесть всех его наложниц, знал наизусть его торговые сделки. Не прошло мимо него и то, что две его старшие дочери одно время зачастили в хозяйские покои, но он понимал, что они недостаточно красивы, чтоб это долго продолжалось и навсегда обеспечило ему беззаботную жизнь. От своего хозяина Ананий перенял неутолимое сребролюбие, он нанизывал серебряные монеты на шнур и опоясывал им голое тело. Когда-то добрый и кроткий — мухи не обидит, а куда уж там заколоть овцу («проливать кровь грешно»), он превратился в хитрющего и безжалостного хапугу, которого боялись пуще огня на скотных дворах и барках Аранджела Исаковича, потому что своими лукавыми и подлыми наговорами он мог очернить в глазах хозяина кого угодно. В семье не было мужчины, кроме Анания, и все-таки у него была обработанная земля, и ее становилось все больше.

Появление в доме Дафины было для него тяжелым ударом, а смерть ее — радостным событием, опять пробудившим какие-то надежды. От своего хозяина он научился ждать и предвидеть, и он ждал, что Аранджел Исакович заметит его младшую, третью дочь, которая как раз в это время подрастала. Грудастая, широкобедрая, именно такая, каких любил Аранджел Исакович, она и сама без конца мозолила ему его желтые, мутные и всегда вытаращенные глаза, то нагибаясь, то касаясь его руки, но, к великому изумлению Анания, видимо совершенно напрасно.

Аранджел Исакович после появления в его доме Дафины стал каким-то странным, а после ее болезни — тем паче. Женщины больше для него не существовали, его желтые глаза, прежде сверкавшие, как у кошки, стали мутными, бегающими, а взгляд словно искал что-то над головой собеседника. После смерти Дафины, часто бывая у хозяина и обязательно с младшей дочерью, Ананий с ужасом убеждался, что все его надежды рух-

нули. Губы хозяина ничем не напоминали его прежних, всегда влажных, красных и липких от турецких сластей губ, без следа исчезла затаенная улыбка развратника, померк блеск в глазах, с которым он мерил каждую женщину с головы до ног.

Аранджел выглядел мрачным, невыспавшимся, молчаливым, за весь день он едва произносил два-три слова. Сквозь щели в дверях Ананий видел, как он часами сидит понурившись и смотрит на свои пустые ладони.

Но если Ананий ни с кем не смел делиться своими тайнами, то зато с особой охотой расписывал странные события, предшествовавшие смерти госпожи Дафины, рассказывал, как она кричала, как чудился ей во мраке муж либо в облике окровавленной жабы в воде, либо в постели разрубленный пополам или у белой печи — целехонький, но с вытекшими глазами. А невероятные события, происшедшие после ее приезда в дом, он излагал с такой убедительностью, что у слушателей мороз подирал по коже.

Ананий рассказывал, как лошади хотели утопить Аранджела Исаковича, затирая его и заталкивая ему в рот свои гривы; как какие-то букашки и муравьи изгрызли руку служанке, обычно расчесывавшей волосы госпоже Дафине; как дом кишмя кишел змеями, которые охотнее всего плодились под ее кроватью. Словом, старый слуга был твердо убежден, что она еще будет выходить из могилы и бродить по селу.

В ненастные осенние дни с дождливым небом, затянутым курившимися как дым тучами, когда камыши и верба все глубже погружаются в воду, в темные ночи, когда из-за холода все спят вповалку при тусклом свете плошки на ворохе пахнувших баранами кожухов и сермяг, Дафина, по воле Анания, превращалась в настоящее страшилище. Это она отравляла воду, наводила порчу на скотину, а людей поражала неведомыми болезнями.

Начался падеж овец, потом откормленных свиней, у женщин разболелись груди, по окрестным селам поднялся переполох. Все точно сошли с ума. А тут еще дошли слухи о том, будто Дафина спуталась с братом мужа, и вся мерзостность ее тайной жизни в доме Аранджела Исаковича, все подробности ее болезни выплыли наружу. К тому же, посреди дороги, у околицы

села, обнаружили задушенного ребенка, да так и не узнали, чей он.

А когда дожди стихли, когда над пустынными, желтыми полями, над верболозом и поросшими лягушачьим шелком лужайками выглянуло солнце и наступили ясные осенние дни, а по ночам из-за леса на горе выкатывалась луна, Дафина стала появляться верхом на палке или на оглобле. Она взбиралась на шелковицы. Некоторые даже видели, как она сидела, высокая, белая, на журавле у дома Вука Исаковича.

Овец воровали в те дни больше, чем когда бы то ни было. Они пропадали и в соседних селах, и хозяева неизменно находили их опять же у дома Вука Исаковича. Всеобщее возбуждение нарастало. Дело доходило до драк, в которых участвовали и бабы. А Дафина тем временем душила их и мучила по ночам, садясь на их толстые крестьянские животы или наступая на горло, и сеяла сердечную боль, оспу и лихорадку. Как-то в холодную ночь, когда пошел первый снег, одна беременная женщина увидела ее перед своим хлевом в облике белой коровы и тут же свалилась замертво.

Только Аранджел Исакович, приехавший в эти тревожные дни в своем рыдване на могилу, чтобы дать распоряжение построить над ней деревянный голубец и развесить привезенные им иконы, только он еще хранил воспоминание о необычайной красоте Дафины, о каждом мягком изгибе, каждой ямочке на ее пышном белом теле. Для всех же прочих она стала белым призраком.

Появление призрака, с которым уже почти все повстречались, было лишь еще одной бедой в череде несчастий, постигших село с тех пор, как Вук Исакович с лучшими людьми ушел на войну. У звонницы уже больше не сходились на молитву. Снохи маялись. Свекры совсем одурели от возни и борьбы ночью по клетям. Бабы, выходя по утрам на гору за село, к колодцу, в ужасе рассказывали друг другу о том, что творится у них дома, крестясь при этом все быстрей и быстрей.

Больше всего разговоров вызвала Стана, жена слуги Вука Исаковича Аркадия. Она поселилась с малым ребенком в хижине, где Дафина провела с мужем последнюю ночь. Стояла эта хижина неподалеку от скотного двора Исаковича в густой траве. Стана привела ее в

полный порядок. Тростниковая кровля больше не протекала, жабы не заползали, щели в дверях были заткнуты лозой, а широкая постель на просторной печной лежанке многое могла выдержать.

Месяцами тоскуя по мужу, одна-одинешенька, Стана долго отбивалась от свинарей и пастухов Исаковича, которые доили овец перед ее дверью, пока как-то знойным вечером, напившись парного молока, от тоски и скуки не пустила одного из ухажеров к себе на ночь и так потрясла его своими чарами, что бедолага не удержался и разболтал друзьям и те валом повалили к ней в хижину.

Подобно ясному уголку неба на горизонте, что еще блестит лазурью, в то время как все кругом тонет в грязи и унынии поздней осени, так и хижина Станы среди луж, болот, пней, ямин и оврагов была сущим раем.

В высокой густой траве было тихо, перед дверью желтели тыквы. Выше дома поднялась молодая шелковица. А с порога открывался широкий вид на дунайские кручи. И сама земля там издавала тепло.

Детский плач не только не отпугивал любовников от дома, но, казалось, даже приманивал их. Они шли сюда как на литию.

Но когда Стана, и прежде пугливая, вечно поднимавшая визг из-за всякого пустяка, однажды на рассвете увидала на пороге своего дома призрак и упала без памяти, Ананий пообещал ей, поскольку она была близкой подругой его дочерей, что как-нибудь ночью собственноручно вобьет в могилу Дафины терновый кол.

В ожидании тихой лунной ночи они коротали сентябрьские вечера, не зная, что на чужбине их милые и близкие, захоронив убитых, идут на зимовку.

И вот наконец, чтобы успокоить и собак и людей, Ананий собрался на могилу Дафины забивать терновый кол.

Стоя без шапки на крыльце, он, точно пес, принюхивался к наступающей ночи. Под ясным медным небом где-то на горизонте курились лиловые равнины, сливаясь с волнующимся морем камышей. Протекавшая внизу река почернела, под кручей было туманно и пасмурно, и ему казалось, что наступила уже полная темнота.

Пытаясь угадать, какова будет ночь, по шевелив-

шимся увядшим травам, он понял, что она будет ветреная, а по глазам окружавших его собак прочел, что она будет холодная. Замерло блеянье овец и понукание пастухов.

Своим замыслом Ананий поделился только со старухой, с дочерьми и женой Аркадия, которая была их ежедневной гостьей. Она до поздней ночи вместе с ними сидела на корточках у очага; женщины варили фасоль, пекли тыквы, а Стана рассказывала любовные истории, бывшие якобы не с нею, а с другими женщинами из села.

Как только взошла луна, Ананий, вооружившись топором и колом, полез через плетень.

Зацепившись курткой за ограду, он чуть было не вернулся, так напугал его необычный вид луга, леса и крутой горы. Женщины, перед тем гадавшие на бобах, пустили его вперед, а потом двинулись за ним, когда он уже перелезал через плетень. Увидев, что старик за что-то зацепился и едва не упал, они испуганно взвизгнули, но он тихонько крикнул, что там никого нет, и у них отлегло от сердца.

Покуда Ананий взбирался на гору, они, пугливо перешептываясь и то и дело крестясь, шли за ним на почтительном расстоянии, стараясь избегать черных теней деревьев и кустов и держаться лунных дорожек.

Ананий же храбро шагал с топором и колом на плече, держась наоборот густой тени дубов и кустов, словно от кого-то прятался.

Освещенные ярким лунным светом поля и откос горы успокоили его; прищурив глаза, он наслаждался красотой ночного неба и мирной тишиной ночи и чувствовал на заросшем колючей щетиной лице дуновение ветра.

И все-таки ему было приятно, что он не один и что его провожают женщины, которые, как он заметил, медленно брели по высокой траве.

Поднявшись на гору, где увядшая густая трава сбилась в сплошной пласт сена, Ананий, что-то сердито бормоча себе под нос, обошел вокруг могилы — деревянный навес мешал замахиваться топором.

Заходя с разных сторон, он каждый раз ударялся головой или плечом о навес, чуть не падал и, касаясь при этом рукой могилы, обмирал от страха. Отыскав нако-

нец подходящее место, он положил на землю острый кол и еще раз огляделся.

Видимо, близилась полночь, огоньки в домах, скотных дворах и землянках погасли, все утихло и погрузилось в темноту.

От безбрежной шири лугов, вод и долин, раскинувшихся перед ним, точно бездна, тянуло промозглым осенним холодом, и Ананию почудилось, будто темное звездное небо совсем близко. В нескольких шагах от опушки леса, у куста, он увидел испуганно притаившихся женщин, ожидавших, когда он закончит свое дело.

Прислонившись к столбу, на котором держался навес, он вдруг почувствовал себя покинутым, брошенным, наедине с могилой этой так внезапно вошедшей в их дом женщины, и его обдало холодным потом. Дом Аранджела Исаковича он считал своим.

«Пусть наконец угомонится,— подумал он,— и нам всем даст покой». Аранджел положит глаз на его младшую дочь, а он, Ананий, спокойно останется жить в этом доме, пока с войны не вернется Вук Исакович, если ж он не вернется, то и насовсем. Успокоится и все село. После стольких бессонных ночей люди опять смогут спать спокойно.

Приноровившись, он размахнулся и хватил изо всех сил топором по колу. Тот выскользнул, и Ананий свалился на могилу. Снова поставив кол, Ананий как сумасшедший принялся вбивать его в могилу. Ему чудилось, что среди ночной тишины он слышит, как кол пробивает землю, гроб, покойницу...

И тут присевшие у куста женщины испугались то ли внезапности его первого удара и ожесточенности, с какой он продолжал бить по колу, то ли призрачного света луны и, завизжав, бросились бежать с горы.

Услыхав их крики, перепугался и Ананий, ударившись головой о навес, он хватил обухом не по колу, уже глубоко ушедшему в землю, а по ноге. И упал на могилу, но у него хватило еще сил подняться и, завывая, кое-как доковылять до своего двора, распугав собак и овец. И вот тут, когда он перелезал через плетень, черт снова сыграл с ним шутку: ворот его куртки зацепился за кол, и Ананий повис, вытаращив глаза и с трудом переводя дух, да так и провисел, седея от страха, до рассвета, только под утро собаки, обнаружив хозяина,

подняли страшный вой и прибежавшие люди сняли его с кола.

Натерпелись страху и женщины: кинувшись наутек, они потерялись в светотени лунной ночи и, тщетно окликая друг друга, верещали от ужаса, падали в темноте в канавы и закрывали юбками лица, чтобы хоть не видеть нечистую силу, которая неминуемо их утащит.

Жена Аркадия, Стана, пошла за Ананием из любопытства и страха — ночи напролет она только и думала о вурдалаках и оборотнях и так напугала бесконечными расспросами о всякой нежити и нечисти своих любовников, пастухов и свинарей, что они не смели высунуть нос из дома,— ей-то и досталось больше всего. Побежав с горы наискосок вдоль колючих кустарников, она уже неподалеку от первых землянок угодила с диким криком в большую ямину, полную жидкой перемешанной с половой глины для мазанок, провалилась по самую грудь. Кое-как выкарабкавшись оттуда, вся вываленная в глине, она тут же попала в болото. Стараясь из него выбраться, Стана тщетно бросалась то вправо, то влево, а заслышав кваканье лягушек, почти теряла сознание. Устав до изнеможения и обезумев от страха, женщина, не переставая громко плакать и кричать, вдруг увидела неподалеку широкую белую дорогу, спускавшуюся к селу, дорогу, на которую никак не могла выбраться. Дорогу эту Стана много раз прекрасно видела днем, она проходила мимо ее дома, но сейчас, при свете месяца, она показалась ей совсем незнакомой, белой и ужасной. В смертельном страхе, от которого перехватывало дыхание, Стана решила, будто вода и грязь заполняют ее пышное, округлое молодое тело, поднимаются к горлу, и она вот-вот захлебнется.

Промокнув и вывалявшись в грязи, она вдруг вспомнила развратную жизнь, которую она вела, любовников и мужа. Потом она вспомнила о том, что госпожа Дафина видела перед смертью мужа, и подумала, что сейчас появится и ее Аркадий, которого скорей всего уже похоронили.

И вот эта ядреная селяночка с черными косами, всегда чистенькая и веселая, утопая с вытаращенными глазами в болоте, ощутив весь ужас смерти, вдруг и в самом деле увидела в воде перед собою Аркадия. Он лежал, раскинув руки и ноги, мертвый, в траве и иле

такой, каким был в тот вечер, далеко у Штукштадта, когда двое крестьян наткнулись на него, непогребенного, схватили за ноги и за руки и бросили в Рейн. При этом она чувствовала, что между нею, еще живой и теплой, и мертвецом — непроходимая пропасть. На самом деле то, что Стана видела в ту ночь, было лишь плодом ее воспаленной фантазии, отблесками лунного света на траве и воде, по которой она, визжа и крича, ползла на четвереньках. Первая жертва войны, Аркадий, давно уже не лежал в реке, течение отнесло его под вербы, под такие же вербы, что росли у него на родине.

Несчастный слуга Исаковича, весь в клубах пара, валившего от его милых лошадей, уже два месяца шагал впереди всех тех, кто направлялся домой. Он вылез из воды, восстал из мертвых и белый, точно молодая акация в цвету, ковылял по чужбине, появляясь на больших дорогах, по которым проходил живым вместе со своим полком, где его находили пьяным, отставшим от части, а то и в женском платье.

Вонючий, как хлевы и свинарники, в которых он вырос, слуга Исаковича сохранил в себе такие тончайшие призрачные, как лунное сияние нити, связывавшие его с жизнью, что жена его и на самом деле могла почувствовать, будто он возвращается к ней в ту осеннюю ночь. Она искала его взглядом там, где его не было, и ей казалось, что она видит его.

Ленивой походкой, подремывая на ходу, Аркадий в ту ночь действительно входил в село с противоположной стороны, время от времени сквозь нос что-то бормоча свинье, которую гнал еще с Печуя. Прозрачный, пронизанный лунным сиянием, он был так далек от всего того, что происходило этой ночью в селе, что жена в смертельном ужасе только и смогла учуять его, как старый знакомый запах, и увидеть лишь призрак давно ушедшей тени.

Появившись на горе над селом в ту минуту, когда женщины, а за ними Ананий, напуганные, разбегались с могилы Дафины, Аркадий мирно гнал свинью к своей лачуге под шелковицей.

Никто не мог его увидеть и никто его не увидел, даже собаки, завывая, уступали ему дорогу.

Когда у околицы свинья остановилась, он, сонный, споткнулся об нее и растянулся во всю длину. По-

том мертвый Аркадий лениво поднялся, так лениво, что вскоре опять на ходу задремал, и, бормоча себе под нос, пошел прямо к своему дому. Останавливался он только у конюшен, с наслаждением вдыхал запах лошадей и прислушивался к ударам их копыт.

Наконец, весь белый и прозрачный, он подошел к своей лачуге и нисколько не рассердился, обнаружив любовников жены, один из которых спал полуголый на лежанке, где прежде была его постель.

И нисколько не огорчился, услышав плач ребенка, напротив, весело заплясал, вышагивая за своей свиноматкой.

Несмотря на все вопли и крики, село в эту ночь спало крепко, и никто не видел ни Аркадия, ни всех тех оборотней, о которых на другой день Ананий столько рассказывал.

Полумертвого Анания обнаружили на плетне усадьбы Исаковича. Старик что-то невнятно бормотал про Аркадия, который якобы явился ему и сказал, что больше не вернется.

Наутро, когда обезумевшую от ужаса и кошмаров Стану привели домой, Аркадий шагал уже по пашням вдали от скотных дворов и конюшен Исаковича, бормоча ласковые слова лошадям, невидимый и безвестный, прозрачный и легкий, как дым после битвы.

Спустя несколько дней, когда село успокоилось после всех невероятных событий той ночи, с войны вернулся подлинно живой человек, первый, кто вернулся на самом деле.

Секула, пономарь Исаковича, с обезображенным лицом, с ободранной на голове кожей, без глаза. Пришел он плача.

В селе будто все сошли с ума от его рассказов и голосили с утра до вечера. Плакали старики, плакали молодые. Ананий всем на удивленье первый пожалел его и подарил ему овцу. «Украл я ее у тебя,— сказал он,— и возвращаю во имя отца и сына и святого духа!» И прибавил еще, что нельзя воровать и нельзя убивать.

Нога, по которой он хватил топором, болела все сильнее, и Ананий ходил по селу, возвращая одному овцу,

другому лошадь, а третьему мякину — все, что он наворовал за весну и лето.

Когда пришло известие, что Вук Исакович жив, а с ним и многие другие, что, перезимовав на чужбине, все они весной вернутся, в селе, крестясь и целуясь, ударили в бубны, заиграли, заплясали под свирели и зурны и все на радостях напились допьяна. Гул стоял над широко разлившимися водами, болотами и топями.

Прошел день-другой, и повалил снег, завыла метель.

X

Беспредельный голубой круг. В нем — звезда

Зима тысяча семьсот сорок четвертого года была длинной и суровой. Разбросанный по городкам и бедным селениям Верхнего Пфальца Славонско-Подунайский полк страдал от метелей и стужи.

Люди умирали от кровавого поноса по конюшням, по овинам и под открытым ледяным небом на застывшей земле с намерзшей толстою корою снега. Пританцовывали от холода, переминались с ноги на ногу у костров, напивались и заунывно тянули под гусли песни о царе Лазаре.

Потом на полк вдруг напала спячка, тяжелый нездоровый сон. Люди спали в стогах, в домах, на чердаках, спали в оврагах и даже на кучах навоза. Ночью отправлялись воровать, на заре возвращались, жалкие и понурые.

Кое-кто из солдат, завороженный красотой покрытых снегами лесов и гор, уходил бродяжничать. Через несколько дней им изменяли силы, они валились в снег и замерзали. А тех, кому удавалось добраться до отдаленных селений, принимали в домах, и они там жили целыми неделями. Патрулям приходилось силой возвращать их в лагерь, где каждый день кого-нибудь били палками.

Привыкшие думать и чувствовать одинаково, все уже догадывались, что о великой войне, в которой их полк прославится, вознесется до самых небес, нет и речи. Подобно снегу, занесшему следы колес и копыт за полком, молчание начальников и немецких офицеров

ной строгости он запустил полк и неделями не интересовался даже оружием. Единственной его заботой было найти человека, который бы его заменял, когда он спит.

Его сапоги от воды и грязи потеряли всякий цвет, голенища спускались гармошкой. И он стоял в них, раскорячившись, как пьяный. Его чикчиры, еще красные, но с белесыми от воды и солнца полосами, свисали мешком. Ремни болтались спереди и сзади. Ментик и доломан, обшитые серебряным галуном, вылиняли, обтрепались, стали кургузыми и лишали его всякой военной выправки. Обычно он стоял, точно расслабленный, позади своей повозки, чаще всего держась руками за больной живот. Понуренная голова, отвисший подбородок, мешки под глазами, сведенные брови, оттопыренные уши делали его дряхлым, смертельно больным стариком. Волосы падали на мясистый сплюснутый нос, и без своей треуголки он выглядел не только не героем, но человеком, стоящим на краю могилы.

И все-таки, когда Вук Исакович, опершись спиной о колесо, вглядывался припухшими глазами в длинную вереницу сельских домов и заснеженных деревьев, он совсем не походил на медведя, погруженного в зимнюю спячку, под его внешним спокойствием таились страшное отчаяние и душевная тревога. Каждую минуту он готов был с ревом кинуться куда глаза глядят, кусать самого себя и любого, кто подвернется ему под руку. Все в нем содрогалось от внутренних рыданий. Ребра вонзались в него ножами и не давали вздохнуть.

Сообщение о том, что его жена Дафина умерла, он принял совершенно спокойно. Ему казалось, что весть пришла из какого-то иного мира. Измученный заботами о полке, он не имел даже сил заплакать. Ошарашенно постояв какое-то время у мутной воды возле лодки, он спокойно вернулся в лагерь и никто не заметил в последующие дни, чтобы он скорбел или убивался по жене.

Однако с того дня Исакович чувствовал, что у него внутри что-то словно лопнуло — не то в печени, не то в сердце, не то в желудке, им овладела безумная тревога, его мучили резь и боли в теле, судороги, на душе была смута. И дело было не в том, что малые дети остались без матери, это его не очень трогало. Ему было

жаль брата, он был уверен, что смерть Дафины доставила тому немало хлопот. Что брат посягнул на его жену, ему не приходило и в голову.

В первые дни после известия о смерти жены его сводило с ума жуткое ощущение внезапности происшедшего. У него не укладывалось в голове, что жена умерла без него, словно куда-то сгинула, что ее уже нет и, когда он вернется домой, если вообще вернется, он больше никогда ее не увидит. Что они разошлись, расстались, помимо своей воли и желания, без единого звука. Она была там, он — здесь. Как копыта, что отбрасывали грязь, как повозки и колеса, что разбрызгивали воду и за которыми он целыми днями следил, едучи за полком по развезенным и заснеженным дорогам, так и дни, следующие один за другим, разбивали и раскидывали все, чем он дорожил,— собственную его жизнь и жизнь его солдат, принося ему огорчения, обиды, оскорбления и беды.

Бесконечные проволочки с его производством в подполковники довели его до бешенства и отчаяния. Впору было сойти с ума, глядя, как глупо и бездумно австрийцы ведут войну, приказывая то одно, то другое, гоняя полк то туда, то сюда. Он догадывался, что ждет полк с приходом нового императора, и в ужасе, как в кошмарном сне, смотрел на своих солдат, лошадей, повозки, лагерь. К облакам и утренним звездам вознес Исакович память о муках солдат, об их жалких криках, причитаниях под гусли, об их страшном беглом шаге, предсмертном хрипе умирающих, воплях избиваемых палками, лицах повешенных, об экзекуции Секулы и смерти дорогого ему Аркадия. Онемевший и сонный, словно оглохший, он слышал в душе своей громкий плач и внятный шепот. Шептали не только являвшиеся во сне солдаты, но и колеса, одеяла с пятнами крови, разорванные перевязи, мундиры и башмаки, снятые с погибших. А в конце всего зияла пустота. Он видел занесенные снегом села и лагеря, лес на горизонте и мутное небо. Места, где они были, где прошли, теперь будто сгинули. Из переправы через Рейн он помнил только, как лодки сели на мель; из битвы под Цаберном — только улицы.

Арест и обвинительный приговор, вынесенный его старшему офицеру Пишчевичу из Шида, привели его в такую ярость, что у него пошла носом кровь и он чуть

не задохнулся. Впрочем, больше всего его потряс конец войны. Полк отвели и бросили среди снегов и болот. Пусть голодают и трясутся от холода. Восхваление воинских доблестей сербов иссякло. Оставили его в одном гуне и кожухе без денег, без провианта, как пугало на снегу. Невозможно было спать от вороньего карканья. Лошади околевали от стужи.

Что еще? Ходили слухи, будто в ставке командующего собираются отправить их весной по домам. Значит, как и прежде, оставив мертвых в земле и изломанные повозки на грязных дорогах, ни с чем вернуться домой? Подполковник Арсений Вуич говорил, правда, что их пригласят в Вену, но это оказалось пустой болтовней. Дни стояли мглистые, метельные. Складывалось впечатление, что о Славонско-Подунайском полке вообще позабыли. А солдаты сидели по землянкам, не имея даже представления, в какой стране они находятся.

В начале марта пришел приказ возвращаться по заданному маршруту домой. Славонско-Подунайскому полку предстояло идти почти тем же путем, каким он шел сюда. Весь приказ состоял из нескольких слов на немецком языке.

В первые же весенние дни солдаты ринулись через Баварию и Австрию, с радостным ревом разрушая по дороге таможни. Шли за офицерами, распевая песни, готовые обходиться без привалов и озорующие на ночлегах. Когда начались дожди, они пошли босиком, довольные и веселые, требуя идти и по ночам, но путь следования им был дан определенный и приходилось терять много времени, останавливаясь в городках Штирии и Крайны. Они легко переносили и голод и жажду, и теперь их нисколько не огорчало, что их не встречают и не потчуют, как бывало, когда они шли на войну.

В начале июня, который выдался в том году необычайно дождливым, первые подразделения полков Вуича вернулись из Франции. Тут уж точно стали известны имена погибших, и в селах вдоль Савы и Дуная стояли плач и стон. В эти же дни Исакович со своими солдатами переправлялся под Осеком через Драву, таща за собой все повозки и даже челны, чтобы предъявить их и сдать кому следует. В полку было множество больных.

И вот наконец вечером после трудного перехода с не пожелавшими оставаться на чужбине больными и ранеными, они заночевали у осекского парома.

Дождь лил как из ведра. Полк остановился на берегу в густой высокой траве, люди улеглись где попало, прямо в мокреть. Сырые ивняки, озерки, окруженные болотами, речная ширь, взбаламученная дождем,— все говорило о том, что дом близко, и они пытались даже заснуть.

В сумерках заработала водяная мельница.

Исакович устроился на пароме под телегой, зарывшись в солому, реки он не видел, но сырость, особенно когда стемнело, давала о себе знать. Он приклонил голову между колесами со щербатыми ступицами, с которых стекала грязь, чтобы провести там последнюю ночь кампании.

Прежде чем распустить солдат по домам, маркиз Асканио Гваданьи пожелал еще раз сделать полковой смотр.

До Петроварадина оставалось три дня ходу, а за ним жили люди, которые причитали, когда они уходили, и которые будут причитать, когда они придут. Исакович будто уже слышал вопли и рыдания, причитания и плач.

Влево от парома, вниз по течению, темнели могучие вербы, а справа — высокая густая трава, над рекой сгустилась тяжелая непроглядная тьма.

Запахнувшись в кожух и зарывшись в солому, Вук Исакович не мог заснуть и, кто знает в который раз, принялся размышлять о том, как ему быть. Через два-три дня он распустит солдат и останется один и с той же неизбежностью, с какой подошел к краю этой реки, он окажется на краю гибели, во власти безумия.

О военной службе он и думать не хотел. Некоторые из его офицеров открыто заявили, что вернутся в Турцию, откуда пришли их отцы, а многие солдаты, слыша это, говорили, что тоже уйдут туда вместе с семьями и отарами овец. О России теперь помышлял не только он, но и другие. Генерал Стефан Виткович, один из первых, кто уехал туда, вскружил им головы своими письмами.

Так еще раз и в эту последнюю ночь с мукой в душе Вук Исакович решил, что вся его прежняя жизнь — сплошное зло и что надо податься туда, где все навер-

няка будет лучше. Пройдя мысленно службу в австрийских войсках, представив себя и своих солдат на крепостных стенах, в лагерях, сражениях, он еще раз почувствовал, что все это не имело никакого смысла. А при воспоминании о своем и братовом селениях, которые через три дня ему предстояло увидеть среди болот и озер, у него возникло то же чувство бессмысленности и ненужности. Хотя он вовсе не собирался возвращать своих людей назад в Турцию, он ясно сознавал все убожество их горемычной жизни среди воды и болот. Обрадовался он только тому, что сможет продолжить постройку церкви в центре села и тут же решил, приехав домой, заказать икону святого деспота Штиляновича, чтобы она осталась и после его смерти.

Несмотря на все тяготы и муки, с какими они возвращались с войны, зимовку в Верхнем Пфальце, переход через Австрию, дождливую весну, до самого Осека Вук Исакович шел как во сне. Постарев и одряхлев на войне, он привык ходить по чужим краям лениво и рассеянно, засыпая на ходу.

И только утром, когда он проснулся на пароме под Осеком, чтобы подготовить полк к смотру в городе, он оказался лицом к лицу со страшной действительностью — мутной рекой, мокрыми травами и деревьями, водяными мельницами, мостом, крепостными валами и стенами, серым небом.

Дождь перестал. Собираясь, Вук видел, стоя на пароме возле своих лошадей, как готовится к смотру его полк.

И тут всей своей тяжестью на него навалились воспоминания, закружились мысли. Он понял, что их поход был гиблым делом, что воевали они попусту, что жена умерла, оставив его с малыми, больными детьми. О солдатах никто не заботится, их только обманывают, гоняют по свету и убивают, точно скотину. Ставят под знамена, украшают султанами и пересчитывают живых и мертвых, как лошадей или патроны. Мыканье их по полям сражений бессмысленно и никак не влияет на жизнь тех, кто прозябает дома, среди болот. А с ним, Вуком Исаковичем, австрийская империя, просто дурака валяет. Карл Лотарингский насмехался, а Беренклау глумился над ним, на обратном пути комиссар в Печуе объегорил его по всем статьям, а сегодня маркиз Гваданьи будет к нему придираться, хохотать над тем, как

громко отбивает шаг Славонско-Подунайский полк и как выполняет разные команды и приемы.

Вот так, почти уже дома, у осекского моста ярился Вук Исакович. Пытаясь разогнать охватившие его черные мысли, как разгонял своих всполошившихся собак, он заорал во все горло на солдат. Потом в отчаянии вскочил в седло и громко стал отдавать полку команды.

Солдаты кинулись по местам, забили барабаны, выстроились и офицеры. Спустя несколько мгновений Славонско-Подунайский полк шагал по наплавному мосту сомкнутыми рядами, которые, точно две длинные змеи, тщетно старались выровняться.

Еще раз, последний раз, подумал Исакович, он ведет их на смотр! Однако достаточно ему было сесть на лошадь и по-военному подтянуться, как тут же позабылись все неприятности и тяготы армейской службы и снова появилось желание отличиться. Он помчался бешеным галопом вперед, сопровождаемый своими слугами, и так раскачал мост, что пришлось остановиться.

Было еще рано. В сером тихом рассвете видны были укрепления на противоположной стороне реки, узкие окна каземата, пушки, песчаный берег со старыми деревьями и крутые крыши городских домов. Река с низкого моста казалась широкой, зеленовато-желтой и мутной от песка. Далекие острова, темно-зеленые ивняки, камыш — все было тихо и недвижимо. Готовясь бросить по обыкновению ножны, которые ординарцы должны были подобрать, Исакович повернулся лицом к солдатам, судорожно схватился за эфес и стал медленно вытаскивать саблю. Мурашки поползли у него по спине.

Это была минута неописуемого наслаждения, которую он так любил.

На один миг здесь, посреди реки, которая протекала под самыми бревнами, он вдруг почувствовал горечь одиночества, но, подкрутив усы и сдвинув на затылок треуголку, погнал лошадь, стараясь не трястись как бочка.

Полк следовал за ним, громыхая так, словно по мосту неслась конница.

Солдаты тоже знали, что это последний смотр, и, оборванные, немытые, косматые, с отросшими бородами и усищами, торопились изо всех сил. Кто шел прихрамывая на одну ногу, кто без шапки, а кто и босиком.

Босые с удовольствием шлепали по лужам. И все драли глотку что есть мочи.

Офицеры, окружавшие полковое знамя, еще кое-как привели себя в порядок, но солдаты не только не старались прикрыть истрепанные мундиры и разорванные штаны, а нарочно щеголяли своими разбитыми прикладами и грязными по колено ногами в рваных обмотках.

По мокрому песку они вошли через городские ворота под густые акации и двинулись вдоль высоких, поросших травою стен, откуда торчали дула орудий. Шлепая по грязи, они увидели сквозь зелень деревьев, что небо проясняется.

Вук Исакович прислушивался к шагу солдат, к офицерским командам и, трясясь в седле, снова расфуфыренный, с перьями в треуголке и с шелковыми лентами на груди, поднимался по крепостному валу на главную площадь города почти лежа на шее лошади. Там, на большом балконе, забитом офицерами, его ждал маркиз Асканио Гваданьи. Прежде чем распустить солдат, он должен был ему показать живых, доложить о мертвых и воздать им честь и хвалу.

Последний раз, думал Исакович, и все. В России наверняка будет лучше! Хватит мотаться на Рейне, бродить по Дунаю, хватит стычек в Италии, самое время понять, что не видать ему полковничьего чина как своих ушей! Торговать не его дело. Но уж лучше якшаться с торговцами, чем жить как последняя скотина, пусто и бессмысленно! Не будь он солдатом, давно бы где-нибудь осел и жил бы себе тихо и мирно с женой и детьми, и Дафина, наверное, не умерла бы! Но все-таки единственное ремесло, которым он занимался с радостью, было военное!

Впрочем, почему он должен жить тихо и спокойно, к чему его постоянно призывает брат Аранджел, которого он через три дня увидит в Петроварадине? Разве дома ждет его что-то хорошее? Дети? Он не знает, что с ними делать, куда их пристроить! Село? Его он твердо решил передвинуть повыше, в гору, покамест они подготовятся к переселению в Россию, куда он все еще не терял надежды уехать. Болота? Зимние учения в Петроварадине? Может быть, вызов в Вену, которого он так боялся? Или особенно его огорчавшая и заботившая болезнь патриарха, о которой до него дошли слухи?

Он поднимался по валу между стенами, прислушиваясь к звонкому цоканью копыт своего коня и лошадей ординарцев, и вздрогнул, неожиданно очутившись на городской площади и увидя перед собой длинный ряд связанных цепями пушек и строй солдат и офицеров.

На площади, у балкона, под огромными окнами генеральского дома пестрели знамена, плюмажи, шелковые ленты, треуголки, поблескивали кивера и кирасы.

Генерал Гваданьи сердито замахал ему перчаткой, чтобы он начинал церемониальный марш у самого поворота.

Сбитый с панталыку, отбросив мгновенно все свои мысли, намерения и беды, Исакович, всегда робевший перед начальством, осадил коня с такой силой, что тот стал на дыбы и затанцевал как бешеный. Желая поскорее загладить первое неблагоприятное впечатление, он подал полку команду: «Бегом!» — и уже ничего не видел и не слышал. Досточтимый Исакович не рассчитывал, что генерал с войсками ждет его на площади, позабыв об отданных ему накануне распоряжениях, вполне ясных и четких, он смутился как девушка и, словно пьяный, принялся командовать. Он поворачивал полк то направо, то налево, вел его беглым шагом по площади вдоль и поперк, сдвоенными рядами, по шести, показывал его спереди и сзади, с ружьями наперевес и за спиной, с ножами и пистолетами, движущимся по-пластунски и, наконец, пришпорив коня, проскакал вдоль рядов, размахивая саблей, поднял его у балкона на дыбы и, отдавая честь, подобострастно заорал:

— Виват графу Гваданьи! Виват графу Гваданьи!

А тем временем разукрашенный перьями и шелком маркиз Гваданьи, глядя, как Исакович неуклюже суетится, не соблюдает дистанции и не знает команд, ломал от отчаяния руки.

Впрочем, к чему рассказывать, как оскандалился в то утро Славонско-Подунайский полк?

Но если принять во внимание, что офицеры все же сумели остановить полк и собрать чуть ли не налетевших на пушки запыхавшихся солдат, если принять

во внимание, что офицеры Исаковича вообще показали себя отлично, а солдаты ударяли ногами о землю точно мотыгами, то можно сказать, что все кончилось благополучно. Даже генерал Гваданьи во многом изменил свое мнение, узнав о потерях полка.

Однако Исаковичу было бы легче, если бы его заковали в кандалы. На генеральские окрики он не отвечал. Когда его привели на балкон, он не рассыпался в извинениях. На обеде, в парадном зале, он изрядно подвыпил в компании кирасир, а к вечеру заснул в гостиной генерала.

Крепостные стены, длинная гряда укреплений, земляных валов, колокольня, высокие кровли домов, огромный желтый балкон и сердитое генеральское лицо Исакович видел как в бреду.

Весь этот день, занятый парадом, муштрой, он дрожал от ощущения близости родной земли, хижины, в которой провел с женой последнюю ночь. То, что он живым возвращается туда, куда уже не надеялся вернуться, наполняло его душу волнующим трепетом. Воскресали в памяти каждый уголок, каждая излучина реки, кручи, вспоминались прежние заботы, дела. В мозгу, точно при свете молнии, возникали призрачные лица, милые и дорогие, чужие и мерзкие. И чем ближе он был к родной земле, тем сильнее мучила его тревога за сладостное православие. И еще мысли об ожидающей его могиле жены. Так хотелось избежать того, что ждет его дома, этих криков и причитаний, что хоть не возвращайся. Да и глупо было возвращаться.

Около полуночи Исакович вышел из дома маркиза Гваданьи после прощального банкета, и, как обычно, у него начались колики. Он совсем раскис.

А ненастная ночь, безлюдная площадь, тусклые фонари, мрачные тени стен и укреплений доконали его окончательно. Поскользнувшись на ступеньках, он едва удержался, чтобы не упасть, но от резкого движения боль стала невыносимой.

Подбежавший капитан Антонович поддержал его под руку. Желая сказать ему приятное, капитан напомнил распоряжение генерала заказать на казенный счет в Вене его портрет, как память о войне, и повесить его под портретом Беренклау. На это Исакович, спокойно поглядев на Антоновича, заметил, что увековечения достойны лишь лики святых, а ему это не пристало.

Он, как уже говорил, закажет в Вене на свои деньги, если ничего не помешает, лик преподобного деспота Штиляновича. Пусть этот образ останется после его смерти.

На другой день, направляясь из Осека домой, Исакович чувствовал себя таким старым и немощным, что просто жить не хотелось.

Но сбежавшаяся к мосту толпа зевак взирала на него с глубоким почтением, которое вызывает мужественная, героическая старость.

Тяжело сидя на огромном жеребце, сохраняющем полное спокойствие в страшном грохоте барабанов, он впервые после долгой кампании мог наконец небрежно вытянуть свои огромные ножищи. Прислушиваясь к мерному шагу солдат, которые, с разделанными тушами овец на плечах, горланили песни о взятии Белграда, к смеху офицеров, которые гарцевали с саблями наголо, дурачились, переворачивали задом наперед треуголки, скрещивали на седлах ноги, покуривали и перемигивались с молоденькими женщинами в толпе, Вук Исакович, скрывая отчаяние, снова ехал весь в серебре, спокойный, чистый, с ясным, устремленным вдаль взглядом и с неопределенной улыбкой на устах.

Последний раз в жизни он был красив.

Он ехал между стенами, под огромными сводами ворот и по мосту, глядя на широкую реку, окаймленную зеленым ивняком, на высокое небо; сабля в его руке бессильно висела.

И с этим было покончено. Вся усталость последних, бессонных, лихорадочно проведенных в сборах и переходах ночей, казалось, навалилась ему на спину. Влажные запахи топких берегов, верб, низкие, озаренные солнцем облака, густой, как дым, туман с реки теснили грудь и усыпляли. Казалось, все беды остались позади, а перед ним, как и при отъезде, раскрылись необъятные дали. Исакович был спокоен. Он рассчитывал послезавтра еще до темноты добраться до Варадина, где он должен распустить полк, после чего, согласно приказу, явиться в распоряжение барона Энгельсгофена, коменданта Темишвара.

Итак, досточтимый Вук Исакович возвращался с войны весь во власти меланхолии, выражавшейся в упорном старческом молчании, присущем и его отцу,

которого он поминал при всех важных случаях в своих речах.

Вуку Исаковичу надоели вечные переселения с места на место и неутихавшее ни в нем, ни в людях, которых он вел, беспокойство. Он понимал, что, если он уйдет в отставку, ему придется опять скитаться с детьми и братом и торговать по городам. А если он останется в армии, его беспрестанно будут перебрасывать с места на место, чтоб он усмирял переселенцев.

Он знал, что отныне и дома его ждут одни неприятности. Спокойный и уверенный в себе, он хорошо представлял себе годы, которые ему еще осталось прожить, возможные события и то, как люди будут себя при этом вести.

Сонный и отяжелевший, уронив голову на грудь, ехал он по бревнам и поперечинам моста в сторону зеленых лугов. И чем светлее и теплей становилось небо, тем хуже он себя чувствовал. Ритмичное покачивание в седле совсем его разморило. Того, что он оставил позади, будто и не было, а смерть жены, близкое свидание с братом и плач малых ребят еще раз затянула густая мгла. Ординарцы, офицеры, солдаты с их криками остались позади, и он ощутил полное одиночество.

Едучи вдоль песчаного берега, он раздумывал о распределении офицеров — кое-кто просил перевести их в другие полки, о чем следовало ходатайствовать перед генералом. Эти мысли совсем его усыпляли.

«Что ж,— подумал он,— достаточно уехать, и все, что оставляешь, забывается, будто ты ничего не оставлял». И он устремил взгляд на далекие горы, из-за которых вновь выкатилось солнце. А когда заиграло серебро его мундира, усталый и опустошенный, он вдруг почувствовал себя легким, будто освобожденным от тела. И ему представилось, будто он не едет на лошади, а согретый и озаренный солнцем, легко парит в невидимой струе воздуха, бьющей ему в спину.

И Вук Исакович погнал коня рысью — в пустоту.

Потом, словно торопясь сделать это прежде, чем он снова вернется к брату Аранджелу, в свое село, к своим заботам, Вук Исакович еще раз отдался мыслям о России. Он и сейчас был уверен в том, что переселится с детьми и слугами в Россию, и вот теперь спешил пораз-

мыслить на свободе о том, что для него, обремененного семьей, это единственный способ спастись от всего того безмерно убогого, низкого и горького, что ждало его в ближайшие годы дома. Уехать, увести с собой своих людей и зажить где-нибудь легко и приятно! Это казалось Вуку Исаковичу таким осуществимым! Должно же где-то быть что-то светлое, большое,— вот и надо туда уехать.

Россия представлялась ему каким-то неземным царством. Он слыхал, будто некоторые из переселенцев разбогатели там и вышли в люди. Будто они тотчас получили повышение в чине. Да и живут и воюют там как большие господа. Будто церкви там чудесные и сладостное православие. А здесь его ждет безысходное горе и нищета, вселяющие в душу безумное отчаяние. Здесь его ждет беспросветная пустота и ничтожество, которые он наконец увидел так ясно глазами стареющего человека.

Что видел он в своей прошлой жизни светлого, думал Исакович. Лишь чистые звезды, серебристые лесные дорожки да зеленые травы, над которыми спускался с гор, сейчас уже таких близких, апрельский туман. Испытал он это в первые дни брака с Дафиной, к детям и могиле которой он сейчас едет. А в будущем его ждала лишь необъятная, снегом занесенная Россия, куда он собирался переселиться, где, думалось ему, он заживет легче, отдохнет и успокоится.

Суетна и бренна была его прошедшая жизнь. Ни он, ни его товарищи ничего не добились и на этой войне, а переселения с места на место все продолжаются. Однако где-то в глубине души он чувствовал, что так, попусту, его жизнь пройти не может, ему чудился голос, обещавший что-то необыкновенное в конце.

Стоя на краю глубокой пропасти, в разверзшейся бездне которой он видел свою жизнь, детей, смерть жены, судьбу брата, возвращение солдат, плач и стенания встречающих, он понял, что жизнь прошла и изменить он уже ничего не может, в том числе и жалкую участь тех, кто пошел с ним и сейчас возвращается в свои болота и топи.

И все-таки он чувствовал, что не рожден для этой невыразимо омерзительной скуки и пустоты, вызывавшей те же мысли, что одолевали его под Страсбургом.

Где-то должна быть иная, более легкая жизнь, наполненная светлыми событиями, напоминавшими чистые холодные, приятные и пенистые струи. Поэтому надо отсюда уехать и поселиться среди чего-то чистого и прозрачного, как гладь глубокого горного озера. Жить свободно, без этой страшной сумятицы, следуя тому уделу, для которого ты рожден. Идти к чему-то необыкновеному и, он верил, всеобъемлющему, как небо.

Петроварадин снова встретил Исаковича дождем. Он хлестал по крепостным стенам, по воде, по мосту, по деревьям, так что полк прибыл весь мокрый и забрызганный грязью.

Женщины и старики встретили их хлебом, ракией и сухой одеждой, плачем и причитаниями по погибшим. Таская солому, расставляя шатры посреди улиц и у крепостных стен, солдаты, напившись, пели, целовались и обнимались. По городу ходили слухи, что полк, как и все прочие сербские полки, будет расформирован, солдаты и офицеры, как и все крестьяне, бродяги и челядинцы, будут распределены по императорским полкам. Недовольные же могут собирать пожитки и уходить на все четыре стороны.

Рассчитывая, что в Петроварадине его ждет брат, Вук Исакович сердито вертелся на коне, поглядывая по сторонам, пока ему не сообщили, что слуги Аранджела ждут его возле крепости у моста с большой баркой, на которой его отвезут домой.

Измученный причитаниями женщин, перекличками, подсчетом и составлением описи оружия, он спустился вечером к реке, не ожидая ничего хорошего и вспоминая, как тоже на реке, там, на чужбине, однажды вечером ему принесли весть о смерти жены.

У моста он наткнулся на своих слуг, собравшихся вокруг промокшего насквозь, закутанного в сермягу человека, который лежал на бревне понтонного моста. В вечерних сумерках возле окутанных темнотой стен крепости и быков моста, Вук Исакович с трудом узнал подходивших к нему слуг.

Мрак спускался на черную воду, моросил густой обложной дождь. Закутанный человек поднялся из темноты и, хромая, подошел к нему. Это был Ананий, слуга брата.

Он передал ему, что брат встретить его не мог, по-

тому что переселился в Буду. Они, мол, увидятся позднее, время терпит. Дети живы-здоровы, дома, Аранджел оставил ему и денег. Над могилой госпожи Дафины сделан голубец.

Церковь строится.

Покойный Аркадий ходит ночами по селу и не дает покоя жене. Многие уже видели, как он ковыляет, напевая себе что-то под нос.

На скотину напал мор, а стена его дома, что глядит на гору, дала трещину и вот-вот рухнет.

Когда на другой день под вечер, посетив прежде всего могилу Дафины, Исакович прибыл со слугами домой, женщины подняли по убитым такой вой, что он убежал и заперся у себя.

Дождь лил и в тот вечер.

Все было таким же, как в день отъезда. Так же курились затянутые туманом ивняки, все ниже спускались тучи. Кругом была непроглядная моросящая темь. Не переменился и такой знакомый собачий брех, время от времени оглашающий ночь. И снова он слышал где-то поблизости, точно из-под земли, удар копыт.

Смертельно усталый, молча, словно онемев, Вук лежал, широко раскрыв глаза и закинув назад голову, и смотрел, как Ананий, его жена и дочери вносят в полумраке солому и ушаты с горячей водой.

Потом все вышли, кроме младшей дочери Анания; полногрудая, толстозадая девушка, то и дело нагибалась, вертелась вокруг него.

Погружаясь, все еще одетый, в тяжелое забытье, Вук Исакович почувствовал, что он дома, среди болот, у реки, которая течет под кручей, наполняя шумом ночь. Среди разлившейся по яминам и оврагам воды. Над непроглядной чащей ивняка и верболоза.

Когда он наконец приказал постелить себе постель, Ананий со всей семьей сбежались расстилать перины, бараньи шкуры и шелковое белье. И снова дольше всех задержалась младшая дочь.

При слабом свете ночника Исакович увидал ее голые ноги, белую кожу под коленями и, старый, изнемогающий от усталости, почти мертвый, вдруг почувствовал, как весь наливается силой.

Пораженный, он, уже раздетый, подошел к двери, быстро отворил ее и услышал скрип журавля.

Дождь все еще лил в тишине перед домом, во мраке на выгоне, под шелковицами, у конюшен, на другом конце поляны. И Вук Исакович снова ощутил безграничную ширь плавней, болот и камышей.

Громко чихнув несколько раз подряд и заплясав на земле так, что все вокруг затряслось, он вернулся в темноту к жаркому очагу и растянулся на постели.

А когда опять, вихляя полными бедрами, к постели подошла грудастая девка, он только хрипло кашлянул от изумления.

Вскинувшись, он велел ей уйти. Она тоже представилась ему тем дождем, что орошает глубоко прорастающее в земле семя и гонит кровь к голове, к одной сверкающей звездной точке мозга, последней, оставшейся чистой в мыслях, незыблемой и непреходящей.

Засуетившись и громыхая с деланно важным видом саблей, серебряным позументом и пистолетами, лежавшими у изголовья, чтобы не смотреть на нее, такую лакомую, он смущенно твердил про себя, что завтра надо пораньше встать, пойти к патриарху — узнать новости; потом надо готовиться к поездке в Вену — просить, чтобы не переселяли солдат и не отнимали у них оружия; позаботиться о детях; съездить в Буду, к брату; в Темишвар — к генералу; купить лошадей, телеги; построить в селе кузницу; добиться перемещения капитана Антоновича; написать подробный рапорт о возвращении Славонско-Подунайского полка, а главное, главное — подготовить план и разведать, отыскать возможность отъезда в Россию, куда он все-таки надеялся переселиться.

Дождь тем временем продолжал лить, а народ, все еще причитая и плача, стоял у скотного двора под шелковицами.

Вот так в начале лета тысяча семьсот сорок пятого года Вук Исакович вернулся с войны.

И пока в голове у него, как в беспредельном голубом круге, непрестанно роились мысли об отъезде — об отъезде в далекую Россию, о которой, отчаявшись, в полном изнеможении он так мечтал, в теле его, когда

он впервые снова уснул под родной кровлей, замерцало, словно звезда, последнее семечко былой молодости. Оно задерживало его, отчаявшегося, замолкшего, отупевшего от мук и горя, здесь, среди этих вод и болот, курившихся над землей, которую он любовно звал Новой Сербией. Семя, до старости сохранившее в себе силу и способность прорасти и дать жизнь новой поросли, которая, поднявшись над временем и небесами, отразится в водах, что сливаются и соединяются тут, на стыке Туретчины и Неметчины, отразится и воспарит над ними подобно мосту.


КНИГА
вторая
Главы
I–XI

I

Но все это лишь обман зрения

Когда-то в центре Европы было расположено королевство, называвшееся Венгрией.

По его землям текли богатые рыбой реки, вдоль них простирались неоглядные зеленые равнины. Летом они превращались в знойные пустыни, зимой — в занесенное снегом ледовое море. И люди слушали, как по ночам завывают волки.

Переселившиеся из Азии и осевшие на этой равнине, угры рассказывали, будто всадник может скакать целыми днями на восток и не встретить ни единой живой души. Их землю с трех сторон венчают высокие горные цепи, образуя лишь на востоке нечто вроде ворот. А за ними опять тянется бесконечная равнина.

Редко-редко мелькнет одинокое дерево, акация или верба, да проплывут всадники, чтобы тут же бесследно исчезнуть. А порой путник увидит на горизонте какие-то башни или города, но и они рассеиваются как дым. А летом вдруг возникают шелковые шатры, пальмы, но все это лишь обман зрения, фата-моргана, игра света и облаков. Вскоре небо вновь опускает на землю свою голубую завесу, и вот равнина опять пустынна.

В том королевстве до самого конца XVIII столетия часто бушевали войны. Турки пробились до самой Вены, но затем были отогнаны назад к Белграду, а вдоль их пути белели черепа и кости. Последними отступали к Вене расцияне, они же первыми наступали на Бел-

град. Расцияне составляли так называемую венгерскую конницу, которой командовали австрийские генералы; кавалеристы в больших треуголках с пышным страусовым оперением стремительно мчались на низкорослых, но быстрых и выносливых лошадях.

Когда отгремели войны, люди стали селиться на сожженных турецких заставах, у паромов вдоль рек и вокруг Темишвара — главного города на юге королевства, заново отстроенного из камня по плану французских архитекторов в форме звезды.

Расцияне не признавали никакой власти, кроме власти австрийского императора; однако весной 1752 года, когда начинается наша история, они восстали и против него. И пожелали переселиться из Австрии в Россию.

Город Темишвар, по-румынски Тимишоара, хоть и назывался он градом на Тимише, стоял на реке Беге, вернее на болотах возле нее; река была пущена в городские рвы, и по ночам там квакали лягушки. Таким образом, от реки сохранилось лишь старое испанское название да разросшийся тальник.

Темишвар был человеческим, а не божьим творением, хотя городские укрепления и имели форму звезд. Укрепления эти были замечательны тем, что при осаде города неприятель попадал под перекрестный огонь пушек. Каждая из этих каменных звезд представляла собою самостоятельный мирок, а все вместе они образовывали некий остров.

Перед крепостными воротами простирались зеленые луга: тут офицеры обучали солдат. В стены были вмурованы огромные пушки, и все войны с турками начинались с рыка этих пушек. Но сейчас царил мир, и над равниной плыл лишь перезвон колоколов Темишвара.

Зажатый укреплениями город был тесен, слишком мало места оставалось для домов. На этом тесном пространстве ордены иезуитов и капуцинов воздвигли свои церкви с барочными фасадами, а военные власти — здание комендатуры. К комендатуре прилепились несколько трактиров, школа и театр. Возле церкви стоял дом коменданта крепости. Фельдмаршал-лейтенант барон фон Энгельсгофен, не мудрствуя лукаво, поселился в самой большой казарме на крохотной ба-

зарной площади, рядом с церковью капуцинов: тут Темишвар чем-то напоминал Вену в миниатюре. Благодаря разгульной жизни гарнизона, город получил название «Малая Вена».

И хотя фельдмаршал-лейтенант Франц Карл Леопольд барон фон Энгельсгофен был уже очень стар, венский двор во время последних войн с турками доверял ему всецело. Барон предпочитал Темишвару Петроварадин, но вынужден был переселиться в Темишвар, чтобы оставаться поближе к солдатам-расциянам, которые то и дело волновались и причиняли властям немало хлопот. Живя в крепости над военной тюрьмой, Энгельсгофен мог непосредственно наблюдать за приходом и уходом полков и за стоявшей у ворот стражей. Его окна были выше украшенного крестами и ангелами фасада монастыря капуцинов, и барон мог видеть плац, где гусары проходили школу верховой езды. У фельдмаршал-лейтенанта был свой конек — санитария: побелка и карболка. Он заставил побелить и комендатуру — черными остались только двуглавые орлы Габсбургов.

С высоты четвертого этажа старый Энгельсгофен мог видеть все. Он велел запереть залы и гостиные и устроился в двух комнатах под самой крышей. Отсюда он мог видеть даже бывший турецкий форпост под названием Махала, где сейчас поселились расцияне. Барон питал слабость к этим солдатам.

Урочище Махала, где жили их семьи, не походило на обычное село, а тем более на город. Это было брошенное турками бедное грязное селенье среди болот, со сгоревшим палисадом, разрушенными башнями и стенами. Хороша в Махале была только аллея огромных, разросшихся акаций. Они закрывали своей зеленью караульни, хижины расциян и крытые камышом кровли их землянок. И хотя нищета в Махале была ужасающая, в селе даже по ночам никогда не умолкали песни.

Акация в том году цвела так буйно, что жалкие глинобитные домишки, казалось, залило душистым дождем белых цветов. И если расцияне кутались в сермяги да в рядна, то урочище было покрыто белым ковром душистых цветов, точно кружевом райской кущи.

Камыш, шувар и болота цветущие акации превращали как бы в сверкающую звездными блестками

небесную твердь, в усеянный звездами Млечный Путь, который народ называл в здешних местах Кумовой Соломой. Расцияне в ту пору так любили все светлое, молодое, новое, что у них даже возник обычай, глядя в новолуние на молодой месяц, подпрыгивать, приплясывать и весело напевать:

— Здравствуй, месяц молодой, здравствуй, месяц дорогой!

И вот однажды весной 1752 года, миновав Махалу, в ворота крепости, где стояли на часах пушкари, въехала черная дорожная карета.

В карете этой прибыл из Вены человек, которому императорский двор приказал навести среди расциян Темишвара порядок. К этому времени фельдмаршал-лейтенант барон фон Энгельсгофен начал утрачивать доверие двора, которым он до тех пор пользовался. Двор решил отменить данный расциянам статут, ибо они стали, как говорили в Вене, «arma in arma» [1].

Двор решил превратить расциян, которые дотоле были лишь солдатами императора, в крестьян королевской венгерской знати. Но это было легче решить, чем сделать.

Энгельсгофен был скептик и считал, что из солдата хороший хлебопашец не получится. А еще более сомневался он в том, что расцияне согласятся стать крестьянами-испольщиками. Ему казалось опасным разоружить и расселить по комитатам Венгрии расциянские полки, приведенные с полей сражений в Темишвар. Он, в сущности, отказывался раскассировать при помощи профосов бывшие подунайские сербские полки и силой распределить расциянских офицеров по регулярным частям, хотя в рескрипте, который он получил, предписывалось неженатых солдат расселить, а тех офицеров, которые вздумают возмущаться, строго наказать и нескольких даже в назидание повесить.

Энгельсгофен, занимаясь побелкой домов, конюшен и нужников, отвечал, что так людьми не управляют, что драконовские меры лишь заставят перейти этих верных воинов императора под власть русской императрицы, и обращал внимание Вены на то, что гене-

[1] армией в армии *(лат.)*.

ралу Шевичу, перешедшему из австрийской армии в русскую, уже удалось переманить нескольких офицеров, своих родичей, и просьбы об отставке продолжаются. Однако в Вене Энгельсгофена уже не слушали.

Фельдмаршал-лейтенанту ставили в упрек, что он не сумел заставить подунайские полки надеть вновь введеную форму, запретить расциянам носить покойников через весь город на кладбище в открытых гробах, распланировать село.

Поэтому вышеупомянутая черная карета из Вены с обер-кригскомиссаром Гарсули и очутилась рано поутру у подъезда Темишварской комендатуры.

Тут-то и начинается наш рассказ.

Это была небольшая, черная дорожная карета, попросту говоря обитый изнутри черным бархатом сундук, висевший на толстых ремнях посреди четырех высоких колес. Но сундук этот принес многим людям несчастье.

Остановившись у комендатуры перед двумя старыми пушками и пирамидами из ядер, Гарсули прежде всего направился в церковь капуцинов к заутрене. После службы он вышел, улыбаясь, с довольным видом, наступая на пятки и раскорячив ноги; этому низенькому человеку с брюшком было лет пятьдесят, на ходу он высоко поднимал носки своих великолепных венецианских штиблет и плоские стопы, словно выдергивал гвозди. Тростью, которую он перекладывал то в одну, то в другую руку, он сперва елозил по ступеньке и только потом, после некоторого колебания, ставил ногу. Ноги у него были короткие, с распухшими икрами.

Гарсули был в черных коротких бархатных панталонах и шелковых чулках. Казалось, делая шаг вперед, он тут же отступает на два назад; улыбаясь встречным, он размахивал руками, как гребец веслами с острова Корфу. Фалды черного фрака развевались у него за спиной. В красивых и правильных чертах лица этого человека проглядывало что-то детское; большие черные глаза на бледном лице казались еще чернее и были словно подернуты дымкой; голову его украшал серебристый парик; он то и дело подносил лорнет к носу, как будто седлал и расседлывал его; каждого человека он оглядывал с ног до головы.

Энгельсгофену сообщили о приезде Гарсули, но барон не счел нужным выйти к нему навстречу и поручил провести обер-кригскомиссара к себе, на четвертый этаж. Вот почему на лице Гарсули можно было ясно прочесть гнев.

Энгельсгофен жил один-одинешенек, с денщиком-гусаром, на четвертом этаже комендатуры в тесной беленой комнатушке с альковом, где стояли только кровать да кресло; поэтому для гостя принесли простой стул. По мере того, как Гарсули поднимался по лестнице, лицо его все больше меняло окраску: сперва он покраснел, как рак, а затем стал фиолетово-синим, как индюк.

Фельдмаршал-лейтенант встретил обер-кригскомиссара сидя в кресле; он был без мундира, в простой швабской рубашке и держал в зубах длинную австрийскую трубку. Сославшись на старость и больные ноги и пробормотав какое-то извинение, он предложил гостю трехногий стул с таким видом, будто принимал своего сапожника.

Гарсули скользнул взглядом по комнате с тесным альковом и кроватью, посмотрел в окно, за которым виднелись укрепления и уходившее вдаль зеленое поле ипподрома. В комнате, кроме кавалерийской сабли, нескольких ржавых ключей да пары огромных охотничьих сапог у постели, ничего не было. По углам на толстых оштукатуренных стенах свили себе гнезда пауки. Гарсули сердито подумал: «Нету даже распятия нашего господа Иисуса Христа!»

Гарсули был грек с острова Корфу, но оставался верным сыном единой заступницы и спасительницы — римской церкви.

После такого приема Гарсули решил тоже не церемониться и, точно обухом по голове, ошарашил фельдмаршал-лейтенанта, вручив ему бумагу. То был строгий выговор верховных властей, и Гарсули знал об этом. Выговор, вынесенный «ex Consilio Bellico» [1], был тяжелым ударом для старого воина, одним из тех ударов, которые сокращают жизнь человека, которых в старости уже не ждут, не понимают и не заслуживают.

Прочитав послание, Энгельсгофен побледнел и вы-

---

[1] по решению Военного совета *(лат.)*.

ронил бумагу из рук, да так и остался сидеть с опущенной головой и дрожащими руками. По сути дела, ему приказывали передать власть над Темишваром Гарсули. На рескрипте с большими черными печатями красовалась каллиграфическая подпись графа Иосифа фон Хараха, боевого друга Энгельсгофена, что особенно тяжело подействовало на старика. «И Харах это подписал»,— повторял про себя фельдмаршал-лейтенант, окидывая Гарсули презрительным взглядом.

Тот сделал вид, будто знать ничего не знает и ведать не ведает, но Энгельсгофен хорошо знал нрав этого выбившегося из низов придворного, и он понял, что дело тут не обошлось без вмешательства грека. А Гарсули тем временем принялся распространяться о чрезвычайной важности своего приезда в Темишвар. О том, что, дескать, миссия его известна даже самой императрице. И это, мол, ее желание — указать народу, занявшему столь обширную территорию венгерского королевства, его место.

— Расцияне совсем обнаглели,—говорил он,— и вовсе не заслуживают вашей благосклонности, фельдмаршал-лейтенант. Даже трудно себе представить, что они задумали! Стать государством в государстве! Status in stato! В Вене уже точно известно, что с турецкими войнами покончено навсегда. И этот сброд нам больше не понадобится. Пусть же отправляется туда, откуда пришел. Во всяком случае,— продолжал он,— в Вене решено расселить расциян по всей территории Венгрии, подчинить их камеральным законам государства. Пусть обрабатывают землю! Поселим их в деревнях, построим дома в нитку, по линейке землемера, заставим принять католическую веру. Офицеров распределим по регулярным полкам. Солдат превратим в крестьян, в землепашцев, как хорватов и венгров. В империи не может быть исключений, ваше высокопревосходительство. Всю эту часть Европы следует европеизировать. И потому повторяю: администрация тут должна быть австрийской, и все распоряжения будут поступать только из Вены. На этом основании я хочу, первым делом, посетить офицерские гауптвахты и побеседовать с арестованными. Особенно же с находящимися под следствием братьями Исаковичами и капитаном Пишчевичем, которым втемяшилось ехать в Россию.

Их имена уже внесены в список генерала Шевича, и они, вступив в армию ее императорского величества Елисаветы Петровны, стали, так сказать, дезертирами. Из вашей докладной записки я с ужасом убедился, что в список Шевича внесены целые кланы офицеров бывшего Подунайского полка ландмилиции. В Вене считают, что тот, кто посоветовал дать этим офицерам отставку, сошел с ума. Я хочу самолично повидать этих офицеров, я сам с ними поговорю. И после этого разговора у них наверняка пропадет охота переселяться в Россию. Кроме того, пусть завтра же, на экзерцисплаце эта ландмилиция пройдет парадным маршем. И еще я хочу посмотреть Махалу, где возникли беспорядки.

Пока Гарсули разглагольствовал, Энгельсгофен еще глубже уселся в своем кресле. В последние дни он както отстранился от жизни Темишвара. И даже не ходил в театр. Не хотел он вмешиваться и в дела Гарсули. Уставясь на него холодным взглядом своих голубых глаз, фельдмаршал-лейтенант молчал, окутанный густым облаком табачного дыма.

Энгельсгофен был более шести футов ростом. Когда он сидел в седле, его ступни свисали ниже колен лошади. А когда он, развалившись в кресле, вытягивал ноги, нужно было далеко обходить его. И голова у фельдмаршал-лейтенанта была огромная, как у коня.

Пока грек трещал как сорока, старый барон думал про себя: «Нет, никакой он не обер-кригскомиссар, а просто мелкая канцелярская крыса. Отец его наверняка был вечно голоден, потому и сам Гарсули — такой завистник. Готовился он, верно, стать попом, вот и говорит в нос, и в армию попал случайно, а в придворные пролез, чтобы омрачить мне последние дни».

Молчание фельдмаршал-лейтенанта приводило грека в бешенство, и он вдруг принялся орать, как орал на своих писарей. Потом замахнулся тростью, будто хотел огреть ею старика, но тут же положил ее на пол, между собой, и Энгельсгофеном, словно делил мир надвое. Немного успокоившись, он уже гораздо тише, вкрадчиво, словно венецианский скопец, сказал:

— Перво-наперво следует воспрепятствовать сербам служить целыми братствами в одном полку и селиться родами в одном селе. Расциян связывают братства, роды, и в этом таится опасность. Они как овцы идут друг за дружкой повсюду. Сейчас им взбрело в го-

лову переселиться в Россию. Кто знает, что они придумают завтра.

Тем временем Энгельсгофен позвал дремавшего перед дверью гусара, приказал ему спуститься в канцелярию и сказать, что обер-кригскомиссар желает посетить гауптвахту.

Потом он без посторонней помощи стал одеваться и причесываться, ни на минуту не выпуская изо рта трубку.

Гарсули ехидно кашлянул и достал щепотку табака из табакерки, которую держал словно флейту.

— Нехорошо,— сказал он,— что вы, фельдмаршал-лейтенант, держите этих офицеров под домашним арестом. Считаю, что их следовало бы послать к профосу. И при надобности заковать в кандалы.

Энгельсгофен улыбнулся при мысли о том, что греку и не снится, что он по вечерам захаживает к этим офицерам сыграть партию в фараон. А сколько было бы разговоров, если бы грек знал, что им даже разрешено вместе с женами посещать театр.

— Я просмотрел,— продолжал Гарсули,— бумаги, сохранившиеся у полковника Вука, или Волкана, иначе говоря, Вольфганга Исаковича от прошлой войны. По сути дела, это настоящая летопись бунтов и предательств. Исаковичей следовало перевешать еще во время войны с французами. Кстати, пусть себе едут в Россию. Здесь, слава богу, останется простой темный народ, с ним будет легче. Я намерен — таково, кстати, и желание государыни — навести в этой части королевства порядок. Будем рыть каналы по системе графа Мерси. Согласно французским прожектам. Здравый рассудок не мирится с тем, что осуществлению созданных по законам логики планов может воспрепятствовать орда косматых завывающих сербов.

— Такова была божья воля,— повысил голос Гарсули,— чтобы турок изгнали из Европы, а вслед за ними, если потребуется, мы изгоним и расциян. Здесь следует наладить жизнь согласно законам разума и уставам церкви. И особое внимание нужно обратить на осушение болот и топей. А всю эту подунайскую ландмилицию, которая еще живет в землянках и курных избах вместе со своими женами, овцами и свиньями, надо отправить на камеральные территории. Я повторяю: н а д о. Ей придется привыкнуть к камеральным зако-

нам и научиться их исполнять. Равно, как и законы комитата. Похоронные процессии с незаколоченными гробами будут запрещены. Это надо прекратить. Н а д о.

Энгельсгофен молча одевался и думал: «Итак, мы обзавелись попугаем. Жаль, очень жаль, что империя из-за подобных людей теряет многих хороших солдат. А что еще остается делать этим расциянам, коли на то пошло, как не переселиться, куда глаза глядят? Если бы меня спросили, я посоветовал бы не нарушать обряд их похорон. Они пришли в империю, чтобы воевать, а не для того, чтобы стать испольщиками в комитатах и помещичьих владениях. Не следует обижать солдата. Его ремесло уже и само по себе изрядное несчастье. Солдат и без того мученик, не такой человек, как прочие. Если ему прикажут, он отрубит голову и родному отцу, хотя такой приказ и достоин презрения. Расциянам нравится носить красные мундиры — и на здоровье. Я разрешил бы надевать их и на парадах. Если они станут хоронить своих мертвецов даже голыми, кому это мешает? Да я бы разрешил им это, живи они даже в Вене. И что из того, что они несут своих покойников через весь город и целуют их? Они ведь не требуют этого от венцев. Впрочем, когда дело доходит до смерти, то всякий человек умирает как животное. Все эти разговоры о загробной жизни — одна лишь болтовня, годная на то, чтобы пугать детей. Или чтобы дать повод бабам поплакать. Люди размножаются как мыши или голуби, их всюду хватает. Если Харах задумал раскассировать во что бы то ни стало подунайские полки, он мог бы это сделать тотчас после войны, а не сейчас. Люди больны, истомились в ожидании наград и жалования, совсем обнищали. Зачем понадобилось Вене присылать сюда этого скопца, чтобы он объяснил им, как хорошо, мол, переселиться из Австрии в камеральную страну, где всех стригут под одну гребенку? А что касается Махалы, то я и смотреть не желаю на распланированное по линейке село, с вытянутыми в ниточку улицами. Глуп этот граф Мерси, глупы и землемеры, глуп и капуцин, думающий превратить человека в ангела. Ведь человек, в сущности, просто задница».

— Задница! — буркнул он вполголоса. Гарсули услышал и испуганно посмотрел на фельдмаршал-лейтенанта.

А тот, закончив одеваться, со старческой любезностью указал на дверь, пропустил обер-кригскомиссара вперед и учтиво пробормотал:

— Пожалуйста! Bitte sehr, Wohlgeborener, Sondergeliebter und Geehrter Herr! [1]

«Какой мужик,— начал мысленно грек свой монолог.— Потому-то он и любит расциян, потому-то и защищает их. Он и сам им под стать. Настоящий мужлан с Рейна: уж дали бы лучше этому простаку швабу в руки мотыгу вместо Темишвара! По той же причине он вечно и возражает! Не отвечает на наши рескрипты. А юг империи в опасности... Какие у него ручищи и ножищи. Мужик, да и только!»

Они бок о бок спускались по лестнице; Энгельсгофен прижал грека к самой стене, и тот обтирал ее своими бархатными штанами и черным фраком до самого низа. А со стороны могло показаться, будто огромный фельдмаршал-лейтенант подхватил какую-то молодуху под руку, и та едва касается ногами земли. Гарсули весь перемазался мелом и пах карболкой.

«Экий мужичище! А носище! Как у лошади. И волосы торчат из ноздрей, как конская щетина».

Здание, в котором жил фельдмаршал-лейтенант барон фон Энгельсгофен, было повернуто к городу лишь одной стороной: своим великолепным фасадом в стиле барокко, словно перевезенным сюда из Вены. Зато другая его сторона, с сохранившимся еще от турецких времен крылом и зарешеченными окнами, была необычайно мрачна. В этом крыле, куда свет проникал лишь сквозь бойницы и где старинные глиняные печи топили снаружи, помещалась офицерская гауптвахта — несколько комнат с изъеденными крысами полами. Вход туда вел через маленький, обнесенный стенами двор позади церкви, в этом дворе все еще стояли пришедшие в негодность старые пушки. Отсюда можно было, так же как и из окон Энгельсгофена, следить за происходящими на плацу учениями. Когда солнце заходило, арестованным офицерам разрешалось посидеть

[1] Пожалуйста, благороднейший, высокочтимый и любезный господин! *(нем.)*

во дворе на скамейках. Жена профоса посадила тут несколько подсолнухов и посеяла вьюнки, которые покрыли стены зеленой сеткой. Двор вокруг старых пушечных каменных ядер уже более ста лет утрамбовывали сапоги заключенных, которые прогуливались здесь, чтобы размять ноги.

Сюда доходил воздух, заглядывало солнце и доносился ветерок со стороны зеленых, уходивших в бесконечную даль учебных плацев. Там в любое время дня можно было видеть эскадроны кавалерии, которые с рыси переходили в галоп и в карьер. Неподвижными красными пятнами застывали пехотные полки сербских пограничников, чтобы затем внезапно превратиться в марширующую колонну, которая то и дело меняла свой облик, словно на шахматной доске. Пехота в том году впервые получила форму, и потому роты солдат издали напоминали разноцветные клумбы.

В этот каменистый дворик Энгельсгофен и привел Гарсули. Здесь их уже поджидала небольшая группа писарей обер-кригскомиссара, посланная в Темишвар заранее. Офицеры Энгельсгофена не стремились быть особо любезными с этими венскими писцами и аудиторами и вместо скамеек просто положили у стен несколько еловых досок.

Гарсули велел привести из арестантской офицеров. Он, мол, предпочитает побыть на свежем воздухе и хочет спокойно побеседовать с заключенными, не забывая, что речь идет о людях, которые сражались за империю и получили немало ран.

Он стал прохаживаться вокруг пушечных ядер и вдоль стены в ожидании, пока профос приведет первонаперво четырех Исаковичей, обвинявшихся в том, что они попросили внести их в список русского генерала Шевича и подали в отставку с намерением переселиться в Россию.

Энгельсгофен утверждал, что все было сделано по закону и что Исаковичи записались в русскую армию только после того, как получили отставку. По его мнению, власти сами побудили этих офицеров переселяться с семьями в Россию.

Гарсули же утверждал, что Исаковичи сначала добились, чтобы их внесли в список, который генерал Шевич увез с собой в Россию, и только затем попросили у императрицы отставку. И считал, что их следует ра-

зослать по регулярным полкам, а если они не согласятся, то держать под стражей.

Исаковичи защищались, говоря, что после стольких лет безупречной и преданной службы им было заявлено, что ландмилицейские полки расформируют, а те, кому это не по душе, могут отправляться на все четыре стороны. Что генерал Шевич тоже был отпущен из австрийской армии и принят в армию императрицы Елисаветы Петровны и приезжал он к ним из России как родственник. Они заявили, что сначала, как и положено, получили отставку и только потом со спокойной душой попросили внести их в список Шевича, который тот увез в Россию. Так что они считают себя офицерами русской армии и просят дать им возможность уехать.

Энгельсгофену все это разбирательство было противно, он уселся у стены на одну из досок, вовсе не желая помогать обер-кригскомиссару. Когда из арестантской привели офицеров, старый барон отвернулся, беспрестанно пуская густые клубы дыма из своей швабской трубки.

Гарсули окинул беглым взглядом офицеров и любезно предложил им сесть. Он решил говорить с ними на странном смешении языков немецкого и словенского, слышанном им в Рагузе, и на русском, который он хорошо изучил, живя на острове Корфу. Поглядывая исподлобья на Исаковичей, он улыбался, когда те опускали глаза. Потом распорядился принести трубки и разрешил офицерам курить в его присутствии. Он то садился на ядро, то вставал и прохаживался как павлин, то вновь садился.

— Всегда приятно побыть на весеннем воздухе,— разглагольствовал он.— Весенний ветерок так ласков. А солнце нас, людей, так славно греет, так славно греет! Заключенные,— продолжал он,— кажутся мне несколько бледными, нечесанными, грязными, небрежно одетыми и ненадушенными. Это нехорошо. Офицер обязан быть аккуратен, а его одежда должна быть выглажена даже на гауптвахте. Уж не играли ли вы у себя в камере в звонаря?

Последние слова вызвали громоподобный хохот писарей и офицеров свиты, ибо в них содержался намек на весьма непристойную игру, которая была в ходу среди сидевших на гауптвахте офицеров.

Улыбались и заключенные. Только Энгельсгофен

окинул обер-кригскомиссара презрительным взглядом и плюнул.

Тем временем грек расхаживал перед Исаковичами, точно маятник, и читал им наставления. Сейчас-де он хотел их только повидать и услышать из их собственных уст, правда ли, что они собственноручно внесли свои фамилии в список Шевича, или, быть может, это сделал за них кто-нибудь другой, скажем, родичи. Ему, мол, этот список в Вене разыскать не удалось, и потому нет никаких прямых доказательств их вины. Ему известно, что русскому генералу дано было соизволение императрицы вербовать офицеров, уже получивших отставку, но отнюдь не заманивать на скользкий путь переселения порядочных и добрых людей. Он верит: после того, что они видели и слышали, им уже не придет в голову просить отставку. И потому он сейчас прочитает: «Eines an dem Herrn General Feldmarschal-Lieutnant Frey herrn von Engelshofen erlassenes Rescript» [1], а вслед за тем им следует, безо всяких разговоров, отправиться по домам и готовиться к переводу в регулярные полки.

На какую-то минуту Гарсули умолк и поднес к самому носу лорнет. Исаковичи молчали.

Впереди сидел майор Юрат Исакович, за ним — лейтенант первого класса Петр Исакович, еще дальше — майор Трифун Исакович и, наконец,— капитан первого класса, его благородие Павел Исакович-Влкович. В актах гофкригсрата особо подчеркивалось, что капитан усыновлен Вуком Исаковичем. Усыновленный Павел был, так сказать, вдвойне Исакович, и потому, если это возможно, его следовало помиловать.

Какое-то время Гарсули молча мерил офицеров испытующим взглядом, потом остановился перед ними и, глядя им прямо в глаза, снова заговорил, размахивая зажатым в руке рескриптом из Вены.

— Вам известно, что переселившиеся сюда шесть лет тому назад из Турции расцияне были разделены на три военных округа: Сегединский, Арадский и Петроварадинский. Вам известно, что сербы в этих округах занимают сорок пять укрепленных городов. Известна вам и участь дворцового провизора Иосифа Йоанновича,

---

[1] Приказ, изданный генерал-фельдмаршал-лейтенантом бароном фон Энгельсгофеном *(нем.)*.

который переписывался с прибывшим из России князем Кантакузеном. Зарубите же это себе на носу. Три года тому назад вам было объявлено, что ландмилицейские сербские полки будут расформированы, а все офицеры — распределены по регулярным полкам империи. Так и будет, ибо того требуют высшие интересы государства австрийского. И потому вам придется переехать во вновь назначенные для вас военные округа. Вам было дано достаточно времени, целых три года, чтобы распродать свои дома и земли. Все прочие расцияне будут находиться в ведении камерального управления Венгрии. И чего вам еще надо? — заорал он вдруг таким страшным голосом, тут же перешедшим в дикий визг, так грозно вращая при этом глазами, что братья невольно испугались. Среди воцарившейся гробовой тишины обер-кригскомиссар приказал им встать, потом развернул рескрипт и принялся читать.

В рескрипте из Вены черным по белому стояло, что согласно приказу, данному коменданту Осека графу Гайсруку, переводятся:

«Майор Юрат Исакович — в Сирмийский гусарский полк; лейтенант первого класса Петр Исакович — в Славонский гусарский полк; майор Трифун Исакович — в Бродский пехотный полк, а капитан первого класса Павел Исакович-Влкович — в Градишчанский пехотный полк...»

Потом, словно желая их предостеречь, Гарсули снова завопил:

— Ex Consilio Bellico!

Вытаращив глаза, он еще раз медленно прошелся перед офицерами и, уверенный в том, что никто из них не посмеет и пикнуть, сказал, что сейчас они могут идти по домам.

Сперва он прошел мимо младшего из двоюродных братьев, самого низкого и толстого, майора Юрата Исаковича. Точно племенной общинный боров, тот просто лопался от мяса и жира. И был так затянут, так разгорячен, что не мог дышать и только негромко всхрапывал. Однако даже и таким Юрат выглядел настоящим юнаком. И был красив, как цыган.

Юрат стоял по стойке «смирно» перед приезжим венецианцем, красный как рак, прижав саблю к бедру. Оскалив белые, точно жемчуг, зубы, он, казалось, восхищался этим страшным человеком. Майор выдвинулся

на службе, владел немецким языком, и потому братья поручили ему, если понадобится, говорить от их имени. Однако он стоял, не пикнув, словно воды в рот набрал. Юрат понимал, что братья ждут его ответа, но только пробормотал:

— Тот мне брат, кто моему добру рад! — И ни слова больше.

Лейтенант Петр Исакович, красивый человек лет тридцати, самый богатый в семье, благодаря приданому жены, и потому, видимо, самый гордый, стоял перед Гарсули стройный, как ель. (Имя Гарсули некоторые из офицеров произносили: «Гарчула», а тот сердито поправлял: «Гарсули, Гарсули».) Петр стоял в шеренге как вкопанный, положив руку на эфес сабли, и на его нежном, как майская роза, лице медленно проступала бледность. Рука его на эфесе была тоже как восковая. Только ноздри оставались розовыми. Обуреваемый гневом, он тяжело дышал. Казалось, он что-то хочет сказать. Но когда грек прошел мимо, Петр только усмехнулся и пробормотал, обращаясь к Юрату, так тихо, что Гарсули при всем желании не мог его услышать.

— Неужто этот шокац[1] заткнул тебе глотку, мать его так?! — И лениво переступил с ноги на ногу.

Трифун, самый старший и самый бедный из братьев, был головастый, косматый человек, небрежный к своей наружности и к своему костюму. Гарсули знал, что майор Трифун Исакович получил несколько ранений, однако вместо сочувствия у грека возникло желание его помучить. Этакий недотепа еще смеет протестовать!

Трифун стоял понурившись, с кривой турецкой саблей в руке, большеголовый, усатый, чуть ощерив свои длинные лошадиные зубы. Отец шестерых детей, он устал от жизни и постоянно преследовавших его неудач. С рыжиной в волосах, с высоким лбом и огромным, как лошадиный храп, носом, Трифун был из тех людей, которых сторонятся, поскольку их внешность находится в полном несоответствии с их добрым сердцем. И Гарсули, струсив, молча прошел мимо. Особенно напугали его большие серые, водянистые глаза Трифуна.

---

[1] Насмешливое прозвище сербов католического вероисповедания.

Дольше всего Гарсули задержался перед капитаном Павлом Исаковичем. Самый высокий из братьев, тот был на целую голову выше Юрата; долговязый, чуть кривоногий, с отливающими червонным золотом волосами, он даже не потрудился, согласно военному уставу, стать смирно. Видимо, от растерянности или от жары, Павел снял свою офицерскую треуголку. И весь он, с тонким орлиным носом, темно-синими глазами и мягкой, приятной улыбкой красиво очерченных губ показался Гарсули каким-то необычным, и грек удивленно уставился на капитана.

А тот, высокий, голенастый, стоял перед ним легко и непринужденно, а когда обер-кригскомиссар подошел к нему ближе, погладил себе ус.

«Какой красавец»,— подумал Гарсули.

И как раз в ту минуту, когда он решил, что все уже кончено, Павел Исакович на отличном немецком языке объявил: ему-де неизвестно, как поступят его братья, но сам он вовсе не собирается отказываться от своего намерения и твердо решил покинуть Австрию. К тому же он уже не австрийский офицер, а капитан ее величества императрицы Елисаветы Петровны, и задерживают его здесь против права и вопреки закону. Ему было сказано, что его отпускают со службы и он может ехать, куда пожелает, он—в отставке и никакой вины за ним нет. Его имя внесено в список генерала Шевича, и список этот увезен в Россию. А здесь никто не в праве его переводить, да еще в пехоту. Из кавалерии в пехоту! Какой кавалерист согласится перейти в пехоту? Не может быть и никогда не будет такого, пока солнце и месяц светят на небе. Не делают пехотинца из кавалериста! Где это видано?

Несколько мгновений в маленьком дворике стояла глубокая тишина. Гарсули словно онемел. Если бы одно из лежавших здесь каменных ядер свалилось ему на голову, он и тогда, верно, не был бы так огорошен.

Разумеется, после такого разговора с обер-кригскомиссаром Гарсули его благородие Павел Исакович-Влкович угодил за решетку, да вдобавок на него надели кандалы. А на другой день во время смотра подунайской ландмилиции произошло еще более грубое нарушение субординации.

Выведенный перед рассветом на зеленый плац, тянувшийся от дома фельдмаршал-лейтенанта Энгельсгофена до самого горизонта, Подунайский полк ландмилиции, который предстояло раскассировать, долго ждал. От славного некогда полка полковника Вука, или Волка, или Вольфганга Исаковича, осталось теперь всего несколько сот человек. Они-то и были построены в колонну и одеты в красные сербские гуни. Издалека строй казался ровной красной лентой.

Вблизи колонна была довольно пестрой, поскольку многие солдаты-ветераны, воевавшие в Турции и во Франции, растеряли свои форменные кивера, пистолеты, сабли и ружья. А многие вместо сапог надели постолы. И все-таки строй выполнял команды и казался крепкой каменной красной стеной. Позади этой стены, на фоне синего небосклона к пороховым складам тянулись два ряда тополей.

В тот день Гарсули поехал на смотр вместе с фельдмаршал-лейтенантом в большом, запряженном четвериком ландо барона фон Энгельсгофена. Построившийся на плацу полк стал виден, как только они проехали через арку ворот принца Евгения Савойского. После этого обер-кригскомиссар уже никому не давал покоя. Он вертелся, сидя рядом с Энгельсгофеном, и без конца что-то кричал своей свите, следовавшей за ним в другом экипаже.

— Палавичини,— надрывался он, обращаясь к одному из своих офицеров,— вы видите этих солдат перед нами? Какие люди, настоящие красавцы! И до чего статные! Можете себе представить, как лихо будут они пахать землю, скажем, вон там, за пороховыми складами. А оттуда к городу, полагаю, надобно будет рыть канал. Думаю продолжить Бегу до Йозефштадта.

Он раздобыл где-то, должно быть в Венеции, у какого-нибудь адмирала огромный бинокль и все время подносил его к глазам.

Энгельсгофен делал вид, будто весь этот шум его не касается, и поэтому Гарсули обратился уже к другому офицеру:

— Граф Гайсрук, граф Гайсрук,— ревел он, как горластый прасол,— вот вам испольщики для вашего отца. Можете их уже сегодня вечером погрузить в барки и отправить вниз до Бечкерека. Триста семьдесят восемь

молодцов. Триста семьдесят восемь крепких... болванов.

Гарсули, собственно, употребил другое выражение: слово «болван» в его устах прозвучало бы слишком добродушно. Он выразился гораздо грубее. В армии он славился своими непристойными шутками. А сейчас ему хотелось вызвать у сопровождавших коляску гусар и кирасир бурю смеха.

Когда ландо коменданта крепости приблизилось к выпятившим грудь солдатам подунайской милиции, Гарсули опустил свой бинокль и схватился за лорнет. Он разглядывал людей, словно коллекцию жуков или пауков. А тем временем под гром военных труб и рев команд колонна всколыхнулась и замаршировала к стоявшему у самой дороги павильону, где остановился экипаж. Отбивая шаг так, что дрожала земля, полк, точно огромная часовая стрелка, вертелся вокруг павильона. Гарсули громко выкрикивал слова одобрения, словно в этом была его заслуга.

Наконец колонна построилась вокруг маленького деревянного павильона в каре; когда Гарсули поднялся по разостланному ковру на дощатый помост, то увидел, что внезапно очутился среди колыхающегося моря красных гуней, треуголок, шапок, огромных голов, ручищ, ножищ, носов и глоток, из которых, точно дым, вырывался пар и удушливые запахи говяжьего жира, пота, лука, кожи и пороха. На минуту ему показалось, что это море вот-вот сомкнется над ним, и он беспомощно оглянулся, чтобы посмотреть, где Энгельсгофен. Увидев, что фельдмаршал-лейтенант спокойно сидит в облаке табачного дыма, обер-кригскомиссар успокоился.

Вокруг павильона саперы в свое время посадили подсолнухи, и солдаты остановились у самой цветочной клумбы. Те, кто стоял в первом ряду, с большим трудом сдерживали напиравшие на них задние шеренги. На лошадях были только офицеры. Гарсули узнал среди них Юрата и Трифуна, который командовал в тот день парадом; потом он с ужасом увидел, что рядом с желтым знаменем, украшенным черным двуглавым орлом, развеваются на ветру еще два стяга из красного и голубого муслина.

Гарсули оглянулся и, словно прощаясь с оставшейся за его спиной картиной, окинул взглядом редуты и фор-

ты с ощетинившимися пушками, башни Темишвара, которые, казалось, были приклеены к ярко-синему небу, неясно видневшиеся налево в долине палисадники, рощи акаций и среди них — село Махалу. Солнце уже поднялось, в траве засверкала роса. На небе не было ни облачка.

Перед началом смотра установили столики для писарей; те разложили на них акты, фискальные бумаги и поставили чернильницы.

— Разве не замечательно,— заметил Гарсули, усаживаясь рядом с Энгельсгофеном,— что мы с вами снова встретились сегодня, тут, где я впервые увидел вас тридцать пять лет тому назад. Мало кто вернулся из Турции: из тринадцати тысяч — всего три! Да и то все они лежали здесь на траве — в лохмотьях, в окровавленных повязках, грязные, страдавшие от поноса. Вон там их могилы. А нас все еще ласково греет солнце, которое намного сильней любой войны. И до чего оно славно греет! Там, под тем редутом, я, еще совсем молодой человек, увидел вас впервые в свете его величества, всемилостивейшего императора Леопольда. Вы передавали полк кирасир графу Хараху. Тогда я был совсем мальчишкой, но отлично все помню. И вот сейчас я вижу вас глубоким стариком. Да, все бессмысленно, кроме этого солнца. Все проходит, неизменно светит одно только солнце. И как славно оно греет! Нет на свете ничего лучше такого вот весеннего дня.

Энгельсгофен смерил грека холодным взглядом и сухо сказал:

— Я этого не помню.

Надобно сказать, что и старый барон наслаждался открывшейся перед ним панорамой. Учебное поле и Темишвар давно уже стали неотъемлемой частью его жизни. И теперь они походили на разбитое окно, сквозь которое можно все-таки увидеть свое прошлое. Сюда он попал когда-то молодым офицером, и вот теперь с этих зеленых плацев должен будет вернуться в Вену, где его никто уже не ждет. Здесь еще какое-то время будут его помнить, как и этого кривоногого грека, а потом позабудут даже само его имя. Город позади него с высокими колокольнями останется, как останется и солнце, которому так умиляется этот болтливый грек, а он, Энгельсгофен, скоро уйдет, уйдет, но не в Вену, а в могилу.

Солнце, которое Гарсули так любил из-за своих рас-

пухших от ревматизма колен, Энгельсгофен любил еще больше, потому что стоял уже одной ногой в могиле. И сейчас он смотрел на залитые солнцем плацы, понимая, что смотрит на них, вероятно, в последний раз. Толпа сербов со знаменами, лошадьми, значками, в шапках и красных гунях не возмущала его и не раздражала вонью его ноздри — напротив, ему казалось, что она пахнет красными полевыми маками. Фельдмаршал-лейтенант наслаждался строгими геометрическими построениями полка, статностью людей, немой покорностью солдат, которые ударами подошв отвечали на громкие команды своих начальников. А дальше, на фоне голубого неба, видел он ряды тополей, но они пробуждали в нем лишь печаль. Солнце поднялось, но он знал, что уже недолго ему придется любоваться его восходом. Однако, поскольку надо было что-то ответить вертевшемуся вокруг него греку, Энгельсгофен вынул изо рта трубку и крикнул:

— Можете передать от меня графу Хараху, что он старый осел. Придет время, когда в Вене раскаются, что прогнали этих ни в чем не повинных людей в Россию. У вас вот на уме разные прожекты, хотите по линейке выровнять их улицы и дома. А лучше бы привели из Вестфалии триста семьдесят восемь сильных кобыл да послали бы этих солдат воевать против французов. Получился бы кавалерийский полк, ничуть не хуже кирасир Хараха. Несправедливо выгонять ни в чем не повинных людей из их домов. Но все вы, там при дворе, были и остались просто задницы.

Потом, перегнувшись через перила, Энгельсгофен крикнул стоявшим у знамен Исаковичам:

— Сегодня выдать людям двойную порцию хлеба и каждому эскадрону — по бочке вина!

А когда лица солдат, стоявших перед павильоном, засияли от удовольствия, так что могло показаться, будто над красными маками заколыхалась золотистая пшеница, старик взмахнул своей треуголкой и заорал по-немецки:

— Сербы! Трижды виват старому Энгельсгофену!

И, размахивая плюмажем, он громко заревел, точно воздавая самому себе высокие, почти королевские, почести. Сербы восприняли его возглас как команду «вольно» и в тот же миг разошлись, чтобы размяться и оправиться, с удовольствием подхватив во все горло:

— Виват! Виват! Виват!

Солнце, зеленое поле, взыгравшие лошади, толпа счастливых, довольных, кричащих от восторга солдат — все это обмануло Гарсули. На какое-то мгновение обер-кригскомиссару показалось, что аудиторы и профосы Темишвара его обманывали, когда нашептывали о надвигающейся буре. Да и все россказни стражников о стрельбе в казармах, о поджогах скирд вблизи пороховых погребов — тоже, вероятно, выдумки, порожденные стремлением при помощи наветов сделать карьеру. Эти сербы, которые, по словам его клевретов, скорее вернутся в Турцию, чем позволят трогать своих мертвецов, стоят сейчас послушно и весело, вот тут перед ним, и быстро выстраиваются по команде офицеров. И потому Гарсули подал знак графу Палавичини зачитать рескрипт о расформировании полка, будучи уверен, что все покорно, без возражений согласятся покинуть укрепленные редуты у Махалы и переселиться в имения венгерских помещиков, дабы, перестав быть солдатами, навеки осесть, подобно другим крестьянам, на земле.

Гарсули был неглуп. Он понимал, что возможности одного человека весьма ограниченны. Но ему хотелось во что бы то ни стало покончить с этим делом, хотя бы формально, а над тем, что будет потом, пусть ломает себе голову Энгельсгофен. Нужно было выполнить распоряжение, прочитать рескрипт из Вены и растолковать его по-сербски. А подчинятся ли сербы приказу, или их придется вешать за непослушание, его это уже не касается. О том должен позаботиться Энгельсгофен. Гарсули надеялся, что все пройдет спокойно, а если после оглашения рескрипта даже и начнутся протесты, то ими будут заниматься чиновники. Недаром ведь он прибыл сюда в сопровождении двух десятков писарей.

Увидев, что вся свита расположилась вокруг него на досках и скамьях павильона, а с церемониалом выноса знамен покончено, Гарсули встал с места и остановился перед Энгельсгофеном. Его черный бархатный фрак, белые по локоть перчатки и черные страусовые перья на шляпе привлекли внимание солдат, знавших, что принято какое-то важное решение, от которого зависит их судьба. Гарсули поднял над головой свернутый в трубочку рескрипт, перехваченный черными шнурами, с которых свисали большие черные восковые печати. Потом изо всей мочи заорал по-немецки:

— Слушай мою команду! Смирно!

Люди мигом умолкли и стояли теперь как вкопанные. И позади него все: город, укрепления, стены, рвы, наполненные водой и лягушками, церковные башни, колокольни, пушки — все словно окаменело. Ни одна ворона не пролетела над Темишваром, пока Гарсули разворачивал рескрипт. Офицеры, кирасиры, аудиторы стояли безмолвно, вытянувшись на отструганных накануне досках павильона. Один лишь барон Энгельсгофен остался сидеть на своем месте, негромко покашливая. Застыли у павильона и гусары с саблями наголо. И только лошади, мотая головами, отмахивались от мух. Время от времени у них вздрагивала кожа, и мухи взлетали с мелких ранок на холках коней. Перед павильоном, сдвинув ноги по стойке «смирно», вытянулись триста семьдесят восемь человек в красных гунях. Никто не шевелился. Стояла такая тишина, что было слышно, как где-то вдалеке размеренно бил колокол. В том году свирепствовала малярия, и на кладбище ежедневно хоронили по несколько человек.

Гарсули на какое-то мгновение почудилось, что по его команде замерли и эта бесконечная зеленая долина, и ряд тополей у кромки голубого неба. Почувствовав, как солнце печет щеки, он поднял голову и попытался посмотреть широко открытыми глазами на дневное светило. Но в тот же миг закрыл их и визгливо, будто охрипший петух, заорал:

— Слушай мою команду! Вольно! — Затем, уже тише, обратился к своему адъютанту, который снял было перчатки, а теперь поспешил их снова надеть: — Читайте, Палавичини. Только не торопитесь.— С этими словами Гарсули опустился в кресло.

Пока граф Палавичини читал начинавшийся длинной преамбулой рескрипт о расформировании полка, Гарсули наблюдал за солдатами, которые стояли неподалеку от павильона, разинув рты от удивления.

Большая часть этих людей понимала в рескрипте, который был написан по-немецки, не больше, чем паписты — в латыни во время католической службы, когда верующие улавливают лишь отдельные слова: «Христос», «Страшный суд» или «вечность» — и вслед за священником повторяют: «in saecula saeculorom» [1],

[1] во веки веков *(лат.)*.

не зная точно, что за ними следует. Так примерно понимали немецкий язык и эти сербы-схизматики. Все они слышали, как граф читал: «Ihro Kaiserlich Königliche Majestät bei der demnächst resolvierten endlichen Regulierung derer Slavonischen Grentz Regimenten» [1], но только не знали, что это означает. Лишь чувствовали, что нагрянула большая беда, и стояли понурившись, открыв рты, и удивлялись, что она все-таки наконец нагрянула.

Согласно приказу, граф Палавичини, прочитав первый абзац, должен был растолковать его по-сербски. И он старался делать это как мог, поскольку считалось, что он говорит по-славонски. Однако его мало кто понимал. Люди задавали друг другу вопросы и волновались.

Майор Трифун Исакович, командовавший в тот день парадом, втиснулся в гущу солдат и попытался их успокоить. Но тревога среди солдат росла. Гарсули был не дурак, и ему стало ясно, что все идет не так, как предполагалось. Поднявшись с кресла, он с грозным видом уставился на сербов, видимо желая взять их на испуг. В эту минуту граф Палавичини объявил, что выносить покойников в открытых гробах отныне запрещается и хоронить их следует в заколоченных гробах. Кто-то из толпы громко запротестовал. Граф смешался. Приказ из Вены гласил: запрещается нести покойников через город в открытом гробу, гроб должен быть покрыт крышкой и заколочен, прежде чем похоронный кортеж двинется из дома. У графа же получилось, будто гроб следует опускать в землю незакрытым.

Стараясь побыстрее покончить с параграфом рескрипта, который, как полагали, вызовет особый протест, граф торопливо, скороговоркой объяснил, что они-де отныне уже не солдаты и что им придется обрабатывать землю, что их расселят по комитатам и поместьям, где им придется, как и всем прочим крестьянам, трудиться «исполу» на земле хозяина и отрабатывать «десятину» церкви. И что они не имеют права без разрешения покидать землю, на которую их переселят. Не успел граф все это изложить, как раздался резкий

---

[1] Его императорско-королевское величество в скором времени отдаст распоряжение об окончательном урегулировании Славонского пограничного полка *(нем.)*.

свист: казалось, пересвистываются барышники. А вслед за свистом послышались возгласы:

— Не хотим быть паорами! [1]

Ряды расстроились, солдаты, тесня друг друга, подступали к павильону. Граф прекратил чтение и обернулся, отыскивая взглядом Гарсули.

А шум нарастал, все громче звучали выкрики:

— Не хотим быть паорами!

Солдаты растягивали слово: «паорами», и оно все чаще гремело над толпой. Офицеры забеспокоились. Гарсули подозвал к себе молодого гусара и шепнул ему что-то на ухо. Тот сбежал с деревянных ступенек, вскочил на коня и умчался.

Видно было, как среди обезумевшей толпы сербов майор Трифун бьет со всего размаха кричащих, заставляя их снова стать в строй, а его брат, приземистый толстяк, майор Юрат, хватал выбегавших из строя солдат за шиворот и запихивал их обратно. Однако вопль: «Не хотим быть паорами!» — все нарастал, превращаясь в оглушительный рев.

Энгельсгофен вынул изо рта трубку, но не встал, а только склонился к перилам и нахмурился. Гарсули побледнел. Он то подносил к носу, то опускал свой лорнет и, обращаясь к фельдмаршал-лейтенанту, прошипел:

— Herr Feldmarschallieutnant, ведь это бунт!

Правой рукой, словно желая отстранить что-то неприятное, грек оттолкнул графа Палавичини, вырвал у него из рук недочитанный рескрипт и процедил сквозь зубы, чтобы подали экипаж. А в ожидании смотрел на толкавшуюся у павильона, казалось, пьяную толпу и на то, как вяжут крикунов и суют им в рот шапки. Тем временем кто-то, видимо, отдал приказ гусарам, и те, обнажив сабли, окружили павильон и стали теснить лошадьми подступивших слишком близко солдат. Однако это еще больше разъярило сербов, и дело приняло дурной оборот: сербы сами воевали в кавалерии и всю жизнь проводили рядом с лошадьми; не растерявшись, они мигом повалили гусар вместе с их лошадьми наземь, как валили баранов и волов, чтобы ставить тавро. И тут-то началось настоящее светопреставление. Сербы вырывали сабли у молодых гусар, которые еще

---

[1] Искаж. *нем.* крестьянин.

не нюхали пороха и не видели, как льется кровь в бою, били их плашмя этими же саблями, стягивали с них сапоги. Испуганные кони помчались по выгону. А когда сербы принялись переворачивать экипажи, некоторые гусары начали стрелять из пистолетов. В воздух. От страха.

Увидев вокруг себя море обезумевших лиц, оскаленных зубов, налитых кровью глаз и вдохнув запах пороха, Гарсули кинулся к своей карете, за ним бросились офицеры, аудиторы, писари. Все пустились наутек, устрашившись вздувшегося красного потока, который, точно паводок, сметая на своем пути лошадей, знамена, ружья и треуголки, катился к карете, куда уже забрался Гарсули. При этом солдаты-сербы дико, по-волчьи завывали:

— Не хотим быть паорами!

Когда карета тронулась, несколько сербов схватили лошадей под уздцы, другие попытались стащить с козел кучера, но он не дался, и в их руках остался лишь его напудренный парик.

— Чертов шокац, мать твою так! — орали солдаты.— Погоди, сейчас приведем к тебе парикмахера!

И все, что выкрикивал один, тотчас же подхватывала толпа.

В своей роскошной карете Гарсули выглядел точно мышь в мышеловке. Казалось, ему не сносить головы. Однако, когда кучер стегнул лошадей, и они, встав на дыбы, сдвинули тяжелую карету, толпа пропустила ее и только громко кричала вслед. Никто за экипажем не погнался. В мгновение ока карета очутилась возле ворот Евгения Савойского. Там уже вставали у пушек пушкари с дымящимися фитилями в дрожащих руках. Гусар, посланный Гарсули в город с известием, что вспыхнул «бунт», хорошо справился со своей задачей.

Увидев, что никто его не трогает и не собирается убивать, Гарсули выскочил из кареты, чтобы посмотреть, что случилось с его свитой. Оказалось, что все благополучно удрали и, сгрудившись поодаль, орали теперь во все горло, отдавая гусарам какие-то приказы. Свита во все глаза смотрела на него.

Когда Гарсули очутился в надежном месте, за стенами большой неприступной крепости, и понял, что все стали свидетелями его трусливого бегства, он до

тят пахать землю, отказываются копать и окучивать, им подавай отставку?! Ну что ж, хорошо, пусть подождут, я им покажу отставку,— прошипел он и еще раз поглядел на плац, где стоял полк.

К его и всеобщему ужасу, полк сдвоенными рядами двинулся в сторону редутов и стал медленно приближаться к Темишвару. Гарсули увидел, что впереди катит экипаж Энгельсгофена, а за ним в образцовом порядке марширует полк. Не прошло и нескольких минут, как полк уже был у ворот. Первым ехал верхом Трифун Исакович, с непокрытой головой, на которой зияла рана, темная от запекшейся крови. Въехав на мост у самых ворот, Исакович скомандовал «на караул», и полк строевым шагом, так что задрожала земля, вошел в город. Около тридцати обезоруженных солдат следовали за полком со связанными за спиной руками.

Гарсули отъехал в сторону от ворот, где пушкари с погашенными фитилями в руках в полном недоумении стояли возле своих сейчас беззащитных пушек. Увидев барона фон Энгельсгофена, Гарсули онемел от удивления и стыда.

А старик тем временем спокойно вышел из своего ландо и угрюмо принялся отдавать приказы: связанных заковать в кандалы, полк отправить на всю ночь в казематы под замок, а всем офицерам идти к профосу.

Фельдмаршал-лейтенант, казалось, постарел с утра лет на десять. Когда он выходил из экипажа, ему впервые пришлось прибегнуть к посторонней помощи и позволить взять себя под руки. Он был без головного убора и тяжело дышал. Увидев грека, Энгельсгофен остановился и несколько мгновений смотрел на него своими большими глазами. Потом беззлобно, голосом, в котором звучали слезы, сказал:

— Этот Темишвар, который я создал, вы ухитрились сегодня отбросить на столетие назад. По вашей милости сербы сейчас относятся к нам так, как относились до Людовика Баденского. Поздравляю! Поздравьте и моего старого друга, графа Хараха...

Гарсули, недовольный тем, что фельдмаршал-лейтенант позволяет себе такой тон в присутствии графа Палавичини, который, вероятно, разболтает обо всем в Вене, сердито прервал старика:

— Эти люди ничего не понимают, кроме палки и виселицы! Завтра же потребую расстрелять каждого десятого.

— Требуйте! — ответил старый барон до того миролюбиво, что грек удивился. Входя под арку казармы и утирая со лба пот, Энгельсгофен, которого все еще поддерживали под руки, добавил:

— Вы там в Вене при дворе ничего другого и не умеете.— И еще что-то неразборчиво пробормотал.

И хотя последних слов Энгельсгофена Гарсули не расслышал, но угадал он их совершенно точно. Он разобрал только, как барон бормочет: «Потому что вы и они». И Гарсули понял, что имеет в виду фельдмаршал-лейтенант, можно было и не уточнять. Потом старик и вообще повернулся к нему спиной.

Тем временем внутри казармы и каземата поднялся шум, а на улицах города началась паника. Тридцать связанных солдат были отведены в находившийся вблизи колодца каземат. А полк остался стоять во дворе казармы кирасир. Сначала у солдат отобрали лядунки с порохом и пулями, потом кузнецы сбили с ружей курки. Было приказано сдать оружие, вплоть до последнего тесака, и просто удивительно, что солдаты выполнили это без пререканий. Отобрано было и знамя, только хоругви — поскольку они церковные — были оставлены с тем, чтобы отнести их в храм. Православная церковь высилась на противоположной стороне улицы.

А когда сербам, к удивлению гусар и кирасир, выдали двойной паек хлеба и выкатили пять бочонков вина, во дворе казармы поднялся такой крик, что уж не слышно было даже колокольного звона.

Вскоре в одном из углов двора, на солнцепеке, запрыгали, завертелись волчками несколько солдат в красных гунях. А спустя несколько минут в коло вступили, взявшись за руки, и все прочие. Казалось, этих людей ничто не может огорчить. А в другом углу двора, усевшись на камень и закутавшись в свой красный гунь, молодой солдат-серб с русыми как солома волосами играл на пастушеской свирели; потом, сунув ее за пазуху, он заорал во все горло:

Не деревня и не град Темишвар могучий,
Темишвар — толпа людей у воды вонючей.

II

Беда настигла их той весной в Темишваре нежданно-негаданно...

В ту пору в австрийской армии служило несколько Исаковичей, но обер-кригскомиссар Гарсули взъелся только на четверых, которые получили отставку и готовились переселиться в Россию. И тем предрешил их дальнейшую участь.

И все-таки оказалась она для четырех братьев далеко не одинаковой. Для канцелярии Гарсули все четверо были равны, были одной семьей, братьями, четырьмя бунтовщиками. Однако их возраст, прошлое, жены, имущественное положение, характер, а главным образом стремления и надежды — все это привело к тому, что их судьбы сложились по-разному.

В ту весну они этого еще не знали и, как некогда в Сербии, просыпаясь по утрам в Темишваре, все еще чувствовали себя дружной семьей. Они думали, что всегда будут жить в одном городе, и ужасались при одной мысли, что их могут разослать по разным полкам. Они хотели быть вместе — ради этого они все и переехали к Трифуну Исаковичу в Хртковицы.

Беда настигла их той весной в Темишваре нежданно-негаданно.

А весна в том 1752 году была в Темишваре дружная, без частых и обычных для этого края поздних заморозков, которые губили либо цвет, либо завязь на фруктовых деревьях.

Мало того, сразу так потеплело, что прежде времени зацвели акации, зацвели буйно, неистово, точно распалившиеся от ракии на свадебном пиру молодожены. Темишвар славился в те времена и своими крупными синими фиалками, особенно много их росло на кладбищах. А за кладбищами, которые занимали большую площадь, расстилалась бесконечная равнина, поросшая зеленой травой.

По утрам опоясывавшие город укрепления в форме звезд утопали в полумраке, но солнце рано освещало маковки церквей. Его лучи, как всполохи пожара, скользили по крышам барочных дворцов и домов, только на центральных улицах города дома долго еще оставались в полумраке и с занавешенными окнами. В то

время, когда в казармах уже звучали сигналы труб, возле комендатуры еще стояла тишина.

Тут на большой площади, носившей имя какого-то венгерского витязя и украшенной каменным изваянием святой троицы, с раннего утра взад и вперед шагали, как деревянные солдатики, часовые барона фон Энгельсгофена. Они маршировали парадным шагом графа Мерси — одни налево, другие направо, а когда сталкивались нос к носу, брали «на караул», потом сами себе вполголоса командовали «Kehrt euch!» [1] и возвращались тем же путем, откуда пришли. И все начиналось сызнова. А раскаленное, как ядро, солнце рдело и сверкало над ними.

Юрат и Петр Исаковичи после прибытия в Темишвар в ожидании дальнейших распоряжений остановились в трактире «Золотой олень» напротив монастыря братьев пиаристов. Трактир был до отказа забит офицерскими семьями и актрисами местного театра. С фасада он благодаря своим высоким окнам в стиле барокко походил на венский дворец, а сзади — на турецкий караван-сарай.

Деревянная галерея, опоясывавшая второй этаж, была уставлена вазонами в форме плетеных корзин со множеством цветов. Посреди двора был колодезь, весь увитый вьюнками. Старший Исакович, Трифун, самый бедный из братьев, поселился со своими домашними в Махале. Павел жил в доме с садом за городскими стенами, в пригороде, носившем название Йозефштадт. Там он держал несколько дорогих кобыл: он любил приезжать в город в собственном фаэтоне.

Павел, как известно, сидел в тюрьме, а его братья — хотя они по книгам профоса тоже числились под арестом — оставались на свободе. Энгельсгофену и в голову не приходило разлучать их с женами.

Петр, изрядно отставший от братьев в чинах, но зато самый среди них богатый, был женат на дочери сенатора — Варваре, урожденной Стритцеской. Они занимали в «Золотом олене» самый роскошный номер. В то утро, с которого продолжается наш рассказ об Исаковичах, они проснулись первыми.

---

[1] Кругом! *(нем.)*

Варвара накануне узнала у Энгельсгофена, что Павла утром повезут из Темишвара по дороге в Градишку.

Варвара была очаровательная и веселая женщина двадцати двух лет от роду. У нее были золотисто-рыжие волосы и глаза, казавшиеся то голубыми, то светло-зелеными. Девушкой она околдовывала офицеров петроварадинского гарнизона, а теперь на глазах у красавца мужа и посторонних людей выказывала какую-то необъяснимую симпатию к Павлу, не видя в том ничего предосудительного. То была какая-то странная жалость, некая сердечная склонность.

В семействе Исаковичей все об этом знали и посмеивались. А муж Варвары время от времени шутливо заявлял, что прогонит ее к отцу, сенатору, в Нови-Сад. Но на самом деле Петр Исакович никогда не сомневался в своей жене.

И вот теперь она узнала, что Павла повезут в Осек на суд, узнала даже, через какие ворота и в котором часу. Петр тотчас же изъявил желание встретить брата у первого форпоста. Охотно согласились поехать с ними и Юрат со своей женой Анной. Только Трифун, которого во время сумятицы на плацу сильно ударили по голове, отказался проводить Павла. В сущности, на этом настояла его жена, натерпевшаяся страха, когда Трифуна привезли с окровавленной головой: ведь у них было шестеро детей, и младшего она еще не отняла от груди.

Варвара проснулась в то утро первой и стала будить мужа. Петр лежал на спине, с закрытыми глазами, сплетя пальцы над дугообразными бровями; он был красив и свеж, как греческий эфеб, и, чуть выпятив губы, дышал тихо и ровно.

Варвара зажгла свечи в большом, стоявшем рядом с кроватью канделябре, потом, сидя на постели, в длинной шелковой рубашке, долго смотрела на мужа. Пора было его будить.

Однако свет, бивший в глаза, разбудил Петра и без ее помощи, он зашевелился. А услышав свое имя, вздрогнул, перевернулся на живот и уже готов был опять заснуть. Но когда жена окликнула его, он открыл глаза, тут же закрыл их и наконец, щурясь, сердито спросил:

— Что тебе?

Жена сидела, обхватив руками колени, опустив на них голову и, улыбаясь, смотрела на него из-под длинных темных ресниц: сейчас ее большие глаза были зеленые, ясные и живые. И ему показалось, что лицо Варвары напоминает лицо улыбающейся во сне статуи.

— Петр! Ну же! Пора! Надо вставать. Ты ведь знаешь, скоро повезут Павла! — проговорила она голосом капризного ребенка.

А муж между тем все щурился и зевал. И тогда Варвара принялась стаскивать с него рубаху.

Она встала первой — высокая, стройная, с длинными красивыми ногами и тонкой талией. Вытащив из-под кровати большой медный таз, она сняла рубашку и начала мыться. Увидя, что муж снова засыпает, она хохоча стала колотить его подушкой. Груди ее при этом покачивались.

Петр окончательно проснулся, встал, босиком в длинной рубахе подошел к окну и отворил его. Под окном щебетали ласточки, щебетали они и над окном, где свили себе гнездо.

— Ласточки! — воскликнул молодой офицер.— Так вот откуда у меня это пятно на треуголке!

У него была привычка для проветривания вывешивать на ночь за окно мундир, штаны и треуголку.

Тем временем жена его помылась, и у таза присел сам Петр, чтобы вымыть ноги.

Комната, где жили Варвара и лейтенант первого класса Петр Исакович, была увешана гобеленами, изображавшими нагих ангелов и различные сцены охоты. И если бы его жена, еще не успевшая одеться, подошла бы и стала рядом с этими ангелами, то она вполне могла бы соперничать с ними красотой своего обнаженного тела.

На другой половине трактира номера уже не отличались роскошью, но все же были просторны и удобны. Правда, свет проникал в них только сквозь стеклянные двери. В одной из таких комнат жил Юрат. Хотя он был на год моложе Петра, но сильно опередил его по службе. Во время войны Юрат несколько раз брал в плен видных неприятельских офицеров, и потому чины сыпались на него, как груши. Юрата Исаковича знали даже в Вене, и Энгельсгофен не раз посылал его на придворные балы. Женился Юрат пять лет тому назад на Анне, дочери Якова Богдановича, который

так же, как отец жены Петра, был сенатором из Нови-Сада.

Майор Юрат летом и зимой спал голый, и после пяти лет брачной жизни он все еще спал с майоршей, вернее сказать, на майорше. Он привык так засыпать, и Анне приходилось сталкивать с себя толстяка мужа, словно тяжелый камень.

Анна недавно родила второго ребенка и теперь боялась, как бы муж его не приспал. А потому гнала Юрата с кровати, и тогда он, бедняга, сворачивался калачиком у ее ног. А по ночам вставал укачивать малыша.

Просыпался он всегда как по заказу.

Скажет: «Завтра проснусь с петухами».

И проснется.

Скажет: «Встану, когда монастырские часы пробьют четыре».

И встанет ровно в четыре.

Так и в то утро он разбудил жену, потом, поглядывая, как она умывается, убаюкал ребят. Анна, проснувшись, испуганно вскрикнула, увидев, что под боком у нее нет младенца. Юрат взял его на руки. А носил он детей точно медвежат. Дочь поднимал и держал, как ягненка, вниз головой. В их комнате не было ни гобеленов, ни ангелов в стиле рококо. На стене висела одна-единственная икона: дева Мария на глобусе, придавившая ногой змею.

Когда брат и католичка-невестка приходили к ним в гости, Юрат обычно говорил жене:

— Сними-ка со стены эту шокицу, чтобы не смотрела она, что делает твой муж по ночам!

Разумеется, всякий раз это вызывало визг и крики сконфуженных женщин, краснел и его брат, Петр.

А Юрат только трясся от хохота, глядя на смущенного брата.

Жена Юрата, Анна Богданович, составляла полную противоположность своей невестке — и фигурой и лицом. Она была ниже и полнее Варвары, и тело у нее было гибкое, как у тигрицы. Анна, как и Варвара, вышла замуж семнадцати лет и хотя уже пятый год жила с мужем, все еще любила его до безумия. Ее черные косы спускались ниже колен. Пышные волосы издавали аромат. У нее были сильные, красивые ноги. Она славилась среди офицеров как плясунья и великолепная наездница. Анна могла на всем скаку поднять с

земли плетку или саблю; зажав между ногами свою черную широкую юбку, она вскакивала на лошадь, смеясь хваталась за гриву и мчалась, обгоняя всех, словно привязанная к шее коня.

Ее отец, сенатор Яков Богданович, обычно говорил:

— Вот уж наградил меня господь бог татаркой.

Черноглазая, остроносая, со сросшимися на переносице бровями, с пухлыми пунцовыми губами, она была очень хороша собой, хотя подружки и уверяли, будто в ней есть что-то птичье.

В какой-то степени они были правы — эта молодая пылкая женщина напоминала только что вылетевшую из леса птицу. Когда Анна зимою танцевала на балах в комендатуре, Энгельсгофен говорил, что в своем черном платье с кринолином она похожа на черного лебедя, а когда сердится — то на орлицу. Юрат, изрядный забияка, застывал на месте, когда Анна вдруг, сверкнув своими черными глазами и нахмурив сросшиеся брови, кричала ему: «Джюрдже!»

Но зато на вечеринках за стаканом вина эта женщина становилась нежной, ласковой и бархатистым голосом пела под арфу.

— Сам царь Давид был у меня сватом,— говорил Юрат, наслаждаясь пением жены: он все еще как бы переживал свой медовый месяц, хотя минуло уже пять лет с тех пор, как они поженились.

Тот, кого два брата и их жены собирались проводить, готовился в это время к отъезду; усталый, невыспавшийся, приунывший, он все еще не мог справиться с душевной травмой, которая остается у каждого, кто побывал в тюрьме.

Надо сказать, что при Энгельсгофене офицерская гауптвахта не так уж была страшна. Находилась она в том же доме, где проживал и сам фельдмаршал-лейтенант. Арестованных содержали в хорошо оштукатуренных, светлых и чистых комнатах с деревянными полами, их отапливали и проветривали. Однако, по распоряжению Гарсули, Павла Исаковича посадили не туда, куда сажали картежников, дуэлянтов и гуляк. Под гауптвахтой в подвале, по соседству с римским колодцем, было несколько почти совсем темных камер с земляным полом, которые еще совсем недавно слу-

жили застенками. Сюда сажали убийц, дезертиров и шпионов. Но Гарсули приказал посадить Павла именно туда.

Ему дали какие-то козлы, соломенник, кружку воды да ломоть заплесневелого хлеба. В этой сырой и вонючей камере стоял трехногий табурет, на котором можно было сидеть, но не было ни стола, ни свечи. И когда Павел ложился отдохнуть, мыши пищали под ним в соломеннике, а крысы перескакивали через него, как огромные кузнечики. Одна даже укусила его в руку.

В этой яме заключенный чувствовал себя как в гробу и вскоре уже терял всякое представление о времени.

Сырость в каземате была такая, что арестанта уже через два-три дня начинала трясти лихорадка. А когда его выпускали оттуда, что случалось, впрочем, редко, то он походил на вставшего из могилы мертвеца. И голова у него становилась седой.

Те, кого сюда запирали, уже после первой проведенной здесь ночи, принимались неистово стучать в дверь и звать профоса; многие умоляли его и плакали.

Но если Гарсули ожидал чего-либо подобного от Павла, то глубоко ошибался: грек плохо знал его благородие капитана Исаковича,— Павел мог целую неделю провести в седле, почти не слезая с лошади, мог подолгу не спать, не есть и не пить. А когда его солдаты бежали к воде, капитан спокойно лежал на траве, ожидая, пока все напьются и принесут ему воды. В такие дни, глядя на него, можно было подумать, что ему все нипочем. Он никогда не жаловался.

Так и теперь Павел, опустив голову и упершись руками в колени, сидел на трехногом табурете и время от времени чуть слышно что-то насвистывал себе под нос. Ноги у него затекли, и он время от времени ударял кулаками то по одному, то по другому сапогу. Или ходил, взад и вперед по камере до устали.

Капитан прислушивался к самому себе и глядел в глаза одиночеству.

Когда профос, приведя его сюда, удалился с фонарем в руке, Павел увидел, что с ним во мраке осталась лишь его тень на стене. Над ним был Темишвар, над ним были могучие крепостные редуты, огромные казармы, множество людей, но никто даже толком не

знал, где он, и если бы даже захотел, то не мог бы его посетить.

С ним оставались только его мысли, но и они пролетали стремительно, точно ласточки, и, казалось, вспыхивали в мозгу то зелеными, то красными искрами. В своих узких малиновых чикчирах и в одной рубахе он дрожал от холода.

В ту минуту, когда Гарсули под барабанный бой велел заковать его среди казарменного двора, Павел всерьез решил, что его повесят, и помышлял лишь о том, как взойти вслед за профосом на помост с гордо поднятой головой, широко расправив плечи. Чтобы никто из присутствующих не мог сказать, что капитан Исакович шел на казнь с опущенной головою.

Но когда с него снимали мундир и связывали ему руки, он вспомнил, что осудить офицера на смертную казнь может один лишь Энгельсгофен, а Гарсули только, как баба, болтает языком да грозится. «Не может Гарсули никого вешать на территории, подчиненной фельдмаршал-лейтенанту Энгельсгофену. Не может!» — говорил он себе.

«А почему это не может? — вдруг послышался ему голос Трифуна.— Впрочем, достаточно оставить тебя на неделю-другую в яме, чтобы тебя уморила лихорадка, а крысы отъели тебе уши. Кого Гарсули бояться-то? Да, видали мы всяких тюремщиков, но такого ферта среди них еще не было».

И в то же время Павлу казалось, будто он слышит, как все, кого он тринадцать лет тому назад привел из Сербии в Срем, одобряют его поведение. То, что он сказал этому скопцу с острова Корфу, сказал бы любой житель Махалы. Павлу даже чудилось, будто он слышит отдаленный гул, крики солдат, которые не хотят становиться крепостными-испольщиками и требуют либо отпустить их в далекую Россию, либо обратно в Турцию.

И, гордясь своим ответом, он чуть было не погладил по привычке свои шелковые русые усы. Этому красавцу было свойственно тщеславие, впрочем, тщеславием отличались все в его роду.

Капитан мысленно представлял себе, как он стоит перед петушащимся Гарсули, которому никто не смел высказать то, что думает. Павлу казалось, будто он слышит шепот Юрата:

— Какой черт тянул тебя за язык? Зачем было поминать русское царство? Таких вещей, каланча, не говорят! Куда я теперь денусь с женой и грудным младенцем?

Гарсули был осведомлен о том, что капитан Павел Исакович — вдовец, человек заносчивый, но отличный кавалерист. Он отметил, что капитан, даже не потрудившись вытянуться, нахально стоял в позе «вольно». Однако обер-кригскомиссара обманул его мечтательный вид. Павел показался ему тихим и печальным.

Однако на самом деле капитан Исакович отличался безумной храбростью, присущей порой таким вот тихим с виду и задумчивым людям. Пока другие орали, выравнивая лошадей перед атакой и выкрикивая команду «шашки вон», Павел обычно ехал шагом перед сдвоенными рядами своих солдат, затем переходил на рысь, потом — на галоп и, наконец, ни слова не говоря, пригибался к шее лошади и несся во весь опор по зеленой траве, чтобы напоследок, взмахнув саблей, как плеткой, обрушить ее на голову врага. И его солдатам казалось, что они — на учениях, что они мчатся в атаку на соломенных турецких солдат и по команде стреляют из пистолета да рубят саблей по голове.

Не надо, однако, думать, что, сидя в каземате, Павел пел самому себе дифирамбы и радовался тому, что ему представился случай воспротивиться Гарсули. Напротив, Павел был обескуражен и уже не надеялся, что все кончится хорошо. Он все больше убеждался, что им, Исаковичам, лучше было бы оставаться в Турции и что зря они переселились в Австрию.

Жалел он, разумеется, и самого себя, думая о том, что вот он сидит один-одинешенек здесь, в подземелье, а там, наверху, царит весна, стоит чудесный ясный день, которого он не видит и, может, никогда больше не увидит. Там — бесконечные зеленые луга, Бега, зацветшие ивняки, синее небо. И, представляя себе зеленеющую траву, набухающие почками деревья, безоблачное небо, он в этом своем одиночестве мечтал еще хоть раз проскакать по этой траве, остаться в живых, всей грудью вдохнуть весенний воздух.

Когда он, Павел, играет в карты, кутит да угощает, все оказываются его родичами, все хотят с ним побрататься, целуют его, и усы у них влажны от вина. Все поют, все горланят вокруг. Но стоит ему начать про-

игрывать, как все незаметно дают тягу и оставляют его наедине с кирасирами. Он проигрывается в пух и прах и потом возвращается один-одинешенек домой по пустынным улицам Темишвара...

Чтобы избавиться от этих мучительных мыслей, Павел начинал думать о своих конях, о том, кто за ними присмотрит. Он вырос среди лошадей, прожил рядом с ними всю жизнь, и ему приятно было о них вспоминать. У него и у Трифуна в Махале было несколько чистокровных жеребцов. Немало огорчений и беспокойства доставляли ему норовистые кобылы с их причудами, но рано или поздно он укрощал их и добивался своего. Немало повозился он с их копытами, ногами.

Павлу казалось, что лошади не так несчастны, как люди.

Хорошего коня, уверял он самого себя, сразу видать. У такого коня глаза поставлены близко, лоб округлый и взгляд ясный, огневой.

Перед мысленным взором Павла вставал узкий лошадиный храп, он видел продолговатые и красные внутри ноздри, лебединую шею, сухопарую морду, поднимавшийся к челке гребень, шелковистую гриву, короткую лоснящуюся шерсть и длинный хвост. Легко узнать хорошую лошадь по высокому, полуовальному черному копыту. А если посмотреть в ясные глаза коня, то сразу понимаешь, что он тебя не обманет. И стоит ли после этого смотреть в глаза людям, уродам вроде Гарсули? Таким образом кобылы Павла Исаковича как бы побывали у него в тюрьме, чтобы проведать и утешить его. Они промчались у него перед глазами, будто весенний гром, а вернулись черными тучами.

Сидя на табурете и дрожа от холода, Павел думал: откуда Гарсули знает, что он вдовец? Ведь грек сказал, что они оба вдовцы. Ему было странно услышать из уст этого урода имя покойной жены. Он давно уже решил не вспоминать о ней и, казалось, добился этого.

Но вот сейчас она все приходит ему на ум.

Жена Павла Исаковича умерла родами более года тому назад. Павел никогда не говорил о ней, и она как бы стерлась из его памяти. Ничего против нее он не имел, но женился он не по любви, и брак их представлялся ему короткой связью.

После перехода в Славонский гусарский полк отчим Павла Вук Исакович велел ему жениться, и он женился. Сваты Петра сосватали Павлу девицу из того же дома новисадского сенатора Стритцеского. Однако, если за Петра выдали красавицу и богачку Варвару Стритцескую, то Павлу подсунули ее родственницу Катинку Петричевич, круглую сироту, перестарку лет тридцати. Вовсе не уродливую, напротив, но тугую на ухо, и все об этом в Нови-Саде знали. Стритцеский долго упрямился, не желая отдавать свою дочь за схизматика, и согласился лишь после долгих уговоров, но бедную родственницу, выросшую в его доме, выдал сразу, как только офицеры-схизматики перевелись в гусарский полк. Сенатор не спросил даже, в какой церкви они станут крестить своих будущих детей. Уж очень ему хотелось поскорее отделаться от бедной родственницы.

Павла женили быстро — так оно и бывает со старыми холостяками: их венчают не раздумывая, как случают лошадей. Не успели молодые люди познакомиться, как их тут же и окрутили. За Варварой дали богатое приданое, а Катинке вместо приданого сенатор послал в Петроварадин подводу с домашним скарбом. Да еще были у нее перстеньки и сережки, доставшиеся от матери. У Катинки, кроме сенатора, никого на свете не было.

Павел, казалось, вовсе позабыл о жене и вдруг теперь, в каземате, начал вспоминать ее с какой-то теплотой. Ему стало жаль, что он потерял ее и первенца-сына, а потом он подумал, что это к лучшему. Жена не видит его в кандалах и не висит у него на шее сейчас, когда он задумал переселяться. И все-таки она стояла у него перед глазами такой, какой увидел он ее в первый раз.

Ее затмевала богатая родственница, красавица Варвара, но офицеры все же ухаживали и за хорошенькой Катинкой. Однако, узнавая от мамаш-сенаторш, которые, имея на шее собственных дочерей-невест, при первом же удобном случае шепотом давали понять, что она глуха, а к тому же — бесприданница, офицеры шли на попятный. Поэтому, когда другие танцевали, Катинка обычно сидела. Павел Исакович подвернулся как нельзя более кстати.

После того как Стритцеский дал согласие на брак,

сваты устроили Павлу первую встречу с невестой в Петроварадине у старушки, родственницы сенатора — в доме, из окон которого был виден Дунай и подножье Фрушка-Горы.

Катинка Петричевич родилась в 1723 году, таким образом ей уже было под тридцать. В ту пору это считали зазорным и говорили, что перестарка — не невеста. Павла предупредили, что она глуховата и бесприданница, потому он решил задавать ей как можно меньше вопросов, чтобы не ставить ее в неловкое положение. «Боялся, чтобы не получилось,— говорил он потом Юрату: — Али ты глуха? — Купила петуха!»

Однако девушка в отсутствие Варвары казалась весьма привлекательной; у нее были плавные движения и необычайно красивые, словно подернутые дымкой черные глаза. Павел из жалости старался как можно меньше с нею говорить, но она к его удивлению все отлично понимала и отвечала вполне толково и рассудительно.

Варвара в тот день нарядила ее в голубой шелковый кринолин с передничком тоже голубого цвета, только чуть посветлее, затянула в корсетку с розовыми бархатными петлями, сунула в руку черный веер и втолкнула в комнату, как вталкивают в ворота теленка, впопыхах позабыв затворить за ней дверь. Вот такую — в мягком свете ранней осени, освещенную со спины закатным солнцем, покрасневшую от смущения,— и увидел ее Павел. Как большинство сирот и бедных родственников, выросших в богатом доме, Катинка была неловкая, запуганная и очень послушная. Выходила она замуж по воле сенатора и даже не решалась спросить, кто из офицеров ее суженый. Она только немного удивилась, что Павел Исакович — схизматик и что он всего на восемь или девять лет старше ее. Мужчины такого возраста казались ей слишком молодыми. Увидев стройного, высокого, расшаркивающегося перед ней офицера, затянутого в голубой доломан славонских гусар, она испуганно опустила голову.

Павел тотчас обратил внимание на ее красивое, овальное, бледное лицо, высокий лоб, чуть курносый, как у девочки нос, тяжелые пышные косы и большие, глубокие черные глаза. Лицо ее на первый взгляд казалось строгим и даже печальным. Красиво очерчен-

ные губы в начале их разговора едва заметно дрожали. Она споткнулась, это рассмешило Павла, и он, улыбнувшись, галантно подвел ее к стулу.

Сваты — старый майор и его жена — напыщенно, этакими павлинами прохаживались взад и вперед по комнате и болтали как сороки. Майор несколько раз будто ненароком ронял на пол то перчатку, то носовой платок, невеста быстро вскакивала и молча поднимала их с пола. Согласно церемониалу смотрин, следовало показать жениху, что невеста не горбатая, что одна нога у нее не короче другой и поясница хорошо гнется. Павел видел, как легко она поднимается с места и без труда нагибается. По наказу сватов невеста, садясь, должна была приподнимать юбку, открывая ноги почти до колен, грудь у нее была едва прикрыта кружевами.

Таким образом Павел мог лицезреть ее красивые, прямые голени и даже на мгновение — круглое колено, заметил он, что грудь у нее красивая и крепкая. Его благородие капитан Исакович смущенно улыбался.

Когда невесту наконец снова усадили, чтобы она могла участвовать в разговоре, старый майор спросил Павла, нет ли у него неоплаченных долгов. Пока тот отвечал, Катинка смотрела на него не мигая, но видно было, что она не слушает, что мысли ее далеко. Девушка не сводила глаз с человека, который через несколько дней должен был стать ее мужем. Ее бледное от волнения лицо, обрамленное темными волосами, казалось еще бледнее, чем обычно. Время от времени — этого Павел не заметил — она закрывала глаза, и на ее красиво очерченных губах появлялась счастливая улыбка, словно она ела черешни. Капитан понравился ей с первого взгляда. Когда Исакович стал прощаться, сват уже понял, что дело слажено, и велел невесте проводить жениха вниз и пройтись с ним по саду, один конец которого упирался в стену каземата, а другой — уходил куда-то за дом. У садовой калитки Павел сказал, что завтра снова придет и будет просить у сенатора ее руки. Катинка стояла у тына, вдоль которого росли большие подсолнухи, и молча смотрела на жениха темными широко раскрытыми глазами. И он почувствовал, как дрожат в его ладонях ее руки.

Забытое лицо покойной жены появилось в прозрачном голубовато-синем мраке каземата, и Павлу показалось, что она стоит перед ним у стены. Видение было

столь отчетливым, что ему захотелось подойти ближе, он даже поднялся и ощутил боль в затекших ногах, стянутых узкими сапогами. Но едва он сделал два-три шага, и видение исчезло сначала из глаз, потом из памяти. И вот он снова в темнице, наедине с самим собою... Павел с трудом добрел до табурета, на котором просидел всю ночь, не смыкая глаз и прислушиваясь к тишине, которую нарушали прыжки крыс да писк мышей. В камере никого не было, совсем никого, если не считать его собственной тени.

Умершая от родов Катинка месяцами не возникала в его памяти и, казалось, не занимала никакого места в его жизни. Так неужели для того, чтобы он вспомнил о ее существовании, о том, что она была его женою, что она — не тень, не плод воображения, надо было появиться этому уроду Гарсули? Павел вдруг вспомнил, что он был с нею холоден, что зачала она в первую же неделю после свадьбы. Он старался быть с женою ласковым, жалел ее как бедную родственницу, а эта невинная и весьма стыдливая старая дева вдруг превратилась в страстую женщину. Исаковичи обратили внимание на его холодность к жене и на то, что она встречает его с сияющими, широко раскрытыми глазами и целует при всяком удобном случае.

— Слушай, Павел, нивушка у тебя жаждет! — говорил ему бесстыжий Юрат.

Только однажды братья видели, как Павел взял жену на руки и понес вверх по лестнице: у нее начались родовые схватки, и прислуга побежала за повитухой.

Когда Варвара получала из Вены шляпы, в сенаторский дом приглашали и его Катинку. Там ей преподносили одну из шляпок в виде подарка от богатой родственницы, поскольку Павел тратил все деньги на лошадей. Когда Исаковичи уезжали на охоту в Руму или Хртковицы, жена Павла оставалась дома и проводила время, любовно готовя детское приданое. Впрочем, она и раньше не любила ездить верхом.

До свадьбы капитан держал двух служанок-валашек, была у него также и любовница — маленькая актриса из Вены. С ней он прожил года два или три и содержал не только ее, но даже ее родителей. Павел не был волокитой, он мало обращал внимания на женщин. Когда среди гусар заходила о них речь и Юрат, посмеиваясь, спрашивал у Павла, что ему нашепты-

вают по ночам его валашки, оказывалось, что тот даже не понимает их непристойных турецких словечек. Близость с женой ничего нового не принесла Павлу, он только старался быть с нею повежливее.

Но сейчас, к великому своему удивлению, Павел вспоминал свою молодую жену, и ему было жаль, что он не может взять ее за руки, как тогда, в саду, возле крепостных стен Петроварадина. Он весь ушел в воспоминания: слышал ее шепот, чувствовал, как она гладит его рукою по волосам.

Огромное заходящее солнце еще рдело где-то над горой и над Дунаем, а Катинка все стояла перед ним с черным веером в руке, в своем голубом кринолине.

Братья предполагали, что, разговаривая, она, как все глухие, будет кричать и ставить их в неловкое положение, а потому всячески подготавливали Павла и уговаривали его быть снисходительным. На деле же оказалось, что голос у Катинки мелодичный, приятный и совсем не такой уж громкий. Говорила она чуть монотонно, словно ворковала и прислушивалась к собственной речи. С мужем она вообще разговаривала мало и больше смотрела на него.

И вот надо было появиться этому уроду Гарсули, чтобы он, Павел, вспомнил о жене, которая сейчас представлялась ему такой красивой и доброй. Вспомнил он, и как смотрела она на него, умирая, молча, полными слез глазами.

Уткнувшись лицом в скованные руки, Павел так углубился в свои мысли, что даже не услышал, как снаружи в лабиринте коридоров отпирают двери и раздается топот тяжелых сапог. И только когда с железной двери его камеры стали снимать висячие замки, он вздрогнул и услыхал, как кто-то метлой разгоняет мышей и как скрипят засовы.

Вслед за тем блеснули фонари профоса, кузнеца и двух гусар. Павлу пришлось встать; сначала с него сняли ручные кандалы, потом кузнец подошел сзади и сбил оковы с ног. Затем начался церемониал вывода арестанта: Павлу приказали встать в затылок профосу между двумя гусарами, обнажившими сабли, и по команде «шагом марш» все двинулись по коридору, хотя заключенный спотыкался и покачивался из стороны в сторону.

Наверху, в теплой и светлой канцелярии профоса,

их поджидал караульный офицер кирасирского полка графа Сербеллони. Стоя среди комнаты у стола, скрестив ноги, покуривая трубку и насмешливо поглядывая на Павла, он сказал, что должен доставить его, живым или мертвым, в крепость Осек, к графу Гайсруку, а что будет дальше, ему не известно. Капитан может пока лечь поспать и получить ужин с вином. И, если хочет, написать письма. Ему вернут мундир, но саблю он не получит. Потом его поведут в наручниках на Бегу, а на барке освободят от оков. Напоследок офицер посоветовал Павлу вести себя с достоинством, спокойно, чтобы не стать посмешищем гусар. И предупредил, что при первой же попытке к бегству в него будут стрелять.

Потом кирасир подписал несколько бумаг и направился к двери. Павел крикнул ему вслед, что будет жаловаться на незаконный арест и требует отвести его к Гарсули или хотя бы к Энгельсгофену.

Кирасир повернулся и с досадой сказал:

— Гарсули из Темишвара уехал, а беспокоить старика Энгельсгофена неловко. У него и без того из-за вас куча неприятностей, а это еще только начало. И стыдно вам доставлять ему новые хлопоты. Подождите до Осека, а там жалуйтесь хоть самому господу богу.

Потом Павлу принесли его короткий голубой гусарский доломан, часы и табакерку. Профос предложил позвать фельдшера, чтобы тот наложил капитану пластырь на растертые в кровь ноги. Выдали Исаковичу и квитанцию на отобранные деньги. Наконец профос принес ужин и бутылку вина, а жена профоса предложила Павлу постирать белье и пригласить парикмахера, который побреет и причешет его.

И все это — за один талер Марии Терезии.

Кирасир, как Павел позднее рассказывал братьям, ушел и назначил ему rende-vous[1] назавтра в восемь утра.

В ту пору, согласно плану графа Мерси, весь Темишварский Банат предстояло прорезать дорогами. Строились они на месте старых дорог, существовавших еще со времени римлян.

---

[1] Свидание *(фр.)*.

Наряду с дорогами рыли и каналы, опять же согласно плану Мерси, рыли, точно по линейке, вдоль извилистых берегов Тимиша и Беги, которые часто разливались и затопляли большие пространства.

На расстоянии пушечного выстрела от ворот принца Евгения Савойского находился юго-западный форпост — небольшое укрепление со стороны пристани, откуда спускались к Бечкереку барки. Этот форпост был построен на развалинах турецкой караульни и окружен рвами, наполненными водой, в нем кое-как помещалась пушка да офицер с двадцатью бомбардирами-переселенцами из Лотарингии. Под началом этого офицера было еще несколько кавалеристов-расциян, жены которых жили неподалеку в хижинах, среди камышей и кукурузы. Мужья могли посещать их только в те дни, когда меняли белье. Из этих хижин постоянно доносился детский плач.

Весь форпост зарос акацией.

Чуть поодаль, на выгоне, была воздвигнута сторожевая вышка с площадкой между небом и землей: на нее можно было подняться по лестнице из еловых досок. Амбразуры наверху были устланы, словно гнездо аиста, кукурузными стеблями. Аисты там и в самом деле поселились.

Из этих амбразур просматривалась вся округа, и никто не мог ни подойти к Темишвару с запада, ни выйти из него незаметно для часового. Но на вышке давно уже не было часовых, и проезжающие только расписывались в книгах, заведенных в караульне и в таможне. А возле форпоста, на лугу, мирно паслись стреноженные лошади.

И вот сюда в то утро прибыли со своими женами братья Исаковичи, Петр и Юрат. Офицер форпоста предложил им подождать в караулке, но затем охотно согласился с их просьбой разрешить им устроиться на вышке, где его солдаты расстелили несколько славонских ряден. Караульный офицер, тоскуя в одиночестве, спутался с женой одного из своих солдат и теперь боялся, как бы Исаковичи об этом не проведали и слух о том не дошел бы до расквартированного в городе полка.

Исаковичи устроились на скамейках, стоявших на площадке под навесом, где висели гирлянды початков прошлогодней кукурузы и венки красного перца. Слуги внизу поставили у лестницы корзины с едой и бак-

лаги с вином. Все это приготовили для Павла невестки, они даже украсили баклаги, как для свадьбы.

Солнце уже поднялось высоко, все живое — люди, собаки, лошади — попряталось в тени акаций, и на выгоне Исаковичи были одни. В то утром огромные квадраты зеленых плацев до самого Темишвара оставались безлюдными.

Братья прятались в тени на одной стороне площадки, а их жены — на другой. Юрат улегся вниз животом на дощатом полу, как на диване, и смотрел в щель, Петр развалился на скамье, прислонил голову к ее спинке, вытянул ногу на сиденье и неотрывно глядел на небо, словно считал звезды.

Юрат сквозь щель наблюдал за наседкой с цыплятами, которая расхаживала под вышкой на куче мусора, и бросал ей вниз полные горсти кукурузы. Он хохотал, глядя, как птица мечется, стараясь отыскать падающие с неба зерна. Когда кукуруза кончилась, он принялся сыпать табак, забавляясь недоумением курицы, которая, видно, никак не могла понять, чем теперь ее кормит небо.

— Нехорошо поступил Павел,— вдруг сказал Юрат.— Он, конечно, умнее нас всех, но говорить ему о России не следовало. Пора научиться помалкивать. Курица кудахчет, когда снесет яйцо, а до тех пор молчит. Только квохчет, что-то втолковывая своим цыплятам, которых кормит. Зачем было говорить, что мы переселяемся? В последнее время всем нам ни до еды, ни до питья. Шутка ли, продать за полцены свой дом и уехать? Уж кто-кто, а он-то ведь знает, что нам, Исаковичам, никогда не везло! И вот, пожалуйста: теперь нас хотят расселить. Придется выбирать — либо сделаться папистами, либо москалями. Лучше бы, как говорит Трифун, нам из Сербии не уезжать!

Его брат, в голубом, расшитом серебром доломане с серебряными кистями, не поднимая головы и не вынимая трубки изо рта, снисходительно, будто оказывая милость, процедил:

— Павел не виноват, слышишь, толстяк?! Виноват Гарсули. Мы не крепостные, чтобы спрашивать у начальства, можем ли переселяться или нет. Всяк в своем добре волен. А от добра худа не ищут. Не посмеет нас Гарсули заковать в кандалы, потому что за нас Россия заступится. А ты, толстяк, о чем сейчас толкуешь? Па-

вел не по своему капризу так поступил. Все вы подписались! Только вот Шевич уехал, а вы остались! Вот оно как!

— Почему это мы остались?! Остался ведь и ты!

— Мне, толстяк, ни оставаться не хотелось, ни ехать. Там мне лучше не будет. А вот вы все заторопились в Россию. Дескать, там никто на службе без награды не остается. Как бы не так!

— Никакой награды для меня Шевич добиваться не станет.

— Ты мог бы тихо и мирно жить в сербской митрополии, но дьявол не дает тебе покоя. Захотелось в Россию! Полковником стать задумал! Так теперь держись! Раз уж записался, держись!

— Записался я ради своих детей! Пугали, что меня переведут в пехоту!

— А меня вот в гусары перевели! И хоть мне, что ехать, что оставаться,— все едино, но коли записался и руку приложил, то уж не отрекусь! Не хочу быть первым Исаковичем, который нарушил свое слово. Не таковские были наши старики! Еду, и будь что будет! Вот так-то!

Юрат хотел что-то сказать, заерзал, потом даже привстал, но тут же махнул рукой и принялся раскуривать трубку. Когда Юрат так отмахивался, это было верным признаком, что он злится.

Женщины, сидя на противоположной стороне, о чем-то болтали, однако Варвара прислушивалась к речам мужа.

Ее соломенная шляпка спустилась на спину и висела на шнурке, словно корзинка с цветами. Варвара знала, что после приезда Гарсули и ареста Павла им всем грозит опасность, от которой их не сможет или не захочет избавить даже ее отец, сенатор Стритцеский. Ей не хотелось ехать в неведомую и пугающую далекую, холодную страну, куда уже уехали тысячи земляков мужа и точно сгинули в снежной пурге. Ей неприятна была уже одна мысль, что, быть может, придется состариться и умереть там, на чужбине, среди схизматиков, но она не хотела перечить мужу, не хотелось ей,— чего не знали братья,— говорить или делать что-либо и против Павла.

Раз Павел сказал ехать, стало быть надо ехать!

Варвара в прозрачном муслиновом платье сидела

на скамейке спина к спине с невесткой, своей доброй подружкой; она посмеивалась над мужем, которого одолевал рой мух, и внимательно следила за их полетом своими зелеными глазами. Мухи летали от нее к мужу и обратно. Сама она относилась к ним спокойно и даже не шевелилась, но Петр отмахивался от мух обеими руками и весь дергался, когда муха нахально усаживалась ему на нос или на ухо.

Не открывая глаз, с откинутой назад головой, он старался поймать муху наугад, в воздухе, при этом голова его соскальзывала со спинки скамейки. Варвара со смехом указывала невестке на мужа. Грудь у нее колыхалась. Сидела она, по привычке положив ногу на ногу, и придерживала ленту свалившейся шляпы. Было жарко, и она уже несколько раз перекладывала то левую ногу на правую, то правую — на левую, взмахивая ими, точно ветреная мельница крыльями.

Несмотря на кажущуюся веселость, в этой женщине чувствовалась затаенная печаль.

Вдруг она закричала мужу:

— Слушай, чего это ты расхныкался? Наш Павел знает, что делает, не ребенок. Уйти в отставку ему разрешил сам Энгельсгофен, и теперь этого не может отменить даже сама императрица, не то что Гарсули. Другое дело — надо бы Павлу подыскать кого-нибудь вместо покойной Катинки, вот что! Один-одинешенек он на свете! В этом вся беда! Нельзя ему вдовцом оставаться... А вы уже перепугались, закуют-де всех в кандалы. И бросили его одного. Вот оно что!

Варвара говорила на каком-то смешанном наречии, на котором изъяснялись все Исаковичи. Она имела обыкновение все рисовать себе в мрачных красках. Поэтому вдруг добавила:

— Должна тебе сказать, Петр, коли Павел погибнет, я этого не переживу!

Петр вздрогнул, вытаращил глаза и посмотрел на жену, пытаясь поймать ее взгляд. Потом снова опустил голову на спинку скамьи, как на мягкую подушку.

Юрат, повернувшись к невестке, крикнул:

— Слушай, Шокица, хватит тебе трещать да забивать нам голову! Тот мне брат, кто моему добру рад! Хоть Павел и доводится мне двоюродным братом, но я все же не палочка для его барабана. Он ни о чем не думает и никого не спрашивает. Кто его тянул за язык?

Зачем он сказал, что мы переселяемся? Ну и что теперь? Нам — помалкивать, а вам, женщинам,— кудахтать? Вот увидишь, он еще накличет на нас беду! Но ты, Шокица, видать, втюрилась в него, как и моя Анна, вот и явились вы сюда обе обниматься со вдовцом! Ему-то можно ехать в Россию. А куда мне, с грудным младенцем?

Анна, которая в эту минуту положила голову на колени своей невестке, услыхав слова мужа, повернулась к нему и сказала:

— Юрат! Не смей трогать невестку! Я так рассужу. Чего ты разахался? Не твою грудь сосет ребенок. Зачем же плакаться на свою беспомощность? Если мы и переселимся, то не к черту на рога, а в Россию. Уже сколько народу туда уехало! Лучше все распродать, чем позориться перед собой и людьми. А насчет Павла я спрошу тебя: с каких это пор стало зазорно любить брата? И я пойду туда, куда он скажет. И я бы охотно за него душу отдала, если бы мать меня уже тобою не осчастливила. Ты, Цыган, мне муж, а Павел пусть будет всем нам братом. Ладно?

Словно ласково гогочущий черный лебедь, Анна поднялась и, расправив черный кринолин, из-под сросшихся бровей поглядела на мужа своими черными глазами. Юрат хотел что-то возразить, но только махнул рукой. Потом встал и начал спускаться с вышки.

Анна посмотрела ему вслед и добавила:

— Вы оба — сущие турки, не позволяете даже проводить брата сестринскими поцелуями.

Юрат остановился было, но снова только махнул рукой.

Петр посмотрел на них широко раскрытыми глазами, потом опять запрокинул голову, закрыл глаза и улыбнулся.

Тем временем Юрат, спускавшийся с вышки на выгон, вдруг крикнул:

— Вот он, Павел! Везут! Гляди-ка, мало, видать, поиздевались. Приставили ему в сторожа двух гусар.

И в самом деле вдалеке появился экипаж. Он казался маленьким, будто игрушечным, его колеса и лошадиные ноги так и мелькали.

Покуда слуги собирали привезенные для Павла вещи, Петр, глядя вдаль, кричал Юрату:

— Слушай, толстяк! Так вот, оказывается, для чего шли мы на турка, француза и пруссака! Вот для чего подставляли грудь под вражеские пули! Его везут в тюрьму, как разбойника-каторжника, везут за то, что он отстаивал наши права! Для нас праведного суда не существует. А есть только арестантская да два гусара по бокам. Вот увидишь, убьют его в казематах Осека!

— Слушай, Петр! Как это получается по их закону? Разве наши Хртковицы — не митровацкое поместье? Как смеет Гарсули без суда гнать его под охраной гусар? Мы что — вне закона? Погоди-ка, я спрошу об этом профоса!

Анна, услыхав слова мужа, сбежала с вышки, схватила его за руку и стала умолять:

— Юрат! Ради детей! Молчи! Сам знаешь, какой ты вспыльчивый! Если поднимешь руку на профоса, он житья не даст Павлу! Позволь лучше нам, женщинам, расспросить Павла, а вы посидите в сторонке.

Но Юрат, этот сильный человек, никогда грубо не обходившийся с женщинами, а тем более со своей женой, оттолкнул ее, словно она была ему помехой, и сердито крикнул:

— Уйди, тебе говорят! Не то твой Юрат так тебя двинет, что потом только рот разинешь! — И, отступив в сторону, он добавил: — Меня и мой покойный родитель за руку не хватал!

Анна испугалась и закрыла лицо ладонями.

Тем временем Петр спокойно надел на голову кивер и, спускаясь с вышки, крикнул брату:

— Не пори горячки! Сначала разберись и расспроси Павла. А потом уж, коли станет невтерпеж, хватай охрану за вихры. Здесь, толстяк, не место для засады. А коли пришла тебе такая охота, зачем ты привел сюда женщин?

Тем временем Юрат осмотрел свои пистолеты, пошептался со слугами и, точно медведь, стал нетерпеливо ходить взад и вперед. Он не был хвастуном, не искал повода для драки и никогда не тратил лишних слов, перед тем как напасть. Но если майор Исакович выходил из себя из-за какой-нибудь несправедливости, то сперва лишь махал рукою, потом угрожающе ворчал, скрежеща зубами, хрипел и, наконец, нагнув голову, как вепрь, набрасывался на противника и хватал

его. И уж тогда никто не мог вырвать врага живым из лап Юрата, пока тот, изувечив, не отбрасывал его сам.

Между тем большой, тяжелый черный рыдван кирасирского полка приближался, и два гусара, видимо, чтобы разведать обстановку, проскакали карьером мимо Исаковичей. Петр стал рядом с братом, чтобы в случае чего удержать Юрата.

Сопровождавший Павла кирасирский офицер, заметив издали группу людей, подумал, что в их экипаже, верно, сломался шкворень, а увидев женщин, он решил, что это актрисы. Но Павел сказал ему, что там его ждут родственники.

Когда рыдван остановился, кирасир уже снял было свою треуголку, чтобы галантно приветствовать дам, но, взглянув на Юрата, который смотрел волком, и услыхав его ругань, вышел из рыдвана с противоположной стороны и направился в караульное помещение, чтобы выправить бумаги. Кирасирский офицер узнал майора бывшего Подунайского полка, славившегося драчунами и дуэлянтами.

А ему сейчас было не до поединка.

Исакович заверил кирасира, что свидание с родными займет лишь несколько минут, а потом можно будет ехать дальше. Неуверенно переступая ногами, как человек, у которого связаны руки, Павел попытался выйти из рыдвана. И только тут братья увидели на нем кандалы. Они подбежали и помогли ему выйти из экипажа.

Юрат видел, что брат его надломлен; подумав, что Павла пытали в застенке, а может даже покалечили, он подхватил его как ребенка, повыше колен.

И хотя Павел был старше на восемь лет, Юрат ласково, как маленькому, стал говорить ему:

— Братец, братец, что они с тобой сделали?! Знай же, я тоже ни за что не останусь у Гарсули! Думал молча все перетерпеть, но, вижу, так не пойдет! Ты можешь идти? Тяжко мне на тебя глядеть, будто меня самого мучили! Не оставлю я этого, пожалуюсь в Вену ее величеству, пусть судят этого грека. Вот какова наша награда! Нет правды в этом царстве! Одно лишь лицемерие.

Петр поцеловал Павла и тоже подхватил брата как раненого. Ноздри у него раздувались от гнева, он с трудом заговорил:

— Вот оно как, мой апостол. Это тебе награда за раны! Правильно твердит Трифун, что мы, Исаковичи, в награду за ревностную службу, еще будем, как бурлаки, барки тянуть. Видишь, каланча, чем кончилось твое переселение в Россию? Попал под арест! Но мы этого так не оставим!

Павел, став наконец на землю, сказал братьям, что ничего особенного с ним не случилось, он лишь немного отощал и не выспался, только и всего. И пусть они хоть не расстраивают своих жен.

Но Петр по-прежнему вел его под руку, точно раненого, и шептал:

— Не бойся, апостол, снимет с тебя Гарсули эти кандалы! Я этого добьюсь, пусть даже потом мне придется торговать тюрбанами или в подштанниках на паперти милостыню просить. Не допущу такого поругания справедливости!

Поддерживая Павла, Петр нечаянно коснулся кандалов; он выругался и, заикаясь от бешенства, прорычал:

— Заковали, сволочи! Как разбойника! Слушай, брат, купи у них эти наручники, как приедешь в Осек. Заплати сколько спросят. За мой счет. Буду их показывать сирмийским гусарам, чтобы помнили кирасир графа Сербеллони.

Юрат тем временем сбегал за табуретом, который они захватили с собой, чтобы усадить Павла. Женщины, точно окаменев, стояли и смотрели, как их мужья ведут этого сильного и статного красавца, словно ему в застенке переломали руки и ноги.

Первой подошла со слезами на глазах Анна. Обняв Павла за шею, она по-сестрински поцеловала его и принялась гладить, как малого ребенка, приговаривая:

— Павел, бедненький! Сердце разрывается на тебя глядючи. Ох! Болят у тебя раны? Очень больно?

Варвара же стояла перед Павлом, широко раскрыв глаза, бледная как смерть, казалось, она вот-вот упадет. В правой руке она держала корзинку с фруктами, не зная, что с нею делать. Наконец, пронзительно вскрикнув, она кинулась к Павлу, поцеловала его совсем не по-сестрински и, не сводя с него глаз, как безумная запричитала:

— Нету счастья! Нету счастья!..

Обе невестки были привязаны к Павлу, но в глазах

и в голосе Варвары звучало нечто такое, чего Петр не мог ни понять, ни простить. Любовь Анны была открытая, спокойная, ясная, сестринская, а в любви Варвары таилось что-то пугливое, робкое, но страстное и безумное.

Павел, видимо, ничего этого не замечал и не понимал. Он принялся утешать Варвару, как утешал бы, наверно, сестру, если бы она у него была:

— Не бойся, Шокица,— говорил он.— Не бойся. Ничего они мне не сделают. Ничего со мной не случится!

В семье Исаковичей всем давали прозвища, потому Петр и окрестил католичку жену «Шокицей», так все Варвару и звали. В этом прозвище не было ни презрения, ни тем более религиозной ненависти. Покойная жена Павла приняла православие, а Петр не потребовал этого от своей жены. Среди офицеров Подунавья часто встречались такие смешанные браки, тогда как среди гражданского населения царила религиозная нетерпимость, и никому из штатских в голову не пришло бы жениться на униатке. Юрат обычно говорил: «Как отцу, так и шокацу!» А рассердившись на своих друзей-католиков, замечал: «У вас папа с крестом, а у нас черт с хвостом! Всякому свое!»

Тем временем Анна отошла от Павла, а Варвара, не помня себя, истерически зарыдала. Петр удивленно поглядел на жену, но ничего не сказал.

Много времени спустя братья вспоминали, что Павел в те минуты был среди них самым рассудительным, спокойным и сохранял присутствие духа. Он сидел на табурете и неторопливо потягивал вино из фляги, которую принес Юрат. Просил всех успокоиться и ничего не бояться. Уверял, что может долго продержаться в седле, значит вынесет и любое путешествие в экипаже или в барке, вытерпит и заточение. Никто в узилище его не пытал. Исаковичей тут слишком хорошо знают, никто бы не посмел его тронуть. И никогда его не повесят. Руки коротки! А если Гарсули решил с ними расквитаться, то сделает это иначе. Не напоказ всему свету. Разошлет их по разным полкам. Ограбит. А его, Павла, отравит, как отравили Рашковича. Даст ему в Осеке или в Вене выпить кофе.

Когда он, посмеиваясь, говорил об этом, Варвара снова вскрикнула.

— Зачем ты, Петр, привел женщин? — обращаясь

к брату, спросил Павел.— Видишь, какое доброе сердце у твоей Шокицы. Зачем ей на меня на такого глядеть?

Юрат между тем непрестанно предлагал Павлу выпить:

— Пей, Павел, пей, до парома еще далеко. Если погибнешь, я отомщу. Запомнят кирасиры тот день, когда везли тебя в тюрьму!

Петр сердился на жену, но был слишком горд, чтобы это показывать. Взяв Варвару за руку, он отвел ее в сторонку, усадил и стал успокаивать:

— Разве можно быть такой глупой, Шокица? Неужели ты думаешь, что его тут, прямо у тебя на глазах, расстреляют? Посиди здесь. Утри слезы. Все вы, женщины, завзятые плакальщицы. Негоже при таких обстоятельствах слезы лить!

Потом Павел шепнул братьям, что задумал бежать с барки.

Все снова заволновались, на этот раз ударилась в плач и Анна. Она боялась, что его убьют при попытке к бегству.

Он лишь посмотрел на нее и улыбнулся.

Павел решил бежать сначала в Буду, а оттуда в Вену, чтобы добраться до русского посла, графа Бестужева и заручиться его покровительством. От переселения он отказываться не намерен.

Юрат хотел что-то сказать, но передумал и только махнул рукой.

Павел сообщил еще, что уже отправил в Вену деньги. И пусть теперь братья скажут твердо, раз и навсегда, хотят они переселяться в Россию или нет? Если хотят, то он будет просить графа Бестужева выдать паспорта для всех Исаковичей.

Варвара крикнула:

— Павел, мы все поедем с тобой! Я буду тебе сестрою вместо покойной Катинки. Но негоже тебе скитаться по свету вдовцом. Плохо это. Что может быть хуже одиночества? Женись! Будь ты женат, может, ты бы никуда и не поехал.

По примеру Варвары и Анна, в свою очередь, принялась утешать Павла; она заговорила нежно и ласково:

— Послушай, что тебе Анна скажет, мой милый. Ты ведь знаешь, Россия далеко, а у меня малые ребята.

Но я за то, чтобы ехать. Если ты твердо уверен, что надо переселяться туда, так и сделаем. Здесь я каждый день умираю от страха, что Юрат кого-нибудь убьет! Пусть пишут там, в Вене, что все мы едем — и дети, и я, и Джюрдже. Я за то, чтобы переселяться. Такая уж я. Куда, спросишь? Куда скажешь.

Юрат, как всегда, яростно махал рукой, когда жена решала что-нибудь за него: он знал, что потом ничего уже не изменишь. Он был потрясен, увидев осунувшегося, усталого Павла со связанными руками; однако, понимая всю опасность затеянного переселения, спохватился:

— Потягался бы я силою и с сотней таких Гарсули, но в этом царстве лицемеров борются только бумагами — здесь побеждают указы, постановления да акты. Как я оставлю беднягу Трифуна? Что с ним тут будет без меня? Грех обманывать человека, у которого шестеро детей. Ну, а если мы поедем и в пути умрет кто-нибудь из Трифуновых детей? Что я скажу Кумрии? Ведь материнское проклятье, Павел, точно жернов на шее! Вот что я тебе скажу. Не слушай женщин! Молчи ты о России, а коли доберешься когда-нибудь до своего Бездушева, шли нам весточку, чтобы тронулся в путь весь наш род. Знаю и я, где собираются в Вене славонцы. Знаю, и где трактир «Ангел» помещается.

Петр не спускал глаз с Юрата и с женщин, потом подошел к Павлу и сказал:

— Слушай меня, каланча, а не женщин и Юрата. Вот так-то!.. Худо, как говорится, жить тому, у кого ничего нет в дому. Ты, Павел, малость оскудел, но ежели тебя гонит в Россию бедность, брось об этом думать! Все, что есть у меня и у моей Варвары, считай своим, как если бы от отца унаследовал! Пусть тебя судят в Осеке, спокойно жди решения суда. Я попрошу тестя обратиться к его сиятельству графу Гайсруку. Они еще узнают, чего мы стоим!

— Дело, мой мальчик, вовсе не в талерах. Беда в том, что тут нам приходится терпеть такой позор. Шевичи, Вуичи, Прерадовичи, Продановичи, Янковичи, Чорбы, Перичи уехали, уехал и Текелия. И что же дальше? Неужто одни мы, Исаковичи, останемся? С владыкой Василием двинулась вся Черногория. В Триесте ждет прибывшая морем беднота с албанской стороны. Митровица битком набита беднотой из Срема.

Неужто нам с позором идти на поклон к венецианцам или к австрийским скопцам? Или у тебя, Петр, ворона мозги выклевала?

Покуда Павел говорил, Петр бледнел все больше. Сердито усмехнувшись, он, побелев как полотно, сказал:

— Если ты, каланча, едешь только ради нашей чести и доброго имени, то почему заговорил о талерах? А коли на то пошло, я с тобой: куда ты, туда и я. Все, что мы писали с Шевичем, мне по сердцу, и никто не заставит меня отступиться — ни Гарсули, ни Трифун, ни моя жена. Знай, что пока есть у меня конь да пистолет, я от своей подписи не откажусь. Чтобы меня выкорчевали из нашего рода? Как бы не так!

Павел встал и обнял брата. Все зашумели, послышались возгласы, а Юрат, точно медведь, заходил вокруг них, махая рукой.

Анна повисла на руке у Павла и, весело смеясь, заворковала:

— Только получим от тебя весточку, Павел, тут же и приедем в Вену, требовать свои права!

Варвара, тоже очень довольная, опираясь на руку мужа, дергала Павла за рукав.

— Сказал, что убежишь,— говорила она,— вот сердце у меня и разрывается! Боюсь, убьют тебя! Неловок ты в жизни, Павел, а все потому, что вдовец. Не улыбнулось тебе счастье, клянусь памятью Катинки. Погибнешь ты один, без жены, мыкаясь по свету. Негоже быть одному. Жена тебе нужна, у вдовца жизнь — горе-гореванное.

Между тем кирасир закончил свои дела, вышел из караулки и уселся в рыдван, ожидая, пока кончится семейное прощание. Время от времени он кричал что-то своим гусарам, и его слова вызывали у них громкий смех. Потом, посмотрев на привезенные Павлу гостинцы, лежавшие на дне экипажа, кирасир принялся пробовать вина.

— Скажите капитану, что пора в дорогу! — крикнул он наконец слугам.

Тогда Павел стал прощаться.

— Не бойтесь ничего! Я поехал! — сказал он Петру и Анне.— Не надо меня оплакивать и рыть мне, как толстяк Джюрдже, могилу в Хртковицах. До Осека далеко. Верьте, доберусь я и до Вены и до Бестужева.

Теперь Павел снова выглядел тем высоким, надменным капитаном с надушенными усами, которого они знали уже столько лет. Парикмахер в то утро причесал его золотистые волосы, и они вились кольцами. Серебряные пуговицы на его славонском мундире блестели. А на груди, словно пару голубей, он держал свои закованные руки. И казалось, примирился с этим. Спокойно взирал он на родню своими голубыми ясными глазами, в которых никогда никто не видел и слезинки.

— Что бы вы ни услыхали обо мне, не верьте,— говорил он,— я убегу с первого же причала и доберусь до Вены. Живым в руки Гарсули я не дамся. Погляди, Шокица, на равнину — это скаковое поле для наездника, о котором можно только мечтать. Если нынче вечером, когда спустится мрак и поле расстелется перед кирасиром и его гусарами, как мягкая перина, мне удастся как-нибудь добраться до коня, я буду скакать наперегонки с ними до самой Бачки и стану петлять так, чтобы они очумели среди этих болот, чтобы не знали, где я — спереди, справа или слева. Только бы ночка выдалась потемней. Не бойся, Шокица, я тенью проскачу... А вот насчет женитьбы, то какой уж я жених! Беда ко мне давно привязалась. Горем было бы и супружество. Грех сюда впутывать другого человека.

Казалось, Павел вдруг переполнился радостью; он торопливо зашагал и поднялся в рыдван. Юрат его поддерживал, свирепо тараща глаза на кирасира. Петр подмигнул Павлу, скосил глаз на пистолет конвойного офицера и сказал:

— Будь умницей, каланча! Поезжай с богом, горе ты мое! До чего ж ты бешеный. Зачем так расстроил мою жену?

Когда огромные тяжелые кавалерийские лошади, пуская от напряжения ветры, потащили рыдван, кирасир поднялся, поклонился женщинам и, размахивая шляпой, крикнул:

— Au revoir! [1]

Потом рыдван, миновав шлагбаум за форпостом, еще какое-то время был виден на поросшей по обочинам камышом дороге. Быстро и однообразно плясали

---

[1] До свидания! *(фр.)*

лошадиные ноги и копыта, мелькали спицы колес, экипаж быстро удалялся.

Затем все исчезло в облаке пыли, клубившейся между двумя рядами тополей.

Так родичи проводили Павла Исаковича.

Было это накануне недели святых отцов первого вселенского собора, в день Пахомия Великого, в мае 1752 года.

III

Умолкла песня под акациями в Махале

Прибывший в Темишвар в мае 1752 года в связи с возникшими беспорядками среди расформированной сербской милиции, которая хотела переселиться в Россию, обер-кригскомиссар Гарсули наконец уехал. Он закончил следствие по делу офицеров-сербов, арестовал зачинщиков и был в полной уверенности, что превосходно справился со своей задачей.

Его благородие ротмистра Павла Исаковича предстояло препроводить в Осек и передать графу Гайсруку. А братья его должны были отправиться по местам нового назначения. Майор Юрат Исакович и лейтенант первого класса Петр Исакович ожидали только, пока им выправят бумаги. Трифуну Исаковичу надлежало явиться в Брод к командиру пехотного полка барону фон Янусу, вернее к его помощнику, подполковнику барону фон Ритбергу.

Таким образом, Исаковичам предстояло разъехаться и исчезнуть.

Punctum! [1]

Гарсули послал обо всем этом рапорт Военному совету в Вену. Как павлин он прошелся по белому листу своим красивым каллиграфическим почерком и в конце поставил подпись со множеством закорючек, согласно принятому в то время в австрийской армии испанскому церемониалу.

«Судьба Исаковичей, — думал Гарсули, — теперь решена!»

Легкая, черная, дорожная карета выехала после

---

[1] Точка! *(нем.)*

всего происшедшего из ворот принца Евгения Савойского в сопровождении поблескивавших оружием кирасир и скрылась под быстрый перепляс конских копыт в облаке удушливой пыли, которую Гарсули неизменно поднимал, куда-нибудь приезжая или откуда-нибудь уезжая.

Гарсули выехал из Темишвара на другой день после праздника тела господня, хотя фельдмаршал-лейтенант Франц Карл Леопольд барон фон Энгельсгофен и давал ему в письме совет подождать немного и поглядеть, каковы в ближайшее время будут последствия мудрого обращения обер-кригскомиссара с сербами.

Старик утверждал, что сербы — странный народ, что обер-кригскомиссар их совсем не знает. Они-де падки на почести, любят медали и готовы душу отдать чужеземцу. Но, поняв, что их обманывают, что им лгут, не держат данного им слова, запоминают это. Запоминают на века!

— С турками,— утверждал Энгельсгофен,— у них старые счеты из-за какого-то Косова (барон писал: «Cossova»), а прошло с тех пор около трехсот шестидесяти лет. Сербы ничего не забывают! Это весьма непослушный и дикий народ. Ein äusserst unbotmässiges und wildes Element! [1]

Однако грек пренебрег письмом фельдмаршал-лейтенанта и уехал.

Не прошло и трех дней, как по Темишвару поползли слухи, будто Павел Исакович бежал с барки, плывшей по Беге, в первую же ночь, а сопровождавший его офицер арестован, привезен в крепость, и его будут судить за измену; говорили, что уже задержаны и допрошены Трифун, Юрат и Петр Исакович, но, поскольку к бегству они оказались непричастными, их отпустили и приказали поскорее выехать из города.

Надоели, видать, они и родному отцу сербов — старому Энгельсгофену.

Первым из братьев пострадал Петр.

Его тесть, многоумный сенатор Стритцеский, еще до побега Павла примчался из Нови-Сада в Темишвар — спасать зятя и дочь. Услыхав, что они и теперь

[1] Элемент крайне непослушный и дикий! *(нем.)*

не желают отказаться от своего намерения переселиться в Россию, он словно обезумел и затеял с ними бурную ссору. В порыве яростного гнева старик Стритцеский, грозно топорща седые усы, накинулся было с кулаками на Петра. Обозвал его цыганом. Кричал, что выдал замуж дочь вовсе не для того, чтобы она скиталась по свету, а чтобы она покоила отцовскую старость. Что он хочет видеть ее в смертный час у своего изголовья.

Пришлось поставить ему на затылок пиявки.

Сенатор проклинал тот день, когда познакомился с Исаковичами. И пожелал, чтобы им всем не было ни дна ни покрышки.

Бедняга Петр только скрежетал зубами, оправдывался и наконец крикнул сенатору, чтобы тот забирал свою дочь, если она на это согласна! И хлопнул дверью так, что во всем трактире задрожали стекла.

Отец Анны, кривоногий, всегда улыбающийся сенатор Яков Богданович, тоже примчался из Нови-Сада повидаться с зятем и дочерью. Правда, он не проклинал их, но тоже шумел и грозился:

— И слышать не желаю,— кричал он,— чтобы моя дочь переселялась в Россию! Будь разрешение, куда ни шло, но сейчас и речи о том быть не может! Не отдам дочь! А ты, Джюрдже, возвращай приданое!

Бедняга Юрат колебался.

Он признался тестю, что его и самого не тянет в Россию, но, поскольку он обещал брату и уже внесен в список Шевича, сейчас отказаться уже трудно. Если бы можно было как-нибудь выкрутиться, он готов, но как?

Услыхав слова мужа, Анна покраснела от стыда и заплакала. Тогда сенатор со своей стороны заявил, что он, собственно, ничего не имеет против их отъезда, воспротивилась этому его жена, Агриппина Богданович, мать Анны, и требует отдать ей внуков. Пусть, мол, живут в доме у бабки! А если уж им суждено уехать, то пусть хоть до отъезда в Россию поживут с бабкой и дедом — им на радость и утешение! Достойного Юрата Исаковича это очень растрогало. Тесть и зять долго еще потом выпивали, и при расставании на глазах у обоих блестели слезы.

Юрат и Петр Исаковичи с женами стали готовиться к отъезду. По вечерам мужчины, понурясь, сидели в трак-

тире, словно в ожидании вести о смерти родича. Однако хуже всего приходилось четвертому Исаковичу, Трифуну. Он был не только самый из них старший, но и самый бедный и многодетный — было у него шестеро ребят, мал мала меньше. Он не мог остановиться, подобно братьям, в трактире и жил вместе со своими граничарами в Махале. А ко всему еще его жена не только не одобряла переселение в Россию, но и грозилась уехать в Руму к своему отцу, одеяльщику Гроздину. Уже несколько дней супруги не разговаривали друг с другом. Что касается Трифуновых граничар, то Гарсули придумал им работу: возить с Беги и с Тимиша гравий для прокладки шоссе. И велел взимать с них подать за рыбную ловлю на Беге. А тем, кто хочет переселиться в Россию, приказал сносить дома, которые не стоят на одной линии, и строить новые. С тех пор, как Трифуновым солдатам прочли этот приказ, они каждое утро являлись к дому майора и кричали, что не станут таскать ни песок с Беги, ни гравий с Тимиша, а что до рыбной ловли, то пусть их бог избавит от такой рыбалки!

Не будут они платить подати!

Темишварское начальство в ответ на это заявляло, что всем переселяющимся нечего больше делать в Темишваре, пусть-де уезжают в Срем, в Славонию и ждут там, под шатрами, пока Россия не вышлет за ними царские сани!

Таким образом, Трифун в те последние дни мая досыта нагляделся на позор и унижения махалчан, но не в силах был им помочь; он лишь проклинал судьбу за то, что ему приходится быть свидетелем того, как гусары гонят их на Бегу за песком. Каждое утро в село приходили инженеры и землемеры, наблюдавшие за прокладкой шоссе. Они расставляли свои рейки, секстанты, астролябии, нивелиры, теодолиты и приказывали сносить некоторые строения. Являлся и Einnehmer[1], чтобы получить подать за рыбную ловлю.

Он приходил, несмотря на жарищу, всякий день, и его узнавали еще издали по длинному синему сюртуку; такие сюртуки в те времена носили на Рейне и в Лотарингии. Будучи человеком добродушным, он улыбался махалчанам, однако неустанно повторял по-серб-

---

[1] Сборщик податей *(нем.)*.

ски единственное известное ему слово: «Плати!» Махалчане нехорошо поминали бога, вздыхали да охали.

Немец посмеивался и повторял вслед за ними: «О боже, боже!» А вооруженные пистолетами гусары не отставали от него ни на шаг.

Трифун смотрел на все это из своего слепленного из глины дома, стоявшего у околицы Махалы, на пепелище турецкой караулки, от которой остались одни только трубы. Чисто побеленный дом стоял на небольшом холме, его голубые турецкие рамы и стекла в свинцовой оправе были видны издалека.

Летом в доме пахло глиной, зимою стены покрывались подтеками, но махалчане говорили, будто он битком набит дорогой мебелью, а Трифунова жена расхаживает в нем вся увешанная драгоценностями, и именовали они его не иначе, как «Трифунов дворец». Позади дома был старый водоем, его выложили камнем, и теперь он служил Трифуну местом для отдыха в саду. В этом сильно запущенном саду сейчас цвели майские розы. Сидя среди цветов, Трифун видел заросшую акацией Махалу, а дальше, над зелеными плацами для учений,— Темишвар с его рвами, башнями, укреплениями и горевшими на солнце окнами домов.

Над барочными домами синело низкое, теплое небо. Плацы с рыжими подпалинами были теперь безлюдны, а камыш у пороховых погребов высок. Хотя эти глубокие погреба были окружены рвами, Темишвар жил из-за них в вечном страхе.

Видел Трифун, как неподалеку от села, на выгоне, паслись стреноженные кони, которые скакали, точно огромные кузнечики, видел он женщин у колодца, что шли, покачиваясь под коромыслом с двумя ушатами, полными воды.

Он всегда питал слабость к женщинам из народа и в молодости этим славился. Впрочем, все Исаковичи в молодости были мастаки по женской части. Только Павел до женитьбы путался с актрисой из Вены, а Трифун предпочитал соотечественниц из окрестных сел.

И выбирал он их именно тогда, когда они шли с коромыслом на плечах, неся полные ведра с водой.

Этот четвертый Исакович родился в 1700 году, еще в Сербии семнадцатилетним юношей вступил в австрийскую армию и участвовал во всех войнах. Сейчас его редко можно было увидеть веселым.

Надежды его на лучшую жизнь рухнули. Он переселился в Срем, построил со своими родичами и священником Теодором село Хртковицы, однако его надежды на лучшую жизнь оказались тщетными. И теперь этот уравновешенный, молчаливый, пятидесятидвухлетний человек смотрел на жизнь и переносил любое несчастье с присущей его возрасту меланхолической покорностью. Трудности возникли у него с бывшими граничарами в Махале: хотя их было тут немного, они и слышать не хотели о переселении в Россию и намеревались оказать вооруженное сопротивление даже гарнизону Темишвара, а планы Исаковича считали офицерской блажью. Эти люди требовали вычеркнуть их из списка переселенцев, прежде чем Трифун уедет из Махалы в пехотный полк, в Брод. Они говорили, что в случае чего вернутся обратно в Сербию, то есть в Турцию, что не желают идти к помещикам и быть паорами. Если же темишварцы попытаются их прогнать, то у них, дескать, найдутся и порох и свинец, а там уж видно будет, кому достанутся постолы, а кому оборы. Им-де, кроме жизни, терять нечего, а она уж давно опостылела.

Трифун, боевой офицер, ходивший и на француза и на пруссака в 1744 году, понимал, что их упрямство глупо и приведет оно к беде. В результате солдатских бунтов в Потисье насчитывалось уже несколько убитых граничар и немало разрушенных домов. Опасаясь еще больших бед, горемыка Трифун решил переселиться со своими людьми в здешний военный округ, но они вели себя тут, как в Среме. И потому собирались в последние дни перед его домом и кричали:

— Мы к помещикам не пойдем!

Недовольных возглавлял дальний родич Исаковичей — Меанджич.

Когда начались беспорядки, Трифун все упорнее стал требовать разрешения переселиться в Россию, но Темишвар оттягивал решение, и вот теперь его переводят в пехотный полк!.. Тщетно он твердил своим солдатам, что Австрия в них больше не нуждается. После приезда Гарсули в Темишвар Трифун понял, что переселиться им не позволят. Мыкаясь так вот уже два года в ожидании переселения, страшась каждый раз бунта во время смотров, мучась, когда надо было выпрашивать новое обмундирование, Трифун постепенно

превратился в седого, желчного человека; он теперь часто, как и его братья, скрипел зубами.

И когда Трифун оглядывал теперь всю свою жизнь, то припоминал лишь несколько счастливых дней и недель.

Несчастье, постигшее Исаковичей в ту весну в Темишваре, беда с Павлом, тюрьма, допросы, а особенно ссора с женою — Кумрией, которая стала неузнаваемой с тех пор, как он задумал переезжать в Россию,— все это окончательно доконало Трифуна.

И вот сейчас жена едет к отцу, а захочет ли она переселиться с ним в Россию или нет, пусть сама решает. Словом, как пресловутая шапка Юсуфа: либо пить, либо шапку купить! Таким-то образом, Трифун ныне утратил то, что сирмийские гусары называли умением ориентироваться.

Он бесцельно бродил по дому и возле дома, размышляя над тем, что же ему делать. Поднимался на свой водоем и, пригорюнившись, сидел там, не зная, куда себя девать. Жизнь теряла для него всякий смысл.

Отсюда мы и продолжим наш рассказ.

Разбуженные рано утром, умытые и одетые, дети не плакали. Напротив, Трифун видел, как они, сидя в телеге, весело, словно выводок гусят или утят, выглядывают из соломы. Им было сказано, что они поплывут по воде, по Беге, а это было чем-то необычным — все равно как для взрослых путешествие по морю. Потому они были счастливы, умирали от любопытства и даже не подозревали, что мать, может быть, навсегда покидает их отца.

Заливался только самый младший, еще грудной младенец, которого держала на руках кормилица Стаменка, жена пономаря Цветко Вуцанича.

Эта рослая, грудастая крестьянка с большими черными глазами, первая певунья в округе, любила Трифуновых детей как своих и была им всем матерью. Сейчас она баюкала младшего ребенка. У нее была своя метода: усевшись и прислонясь спиной к стене, она брала ребенка к себе на колени и, часами качая его, пела, пока он не засыпал.

В то утро злополучный Трифун подошел к воротам, чтобы попрощаться с детьми. Целуя их и гладя по головенкам, он говорил, что поедет на другой повозке. Дети обнимали его, смеялись, и мысли не допуская,

что отец их обманывает. А когда повозка тронулась, Трифун вернулся на свой водоем, чтобы дождаться там жены, которая должна была ехать в другой повозке. Здесь, среди цветов, словно на сторожевой вышке, откуда была видна вся Махала, обычно стояли стулья и столики с кофейниками, чашками и трубками. Но в то утро, с какого мы продолжаем нашу историю, там стоял только столик эбенового дерева, черный с белым перламутром, и два трехногих табурета. Все в доме было готово к переселению.

Здесь Трифун и ждал в тот день жену, ждал, подавленный и точно побитый, похожий на мертвеца. Он смотрел на лежавшую в двухстах шагах от него Махалу и отчетливо видел инженера, сборщика податей в синем сюртуке и гусар, которые расталкивали толпу. Из какой-то лачуги выбегали голые и босые дети, точно пчелы вылетали из улья.

Перестройка Махалы шла туго, дома тут были либо беспорядочно разбросаны под акациями, либо сбиты в кучу, либо прятались, как грибы в лесу. Трифун подумал, что так здесь будет и после его отъезда, и когда вообще не станет Исаковичей. Длинная вереница телег выезжала из Махалы в сторону Беги, и Трифун знал, что вечером он издалека увидит, как они, груженные песком и гравием, поползут обратно, словно огромная гусеница.

То, что приходилось запрягать лошадей и таскать песок да камень, доводило несчастных жителей Махалы до безумия. Темишварский приказ безропотно выполняли только многодетные. И бедняга Трифун не имел больше права ни во что вмешиваться при всем своем желании. Юрат говорил ему:

— Не имеешь права, старик! Не имеешь права, de jure![1]

Но Трифун, хотя и числился уже под началом командира пехотного полка в Броде, барона фон Януса, до самого отъезда протестовал в Темишваре против великих обид, которые чинят его ветеранам, воевавшим за Марию Терезию. Ведь статусу камеральному ветераны не подвластны, а поскольку, согласно статусу военному, они отпущены из армии, то все их права до переселения в Россию остаются за ними. «Это противо-

[1] в силу закона *(лат.)*.

речит,— писал Трифун в своем рапорте,— и смыслу и духу «Привилегий», дарованных сербскому народу. А ведь «Привилегии» эти были объявлены глашатаями во всех селах, о них известно и его злосчастным беднякам. Они оглашены были в церквах всего Потисья и почитаются как святыня. Махале приходится содержать около тридцати инвалидов, и грешно сейчас брать с жителей подать за рыбную ловлю в лужах!»

Трифун заклинал махалчан не терять надежды. И уверял, что переселение в Россию — вовсе не офицерские бредни, оно сулит спасение от бед, избавление от нищеты, насилия, унижений и мук. Поэтому пусть они Исаковичей не поносят! Это ведь не выдумки Исаковичей, а, как уже объяснял солдатам Юрат, «референдум»! Принятый общим голосованием, правомочный референдум всего Поморья и Потисья! Трифун говорил, что надо только продержаться еще немного. Австрия — старая ведьма, но это ее последние судорожные потуги. В России уже находится список генерала Шевича. Темишвар не имеет права запретить им переселиться. Его брат Павел уже в пути. Только не следует болтать об этом, надо помалкивать и ждать.

В большинстве своем махалчане были на стороне Трифуна, они хорошо понимали, куда метил Гарсули, когда приказал им таскать песок с Беги и сносить дома, если те не стоят по шнурку инженера. Кавалеристы Трифуна, даже самые бедные, во время войн повидали немало. Они знали, что в мире царит не патрон Исаковичей святой Мрат, а ложь, обман, злодейство, соблазн и клевета. Эти простодушные ветераны вовсе не были так уж глупы и смекали, куда гнет Темишвар. Они прекрасно понимали, что означала конфискация оружия и почему в их лачугах искали порох и свинец. Темишвар задумал, отняв у них ружья, замучить их трудовыми повинностями, задушить податями и таким путем заставить отказаться от переселения в Россию. Хотят превратить их в крепостных, или — как они выговаривали на свой лад — в паоров! Неученые и неграмотные, но смышленые и упрямые махалчане по ночам, в темных углах, из уст в уста передавали вести, как передают из дома в дом уголек.

Они знали, чего хотят темишварские господа!

Фельдмаршал-лейтенант барон фон Энгельсгофен,

который для сербов был, что отец родной, называл это: уломать! Mürbe machen![1]

А Гарсули цинично говорил: greifen[2] за глотку!

Трифун постарел за эти дни лет на десять. Стройный, высокий, почти такого же роста, как Павел, но не такой красивый и холеный, майор Исакович стал теперь сухим, жилистым и, когда садился, напоминал вросшую в землю узловатую корягу старого дуба. Не хватало только, чтоб с нее кричали совы.

Его усатое костистое лицо со впалыми щеками, высоким лбом, тяжелыми челюстями и большим носом, которое, да простит меня бог, всего лишь десять лет тому назад напоминало Кумрии, дочери одеяльщика, лик архангела Михаила, сейчас подурнело. И, как это часто бывает у старых кавалеристов, смахивало теперь на лошадиную морду.

Его кудри, которые прежде были, как и у Павла, цвета старого золота, ныне порыжели, поседели, стали жесткими. Такой же щеткой торчали и усы, к которым — это было всякому ясно — давно уже не прикасалась рука парикмахера. Большие серые глаза, отливавшие светлым серебром, поблекли. И становились все более водянистыми, наполнялись той водой, что в конце концов затопляет без возврата весь мир.

Трифун курил почти не переставая.

В нем уже не осталось ничего привлекательного — ни улыбки, ни ярких губ, ни белых зубов, даже его гусарский доломан и треуголка были ветхие и потрепанные.

Порыжели и алые гусарские чикчиры. А желтые сапоги стали совсем обшарпанные.

Женщины в Темишваре, даже служанки, больше не смотрели вслед этому офицеру.

Как и его брат Юрат, он прославился во время последней войны тем, что взял в плен несколько неприятельских офицеров, однако в окружении графа Гайсрука об этом давно забыли. А после того как Трифуна с его людьми привели в Темишвар, посадили на гауптвахту, таскали и мучили, в штабе корпуса его имя уже не упоминалось.

Трифун, как и Павел, был страстный игрок, и в по-

[1] Сломить сопротивление! *(нем.)*
[2] Схватить *(нем.)*.

следнее время много проигрывал в фараон. Понурый и угрюмый, возвращался он домой после карточной игры. И дочь одеяльщика Гроздина не могла ему этого простить. Однако не только бедность заставила Трифуна поселиться с женой и детьми среди болот, у околицы Махалы. Существовала и какая-то духовная общность, связывавшая Исаковичей, несмотря на сословное различие, как с махалчанами, так и с последовавшей за ними в Потисье беднотой. И братья хранили эту духовную связь, как завет Вука Исаковича, иначе говоря, господина Волкана, командира Славонско-Подунайского полка. Намерение переселиться в Россию они тоже «унаследовали» от Вука. В тот год после войны с турками из Вены в Срем впервые прибыл русский посол в Австрии Возницын и, объезжая монастыри, посетил также их Шишатово. В то время Исаковичи жили как бы двумя жизнями: собственной и жизнью своих отбывших службу солдат. С доброй половиной Махалы они состояли в родстве, а с остальными — в кумовстве. Поэтому, где бы Исаковичи не находились, они ежедневно час или два мысленно пребывали в Махале или в Хртковицах.

Детей в лачугах тут крестили именами, которые были в роду Исаковичей. И все они назывались Вук, Трифун, Павел, Петр или Юрат. Майор Юрат Исакович обычно говорил:

— Куда ни глянь — Юрат! Будто я их всех делал!

Тщетно Исаковичи время от времени пытались порвать эти связи. Люди, переселившиеся сюда с ними из Сербии, шли за Исаковичами, как идет стадо за своим вожаком с колокольцем. А прежние подчиненные приезжали к ним в гости, чтобы рассказать о своей жизни и своих бедах. Приезжали в Руму, приезжали в Варадин, а теперь стали приезжать и в Темишвар.

Когда кто-нибудь из солдат женился или заболевал, его родичи являлись, чтобы сообщить об этом событии Трифуну или Павлу Исаковичу. И грех было не поехать на свадьбу либо на похороны.

Эти бедняки — бывшие солдаты, ветераны, инвалиды — не просили у Исаковичей ничего. Ничего и не хотели брать. Хотели только время от времени, хотя бы раз в году, повидаться с ними.

Один дальний родственник Павла, дядя Спасое, приходил к Павлу из Румы не только в Варадин, но и в

Темишвар, и весь путь проделывал пешком. А ему уже перевалило за семьдесят.

Он жил день, другой, считал двери и окна в доме, удивлялся их количеству, а потом, сердечно попрощавшись, таким же образом, скромно возвращался восвояси.

Достойного Юрата Исаковича время от времени посещали его сверстники из Румы и Хртковиц. Обычно они появлялись, когда начинался падеж скотины, когда дохли коровы или когда покупали телят. Юрат сердито отмахивался и кричал после их ухода:

— Чего они ко мне повадились? Ведь не я отелился!

Трифун, самый бедный из Исаковичей, был этим людям ближе всех. Он просиживал с ними целые дни и, потягивая ракию да покуривая трубку, вел неторопливую беседу, говорил о всякой всячине. И они уходили довольные. Подобно тому, как раньше Трифун отдавал им приказы на войне, так сейчас он давал им советы в семейных делах.

Зато жена Трифуна Кумрия совершенно не слушала его советов. Ее мнение постоянно расходилось с мнением мужа.

И вот теперь, поджидая жену, чтобы выпить вместе с нею кофе, Трифун неторопливо перебирал все это в памяти. Наступала минута расставания, что прежде случалось только тогда, когда он уходил на войну. Трифун чувствовал, что они больше уже, наверно, не свидятся. Когда у них родился последний ребенок, он заметил, что Кумрия порой бросает на него взгляды, полные ненависти.

То, что жена каждый год рожает, Трифун считал вполне естественным для всякого брака. Тут незачем было восхвалять и превозносить мать или отца, либо проливать слезы умиления.

Трифун полагал, что рождение ребенка — в природе вещей.

Он считал, что замужней женщине положено рожать детей, как девушке — нанизывать бусы на нитку. И не мог понять, почему Кумрия в последнее время возненавидела его за то, что каждый год она ходит брюхатая...

Наконец стол был накрыт.

Повозка ждет, они выпьют кофе, потом он усадит

жену, как усаживал детей, поцелует ее в присутствии слуг, и Кумрия, дочь одеяльщика Гроздина, уедет в Руму. В доме уже все готово к переселению. Надо только продать конюшню. Завтра или послезавтра уедет и он, погрузится на барку и поплывет вниз по Беге. И никого из Исаковичей не останется в Темишваре.

Махала с ее акациями, ветеранами, инвалидами, родичами, кумовьями еще день-другой будет стоять у него перед глазами, а потом воспоминание о ней сохранится лишь в рассказах родственников.

Трифун смотрел на пришедших к колодцу женщин и на сборщика податей в синем сюртуке.

В воздухе над Махалой парили жаворонки.

День был теплый. Пахли акации.

Трифун сидел и неторопливо ждал жену, густые клубы табачного дыма окутывали его голову. Рана, полученная на смотре, все еще тупо болела, как после удара саблей плашмя. Сквозь повязку на темени краснела запекшаяся кровь. Ему приходилось отмахиваться от множества мух и шершней. Он с досадой думал о том, что не проводил Павла. И досада эта усиливала боль, казалось, тысячи игл вонзаются в глаз, а в темени гремят громы. Кумрия слышала, как он скрипел всю ночь зубами, и, хотя супруги не разговаривали, молча подавала ему в темноте уксусные примочки. Она тоже не спала. Оба чувствовали, что их супружеская жизнь обрывается, хотя окончательно оборваться она не должна. С первых дней женитьбы они привыкли проводить час за утренним кофе наедине. Этот час принадлежал только им, не допускались даже дети. Трифун и Кумрия хотели хотя бы час в день всецело принадлежать друг другу, своей любви, своим воспоминаниям и надеждам.

К водоему можно было попасть прямо из комнаты, где Трифун спал с женой. С тех пор, как он женился, вернее с тех пор, как родился у них первый ребенок, Трифуна стал преследовать какой-то злой рок, хотя он и Кумрия закрывали на это глаза и словно ничего не замечали.

Трифун в последние годы, как и Петр, не продвигался в чинах, несколько раз он неудачно падал в манеже с лошади, постоянно проигрывал в карты и все больше разорялся. Этот прежде такой шумный и весе-

лый офицер теперь стал угрюмым — слишком уж чувствительны были удары неумолимой судьбы. Когда Кумрия начинала упрекать мужа за неряшливость и неопрятность, он, окутанный, как и сейчас, клубами табачного дыма, точно мрачной тучей, лишь отмалчивался да время от времени фыркал себе в усы.

И этим очень сердил жену.

До того самого дня, когда его махалчане задумали опрокинуть карету с обер-кригскомиссаром Гарсули, Трифун не заикался жене о переселении в Россию. Он старался по возможности оттянуть разговор об этом. В то время как братья без конца толковали об отъезде, Трифун помалкивал. Не так давно он внес себя, жену, детей, шестерых слуг и конюхов и сто семьдесят три граничара в список переселяющихся в Россию, а теперь не упоминал об этом.

Только однажды он как-то заметил, что не следует ни перечислять все обиды, которые пришлось претерпеть в австрийском государстве, ни жаловаться на возникшие с тех пор, как их гонят в Венгрию, тяготы, ни ссылаться на них, как на причину переселения, а надо уехать так, словно Исаковичи никогда в Австрии и не жили.

— Кому жаловаться? Ради чего? Зачем?

А когда жена заявила, что переселяться в Россию не желает, и стала оплакивать судьбу их шестерых детей, Трифун только опустил голову. И уже не отвечал на крики Кумрии ни слова.

Он считал вполне естественным, что она родила ему шестерых детей. А если в последующие десять лет родит еще шестерых, а то и десятерых, это тоже будет в порядке вещей. Виноватым он ни в чем себя не чувствовал.

Но Трифун, разумеется, понимал, что с кучей малых ребят везде, куда не ткнешься, будет нелегко. Потому он и приуныл.

Он не был ни себялюбцем, ни плохим отцом, совсем напротив, он и мысли не допускал, что можно бросить детей и одному отправиться в Россию. Но он все больше приходил к убеждению, что существует какая-то роковая разница в жизни тех, у кого много детей, и тех, у кого их вовсе нет.

Трифун старательно скрывал эту мысль, а детей своих баловал и грустно гладил по головкам. Особенно

младших, которые по утрам прибегали к отцу в постель и забирались за его спину погреться. Он ощущал их как частицу собственного тела, как ощущают свою руку или ногу. А когда Трифун проигрывал в фараон, ему казалось, будто он отнимает кусок хлеба у своих детей. И он возвращался домой пристыженный, с поникшей головою.

Вернувшись с войны семь лет тому назад, Трифун еще рассчитывал далеко продвинуться по службе в своем тогда столь славном Подунайском полку. В ту пору был он еще общительный и веселый, охотно танцевал и почти не играл в карты. Он любил песню и перед тем, как запеть, всегда закладывал ладони за уши.

Он был тогда душою общества.

В последние годы все переменилось. Ему, как и Юрату, присвоили чин майора, но жалование оставили капитанское. И сказали, чтобы в будущем он уже ни на что больше не рассчитывал. Время войн миновало. Австрийской империи нужны теперь иные люди.

Трифуна женили десять лет тому назад на дочери одеяльщика Гроздина из Румы. Кумрия, в ту пору статная и очень красивая девушка, слыла богатой невестой. С приданым, достойным и генерала.

Сватовство поначалу подвигалось туго, но затем Кумрия вдруг воспылала любовью к этому могучему как дуб мужчине, который был старше ее на двадцать лет.

В то время Трифун был стройным, дерзким гусаром; когда он позвякивал шпорами, у Кумрии, как она потом шепотом признавалась своим невесткам, подгибались колени. Так оно и было на самом деле.

Единственная дочь одеяльщика охотно вышла замуж за Трифуна Исаковича и едва не умерла с тоски, когда муж ее был на войне.

Кумрия родилась в 1720 году, в ту весну, с которой мы ведем свой рассказ, ей пошел тридцать второй год. Она была уже десять лет замужем. И, как ни странно, в первые, полные любви и страсти, годы не родила ни одного ребенка. А потом дети вдруг посыпались, точно пилюли из аптеки митровацких монахов, которыми торговали на базаре в Руме. Сначала Кумрия убивалась, что у нее не было детей, а потом стала горевать, что их

у нее шестеро, и бояться, что она еще может родить столько же, если не больше.

В отличие от Трифуна она не считала, что это в порядке вещей и что таковы законы природы. Если же это так, то она готова была возненавидеть природу. Ей хотелось бы, чтобы дети зарождались в часы страстных любовных объятий, под нежное воркование Трифуна, под его песню. В лунные ночи парни из Румы и Хртковиц обычно собирались, обнявшись расхаживали по улицам и пели песни. И эти песни в лунные ночи, и аромат акаций прежде доводили Кумру до слез. Не в силах заснуть, она лежала в постели, слушала и шептала: «Ах, как хорошо!»

Гроздин в таких случаях обычно говорил, что его дочь в седьмую ночь недостерегли.

Когда Кумрия выходила замуж, она была высокой статной девушкой с тяжелыми темными косами, обвитыми вокруг головы и спускавшимися на шею, точно черные змеи, с белым, как у живущей в гареме турчанки, красивым лицом, маленьким, чуть вздернутым носом, небольшим ртом, в котором, когда она пела, перекатывался розовый язычок. На ее губах неизменно играла веселая улыбка. Но особенно запоминались ее совсем почти круглые янтарного цвета глаза с кроваво-красными крапинками вокруг черных зрачков.

Была она широкоплечая и широкобедрая, с тонкой талией и высокой грудью, держалась прямо, а ходила быстро, словно бежала. Отец немало натерпелся от ее строптивого нрава и только восклицал:

— Не девушка, а разбойник какой-то!

Ее улыбчивое лицо с коралловыми губами, хоть и было очень красиво, не вызывало зависти у ее невесток. А о глазах Кумрии говорили, что они — страшные, злые, необычные, совсем как у совы. Однако темишварские кирасиры только и толковали что об этих глазах. Старый Энгельсгофен, впервые увидав Кумрию, сказал, что глаза у нее как у голодной львицы. А так как никто из Исаковичей львиц не видел, то разговоров по этому поводу было много. И запомнилось надолго.

Кумрия, как и Анна, охотно пела и танцевала. Юрат обычно говорил, что она поет тому, кого хочет обольстить.

Но сейчас, после того, как она родила за десять лет

супружеской жизни шестерых детей, ее глаза под черными, точно подведенными на французский манер бровями-пиявками, уже не сверкали, как глаза львицы в пустыне, а были заплаканные и мутные, точно у совы поутру.

С тех пор, как переселение в Россию сделалось главной темой их ежедневных бесед, семейная жизнь Трифуна стала разлаживаться, причем Кумрия умышленно добивалась этого.

— Никуда уже мой старик не годится, только и может, что детей делать! — жаловалась она Анне, пока они еще разговаривали.— Нет в нем ни прежней красоты, ни страсти, ни нежности.

А то, что надо уезжать в далекую, холодную, занесенную снегами страну, казалось Кумре глупым до предела. Покуда переселяться разрешали, Поморишье и Потисье словно охватила лихорадка. Кумрия тоже склонялась к отъезду. Но с тех пор, как начались запреты и переселение стало опасным, она только плакала да жалела детей. А само слово Россия представлялось ей чуть ли не проклятьем.

— Можешь отправляться в свою Россию, но только один! — крикнула она мужу в присутствии всей семьи и захохотала как безумная.

Услыхав, что он может ехать в Россию один, Трифун опустил голову. Потом поковырял в гаснущей трубке, через силу улыбнулся странной улыбкой и прошептал:

— Один! Один!

Как будто это возможно для отца шестерых детей, который в ближайшие десять лет мог бы ожидать еще шестерых. И если бы даже он уехал один, разве не тянулась бы за ним тенью вереница ребят, из которых шестой был еще грудным? И разве не видел бы он перед собой там в России, когда пил бы и ел, шесть пар грустных детских глазенок? Глазенок брошенных им здесь детей.

Дочь одеяльщика Гроздина считала, что лучше подкупить Гарсули: это обойдется дешевле, чем переселение в Россию. Она уверяла, что легко бы добилась, чтобы их попытка покинуть Австрию была предана забвению. Разве Гарсули не сказал, что списка генерала Шевича, куда они внесены, в Вене нет? И она-де готова сама отправиться к венецианцу. Или поехать в Вену к

придворному советнику Малеру. И уверена, что тот не откажет ни в одной ее просьбе.

Говоря это, госпожа Кумрия приосанивалась, словно собиралась танцевать полонез. Надо признаться, что несмотря на то, что она родила уже шестерых детей, фигура у нее была еще весьма соблазнительная. Сохранилась и красота, как у всякой стройной женщины.

— Мне бы только новое платье, и я легко покончу в Вене со всеми делами. Нам, Исаковичам, надо не переселяться в Россию, а отстаивать в Вене свои права. Придется, конечно, прихватить малую толику дукатов для венских господ. Золото отмыкает даже те двери, перед которыми бессильны и слова и слезы.

Бедняжка Кумрия чувствовала себя еще совсем молодой и была уверена, что замысел Трифуна и Павла переселиться в Россию сломает всю ее жизнь. Как раз тогда, когда ей представилась возможность блистать, подобно своим невесткам, на балах и в театрах Варадина и Темишвара, которые они по распоряжению Энгельсгофена должны были посещать, вдруг возник и все испортил план переселения в Россию.

К удивлению Трифуна, его жена, по мнению кирасир, хорошо танцевала полонез.

Юрат обычно говорил о Кумрии: «Стоит ей только надеть сапожки, и она уже пляшет!»

Еще больше поразило Исаковичей то, что она, родив пятого ребенка, изъявила желание посещать, подобно другим офицерским женам, школу верховой езды. Дочь одеяльщика, никогда до замужества даже не подходившая к лошади, не уступала супругам кирасир и показала себе в манеже отличной наездницей. Жена офицера подунайской милиции уже спустя несколько недель скакала на коне так, будто ее матерью была не Анна Павличевич, а какая-нибудь амазонка!

А вскоре она заткнула за пояс даже Анну.

Юрат, утешая жену, говорил:

— Я ей, душенька, поясок, правда, не затягивал, но у нее шенкеля крепче твоих.

Когда жены Исаковичей появлялись в театре, Энгельсгофен обычно говорил: «Die schönen Croatinen!» [1]

Но когда он впервые увидел жену Трифуна, то не проронил ни слова. И долго не сводил глаз с этой кра-

---

[1] Красивые хорватки! *(нем.)*

сивой женщины, как обычно не сводил глаз в манеже с арабских кобылиц. Услыхав, что ей всего тридцать лет, а у нее уже четверо детей, фельдмаршал-лейтенант только пробурчал себе что-то под нос.

Между тем кирасиры в Темишваре только и говорили что о жене Трифуна.

Кумрия не любила своих невесток. Варвару — потому что у той не было детей и эта веселая беззаботная пустовка не пропускала ни одного танцевального вечера и постоянно вращалась в обществе. Кроме того, Кумрию грызла ревность, потому что ее дети любили Варвару больше, чем собственную мать. Когда Варвара, надушенная и разодетая, появлялась в доме Трифуна, дети так и повисали на тетушкиной шее. И плакали навзрыд, когда та уходила. А мать смотрела на них удивленно и раздосадованно.

Кумрия не любила и жену Юрата, Анну, и не потому, что та в темишварской школе верховой езды считалась лучшей наездницей. Кумрию возмущало то, что Анна всегда слушала Варвару. Все, что говорила Варвара, для Анны было свято. Дочь одеяльщика считала, что она ничуть не хуже дочерей сенаторов, и этот двойственный союз невесток против нее надоел ей до чертиков.

Жена Трифуна не ладила и с Петром. Хотя они были почти однолетки, Петр Исакович казался ей желторотым юнцом, и она часто смеялась над этим молодым самонадеянным и весьма ранимым человеком.

А Петр Исакович, неизменно затянутый в шитый серебром доломан, в новых сапогах со скрипом все это замечал и почти не разговаривал с невесткой.

Какое-то время Кумрия, как и Варвара, была необычайно привязана к Павлу, в семье его считали чем-то вроде пастыря, ведущего стадо. Только, когда он проходил, звенели не колокольчики, а шпоры.

Его благородие Павел Исакович — как обычно выражался Юрат — околдовал всех женщин в их семье, околдовал он и Кумрию. Что бы он ни сказал, для Трифуновой жены это был закон. Когда Павел хвалил ее в доме, на балу или в манеже, Кумрия вспыхивала, окидывала его каким-то странным взглядом, потом лицо ее покрывалось смертельной бледностью. Они часто и много ездили верхом, но их дружба внезапно оборвалась, и никто не знал почему.

Самые лучшие отношения у жены Трифуна установились лишь с толстым и веселым Юратом. Кумрия радовалась и хохотала, как только он появлялся, и знала, что всегда может рассчитывать на его поддержку. Юрат любил своих детей, любил и детей брата, всех шестерых. Он был в восторге, что через десять лет их будет вдвое больше. Но в то же время жалел эту молодую многодетную женщину. И неодобрительно смотрел на то, что в семье ее сторонятся.

Однако и родные дети уже не любили так крепко свою мать, как прежде: они, видимо, чувствовали, что она ими тяготится. Кумрия кормила их, обшивала, обмывала, пересчитывала за столом, но обрывала на полуслове, и дети стали капризными, глядели буками, упрямились, когда мать подзывала их посмотреть, не завелось ли у них чего в голове. Они стали застенчивыми и замкнутыми, словно ощущали себя виноватыми в том, что живут на свете. По вечерам мать только и ждала, чтобы они шли спать. А они, уходя даже раньше, чем полагалось, укладывались в темноте и шепотом жаловались друг другу на нее. И нередко потом, глубокой ночью, горько плакали, таясь от матери, словно она была им мачехой...

Трифун в то утро, сидя на водоеме, с досадой ждал жену, которая очень долго не появлялась; он с тоской перебирал в памяти все то, о чем мы сейчас рассказали и что он-то отлично знал.

Майор терпеть не мог, если кофе приносили с опозданием. Когда после бесконечного ожидания под стук шлепанцев и позвякивание ожерелий из монет появилась наконец Кумрия, Трифун даже не повернул головы. Он ждал, пока уйдет служанка, которая принесла кофе.

Но и потом не нашел, что сказать.

Кумрия тоже не проронила ни звука.

После десяти лет брака и любви муж и жена сидели на своих трехногих табуретах словно глухонемые.

Выпив кофе, Кумрия мрачно, точно сквозь грозовую тучу, исподлобья покосилась на мужа. Трифун положил свой голубой гусарский доломан на колени и молча курил. Грудь его, где краснел сабельный шрам, была расцарапана.

Несчастная женщина, которой предстояло уехать через две-три минуты, понимала, что она не увидит му-

жа долгие месяцы, и, глядя на его огрубевшее и постаревшее лицо, думала о том, как прежде лежала в его объятиях, влюбленно гладила это лицо и эти волосы, в то время густые, шелковистые волосы цвета золота, заплетенные в косицу. Сейчас они стали сухими, жесткими и приобрели какую-то рыжую окраску, как у зверя. И глаза, прежде такие ясные и красивые, теперь налились кровью. И нос, прежде тонкий, орлиный, как у Павла, с ноздрями, точно лепестки розы, теперь вздулся. И губы, которые она так страстно целовала, теперь отвисли и от вечного посасывания трубки скривились. Пожелтели и зубы.

Она отвернулась, уже раскаиваясь, что пришла посидеть последний раз на водоеме, и пожалела, что, не обращая внимания на слуг, не села сразу в повозку и не уехала, не простившись. Трифун молчал. А дочь одеяльщика Гроздина вспоминала, что ссоры ее родителей, свидетельницей которых она в детстве была, заканчивались быстро, как летние грозы. Никогда у отца с матерью не доходило до того, чтобы они не разговаривали час или два, не говоря уж о дне или двух днях. С этим бесконечным тягостным молчанием она познакомилась лишь в семье Исаковичей. Молчание Гроздина и его жены длилось обычно всего несколько минут, после чего супруги снова начинали щебетать, точно скворцы. И если Гроздин, бывало, вспылив, гневался на свою половину и в присутствии дочери орал: «Анча! Дочь твою эдак! Где моя игла?», то он в тот же миг спохватывался и спрашивал Кумрию, не слыхала ли она ненароком, что он сказал? А спустя две-три минуты буря проходила, и в доме все становилось так, как бывает после летней грозы, когда на небе засияет радуга.

И так шло до тех пор, пока одеяльщик снова не терял иглы. Кумрия вышла замуж по воле родителей, как в те времена обычно выходили все девушки, но вскоре ей полюбилась жизнь в новой семье. И она думала, что проживет с этим статным офицером, как в сказке, что у нее всегда будут красивые платья, что она всегда будет танцевать на балах и вокруг нее всегда будут кавалеры.

Так поначалу и было.

Но когда что ни год стали рождаться дети, она не могла прийти в себя от растерянности. И жила, можно сказать, два-три месяца в году, а остальное время даже

не показывалась на люди из-за большого живота, который надувался, как барабан у цыгана, что водит медведя. Но ужаснее всего было то, что она уже после первого ребенка вовсе не хотела иметь детей. И все-таки их рожала. Такова уж была ее природа. И после очередных родов Кумрия становилась все краше, все ядренее и, как ей казалось, все моложе; этого никак нельзя было сказать о муже, от которого она сейчас отвернулась, чтобы не смотреть на него при расставании.

Она поклялась Трифуну, что если еще раз понесет, то кинется в Бегу где поглубже, прямо в омут.

И все-таки, хотя Кумрия и отвернулась, ей было жаль этого постаревшего неухоженного человека. Мгновенье она думала о нем с той же любовью, какую испытывала к мужу раньше, когда стелила на ночь постель.

Ей даже захотелось сказать ему на прощание что-нибудь ласковое. Он как раз повернул к ней голову и так жалобно поглядел мутными усталыми водянистыми глазами.

Но это длилось лишь миг.

Трифун не произносил ни слова и, выпустив клуб дыма, принялся старательно выковыривать табак, как мальчик, что подает трубку.

Жена раздражала его. Трифун подумал: «До чего изменилась эта женщина! В постели она еще изредка напоминает прежнюю, когда восторженно и порывисто вздыхает, но среди бела дня ее просто не узнать».

В Варадине невестки, тогда еще хорошо относившиеся к Кумрии, частенько наряжали ее, шутки ради, в гусарский мундир мужа, и она вдруг превращалась в статного, красивого офицера. Стояла так перед зеркалом — высокая, затянутая, в красных чикчирах славонских гусар, с крепкими ляжками — и, улыбаясь, сверкала белыми жемчужными зубами.

А из-под треуголки этого красавца гусара выбивались густые косы.

Трифун диву давался, когда она, начав учиться верховой езде, уже через несколько недель опередила всех. И даже, подобно Анне, прославилась. Кумрия «нашла подход» к лошадям Павла и Трифуна, словно всю жизнь с ними росла, она могла, как и Анна, подхватывать с земли плеть и даже делала это еще ловчее, чем Анна. Павел научил ее и брать препятствия

в манеже. Юрат даже сердился на него за это и говорил, что негоже устраивать из жен Исаковичей, так сказать, divertissement[1] для кирасир.

А супруги офицеров кирасирского полка возненавидели красивую жену Трифуна, и время от времени подсовывали ей самую скверную лошадь. Однако не было лошади, которая не задрожала бы, когда ее подходила погладить Кумрия. Она спокойно гладила самого свирепого жеребца, глядя ему прямо в глаза, тихо говорила что-то животному своим грудным голосом или даже шептала. Досточтимый Павел Исакович уверял Трифуна, что его жена — прирожденный наездник и что, если бы она только захотела, то стала бы знаменитым конокрадом.

Да, она понимает конский норов.

Кумрия, подобрав юбку, внезапно садилась в седло и превращалась из женщины в гусарского офицера, а перепуганный жеребец перелетал через все препятствия, словно его поднимала над землей невидимая сила, натягивающая узду.

Дочь одеяльщика заявила невесткам, что хочет пожить всласть еще год-другой, ибо никто ведь не знает, что ждет впереди. Темишварские дамы являлись в манеж только из-за Энгельсгофена. Сделав два-три круга, они сходили с лошади, чтобы за чашкой так называемого миндального молока болтать о местных влюбленных парочках. Тем временем жена Трифуна перелетала через барьеры и вызывала на соревнование всех. И считала лучшими наездниками низенького обезьяноподобного кирасира, капитана Падовани, да Павла Исаковича.

Если какая-либо ревнивая особа устраивала так, что Кумрии подводили норовистого и коварного жеребца, та смело приближалась к нему, трепала его по морде своими длинными пальцами, ласково гладила по гриве, и бешеный жеребец успокаивался, как зачарованный. Кумрия, смеясь, садилась в седло. Этому, по ее словам, она научилась у Павла.

К вечеру усталые Исаковичи целой кавалькадой возвращались из манежа по тополиной аллее, мимо болот. Все трусили мелкой рысцой, переходя то и дело на шаг. И только жена Трифуна, несмотря на долгую

---

[1] Развлечение *(фр.)*.

вольтижировку, все еще поднимала лошадь уздой, которую держала своими белыми пальцами, и перескакивала через пни да заборы. А когда толстый Юрат, посапывая, пытался ее перегнать, она только хохотала и неслась во весь опор, словно всю жизнь провела в седле.

Такие скачки неизменно заканчивались ее победой. А Юрат обычно говорил: «Знаю, на лошади ты берешь верх. Надо еще нам с тобой, невестушка, потягаться силами на лужку, да так, чтобы слыхать было и в Руме!»

Хотя шутка Юрата казалась непристойной, но у него ничего дурного и в мыслях не было. Жену своего брата он уважал и жалел, что она часто остается одна. Потому и старался ее развеселить, пусть даже глупыми шутками. Он все еще надеялся, что замеченные им нелады в ее семейной жизни — дело преходящее...

И бедняга Трифун, сидя в это утро на водоеме, тоже не думал, что отъезд жены означает полный разрыв. Он тоже полагал, что их ссора временная. Страсть к молодой женщине перешла у него в привычку мужа, который обладает этой женщиной уже десять лет. Но то, что он ей надоел, и надоел до чертиков, ему даже не снилось.

И, хотя Трифун не промолвил ни слова, когда жена села перед ним, он вспомнил, как они, влюбленные, молча сидели тут в первые годы их супружеской жизни. Тогда им вовсе было не до разговоров. Сидели да смотрели друг другу в глаза и улыбались — то он, то она. И время от времени Кумрия громко смеялась. А потом снова начинались долгие, страстные поцелуи.

Он вспомнил, как примчался ее отец, одеяльщик Гроздин, поглядеть на своего первого внука. Быстро соскочив с повозки, тесть вбежал в дом, а он, Трифун, задержался на какое-то время во дворе. И потом, войдя вслед за тестем, услышал, как тот при виде первенца дочери спросил: «Счастлива ли ты?» До сих пор еще в ушах Трифуна звучит сдавленный голос Кумрии, которого он прежде никогда не слыхал: «Этого, отец, нельзя высказать словами!»

И тогда этот голос потряс Трифуна.

Но то было семь лет назад.

Поглядев исподлобья на жену, Трифун подумал,

что возникший между ними разлад, точно бурная река, разделяет их.

Тщетно они еще протягивают друг другу руки, сжимают в объятиях своих детей, гладят их по головке. Тщетно зовут без слов друг друга по ночам. Их немой зов остается без ответа, и оба неподвижно продолжают лежать рядом.

В это мгновение Кумрия, видимо раздраженная молчанием мужа, поднялась и зло сказала, что уезжает.

А когда Трифун и тут промолчал, взвизгнула:

— Скажи хоть слово, чтоб ты онемел!

Потом, спохватившись, она заплакала и поспешно убежала. Малиновый, украшенный серебряными пуговицами шлепанец слетел с ее ноги и остался лежать у табурета, на котором сидел Трифун.

Он вздрогнул от крика жены и поглядел ей вслед, как осенью смотрят вслед улетающей ласточке. Потом сердито завертел головой и пробормотал какое-то ругательство.

Но он все же решил спуститься к повозке и проводить жену, как проводил детей, чтобы отвести глаза прислуге и как-то прикрыть позор. Он встал и вразвалку пошел к воротам.

Кумрия в платье из голубой тафты с белыми рюшами уже сидела в повозке на высоком сиденье из тонкой желтой кожи; лицо у нее окаменело от обиды, и она отпихивала от себя только что надетыми сапожками громоздившиеся вокруг чемоданы.

Супруги, приличия ради, поцеловались. Трифун сказал в пространство несколько слов. Потом отошел, стал у стены рядом со служанками, которые тряслись от плача, пропустил выезжающую из ворот повозку и какое-то время глядел ей вслед. Повозка быстро катилась по зеленому плацу. Виден был только дробный перепляс лошадиных ног.

Кумрия, дочь стегальщика одеял Гроздина, уехала и даже не обернулась. Трифун долго смотрел на длинную вереницу тополей, за которыми скрылась жена, и наконец вошел в дом, чтобы закончить дела, поскольку время летит быстро, а ему тоже предстояло через день или два уезжать. Он медленно бродил по комнатам, тело было словно налито свинцом. Голова клонилась от усталости.

Вот таким образом все кончилось, и в доме не осталось никого.

Трифуну было грустно, но он и представить себе не мог, что поцелуй, которым они обменялись, будет последним в их жизни.

К его удивлению огонь в фонаре у ворот все еще теплился, несмотря на то, что солнце поднялось уже высоко и начиналась жара. Миновав усевшихся на порожках служанок, которым хотелось всласть наплакаться, он поднялся на свой водоем, чтобы закончить подсчет порционных денег и солдатский список и передать их перед отъездом в Темишвар.

В доме стояла гробовая тишина.

Завершился долгий период его жизни. Все опустело. На потемневших от пыли глинобитных стенах, там, где прежде стояли шкафы и диваны, теперь видны были белые очертания унесенной мебели. Как в некоем неведомом мире, где есть белые тени.

Сидя в одиночестве на своем водоеме, Трифун разложил бумаги: предстояло заполнить колонки цифр, чтобы перед отъездом в Брод отчитаться за порционные деньги.

Все, что произошло между ним и женой, казалось ему каким-то глупым недоразумением, обычной супружеской ссорой, которая закончится подобно летней ночной грозе. И когда они поедут в Россию, все позабудется. И все останется по-старому, когда он приедет из своего нового места жительства в Руму, в дом тестя Гроздина, и проведет ночь с женой. Он не мог себе даже представить, что их разлад — навеки и ничего тут сделать нельзя.

В те времена в семье Исаковичей с женой расставались как со служанкой, без скандала. Однако развод был делом редким, сложным и сутяжным. Супругов удерживали не столько любовь и церковь, сколько семья и куча родичей — так сказать, весь сербский народ. Брак был святыней. Вечными узами.

Трифун, сгорбившись, уныло склонился над колонками цифр — в счете он был не силен, и ему казалось, что на повлажневшей под рукою бумаге не цифры, а рой мух.

Наконец он поднял усталую голову и окинул испу-

ганным взглядом Махалу, словно хотел убедиться, тут ли еще она? Селение, утопая среди акаций, мирно раскинулось в двухстах шагах от него. Махала была еще тут, но для него, который уходил со всем своим кланом, она останется за спиной точно призрак. Трифун с грустью поглядел на изумрудную ряску болот, на кукурузные кровли хижин под акациями, на зеленые ивняки за селом и на молодые побеги, что отливали по утрам нежно-зелеными тонами.

День был знойный.

В синем небе звенели жаворонки.

Случайно взглянув в сторону Темишвара, Трифун увидел, как из города по сооружавшемуся шоссе ползет в его сторону, словно гигантская гусеница, бесконечная вереница крытых повозок, запряженных крупными и сильными лошадьми. Рядом с повозками неторопливо шагали люди, одетые, несмотря на жару, в синие чепаны.

Подобно весенней молнии из черной тучи, внезапно озаряющей всю окрестность, в голове Трифуна мелькнула мысль, что это, видимо, давно ожидаемая партия переселенцев. За Махалой на зеленых незаливных лугах давно уже были нарезаны большие земельные участки для переселенцев из далеких земель Неметчины, Лотарингии и Рейнланда. Все они были в синем — мужчины в синих чепанах, женщины в синих платьях и синих платках, дети в синих штанишках на пуговицах. Махалчанам они казались каким-то нескончаемым синим потоком.

И хотя Трифун был человек немудреный, к тому же усталый от жизни и семейных дрязг, он в ту же минуту понял все.

Эта синяя гусеница должна была проползти через Махалу, через домишки, акации, по обагренной их кровью и удобренной прахом их покойников земле.

Темишварский Банат обезлюдел после ухода турок.

После них остались только сожженные села да голая степь.

Свободные земли было решено заселить лотарингцами и швабами, которые покидали свои опустошенные войнами села вдоль Рейна, а отпущенных солдат-расциян собирались по возможности вернуть на пожарища, поближе к турецкой границе.

Потому им и разрешили переселяться в Россию.

Потому у них и отнимали старые знамена.

Потому и прокладывали большак, согласно плану графа Мерси.

Энгельсгофен не был сторонником этого превращения солдат в землепашцев. Не одобрял он и колонизацию края немцами, не приспособленными к войне с турками. Однако венская администрация так решила, и так должно было быть. От колонизации ждали года через два-три больших доходов. Темишварский Банат должен был поправить финансовые дела империи. Воевавшие более шестидесяти лет бок о бок с немцами, расцияне поначалу относились к переселенцам дружелюбно. Тем более, что на пустошах вдоль Тисы и Тимиша земли хватало для всех, а новоселы — мирные, больные, угнетенные горем люди — благословляли судьбу за то, что им досталась такая плодородная земля: сунь палку, и вырастет дерево. Потому в первые годы переселения швабов сербы никаких бунтов не поднимали.

И только когда начали насильно распускать войско, окрасившее своей кровью Дунай и его притоки под Белградом, когда пришел приказ православным торговцам закрывать лавки в католические праздники, ремесленникам не браться за свои инструменты, а крестьянам не выходить на полевые работы,— только тогда поднялся крик: «Не хотим в паоры!»

Темишварские сенаторы-сербы покупали пустоши, гнали сюда из Славонии и даже из Сербии скот и набивали дукатами свои кошельки. Митрополит всячески препятствовал переселению в Россию и проклинал офицеров, стремившихся туда, но сербское войско точно сошло с ума, и офицеры вместе со своими вахмистрами кричали: «Не хотим в паоры! Не желаем пахать и мотыжить на помещиков! Мы привилегированный народ! Кровью нашей полита вся Европа. Это наша земля, добытая саблей,— mit dem Säbel!

И хотя не каждый решался это громко и прямо высказать, все сербские офицеры и солдаты были в том единодушны. Брожение, охватившее расциян в Темишварском Банате, не было единичным явлением. В тот же год, почти в те же дни, как упоминается в докладной записке, адресованной Марии Терезии, несколько раз возникали беспорядки в хорватских провинциях.

И потому, когда Трифун увидел у околицы Махалы длинную синюю вереницу переселенцев, его охватили ужас и бешенство. Ему почудилось, будто он слышит удары кирки могильщиков и глухой перестук копыт медленно приближающейся к селу похоронной процессии.

Шесть дней спустя, в день святого Норберта в Темишваре, в барочном здании офицерской гауптвахты, в штабе барона Энгельсгофена, позади часовни капуцинов заканчивалось судебное разбирательство над одним из офицеров кирасирского полка, чьим Inhaber[1] был граф Сербеллони. Звали этого офицера Терцини.

Он был послан в Темишвар, чтобы принять партию арестованных сербских офицеров, которые числились в списке переселяющихся в Россию, составленном генералом Шевичем. Терцини принял капитана Павла Исаковича, с тем чтобы живым или мертвым доставить его Верховному командованию в крепость Осек, лично графу Гайсруку. Сейчас этого Терцини судили за измену.

Дело в том, что Исакович бежал в первую же ночь.

Терцини обвинялся в том, что по пути в Бечкерек он играл с арестованным в фараон, пьянствовал и распевал песни. Из допроса сопровождавших его гусар было установлено, что Терцини разрешил Исаковичу попрощаться с родственниками и те снабдили его пищей, питьем и деньгами. У Терцини были обнаружены деньги капитана Исаковича — и не только внесенные в список имущества арестованного, но и, по утверждению Терцини, якобы проигранные ему в карты сербским офицером.

Неясным оставался вопрос, каким образом капитан Исакович мог бежать с барки, через непроходимые болота Беги, в то время как у люка были привязаны несколько собак и спали два гусара с пистолетами под головами.

Терцини никак не мог этого объяснить, хотя судьи допрашивали его целый день, кричали, называли изменником, ничтожеством и грозили ему самыми страшными карами.

---

[1] Шеф, хозяин *(нем.)*.

Капитан молчал и только дрожал всем телом. В зале было очень душно, и судьи, изнемогая под париками, то и дело утирали стекавшие со лба и с носа струйки пота. Обвиняемый был ни жив ни мертв; он сидел под большим развернутым на стене императорским штандартом и под черными двуглавыми орлами на потолке, сидел возле стола с возвышавшимся на нем между свечами распятием. Он медленно покачивался из стороны в сторону, и казалось, вот-вот потеряет сознание.

К вечеру прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого. Терцини был признан виновным в измене, во взяточничестве и в том, что вошел в сговор с Исаковичем и дал ему возможность бежать, за что, видимо, и получил деньги. Терцини был поднят со скамьи, чтобы стоя выслушать приговор; затем ему вновь разрешили сесть, поскольку защита потребовала права просить о помиловании осужденного. И капитан сидел молча, сидел с сорванной офицерской перевязью на коленях и кандалами на ногах. Время от времени он внезапно начинал кричать, что ни в чем не виноват, что он не изменник и не давал возможности Исаковичу бежать. Тогда судьи начинали его ругать, а профос подскакивал к обвиняемому и требовал, чтобы тот замолчал.

Офицер-защитник рекапитулировал свою речь и попросил лишь отложить смертную казнь обвиняемого до поимки дезертира Исаковича и выяснения обстоятельств его побега. По словам защитника, Терцини был виновен в нерадивом отношении к караульной службе, в том, что он играл в карты и пьянствовал, но не виновен в измене. Не доказано, что капитан был пьян и этим способствовал бегству славонского офицера. Ведь гусары не пили, но тоже не слыхали, как дезертир проскользнул мимо них. Терцини виновен в легкомысленном поведении, но ведь в Темишварском гарнизоне сам фельдмаршал-лейтенант Энгельсгофен позволяет родственникам славонских офицеров провожать своих родичей, снабжать их провизией и деньгами, когда их куда-нибудь переводят из гарнизона, и даже тогда, когда их везут вешать.

Терцини не мог предположить, что сербский офицер попытается так трусливо и подло бежать. Защитник ссылался на безупречную службу капитана Терцини в

прошедших войнах. Да, он виновен в нерадивости, однако нет доказательств того, что он повинен во взяточничестве. Нет доказательств и его соучастия в побеге. Он заслуживает лишения чина, тюрьмы, но не смертной казни за измену. Измена его не доказана. Бегство Исаковича — загадка. Поэтому защитник просил отложить смертную казнь Терцини: тот, мол, находится в бедственном положении и эту милость заслужил.

Судьи после короткого совещания подтвердили вынесенный ими смертный приговор и отказались отложить его выполнение.

Аргументацию защиты суд не принял.

Как усугубляющее вину обстоятельство суд признал тот факт, что капитану Терцини было известно — ему об этом особо говорили,— что бежавший славонский офицер перешел на службу к иноземному правительству, что Исакович задумал ради службы в иностранной армии покинуть империю. По вине Терцини капитан Исакович может теперь выдать иностранному государству многие военные тайны, в том числе связанные с фортификациями на Военной границе. Дезертиру хорошо ведомы царящие в славонских пограничных гарнизонах настроения, он осведомлен и о вооружении армии. И это весьма опасно. Решение суда будет направлено Военному совету в Вену, а копия — Дворцовой канцелярии, которая занимается делами иллирийского народа. Терцини же следует отправить в камеру, где он, в согласии с тюремными правилами, будет ожидать исполнения смертного приговора. Капитан Терцини исключается из списков кирасирского полка графа Сербеллони, о чем будет сообщено в Осек.

После этого судьи покинули зал. Тот же профос, который заковывал и препровождал в тюрьму Павла Исаковича, подошел к кирасиру, взял с его колен офицерскую перевязь, грубо приказал ему стать между двумя гусарами с обнаженными саблями и по команде: «Шагом марш!» — идти направо, в подвал.

Терцини горько заплакал. Увидя, что офицер плачет и сбился с ноги, профос подскочил и дал ему пинка в зад. Когда солдат распахнул дверь в коридор, свечи погасли. Капитан Терцини зашагал в расположенное под комендатурой подземелье, в камеру по соседству со старым римским колодцем.

В пустом зале на столе осталось только распятие.

Свечи еще дымились, когда на звоннице соседней часовни прозвучали удары колокола, созывавшие капуцинов к вечерне. Сквозь узкие, точно бойницы, окна пробивались розовые лучи заката.

День кончился, над Темишваром заходило солнце.

IV

Исакович тем временем ушел туда, куда влекла его мечта

У его благородия Павла Исаковича, ротмистра недавно сформированного иллирийского гусарского полка, был в Неоплатенси больной родственник, лейтенант Исак Исакович. Этот вечно хворый офицер пережил Павла и умер в Нови-Саде в семидесятых годах восемнадцатого века.

Среди бумаг лейтенанта, наряду с завещанием, было найдено письмо достопочтенного купца из Буды Георгия Ракосавлевича, который в ту пору для переселявшихся в Россию офицеров был как отец родной. В этом письме Ракосавлевич в завуалированной форме сообщал о том, что Павел побывал у него. Прибыл он, по словам Георгия, в день преподобного мученика Стефана Пиперского. По православному календарю в мае 1752 года, а по католическому — в июне.

У католиков и православных, принадлежавших к одному народу, не было в те времена согласия даже по части мучеников. Впрочем, тогда во всей Европе было немало странного и непонятного.

Когда в сентябре того же года в Англии был введен новый календарь, народ заволновался, считая, что монарх таким способом украл у него одиннадцатидневный рацион хлеба.

О том, как он бежал от Терцини на Беге, Павел не хотел говорить ни в Буде, ни в Вене, ни в Темишваре. И только потом в России, под Бахмутом, в собственном доме, когда на дворе стояла лютая стужа, он, сидя у горящего очага, скупо рассказал кое-что о своем побеге. Был он человек тщеславный, самолюбивый и неразговорчивый, а после своего бегства и вовсе стал молчуном. Павел говорил: «Зачем болтать? И самый трогательный рассказ должен быть к месту. История

же моего бегства такова, что даже братья не поверят. Потому лучше о своих мытарствах не распространяться». И в самом деле его рассказ казался невероятным.

Барка, на которой Терцини собирался везти его до самого Бечкерека, была одним из тех плоскодонных судов, на которых кирасиры графа Сербеллони в Темишварском Банате перевозили фураж. Называли эти суда: Burchio. Служили они и для перевозки овец и лошадей, а в их трюме стояли две-три койки. Все внутри было расписано видами Осека.

Днем они быстро плыли вниз по течению полноводного Тимиша и Беги, под крики полуголых гребцов. На ночь пристали к берегу, у какого-то карантина. Всплески весел да крики гребцов прекратились.

Кирасир все это время играл с Исаковичем в фараон и выиграл у своего узника изрядную сумму денег. Он снял с его рук кандалы, вернул ему Abschied[1] и прочие отобранные у него раньше бумаги. Павел сумел припрятать два-три талера. К вечеру оба, казалось, совершенно опьянели. Павел заметил, что Терцини прячет в рукаве подметного туза, но ничего ему не сказал.

Когда барка около полуночи остановилась у старого турецкого карантина, на полпути от Бечкерека, кирасир предложил арестанту прекратить игру и перед тем, как улечься спать, подышать свежим ночным воздухом.

Барка остановилась близ караульного помещения славонских солдат у густого ивняка. Павел увидел отблески костра, а чуть в стороне на лугу, у самого берега — силуэты, казалось, замерших, стреноженных лошадей.

На землю спустился какой-то прозрачный, синий мрак.

На небе сиял тонкий серп месяца.

Терцини приказал гусарам лечь у выхода.

В ту ночь он был весел и громко смеялся прямо в лицо Исаковичу. В рукаве у него был запрятан туз, и он думал, что глупый славонец с пьяных глаз ничего не видит, а Павел умело притворялся дурачком и только подливал вина в стаканы.

Терцини предупредил Исаковича, что если тот сделает хотя бы два шага в сторону двери, он пристрелит

---

[1] Документ об отставке *(нем.)*.

его из пистолета, как собаку, а Павел стал уверять, что он-де намерен покориться, как положено, императорскому велению и приказу своего конвоира. Поэтому связывать его на ночь ни к чему. Да и куда ему бежать? Зачем? Чтобы утонуть в омутах Беги? Не лучше ли выспаться по-человечески? Потом доплыть до Осека и покорно дожидаться решения суда.

— И этот зубоскал,— рассказывал Павел,— пододвинул стол к изножью постели так, что я не мог сделать и двух шагов, не разбудив его. А я только улыбнулся и подумал: «Кланяйся нашим, как увидишь своих!»

Вскоре оба заснули в трюме барки. Кирасир захрапел и, тут же проснувшись от собственного храпа, вскочил и посмотрел по сторонам, словно кого-то искал. Убедившись, что Павел спит на своей койке сном праведника, он погасил фонарь, чтобы свет не бил в глаза.

Исакович решил бежать во что бы то ни стало!

Тяжко было у него в ту ночь на душе среди бесконечных болот, тяжко и одиноко без поддержки своих. Весь народ желал того, чего желал и он,— переселиться, но в жизни всегда получается, что, когда грозит смертельная опасность, остаешься один-одинешенек. Даже родные братья не придут на помощь, когда нагрянет беда. Человек в беде одинок.

Да к чему попусту тратить слова?

Немой немого лучше всего поймет.

Тот, кто плакал, знает горечь слез.

«Кирасир нагнулся надо мной,— вспоминал Исакович,— дыхнув мне в лицо перегаром, хотел проверить, заснул ли я. Потом снова улегся и захрапел. Ну,— подумал я,— дорого же тебе этот храп обойдется. В Осек меня, арестованного, больше никогда уже не повезут!

С самого начала я заметил в барке окна с деревянными щитами и слышал, как под ними плещет вода. Вопрос был только в том, смогу ли я протиснуть в них плечи. Но если тебе грозит смертельная опасность, то все возможно.

Я сложил бумаги в рубаху, рубаху обвязал вокруг головы и бесшумно спустился в воду, дрожа от страха, что пробившийся в окно через приподнятый щит свежий воздух разбудит кирасира. Неслышно нырнул, оттолкнулся от барки и поплыл, как бывало в детстве

в Црна-Баре, когда, перегоняя сверстников, переплывал Саву. Вышел на берег в ста шагах от пасущихся лошадей и, бормоча и нашептывая, поглаживая их, словно они не кони, а женщины, повел двух сразу. И когда неслышно погрузился с ними в Бегу, не залаяла ни одна собака».

На другом берегу Павел сел на лошадь и мчался до самого Тимиша, поднимая брызги грязи, словно скакал по аллее фонтанов.

Переплыв уже на рассвете Тимиш, он устремился к Тисе с такой быстротой, словно за ним гнались турки, как было под Белградом.

Солнце стояло уже высоко, когда он, держась за гриву лошади, переплыл Тису. Бачка, как он рассказывал, будто вертелась перед глазами, так он по ней летел. И порой представлялась звездным небом, порой морем душистых трав, порой — бесконечной пустыней. А он, пересаживаясь с одного коня на другого, скакал по большим зеркалам луж, скакал даже по ночам, хотя луна была уже совсем на ущербе.

Так, полный страха, мчался он, точно тень, сквозь ночной мрак, удаляясь все дальше, и передохнул лишь, когда услышал громкое кваканье лягушек и увидел перед собой Дунай. Потом ехал уже спокойнее, держа все на север, голодный, одинокий, с какой-то полубезумной улыбкой на устах и честил на чем свет стоит всех и вся. Одинокий всадник еще более одинок, чем одинокий пешеход. Исакович и днем и ночью скрывался в зарослях ивняка, никогда не заезжал в села. Только по вечерам он приближался к полевым кострам, особенно когда видел у огня одни только силуэты женщин. Они встречали его испуганными взглядами, потому что он походил теперь скорее на разбойника, чем на ротмистра иллирийского гусарского полка. И руки у них дрожали, когда они протягивали ему печеную тыкву или хлеб.

Хотя женщины не понимали его, как и он не понимал их, они давали ему поесть, стараясь спрятать ужас, рождающийся в глазах людей при виде убийцы. И долго потом глядели ему вслед.

Женщины эти знали, что обычно такие люди, насытившись и погревшись у костра, затем совершают дикое насилие. Но этот всадник уезжал, не трогая их.

По Кумании Исакович ехал только по ночам. Утром

же забирался в заросли верболоза: ему все чудилось, будто на горизонте появилась конная погоня.

Так в укрытии он и проводил весь день, слыша лишь глухой стук копыт своих украденных и изголодавшихся лошадей да биение собственного сердца.

Он совсем обессилел от голода, от приступов рвоты из-за сырой тыквы, которой питался, и от грязи. Павел Исакович приуныл и, бранясь, вспоминал жития святых — самую в те времена распространенную среди православных, даже офицеров, книгу.

Ругал он про себя и Гарсули и при этом скрипел зубами, как Трифун.

И все же твердо решил во что бы то ни стало добраться до графа Бестужева.

Его благородие Павел Исакович был из тех людей, что часто встают с левой ноги. Черные, как тучи, думы одолевали его.

На шестой день после побега Исакович в лучах заходящего солнца увидел впереди пештский паром: то было как светлое видение после долгого кошмара.

Оставляя в лозняке загнанных лошадей, он посмотрел на них с грустью, как только что глядел на высившиеся по другую сторону реки и облитые розовыми отблесками вечерней зари горы Буды. Там, неподалеку от колокольни расциянской церкви, стоял дом достопочтенного купца Георгия Ракосавлевича. Уже отойдя от брошенных лошадей, едва живой от усталости, больной, нечесанный, грязный, с лихорадочно горящими глазами, Павел оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на них: ведь они спасли ему жизнь. Теперь это были замученные и охромевшие клячи, разбитые, как корабли после жестокой бури; в полном изнеможении, неловко расставив ноги, они стояли, обнявшись по-лошадиному,— положив друг другу головы на шеи. Подобно всем настоящим кавалеристам, Павел считал лошадей одухотворенными существами. И ему было жаль этой двухголовой тени, которую он оставлял в сумраке.

В ту пору возле парома постоянно кишмя кишел народ — были тут и прохожие, и торговцы, и лодочники, и мужики с бабами.

Вдоль берега стояли палатки, в этот час уже освещенные.

Цыгане-медвежатники отдыхали рядом со своими медведями. Фокусники глотали огонь и шпаги. Перед

трактиром на бочке, стоявшей под шатром, итальянцы-акробаты выделывали необычайные трюки: сын стоял вниз головою на голове у отца.

Исакович какое-то время покрутился в толпе, и ему чуть было не удалось переехать на другой берег на пароме, битком набитом монахинями из Богемии, которые везли огромный деревянный крест, увешанный кованными из железа терновыми венками. Когда они проходили, люди опускались на колени. Поднявшись на паром, монахини уткнулись в молитвенники, чтобы не видеть, что творится под шатрами. А там и в самом деле творилось черт знает что!..

Гребцы на пароме уже опустили было весла в воду, когда кто-то спросил Исаковича, что он тут делает, кто он такой и куда едет. Потом его с бранью прогнали.

Но Павлу все-таки удалось перебраться через реку после того, как он, прикинувшись бродягой, начал перетаскивать в большие лодки бочки каких-то турецких купцов. Купцы в белых чалмах и огромных красных тюрбанах смотрели на него удивленно, но из лодки не прогнали и не спросили, кто он и куда едет, не окликнули они его и на будийской стороне, когда он, выгрузив товар, вдруг сорвался с места и побежал. Только молча с недоумением поглядели ему вслед.

Павел, как тень, проскользнул по близлежащим улицам Буды и, пошатываясь, стал подниматься узкими и крутыми переулками в гору. И все же он ни разу не упал. На Табан уже спустилась ночь, в окнах сербских домов светились сальные свечи.

Купец Георгий Ракосавлевич в то время был отцом родным для переселявшихся в Россию офицеров, которые добирались до Буды, чтобы уже оттуда ехать в Вену за паспортом. Кое у кого было разрешение на отъезд, но немало было и таких, кто ехал тайком.

Георгий помогал своим землякам, как только мог.

Неоштукатуренный, подпертый стеною дом Ракосавлевича стоял на склоне горы, у расциянской церкви. Люди запоминали этот дом по двум пирамидальным тополям, которые каким-то чудом уцелели; издали казалось, что они растут прямо на его кровле. Тесный, узкий дом, словно арестант, охраняемый двумя стражниками-тополями, утопал в зелени. Тут же перед домом, среди травы и кустов, журчал родник, стекавший по цинковому желобу, над которым была устроена же-

лезная крыша. Ни забора, ни ворот не было. Чтобы подойти к дому, нужно было пробираться сквозь кусты.

Только тут Исакович свалился в изнеможении. Потом, собравшись с силами, хрипло позвал на помощь. Павел изнемог не только физически, мучили еще и беды, неизменно преследовавшие и его самого, и земляков. И, попав наконец в Буду, он совсем обессилел и теперь кричал, бранился и скрипел зубами, как Трифун, когда, бывало, напьется.

В те времена во всей Венгрии одна только расцианская община Буды помогала переселению сербов в Россию. Из-за этого у общины были испорчены отношения даже с митрополитом. Ненадович собственной персоной явился сюда в то лето и убеждал купцов не помогать переселяющимся офицерам. Митрополит уверял, будто всякий, кто едет в Россию, совершает ошибку. Что переселение — бич божий. Не следует, мол, покидать австрийскую империю, где их единоверцы томятся в темницах, а предки почиют на кладбищах. Надо уповать на лучшее.

Однако, как это было и как будет всегда, людей возмущали насилие и неправда, и потому в Буде нашлось немало сербов, которые стремились, невзирая на опасность, помочь уезжающим.

Среди них самым бескорыстным был Ракосавлевич, а самым удачливым — богатый и всеми почитаемый купец Георгий Трандафил.

Павел слыхал и о том и о другом.

Этих людей в Среме почитали и называли родными отцами сербов. Ракосавлевич охотно приютил Павла у себя в доме. Обычно стойкий в беде и скупой на слезы Исакович вдруг потерял присутствие духа. Он то погружался в молчание, то внезапно начинал кричать. А когда ему дали хлеба, даже расплакался.

Почему мы, сербы, недавно покинувшие Турцию, такие горемыки? Почему сейчас в Темишваре, в Буде, в Вене танцуют и поют, а мы, голодные и жаждущие, должны скрываться под покровом ночи и нас всюду поджидают виселицы?

Наш народ блуждает, точно корабль, покорный воле морских волн, и может вот-вот погрузиться в пучину.

Почему? Перед кем мы провинились? В чем наша вина?

Вот и Ракосавлевичу грозит кара только за то, что он приютил Павла в доме. Кара за доброту и за человеческое милосердие. А хуже всего то, что не один Павел Исакович несчастен. Сколько людей уже уехало в Россию, и все они, точно забытые богом, бесследно сгинули среди далеких снегов. А сколько их еще собирается уехать?

Так мы и бродим как в потемках, и нет для нас, видно, никакого выхода...

Поначалу Ракосавлевич утешал земляка, но, узнав, что Павел бежал из-под ареста и что он военный дезертир, перепугался, побледнел как полотно и стал жаловаться, что среди соседей и даже соотечественников могут найтись шпионы и предатели, а ведь у него — дети. Начнут расспрашивать, кто живет у него в доме? Откуда взялся этот человек? Куда собирается ехать из Буды? Поэтому Павлу лучше два-три дня из дому не выходить, а потом перебраться к Трандафилу, к Георгию Трандафилу. Он все знает. Все может. И все сделает. Разумеется, это будет стоить денег. Трандафилу наплевать на венгерские власти и на митрополита. Вернее, он подобрал к ним ключи.

Достопочтенные сербские купцы Буды поначалу помогали своим соотечественникам переселяться в Россию из великой любви к сербскому народу, а потом уже — ради хорошей наживы. Деньги на них так и сыпались.

Тот, кто переселялся в Россию тайком, продавал дом и землю за бесценок. За гроши отдавали в верхнем и нижнем Среме лошадей и даже перины с подушками. Особенно много людей хотело переселиться в ту весну из Поморишья и Потисья. За несколько талеров Марии Терезии там можно было купить дом.

Самой большой ловкостью в таких делах отличался Трандафил.

Он обеспечит Павлу не только поездку в Вену, уверял перепуганный Ракосавлевич, но, если понадобится, достанет ему даже офицерскую треуголку и саблю. Раздобудет и документы в полиции. Трандафил все может. Только это стоит денег.

Вот как получилось, что спустя несколько дней Павел переселился в расположенный по соседству дом

достопочтенного Георгия Трандафила, или, как тот подписывался по-венгерски, Turàndfia. Тут Исакович мог спокойно поразмыслить обо всем, что с ним уже произошло, и о том, что ждет его впереди.

Дом Трандафила стоял на том же спускавшемся к Дунаю склоне, чуть повыше дома Ракосавлевича, неподалеку от расциянской церкви; он был виден издалека между купами рано расцветших в том году лип. Выкрашенный в желтый цвет, он выделялся среди зелени садов и, казалось, увенчивал пригород, который схизматики Буды назвали «Табан».

Всякий в Буде знал дом Трандафила. Он, как обычно говорил сам хозяин, состоял de facto [1] из двух домов, летнего и зимнего. Верхний, со ставнями на окнах, весь в зелени, был летним. Нижний, вкопанный в землю,— зимним. Перед окнами, под двумя рядами лип, росли пышные кусты жасмина и сирени. У входа, на зеленой лужайке, белела печь, которую топили соломой. В ней пекли даже хлеб для Трандафила. А он не скрывал, что запах хлеба ему приятнее запаха жасмина.

Окна в доме были часто освещены до глубокой ночи, а изнутри доносилась то песня, то музыка: Трандафил любил общество. Говорили, будто его дед, когда двинулся из Салоник, был гол как сокол: он немного пожил в Белграде, а потом добрался до Буды. И кто знает, если бы дед продолжил путь до Вены или Лейпцига, улыбнулось ли бы счастье Георгию Трандафилу? И кто знает, считал ли бы он сейчас деньги среди бела дня, заслоняя окна ставнями от взглядов завистливых земляков?

Георгий был бледный, темноволосый мужчина лет пятидесяти, похожий на лавочника, в неизменном черном бархатном сюртуке и высокой черной шляпе, которую носили в те времена все модники Пешта. Он ходил в коротких сапожках, окованных серебром, и никогда не выпускал из рук черную эбеновую трость с серебряным набалдашником. Этим набалдашником он часто тыкал в ребро собеседника, кто бы тот ни был, словно собирался его пощекотать. По целым дням в доме звучал его громкий смех. У Георгия было двое детей и дьявольски красивая жена. Звали ее Фемка, и была она родом из Футога.

---

[1] на деле, фактически *(лат.)*.

Георгий обычно говорил: «Не баба, а настоящий перец!»

В Буде Трандафила все знали. Он слушал рассказ Исаковича о пережитых им муках, смеялся и твердил, что все это было ни к чему. Ни к чему эти страдания да горькие слезы. На свете нет ничего трудного, все можно устроить, как при сватовстве.

Этот купец смеялся над каждым, кто был грустен и озабочен. Он говорил, что никогда не ездит верхом, ибо лошадь — глупое животное. Но зато ходит в сапожках и слушает позвякивание своих шпор. Всего можно добиться, коли человек этого захочет. И когда у него есть деньги. В деле Павла нет особых трудностей. Но деньги понадобятся.

В то время как других купцов сажали в Будскую тюрьму за помощь переселявшимся в Россию землякам, Георгий переправлял сербов в Россию, как на свадьбу. Он был компаньоном фирмы «Валаский и друг.» в Пожуне, поставлявшей в те годы в Россию серпы и косы из железно-скобяных лавок Граца и бочки для русской военной миссии, которая уже давно обосновалась в Токае и снабжала вином госпитали и русский двор. Трандафил поставлял этой миссии особые бочонки из ценных пород дерева с инкрустированным серебром вензелем императрицы Елисаветы.

Он пронюхал — и это было очень важно,— что возглавляет миссию некий Вишневский — их соотечественник, серб родом из Вишницы, что неподалеку от Белграда.

Трандафил производил на всех впечатление совершенно счастливого человека.

Он посмеивался над испуганным и встревоженным Исаковичем, который как тень бродил по дому, боясь показаться даже в саду. Павел с детской наивностью верил, что все устроится, как только он доберется до русского посла в Вене, графа Бестужева: в то время сербские офицеры называли графа Бестужева своим благодетелем. Павел верил, что, как только в России узнают, что вытворяют с ними, сербами, в Темишварском Банате, все переменится. Никто не посмеет их даже пальцем тронуть, когда они поедут в Россию.

Кроме того, Павла Исаковича, как человека тщеславного, жгла, точно раскаленный уголь, мысль, что от его переселения зависит переселение многих других людей,

которые этого ждут в Поморишье и в Среме. Подобно всем меланхоликам, он преувеличивал свои беды.

Трандафил очень быстро раздобыл Павлу все, что тот хотел: синий гусарский мундир, сапоги, офицерскую треуголку и даже саблю. Купил у него и дома в Темишваре и Варадине, и лошадей, вернее дал за все это задаток. И уверял, что вскоре без особых хлопот обеспечит Исаковичу проезд в Вену. Пусть себе едет на здоровье!

А он, Трандафил, себе на здоровье, останется тут.

Исакович по вечерам засиживался с Георгием допоздна и все что-то ему озабоченно шептал.

А когда Трандафила не было дома, visà-vis [1] усаживалась Фемка и заводила с Павлом веселый разговор.

Жена Георгия Трандафила с удивлением наблюдала, как этот поселившийся в ее доме больной, оборванный и грязный босяк постепенно превращается в красивого голубоглазого офицера, с золотистыми усами, шелковистой шевелюрой и ласковой улыбкой. По утрам полуодетая Фемка проходила через комнату — мол, надо поглядеть, как испекся хлеб. И спрашивала: «Красивы ли в Темишваре дамы?» Или: «Вы, верно, пользуетесь бешеным успехом у женщин?»

Но Павел не обращал на нее никакого внимания.

Досточтимый Павел Исакович не раз говорил Фемке, что у нее прекрасный муж, чудесные дети и богатый дом. Что же касается его, то сам он очень несчастен: год тому назад овдовел, потерял хорошую, красивую молодую жену. Умерла при родах.

Жизнь ему опостылела.

Потом, ретируясь, он рассыпался перед Фемкой в комплиментах: говорил, как она, мол, хорошо выглядит, как ей идут только что купленные Трандафилом дорогие серьги, до чего славные у нее дети. А однажды утром он сказал, что смотрит на нее, как на родную сестру, что иначе и быть не может, поскольку в своей соотечественнице он не может видеть женщину или возлюбленную, а только лишь сестру. Он вдовец и не собирается больше жениться. Женщина ему не нужна. Ну, конечно, когда приходится отдавать дань природе, он заводит мимолетную интрижку — ancillaire [2]. Уви-

---

[1] напротив *(фр.)*.
[2] со служанкой *(фр.)*.

дев, что Фемка не понимает его, он объяснил ей это слово так, как учил его Юрат. Услыхав такое объяснение, Фемка только воскликнула:

— Фу!

И все-таки перед самым отъездом Павла из Буды она прошла рано утром через его комнату в одной рубашке, но он сделал вид, будто ничего не понял. Фемка смотрела на этого статного, высокого офицера с надушенными усами, такого широкого в плечах и узкого в талии, и на губах ее играла странная улыбка. А он прошел мимо нее, как мимо могилы на турецком кладбище. На прощание Павел поцеловал ее, но поцеловал как сестру.

Исакович намеревался ехать из Буды в Вену верхом, ехать украдкой, окольными путями, с пистолетами за поясом. Он хвастался перед Трандафилом, что доберется до Бестужева, как уже добрался сюда, в Буду. Что семь лет назад он уже ездил по этим дорогам во время войны, когда французские гусары доходили до Праги. Знает там каждый ориентир на горизонте, каждую горку, каждый брод. И ему будет легко. Павел не смел признаться даже самому себе, что ему будет трудно.

Разве можно запомнить страну, через которую ты проскакал во весь дух, по снегу?

Трандафил только посмеивался и замечал, что Павел-де вечно уносится в облака.

— Разве вы не замечаете, как прекрасна весна,— говорил он,— как хорош день? Не видите, какие есть на свете красавицы? Почему бы вам не жениться, не поселиться в Буде, войти в общество? Мы могли бы вместе торговать. Быстро бы разбогатели. Зачем эти вечные разговоры о Косове? Для чего вспоминать царя Лазара? К чему эти сетования о давно минувших временах? Вы и сами не понимаете, что превратились в какого-то чудаковатого святого схимника! Вообразили, будто на вас зиждется царство. Помню, как в детстве отец пичкал меня баснями об Ахилле и греческих богах, но все это давно забыто. Стало смешным. Надо было жить. Обзаводиться детьми. И жить весело.

— Я родился на земле Бакичей,— угрюмо возражал Павел,— мать дала мне имя Павла Бакича, Paulusa Bachitiusa, как говорит Юрат, и я не намерен позорить это имя или забыть о том, что всосал с молоком мате-

ри. Да, я вообразил, что во мне живет дух Бакича, и этот дух я увезу с тобой в Россию. А народ в нижнем Среме и Славонии вспоминает царя Лазара. Там не умеют торговать, но зато умеют умирать. Все мы мученики, но быть купцами в Буде не желаем. Мы хотим отстоять свои права и получить землю, завоеванную мечом. Добытую «mit dem Säbel».

Трандафил смеялся и над этими речами.

Исакович утверждал, что Бестужев снабдил паспортами уже многих сербских офицеров с тем, чтобы они переселились в Россию. Снабдит и его. А едет он в Вену, чтобы жаловаться на Гарсули. Пойдет и в Хофдепутацию. И к придворному советнику Малеру, который для сербов что отец родной. А если потребуется, то будет жаловаться на допущенную к сербам несправедливость его величеству Францу I, императору римско-германскому, и ее цесарско-королевскому величеству Марии Терезии, императрице римско-германской и королеве венгерской! Он ведь бывший ее офицер, получивший отпускную из армии!

Трандафил удивленно и даже с сожалением поглядывал на Исаковича.

Этот высокий, статный и красивый офицер казался ему смешным и странным, совсем как те чудны́е монахи, частенько являвшиеся к нему в дом из далеких балканских земель. Вместо того, чтобы жить в свое удовольствие, подобно другим офицерам,— а он мог бы жить, как они, как все состоятельные люди,— этот Исакович мечется, точно он не в своем уме, точно он белены объелся. Он смел и силен, а ходит боязливо, будто тень крадется. Когда хочет, говорит красно и толково, а то вдруг молчит как пень или ляпнет что-нибудь совсем глупое и непонятное. Все о каких-то мучениках да о царе Лазаре толкует. Видно, помутился у него разум.

Не соглашался Трандафил и с намерением Павла ехать в Вену верхом.

— Все, о чем вы твердите,— говорил он,— скажу вам, как своему брату-сербу, блажь и фантазия. Вам надобно ехать в Вену, как другие едут, как офицеру, который согласно предписанию направляется в столицу по чрезвычайно важному делу, а не верхом на лошади и с пистолетом за поясом. Военные посты на дорогах в столицу уже получили, возможно, сообщение из Темишвара о вашем бегстве из-под стражи. У вас есть от-

пускная, подписанная Энгельсгофеном, с печатями Верховного штаба Осека, и никто в ней не усомнится. Да я еще достану вам документы из полиции, с печатями, какие только захотите, сколько угодно. Разумеется, это стоит денег. А в Вене кир Деметриос Копша и кир Анастас Агагиянииян сделают все, что понадобится. И до Бестужева вы без труда доберетесь. Все можно, надо только захотеть. Вот на днях в Вену отправляется семья майора Иоанна Божича, и полагаю, что вы могли бы уехать с ним. Здесь, в Буде, живет его тесть, и майор часто сюда наезжает. На всех постах по дороге до самой Вены у него хорошие знакомые. Он — личность известная. Знают его и во всех трактирах и карантинах. Майор играет в фараон по большой и пить горазд. Божича всюду любят. Я уже говорил о вас. Предложил заплатить ему половину стоимости проезда в Вену.

Исакович пришел в ужас. Одна лишь мысль отправиться в путь открыто, вместе с другими, казалась ему безумной. А тем более — путешествовать с человеком, которого он в глаза не видел.

Трандафил, все так же посмеиваясь, прибавил:

— Да я, кстати, уже и задаток внес!

Исакович охал и ахал, выражал опасение, что Божич невольно выдаст его при первой же проверке документов, в первом же карантине, когда майора спросят, кто с ним едет, откуда, куда и зачем. А потом будет только равнодушно наблюдать, как его, Павла, схватят и расстреляют.

Убьют его с позором на дороге!

А уж если такова его судьба, то он хочет умереть с честью, на коне, отбиваясь от погони, с пистолетом в руках, умереть за Россию.

Как подобает офицеру, сирмийскому гусару, он предпочитает упасть мертвым на траву, но не позволит схватить себя в экипаже, словно штафирку какого-нибудь. До Бестужева он доберется наверняка, но доберется один, тайком, как тень. А коли погибнет в пути, никто не посмеет упрекнуть его в том, что он не шел до конца, пока видел впереди свою путеводную звезду — Россию.

И если надо умереть на пути к России, то лучше умереть одному.

Чтобы конь сбросил его с седла уже мертвым. Сбросил в реку, а вода утащит его в омут.

Взять его живым теперь, когда у него на боку пистолеты, не удастся.

Трандафил смеялся.

— Если вы поедете с Божичем,— сказал он,— то не может быть и речи о какой-нибудь опасности. С ним, кстати, едут жена и дочь, обе красавицы, прямо розы, их знают во всех городах до самой Вены. И недотрогами их не назовешь. Они, знаете, не прочь... прошу покорно.

Вот и получилось, что Исакович поехал в Вену к Бестужеву так, как ему не снилось.

Узнав, что с Божичем едут жена и дочь и что в экипаже будут сидеть женщины, Павел вышел из себя и до самого отъезда бранился и жаловался, но это ничуть ему не помогло. Трандафил заявил Исаковичу, что долго прятать сербского офицера в своем доме он не может, что соседи и так уже спрашивают, что у него за гость, и он каждый день опасается, как бы в дом не нагрянули шпики.

А такой удобный случай, как путешествие с Божичем и его семьей, представляется редко.

— Поедете, как митрополит в митре!

Тщетно Исакович уже накануне самого отъезда кричал, что отказывается от путешествия, что не желает иметь спутниками женщин, что ночью ускачет на лошади один. Трандафил в ответ спокойно сказал, что все готово к отъезду.

В день Виссариона чудотворца — все в том же 1752 году — Исакович наконец уехал.

По словам Трандафила, Божич был почтенный юнак, но вместе с тем пьяница и отчаянный дуэлянт. Он, мол, часто приезжает с женою в Буду к своему тестю, некоему Деспотовичу, богатому торговцу-вoскобою, приезжает потому, что, играя в фараон, вечно по горло в долгах. Он дерется, рассказывал Трандафил, где и с кем попало, и пренебрегает красавицей женой. Сейчас у Божича одна забота — выдать замуж свою дочь.

После прошлогодних маневров, когда в Буде встречали императорскую чету, Божич, напившись, болтал, что его давно произвели бы в полковники, если бы ему довелось хоть разок пощупать у царицы задницу. Следствие затянулось, поскольку не было установлено, действительно ли он это говорил или нет. Хотя донесли на Божича его же земляки.

Однако Павел сможет преспокойно и в полной безопасности ехать с этим человеком. Божич вежлив с незнакомыми, кичится своей смелостью и богатством жены. И скорее лишится жизни, чем позволит, чтобы в пути что-нибудь случилось с человеком, которого он принял в свое общество.

— Вы только держитесь à la grande! [1], прошу покорно.

Тщетно Исакович ссылался на то, что отвык от женского общества и решительно отказывается ехать. Трандафил только посмеивался и готовил гостя в дорогу.

И вот наступил день отъезда. Солнечный, погожий, теплый.

Исакович в то утро проснулся рано, вернее сказать он почти всю ночь не сомкнул глаз, раздумывая, что делать и как быть. Павлу хотелось, чтобы люди оставили его в покое, наедине с его бедами и горестями, хотелось уехать одному и раствориться во мраке. В Темишваре с каждым биением сердца он ощущал, что вместе с ним в Россию переселяются многие — братья, Трифуновы граничары и целые села из Поморишья и Потисья. Отсюда же он уезжал один-одинешенек.

На рассвете он долго мылся и чистился. Если его схватят и расстреляют где-нибудь в овраге, пусть уж найдут его чистым. В то утро у него было какое-то странное чувство, будто до сих пор он жил в одном мире, а теперь Трандафил переселяет его в другой мир, куда он вовсе и не собирался. В ту самую жизнь, от которой он бежал. Он стремился поскорее попасть в Россию, а Трандафил сажает его в повозку, которая отправляется бог знает куда.

Однако, в конце концов, пришлось все же выйти с багажом за ворота и ждать. Павел в полной растерянности остановился под липами, поставил на землю фонарь и посмотрел вниз, на крутую и безлюдную улицу Буды.

Сперва медленно, потом все быстрее начало светать.

Несмотря на все шутки Трандафила, старавшегося отправить Павла в Вену в добром настроении, Исакович словно окаменел. «Легко ему балагурить,— думал он,—ведь дело идет не о его голове. Трандафил-то вый-

---

[1] поважнее *(фр.)*.

дет сухим из воды. Но что будет с теми, кто последует за мной, кто ждет еще там, в Нижнем и Верхнем Среме, в Поморишье, в Потисье? Георгию на это наплевать. Георгий занимается своими делами».

Расстроило Павла и то, что он видел еще по дороге сюда. И в самой Буде все переменилось за семь лет. Люди, которых он молодым встречал во время войны на этих крутых улочках, под этими кровлями, будто сгинули. Той Буды, которая в пору его детства могла выставить несколько тысяч расциянских солдат, уже не существовало. Люди вымерли, расселились, разъехались.

Павел хорошо помнил старую Буду.

Он видел своих соплеменников еще в ту пору, когда они, молодые и овеянные славой, с веселыми песнями гарцевали на бешеных конях, сверкая серебром, в красных плащах, и кисти на их сапогах, казалось, лихо отплясывали коло.

Все тогда были сильными, здоровыми, статными. И куда они подевались?

Их смех уже не слышен в Буде.

Сейчас в Буде смеется господин Трандафил.

Целые улицы, по которым Павел когда-то мчался с хохотом и песнями, ныне опустели, как во время чумы. В семьях осталось мало мужчин, а многие семьи вымерли поголовно. Трандафил даже не знал их фамилий. Он слышал лишь о нескольких богатых семействах: они сохранились, как сохраняются во время наводнения высокие деревья, чьи верхушки торчат из воды. Бедняки поумирали либо разбрелись. А все прочие, кто еще оставался жить внизу, на скате, обнищали.

Среди тех, кого уже не было теперь в Буде, у Павла было немало знакомых, друзей и родичей, с которыми он прежде встречался. Когда он спрашивал о них, Георгий только молчал и удивленно поглядывал на гостя.

Исаковичу чудилось, что он еще слышит цоканье копыт их коней и песню, которую они пели на прощание, слышит веселый смех и голоса сотен людей.

А в то утро вокруг стояла полная тишина, нарушаемая лишь пением петухов, доносившимся с крутого ската, где прилепились жалкие лачуги. Петухи встречали солнце, которое выкатывалось из-за гор Буды.

Смерть, о которой Исакович не переставал думать в Буде, была не смертью отдельных людей, о которой,

поговорив какое-то время, забывают, и даже не мором, когда в позднюю дождливую осень свирепствуют повальные болезни, о чем еще долго потом толкуют старики, она была каким-то кошмаром, ужасом, нараставшим, подобно лавине.

Гибель великого множества сородичей казалась Павлу томительным, бесконечным наваждением, ему чудились длинные вереницы гробов, его давила мертвая тишина, когда не слышно человеческого голоса, а в опустевших дворах лишь воют по ночам собаки.

В день отъезда из Буды Исакович просто разболелся. В нем словно что-то надломилось от горя. Он бросил на свой багаж ментик, который надевали в путь офицеры в те времена. Сверху положил раздобытую Трандафилом гусарскую саблю и, как безнадежно заблудившийся путник, сел на пороге чужого дома. Фонарь освещал его только до пояса — лица совсем не было видно.

В то утро все казалось Павлу жалким и убогим. И он скрипел зубами, как Трифун.

Капитан Исакович прежде представлял себе отъезд в Россию совсем по-другому: он гарцует на лошади под песню гусар и плач остающихся в Среме родичей. А вместо этого он печально сидит при свете фонаря на пороге чужого дома...

Между тем под липами в саду господина Трандафила совсем рассвело, были уже ясно видны и соседние дома. Хотя они тоже принадлежали торговцам, но далеко не все походили на дом Трандафила. И казались скорее хижинами, а не домами. Одни напоминали Павлу нищенские сербские землянки в Потисье, другие — под соломенной кровлей — хижины Срема. Редко какой из домов был оштукатурен, ворота же с двумя столбами и фонарем над ними стояли только у Трандафила,— совсем как у знатных католиков Буды.

Вдоль улицы тянулись низкие заборы, темнели проваленные кровли, заросшие лопухами и репейником строения. Да, далеко не все дома сербов в Буде были такие, как у Трандафила!

В небе, над Дунаем, еще сиял серебряный месяц в последней четверти. По реке бежала вдаль светлая дорожка. А солнце, как молниями, пронизывало своими лучами долину Табана.

У Исаковича, как у всех своенравных и заносчивых людей, настроение быстро менялось. Так и сейчас, после глубокой печали, которую он ощущал в себе, первые лучи солнца вдруг принесли ему успокоение и уверенность, что он все-таки доберется до Бестужева. Ведь добирались же другие, а чем он хуже их!

Нетерпеливо поджидая экипаж Божича, Исакович встал, накинул на левое плечо ментик, оперся на саблю и что-то сердито забормотал себе под нос. Ему вдруг пришло в голову, что экипаж может за ним не заехать, хотя обо всем и было условлено. Ведь Божич мог передумать. Но тут же Павел вспомнил, как, отправляясь за экипажем, Трандафил крикнул: «Зачем человеку передумывать? И не надо вечно каркать, прошу покорно!»

Павел вспомнил еще, как он без конца твердил Трандафилу, что глупо ехать в дамском обществе, когда скрываешься, потому что женщины любопытны и болтливы, а Трандафил ответил:

«А чего им, собственно, вас расспрашивать? Скажете, чтобы помалкивали. Мы же платим половину!»

После изнурительной, безумной скачки через болотистую Бачку и песчаную равнину Кумании, Павел Исакович стал резким и несговорчивым. Даже теперь, добравшись до Табана, он все еще был оглушен свалившейся на него бедой, походил на осужденного, чудом спасшегося от виселицы. До сих пор он еще все делал и говорил как во сне.

Павел стоял в полумраке ворот и вдыхал приятный и свежий утренний воздух, обвевавший лицо прохладой. Ему почудилось, будто он одновременно — и здесь, в Буде, и там, в той барке, на Беге, а то ему казалось, что он еще не выехал из Темишвара и стоит перед тем трактиром, где прощался с братьями.

— Куда я еду? Зачем? — прошептал он устало.

Ему вдруг показалось, что улица, на которую он смотрит, вовсе не в Буде, а в Темишваре.

Пригладив свои надушенные усы, Павел расправил грудь, и тут ему представилось, что он вовсе стоит на улице в Киеве, куда уже прибыли и он сам, и его родичи.

Случается, что во время крутых жизненных перемен человек смотрит на все с ним происходящее как бы со стороны. И ему кажется, будто он что-то выбирает,

чему-то отдает предпочтение, будто он идет туда, куда его влекут желания...

Но вот наконец совсем рассвело.

С каким-то спокойным наслаждением и уверенностью в собственных силах Исакович стал потягиваться, как после драки. Потом вытряхнул трубку в ладонь. Посиневшее с первыми солнечными лучами небо стало прозрачным, не видно было ни единого облачка.

Павел Исакович вспомнил о тех, кто подписался, то есть кто поставил крест в списке переселяющихся в Россию. С ними его связывали не только узы родства, но и лишения, которые они вместе перенесли на войне, одни и те же испытанные ими горести, одни и те же, столь знакомые ему надежды, одни и те же страсти, о которых он, правда, знал больше понаслышке. Но жить так, как жили доселе в Темишварском военном округе и в Потисье, было уже невмоготу. И не только им, Исаковичам: тысячи людей готовились к отъезду в Россию. Сотни и сотни людей из других краев уже уехали.

Горький опыт, который они обрели, перебравшись из Сербии в Австрию, в эту христианскую империю, уже не мог им ничем помочь. Империя обманула их ожидания. Горе, ложь, обман и великая несправедливость, а не христианство! Турки казались им сейчас чуть ли не рыцарями, а Гарсули, да и старый Энгельсгофен,— просто шантрапой. Весь народ хотел уйти из этой христианской страны и подальше.

Тем временем небо над Табаном озарилось.

В самом начале крутой улицы показалась тяжелая, черная дорожная карета.

По обычаю того времени люди путешествовали по земле в подвешенном на четырех высоких колесах кожаном гробу, а в могилу отправлялись— в деревянном. Карету тащили четыре лошади. На левой передней сидел форейтор. Он что-то громко кричал.

Лошади были напуганы тем, что их так рано гонят вверх по крутому склону.

Кучер по знаку Трандафила с трудом остановил лошадей на противоположной стороне улицы, возле того места, где стоял Исакович. Трандафил выскочил из кареты и подбежал к Павлу.

Исакович задул фонарь и взялся за свой багаж.

Георгий, сияя, крикнул, что все в порядке, и тихонько добавил, что особенно рады спутнику дамы.

— Они ни о чем не спрашивают. Молчат, будто воды в рот набрали. И расспрашивать не станут. Не предаст дама кавалера даже в смертный час. Вот так-то, прошу покорно.

Тем временем из кареты выскочил майор в дорожном плаще венгерского офицера и подошел к Павлу. Божич был среднего роста, широкогрудый. Он чуть заметно прихрамывал на левую ногу. Ему можно было дать лет пятьдесят или даже шестьдесят. Лицо его покрывал румянец, серые глаза поблескивали, но во рту уцелело всего три-четыре зуба.

Он церемонно помахал своей треуголкой.

Подведя Павла к карете, Божич представил его дамам. На верхнем сидении — в те времена называвшемся «posto buona» [1], Исакович увидел ослепительную красавицу, брюнетку; она была много моложе мужа, на вид ей было лет тридцать. Когда Исаковича усаживали в карету, он ничего уже не слышал и не видел — и даже не взглянул на дочь, которая в легком летнем платье сидела рядом с матерью: эта хорошенькая бледная девушка смотрела на него глазами пугливой лани, выбежавшей рано утром на опушку леса.

Божич твердил Исаковичу, что весьма рад столь приятному спутнику.

Потом кони, пуская ветры, рванулись в гору. Сконфуженный Исакович услышал еще, как Трандафил пожелал им доброго и счастливого пути и крикнул по-немецки:

— Eine angenehme und ereignislose Reise! [2]

V

Так он попал в город, в который и не думал ехать

Из рассказов Павла Исаковича у его двоюродных братьев создалось впечатление, что семейство Божичей отличалось от большинства семейств их соплеменников. Правда, Юрат утверждал, что все люди, с которыми встречаешься в пути, кажутся придурковатыми.

---

[1] Лучшее место *(ит.)*.

[2] Приятного и благополучного путешествия! *(нем.)*

— А потом мы еще возмущаемся, что наши спутники не похожи на деда или тетку, каких мы себе желали,— прибавлял он.

Павел позже всегда говорил о Божиче как о старике. Таким он его и сохранил в памяти. По словам Павла, получалось, что Божичу хоть и было уже под шестьдесят, но он был из тех сербов-кавалеристов, что могут запросто проплясать всю ночь до утра. Павлу с самого начала он не понравился.

— Да,— не раз повторял Павел,— Божич хоть и носил шитый серебром доломан, любил церемонное обращение, но орал на жену, говорил непристойности и был вежлив только со своей юной дочерью.

На первой же ночевке в Гране Божич уговорил Исаковича сыграть в карты и выиграл у него несколько талеров. При этом он бахвалился и кричал:

— Капитан, я, черт побери, могу еще любого за пояс заткнуть. Вот только по части баб устарел! Пусть себе хвостом вертят. Но если кто-нибудь обманет мою дочь, я прирежу его как борова. У меня, капитан, рука еще нож держит крепко. А крепкая рука — единственная отрада в жизни!

Когда майор бывал спокоен, лицо его казалось почти красивым. Выпуклый, высокий чистый лоб, словно купол, возвышался над густыми черными бровями. Роста он был среднего, держался прямо и беспрестанно расправлял плечи. Уродливым у него был только рот, где торчали всего два или три гнилых зуба, и этого не могли скрыть даже пышные усы.

Павел всячески старался избежать ссоры во время путешествия и поначалу сторонился Божича.

Но это ему плохо удавалось.

Капитан Исакович, видимо, с первого взгляда понравился майору Божичу.

Он, казалось, навязывал ему свою жену и дочь, а ведь г-жа Божич была очень хороша, и юная девушка уже созрела.

— Ее дед,— драл горло майор,— Деспотович, богатый торговец-воскобой, член городского совета Буды, даст за внучкой такое приданое, какое нашим «фесочникам» и не снилось!

Исакович смотрел на удлиненное красивое лицо матери, и оно почему-то казалось ему знакомым, посматривал он и на миловидную дочь, уже походившую на

молодую женщину. Жена Божича была довольно молчалива, зато юная девушка часто смеялась. И этот смех был приятен измученному Павлу.

Госпожа Божич ласково поглядывала на капитана своими большими черными глазами, а взгляд ее дочери, когда Павел смотрел на нее, становился вдруг растерянным, почти испуганным. По моде того времени и у матери и у дочери были весьма открытые платья, и Павел то и дело застенчиво опускал глаза. В матери он не только видел пылкую красавицу, но и угадывал, что она — несчастна, а дочь показалась ему обыкновенной девушкой — задорной, веселой и жизнерадостной.

Попав в общество супругов Божич, Павел сразу же оказался в затруднительном положении. Он просто не знал, как себя вести с ними. Майор обращался с женою до того грубо, что присутствовать при этом постороннему человеку было невыносимо. Павел старался не замечать, что муж с раздражением швыряет перчатки либо шляпу жены, а выходя из кареты, даже не протягивает ей руку, и она вынуждена прыгать на землю так, словно перемахивает через забор.

Когда на вопрос Божича Павел ответил, что ему тридцать семь лет, г-жа Божич улыбнулась и едва слышно шепнула ему:

— Я так и думала, что мы однолетки.

Божич все же услышал ее слова и крикнул:

— Привелось кулику похвалиться на веку: тридцать миновало.

Из рассказов Павла о г-же Божич, хотя он и говорил о ней мало, Варвара вынесла впечатление, что она была настоящая красавица. Стройная, высокая и сильная женщина с прекрасными черными глазами; по словам Юрата, брови у нее были не тонкие, как пиявки, а широкие и пушистые, точно гусеницы. В те времена красоте женских бровей придавали особое значение. Дамы путешествовали тогда в платье для верховой езды. С левой стороны у такого, обшитого золотым галуном платья был разрез до самого колена, и таким образом чуть ли не вся нога была открыта.

При взгляде на г-жу Божич бросалась в глаза застывшая грусть на ее лице. Ни глупые шутки, ни крики, ни ругань мужа не меняли печального выражения ее лица. Когда муж говорил грубости или непристойности, она молча смотрела на спутника, словно просила у

него защиты. И какая-то странная, невеселая улыбка появлялась на ее губах.

Ее продолговатое красивое лицо обрамляли густые длинные волосы: когда она снимала шляпу, они казались на солнце каштановыми. Красная шляпа придавала ее лицу розоватый оттенок, какой бывает под каштаном, когда опадут его цветы. А на закате солнца или когда экипаж въезжал в перелесок, ее ниспадавшие на шею локоны напоминали буйную черную гриву.

Как говорилось у сирмийских гусар, Павел произвел тщательную рекогносцировку, то есть с головы до ног оглядел красивую женщину, хотя он вовсе не был бабником, а после смерти жены и совсем перестал интересоваться дамами. Этот молодой и сильный мужчина, отправляясь в поездку, твердо решил не заводить в пути любовных интрижек. Вот почему он относился к жене своего попутчика с сердечностью старшего брата.

Тем, что г-жа Божич с самого начала показалась ему вылитой копией покойной жены, Павел с братьями так и не поделился, считая, что это — проделки нечистого, дьявольское наваждение.

У г-жи Божич были такие же черные с поволокой глаза, вздернутая верхняя губа, грудь и даже голос, как у Катинки. Похоже было все: и красивое, чувственное лицо, и ласковый взгляд, только вот нос был чуть покороче. А увидев белую изящную руку г-жи Божич, в которой она держала черный веер, он просто обомлел.

Столь необычное сходство двух женщин было скорее плодом его воображения, чем действительностью, но Павел увидел в этом нечто роковое. Поэтому он с самого начала стал относиться к Евдокии с необыкновенной нежностью.

А Божич во время путешествия обращался с женой так, словно она была не его законная супруга, а наложница, хотя с дочерью он был подчеркнуто нежен. Переезжая через наполненный водой овражек, девушка, которую звали Текла, испугалась и села к отцу на колени. И тогда Божич крикнул:

— Капитан, посадите к себе на колени мою Евдокию, я вам разрешаю.

Павел побледнел. А Евдокия Божич, ласково поглядев на него, сказала:

— Не придавайте значения словам мужа. Я давно

уже привыкла к его глупым шуткам, ведь мы женаты шестнадцать лет!

Таким образом Исакович понял, что между этой красивой, еще молодой женщиной и ее старым мужем супружеской любви нет и в помине. А есть только презрение со стороны жены и ненависть со стороны мужа.

По этой причине путешествие с первого же дня стало для него тягостным.

Павел сразу же принял сторону женщины и вовсе не потому, что рассчитывал воспользоваться раздором супругов и добиться благосклонности Евдокии: просто грубость мужа претила ему.

Правда, г-жа Божич казалась ему неотразимой и очаровательной. Ее красивое тело было совсем рядом, а взгляд, как у всех брошенных молодых женщин, таил ласку и страсть. Как и покойная Катинка, она была молчалива, но в глубине ее черных глаз горел огонь желания, как у женщины, вдруг встретившей мужчину, о котором она грезит во сне, лежа рядом со старым мужем. Когда во время одной из остановок, она, сходя с экипажа, оперлась на руку Павла, он даже сквозь платье ощутил жар ее горячего сильного тела; и невольно вспомнил «гайдука в юбке»—Кумру, жену Трифуна.

Исакович, который дал себе зарок, что он не вступит с этой женщиной в любовную связь, даже если она сама того захочет, вдруг понял, что не устоит, если она его поманит.

На его пути в Россию внезапно возникла женщина. Но встреча эта казалась ему бессмысленной и ненужной.

И все-таки явная склонность этой женщины к нему с первой же минуты сильно взволновала его. Так будоражит коня приближающаяся гроза, и он норовит свернуть с дороги. И Павел почувствовал, что г-жа Божич, чего доброго, еще заставит его сойти с намеченного пути. А этого он больше всего боялся.

Юрат в отсутствие Павла обычно говорил:

— До Буды наш Павел шел напрямик, как замороженный, на баб не глядел. А эта пылкая Евдокия распалила ему душу, как дьявол, как весна, и задумала повести его по окольной дорожке...

У Божича были серые глаза, да и все на нем было какое-то серое, даже треуголка. Евдокия же походила

на молодую кобылицу, у которой каждая жилка играет и дрожит, у нее была привычка встряхивать волосами, точно гривой. Когда она поднималась в экипаж, могло показаться, что это ангел восходит по райской лестнице на небо.

На пути Исаковича в Россию эти люди — муж, жена и дочь — встретились ему случайно, но случай в жизни человека часто играет огромную роль.

Случай порою налетает, как летняя гроза, как буря, которая все крушит на своем пути.

В первый же день Исакович убедился, что Трандафил был прав, когда уверял его, что ехать в Вену в карете Божича гораздо безопаснее и легче, чем тайно пробираться туда верхом на лошади. Выехали они из Буды под крики кучеров, без задержек и проверок.

Жаворонки взлетали из-под лошадиных копыт, и звонкая их песня перекликалась с веселым задорным смехом Теклы. Когда они переезжали через овражек, девушка, шаля, стащила с головы Исаковича треуголку, съехавшую набок.

В развалинах турецких укреплений, в разоренных после войны садах и огородах снова все цвело. Тяжелые времена, казалось, навсегда миновали.

Божич радушно пригласил Исаковича в экипаж, но Павел, несмотря на любезность майора, известного воина, не мог избавиться от чувства, что человек для человека — даже если они соотечественники — подчас загадка и тайна. Он сказал Божичу, что намерен уехать в Россию, но умолчал о том, что бежал из-под ареста. Впрочем, Божич его особенно и не расспрашивал.

Евдокия сказала, что ее родственники тоже переселяются в Россию, и она не раз говорила мужу, что им бы хорошо тоже уехать с ними. Но муж познакомился в Вене с генералом Монтенуово, весьма дерзким с женщинами стариком, у которого к тому же дурно пахнет изо рта. А жена Монтенуово еще очень красивая женщина и покровительствует ее мужу, Божичу.

Божич сердито оборвал ее:

— Если жене не в чем упрекнуть мужа, она объявляет его стариком и кричит: зачем дряхлому старцу женщина? Либо ославит мужа извергом. Что же касается России, то это — страна как страна, как и все прочие царства на свете, а потому я не против того, что родичи жены туда переселяются. Если там и вправду цве-

тут розы и если я узнаю, что там и вправду жить хорошо, может и я на старости лет двинусь вслед за ними. Я ведь родственник полковника Хорвата. Но, по-моему, всюду одинаково — что в одной стране, что в другой. Наш народ, который вы так превозносите, не заслуживает того, чтобы о нем проливали слезы. Для меня чужие больше сделали, чем свои земляки. По правде говоря, все беды обычно исходят от соотечественников.

Заметив, что его слова произвели дурное впечатление на спутника, Божич, смеясь, стал ругать карету и лошадей, которые ему всучил его почтенный соотечественник Трандафил и за которые придется втридорога расплачиваться его тестю, Деспотовичу. И вот хочешь не хочешь они должны теперь трястись, будто они не люди, а бочки, которые Трандафил отправляет в Токай для русской миссии.

После нескольких часов езды по горным и лесным дорогам, по корчевью и колдобинам Буда наконец исчезла из глаз, и карета полегоньку спустилась на тракт, что вел через долину в Гран.

Исакович не спускал глаз с освещенного солнцем Дуная, который все время был виден справа на горизонте.

Позднее он вспоминал, как на небосклоне вдруг появились, точно ягнята, белые облачка.

Путников одолевала сладкая дремота — в то утро они встали рано; охваченные этой дремой, они ехали еще долго. От тряски и покачивания экипажа у Евдокии разболелась голова, и она все чаще нюхала лаванду.

Впоследствии рассказывая братьям о том, как они добирались до Грана, Павел вспоминал о тех разговорах, которые он вел со своими спутниками. Божич великолепно знал Вену, вернее, как он сам выражался, macrocosmos Вены, и подробно говорил о процессе, возбужденном против него за оскорбление ее величества, тянувшемся уже много месяцев. Все его разглагольствования неизменно кончались вопросом: думает ли капитан Исакович снова жениться, перед тем как ехать в Россию, и почему бы ему, когда они прибудут в Вену, не остановиться у них в доме? Он, Божич, снял вблизи трактира «У ангела», где Исакович намеревался остановиться, дом, есть у него еще и другой дом—в Леопольдштадте, купленный для жены. Воздух летом в Вене

душный, а в Леопольдштадте — чистый, там много зелени и пахнет цветами. Исакович чувствовал бы себя там как Гораций. Оттуда недалеко до школы верховой езды графа Парри, и капитан мог бы каждый день ездить верхом.

Исакович не знал, кто такой Гораций, однако спросить не решился и только упрямо твердил, что хочет поселиться среди своих земляков в трактире «У ангела», на Ландштрассе, но, разумеется, он не преминет нанести визит своим любезным спутникам.

Потом защебетала Текла, говоря, что капитан, должно быть, превосходный наездник и выглядит на коне красавцем. А Павел под общий смех принялся уверять, что он хоть и понимает толк в лошадях, но брать барьеры не мастер. И что такие дылды, как он, редко выглядят на коне красиво.

— Поменьше болтай! — одернул Божич дочку.—Детям в обществе старших следует помалкивать. Уже невеста,— продолжал он, обращаясь к Павлу,— хотя ей только в этом году наняли учителя каллиграфии. Зимой она очень мучилась, болела импетиго.

Павел не знал, ни что такое каллиграфия, ни что такое импетиго, и спросил об этом. Божич объяснил, для чего учат каллиграфии, а об импетиго сказал, что это очень неприятная болезнь, нечто вроде парши.

Едва Божич произнес это слово, как Текла попыталась закрыть ему рот рукою и расплакалась.

Когда этот явно притворный плач утих, Исакович принялся расхваливать девушку. Он сказал, что восхищен ее умом и красотой, что она уже совсем взрослая и родители могут ею гордиться.

Текла дерзко ответила, что она не ребенок и знает, как знают все ее подружки в Вене, что офицеры говорят всем женщинам одно и то же. Знает, чего стоят их слова. А тем более — комплименты вдовца.

Потом, положив треуголку Павла к себе на колени, она схватилась за его саблю, которую он крепко сжимал коленями.

Тут Божич внезапно крикнул дочери, чтобы она не трогала саблю и вела себя прилично. И так грубо вырвал саблю из ее рук, что девушка вскрикнула.

Павел все это запомнил и позднее, удивляясь, рассказывал братьям.

Еще более странным было то, что юная девушка

вскоре как ни в чем не бывало опять смеялась. И этот смех, словно журчание ручейка в знойный день, успокаивал усталого Исаковича.

Когда Павел отводил взор от Теклы, он видел устремленные на него черные глаза Евдокии.

Она по-прежнему безмолвно взирала на все происходящее.

Павел не стал рассказывать братьям обо всем, что происходило с ним по пути в Вену, а тем более о том, что произошло в первый же день между ним и дочерью Божича. Им — суровым воинам — показалось бы все это очень неприглядным и невероятным.

Отъехав довольно далеко от Буды, экипаж в полдень остановился в горах на поляне, откуда открывался вид на далекий Гран. На этой поляне и решили пообедать. Окруженная елями и акациями, она поросла зеленой весенней травкой. Лесорубы из Грана вырубили по обеим сторонам дороги деревья, выкорчевали пни, и всюду пахло хвоей. Новый, вымощенный булыжником тракт спускался в равнину, лежавшую по ту сторону перевала. Исакович увидел за корчевьем, словно в глубине аллеи, небольшой пригорок, поросший высокой травою и маками, над ним синело небо, а на небе, будто стадо овец, белели облачка.

На поляне уже стояло три экипажа. Путешественники оказались знакомыми Божича. Все вскоре разбрелись по лесу, стали перекликаться, аукаться и приветствовать друг друга. Молодежь затеяла игры. Кто-то выстрелил из ружья в белку.

Исакович забрался в густой кустарник, опасаясь, как бы его не стали расспрашивать, кто он такой и куда едет.

Наконец, выложив для общего обеда свои припасы, путники, громко разговаривая и смеясь, уселись на траве в тени экипажа.

Божич орал во все горло, обращаясь к женщинам:

— Не пора ли мужчинам отвернуться? Или дамы сами отправятся в кустики? Кстати, ведь это естественная потребность, а французские философы учат, что ее не следует стыдиться.

Дамы и девушки, точно пугливая стайка, с визгом разбежались.

Исакович с недоумением и растерянностью смотрел, как Божич гоняется за ними, а они, подбирая юб-

ки, убегают от него. А в это время католический священник из Грана вел под руку с прогулки Евдокию.

Павел поглубже забрался в кусты, чтобы пообедать тем, что Трандафил по его просьбе сложил в плетеный коробок, который он сунул в свою сумку. Ел Исакович в дороге, как и дома, всегда из турецкой деревянной тарелки.

Однако его вскоре разыскала Текла и, глядя на него в упор, спросила:

— Почему это вы уединились? Почему избегаете нашего общества? Дамы о вас спрашивают, вы им понравились.

Эта стоявшая перед ним девчонка показалась ему сейчас еще краше, чем в экипаже.

— Давайте побежим наперегонки! — воскликнула она вдруг.— Кто будет первым — вы или я? Или лучше пойдемте ловить бабочек! — И Текла схватила его за руку.

Исакович растерялся и покорно поднялся с земли. Из глубины его памяти вдруг всплыла картина: в окрестностях Варадина в первые дни брака вот так же позвала его ныне покойная жена.

Жена была старше, но такая же веселая, как Текла...

Выпалив все это капитану, девушка кинулась со всех ног на гору, крича, что если он ее не догонит, она осрамит его перед всеми.

Дивясь самому себе, Исакович принял участие в этой игре: точно так он поступил бы с младшей сестрой, если бы она у него была. Хотя Павел был холостой и здоровый, полный сил сорокалетний мужчина, однако к такой девочке, к тому же еще и соотечественнице, он не испытывал плотского влечения, какое обычно офицеры испытывают к юным служанкам или к отдающимся за деньги валашкам. Такие девочки-подлётки, бледные или румяные, но всегда немые и стыдливые, порою появлялись в офицерской компании, но никогда офицеры не домогались их благосклонности. Случись это с кем-либо из них, его бы ославили во всем гарнизоне скотиной. В этой расхожей морали, видимо, были какие-то нравственные устои, но по существу тут действовали сословные законы. Ведь служанки и валашки — голытьба! Иное дело девицы из хороших семей, их трогать не следует, нельзя даже засматриваться на них, пока они еще не оперились.



Исакович быстро догнал Теклу и, конфузясь, словно он тоже был юнцом, осторожно взял ее под руку, совсем так, как если бы собрался вести на прогулку ее мать, Евдокию, и попытался ласково образумить это юное существо. Он рассказал ей о том, что у него была молодая и хорошая жена, что жили они счастливо, а потом — во время родов — умерли и мать и ребенок. С тех пор он живет один и не собирается снова вступать в брак, потому что все еще помнит покойную жену. Потом, сам не зная почему, Павел принялся сбивчиво объяснять, что, хотя, мол, смерть страшна и разлучает живых с мертвыми, он, несмотря на это, по-прежнему любит свою умершую жену.

Текла только смеялась и твердила, что никто никогда еще не говорил ей таких странных и непонятных вещей.

Тогда Исакович, стараясь сгладить впечатление от своих неуместных признаний, завел речь о своих родичах, о сирмийских гусарах, о страданиях людей, там, на турецкой границе, и о несчастном сербском народе.

Но Текла хохотала и над этим.

Потом, уже в России, Павел рассказывал, что во время своего путешествия с семьей Божича он впервые почувствовал, как равнодушны женщины к таким вопросам. Он привык, что в Среме жены офицеров думают о страданиях народа так же, как и мужчины. Достойный Исакович не знал, что такая отзывчивость присуща лишь женам и дочерям сирмийских гусар, а, скажем, дочери сенатора в Неоплатенси или дочери одеяльщика Гроздина, как и многим другим, разговоры о сербском народе малоинтересны. Вот о кавалерах — это другое дело. Поэтому первая прогулка по поляне и корчевью с Теклой Божич оказалась для него мучительной.

Девушка слушала его с недоверием.

— Все это,— сказала она под конец,— глупые рассуждения! Как это такой красивый и еще молодой мужчина решил навеки остаться вдовцом? И почему-то не хочет жениться! Вот вы все толкуете про народ, а ведь нигде сербы так хорошо не живут, как в Вене. Почему бы и вам, капитан, там не поселиться? Жили бы себе припеваючи. Вы напоминаете мне,— продолжала она,— моих родственников Ракичей из Вуковара, где, кстати, так много гусей. Ракичи тоже переселяются в Россию.

В этой семье только и говорят что о военных делах да о России. А вот по-немецки они — ни бельмеса!

Исакович только теперь заметил французскую мушку под левым глазом Теклы, которую она прилепила, вероятно, для того, чтобы казаться старше. И увидел еще, что перед ним стоит рано созревшая девица и несет вздор. А Текла и не подозревала, что возбуждает к себе презрение и неприязнь, которые в последнее время сербские офицеры испытывали к зажиточным людям. Сами-то они были изранены, измотаны, их семьи обеднели, многие носили траур, а господа из магистрата, всякие торговцы, мясники, одеяльщики лопались от довольства. Готовясь к переселению в Россию, семья Исаковичей находила поддержку только у офицеров подунайской милиции и наталкивалась на полное непонимание и даже насмешки со стороны «солидных» людей. Желание Исаковичей уехать в Россию не одобряли ни Мицулы, ни Маленицы, ни Апостолы, ни Бранковичи, ни Трандафилы, ни Кречаревичи, ни сам митрополит.

В Темишваре тоже можно было встретить немало таких вот рано созревших и пылких девиц, но столь вызывающе вели себя там только проститутки, которых привозили кирасиры из Вены. Исаковичу казалось вполне естественным, что в народе почитают тех, кто еще во времена Косова боролся за дело сербов, тех, кто проливал свою кровь в битвах, кто был ранен, отнимая турецкое знамя. Но считать себя видным, славным и уважаемым человеком лишь потому, что ты всю жизнь торговал восковыми свечами, украшенными ликом царя Лазара, мог, по мнению Павла, только глупец, потерявший к тому же всякий стыд... Честнейший Исакович думал, что пошел на прогулку с дочерью героя, майора Иоанна Божича, а на деле оказалось, что он ведет «на шпацир» внучку воскобоя Деспотовича.

И Павел спрашивал себя, с кем и куда он едет?

Тем временем Текла Божич решила продлить прогулку с капитаном. Она быстро побежала в гору в атласных башмачках, чуть приподняв юбку, и Павлу представилось, что перед ним взвился голубь-вертун или во ржи замаячил василек. Он увидел, правда, не только ее столичные башмачки, но и белые стройные ножки. Текла поднималась в гору легко, как козочка.

Исакович привык ездить верхом, и ему не хотелось пешком взбираться в гору. И все же, крикнув девушке, что пора возвращаться, он двинулся вслед за нею. Павлу вдруг подумалось, что Текла убежала куда-то далеко-далеко, туда, где всегда царит весна, и этот весенний день показался ему таким чудесным. А как она была хороша в эти минуты! Поднявшись на гору и вся запыхавшись, Текла легла на траву в овражке. Видимо устав, она закрыла глаза и закинула руки за голову. Когда Исакович подошел к ней, она посмотрела на него и улыбнулась.

Помня, что он имеет дело с избалованной девочкой и что она дочь майора Божича, Павел сначала повел речь о том, что она, мол, скоро вырастет и будет прекрасна и так же недосягаема для людей, как луна на небе; потом он сказал, что они уже набегались и пора возвращаться. Ведь они едут в Вену, а не пришли сюда ловить бабочек. Позднее Павел вспоминал, что он беспомощно стоял возле девушки, не зная, что делать. Она лежала среди цветущих маков, а поодаль чернел густой лес. И вдруг Текла тихо попросила его сесть или лечь рядом с нею, сказав, что это — счастливейший день в ее жизни; потом прибавила, что мама отбивает у нее всех кавалеров, но его она ни за что не отдаст.

Павел растерянно опустился рядом с нею на траву, приминая маки. А она закрыла глаза и улыбнулась, потом принялась лепетать, что все это она предчувствовала, когда отправлялась в поездку, что надеялась встретить в пути того, о ком уже давно мечтает, что она уже не ребенок, и капитан может, если хочет, ее поцеловать. «Может поцеловать»,— повторила она чуть слышно.

Исакович в первую минуту онемел. Он, как и другие сирмийские гусары, хотя и слышал о вéнках многое, но такой девицы до сих пор еще никогда не встречал. Он не знал, что и думать. Что она, рехнулась, или такая уж испорченная, или, может, видела или слышала, как ведут себя взрослые? Текла между тем взяла его за руку и нежно привлекла к себе. Рука у нее была холодная, как змея. Потом она капризно пожаловалась, что солнце светит ей в глаза и она ничего не видит. А так как Павел все еще сидел, точно окаменев, она дерзко прошептала:

— Милый, почему ты такой робкий?

И только тут, только тут Исакович вскочил как ошпаренный и даже пнул ее носком сапога, словно будил на конюшне уснувшего гусара. Он весь дрожал от бешенства.

— Придется мне рассказать Божичу, как ведет себя его дочь! — крикнул он. Затем круто повернулся и так быстро зашагал с горки, что известняк вылетал у него из-под сапог, словно выбивались из травы белые каменные родники.

На мгновение Текла оторопела. Потом кинулась за ним, крича, что он боров и ничего в девичьей любви не смыслит. Что вырос среди лошадей. Что он — изверг, влюбленный в женщину, чья могила уже травой поросла, сумасшедший. А она-то, дура, обрадовалась, когда он вошел в экипаж! Он совсем не понимает, что такое истинная девичья любовь, а ведь это — ее первая любовь. И, главное, пусть он ничего не говорит отцу.

Исакович молча спускался по корчевью.

Когда они добрались до поляны, откуда пошли на прогулку, слуги уже гасили разложенные костры и запрягали лошадей. Подойдя ближе, запыхавшийся Павел увидел, что госпожа Божич садится в экипаж, а ее муж церемонно прощается с дамами. Увидев дочь рядом с капитаном, Евдокия побледнела, потом покраснела и спросила Исаковича, куда они ходили, прибавив, что невежливо покидать общество. Разве он не понимает, сказала она, что Текла еще ребенок?

Божич тем временем кричал, чтобы запрягали и трогались в путь.

Золотые лучи солнца, падавшие сквозь зелень ветвей, освещали девушку. И задумавшемуся Павлу вдруг почудилось, будто перед ним — белая тень жены: она смотрит на него с грустной улыбкой, словно диву дается, куда он ходил и куда идет.

И вдруг, когда все остальные путешественники уже уселись, Исакович ненароком уронил свою офицерскую треуголку возле колеса кареты. Текла быстро схватила ее и, подбросив несколько раз вверх, словно голубя-турмана, швырнула в затухавший на поляне костер, кинула на манер сеятеля, бросающего зерна в борозду. Увидев, чтó она сделала, все так и покатились со смеху.

Исакович кинулся спасать свою треуголку, но от огня в ней уже появилась дыра, казалось, шляпу пробила пистолетная пуля.

Божич подбежал к дочери, грубо схватил ее за руку и велел просить прощения. От боли она упала перед отцом на колени.

— Девушки в ее возрасте,— сказал майор,— порою и сами не знают, что делают. У меня в Гране есть друзья офицеры, и я раздобуду вам новую треуголку, эта уже никуда не годится...

И тут почти все путники вышли из экипажей и стали подбрасывать вверх и ловить свои шляпы, словно это были бабочки. Послышался громкий смех, все развеселились; наконец экипажи покинули поляну и двинулись в путь.

Исакович начал было уверять Божича и его жену, что никакой вины с его стороны нет. Но майор быстро замял разговор и принялся развлекать своих спутников. Павел еще долго сидел нахмурившись, не говоря ни слова, Евдокия смотрела вдаль с таким видом, будто где-то там, на горизонте, происходит что-то необычное, а ее дочь опять упрямо уставилась на капитана.

Вот так майор Божич, его жена и дочь ехали в обществе Павла до самого Грана.

Их все больше засыпала дорожная пыль — путь теперь проходил по долине, среди селений. Справа и слева розовели фруктовые деревья. Все чаще попадались хутора, откуда доносился собачий лай.

Божич сказал, что он представит Исаковича генералу Монтенуово, которого, по его словам, собирались назначить правительственным комиссаром в Карловцы. Тогда, мол, и он, Божич, появится в Карловцах. Это было все, что Павел запомнил из его бесконечной болтовни.

Потом майор принялся расспрашивать Исаковича о его имущественном положении и рассказал ему о живущих в Вуковаре родственниках жены, Ракичах, которые тоже хотят переселиться в Россию и уговаривают ехать и Божичей. Под вечер Евдокия вдруг принялась расспрашивать Павла о его покойной жене. Красивая ли она была? Брюнетка или блондинка? Как случилось, что она умерла во время родов? Фемка Трандафила рассказывала ей, будто Павел не намерен больше жениться. Чем объяснить это странное решение?

Божич, вероятно сообразив, что пора прекратить такие разговоры, завел речь о лошадях. Его приятель, молодой ветеринар графа Парри, уверяет, будто у живот-

ных есть душа. По его наблюдениям, вороные лошади опасны, а самые лучшие — гнедые, особенно те, у которых черная голова. Самые выносливые и преданные — каурые. Лошади с маленькими, глубоко сидящими глазами зачастую рано слепнут. Но пуще нечистой силы надобно остерегаться лошадей, у которых одно ухо торчит вперед, а другое назад. Особенно следует обращать внимание на конскую шею. Шея для лошади важна так же, как для женщины — да простят его и пусть Текла не слушает — важны колени!

Евдокия, сидевшая напротив Павла, как раз в эту минуту, словно случайно, приподняла платье и принялась с улыбкой подтягивать чулки.

Она негромко заметила, что советы мужа касательно женщин вряд ли пригодятся капитану. Ее супруг, продолжала она, вообразил, как это свойственно пожилым мужчинам, будто он знает о женщинах нечто такое, что другим неведомо. Ей же кажется, что не следует слишком копаться в женской натуре, как это делает муж. Все, что надо о ней знать, женщина сама поведает в любовном порыве!

Текла взвизгнула, услышав эти слова. И громко сказала отцу, что мать, кажется, завлекает капитана.

Подобные рассуждения Исакович слыхал уже не раз в Темишваре; они никогда его не занимали и даже были ему неприятны. Он лишь подумал, до чего люди там, на турецкой границе, непохожи на его попутчиков — дочь богатого воскобоя и ее хвастуна мужа, на этих выскочек, мечтающих втереться в высшее общество Вены.

Чтобы не молчать, Павел сказал, что по его наблюдениям самое важное у лошади — это копыта. Если копыта легко крошатся, то и все прочее никуда не годится.

Божич вдруг пожаловался, что его супруга, верно, единственная среди офицерских жен в столице, которая не ездит верхом. У Монтенуово есть сестра, ей девяносто лет, и хотя в это трудно поверить, но старуха до сих пор каждое утро является в манеж графа Парри и ездит верхом.

Когда покупаешь лошадь, прибавил он, надо смотреть, чтобы шея у нее не была толстой, это делает ее голову неподвижной. Такие лошади дешево ценятся и рано околевают.

Вот так болтал Божич всю дорогу до города Гран. Наконец путники умолкли и только позевывали.

После долгой езды, уже к вечеру, кучер повернулся к пассажирам и указал на видневшийся вдали Гран. Божич заснул, едва лишь закатилось солнце. Из его щербатого рта вырывалось посвистывание. Вздрогнув и проснувшись от возгласа кучера, он, в свою очередь, указал Павлу на далекие башни Грана.

Пыль на дороге все больше темнела, а за пашней, за зелеными посевами Исакович увидел не то развалины, не то укрепления, стоявшие на небольшой возвышенности.

Внизу под горой в вечернем румянце зари заалели кровли Грана. Возникший перед ними город был уже близко.

Вот он, тот мир, где Исакович думал укрыться и найти пристанище. И это не мираж, а явь.

И все-таки этот город на Дунае и эта тонувшая в синем сумраке гора казались лишь причудливой игрою солнечных лучей, вечернего света, облаков и неба, каким-то обманом зрения.

Божич заверил Павла, что в городе найдется удобный ночлег и для него. Они немного отдохнут, а потом поедут дальше. Спешить им особенно некуда.

Так Исакович путешествовал с семьею Божичей.

Так познакомился он с дочерью и с внучкой богатого воскобоя из Буды, который подписывался Деспот, а прозывался Деспотович.

Так его благородие, досточтимый Павел Исакович, ротмистр сирмийского гусарского полка, переведенный в пехоту и дезертировавший, попал на пути в Россию в город, в который и не думал ехать.

В котором никогда до тех пор не был.

И в который уже никогда не вернется.

VI

Белый заяц и вороной жеребец на пути

Первую ночь по дороге из Буды в Вену весною 1752 года майор Иоанн Божич, его жена и дочь провели в городе Гран. Остановились они у сербского коммерсанта в сербской части города, неподалеку от развалин кре-

пости. А прибывшего с ними капитана Исаковича устроили неподалеку, у аптекаря архиепископства, некоего Алойза Гернгутера.

И хотя австрийская почта перевозила пассажиров в своих chaise de poste [1] со всеми удобствами, они были рады, когда удалось переночевать не в трактире и не под открытым небом. Гораздо безопаснее и удобнее было останавливаться у знакомых или друзей. Коммерсант Кречаревич, у которого ночевали Божичи, приходился родственником Деспотовичу.

Аптеку по соседству с домом Кречаревича горожане называли Die alte Apotheke [2], а в резиденции архиепископа — Pharmacopolium [3], в сербской же части города просто «Зельницей».

Гернгутер всегда был рад гостям и охотно пускал на ночлег путников, особенно офицеров. У него было три дочери на выданье, и он лелеял надежду, что кто-нибудь из проезжих офицеров соблазнится какой-либо из них. Уж очень ему хотелось сбыть их с рук до своей смерти. Но оставшиеся без матери девушки — уже перестарки — блюли себя и в постель к офицерам не ложились, ограничиваясь только поцелуями. Когда Исакович вошел в дом, они с интересом поглядели на красивого капитана, который так внезапно появился в комнатах при свете фонаря. Однако за ним, точно тень, следовала Текла, и дочери аптекаря решили, что это — жених и невеста. На ночлег устраивались в полутьме, это походило на какую-то фантасмагорию, и все-таки Павел вскоре уснул крепким сном. Хозяйские дочки на своей половине еще долго болтали, хихикали и гоготали, как гуси, но к утру и они угомонились. Слышался только собачий лай. Ночь прошла без всяких происшествий.

Что понадобилось Божичу в Гране, Исакович не знал, но из разговоров догадался наконец, что дело идет о деньгах Деспотовича, которые Кречаревич отдал под проценты кому-то из местных жителей: эти деньги Божич и хотел теперь взыскать. На другой день майор около полудня вернулся из города, ругая здешних сербов на чем свет стоит.

---

[1] Почтовая карета *(фр.)*.
[2] Старая аптека *(нем.)*.
[3] Фармакология *(лат.)*.

В Гране Исакович помалкивал и старался не показываться на людях, боясь, как бы о нем не проведали на карантинной заставе; он с облегчением вздохнул, лишь когда подали карету.

Хотя все они уже немного привыкли друг к другу, как это бывает в пути, Исакович не слишком обрадовался, когда Божичи снова уселись в экипаж, чтобы продолжать путешествие до Рааба, где предполагался следующий ночлег. Божич показался ему еще неприятнее, чем вчера, и Павел все больше убеждался, что майор — человек злой и его надо остерегаться. Впоследствии Павел не раз вспоминал, что левая ноздря у Божича раздувалась и кривилась во время разговора, словно вокруг стоял смрад, который невольно приходится вдыхать. Зато Евдокия в тот день показалась ему еще красивее, чем накануне, но он избегал обращаться к ней. Хмурые взгляды, которые она бросала на Павла, надоели ему. У этой женщины были необыкновенно густые и длинные ресницы. Когда она опускала глаза, то казалось, будто слетаются, складывая крылья, какие-то черные ночные бабочки. В такие минуты Евдокия почти не дышала, ее тонкие прозрачные ноздри были неподвижны. Когда она обмахивалась черным веером, то до такой степени становилась похожей на покойную жену, что Павел вздрагивал от одной этой мысли. И удивленно спрашивал себя, по какой прихоти судьбы одна женщина покидает этот мир, а другая, похожая на нее как родная сестра, внезапно появляется перед мужем усопшей.

И чем дольше он сидел против Евдокии Божич, тем чаще ловил себя на мысли, что ее открытая грудь, ноги, взгляд, голос поразительно похожи на грудь, ноги, взгляд и голос его Катинки.

Евдокия, разумеется, не могла знать, о чем думает Павел, и молчала. А ее дочь, как и накануне, весело болтала и несла всякий вздор. И Павел невольно признавался себе, что смех девушки все больше и больше нравится ему.

В ней было то обаяние юности, которое также быстро проходит, как проходят свежесть и красота.

Выехав в весенний день из Грана, путешественники катили сквозь заросли кустарника, через поля и рощи, и Павел впервые подумал, что поездка эта ему очень

приятна. Он чувствовал себя веселым и бодрым в этот прекрасный весенний день.

И позабыл на время обо всем другом.

В Раабе у Иоанна Божича тоже нашлись какие-то важные дела.

Он снова взыскивал деньги тестя и снова бранился. Опять обходил сербских коммерсантов, которых тут было, правда, поменьше, чем в Гране. На ночлег он предложил остановиться у органиста епископства, который переселялся из Рааба в Вену, поступив на службу к Монтенуово.

Звали органиста Йоганн Шмерц.

По рассказам Павла то был старенький, сухонький человечек в стихаре причетника, опьяневший от радости, что он будет доживать свой век в Вене, на службе у вельможной дамы. Шмерц почти полностью потерял зрение в соборе и теперь ходил как слепой, постукивая палкой по стенам домов. В церковь обычно его водила жена. Больше он никуда не ходил. А на органе играл с закрытыми глазами.

Он подобострастно кланялся Божичу в пояс и почтительно принял Исаковича.

Узнав, что Павел вдовец, Шмерц разразился на немецком языке пространной речью о браке как о величайшем счастье в человеческой жизни, если, конечно, супруги живут в согласии. Он просидел с гостями до полуночи. А когда надумал позвать жену, постучал палкой в пол.

Госпожа Шмерц, маленькая старушка в черном крепе, распространявшая вокруг запах бузины и при выходе в город надевавшая шляпу с множеством роз, как и муж, радовалась возвращению в столицу, где прошли ее девичьи годы. Радовалась она и тому, что гости понимают немецкий язык и поэтому их можно расспросить, как одеваются сейчас женщины в Вене.

Окна дома Йоганна Шмерца, вернее дома органиста епископального собора в Раабе, выходили в сад. Со стороны улицы окон не было и стены были украшены фресками, изображавшими итальянских ангелов и немецких трубачей. Дом этот, подобно многим домам города, сохранился еще с турецких времен и походил на треугольную, словно вмурованную в башню кирпичную голубятню, укрепленную по углам большими белыми камнями. Стреха была очень высокая, а оконца

такие узкие, что напомнили Исаковичу бойницы в темишварском каземате.

Вход сюда мог оборонять один человек, вооруженный саблей или мушкетом, но те времена уже миновали.

В епископских садах Рааба давно уже царили мир и тишина. Только по ночам слышалось поскрипывание железных петухов на крыше: они предсказывали своим скрипом погоду, когда начинали дуть ветры.

Шмерц уступил Божичу с женой свои покои, Текле отвели комнату на третьем этаже, а капитана поместили на первом — по соседству с комнатушкой, откуда изрядно попахивало и на двери которой был нарисован белый заяц, присевший на зеленую травку на желтые яйца.

Прежде чем гости разошлись спать, Исаковичу указали на это помещение, но он сердито сказал, что не нуждается в нем.

Устав от долгого пути, остановок в придорожных корчмах, от жары и вина, Павел забылся тяжелым сном. Однако на рассвете его то и дело будили шаги домочадцев, направлявшихся навестить белого зайца. Павлу казалось, что он узнает прихрамывавшую походку Божича, потом шаги Йоганна Шмерца, сопровождаемые постукиванием палки по стене, и, наконец, легкую женскую поступь, напоминающую удары лебединых крыльев, которые он слышал во время войны в Праге, на одном озерке, семь лет тому назад.

У Исаковича была удивительная память. Он долго не мог забыть, как тогда, в полусне, ему почудилось, будто женские шаги затихли у его двери, кто-то потрогал щеколду и даже тихонько постучался.

Может быть, его обманывал слух?

Однако Павел помнил, что это повторилось несколько раз.

Здесь, в Раабе, ему приснился сон, который он потом часто с грустью пересказывал Юрату, правда несколько путанно. Самым страшным в этом сне было то, что он кончился смехом. Смехом, который разбудил Исаковича. Проснулся он весь в слезах.

Снилось ему венчание с его покойной женой, снилась свадьба, о которой долго говорили по всей Бачке и в Среме.

Жена приснилась ему точь-в-точь такой, какой была в Неоплатенси,— бледной, словно озаренной светом луны, которую она очень любила. Привиделась она ему во сне такой, какой была на свадьбе, когда подвела его к большому круглому зеркалу Варвары, чтобы посмотреть на него такого, каким она уже больше никогда его не увидит, и он чтобы увидел ее такой, какой уже больше никогда не увидит. Прижалась лицом к его лицу, и ее черные волосы перепутались с его волосами. И они долго стояли, не шевелясь.

Сенатор Стритцеский, выдавший недавно дочь замуж, радовался, что теперь сбыл с рук и свою бедную, тугую на ухо родственницу. Однако ему не нравились ни офицер-схизматик, ставший его зятем, ни другой, который взял в жены его приемную дочь. Но Павел, человек уравновешенный, толковый, молчаливый, умел вести себя как подобает, и сенатор Стритцеский вел себя тоже как полагается.

Он спросил Павла, какое приданое тот хочет: обстановку или деньги на свадьбу. Если деньги на свадьбу, то он закатит пир на всю округу.

Павел сказал сенатору, что у него хоть и есть небольшой дом в Варадине, но он предпочитает справить выросшей без отца и матери девушке такую свадьбу, чтобы она запомнила ее на всю жизнь. Тогда сенатор послал в Варадин только одну подводу со скарбом, но зато устроил свадьбу на славу — хоть в святцы записывай!..

В ту ночь Павлу снилось, будто его покойная жена лежит полуголая рядом с ним и что-то ему шепчет.

На свадебном пиру Катинка, эта бедная родственница, на которую прежде никто и не смотрел, была так хороша, что даже затмила красавицу Варвару, и можно было подумать, что сенатор до сих пор намеренно прятал ее от людей.

Хотя вслух об этом никто не говорил, но Катинка, которая до замужества была невинной девушкой, после свадьбы стала такой, словно была рождена для любви и поцелуев.

Павел окончательно понял это лишь теперь, после ее смерти. Сейчас, во сне, он видел ее большие черные, подернутые влагой глаза, когда после долгих ласк она лежала в его объятиях. Обычно спокойные и глубокие, они постепенно затуманивались и вдруг вспыхивали от

страсти. В них светилась любовь, та любовь, которой она жаждала долгие годы.

В минуты страсти она была стыдлива, но ее пухлые красные, словно смоченные вишневым соком губы с первого же дня при виде мужа расцветали улыбкой.

Стритцеский сказал, что отдает на три дня в полное распоряжение молодых дом в Неоплатенси, виноградник в Варадине и хутор в Футоге, а также даст деньги на музыкантов, вино и угощение, и пусть они зовут в гости хоть всю Бачку. Единственно, о чем он просит,— не приводить в дом попа-схизматика, ведь этого он не позволил, даже когда выдавал замуж свою дочь. Павлу это было безразлично.

Никто и не подозревал, как истерзали сенатора монахи из Митровицы за то, что он выдал дочь за схизматика: они грозили ему геенной огненной и успокоились только тогда, когда Петр подписал бумагу о том, что его детей будут крестить по католическому обряду.

Но Павел на это не пошел и решительно потребовал, чтобы его невесту оставили в покое и не изводили перед венчанием вопросами о религии, он не подпускал к ней близко ни монахов из Митровицы, ни православных попов из Карловцев. Все, мол, решится позже, когда у них родятся дети, объявил он.

Ничуть не лучше монахов были их братья во Христе из принадлежавшего Исаковичам Крушедола. Они распространяли по всему Срему слухи, будто Исаковичи ради приданого приняли унию, изменили старой вере.

В конце концов патеры потребовали, чтоб спор разрешил пресвятой Каптол в Загребе. А монахи заявили, что пожалуются митрополиту.

Юрат кричал, что надо подождать и поглядеть, что решит владыка.

Для лейтенанта Петра Исаковича красавица Варвара была желанной невестой, которую он боялся потерять из-за всех этих споров о вероисповедании: он очень страдал из-за настырности священников и до венчания никому не показывался на глаза.

Павел же, будучи человеком гордым, упрямым и непокорным, ни от кого не прятался, сносил все с презрительной улыбкой и только поглаживал свои неизменно надушенные усы.

Но сильнее всех терзались Варвара и Катинка. Они

боялись, что Стритцеский не согласится на их замужество.

Однако все кончилось благополучно.

Сенатор заплатил кому надо. И золото отворило врата, которые не поддавались ни слезам, ни мольбам. Девушки получили разрешение венчаться согласно их воле — по католическому или православному обряду: их исповедали, помазали лбы святым миром, каждой вручили четки.

В церкви во время венчания Варвара походила на надломленную лилию.

А Катинка была на диво хороша.

Эта, дотоле тихая, скромная, грустная девушка не сводила теперь с Павла страстных глаз; она то бледнела как смерть, то радовалась, как безумная, и зачала в первую же неделю. Ее богатая родственница выходила замуж за Петра Исаковича спокойно, с каким-то безразличием, она не могла понять, почему Катинка не сводит с Павла глаз и шептала ей:

— Милая! Чего ты так пялишь на него глаза?

Катинка ничего ей не отвечала.

Накануне свадьбы Павла кирасиры давали в Варадине бал в честь жены своего нового командира полка. Пришлось пойти туда и всем Исаковичам. В то время они уже знали, что славонскую ландмилицию расформируют, а их уволят, как увольняют слуг, и было им вовсе не до танцев. Кроме того, венские танцы ловко отплясывал один лишь Петр, остальные танцевали только полонез да привычное им с детства деревенское коло с выкриками и подвизгиваньем.

Но невеста Павла неожиданно оказалась такой плясуньей, какой среди сербов в Варадине еще никто и не видывал. Она прекрасно танцевала не только полонез, но и любой венский танец. Научилась она этому еще в детстве. «От матери у меня это»,— говорила она.

Офицеры наперебой приглашали ее, невеста сирмийского гусара плясала на балу чуть ли не со всеми кирасирами. Сейчас Павел во сне снова увидел, как его жена танцует в своем прозрачном муслиновом платье, словно облитая лунным светом.

Еще больше все удивились, когда эта туговатая на ухо девушка принялась вдруг весело болтать. Она дерзко вступила в спор даже с Юратом. Офицеры, до той поры избегавшие ее, потому что она не слышит на

одно ухо, а к тому же еще и бесприданница, теперь завидовали Павлу.

Когда Юрат стал разглагольствовать, что настоящее место женщины в гареме, она только спросила, не собирается ли он запереть туда и свою мать? И потом разразилась целой тирадой о том, что жена, избрав себе мужа, должна жить с ним — хорошо ли, худо ли — до самой смерти. Женщина, мол, порой может увлечься, как это часто бывает и у мужчин, но первая любовь бывает в жизни только один раз и запоминается она навсегда, как и первое горе.

Когда же Юрат попытался заставить ее замолчать, она сердито сказала, что ее бабушка, богатая и красивая жена Петричевича, по которой сходила с ума вся Славония, родила в браке восемнадцать детей и умерла спустя неделю после кончины мужа. А ведь захоти она только, и у ее ног оказалась бы целая сотня кавалеров, да еще самых завидных!

В день свадьбы Катинки исполнилось ее заветное желание: веселая кавалькада офицеров окружала их экипаж.

Катинка Петричевич подбивала на самые безумные поступки юных и озорных сирмийских гусар: они, сидя на лошадях, поднимались по лестнице на верхние этажи домов или, не слезая с седла, прыгали с понтона в Дунай. Все сбегались поглазеть на эти чудеса. В день свадьбы на улицах гремела пистолетная стрельба.

Коло плясали в доме сенатора три дня. И удивительнее всего было то, что больше всех веселилась новобрачная. Ее не отпускали на брачное ложе, а она только смеялась. И не сводила глаз с Павла.

На третий день Юрат решил обмануть сватов и отвезти молодоженов на хутор. За ними прислали прославленный четверик майора Рашковича, чтобы они, незаметно выскользнув из дома, могли ускакать от погони.

Так оно и вышло.

Однако бегство молодоженов чуть не закончилось панихидой.

Когда слуга, подъехав к воротам сенаторского дома, перевел лошадей на шаг и передал вожжи Павлу, а Юрат осторожно бросил в возок молодую, она, точно ребенок, выхватила из рук мужа кнут и стегнула коней. Дикие жеребцы, не привыкшие даже к упряжке,

не говоря уж о кнуте, точно взбесились и понесли. Слуга Рашковича вылетел из возка.

Люди выбежали на пыльную дорогу, где уже замер, как распятие, широко раскинув руки, Стритцеский; он кричал слугам, чтобы они выбежали на дорогу и остановили лошадей. Но тщетно! Жеребцы трижды промчались через Неоплатенси, словно их погонял дьявол, пока наконец не остановились у самого Дуная. Павел едва успел упереться сапогом в железную скобу и ждал, пока жеребцы перебесятся. Катинка же упала на колени, обхватила мужа руками и зажмурила глаза, чтобы не видеть приближающуюся смерть.

А потом только молча смотрела, как в тучах пыли на дорогу выскакивали братья Павла, пытаясь схватить лошадей под уздцы, да прислушивалась к голосу мужа, который тихо уговаривал жеребцов успокоиться.

К счастью, венгерская повозка оказалась прочной, и все обошлось.

Голос Павла каким-то чудом утихомирил жеребцов.

Потом в городе говорили, будто свадьбу прокляли патеры, и один из них напугал коней, подняв фонарь перед самыми их глазами, что, разумеется, было неправдой.

После этого гусары решили продолжить свадебный пир в Варадине, вернее на хуторе в Футоге. Варваре стало дурно, и ей позволили вернуться в отчий дом. А остальные направились в Футог и продолжали там веселиться. Сваты не отпускали ни на шаг молодоженов.

Только после полуночи Трифун, скрежеща зубами, уговорил сватов лечь отдохнуть. Мужчины устроились на сене под стрехой, а женщины — в амбаре. Новобрачных уложили посреди двора на телеге с сеном. В темноте им с неба улыбались звезды.

Юрат решил выкрасть молодоженов, когда сватов одолеет сон, и вывести их через огород к реке.

Однако сваты еще не раз подкрадывались к телеге, чтобы посмотреть на молодую в объятиях Павла. Он баюкал ее, как сестру, а она, казалось, лежала не на брачном ложе, а на смертном одре.

Оба молчали.

Сенатор держал на хуторе собак, среди них был любимец Катинки огромный пес Гар, под стать любому волку.

Ночью рука молодой на миг свесилась с телеги, и пес, узнав знакомую руку, подошел и ткнулся мордой в ладонь. Слезы текли у него из глаз: пес как будто чуял, что эта красивая нежная рука скоро будет покоиться в могиле.

А Катинка, почувствовав рукой прикосновение собачьего носа, холодного, как змея, и разглядев в темноте одни лишь глаза, испуганно закричала. Крик ее жутко прозвучал в ночной тишине.

Она еще долго, дрожа всем телом, плакала в объятиях Павла, а тем временем сваты проснулись, и снова началось бешеное веселье. Опять закружилось коло, зазвучал смех.

И только спустя много времени Павлу разрешили наконец увести с пира молодую жену.

А с Юратом в ту ночь случилось нечто такое, что он запомнил на всю жизнь.

Заснув во дворе, на сене, так как ему, разумеется, не позволили улечься с женой, этот толстяк, встававший, если нужно, раньше петухов, в то утро заспался. Он храпел так, что казалось, будто пилят сухой пень, храпел с присвистом, с рокотом и очнулся от сна только, когда солнце уже сияло вовсю.

Продрав глаза, он вдруг понял, что над ним громко хохочут.

И было на что посмотреть: кто-то расстегнул ширинку его гусарских чикчир, развязал учкур и разукрасил пестрыми лентами то, что сокрыто внутри, разукрасил как свадебную баклажку, которую в Нови-Саде называют «фифера».

Самым же позорным, как говорили потом в гарнизоне, было то, что устроили все это якобы не его товарищи офицеры, а женщины в отместку за вольные шутки, которые он отпускал по их адресу, чтобы запомнил он и эту свадьбу, и что́ у него было «фиферой».

Майор Иоанн Божич выехал из Рааба на рассвете с тем, чтобы остановиться на ночлег в окрестностях Визельбурга, на конном заводе графа Парри и поглядеть на купленных там генералом Монтенуово кобыл и жеребца. Конюшня графа Парри перебралась на лето в поместье близ Визельбурга. В имении стоял охотничий

дом — Herrenhaus[1], достопримечательный тем, что несколько лет тому назад в нем после охоты просквозило императора, и тот, уехав больным в Вену, через неделю умер.

В то утро Исакович первым вышел из дома Йоганна Шмерца. Опасаясь, как бы его вдруг не схватили теперь, когда он преспокойно доехал почти до самой столицы, Павел, прячась от людей, укрылся под черным кожаным верхом экипажа.

У него была бумага со многими печатями, удостоверявшая его отставку, но он решил предъявить ее только в крайнем случае, если речь пойдет о жизни и смерти. Дело в том, что во время бегства с барки на Беге, вода подмочила некоторые подписи, и Павел боялся, что это вызовет подозрение. Поэтому он надумал показывать только «Freypass» [2], которым снабдил его в Буде Трандафил.

Пропуск этот был весьма сомнительным.

Ожидая в такую рань своих спутников, Исакович оставался какое-то время в одиночестве. В тот день здесь, на площади Рааба, перед церковью открывалась ярмарка. Расставив свои ларьки возле домов, под аркадами и воротами, торговцы ждали только конца утренней мессы, чтобы начать продажу своих товаров. Глашатай магистрата с колокольчиком в руке, точно павлин, разгуливал по квадратной площади, среди ларьков; он дожидался, пока священник выйдет из храма, тогда можно будет позвонить, и это послужит знаком к открытию ярмарки.

Со всех сторон уже стекались люди, преимущественно женщины.

Исакович сидел в экипаже один — кучер и форейторы стояли в подворотне; он смотрел, как купцы, сталкиваясь, словно муравьи, копошатся у своих ларьков, и думал о том, что сделал глупость, явившись сюда поглазеть на ярмарку, хотя такого зрелища ему никогда больше не доведется увидеть. Он подумал о своей жизни с ее муками, несбывшимися желаниями и надеждами, и вся эта ярмарочная суета показалась ему особенно бессмысленной. Зачем он пришел смотреть на все это?

---

[1] Господский дом *(нем.)*.
[2] Свободный пропуск *(нем.)*.

Ведь между ним и происходящим вокруг нет, собственно, никакой связи. Через несколько минут он уедет, а такие картины жизни будут повторяться и впредь, хотя от него тут не останется и тени.

И подобно Трифуну, который после отъезда Кумрии из Махалы увидел на стенах среди пыли белые тени от вынесенной мебели, Павел вдруг почувствовал, как он одинок, словно идет один в туче пыли, которая уляжется сразу же после его ухода.

Неизменным оставалось в нем лишь желание уехать, попасть в Россию и поселиться там. А преходящим — горестные чувства его самого и его соплеменников. Да и человеческие чувства вообще.

Какой-то вертевшийся возле лавок на площади торговец, заметив одиноко сидящего в экипаже офицера, подошел к нему и предложил купить сукно. Нигде, дескать, такого сукна не сыщешь. Он предложил капитану выйти из экипажа и посмотреть на его товар.

Исакович не ответил. Торговец удивленно посмотрел на него и спросил:

— Откуда едете, ваше благородие? Почему не хотите ничего купить?

А когда Павел Исакович ничего не ответил и на этот вопрос, торговец лишь покачал головой и удалился с таким видом, будто встретился с безумцем, а к тому же еще и немым.

Наконец появились Божич, Евдокия и Текла, они стали подтрунивать над Павлом, удивляясь, что он поднялся ни свет ни заря. Пришли и хозяева, и началось церемонное прощание. Павел слышал, как Евдокия сказала, что надеется отблагодарить хозяйку за гостеприимство, когда та приедет в Вену. Текла, оставшись на минуту наедине с Исаковичем, улыбаясь, сказала:

— Эта противная особа испортила чудную ночь, ведь мы могли бы провести ее, гуляя в саду. Я трижды спускалась вниз, и каждый раз, будто случайно, за мной спускалась хозяйка, чтобы и для меня сделать невозможным то, что невозможно для них, старух.

Потом под крики конюхов экипаж тронулся с места.

Без всякой проверки на карантинной заставе они выехали из Рааба и помчались по пути в Айзенштадт и Визельбург. Кони отдохнули, форейтор был новый, местный словенец, отлично знавший дорогу, знавший, где

надо будет переезжать через ручьи и непросыхающие лужи, а где встретится деревянный мост.

Если он, случалось, терял дорогу, то останавливал на минуту лошадей, и Павел слышал, как, сидя верхом, форейтор сокрушался:

«А, черт побери! Перекресток!» — И тотчас же ехал дальше.

Часа через два почва стала сухой и песчаной, они покатили быстрее. И к обеду были уже далеко от Рааба.

А вскоре вдали показались пригорки.

Тракт, который вел в Визельбург, в сущности был не настоящим трактом, как, впрочем, и многие другие дороги в том краю, а высохшим руслом реки, утрамбованным бесчисленными копытами лошадей. Экипаж легко катил по глинистому грунту. После обеда, когда выехали на необъятные зеленые пастбища перед Визельбургом, они помчались еще скорее. В долине справа, между рукавами Дуная, ширились безбрежные плавни, а слева высились поросшие тополями холмы.

Во время этой бешеной скачки Павлу запомнились лишь какие-то трактиры, журавли колодцев да деревянное распятие на поросшей маками поляне, где они отдыхали и обедали.

Невыспавшиеся, усталые и занятые своими мыслями, путники во время еды молчали.

Потом четверик опять помчался, словно за ним гнались черти.

Божич снова спросил, почему бы капитану, когда они приедут в Вену, не остановиться в его доме? И засыпал его вопросами о Трандафиле, о том, как Исаковичу спалось в Раабе, и снились ли ему там приятные сны?

После захода солнца небо покрылось тучами, похолодало. Экипаж углубился в заросли кустарника и камышей. Когда они проезжали через селения, мимо домов, крытых кукурузной соломой, вдоль дороги все чаще стали попадаться высокие белобрысые люди в синих куртках. Беседа в экипаже оживилась. Божич объяснил Исаковичу, что это — новые поселенцы Марии Терезии, немцы с Рейна — Heidebauern: [1] Монтенуово считает, что отсюда необходимо выселить славянское население.

---

[1] Вольные крестьяне *(нем.)*.

Потом он в шутку пригрозил, что вечером выиграет у Павла в фараон все деньги до последнего талера. Исакович заметил, что это ему не угрожает, так как в карты он никогда не проигрывает.

Павел проигрывал на Беге, в барке, умышленно, желая привести в хорошее настроение и усыпить бдительность кирасира, который вез его в тюрьму. Ракосавлевич и Трандафил снабдили его деньгами и векселем, который должен был оплатить его родственник, венский банкир Копша. Павел показывал свои талеры Божичу, надеясь расположить майора к себе. А у того при виде денег глаза загорались, как у лисы.

Когда они останавливались в какой-нибудь роще, Божич выходил из экипажа помочиться и громко приглашал Исаковича составить ему компанию. А когда Павел краснел от стыда, майор кричал, что естественные потребности следует удовлетворять. Так утверждают французские философы.

— Угадать возраст женщины, — распространялся Божич,— трудно, а возраст лошади — легко. В четыре года лошадь теряет молочные зубы. Когда ей минет шесть, то на зубах появляются ямки, которые совершенно исчезают на восьмом году. В девять все зубы у нее — ровные и гладкие. Определить, что ей десять лет можно по деснам. А после одиннадцати узнать возраст лошади уже трудно. Как и возраст женщины после тридцати.

Божич, подобно Павлу, считал, что ждать проявления патриотизма от женщин не приходится. Их симпатии — на стороне народа, к которому принадлежат их мужья. Как и Павел Исакович, майор сомневался в том, что Муцулы, Маленицы, Монастерлии постараются сберечь славу князя Лазара и приумножить ее новыми подвигами.

И хотя Божич называл себя схизматиком, он, однако, не возражал, чтобы по желанию г-жи Монтенуово его дочь отправили учиться хорошим манерам и каллиграфии в католический монастырь. В том монастыре, как уверяла г-жа Монтенуово, во время ночной мессы Христос берет монахинь на свои прободенные ребра и ласкает. Текле хотелось на это поглядеть.

— Во всем виновата эта сумасшедшая Ракич из Вуковара, родственница жены, простая, хотя и богатая баба. Она сделала Теклу своей наследницей, но требу-

ет, чтобы дочка воспитывалась, как девицы Монастерлии. А знаете,— продолжал майор,— есть способ точно определить возраст женщины. Но сейчас сказать об этом я не могу, Текла затыкает мне рот перчаткой. Скажу, когда останемся наедине.

По мнению Божича, им, офицерам, которые принесли в Срем руку царя Лазара, приходит конец. Сейчас наступает царство сербских коммерсантов, даже в Вене. С ними он, конечно, не имеет ничего общего. Однако все сербские офицеры, считал Божич, должны отказаться от мысли переселиться в Россию, они должны жить в Австрии и оставаться верными этой просвещенной империи, которая дала им убежище.

Это относится ко всем сербам. Таково его убеждение! «Ну, а как думает капитан?» — спрашивал Божич Павла...

Когда экипаж останавливался в каком-нибудь перелеске, Божич брал дочь под руку и вел, будто невесту, прогуляться. А на жену не обращал никакого внимания, всецело оставляя ее на попечении Павла. При этом отец и дочь то и дело хохотали и подшучивали над Исаковичем, а возвратившись, брали его за руки и начинали приплясывать, словно поводыри с медведем. Исакович вскоре понял, что Божич гораздо образованнее и начитаннее его, таких людей в ту пору среди сербов можно было перечесть по пальцам, ими восхищался и сам Павел. Поэтому он становился все сдержанней и молчаливее и все чаще хмурился.

Приснившийся Павлу сон и тот безумный смех, от которого он проснулся, угнетали его, ему казалось, что существует какой-то потусторонний мир, куда людям нет доступа, и только сны порою возвращают туда человека. Поэтому Павлу хотелось, чтобы его оставили в покое, наедине с самим собой, с его грустными воспоминаниями и не тревожили, то и дело спрашивая, почему он не женится.

Оставаясь вдвоем с Павлом, г-жа Божич брала его под руку, чтобы пройтись. Исакович ощущал, как покачиваются на ходу ее теплые, словно голуби, груди. Она о многом расспрашивала его, но он увиливал от ответов. Однако все их разговоры заканчивались неизменным вопросом:

— Почему бы вам снова не жениться? Неужели вы решили навсегда остаться вдовцом?

Правда, Евдокия с каждым разом все больше говорила о себе, о своем браке, о своем муже.

Дважды у нее на глазах появлялись даже слезы.

Исакович слушал ее признания и ничего не понимал. Чувствовал только, что, когда он помогает ей сойти с экипажа, она буквально падает ему в объятия, словно хочет разжечь в нем желание. Порой это ей удавалось, и тогда Павел поспешно опускал Евдокию на землю.

А она удивленно смотрела на него.

Госпожа Евдокия призналась, что опасается, как бы во время путешествия капитан не вскружил голову ее дочери и как бы еще до приезда в Вену эта взбалмошная девчонка, с которой не может справиться даже отец, не влюбилась в него по уши.

— Сколько хлопот у родителей дочери-невесты! — прибавила она.

Отец хочет выдать ее за одного из братьев г-жи Монтенуово, уже пожилого человека. Неудивительно, что девочки-подростки, которых силой выдают замуж, хотят перед этим хоть немного развлечься. Мечтают хотя бы два-три дня, хотя бы одну ночь провести в объятиях настоящего мужчины, который может и умеет осчастливить женщину. Текла призналась ей, что и она мечтает об этом. А муж говорит, что, когда они приедут в Вену, надо, мол, на какое-то время отправить ее в монастырь, пусть учится там каллиграфии.

Исакович настойчиво уверял Евдокию, что ее дочь не совершила ни одного ложного шага, недостойного благовоспитанной девицы, ей просто нравится подшучивать над необразованным офицером, которого она встретила в пути. Текла славная девочка. Как только они приедут в Вену, она тут же забудет его.

Евдокия однако не соглашалась с ним. Капитан как мужчина и вдовец обворожил рано созревшую Теклу. Она даже плачет во сне! А когда остается с ней наедине, только о нем и говорит.

Исакович, сконфузившись, принялся уверять г-жу Божич, что он человек порядочный и краснеет от стыда при одной мысли, что эта девочка воспылала чувствами к нему, ведь он ей в отцы годится! Что в Текле он видит лишь очаровательное создание, как бы младшую сестру, которую он когда-то потерял и вдруг встретил на своем пути.

Евдокия, однако, довольно едко заметила, что юная девушка, знакомясь с таким мужчиной, как капитан Исакович, естественно, теряет голову и способность здраво рассуждать. Она сама, когда выходила замуж, тоже почти ничего не знала ни о браке, ни о любви и потому с полным правом может утверждать, что в таком возрасте девушки, влюбляясь, глупеют. Впрочем, на месте дочери она тоже сходила бы с ума. Мужчины ничего не понимают. Девушку пытаются остановить родители, окружающие, стыд, страх, но все это мало помогает, если ее не держат, как собаку на привязи. Видел ли капитан когда-нибудь, как беснуется собака, пытаясь разорвать свою цепь? Никто не любит сидеть на привязи.

— Я, как мать, рассчитываю больше на вас, капитан, чем на дочь,— продолжала Евдокия,— дочери не все говорят матерям. Однако Текла рассказала мне, что происходило на той полянке. И я все ей простила, ничего не сказала мужу. Уж он пересчитал бы ей ребра!

Исакович, красный как рак, молча слушал.

Однако г-жа Божич, вопреки своим речам, смотрела на него очень ласково...

После заката солнца они, уже не спеша, подъехали к городу, который, по словам Божича, назывался Визельбург.

— На конском заводе графа Парри нас ждут и приготовят прекрасный ночлег,— сказал майор.— Мне хочется взглянуть на пару вороных, которых хочет купить Монтенуово. Ветеринар графа — весьма просвещенный человек и поклонник французских философов, мой добрый знакомый. Знает меня и управляющий конским заводом Андреас Вальдензер. А вам, капитан, представится случай осмотреть дворец и то, как живут настоящие венцы в отличие от варварского славонского народа.

В это время экипаж проезжал через какое-то село, поднимая тучи пыли, которая смешивалась с запахом множества лип — в том году они зацвели раньше времени. Откуда-то доносился звон небольшого церковного колокола.

Вскоре показалась аллея, и в ее конце Herrenhaus из красного кирпича, с окнами, увитыми белыми розами.

Перед домом среди зелени был разбит цветник и устроен фонтан, из которого била струя воды. Когда они медленно ехали по аллее, Павлу почудилось, будто столетние дубы передают их один другому и при этом каждый дарует им свою тень.

Евдокия пожаловалась, что у нее немеют колени, и заметила, что прошлой ночью в Раабе липы издавали такой же аромат. И одуряюще пахло жасмином.

— Женщины,— сказал Божич,— ни о чем путном думать не умеют и склонны болтать о всякой чепухе. Какой прок от запаха лип? Иное дело липовый цвет, он полезен для желудка и для мочевого пузыря. Если же мочевой пузырь не действует как надо, то человек не может постичь замечательных идей французских философов. А нам следует над ними потрудиться, чтобы просветить свой народ. Одно только просвещение может принести счастье. Наша беда заключается в том, что мы невежды, а вы, капитан, того, видимо, не замечаете.

Павел больше не слушал напыщенного офицера, хотя тот был намного старше его, и не отвечал ему.

Тем временем форейторы подняли крик, а из Herrenhaus'a выбежали лакеи. Залаяли собаки.

В дверях между двумя белыми колоннами, обвитыми розами, появились хозяева: необычайно толстый человек в сапогах выше колен и в белых охотничьих лосинах, высокая женщина в желтом шелковом платье до пят и юная девушка в зеленом платье, которая приветственно махала рукой.

Перед домом горели фонари, в окнах — свечи. Дом, словно корабль, казалось, плыл, поблескивая, в вечерних сумерках.

Путников встретили сердечно.

Особенно Исаковича — как нового знакомого.

Божич кричал, что представляет капитану своего старого друга, некогда настоящего волшебника верховой езды в школе графа Парри, известного с молодых лет наездника. А Вальдензер в ответ только кряхтел да бормотал, что теперь этот наездник сильно постарел и болтается на лошади как пустой бочонок.

Потом, уже в доме, когда Вальдензер надел длинный синий сюртук, он показался Павлу настоящим колоссом. Все у него было круглое — живот, бедра, щеки. Потряхивая напудренными волосами, перевязанны-

ми черным бантом, он, улыбаясь, предупредил дам, чтобы они не споткнулись о ступеньку, и повел гостей в комнаты.

От былой красоты у хозяйки дома сохранились лишь голубые глаза. Сейчас она была так худа, что походила на метлу, которой метут пол в комнатах. Исакович ей понравился.

— Граф,— сказала она ему,— предоставил нам эти покои с окнами во двор и на конюшню, зато по утрам здесь тень. Солнце вас рано не разбудит. И хотя все другие комнаты пустуют, мне приходится каждый день всюду убирать. Но делаю я это бесшумно, и вы, капитан, не тревожьтесь, будете спать отлично.

В возникшей суматохе Божич представил Исаковича как своего родственника и земляка, известного героя, богатого вдовца, который никак не хочет жениться.

Наконец Павел остался один в комнате, где ему предстояло ночевать и где было тихо, как в склепе. Его томило такое чувство, будто он опять прибыл не туда, куда надо, и, бог весть, когда еще попадет в Россию.

Пока все размещались, было много смеха и шума, лакеи поначалу перепутали багаж. Потом Вальдензер обошел всех гостей в отведенных им комнатах.

Где бы он ни появлялся, звучал смех.

Он громко требовал, чтобы через час все явились в столовую, и без опоздания.

Позднее Павел рассказывал братьям, что его поместили в доме на краю Визельбурга, в комнате на первом этаже, неподалеку от лестницы, которая вела на второй этаж. Окна там были забраны решеткой и увиты розами. При свете канделябра был виден цветущий под окном куст жасмина. Господский лакей, оставленный на лето, пока здесь находились лошади графа, прислуживать управляющему, привел Павла в эту комнату, потом указал ему на стоявший в прихожей ночной столик с часами — фарфоровым негром, который, покачивая головой, отсчитывал секунды. В столике помещался ночной горшок.

Исакович сердито объявил слуге, что он в этом не нуждается. За прихожей помещалась спальня с огромной постелью и множеством зеркал. Павлу показалось, будто с ним в комнату вошло еще пять его двойников,

и все они двигались, когда двигался он,— слева, справа и сзади. Посреди комнаты, на столе из порфира, он увидел свой плащ и дорожную сумку, а на ней — саблю.

Они показались ему такими убогими, жалкими. И Павел понял, что все дальше уходит из того мира, в котором жил до сих пор и в котором так хорошо себя чувствовал, уходит в другой мир, чужой и враждебный.

В углу стоял пюпитр, на нем — флейта и ноты. Хозяйка говорила, что дочь как раз в тот день получила из Айзенштадта новую веселую вещицу «Der Zerstreute»[1]. И спросила капитана, играет ли он на флейте.

Павел рассказывал потом братьям, что в ответ на это он лишь кисло улыбнулся и сказал, что его учили, как рубить людям голову, но не обучали игре на флейте, и он не поет и не играет.

— Почему ты, каланча, ничего не сказал им о нашей волынке и нашей дудке-свистульке? — сердито спросил Юрат.

Обнаружив на постели длинную белую ночную рубашку, Павел отбросил ее в сторону: зимой и летом он спал голый. За альковом, позади красного шелкового занавеса, оказался умывальник. Скинув сапоги, Исакович, по гусарскому обычаю, долго стирал и мылся. Потом улегся, наконец, в постель и сразу же впал в полузабытье.

Поездка в Вену представлялась ему все более бессмысленной. В Россию надо было ехать верхом на лошади, украдкой, через бескрайние степи, болота и горы. А не прибегать к помощи Бестужева. И откуда взялся здесь этот Вальдензер?

Почему вдруг оказался конный завод на его пути?

Так он лежал усталый, в приятной прохладе, и, наверно, заснул бы, если бы не смех и голоса, зазвучавшие вдруг в столовой. Вскочив, Павел наспех привел в порядок свою косицу и торопливо оделся, как это делал, когда по распоряжению Энгельсгофена отправлялся к кирасирам; потом долго гляделся в зеркало, будто вопрошая себя: «Куда бежишь? Куда спешишь? Кого хочешь встретить?» И вдруг вспомнил, что в пути его все еще подстерегает смерть, а он совсем об этом

---

[1] «Рассеянный» *(нем.)*.

позабыл. Затем быстро прошел по коридору в столовую и обнаружил, что там еще никого нет.

Роскошно обставленная, со множеством зеркал, она казалась в пять раз больше, чем была на самом деле. И это почему-то взволновало Павла. Хотя в Темишваре и Варадине ему приходилось бывать в домах кирасиров, роскошь в Herrenhaus'е управляющего конским заводом поразила его. Очевидно, по мере приближения к столице дома становились все роскошнее и богаче. Он и его братья, зажиточные Исаковичи, привыкли к простоте и скромности. В их кругу можно было перечесть по пальцам тех, кто умел читать и писать, да и по-немецки среди сербских офицеров мало кто говорил, и потому майор Иоанн Божич казался Павлу настоящим венцем.

Канделябры в столовой ослепительно сверкали, такие висящие паникадила он видел только в храмах. А подобной печи из голубой майолики с гирляндами фарфоровых роз в жизни не видал. Павлу были знакомы печи для выпечки хлеба, которые топили соломой. Дрова горели у них только в очаге, даже целые пни.

В ожидании остальных Исакович вышел из столовой на террасу и спустился в сад, к фонтану. Шум воды ласкал слух и успокаивал. Подойдя совсем близко, Павел вдруг увидел в темноте, чуть в стороне от фонтана, Евдокию.

Она надела легкое летнее, почти прозрачное голубое платье с усеянным блестками, словно пушинками, кринолином. Грудь ее была по венской моде того времени открыта, локоны над головой показались Павлу клубком черных змей. В руках она держала черный веер.

Капитан подошел и увидел ее в слабом свете, падавшем в сад из окна столовой, Евдокия тихо засмеялась.

— Вышла немного подышать свежим воздухом,— сказала она,— и поглядеть на звездное небо. Не хотите ли, капитан, посидеть со мною в саду? Жасмин так одуряюще пахнет. У генерала Монтенуово нелепая привычка давать лошадям имена небесных светил и созвездий, и Божич от него это перенял. Потому я и научилась определять звезды.

Она опустилась на низкую каменную ограду у фонтана.

Исакович сконфузился; он топтался на месте, суетился, потом спросил о майоре и стал уверять, что ночной воздух прохладен, влажен, и лучше им вернуться в столовую, а то она еще чего доброго простудится.

Она же попросила его сесть рядом и начала говорить о том, как славно они путешествуют, о том, что стоя́т чудесные дни, это ее единственная утеха. Но в жизни все так быстротечно. Счастье долго не длится. И спросила, что думает об этом капитан?

Исакович выпалил скороговоркой, что у нее чудесный муж, настоящий герой, и прелестная дочь. Что она живет в столице и должна быть совершенно счастлива. Она так красива, что мужчины, верно, увидя ее, долго глядят вслед. И снова предложил вернуться в столовую. Их, мол, там, конечно, ждут.

Г-жа Божич ответила, что во время поездки она все время наблюдает за ним и видит огромную разницу между ним и мужем. В то время как Божич постарел, полинял, но волочится или готов волочиться в ее отсутствие за каждой юбкой, он, капитан, думает лишь о своей покойной супруге. Люди, пожалуй, скажут, что в семейной жизни ему не повезло, потому что он похоронил жену, но она полагает, что это не так. Нет большего счастья в браке, чем такая любовь, перед ней бессильна даже смерть. В противном случае брак — просто обман.

Павел Исакович, который давно уже не вел таких разговоров, умолк, отодвинулся от своей дамы подальше, так что брызги из фонтана попадали ему теперь прямо в лицо, но это было ему приятно и напоминало летний дождичек; он смотрел на эту красивую женщину без всякого вожделения, как на прекрасное, но бесплотное видение. И выдавил наконец, что майор выглядит гораздо моложе своих лет.

Г-жа Божич засмеялась, но не тем серебристым смехом, какой был у ее дочери, а приглушенно, с хрипотцой: так воркуют порою горлицы.

— Капитан,— сказала она,— вы совсем не похожи на мужа. Вы — молодой, статный, и, верно, пользовались у женщин большим успехом, но вы на удивление скромны и холодны. И это хорошо! Мой муж давно уже состарился, но до сих пор говорит женщинам такое, что, может, двадцать лет тому назад ему и пристало бы, но

сейчас кажется смешным. Мелет ласковый вздор даже дочери нашего хозяина — ни дать ни взять ветряная мельница на холостом ходу. Он не может скрыть ни свою алчность к деньгам, ни свое вожделение к женщинам, хотя женщины для него уже давно отошли в прошлое. Всякому бросается это в глаза в первый же день знакомства с Божичем и со мною. Волочиться за каждой юбкой он будет до самой смерти, но я-то его быстро раскусила. Ведь все победы Божича над женщинами — лишь плод его воображения. Жаль, что вы, капитан, недостаточно знаете немецкий язык, по-немецки можно было бы выразиться точнее. Сам Божич это называет ловлей стрекоз — Grillenfängerei [1]. Надеюсь, капитан, вам теперь понятно, как мне живется в замужестве?

Исакович, совсем сбитый с толку, все твердил, что в жизни еще не видел более статного и красивого мужчины, чем майор. А эти ее недобрые речи — плод духоты и смрадных испарений болот, мимо которых они проезжали. Обычная усталость и раздражение, которые охватывают путника в дороге.

Г-жа Божич резко заметила в ответ, что негоже ему уподобляться католическому священнику, встретившемуся им по пути в Гран. Она призналась этому пастырю, что если бы нашелся человек, которого она по-настоящему, от всей души полюбила бы, как может полюбить только женщина, то она ушла бы с ним на край света, даже невенчанной, и готова была бы каждое утро чистить ему сапоги. А тот все твердил, что тайна любви остается священной даже для самого бога, хотя в Писании и сказано, что не следует метать бисер перед свиньями. И все то, что она сейчас говорит капитану — вовсе не следствие духоты и не распущенность, а жажда счастья, которую каждое живое существо, в том числе и женщина, таит в своем сердце. Она вот смотрит на него и понимает, что после смерти жены он словно умер для жизни, каждодневно убивает себя из-за горькой утраты. А Божич? Божич не только оставляет без внимания свою еще молодую жену, но и подсовывает ее старому Монтенуово, у которого изо рта пахнет мертвечиной. Разве это справедливо? Пусть капитан поразмыслит. До сих пор они так хорошо вместе путешествовали. Но завтра или послезавтра их поездка за-

---

[1] фантазерством *(нем.)*.

кончится. Потому она и решила обо всем ему рассказать, чтобы он не думал, будто она счастлива, и помнил: не все то золото, что блестит. Она скрывает, как может, свое горе и бесчестие, но ей захотелось поделиться с человеком, который так благородно, так преданно, так безгранично любит свою покойную жену.

После разговора с г-жой Божич Исакович сидел за ужином с таким же растерянным видом, как и после приключения с Теклой на пути в Гран. Когда его о чем-нибудь спрашивали, он в ответ только невнятно бормотал что-то. И безмерно обрадовался, когда за столом появилось новое лицо — ветеринар конюшни графа Парри, некий Jozef Edler Roncali. Это был красивый, как девушка, человек, который вдобавок играл на флейте. Он терпеливо переносил насмешки, когда их отпускали на его счет.

Божич орал во всю глотку. Спрашивал Павла, что они делали с его женою в саду.

— Я бы не допытывался, если бы дело шло о моем мудром и просвещенном другe де Ронкали. Говорят, будто его кастрировали в детстве, но ведь вы, капитан, здоровы как бык. К тому же — вдовец, а вдовцы после длительного поста точно жеребцы, когда их выпускают на зеленые луга.

Павел только краснел и злился.

Де Ронкали его успокаивал, уверяя, что болтовню майора Божича не следует принимать всерьез. Таковы, дескать, венгерские гусары. Любят пошутить.

Исакович давал себе клятву по приезде в Вену сделать все возможное, чтобы уже никогда больше с Божичем не встречаться. А также с его женой и дочерью.

Ужин прошел под смех и крики.

Ветеринар принялся рассказывать Исаковичу, вероятно чтобы его успокоить, о том, что он в свое время лечил людей в Граце, но это совсем не выгодно. Больные люди куда менее приятны, чем животные. Поэтому сейчас он и лечит лошадей. Помогает жеребиться кобылам. Выкармливает молодняк. Завтра капитану представится случай посмотреть на таких коней, каких он в жизни не видел.

— Только бы с заболевшим Юпитером ничего не случилось!

Павел понимал не все, о чем говорил этот тихий и вежливый молодой человек, но было приятно, что тот

жатый подбородком женщины мячик, но не руками, а своим подбородком.

— Как обнимаются лошади,— пояснил он.

В первой паре оказались хозяин и хозяйка. Она зажала красный мячик, а Вальдензер старался его отнять. Старик топтался по столовой, как медведь с метлой. Все хохотали до слез. Лишь Исакович наблюдал за игрой с каменным лицом.

Следующей парой были Текла с ветеринаром.

Де Ронкали, одетый согласно венской моде, в красный фрак, миловидный и белокурый, как ангелочек, бледный, все же ухитрился каким-то образом отнять у девушки мяч. Оба задыхались и, побледнев, закончили игру. Потом Текла долго и задумчиво смотрела на ветеринара.

Вступили в игру Божич и хозяйская дочь. Майор нападал на нее, словно хотел укусить, напоминая старого орла-стервятника, который крыльями ударяет ягненка. Девушка оборонялась. Наконец Божич обессилел, бросил игру и повалился на стоявший в углу перед зеркалом chaise-longue[1]. Девушка, выросшая на конном заводе и отличная наездница, оказалась сильнее. Лежа, Божич смотрел на нее, распустив губы, с видом старого блудника.

Исакович, не веря собственным глазам, смотрел на все это. И хотя он видел немало разных игр, весьма распространенных в тогдашнем обществе, однако ему и во сне не снилось, что можно вытворять такие вещи в присутствии родителей.

«Ведут себя хуже парней и девок из Футога, когда в темноте сено складывают»,— подумал он.

Вальдензер крикнул Божичу:

— Так и должно быть. Молодость всегда побеждает!

Павел решил, что дольше оставаться ему в этой компании незачем и потому самое лучшее — тихо, незаметно удалиться и лечь спать. Но тут хозяин и хозяйка начали вдруг выкрикивать его имя.

— В игре,— говорили они,— участвуют все. Никаких исключений. Капитану отнимать мяч у г-жи Божич!

Исакович был потрясен. Просил его уволить. Он, дескать, никогда до сих пор не только не участвовал в таких играх, но ничего подобного даже не видал и боит-

---

[1] Кушетка *(фр.)*.

ся оказаться таким неловким, что оскорбит г-жу Божич, которую очень ценит и уважает.

Однако Божич орал во все горло, требуя продолжить игру.

Евдокия подошла к Павлу, взяла его за руку и сказала, что нехорошо с его стороны портить всем удовольствие и обижать хозяина, который так старается им угодить. Не следует также делать посмешищем и ее.

— Вам придется отбирать у меня мяч. В Вене в эту игру играют даже дети.

Г-жа Божич стояла перед зеркалом у печки. На лице ее блуждала странная улыбка. Все еще держа капитана за руку, она шепнула:

— Не надо бояться мужа, он ведь сам настаивал на этой игре.

Не веря своим глазам, Исакович увидел в зеркале, что он, как рак покраснев, робко приближается к Евдокии. Вдруг Божич, хохоча, резко подтолкнул его к жене. И Павел упал к ней на грудь.

Досточтимый Исакович чуть было не вскрикнул, но она уже обхватила его своей лебединой шеей и прижала к холодной голубой печке. Павел решил как-нибудь украдкой вытащить мяч рукой и так, чтобы не коснуться ее шеи. Но г-жа Божич принялась кричать, что он, мол, хочет сплутовать.

Опять прижав мяч подбородком, она крепко взяла капитана за руки. И Павел с ужасом почувствовал, что их щеки и плечи соприкасаются, а его губы скользят в темную глубину ее корсетки. Отскочив, как ужаленный, он снова принялся уверять, что не годится для такой игры и просит его извинить.

Однако все женщины, словно их подхватило ветром, сгрудившись, подталкивали играющих друг к другу и хохотали как сумасшедшие. А Павел и Евдокия, точно пьяные, обнявшись, неуклюже топтались у печки. Самым ужасным для Исаковича было то, что и высокая грудь, и красивое лицо г-жи Божич, и ее сияющие, как звезды, черные глаза — словом, весь ее облик, страстный, но печальный, напоминал в ту минуту облик его покойной жены.

Он попытался заслонить ее от посторонних взглядов своею спиной и отобрать этот окаянный мяч под горлом, прижав его головой, как бык, который склонился к теленку. Потом снова стал умолять, чтобы его отпу-

стили. Павлу показалось, что Евдокия смертельно побледнела и вот-вот упадет. Но их продолжали подталкивать друг к другу.

Шум был превеликий.

Все кричали и смеялись.

Наконец Евдокия уткнулась головой в его гусарскую куртку, потом, как это делают лошади, прижалась головой к его голове. Он вдруг почувствовал, что ее губы коснулись его шеи, а когда попытался ускользнуть от объятий этой женщины, мяч остался у него на груди, на серебряном галуне, у сердца. Павел с трудом дышал. И только услышал, как она кричит, что побеждена, что капитан отнял у нее мяч по всем правилам.

Казалось, в ту ночь всех, собравшихся в доме Вальдензера, охватило какое-то безумие. Никто после игры даже не подумал уйти на покой. А когда, в конце концов, стали расходиться, то долго еще болтали, стоя у дверей.

Госпожа Божич, бог знает почему, была необычайно оживлена и громко говорила, что не следует отказываться от таких вечеров. Стоит ли задумываться о завтрашнем дне? Ведь человеческая жизнь напоминает времена года: короткая весна, неустойчивое лето, скоропроходящая осень и долгая зима. Особенно же редко улыбается счастье женщине. Быстро пролетает беззаботная жизнь девушки под крылом у матери, потом наступает замужество с его мимолетным счастьем, а там, глядишь, и старость стучится в дверь.

Евдокия говорила хозяйке, что у той очаровательная дочь, и что они, по приезде в Вену, постараются отблагодарить за гостеприимство.

— Такие приятные вечера не забываются! — уверяла она.

Ветеринар, выпив лишнего, стал болтливым и дерзким. Он увивался вокруг женщин и кричал, что лошадь счастливее человека, ибо у нее беззаботная жизнь, что жеребятам лучше, чем ягнятам, которых люди режут, когда они еще так малы. И брачная жизнь у лошадей среди зеленых привольных пастбищ счастливее. Хотя они живут всего лишь тридцать лет, жизнь у них на деле гораздо длиннее, чем у человека. По мнению французских философов, важна не продолжительность

жизни, а отсутствие забот. С тех пор, как он стал лечить лошадей, а не людей, он зарабатывает у графа Парри гораздо больше. И это дает ему возможность играть по вечерам на флейте. Не хватает только молодой жены.

Божич заметил, что это проще простого. Пусть женится на хозяйской горничной Францель.

Как раз в этот миг через столовую проходила маленькая, белокурая, очень молоденькая и хорошенькая, как куколка, горничная с черной бархоткой вокруг шеи. Услыхав, что о ней говорят, она покраснела и выбежала из комнаты.

Исакович поглядел ей вслед и увидел, что у нее красивые ноги.

Перехватив его взгляд, г-жа Божич громко заявила, что ее муж быстро подмечает хорошеньких, но их спутник, кажется, уже готов эту хорошенькую птичку подстрелить.

Исакович покраснел не меньше, чем молоденькая горничная, и тоже попытался выскользнуть из столовой, кланяясь при этом направо и налево.

Однако Божич схватил его под руку и закричал, что жена насквозь видит капитана, этого женского обольстителя, и надобно запереть на ночь дверь комнаты, где спит служаночка. Он было собрался представить капитана в Вене госпоже Монтенуово, но теперь опасается, понимая, что это положит конец его службе у этой знатной дамы, покровительницы сербов. Никто не любит держать у себя на службе старого человека. Как говорят у него на родине, прибавил майор, облезший дряхлый пес не пользуется успехом у собак. Когда человеку перевалит за шестьдесят, его жизнь напоминает жизнь невинно осужденного, которого ни за что ни про что хотят повесить, и хуже всего, что эта смертная казнь откладывается со дня на день, однако ненадолго, и он это знает.

Сконфузившись, переминаясь с ноги на ногу, Павел громко заявил, что не следует слушать Божича. Ведь майор забыл сказать, что уж кому-кому, а кавалеристу всегда живется хорошо. Молодым он отличается в атаках, а состарившись, предается воспоминаниям, подобно славному Иоанну Божичу, которого уважают все сербские офицеры, начиная с него, Исаковича.

Павел еще долго говорил в этом же духе.

Однако хотя Исакович искренне старался похвалить Божича, он заметил, что майор зло покосился на него. Выругавшись, Божич сказал, что пора уже попрощаться с дамами.

— Завтра надо встать пораньше. И потому хорошо бы выспаться, раз уж в фараон играть поздно. А дамы наши ждут не дождутся, когда им можно будет заглянуть к белому зайцу, который сидит на задних лапках. Что поделаешь,— естественная надобность.

Смутившись и неприязненно поглядев на Божича, Павел стал торопливо прощаться. Он церемонно приложился к руке г-жи Вальдензер.

— Франциска, которую в доме все называют Францель,— сказала она,— влюбленно смотрит на вас, капитан, что, впрочем, не удивительно. Даже я, старуха, должна признаться, что никогда в жизни не видела такого красивого хорватского офицера. Да еще вдовца. Надеюсь, в моем доме вам приснятся чудесные сны, о которых вы завтра нам расскажете.

Потом, кое-как отделавшись от налетевших на него, точно галки на ворона, девушек, Исакович подошел к Евдокии и принялся уверять, что он был бы очень огорчен, если во время этой глупой и не подобающей взрослым игры допустил какую-либо грубость, вопреки тому почтению, которое он к ней испытывает и которого она, божественная нимфа, вполне заслуживает.

Госпожа Божич тем временем, поискав глазами мужа и убедившись, что того нет поблизости, взяла Павла за руку и, глядя ему прямо в глаза, зашептала, перейдя с немецкого на родной сербский язык. Все больше бледнея, она говорила о том, что через сутки или самое большее через двое они уже приедут в Вену. Что они путешествовали хорошо, особенно прекрасна была эта ночь. Что Божич спит у хозяина и завтра на рассвете пойдет с ветеринаром смотреть лошадей. Что дверь в ее комнату — первая, на втором этаже, с левой стороны. И если его сердце отзывается на ее зов, она будет ждать! Будет ждать, пока он не придет, ждать с замиранием сердца! Вот что она хотела ему сказать.

Павел, слушая ее бормотанье, стоял точно каменный.

Божич в это время громко разговаривал с хозяином и ничего не мог слышать.

Не промолвив ни слова, Павел расшаркался, поцеловал ей руку и выбежал из столовой.

Свечи горели в канделябрах вдоль коридора, а перед его дверью стоял шандал с зажженной свечой.

Но он с трудом, словно в потемках, отыскал свою дверь.

У Павла случались любовные интрижки, тем более, что в те времена во всей Европе, как и в австрийских провинциях, населенных сербами, царила пора любовных утех, и все-таки почтенный Исакович был смущен, как еще никогда в жизни.

Статный, красивый, молодой, а ко всему еще вдовец, Павел всегда пользовался большим успехом у женщин, особенно у женщин темпераментных и несчастных в супружестве, но ни одна из них еще так беспардонно не предлагала себя. Правда, в народе говорят: «Пока сучка хвостом не вильнет, кобель за ней не пойдет», но ни одна сучка еще так хвостом не виляла. То, что дама в присутствии мужа может столь дерзко пригласить к себе в постель, было для него полной неожиданностью.

Павлу казалось это каким-то оскорблением для всех сербов.

Поглядев на стоявшего на столике в прихожей и покачивавшего головой негра, он вошел к себе в комнату и прежде всего увидел на постели ночную рубашку, всю в кружевах. И тут же заметил молоденькую служанку Францель. Вздрогнув всем телом, она замерла, уставясь на капитана. Если бы Исакович чуть повнимательнее взглянул на хорошенькое личико юной девушки, он понял бы, что она, онемев, смотрит на него как на сказочного принца.

Было понятно, что офицер очаровал ее и бедняжка умирает от смущения. Опомнившись, Францель снова принялась готовить постель. Потом, не глядя на Павла, вежливо спросила, что он будет пить утром, когда проснется,— шоколад, кофе или миндальное молоко? И не нужно ли ему что-нибудь постирать?

Если г-жа Божич сразу вселила в него ужас, как только стала себя предлагать, то это юное существо сразу понравилось ему, показалось отголоском весны и дивной ночи в благоухающем саду. Он невольно окинул ее взглядом со спины, разглядел ее каштановые волосы и обнаженные, согласно тогдашней моде, плечи.

А когда девушка оглянулась, Павел увидел ее голубые глаза, милую улыбку и бархотку на шее.

Отвернувшись, он сказал, что ему ничего не нужно и что она может идти.

Горничная, указав на шнур, проговорила:

— Если вам что-нибудь понадобится, достаточно за него дернуть, и в моей комнате зазвенит колокольчик.

Исакович повторил, что ему ничего не понадобится и она может идти. И в тот же миг он увидел ее почти до половины открытую грудь и понял, до чего она молода и хороша. И хотя все это не имело никакого отношения к французским философам того века, ему стало жаль эту девочку, почти ребенка, которую превращают из барской прихоти в игрушку. Значит, у нее нет покоя даже ночью. Ей звонят и по ночам. А поутру ей надо встать раньше других, когда все еще спят. Да, у нее пышная белая грудь, полные щечки и точеные ножки, но при этом слабые руки девочки-подростка.

Нет, такого в его семье себе не разрешали. Горничные не готовили постели офицерам и не прибегали на их звонок.

Няня в доме Трифуна обедала с семьей даже тогда, когда Павел приходил в гости. И ни один из Исаковичей, кроме вдовца Павла, не заводил мимолетных интрижек со служанками, что, по уверениям Юрата, в Вене было обычным делом.

Когда молоденькая горничная Вальдензера направилась к двери, Исакович вдруг увидел, что она, изогнувшись, тащит большой ушат; он не раздумывая подбежал к ней и сказал:

— Оставьте, я сам на рассвете вынесу и выплю это ведро.

Францель испуганно и удивленно на него посмотрела и замерла как вкопанная. Потом счастливо улыбнулась и, когда снова взглянула на него, ее глаза стали ярко-синими и лучистыми.

Павел сделал это вовсе не потому, что девушка была красива, нет, в его душе таилась какая-то необычайная нежность к таким вот юным существам; ко взрослым он ничего подобного не испытывал. Отдавая дань природе, он, случалось, вступал в любовные, так называемые анцилярные связи, после чего стал относиться к служанкам так же, как и к их госпожам. К этой юной девушке у него возникла необъяснимая симпатия, не

имевшая ничего общего с вожделением. Позже Павел рассказывал братьям, что молоденькая служанка походила на фарфоровую статуэтку.

Когда Павел взял у нее из рук тяжелое ведро, и, потрепав по щеке, как потрепал бы ребенка Трифуна или Юрата, пожелал ей доброй ночи, она робко и восторженно посмотрела на него.

Он снова погладил ее.

И пока она стояла, словно завороженная, тяжело дыша и молча улыбаясь, нащупывая при этом дверную ручку, лицо ее вдруг просияло и сделалось удивительно миловидным.

Исакович этого уже не видел, потому что отвернулся и подошел к забранному решеткой окну. Выходя, Францель унесла с собой канделябр, и в комнате стало темно и тихо. Горела только одна свеча. Павел вовсе не намеревался посетить этой ночью г-жу Божич. Стоя у окна, он смотрел в темный сад, куда падал слабый свет горевшей у кровати свечи, и вдыхал упоительный запах жасмина. Вдруг ему послышалось, будто в саду кто-то ходит.

Свет падал на ствол старого корявого дуба, покрытого наростами, словно облепленного летучими мышами.

Откуда-то донесся крик совы. Павел, как и его братья, был суеверен и не любил ее ночного пронзительного плача.

К тому же он был потрясен бесстыдством жены майора Божича, да и вообще устал от этого нелепого вояжа в Вену, от карточной игры, вечерних попоек, ночевок в чужих домах и общества болтливого Божича.

Госпожа Божич его звала, но ему претила вся эта затея, была противна даже мысль, что он поднимется на верхний этаж и, подобно пошлому кавалеру-воздыхателю, будет шнырять у ее двери, пока все не заснут. Он не боялся ее мужа. Просто ему была отвратительна роль, которую женщины постоянно навязывают вдовцу.

А в саду за окном стояла тишина. Ночь опустила с высоты, из недоступной взгляду дали завесу, казалось сотканную из мягкого синего бархата. И наполнила все вокруг неизвестно откуда идущими невнятными звуками и шепотом, словно осыпала душистым цветом белой акации.

Откуда это все?

Не со звезд ли?

Не из нашей ли прошлой жизни? Или из воспоминаний?

Или это вестники будущего, которое нам уготовано без нашего ведома, часто вопреки нашим желаниям и почти всегда не такое, каким мы его ожидаем?

Это ночное таинство без конца повторяется в жизни человека, повторяется до самой его смерти.

И хотя Исакович твердо решил не подниматься на второй этаж и не подходить к первой двери налево, что вела в комнату, где спит г-жа Божич, он еще долго думал об этой не знающей стыда сумасшедшей, страстной и красивой женщине. Ему мерещилось, будто она лежит рядом с ним в постели.

А то ему вдруг виделось продолговатое, огорченное лицо ее дочери. Юная прелесть дочери и зрелая красота матери были необычайно привлекательны.

Перед глазами Павла неотступно стояли припухшие пунцовые губы Евдокии, ее бледное лицо, прозрачные, чуть раздувающиеся при дыхании ноздри, прекрасные, словно подернутые дымкой черные глаза-звезды.

Рано созревшая, рослая Текла, пока еще напоминала веселого жеребенка: ее гибкое тело излучало очарование юности, изменчивой и быстротечной, и будило у мужчин не желание, а нежность. Мать же ее была из тех женщин, за которыми всегда ходят табуном мужчины, и шум их шагов напоминает звонкий стук копыт жеребцов, с громким ржанием носящихся по лугу. Вокруг таких женщин всегда маячит множество мужчин, слышен рев обманутых мужей и любовников, и в воздухе висит угроза убийства.

Госпожа Божич покоряла мужчин в Буде, в Вене, повсюду; покоряла не только красотой своих форм и блеском черных глаз, но и какой-то дерзкой силой, которая подзадоривала их, звала к единоборству. Сила, таившаяся в этой гибкой, двигавшейся как большая кошка, с виду спокойной женщине, была непостижимым чудом, бог знает почему встречающимся в жизни. Ее крепкое и на удивление стройное тело, казалось, сперва принадлежало юноше и только потом превратилось в тело красивой женщины. Ее колени, стан, плечи были, казалось, сперва предназначены судьбой ловкому танцору, смелому удальцу и только потом стали нежными и округлыми, как у женщины. Больше всего при встрече с г-жой Божич поражала эта ее сила, вот почему вся

Бачка и Вуковар буквально сходили по ней с ума, пока ее не увезли в Буду. Дочь воскобоя Деспотовича, искренне верившая, что она ведет свое происхождение от деспотов, увлекла за собой целую вереницу мужчин, которые задолго до ее встречи с Исаковичем хотели обладать ею, грезили о ней, говорили о ней друг с другом и даже дрались из-за нее. Хотя никто не мог приписать ей ни одного любовника и офицеры побаивались ее мужа, о котором открыто говорили, будто он убил двух своих приятелей, г-жа Божич была на языке у всей Буды еще за несколько лет до того, как встретилась с Павлом.

Исакович просто оказался рядом как раз тогда, когда она решила изменить мужу.

Ей и во сне не могло присниться, что Исакович ошеломлен тем, что она похожа на его покойную жену, как родная сестра. Влюбилась она в Исаковича потому, что вдруг встретила красивого мужчину с синими глазами — ей они казались ледяными,— от взгляда которых она сходила с ума.

Она так откровенно предлагала себя, и когда стояла перед ним, и когда проходила мимо, что Павел невольно представлял ее себе голой в постели.

И хотя до сих пор Павел верил, что она несчастна, а любовь к нему — искренна, хоть и неожиданна, он не желал сходиться с Евдокией уже потому, что не хотел обладать женщиной, которая так походила на его покойную жену. И стыдился одной мысли, что связь с нею станет как бы продолжением брака с усопшей Катинкой, которую он в конце концов так полюбил.

Кроме того, эта женщина могла стать преградой на его пути в Россию. И об этом Павел твердил себе в последние дни беспрестанно. Готовясь ко сну и бормоча себе под нос, что нельзя совершать бесчестные поступки, он уселся на пол, стянул сапоги и разделся догола. «Для чего ему сносить встретившиеся по пути в Россию передряги? Зачем ему жена майора Божича? Она ищет утехи! Любовника она ищет, подобно всем женщинам, несчастным в замужестве. Впрочем, счастье, какого они все ищут,— недолговечно, как короткий век лошади. Но никто из них не скорбит о горькой доле сербского народа. Юрат, когда заходила о том речь, обычно говорил: «Эх, Павел, Павел! Женщине требуется совсем другое!»

И капитан — сильный, зрелый мужчина, в тот вечер как ребенок оплакивал судьбу своего народа, кручинился, причитал про себя, как плаксивая баба, что его многострадальный народ гоним, подобно израильскому племени. Скрежетал зубами при воспоминании о майоре Божиче и твердил, что в Сербии, в отличие от других государств, нет короля. Сербы не чеканят монеты. Но зато они связаны общими бедами, и каждый серб, засыпая, проливает такие же слезы, как все остальные, а просыпаясь, вспоминает те же сны.

Павел слышал, как в коридоре пробило час, потом два. Все в доме заснули. Как в Раабе, из сада доносилось пение цикад. Где-то далеко лаяла собака. А ему и среди мрачной ночи светила его вечная надежда: Денница — звезда утренняя. А поскольку в последние дни Павел много говорил по-немецки, он пробормотал про себя: «In Nacht ein Stern!» [1] А все прочее казалось Павлу Исаковичу суетой сует.

На другой день, день преподобного Онуфрия Великого у православных, а у католиков — преподобного Проспера, Исакович проснулся от каких-то голосов, журчания фонтана в саду, звяканья кофейников и посуды над головой.

Открыв глаза, он увидел у кровати молоденькую служанку и невольно ласково вскрикнул:

— Францель!

Однако девушка выглядела совсем не так, как вчера: она как-то поблекла, глаза у нее были заплаканы, губы припухли и, казалось, были искусаны. В руках она держала серебряный поднос. Не вымолвив ни слова, она повернулась и вышла из комнаты. И Павел только тогда увидел с другой стороны постели Божича и ветеринара. Оба смеялись.

Божич заорал:

— Благо тому, кто нынче ночью побывал у нее в постели!

Исакович собирался вскочить, однако, приподнявшись, застыл, сверля глазами майора.

— Надо поторопиться,— продолжал Божич,—вете-

---

[1] В ночи — звезда! *(нем.)*

ринар хочет показать нам конюшню графа. Случилась беда. Лучший жеребец завода, Юпитер, околевает.— Вид у Божича был обалделый, он явно не выспался и походил на мертвеца.— Если жеребец сдохнет, Вальдензеру будет худо,— прибавил он.

— Мы подождем вас у ворот,— сказал ветеринар.

Окончательно проснувшись, Исакович с досадой подумал,что ему придется ходить с Божичем и этим иностранцем, словно он их друг и приятель.

Но все же он сразу встал и быстро оделся.

Солнце поднялось уже высоко, однако в доме царила тишина.

Все еще спали.

Подойдя к окну, Павел увидел, что косые лучи солнца озаряют куст жасмина и сквозь оконную решетку осыпают его самого золотистой пылью. На траве в тени еще поблескивала роса.

Исакович сбегал за дом, потом вернулся, надушил усы и обулся перед зеркалом. Тряхнул кистями гусарских сапог, звякнул раза два-три шпорами — так он делал всегда, перед тем как выйти на люди. И, позабыв про намеки Божича, радуясь чудесному летнему дню, закончил свое одевание и, глядя в зеркало, улыбнулся той теплой улыбкой, которая так нравилась и мужчинам и женщинам.

Потом он выбежал из прихожей через дверь в узкую галерею, что вела из коридора на террасу. В галерее — в побеленных нишах — стояло несколько скульптур из алебастра, изображавших племенных жеребцов конного завода графа Парри.

Перед домом в легком черном кабриолете его ждали ветеринар и Божич.

Конюшни находились за оранжереями, в пятнадцати минутах езды от Herrenhaus'а, в конце тополиной аллеи, и были окружены живой изгородью из терновника. Перед ними тянулся длинный ряд застекленных оранжерей, обсаженных кустами цветущей сирени. А дальше — на выгоне, за болотами,— маячили кое-где силуэты жеребят и кобыл.

Въехав в большой, окруженный конюшнями двор, они вышли из кабриолета. Де Ронкали молча повел их к больному жеребцу. Павел увидел над воротцами в нишах, выложенных голубым кафелем, фарфоровые головы знаменитых жеребцов завода с черными глазами и

черными ноздрями. Ни дать ни взять — бюсты императоров.

Хотя пол конюшен был выложен красным кирпичом, а стены — кафелем, и кругом было чисто, как в казарме или в больнице, Исакович почувствовал хорошо ему знакомый тяжелый запах конюшни и конского навоза.

Впрочем, запах этот не был ему неприятен. Он сопровождал его всю жизнь.

Несмотря на то, что день был теплый и солнечный, внутри поначалу, пока не привыкли глаза, было темно, потом темнота превратилась в синюю дымку. Сквозь нее Павел увидел несколько лошадиных морд. Вытянув шеи, они, казалось, с ужасом смотрели на него своими большими черными глазами.

— Чуют смерть! — заметил ветеринар.

Между двумя рядами конских голов Павел увидел Андреаса Вальдензера: он сидел на трехногой скамейке, уронив голову на руки, согнувшийся, сломленный. Плечи его тряслись. Он плакал.

И только тут Исакович увидел на соломе в каких-то попонах огромного вороного жеребца. Его вытащили из бокса. В полумраке Павлу показалось, что жеребец гигантских размеров.

Он тяжело дышал, его большие ребра поднимались и опускались, живот раздулся, как кузнечный мех. Время от времени он пытался подняться на передние ноги, и когда копыта соскальзывали с попоны, во все стороны летели искры. Но жеребцу удавалось лишь перевернуться, и тогда он бил задом. Животное поднимало голову, но она тут же опускалась и глухо ударяла о красный кирпичный пол, точно били в барабан.

Павел молча глядел на погибавшее животное.

А ветеринара тем временем будто подменили. Он сбросил свой французский шелковый фрак, засучил рукава и принялся мять живот жеребца, надеясь, что сможет помочь ему подняться. Но вскоре отступился.

— Капитан,— сказал он,— вы свидетель необыкновенного феномена. Смерть этого красавца так же непостижима, как и смерть человека. Три дня тому назад на лошадей напал какой-то недуг. Несколько старых обезножевших кобыл переболели легко, а этот великолепный жеребец, названный в честь планеты Юпитером, не выздоровеет. Скоро наступит агония. Пожалуй, мож-

но уходить. Зачем на это смотреть? Спасти его нельзя.

Павел невольно присел и поднял морду животного: из ноздрей жеребца текла зеленая слизь.

— Вероятно, лошади поели какой-то ядовитой травы,— сказал он.

Ветеринар улыбнулся.

— Диагноз, капитан, вы поставили правильно. Вероятнее всего, тут дело в какой-то траве, однако все лошади пасутся на одном лугу, а ни одна кобыла, ни один конь, ни один жеребенок еще не подохли. Погибает только Юпитер.

Тогда Павел, не зная, что сказать, заметил, что он всю жизнь ездит верхом, но не имеет понятия о причинах падежа лошадей.

Ветеринар ответил, что и сам он, при всем желании, не смог бы объяснить причину смерти этого жеребца. Ему ясно, что у лошади — непонятный запор, констипация, но кто мог бы подумать, что это может привести к гибели животного. Через несколько часов жеребец околеет. А до чего был хорош! Племенной производитель чистых кровей. Гордость завода. Драгоценный экземпляр. Сильный, стройный и на редкость красивый. Можно подумать, что причина его смерти, как говорили древние греки,— зависть богов. Исакович не очень-то разбирался в греческой мифологии, вернее сказать толком не знал из нее почти ничего и пользовался ею, лишь когда делал комплименты красивым женщинам в Темишваре, называя их нимфами. Потом он подумал, что ветеринар, конечно, шутит. Недоставало еще сказать, что гибель животного необычна, сверхъестественна и ни на что не похожа.

Ветеринар же разглагольствовал о том, что существует вечная борьба добра и зла. И зло обычно побеждает. Смерть животных и людей — великая тайна. Необъяснимая тайна.

— Крыса живет, даже если другие крысы отгрызут у нее четверть туловища,— сказал он.— А быка можно убить ударом ножа в затылок за три секунды. Я могу вылечить сломанную лапу у собаки в несколько дней. И собака опять будет весело бегать. Будет бегать и без лапы. Но люди многие годы бьются над тем, чтобы вылечить сломанную ногу лошади и лишь напрасно ее мучают. Если это благородное животное, перескакивая барьер, сломало ногу, оно тем самым подписало себе

смертный приговор. Я пристрелил из пистолета не менее сотни лошадей. Порой мне даже снится, как, проносясь мимо, они стучат своими копытами. Констипация, убивающая Юпитера, для меня совершенно непостижима. Для Вальдензера, управляющего заводом, гибель жеребца — тяжелый удар. Граф несомненно выгонит его со службы. Лошади в продолжение многих лет пасутся тут, в окрестностях Визельбурга. Трава здесь отличная. Правда, раньше тоже случалось, что заболевали старые кобылы, но такого никогда еще не было. Вздутие живота, затвердение. Непонятно! К вечеру жеребец подохнет.

Вальдензер молча слушал и только трясся от плача.

Ветеринар несколько раз вымыл руки с мылом, требуя от конюха все новые и новые полотенца. И продолжал с серьезным, даже грустным видом, что было не в его манере:

— Животное, вероятно, набрело на ядовитую траву, так бывает, это естественно, но почему природа избрала жертвой столь прекрасного жеребца, а не другую лошадь, пасшуюся на том же лугу? Почему такое часто случается и в жизни людей? Умирает какая-нибудь необыкновенно красивая девушка, хорошая, чистая, а шлюхи живут. Смерть косит красивых юношей и милует уродов. Зло в природе — великая тайна. Борьба Ормузда и Аримана!

Исакович ничего не слыхал о религии Зороастра, но спрашивать не стал. Уж очень переменился и стал серьезным ветеринар, словно его подменили.

— Чудовищный обычай у графа Парри — давать лошадям имена по названиям звезд и созвездий,— все еще разглагольствовал де Ронкали.— Я говорил об этом Вальдензеру несколько раз, но графу не смею и заикнуться. Меня потрясает смерть! Смерть ужасна, она косит направо и налево — сколько раз уже она свирепствовала и здесь, и в Вене, и на других землях и континентах. Косила людей и животных, рыб и насекомых. И всегда выбирает лучшие создания. Красивейших из красивых.

В тот день — в одном из крыльев Herrenhaus'а, в столовой над двором и садом — обед у Вальдензера прошел так, словно в доме находился покойник.

Хозяин с гостями не обедал, а хозяйка ходила заплаканная и сама не своя.

— Мне пришла в голову прекрасная мысль,— сказал Божич, когда мужчины остались одни.— Вам, капитан, надо забрать с собою Францель, а вам, де Ронкали,— дочь Вальдензера. После случившегося судьба девушки здесь, среди конюхов, предопределена. Отец потеряет службу, а она попадет в лапы одному, другому или третьему из слуг графа Парри и пойдет по рукам. Что же касается Францель, то сколько грехов с вашей души снимется, капитан, если вы увезете ее с собой, чтобы она чистила вам сапоги да поднимала по утрам с постели.

Исакович, бранясь про себя, сердито буркнул, что эта бедная девушка, может, найдет свое счастье, если выйдет замуж за порядочного, честного конюха.

— Эта девушка,— заметил ветеринар,— будет счастливее в Вене, среди просвещенных людей, чем здесь, став женою варвара. Я совершенно согласен с майором, что красивое и доброе недолговечно на этой земле.

— Тому примером служит Вальдензер,— подхватил Божич.— Еще вчера вечером, когда вы, капитан, познакомились с ним, он был счастливым отцом, счастливым мужем, счастливым берейтором графа Парри, гостеприимным хозяином и веселым человеком. Вспомните, каким он был в кругу семьи! А нынче? И никогда больше вы уже не увидите его таким довольным, каким он был вчера! Никогда!

Де Ронкали рассказал, что Вальдензер поднялся рано в самом веселом настроении — утро было такое чудесное, ясное, солнечное. Полагая, что болезнь лошади не опасна и скоро пройдет, он нарядился в новый синий костюм и решил встретить Божича и капитана в конюшне, возле стойла Юпитера.

— Что будет со стариком, если граф его выгонит? Вальдензер живет только ради дочери. Люди думают, что он богат. Но я-то знаю, что у них совсем нет денег. Они прожили всю жизнь бережливо и честно. А граф отберет за Юпитера все до нитки, если даже они что и скопили.

Божич кричал, что граф Парри, как и Монтенуово, строг и за халатность наказывает жестоко. И тщетно ему доказывать, что смерть животного такая же великая тайна, как смерть человека.

Только тут Павел заметил, что майор — креатура де Ронкали и повторяет все то, что от него слышит.

Видя, что г-жа Божич после обеда всячески старается остаться с ним наедине, Исакович начал избегать ее, как надоедливого нищего. Она была очень бледна и заплакана. Все же под вечер ей удалось его поймать.

Божич уехал по делу в Визельбург.

С ним отправился и де Ронкали.

Госпожа Божич сказала, что ждала его и до рассвета не сомкнула глаз. Что мужа поместили рядом со спальней хозяев. Текла спит с дочерью Вальдензера. Она же была одна. И так его ждала.

Но Павел убежал от нее, как от безумной.

Он был потрясен видом Вальдензера. Этот человек, казалось, постарел за один день на десять лет. И походил теперь на пустой бочонок, который при малейшем ударе отзывается гулом. У него пропал голос, но он все же старался до конца оставаться любезным с гостем. Скромность и застенчивость капитана ему понравились. Старик пытался скрыть свое горе, но губы у него дрожали. Жена и дочь молчали в его присутствии, но слезы стояли у них в глазах.

И поэтому ужин тоже прошел словно похороны.

Все только и ждали, когда можно будет разойтись по комнатам.

Божич убежал первый.

Потом ушла хозяйка, а с нею и ее гостья.

Текла вертелась какое-то время возле Павла, потом погуляла по саду у фонтана и вскоре отправилась спать. С хозяином остался один Исакович. Осталась и хозяйская дочь.

Вальдензер рассказывал Павлу о своем прошлом, о том, как он преданно и честно служит сорок лет графу Парри и вот теперь не знает, что его ждет. Как будто он виноват в смерти Юпитера!

Говорил он глухим голосом, звучавшим как из бочки. Озабоченный будущим любимой дочери, он смотрел на нее печальными глазами. И если ему нужно было что-нибудь — бокал, хлеб или табакерка,— он тихо называл предмет, а девушка ему передавала. И каждый раз он повторял:

— Пусть бог наградит тебя за доброту.

Потом с немой тоскою смотрел секунду-другую на дочь.

Опустив руку на руку собеседника, Вальдензер признался, что у него мутится разум от одной только

мысли, что он может потерять крышу над головой, прежде чем выдаст дочь замуж. Лучше уж умереть, чем видеть такое. Затем, убрав свою волосатую руку, он извинился и сказал:

— Я должен поспать. Завтра меня ждет страшный день.

Павел, поклонившись дочери, кинулся за хозяином с тем, чтобы незаметно сунуть ему два-три талера за ночлег. Пусть он, дескать, купит от его имени гостинец для дочери.

Однако Вальдензер оттолкнул деньги, словно они его обожгли.

— Я попросил бы не оскорблять мой дом,— сказал он.— Мы люди простые, бедные. Может быть, завтра я потеряю все, что мне удалось приобрести трудом собственных рук, но в нашем доме за гостеприимство платы не берут. Мы более года знакомы с Божичем и от всей души принимаем его родственника. Если же вам, капитан, угодно сделать подарок дочери, пришлите его из Вены. Все женщины теперь помешаны на модных безделушках из столицы. Что же касается гостеприимства, вы можете прожить у нас сто лет, но и тогда мы будем в расчете. Хотя турецкие войны велись в моем далеком детстве, мне все же известно, что Вену защищали хорваты. Поэтому я не могу принять деньги, они жгли бы мне ладони, как раскаленные угли. Оставьте их у себя.

Опустив голову, Павел побрел в свою комнату.

По давней своей привычке он долго сидел, положив голову на руки. Потом стирал и мылся, стоя в маленьком медном тазу. Наконец лег в чем мать родила в постель и долго прислушивался к потрескиванию свечей в шандале да пению цикад в темном саду.

Досточтимого Исаковича вновь поразило, до чего действительность расходится с надеждами и расчетами человека.

Как часто она оказывается совсем другой, чем мы предполагали. Действительность порою так неожиданна, а ведь она — следствие наших же, но только совсем иных намерений.

Ночь с ее странными звуками, которые бог знает откуда берутся и бог знает как проникают в наши сновидения, медленно, неслышным шагом проходила по саду, под его окнами. Стараясь заснуть, Исакович убе-

ждал себя, что все уже позади, что он уже недалеко от Вены и скоро доберется до Бестужева.

А в России он и думать забудет о майоре Божиче, о его жене и дочери, о белом зайце и даже о вороном жеребце.

Все это — лишь муравьиное копошение да мышиная возня...

Женщины созданы богом так, что думают только о себе да о своем милом, они не проливают слез над несчастной отчизной. Их не занимает переселение в Россию. Они останутся здесь, где лошадям почему-то дают имена звезд.

Он же уйдет далеко отсюда, уйдет от этого пьянящего запаха жасмина весной, от блеска звездных ночей и черных глаз, которые смотрят на него из листвы расцветших лип.

В тот миг, когда дрема, словно мягкие крылья бабочки, опустилась на его веки и Исакович хотел уже погасить свечу, мерцавшую у изголовья, он вдруг услышал, как в прихожей тихо скрипнула дверь.

Павел хотел вскочить и крикнуть.

Однако, прежде чем он успел это сделать, дверь тихо отворилась и на пороге в прозрачном одеянии из муслина, с распущенными волосами, колыхавшимися, точно черная, буйная грива, появилась полуголая Евдокия. Она улыбалась, приложив указательный палец к губам. При слабом мерцании свечи она показалась ему в полумраке почти прозрачной, похожей на покойную жену, совсем такой, какой та приходила к нему во сне.

VII

Не увидеть ему больше своей горной Сербии

Согласно рапорту караульного офицера венской Burgwache [1], в июне 1752 года, в день преподобных Иоанна и Павла некий майор армии ее величества, по имени Johann Bozitz, возвращавшийся из Буды в Вену, был задержан и посажен на гауптвахту в Neustadt [2]. По ка-

---

[1] Городская стража *(нем.)*.
[2] Новый город *(нем.)*.

лендарю схизматиков то был день мученицы Акулины.

Чтобы доказать свою верноподданность августейшему дому императрицы («Jhro Röm.kay. und kön. cath May»)[1], вышеназванный майор посоветовал обратить внимание на то, что в Швехат прибыл некий подозрительный, по его мнению, офицер «привилегированного народа», который, видимо, намеревается переселиться в Россию. Этот офицер (согласно рапорту, Paul Edler von Izakowitz) прибыл из Буды вместе с вышеупомянутым майором, обвиненным в оскорблении ее величества, и остановился в Швехате, в трактире «У красного петуха» («Zum Roten Hahn»).

Был отдан приказ разыскать в Швехате этого офицера.

Упомянутый трактир служил в то время главным пристанищем для приезжавших из пограничных славонских и турецких областей купцов, которые торговали коврами.

Было установлено, что Paul Izakowitz останавливался в этом караван-сарае, но в тот же день отбыл в Вену. После чего городская стража получила распоряжение разыскать его в столице. Однако, хотя город в те времена был далеко не таким большим, как ныне, оказалось, что разыскать офицера совсем нелегко, хотя у сыщиков имелись его приметы: рост — около шести футов или даже больше; сутуловат; молод; глаза — синие; нос — орлиный; усы золотистые; волосы тоже золотистые; коса — напудренная; одет в походную форму венгерского офицера, гусарские чикчиры и голубой доломан; на ногах — сапоги, на голове — треуголка; хорошо говорит по-немецки; слегка заикается. Было установлено, что в упомянутый день он направился в почтовой карете в Вену. Обнаружить его можно было только случайно, где-нибудь на улице, в театре или у женщины.

Лишь три недели спустя, когда упомянутый майор вспомнил в следственной тюрьме, что разыскиваемый офицер говорил о своем родственнике в Вене, банкире Копше, проживавшем на Флейшмаркте, три сыщика кинулись по этому адресу.

Но было уже поздно.

Согласно донесению, составленному после обыска у

---

[1] Ее римско-императорско-королевско-католическому величеству *(нем.)*.

Копши, упомянутый офицер действительно отпущен из австрийской армии, бумаги у него — в порядке, и он находится под покровительством русского посла в Вене.

В Швехате Павел и в самом деле расстался со своими спутниками. Божич тщетно уговаривал Исаковича остановиться у него в доме и в конце концов согласился отвезти капитана до уже упомянутого трактира, где, как тот, по крайней мере, утверждал, его ждал родственник с векселем на большую сумму. Павел пообещал дня через два-три посетить Божичей в Вене, а пока, сказал он, ему волей-неволей придется остаться в Швехате.

Их пути расходятся.

Еще немного, и они бы поссорились.

Наконец Исакович, не удостоив взглядом составленного Божичем перечня расходов, оплатил половину. Евдокия тем временем громко упрекала мужа за то, что он насильно тащит в гости человека, который не желает ехать к ним в дом.

— Не следует приглашать того, кто отказывается! — говорила она.

Однако все кончилось хорошо.

Божич на прощание поцеловал Исаковича в щеку и выразил надежду, что дружба, возникшая в дороге, не останется в их жизни только эпизодом и что он рассчитывает на скорый визит капитана. При этом Павел уловил полный злобы взгляд майора. Текла, прощаясь с капитаном, заплакала и, несмотря на присутствие родителей, нежно поцеловала его в губы и зашептала:

— Приходится держать язык на привязи, но все же скажу, что мне все ясно: вы предпочли мою маму. Вместо первой девичьей любви позарились на чужую жену. Но, верю всем сердцем, придет день и вы поймете, что прошли мимо своего настоящего счастья, мимо меня! Конечно, я молода, но была бы вам хорошей, верной женою, а мама может принести вам смерть!

И она тоже просила Павла посетить их в Вене.

Пока готовились к отъезду, г-жа Божич села на скамью, чтобы оказаться подальше от мужа и дочери, и с глазу на глаз попрощаться со своим спутником. Мимо них бегали конюхи и носили в экипаж пиво.

Ее бледное лицо оставалось невозмутимым.

— Надеюсь,— сказала она, церемонно прощаясь с Павлом, на глазах у всех,— что, покончив со спешными делами, вы нас посетите. И не забудете! Мы так приятно путешествовали. В Визельбурге,— тихо добавила она,— я познала с вами небесную радость. И теперь я узнала, что́ составляет счастье женщины.

Исакович был сконфужен и опасался, что их услышат.

Хотя он больше не собирался жениться, но то, что у них произошло с г-жой Божич, потрясло его. И он едва слышно сказал, что, приехав домой, ей следует собрать вещи, оставить мужа и вернуться к отцу. Он же на обратном пути заедет за ней в Буду. Сейчас военные дела связывают его по рукам и ногам, однако, если надо, он готов рассказать майору о том, что произошло.

Евдокия улыбнулась и сказала, что об этом надо пока молчать. Она сама вскоре объявит Божичу, что уезжает к отцу.

— Я нисколько не боюсь мужа, и ничто не может меня удержать. Но сейчас еще не время.

Жена майора Божича говорила спокойно, небрежно и при этом улыбалась.

Исакович был смущен, сбит с толку и с трудом переводил дыхание. Он пообещал навестить ее, как только сможет. Вероятно, через несколько дней. В ответ на это Евдокия проговорила, что ее дом для него всегда открыт.

Исакович был поражен равнодушием и даже беспечной веселостью этой женщины в минуту разлуки. И хотя, выезжая из Темишвара, он не собирался с кем бы то ни было сходиться, а тем более вступать в брак, теперь, после того, что произошло в Визельбурге, он не допускал и мысли, что может бросить Евдокию; ведь не кобель же он. Правда, все случилось по ее воле и даже вопреки его желанию, но Исакович чувствовал, что отныне они уже связаны друг с другом и грешны, если не перед людьми, то перед богом, словом, прикованы друг к другу, как цепью... Эта женщина, думал он, через девять месяцев родит мне ребенка. Перед богом она моя жена.

Капитан был очень печален. Она же только смеялась.

Главное, сказала она, пусть он поскорее приходит, а до тех пор не забывает ее.

Расставаясь, Исакович признался Евдокии, что просто умирал от страха, как бы Вальдензер, его жена или Божич не догадались обо всем. Ее могли ведь встретить на лестнице в коридоре, когда она шла к нему. Начался бы скандал, и неизвестно, чем бы все кончилось.

Евдокия, смеясь, заметила, что ничего бы не случилось. Она сказала бы, что шла туда, где на дверях нарисован белый заяц, или возвращалась оттуда. Главное, она добилась того, чего хотела с первой минуты их знакомства.

После этого разговора со случайно встретившейся на его пути в Россию женщиной Исакович и остался один в Швехате, в облаке пыли.

Форейторам почтовой кареты пришлось подергать его за широкие офицерские рукава, чтобы он опомнился и отошел в сторону.

До сих пор, когда Павел вспоминал свою жену, мимолетные связи со служанками не вызывали у него ни угрызений совести, ни стыда. Он был здоровый, красивый и сильный мужчина и не мог обойтись без этого. Так жили все холостые или вдовые сирмийские гусары.

Но встреча с Евдокией потрясла его, а сказанные ею на прощание слова, что он-де, мол, некая разновидность белого зайца, унизили и оскорбили его. Павел скрежетал зубами.

Ему казалось, что из-за этой бешеной женщины он теперь навсегда расстался со своей женою и никогда больше не увидит ее во сне.

Опасаясь, как бы напоследок муж и любовник не подрались, эта особа сравнила его с вонючим зайцем.

Значит, по дороге к зайцу она завернула к нему развлечься.

И вместо огорчения, которое он должен был бы испытать, расставаясь с Евдокией, Павел вдруг ощутил безумный гнев. А с гневом прошло и подсказанное чувством долга решение жениться на ней.

Сошлись они прошлой ночью, позабавились этак мимоходом, а теперь каждый пойдет своей дорогой...

Так, по крайней мере, думал Исакович в Швехате.

...Спустя полчаса, когда уже спускались сумерки, к трактиру «У красного петуха» подъехала в туче пыли почтовая карета: пришло время отправляться в Вену и

Павлу Исаковичу. Все пока шло как по маслу, точно так, как они с Трандафилом в Буде рассчитывали.

Павел дождался почтовой кареты, которая ехала из Эйзенштадта и останавливалась в Швехате, и получил в ней место. Пассажиры — три католических патера и дама — встретили капитана любезно, но он был молчалив.

Экипаж Божича к тому времени уже был далеко, но Исаковичу казалось, что он различает впереди раскачивающийся между колесами фонарь.

Почтовые кареты с путниками прибывали в ту пору в Вену к вечеру со всех сторон. Австрийские почтальоны славились своей добросовестностью, ехали быстро и пользовались полным доверием у военных караулов, таможен, контрольных пунктов и путников. И когда они начинали трубить в свои французские трубы, пешеходы охотно уступали им дорогу и весело глядели вслед быстро удаляющейся карете. Почтальоны носили желтые ливреи с вышитыми на рукавах черными двуглавыми орлами.

Усевшись на свое место, Исакович положил на колени саблю и нащупал под плащом пистолет.

Подобно всем офицерам в армиях Европы того времени, он верил в судьбу. И знал, что от случая зависит, попадет ли он в Вену или останется лежать мертвым посреди дороги.

Дама, сидевшая напротив, сообщила ему, что канарейка, которую она везет в клетке, очень пуглива. Патеры болтали о чем-то по-немецки, поглядывая на серебряные позументы Исаковича, а Павел больше молчал и лишь односложно отвечал на вопросы. Сидел он спокойно и даже небрежно.

С видом дремлющего человека он смотрел на стоявшие вдоль дороги дома, горевшие у околиц поселков фонари и далекие синие горы, тонувшие в сгущавшемся мраке. Павел знал, что жизнь его зависит от первого же офицера, который будет проверять бумаги, печати и подписи в пригороде Вены. Он мог предъявить только пожелтевшую от влаги бумагу об отставке или Freypass, который ему раздобыл Трандафил в Буде, но для опытного глаза караульного офицера или полицейского чиновника этого было недостаточно.

Так Исакович и подъезжал к Вене, поставив жизнь на карту. Потому он и покинул своих спутников, не

желая, чтобы они видели, что́ случится, если дойдет до стрельбы и схватки за лошадей у городской заставы. В минуты смертельной опасности Исакович хотел оставаться один.

Хотел, чтобы рядом не было никого, кто его знает.

Его новым спутникам даже не снилось, что офицер, вошедший в почтовую карету со скучающим лицом,— беглец и может скоро обрызгать их собственной кровью.

А он сидел все так же небрежно.

Подобно всем тем, кто побывал на войне, убивал и вернулся домой, Исакович спокойно смотрел на возможную смерть. Так бывает спокоен игрок в фараон, если он настоящий картежник.

Эти люди видят во сне, как они с легкостью перепрыгивают через пропасть, а пущенные в них пули пролетают мимо.

Во сне.

Когда карета приблизилась к пригороду, через который шла дорога в Вену, Павел по привычке погладил усы, но никто не заметил, что рука у него сильно дрожит. До Бестужева было уже близко, и в то же время еще так далеко!

В тот год на австрийских заставах вблизи столицы славонские офицеры из Венгрии не пользовались доброй славой. Все знали о возникших тем летом на турецкой границе и в Хорватии беспорядках. Караульным офицерам было известно о восстании банийцев и о том, как австрийских офицеров в Глине и Костайнице загнали в крепости. «Привилегированный» народ на Границе в то лето и слышать не хотел о том, чтобы подчиниться новому приказу империи о военной муштре на немецком языке. Правда, комендант Карловцев генерал Шерцер, следуя указанию не проявлять жестокости при подавлении восстания, повесил только шесть человек, но властям пришлось установить наблюдение за многими офицерами.

Одновременно вспыхнуло восстание и в Лике.

Там личане-граничары проломили прикладом голову своему лейтенанту Лабицкому, который начал муштровать их на немецком языке.

Но хуже всего было то — и в Вене это стало известно,— что из отряда на Границе у Брина перешли на турецкую сторону тридцать сербских солдат.

Таким образом, в то лето 1752 года у дворцовой венской комиссии, называвшейся «Иллирийской Хофдепутацией», хлопот в связи с этими восстаниями в славонском народе было невпроворот. И хотя сербские офицеры официально именовались «арватами» или «унгарами», было досконально известно, где они родились, к какому народу принадлежат и в каких краях империи тлеют очаги восстания.

На постах также знали, что в столицу едут многие отставные славонские офицеры, едут хлопотать о переезде в Россию, и бумаги у них поддельные или таковых вовсе нет.

Десять лет тому назад Мария Терезия собственноручно писала, что сербские солдаты из королевства Венгрии, из Хорватии и Словении отважно боролись против врагов в Баварии, в Чехии и в Италии, на деле доказав свою верноподданность ей и императорскому дому!

И она, мол, не сомневается, что они и впредь будут поступать так же.

Но все это было и давно миновало...

Когда почтовую карету, в которой ехал Павел, остановили возле таможни на площади святого Стефана для военного досмотра, стояла уже ночь. Эта квадратная площадь была окружена купеческими домами и лавками, куда покупатель попадал не через двери: его, как товар, при помощи вóрота поднимали на второй этаж. По углам тут стояли фонари. Карета остановилась у караульного помещения, из него вышел сержант.

Он неторопливо подошел к карете и заглянул в нее.

Спросил о чем-то ехавшую в ней женщину, снял покрывавший клетку с канарейкой платок, потом почтительно приветствовал трех патеров. В эту минуту его кто-то позвал из караульного помещения. Взглянув на протягивавшего ему свои бумаги офицера, он отдал ему честь и, даже не посмотрев, возвратил их обратно.

Павел предъявил свою отпускную всю в красных и черных печатях комендатур Осека и Темишвара, подписанную Энгельсгофеном. Сержант что-то крикнул почтальону и отошел.

Казалось, и сама карета была счастлива, что досмотр так быстро кончился, и поспешно скрылась за

углом площади в дунайском пригороде. А через полчаса прибыла на почтовую станцию.

Здесь сошла дама с канарейкой, сошли и три патера, которые почему-то долго извинялись перед Исаковичем. А Павел попросил отвезти его на Ландштрассе, к трактиру «У ангела», где он намеревался поселиться.

Пока его вещи — какую-то кожаную котомку — переносили в другой экипаж, стоявший среди почтовых карет, которые кучера начали распрягать, капитан исчез, пропал среди фонарей, слуг, почтальонов, лошадей и пассажиров. Как сквозь землю провалился. У кареты, в которой он прибыл, остался лишь его багаж: большая буханка хлеба, разная снедь да узел со стираными портянками, парой изношенных сапог и закопченной, дырявой треуголкой.

Почтальон долго искал капитана между каретами, но так и не нашел.

Как тать, Павел торопливо шмыгнул в темноту соседних улиц, словно за ним гнались черти. Закутавшись в плащ, хотя было тепло, и крепко сжимая в руке саблю, он старался как можно скорее уйти подальше. В Вене он был семь лет назад, когда славонские гусары после страшной зимы возвращались из окрестностей Праги, куда прорвался французский генерал Chevert. Павел знал, что центр города находится у церкви святого Стефана, знал он и греческую церковку на Fleischmarkt'e[1]. Седьмой дом от этой церквушки принадлежал его родственнику Копше. Богача Копшу рекомендовал ему и Трандафил. Однако к нему надо было прийти ночью.

В те времена улицы Вены освещались по старинке: слабо поблескивающие редкие фонари походили скорее на оборотней, а порой в темноте даже казалось, что они, покачиваясь, куда-то бредут. В центре фонарей было больше, но и там они стояли чаще всего у княжеских и графских дворцов. Несмотря на лето, запоздалые прохожие попадались лишь изредка, Павел встретил и остановил только двоих или троих. Дерзкий в минуты опасности, он все же расспрашивал не о доме Копши и Флейшмаркте, а о тюрьме и городской страже.

Прохожие охотно указывали офицеру дорогу. Ему грозила лишь одна опасность: столкнуться с каким-ли-

[1] мясном рынке *(нем.)*.

бо офицером, который сам начнет его о чем-нибудь расспрашивать.

Только около полуночи Павел добрался наконец до греческой церкви. Несмотря на темноту, он легко нашел нужный ему дом.

Ворота Копши были седьмые слева.

Последние шаги в этом мрачном лабиринте высоких домов Павел проделал медленно, словно отдыхал после бега.

Он был задумчив.

Павел понимал, что он не единственный из сербских офицеров, который таким манером добрался до Вены, он знал также, что некоторые из них по прибытии сразу же попали за решетку. И не было даже известно, живы ли они.

Отныне для него навсегда ушел в прошлое тот мир, где он родился, где все было знакомо, где говорили на его родном языке, а по вечерам пели на улице. Где каждый знал его. Где был его дом, братья, лошади.

Куда же он сейчас попал?

В чужой мир, похожий на темишварский театр, где представления дают по-немецки и где сам он лопотал по-немецки, когда по распоряжению Энгельсгофена отправлялся туда и оказывался в компании кирасиров.

Не увидит он больше никогда и свою милую горную Сербию, свой Цер и свою Црна-Бару, откуда переехал он в Австрию, а теперь вот уезжает еще дальше — в неведомую далекую Россию.

Воздух в Сербии свеж и чист, а тут так тяжело дышится.

Не увидит он и своих людей, которых привел с Трифуном в Срем. Сейчас они ждут вестей о том, жив ли он. И ждут, когда можно начать переселение в Россию. Не увидит он ни дорогую его сердцу крепость Варадин, ни зеленые плацы Темишвара, по которым столько раз скакал. И хотя не все там, в прошлом, было чудесным, светлым и разумным, но он, по крайней мере, слышал, как бьется его собственное сердце в груди. Мог лелеять и какую-то надежду. А в конце дня, сойдя с лошади, встретиться с братьями. Мог всегда рассчитывать на поддержку родичей, на их сочувствие, если случалось горе. Посмеяться, наконец. И, уж во всяком случае, услышать, как приветливо окликают его по имени.

Сейчас всему этому конец.

Он убежал от Гарсули, но куда?

Покинул свой Срем, где в очаге по ночам так весело горели дрова и так сладко пахло дымком. Где спалось так беззаботно и где так славно лаяли собаки. А когда Юрат начинал храпеть, Петр так ловко клал ему на губы куриное перышко, что оно от храпа поднималось и опускалось.

И братья хохотали до упаду.

А здесь кругом темень и смрад, и он не знает, где нынче ночью преклонит усталую голову.

Когда он просыпался в Хртковицах и выходил во двор, под звездное утреннее небо, его любимые белые кони бежали к нему и дыбились, точно морские волны. А когда он поворачивался к ним спиной, они толкали его мордами, махали головами и трясли гривой до тех пор, пока он не потреплет их по шее.

Теперь, на чужбине, все это сгинуло вслед за топотом лошадей, доставивших карету в этот мрачный город, где его, может быть завтра уже, возьмут под стражу, и он будет ждать петли. Если сейчас он заблудится тут, среди этих высоких мрачных домов, где люди живут высоко над землею, ему ни за что в жизни уже не найти выхода. Когда в Темишваре ему приходилось возвращаться ночью домой, он всегда мог рассчитывать на то, что в окнах будут светить плошки. И если бы на него там напали, к нему прибежали бы на помощь. Здесь же он остался бы лежать при свете месяца в луже крови, и, не будь у него бумаг в кармане, всякий сказал бы: неизвестный человек.

Чей-то труп...

Хотя Трандафил описывал ему дом Копши довольно подробно, Исакович долго еще блуждал по Флейшмаркту около греческой церкви.

И отчетливо сознавал: все то, что до сих пор было в его жизни ясным, надежным и знакомым, миновало навсегда. Отныне его дни будут проходить как во сне.

Нашелся наконец и дом Копши — седьмой от греческой церкви. На входную дверь падала тень этого высящегося неподалеку храма. И стоя так, на мрачной пустынной и узкой улочке, Павел при свете фонаря долго смотрел на свою тень.

Только она неизменно сопровождала его на всем пути, подобно воспоминанию об умершей жене.

Исакович в ту минуту был спокоен и хладнокровен.

Он бывал неловок только в обществе женщин и родичей, поскольку заботился об их благополучии, но, оставаясь один, превращался в храбреца, в настоящего рубаку: у него была длинная рука и ему не надо было думать о детях. Он не растерялся бы и не струсил, если бы на этой узкой улочке встретил вдруг солдат городской стражи и они малость погонялись бы друг за дружкой в темноте.

Исакович понимал, что Копша, быть может, не захочет ему помочь, и кто знает, удастся ли ему, Павлу, даже попав в Вену, добраться до Бестужева, но он верил в свою счастливую утреннюю звезду.

И спокойно постучал в дверь эфесом сабли.

Дом Копши ничем особенно не отличался от соседних домов этой части города, которая в то время была настоящим лабиринтом узких улочек и переулков, застроенных четырехэтажными домами, где жил торговый люд, но где таилось немало игорных притонов, трактиров и борделей и где почти каждая квартира имела два выхода.

Рядом с дверью была огромная застекленная дорогим стеклом витрина, где на красном бархате днем были выставлены талеры, французские луидоры и венецианские дукаты — на обозрение прохожим, нищим и ворам. На ночь витрину закрывали железной шторой. Мраморный вход был тоже забран решетками.

Прошло немало времени, прежде чем появился лакей.

Исакович сказал ему, что приехал от Трандафила из Буды и хочет видеть своего родича Копшу. Лакей повторил его слова и попросил Павла подождать. Спустя четверть часа на пороге вместе с лакеем появился молодой человек в черном костюме, какие обычно носили в то время в Вене мелкие чиновники и купцы низшей гильдии. При свете фонаря Исакович увидел его широкие, ощетинившиеся брови, черные глаза и большой, точно у ворона, нос, на котором сидели очки. Молодой человек поглядывал на него недоверчиво.

Повторив все уже сказанное лакею, Павел добавил, что у его родственника должна храниться немалая сумма денег, которую он, Исакович, переслал сюда из Венгрии через достопочтенного Ракосавлевича.

Выслушав все это, молодой человек засмеялся и пригласил Павла в дом.

Смеялся он так, будто икал.

Исаковича повели вниз по лестнице в контору, в освещенный канделябрами подвал. Тут все блестело чистотой, на столах стояли какие-то стеклянные сосуды и лежали книги, на стенах висели карты, и Павлу вдруг почудилось, будто он опять в Гране, в аптеке Гернгутера.

У одного из канделябров на трехногом табурете сидел пожилой человек невысокого роста и натягивал на голову снятый на ночь парик. Не вставая, он повернулся к Павлу и уставился на него сквозь очки, потом спросил, кто он и зачем пожаловал в такое позднее время.

Павел повторил все то, что уже прежде сказал лакею и молодому человеку, и добавил, что ему хотелось бы поговорить с господином банкиром наедине. Лакей вышел, закрыл за собою дверь, но сквозь стекла стал смотреть на оставшихся в комнате. Павел с недоверием покосился на молодого человека в черном костюме.

Старичок сказал, что он и есть Копша, а это господин Анастас Агагияниян, от которого у него нет секретов. И пусть его присутствие нисколько не тревожит господина капитана. В торговых делах, как и в религии, все зиждется на доверии.

Молодой человек с очень бледным лицом и очень густой, черной бородой засмеялся, и его смех опять напомнил икоту.

Павел молча быстрым взглядом окинул Копшу. Банкир походил на старого козла, лицо у него было желтое, как у человека с больной печенью, и неприятно набрякшее, точно он тужился, сидя на стульчаке. «Так вот он каков, наш знаменитый венский родственник»,— подумал Павел и напомнил Копше, что они переписывались, хотя лично знакомы не были. Однако банкир хорошо знает своего родича и его, Павла, отчима, командира полка Вука Исаковича, сейчас уже старика инвалида, проживающего в Среме. И, конечно, помнит двоюродного брата Павла — Юрата, который посетил господина Копшу, когда приезжал в Вену. И, несомненно, получил талеры, которые пересланы сюда через господина Ракосавлевича для него, Павла Исаковича-Вуковича. Копша оживился, сказал, что с деньгами все в полном порядке, потом, словно что-то вспомнив, поднялся с табурета, подошел к Павлу, обнял его и спро-

сил, где он поселился в Вене и по какому делу пожаловал. Нехорошо, что родственники так внезапно, даже не предупредив, приходят к нему. Ведь только случайно гость застал его еще на ногах. Ночь создана для того, чтобы люди отдыхали.

После этого банкир предложил Павлу сесть.

Исакович начал подробно рассказывать, как он этим летом получил в австрийской армии отставку; как из вновь восстановленного сирмийского гусарского полка его хотели перевести в пехоту; как их внесли в список генерала Шевича — их родственника, и как теперь они собираются переселиться в Россию; под конец Павел прибавил, что доказательства о том, что они внесены в список Шевича, находятся в русском посольстве в Вене.

Однако Варадинская и Темишварская комендатуры отказались их отпустить и выдать им паспорта. Вот он и приехал в Вену к графу Бестужеву. Трандафил же сказал, что в таком чрезвычайном деле никто лучше Копши ему не поможет — сербские офицеры в Вене почитают его за отца родного.

Копша в знак одобрения только нетерпеливо кивал головой.

Потом попросил говорить помедленнее и не так горячо, объяснив, что хоть он и хорошо понимает немецкий язык, но слышит плохо. Вообще же ему все уже ясно.

— Хочу только предупредить,— прибавил он,— что получить паспорт для переезда в Россию стоит больших денег. И сделать это для своего родича бесплатно я, если бы даже хотел, не могу. Приходится платить за молчание.

Исакович перебил его, сказав, что он готов хорошо заплатить.

Копша пришел в хорошее настроение и стал извиняться, говоря, что, конечно, надо бы делать это родственникам gratis [1], но он всю свою жизнь копил деньги, чтобы обеспечить себе на старости тепленькую похлебку. А все, что останется после его смерти, он завещает своему народу.

Павел отвернулся, чтобы не глядеть на своего знаменитого родича, о котором в далеком Среме ходили

---

[1] даром (*лат.*).

слухи, будто он в Вене всемогущ, а офицерам-сербам — что отец родной.

Копша спросил, как поживает в Темишваре сенатор Маленица, потом принялся рассказывать, что в последнее время через Вену в Россию уехало около сотни сербских офицеров. До сих пор это было просто, но теперь все осложнилось. Говорят, будто двинулись целые села, а потому у русского посла графа Бестужева было много неприятностей, и он уехал. Новый же посол, граф Кейзерлинг, еще не прибыл.

— Многие офицеры берут у меня деньги взаймы,— продолжал Копша,— а потом подводят. Да еще пишут доносы, будто я отсылаю в Россию офицеров. Теперь это запрещено. Сначала казалось, что в Россию переселяются только несколько недовольных, и австрийский двор одобрял их отъезд, а сейчас двинулись целые караваны. Лавина! И говорят, будто все это я затеял.

— Где вы остановились? — спросил Копша, помолчав.

Павел сказал, что прибыл только вечером и еще нигде не устроился. Его арестовали и по этапу отправили в Осек, по дороге он бежал и вот явился сюда искать защиты у русских.

Услыхав это, Копша вскочил как ужаленный и принялся задувать свечи в канделябрах, крикнув Агагиянияну, чтобы тот тоже гасил свечи. Потом забегал по комнате, словно мышь в поисках норы, и заорал, чтобы капитан убирался вон из его дома. Пусть ему господь бог поможет прожить эти дни в Вене. Он же и слышать ни о чем не хочет.

В призрачном свете, пробивавшемся сквозь стеклянную дверь, все они казались тенями. Павел объявил, что не просит ничьей помощи. Просит только показать ему дом русского посла, а там уж он один, без посторонней помощи, будет добиваться своих прав. И готов, если понадобится, заплатить жизнью за Freypass в Россию. Никто в Австрии не имеет права его арестовать.

У него отставка в кармане. Безмерны страдания и муки, которые претерпели он и весь его народ с тех пор, как окончилась война. Сербов уволили из армии безо всякой вины с их стороны, и они хотят уехать в Россию.

Однако все доводы и жалобы Павла ничуть не помогали. Копша уперся и не хотел даже слышать о том,

чтобы принять у себя родича. Пусть, мол, идет, куда хочет, не может он, Копша, приютить у себя дезертира. И пусть Исаковичи тонут, если им это нравится, но не тащат за собой в омут других. Их род всегда был безумным.

Исакович стоял точно окаменев. Значит, вон он каков этот родственник, казавшийся им издали отцом родным!

Молодой человек в очках, Агагияниян, вдруг разразился своим прерывистым, как икота, смехом и принялся успокаивать своего хозяина, уверяя, что напрасно тот из-за этого впал в такую панику. Капитана можно устроить там, где уже скрывалось несколько уезжавших в Россию сербских офицеров. Он сам отведет его к г-же Гуммель, владелице тайного игорного дома. Это по соседству, совсем рядом. Там нечего опасаться полиции. Там по целым ночам полно офицеров. Туда городская стража и не заглядывает. Опасна для господина Исаковича разве лишь сама г-жа Гуммель, Anna Maria Hummel, которую он, Агагияниян, хорошо знает. Бывшая певица театра графа Дураццо. Сопрано.

Она все еще хороша собой, хотя уже далеко не первой молодости.

И нет такого офицера, который довел бы ее на поле боя до изнеможения и заставил бы сказать: «Довольно! Хватит!»

Разумеется, все это стоит денег!

Исаковича возмущала даже мысль, что ему придется скрываться в доме шлюхи, и он снова попросил, чтобы его проводили к русскому посольству. А там, будь что будет! Он готов умереть, если Россия от него откажется. И умоляет только сообщить графу Бестужеву, что он прибыл в Вену. А живым в руки австрийцам он не дастся.

Однако молодой армянин, который походил на ворону в очках, продолжал смеяться и советовал ему не быть дураком, не подвергать опасности ни себя, ни Копшу. Надо побыть в доме госпожи Гуммель дня два или три, пока он, Агагияниян, не известит русских и они не приедут за капитаном сами. А если ему не до женщин, то он скажет госпоже Гуммель, что капитан ранен на боевом поле любви и прибыл в Вену лечиться у врача-венеролога. И она оставит капитана в покое, но ни одна живая душа не узнает, что у нее скрывается

беглый офицер. Через ее салон уже прошло несколько сербских офицеров. И ни одного из них она не выдала, ни одного из них не арестовали в ее доме. У нее большие связи.

Разумеется, это стоит денег.

Исаковичу надо превратиться на несколько дней во льва в клетке. Но ведь дело идет о его голове. И будет несправедливо, если пострадает к тому же и господин Копша.

Банкир тоже принялся уговаривать Павла принять предложение Агагиянияна, и тот в конце концов сдался. Завернувшись в плащ, с саблей в руке, он в сопровождении молодого армянина выскользнул, как тать, в темноту. Они пересекли узкую улицу, прошли еще несколько шагов и оказались в каком-то дворе. Агагиянииян со смехом дернул за колокольчик у двери с висевшим над нею фонарем.

VIII

Блуждал по воспоминаниям как в лунном свете

В ту пору стольный град Вена освещался редкими и тусклыми фонарями. Ночью жители ходили по улицам только летом, весной да ранней осенью — и то, когда светила луна. А в дождливую, ненастную пору или в зимнюю стужу на улицах Вены по ночам не было ни души.

Кроме пьяниц. И сторожей, которые перекликались, точно матросы на кораблях.

Зато тем веселее было в домах.

После конца турецких войн столица превратилась в город жасмина, сирени и лип, танцев, песен и вина.

Как и в других городах Европы, в Вене водилось немало воров, жуликов и проституток, но убийства, грабежи и другие тяжкие преступления совершались не часто. Гораздо реже, чем в пограничных областях страны, где свирепствовали разбойники и грабители.

Исакович этого не знал и потому крепко сжимал саблю, проходя с молодым армянином через мрачные дворы Флейшмаркта.

Флейшмаркт с его вонючими кривыми переулками и лабиринтом узеньких улочек, застроенных домами

купцов-греков, был средоточием кабачков, игорных домов и казался сущим вертепом.

Но такое впечатление было обманчивым.

В домах таились не убийцы, а женщины в своих уютных гнездышках для любви.

Исакович только в Вене понял, что в Европе уживаются два мира.

Один показывает свое лицо днем. Другой — ночью. Один виден днем. Другой — ночью.

Одно его лицо — на улице, перед дверью. Другое — внутри, за дверью.

Колокольчик, за который дернул Агагияниян в темном дворе у двери жилища г-жи Гуммель, задребезжал надтреснуто, как ботало.

Вскоре, высоко наверху, на четвертом этаже, в окне появилась свеча, слабо освещавшая лицо женщины, потом послышался голос:

— Кто там?

Агагияниян крикнул снизу:

— Анастас Великий!

После этого дверь точно сама собой отворилась. Отворялась она сверху при помощи проволоки, которая отодвигала засов.

Павел, переступив вслед за армянином порог, оказался на нижней ступеньке узкой каменной лестницы, словно на дне глубокого колодца. Высоко вверху стояла женщина со свечой и громко смеялась.

Пока они поднимались по ступенькам винтовой лестницы на четвертый этаж, Агагияниян давал Исаковичу последние наставления о том, как надо себя вести в этом доме. На четвертом этаже их ждала увядшая красавица, чье лицо выражало радостное удивление. Все то время, пока они поднимались, за стеной раздавались крики, музыка, смех и женский визг.

В доме, должно быть, собралась веселая компания.

Госпожа Гуммель показалась Павлу несколько странной. Полуголая, нарумяненная, рыжекудрая дамочка с лицом ангелочка, которой было, вероятно, лет пятьдесят, напоминала увядшую розу. Ее волосы украшало страусовое перо. Кринолин по бокам был разрезан, так что виднелись красивые голые ноги. В своих серебристых сапожках и в сильно затянутой золотистой корсетке она смахивала на кирасира, который вдруг

почему-то стал меньше ростом и превратился в потаскушку.

Встретила она Исаковича à la grande[1].

Павел, прижав к сердцу свою треуголку, поклонился и шаркнул ногами. Агагиянниян, будучи, очевидно, в близких отношениях с дамой, похлопал ее по мягкому месту и завертел так, словно хотел, чтобы у нее закружилась голова. Потом увлек в сторонку и что-то тихонько, по секрету от Павла, зашептал.

Исакович услышал только, как г-жа Гуммель, воскликнула: «Боже мой!»

Агагиянниян потом рассказывал ему, будто она и в постели так восклицает.

Потом они повели Павла в противоположный конец коридора, в пропахшую туалетным мылом и дешевыми духами, уставленную зеркалами небольшую комнату с зеркальным потолком; тут царила мертвая тишина.

Госпожа Гуммель зажгла свечу и проворковала:

— Милости просим!

Затем, указав на постель и умывальник, она прибавила, что он может тотчас же лечь и как следует выспаться. Никто сюда не придет. Ключи от комнаты находятся у нее.

— Очень жаль,— заметил смеясь Агагиянниян,— что вы не познакомились раньше, а как раз в ту пору, когда капитан возвращается с поля боя любовных атак, где получил ранение. Такого красивого славонского офицера вы, наверное, никогда еще не встречали? Очень жаль!

Когда г-жа Гуммель ушла, молодой армянин заметил, что Павел может совершенно спокойно провести в этой комнате несколько дней. Он же будет навещать его и сообщит о его приезде в русское посольство.

На г-жу Гуммель можно спокойно положиться — он не первый и не последний сербский офицер, которого она у себя укрывает. И с городской стражей у нее хорошие отношения.

Она еще никогда и никого не предавала.

Все это совсем не понравилось Павлу. Такого он вовсе не ждал и потому стал жаловаться, что эта комната — сущая мышеловка.

---

[1] с важностью *(фр.)*.

Армянин молча подвел его к шкафу и показал потайную дверцу, которая выводила из не имевшей окон комнаты на маленький балкончик, расположенный над крышами соседних домов. С железного, уставленного цветочными горшками балкона открывался вид на окутанную мраком Вену со слабо мерцающими фонарями, темными кривыми улицами, церквами, садами, рукавом Дуная и далекими горами. С балкона можно было спрыгнуть на крышу, пройти вдоль дымовых труб в другой ее конец и затем спуститься, если нужно, на соседнюю улочку.

Вскоре вернулась г-жа Гуммель, чтобы постелить капитану постель. Она сказала, что будет брать с него талер Марии Терезии за день и два талера за ночь. И станет приходить к нему обедать.

— Сейчас,— продолжала она,— я очень спешу, у меня полон дом гостей. Вы же, капитан, хорошенько выспитесь, а уж завтра подумаем о враче.

Несмотря на злость и обиду, вызванную тем, что ему, проливавшему кровь за австрийскую империю, приходится по прибытии в Вену скрываться, Павел Исакович отнесся ко всему, что пришлось претерпеть той ночью, довольно спокойно.

Его утешало, что он все-таки уже почти добрался до русских и до Бестужева.

Уже через день-другой он, наверно, сможет явиться в Хофдепутацию и подать жалобу на Темишвар, на Гарсули: пусть там узнают, как после стольких войн обращаются с Исаковичами, с их отпущенными со службы солдатами и с другими их соплеменниками. Пусть узнает и сама императрица о неправде, беззакониях и нанесенных сербам обидах.

Ему хотелось спокойно провести эту первую ночь в Вене и хорошенько выспаться.

Когда г-жа Гуммель и Агагияниян вышли, Исакович внимательно осмотрел дверь. То была тяжелая крепкая дверь с задвигающимся изнутри засовом. Приоткрыв ее, он увидел, точно в колодце, наружный вход, откуда к нему, вооруженному пистолетом, не могла бы ворваться и целая рота солдат: Потом он убедился, что невозможно попасть сюда и со стороны балкона: высота была головокружительная.

Музыка, шум и крики веселящейся компании не прекращались всю ночь, а на заре Павел услышал где-

то рядом, за стеной, глубокие, полные печали, звуки виолончели.

Мелодия показалась ему знакомой.

Он уснул лишь на рассвете.

Госпожа Гуммель, встав, как обычно, около полудня, пришла к нему обедать.

Исакович болтал с нею по-немецки о разных пустяках только для того, чтобы выказать свое знание языка. Она же, нисколько не касаясь военных дел и не спрашивая, почему он скрывается, переводила разговор на женщин, на любовь и на болезнь, которую он подхватил.

Остаток дня Исакович провел, разглядывая все то, что он мог увидеть сквозь приоткрытые двери на лестницу и на балкон. Подышать воздухом он вышел, только когда стемнело.

Днем, глядя украдкой с балкона, Павел вдруг обнаруживал внизу, на мощеном дворе, мужчину или женщину. Человек этот расхаживал, как ему казалось, безо всякой цели. Или капитан вдруг замечал, как чьи-то руки спускают сверху на веревках корзины разносчикам булок или зелени, а затем поднимают их для каких-то неизвестных, невидимых жильцов. Видел он голубей и кошек на кровлях соседних домов. Но при этом он все время остерегался показаться на балконе, чтобы не возбудить любопытства соседей.

Вечером из-за стены снова стали доноситься выкрики посетителей, музыка, шум и топот танцующих. Г-жа Гуммель время от времени наведывалась к нему, посетил его и Агагияниян.

Первый день прошел спокойно, без всяких событий. Обставленная ореховой мебелью и зеркалами комнатка была не больше просторного гардероба, и Павел чувствовал себя в ней как скелет в анатомическом шкафу.

Однако дня через два-три Павел потерял терпение, у него началась бессонница, он стал невыносим. Г-жа Гуммель никак не могла понять, почему этот странный офицер не приглашает врача, не лечится и по целым дням сидит, пригорюнившись, на своей постели, уткнув лицо в ладони, словно хочет скрыть слезы.

У нее возникли сомнения.

Наконец она решила, что капитан тайком приехал

в Вену вовсе не лечиться, что он — убийца. Убил, наверно, мужа какой-нибудь женщины и сейчас выжидает, рассчитывая, что его спасет взятка, кошель дукатов. Бог знает, кто он?

Агагияниян долго смеялся, когда она сообщила ему о своих подозрениях. И стал ее уверять, что капитан действительно болен, но прячется потому, что приехал в Вену без бумаг. Но вскоре он их получит.

А Исакович не пожелал даже пригласить парикмахера.

И зарастал бородой.

Госпожа Гуммель стала его избегать.

Она приносила красиво разложенный на подносе ужин, ставила его на стол и тут же, робко улыбнувшись, уходила. И Павел слышал лишь затихающее постукивание ее шлепанцев.

Днем вокруг обычно царила тишина.

Комната, в которой он жил, все больше ему напоминала тюрьму. Разница, разумеется, между камерой каземата в Темишваре, сырой, полной крыс и мышей, и этой комнаткой с мебелью орехового дерева и зеркалами была огромная, но ощущение у него было такое же. Он много слышал о таких вот комнатах-темницах, где заживо похороненные офицеры превращались в скелеты для анатомических шкафов. Сербского деспота графа Бранковича держали в такой же темнице, а сколько других его соплеменников закончили жизнь подобным образом!

Снаружи бурлила многолюдная столица — Вена, дальше были расположены Шлезвиг, Милан, Голландия — словом, вся Европа, за которую сербы клали головы, а он, офицер австрийской империи, заперт тут между четырьмя стенами, словно в шкафу.

Павел не мог заснуть даже днем.

А ночью он лежал, страдая от бессонницы, с широко раскрытыми глазами.

Не отличаясь особой грамотностью, начитанностью и воспитанием, Исакович, как человек простой, самоучка, не восторгался красотами столицы ни тогда, когда видел ее зимой в дни войны, проезжая верхом на лошади, ни теперь, глядя на нее со своего балкона, откуда открывалась красивая панорама.

И хотя панорама эта была красивее, шире и великолепнее панорам Темишвара, Варадина, Осека или заня-

того немцами Белграда, которые он помнил с детства, разница казалась ему небольшой. Город как город. Дом как дом. Ему чудилось, что вся Австрия походила на казармы принца Александра в Белграде с их тремястами шестьюдесятью окнами. Или на городские ворота принца Евгения Савойского. Либо на часовую башню в Белграде, в которой швабы продержались более двадцати лет. Больше всего огорчало Исаковича то, что он, будучи так близко к цели, в то же время остался так далеко от нее.

И хотя г-жа Гуммель по-прежнему была столь же любезна и приносила ему обед, ужин, миндальное молоко и фрукты, Павел понимал, что сто́ит ему перекинуться парой слов с ее ухажерами-офицерами, и за ним тотчас же явится рота солдат. А в те времена дезертирство неминуемо каралось смертью.

Поэтому, несмотря на уверения молодого армянина, что г-же Гуммель можно доверять, ибо ей известно, что сербские офицеры приезжают в столицу хлопотать об удовлетворении своих просьб или добиваться отмены несправедливых наказаний, Исакович боялся, что она может невольно выдать его, ибо в ее доме каждый вечер полно людей.

Игроки и блудницы расходились только под утро. И это зрелище напоминало какой-то маскарад, который он мог наблюдать, если бы только приоткрыл дверь. Однажды не обошлось даже без драки.

Крик стоял страшный.

А он безучастно сидел в постели, уронив голову на грудь.

Вот куда, стало быть, он попал на своем пути в Россию.

Вот где, стало быть, решится на днях его участь.

Вот где, стало быть, он умрет, если его найдет городская стража.

И эта курва будет стоять над его головой, когда он, мертвый, будет лежать на полу после того, как выпустит последнюю пулю из пистолета и его свалят ружейные выстрелы.

Стало быть, после стольких надежд и стольких мук он закончит так бесславно свое странствие здесь — в императорской Вене, в доме шлюхи.

Когда Исакович выходил в темноте на свой, словно парящий над Веной, балкон, ему казалось, будто го-

род тянет его вниз, манит низвергнуться в пропасть. Он уже и думать забыл о г-же Божич. И у него теперь под всем этим необъятным морем кровель не было ни одного родного человека.

А когда Павел вспоминал рассказы отчима, Вука Исаковича, приезжавшего в Вену по случаю избрания митрополита, на душе у него становилось еще тяжелее. Со слов Вука, Исаковичам было известно, что в Вене все можно купить, но ничего нельзя получить без взятки. Этот город-грабитель вечно брал у них взятки, лишал прав, сосал кровь и отделывался одними лишь обещаниями.

Павел хоть и проехал на коне немало стран, но не знал, каковы другие христианские государства Европы, и, подобно всем Исаковичам, полагал, что одна только Вена — Содом и Гоморра нового времени, в остальных же странах Европы царят просвещение и добро.

Лежа так, днем и ночью, с широко раскрытыми глазами в темной каморке г-жи Гуммель, Павел грезил наяву. Перед ним — утомленным, измученным и отупевшим — вставали видения далекого детства. Вот Цер в серебре весны, потом в золоте осени и в синеве высокого неба. И вдруг на Сербию, точно темная туча с мертвой головой в середине, наплывает Австрия с императорской Веной. Огромная мертвая голова приближается и спрашивает: «Отец? Vater?» И Павел слышит, как он сам отвечает: «Звали Николой!» — «А мать? Mutter?» — «Звалась Пе́трой!» И добавляет: «А бабушку — Иконией! Она была мне самой родной на свете!» — «Родился? Geboren?»

Поняв, что допрашивающая его огромная мертвая голова, с которой он разговаривает во сне,— совсем как с императорскими офицерами, со страусовыми перьями на шляпах, в казармах принца Александра в Белграде, где он вступил в армию,— и есть Вена, Павел сердито кричит: «Родился в Николин день, в 1715 году». И продолжает:

— В тот день меня все тихонько таскали за уши, говоря: «Сегодня ты новорожденный, будь счастлив, поздравляем тебя!..»

Дед Гаврила дал мне несколько мелких денежек, которые вы у меня отобрали и должны будете возвратить, равно как саблю да два пистолета с серебряной чеканкой. Взял их у меня Гарсули!

Помню, как я подбежал к деду Гавриле и поцеловал ему руку...

А бабушка Икония надела мне на ноги по случаю дня рождения новые чулки...

Потом пришли дядя Никодия и тетка Йована и тоже легонько потянули меня за уши.

— Mutter? — снова вопит мертвый череп Вены.

— Была турецкой рабой, как и бабушка Икония, когда вы, мать вашу так, в наш край входили. Лежали они у костра возле церкви в Шабаце, и бабушка слышала, как турки между собой говорят, что на рассвете удирать собираются, в сторону Ужицы. Турок, сторожививший их, улегся, сунув два чеканенных серебром пистолета и ятаган под голову. Когда он заснул, бабушка прошептала: «Здравствуй, стаканчик, прощай, вино!» Взяла оружие — и бежать. А когда сторожевые псы в Црна-Баре залаяли и стража крикнула: «Кто идет?», она, бредя с матерью по воде, ответила: «Рабыня!» Отступили турки к Ужице.

— Gut! Jawohl! [1] А дед Теодор?

— Эх, когда дед Теодор вместе с вами вошел в Црна-Бару, он наткнулся на пасеку; был он, бедняга, голоден как волк, вытащил соты с медом да опрокинул ульи, оттуда стали вылетать пчелы и многих людей покусали. А вы, курвы, потребовали от Вука, чтобы он разыскал того, кто перевернул эти ульи. Чтоб его повесить.

— Gut! Jawohl! А отец?

— Что, фатер? Дед Теодор рассказывал мне, что у нас в роду исстари велась поминальная книга, ей уже несколько сот лет было, и в нее записывали имена всех наших предков. Там были: Десивое, Калаян, Путник, Примислав, были и женщины: Теша, Вишня, Трнина, Дуня.

— И эту поминальную книгу мой злосчастный брат Спасое продал вам за дукат да еще хвастался, что хорошо, мол, продал такие задрипанные святцы. Верьте — не верьте, но это так! Мертвые не лгут! Лжет Гарсули... Мне же оставьте только житие наших святых мучеников.

— Gut! А убийство?

Услышав это, Павел опечалился и с горечью расска-

---

[1] Ладно! Так! *(нем.)*

зал о том, что отца деда Гаврилы, уважаемого и почитаемого в селе человека, убил родной брат.

— Gut! Jawohl!

— Сгребали они с братом сено у Цера, прадед мой остановился, чтобы погладить своего малого сына, Гаврилу. А старший брат крикнул ему: «Оставь ребенка и сгребай сено!..»

Он послушался...

А потом опять подошел к ребенку, а брат как заорет: «Я сказал, оставь ребенка и сгребай сено! А ты не слушаешь?..»

Хвать пистолет и застрелил на месте родного брата. Жена убитого, увидя, что сделал деверь, поспешно увела детей и побежала к туркам. В то время, коли серб убивал серба, полагался штраф в тысячу грошей. Другого наказания не было!..

Заставили братоубийцу заплатить, приказали ему вдову не обижать и сиротам справедливую долю наследства выделить...

Вот так дед Гаврило с Михайлом остались сиротами!

— Gut! Jawohl! Abtreten! [1]

Австрийцы ушли, сгинула и мертвая голова, и родная земля засияла перед Павлом голубыми, зелеными, золотыми и розовыми красками...

Цер высился над ним, спускаясь в долину, а он шел рядом с матерью, хотя ему было только три года и два месяца. Шел через гору, по лесу, сквозь тучи. Мать на Николин день вела его показать деду Теодору.

Он шел вприпрыжку, рядом с матерью, пока они не добрались до прозрачной как слеза реки, до парома. Вода была низкая. Дни стояли жаркие, как летом.

Паромщик никак не мог пристать к берегу. Схватившись за веревку, он прыгнул в воду и подтащил паром. Мать взвизгнула, обхватила сына обеими руками и прижала к груди.

Но паром уже причалил к берегу. А паромщик крикнул: «Сходи! Чего орешь и малого пугаешь?»

Павел вспомнил, как вырвался он тогда из объятий матери, спрыгнул с парома на землю и принялся собирать на песчаном берегу камешки и прятать их за пазуху; мать поймала его за руку со словами:

---

[1] Уходить! *(нем.)*

«Ты что тут делаешь? Вода может тебя притянуть, милый».

А он остановился и засмотрелся на камешки у самой реки. И слышал, как паромщик смеется над матерью:

«Плетешь пустое, только паренька пугаешь. А он, вижу, смелее тебя».

И услышал в темноте голос матери: «Боюсь я».

Эта капля в море воспоминаний была дорога Павлу, и он сохранил ее в памяти навсегда...

Картины гор, лугов, лесов чередовались в воспаленном мозгу полусонного Исаковича.

Он мысленно возвращался в свою Сербию.

Вот он в гостях у деда.

Они шли к селу лесной дорогой, был он еще совсем маленький, устал, начал просить мать «пососать сису». В те времена дети сосали грудь матери долго. Она, бедняжка, уже пробовала отнять сына от груди, но тщетно, и сейчас боялась, как бы не попрекнули ее в отцовском доме за слабость.

Мать принялась пугать его бабушкой. Своей матерью, которую звали Гоша.

«Отколочу обоих,— сказала ему как-то Гоша,— коли узнаю, что ты еще сосешь».

Но когда он в тот день заплакал, мать села у придорожного дуба, чтобы покормить его, и стала ему наказывать: «Не проси сосать в доме у деда, а то баба Гоша забьет нас насмерть! Она старая да злая, не то что твоя жалостливая мать».

Он заплакал. И придя к бабушке, пугливо уставился на нее. Заметив это, та спросила у дочери:

«Что с ребенком приключилось? Глядит, точно чего боится!»

Тогда мать что-то зашептала бабушке Гоше, та ушла и вскоре вернулась с длинным прутом в руке.

Увидев маленького Павла у материнской груди, она закричала:

«Титьки ему захотелось, да? А ты розгу видел? Забью тебя, хоть ты и большая, до смерти, коли еще хоть раз дашь ему грудь! Кусок хлеба в руки и пусть ест!»

Павел заплакал, жаль ему стало матери, забьет ее Гоша.

Тетка Анджа, слышавшая все это, подхватила его на руки и стала угощать орехами и медом. Потом передала его другой тетке.

Ту тоже звали Анджа.

Когда пришел дед, обе поцеловали у него руку.

Увидев Павла на руках у тетки, дед крикнул:

«Ты чего, Анджа? Зачем таскаешь этого старого чабана?»

«Ничего,— ответила тетка,— дай ему бог здоровья, отец! Напугала его Гоша!»

«Тогда отдай матери, если его так разбаловали! Пусть сама с ним носится! А ты берись за дело. Пора ужинать!»

Потом дед вытащил из кармана кошель и подозвал Павла:

«Иди к деду, дам тебе денежку!» И протянул ему несколько турецких монет.

А он нерешительно приостановился — поглядеть, такой ли этот дед хороший, как дед Гаврила?

Мать сказала: «Ступай! Видишь, дедушка дает тебе денежки!» И он подошел.

Потом подбежал к матери и, отдавая ей деньги, сказал:

«На, Пепо! Только не потеряй! Пусть дед Гаврила поглядит, что я получил».

Мать взяла деньги и шепнула: «Ступай сейчас же к дедушке и поцелуй ему руку!»

И дед крикнул, чтобы он шел к нему.

Павел осмелел, опять подошел к деду, и тот угостил его очищенными орехами.

Увидев его возле деда, бабушка Гоша крикнула: «Вот сейчас ты хороший мальчик! И я люблю тебя! А ты, Петра, не смей больше портить ребенка и давать ему титьку. Не то худо будет!»

«Не дам, пока спать не ляжем!» — ответила мать.

В тот вечер все долго сидели за ужином. Он стал приставать к матери:

«Пойдем спать!»

Тогда тетка отнесла его в дом к своим детям. И он только утром увидел, что матери рядом нет.

«Пойдем к Петре»,— сказала тетка и взяла его за руку.

Когда они вошли в дом, он сразу увидел свою мать. В очаге горел огонь, над ним на цепи висел котел, полный ракии. Бабушка Гоша половником наливала в котел мед и, как только он растворялся, подливала еще.

Тетка, входя с Павлом, сказала его матери:

— Доброе утро! Слушай-ка, Петра, дай нам немного медовой ракии! Пойди, Пайо, поцелуй бабе Гоше руку!

И мать тоже сказала: «Поцелуй бабе Гоше руку!» После чего бабушка усадила его к себе на колени, поцеловала в щеку и сказала дочери:

«Видишь, какой он хороший мальчик? А ты его портишь! Поганишь мне ребенка! Я его люблю, и если ты хоть раз дашь ему титьку, я так тебя изобью, что век не забудешь!»

Потом бабушка Гоша налила половником чашку медовой ракии, добавила туда еще меду и подала тетке Андже. А та стала потчевать его, Павла.

Но он не захотел даже попробовать!

Весь этот день тетки совали ему грецкие и волошские орехи, пичкали бобами, рыбой, давали пить вино, и он провел все время без матери, среди родичей. Но когда пришел вечер, ему снова захотелось пососать материнскую грудь.

Тетки просто замучились, отвлекая его.

А дед хитрил, подсовывал мелкие монетки.

Мать же всячески отговаривалась, уверяя, что боится бабы Гоши.

Все над ним смеялись и обманывали, пока он не заснул. И тогда его отнесли в клеть.

На следующий день, вспоминал Павел, тетки над ним смеялись, говоря, что он во сне все искал мамкину титьку.

«Я так и знала,— сказала одна из них,— и надела кожушок да еще застегнулась на все пуговицы!»

«А я всю ночь спала на одном боку,— сказала мать,— все ребра отлежала, не смела к нему повернуться».

Тут пришли два его дяди и дед — пить медовую ракию, и каждый сунул ему несколько мелких монет. Все смеялись и жалели его. Мать собралась было домой, но дед сказал:

«Куда тебе спешить, Петра? Никуда ты сегодня не пойдешь, пусть малый поиграет с детьми, покуда совсем не отобьется от груди».

И они остались у деда еще на день.

Возвращаясь обратно, мать несла через плечо какую-то писаную торбу, и в ней, он знал, была лепешка да бутыль с ракией. Гостинец приготовила бабушка

Икония, мать его отца, она положила туда еще по паре чулок отцу, матери и братьям Петры.

Павел вспоминал, как те, принимая подарки, говорили матери:

«Для чего это ты, Петра, принесла? Сама знаешь, дай тебе бог счастья, что ребятам с каждым годом надо все больше!»

А на прощанье дед Теодор налил ракии во флягу, а бабушка Гоша положила в торбу лепешку и насыпала коржиков с дырками, сказав: «Отнеси-ка это, Петра, детям сватьи Йованиной! А флягу отдай деду Гавриле! Ракия крепкая, хорошая! Не виноградная, как у него. Пусть носит флягу за поясом и хлебнет, когда притомится».

Бабушка Гоша проводила их далеко. И рассталась она с матерью со слезами.

Батрак же дошел с ним и матерью до самого парома, чтобы знать, как они на ту сторону переберутся. Вернулись они домой уже к ночи. Мать поцеловала свекровь в плечо и приложилась к руке, а он крепко обхватил ручонками шею бабушки Иконии. А когда мать позвала его, чтобы покормить грудью, он не захотел подойти. Сказал, что боится бабы Гоши: «Баба Гоша меня бить станет!»

Так бабушка Икония узнала, что его отняли от груди.

«Вот уж спасибо сватье Госпаве! Мне невдомек было отогнать тебя раньше, чтобы не портила ребенка»,— сказала она матери Павла.

В эту минуту вошел дед и спросил:

«А что ты, Козлик, мне принес?»

Тогда он подошел к матери, вынул из торбы флягу и протянул ее деду Гавриле.

И дед воскликнул: «Дай бог тебе здоровья, внучек, что ты такое принес! Спасибо и свояку Луке!»

Вот так из глубины сознания этого надушенного и разряженного офицера, воевавшего во многих странах Европы, всплывали разные мелочи о его многострадальном крае, которые он хранил в памяти уже больше тридцати пяти лет. И видел он реки, прозрачные как слеза. И Цер представлялся ему в далекой синеве. И полевые маки!...

Он оставил на ночь дверь на балкон открытой, и теперь в комнатке стало свежее. На улице чуть похолодало — в ту ночь в Вене шел дождь, и этого было до-

статочно, чтобы в странной игре сновидений он как бы вдыхал горный воздух своей Сербии.

Так сон, который чем-то напоминает смерть, каждую ночь переносит человека, несмотря на все его беды и огорчения, из безумного и бессмысленного мира яви в мир грез, и те порою служат ему единственным утешением. Павлу Исаковичу воспоминания далекого детства были куда милее и казались прекраснее всей мишуры его наряда, всей роскоши того времени да и всей императорской Вены.

Павел проснулся, словно после купания — бодрым и веселым. На заре он вышел на балкон и, укрывшись за стеною, долго смотрел на далекие горы, думая о Цере, в лесах которого сейчас, верно, опадали желтые листья. Таким он его запомнил.

Однако в своих грезах Павел видел не только далекое прошлое, оно часто перемежалось недавними, совсем еще свежими событиями. Разница была лишь в том, что события, давным-давно прошедшие, запоминаются порою отчетливо, до мелочей, а то, что происходило только вчера, словно бы подернуто туманом.

В этом походившем на тюрьму доме Павел Исакович вдруг вспомнил о Гарсули.

Прежде чем Павла отвели в Темишваре на гауптвахту, у него и у Трифуна было тогда немало хлопот с их граничарами в Махале.

Солдаты возмущались и кричали: «Только и знаем, что по суху за гружеными возами ходим да по воде барки бечевой тащим!»

Павлу приснилось, будто Гарсули потребовал переселить Махалу в Вену, в какой-то зимний сад, и для этого посадить все и всех в цветочные горшки, в сотни и тысячи горшков. И длинный ряд подвод в Павловом сне уже стоял и дожидался отправления.

До ареста он вместе с Трифуном стал свидетелем беспорядков, возникших в Махале из-за инженеров и землемеров, разрушавших подряд все дома, не стоявшие вдоль большой дороги, которую прокладывали по плану графа Мерси. Дело едва не дошло до побоища. Некий Пея Зекович, Трифунов гусар, выстрелил в землемера из штуцера. А его жену, Джинджу, чуть было не увели в темишварскую тюрьму.

Этот случай представился сейчас Павлу во сне, но каким-то запутанным и непонятным.

Однако ему и в голову еще не приходило, что он вскоре собственными глазами увидит эту Джинджу в Темишваре. То, что в человеческой жизни случается завтра, так же неожиданно, как и то, что происходило вчера...

Павел видел эту женщину во сне, а днем не мог даже вспомнить ее лица. Видел, будто он с Гарсули въезжает в экипаже в Махалу. Но эти сны были вовсе не такими ясными и приятными, как первый подснежник в снегу, или колокольчик на ягненке, или вода в роднике. Гарсули всю дорогу кричал и, по своему обыкновению, грязно ругался. «Граница для вас сейчас закрыта,— твердил он,— ни сюда, ни туда податься вы не можете! Плели ведь вы турку опанки, пока он спал с вашей матерью или женой, чего же вы теперь хотите?»

И Гарсули прибавлял, что сейчас они офицеры генерал-фельдмаршала его императорского и королевско-апостольского величества фон Монтенуово.

Скабрезные речи Гарсули были Исаковичам особенно не по нутру. Они и сами любили крепкое словцо, но только как утеху на чужбине, в Австрии, как некий пароль для опознания своих. Но никогда не позволяли себе ругаться в присутствии женщин.

И вот теперь, когда Гарсули начал ругаться, Павел, не без язвительности, заметил, что обер-кригскомиссар ошибается, полагая, будто покорность сербов — страх перед сильными мира сего — это всего лишь вынужденное поведение несчастных людей, которые хотят избежать ссоры.

А потому он считает нужным предупредить обер-кригскомиссара, что Исаковичи не испугаются ни его, ни сотни таких, как он! И как бы не случилось так, что стоящий тут, перед Махалой, экипаж уже не сможет увезти его в Вену. Да, да! Его черная легкая дорожная карета, чего доброго, не выедет из Темишвара и останется навеки торчать у ворот принца Евгения, который был для сербов отцом родным. А сам он, Константин Кристофоров Гарсули, будет неподвижно лежать в луже крови. Да! Да! Mein Wohlweiser, Hochgeehrtester und Vielverehrtester Herr! [1]

---

[1] Мой мудрейший, высокочтимый и многоуважаемый господин! *(нем.)*

Но Гарсули его не слушал и приказал ехать в Махалу. Потом Павел увидел карету уже среди акаций, словно они в один миг перелетели из Вены в Махалу. У околицы, перед колодцем, возле Гарсули столпились люди: происходило что-то странное.

Вокруг него собрались инженеры и землемеры, работавшие над планировкой села, согласно проекту графа Мерси, а сам он стоял в экипаже и бил кнутом махалчан, которые сбежались с явным намерением перевернуть карету. Павел, к немалому своему удивлению, увидел и услышал, как выстрелили два пистолета — сперва появились два дымка, и потом грянули два выстрела; тут же, среди возмущенно ревевшей толпы вертелись гусары.

Совершенно потрясенный, он хотел крикнуть, но язык у него прилип к гортани. Он оглянулся — Петр и Юрат куда-то исчезли.

Затем Павел увидел, как экипаж Гарсули поворачивает и мчится к Темишвару, а толпа махалчан бежит за ним следом. Черная карета мчалась по зеленому выгону очень быстро — ведь все это происходило во сне,— она летела точно ворон.

Было ясно: стряслась большая беда.

Павел слышал, как махалчане кричат вслед Гарсули:

— Стой, стой, мать твою темишварскую так!

Во сне Павел пробежал во весь дух около сотни шагов в сторону села и увидел, как карета промчалась мимо него. Пыталась, очевидно, проскочить в Темишвар.

Но в эту минуту прогремел выстрел гусарского штуцера, и Павел увидел, как Гарсули в своей треуголке, украшенной страусовыми перьями, упал на сиденье, потом встал и, покачнувшись, вывалился из экипажа и остался лежать бездыханным на зеленой траве. Все произошло в мгновение ока. Павел приостановился на миг, словно окаменел, потом охнул, закричал и, спрыгнув с балкона дома г-жи Гуммель, побежал как сумасшедший к лежавшему в траве человеку в черном бархатном сюртуке.

К нему кинулась и вся Махала, только два гусара помчались в сторону Темишвара. Добежав до лежащего на траве Гарсули, Павел увидел вокруг себя сотни разинутых ртов, вытаращенных глаз, всклокоченных голов, угрожающе поднятых лопат и мотыг.

— Не хотим быть паорами! — ревела толпа.

Шум стоял чудовищный, но и его заглушали причитания окруживших Павла старух, которые били себя по лицу и, плача, пытались схватить его за руку.

Толпа увлекла их за собой.

Последние несколько шагов до Гарсули Павел будто плыл по течению, раздвигая руками людей, точно колосья в поле. Гарсули лежал на земле в черном сюртуке из шелковистого бархата и еще шевелился. Серебряные застежки на его больших башмаках сверкали точно молнии и казались огромными.

Когда Павел опустился перед ним на колени, сведенные судорогой ноги умирающего несколько раз дернулись и нырнули в траву.

Потом все затихло. Лицо покойника побледнело, черты стали умиротворенными, почти добрыми. Голова склонилась на правую сторону, изо рта по черному бархату, точно красная змейка, поползла струя крови.

Павел глядел на мертвого Гарсули, вытаращив глаза.

«Всему конец,— подумал он.— И мне и братьям. Теперь всех нас наверняка повесят на воротах во дворе Энгельсгофена или в крепости графа Гайсрука в Осеке. Никогда я не увижу Россию. Опозорил я своего отчима Вука, славного сербского командира полка. Ведь как только гусары доложат о случившемся, из Темишвара в Махалу двинется карательная экспедиция».

И тем не менее на душе у него стало как-то легко. Не надо будет переводиться в пехоту и шлепать по болотам ему в Градишке, а Трифуну в Броде по команде барона Януса и барона Ритберга.

Всему конец.

Но в следующее мгновение Исакович, вздрогнув во сне, крикнул:

— Несчастные, Темишвар всех ваших детей засыплет свинцом!

Рев вокруг стоял истошный.

Опасаясь, что махалчане перебьют и землемеров, которые строили большак и делали планировку улиц, Павел кинулся в их сторону. Стоявшие ближе еще уступали ему дорогу, но остальные, точно взбесившиеся кони, напирали прямо на него, крича:

— Не хотим планировки! Не желаем возить песок с Беги!

Вот тогда, во сне, Павел Исакович впервые понял, как единодушны эти люди, а он среди них — словно чужой. Вся его любовь к ним — одни разговоры, хотя большинство из них его родичи либо кумовья. Они были готовы убить каждого, кто хоть пальцем тронет Махалу, а Исаковичи играли на руку палачам из Темишвара.

И Павел почувствовал себя среди махалчан одиноким и чужим.

Один из махалчан бежал рядом с Павлом, постолы спадали у него с ног, он натягивал их на бегу и, не отставая, кричал ему на ухо:

— Мы подпираем стены своих лачуг сохами, а они хотят эти лачуги по шнуру вытянуть. Где это слыхано?

Видимо подзадоренные словами этого человека, стали вопить ему в уши и остальные:

— Не хотим, чтобы Махалу перестраивали! Столько людей болеет, песок таскаючи! Столько скотины уже пало! В нас вопиет материнское молоко, мы его малыми ребятами всосали.

Приближаясь к колодцу у околицы Махалы, Павел увидел, что и там все бурлит, как в котле. Какая-то женщина повернула коня, которого держали под уздцы, на коня вскочил человек, промчался с грохотом по деревянному мосту, пролетел мимо болота и поскакал в сторону далекого верболоза.

Из тысячи глоток вырвался крик: «Удрал Пея! Удрал Пея!»

А тем временем кто-то, удерживая Павла, просил:

— Не посылай, капитан, за ним в погоню! Пошлешь потом, когда зайдет луна. А сейчас нет!

Тщетно Павел вырывался.

Точно безумный твердил он толпе махалчан, что Темишвар засыплет свинцом их детей, что надо сесть на коней и догнать убийцу Гарсули,— никто его не слушал.

Опустившись в изнеможении на какой-то пень у околицы он снова стал убеждать:

— Несчастных ваших детей засыплют свинцом!

Между тем вокруг него уже собрались вахмистры, которых он оставил в Махале, чтобы доложить о случившемся. Убил Гарсули некий Пея Зекович. Павел вспомнил, что тот приходится ему дальним родственником и что Трифун привел его с собой из Потисья. Зе-

кович был статный, красивый, смирный и на редкость молчаливый молодой человек.

Павел потом рассказывал, как ему во сне привиделся этот Зекович.

А Зекович, еще до того как Павла посадили в темишварский каземат, и в самом деле стал убийцей, но никакого отношения к Гарсули не имел. У Зековича разрушили хижину, потому что она стояла на пути сооружавшегося большака, а перенести ее в сторону не захотел.

И Павел знал, что он стрелял в землемера.

Потом у Трифуна было из-за этого много неприятностей.

В глупом же и нелепом сне Павла сотни голосов горланили, будто во всем виноваты они, Исаковичи. Они привели их из Црна-Бары и Цера в Срем и поселили в Хртковицах, а Трифун с попом Тодором их там удержал. Затем их повели в Потисский коронный дистрикт и обещали, что им сохранят самоуправление. Обещали выплатить за целый год порционные деньги, чтобы потом спокойно, парадным маршем переселиться в Россию.

А сейчас их заставляют рыть чужую землю да еще берут деньги за рыбную ловлю в лужах.

Им все время обещали добиться правды и донести их жалобу до русской императрицы, этой родной матери сербов. Они корчевали Трифуну в Среме лес. И им обещали, что в следующем году станет лучше.

И что же?

Приходил хоть кто-нибудь в Махалу спросить, как им живется среди болот?

Ответь, положа руку на сердце! Мы тебя здесь не видели, Павел!

Не появлялся ты здесь ни разу!

Приходил оберайнемер[1]. И кричал — Плати!

Приходил плацлейтенант! Плати!

Штабс-медикус! Плати!

Штабс-профос! Плати!

Эх ты, Павел!

И ваш арендатор, арендатор Исаковичей, только знай кричит:

---

[1] Главный сборщик податей *(нем.)*.

«Мне мое сено давайте! А потом хоть плачьте!» Словно мы и не родичи!

Укоряли они Павла, который метался во сне как в бреду и хрипел, также в том, будто это он привел землемеров,— они ходили тут в позапрошлом году, ходили в прошлом и нынче опять ходят!

Нехороша, мол, Махала!

Протягивают веревки, чтобы строить дома по струнке!

Эх, мой Павел! Видно, и в правду ты с оглоблю вырос, а ума не вынес!

То был первый бунт в Махале, приснившийся Исаковичу в Вене, но не первый и не последний, виденный им наяву. Однако он и во сне понимал, что люди пришли в ярость и, чтобы не случилось еще большей беды, их надобно поскорее успокоить.

Темишвар был близко.

А они — без оружия.

Надо было схватить убийцу, выдать его властям, бежать к Энгельсгофену...

Тем временем его вахмистры, сильные и строгие даже во сне, подвели к нему женщину, стоявшую возле колодца, на околице Махалы, жену убийцы.

Так Исакович увидел во сне жену Зековича, которую совсем не помнил, но которую позднее живой видел в Темишваре.

Ее обвиняли в том, что она дала мужу штуцер.

И о чем-то с ним шепталась, перед тем как он ускакал.

Однако женщина невозмутимо стояла перед Павлом.

Она была молода и красива, но этого он не удержал в памяти, запомнил только, что на ней была скромная черная юбка и что, когда ее спрашивали, она глядела прямо в глаза. И была босая.

Во сне он заорал на нее, требовал, чтобы она все рассказала о происшедшем. И его вахмистры принялись кричать:

— Говори начальнику, как и что делал Пея?

Она спокойно ответила, что не знает, и добавила:

— Я ведь не Пея!

А когда Павел вышел из себя, дерзко крикнула:

— Чего ты, господин, орешь, не видишь разве, что пугаешь детей? Вон там Пея, в лозняке! Там его и ловите! Встретит он вас, мой родненький, ружейной

стрельбой! С каких это пор вышел царский указ, чтобы жена отвечала за гайдука? Такого не было и при турках.

Когда же Павел заявил, что Пея всех их обездолил и что теперь Темишвар засыплет их детей свинцом, женщина в ответ крикнула:

— У Пеи ломали дом, нет такого царского указа, чтобы над головами живых людей кровлю ломать. И Гарсули ударил Пею плеткой по шее. Только тогда он и выстрелил из штуцера. Только тогда, только тогда!

А когда Павел сказал, что темишварские власти арестуют ее как жену убийцы и что их обоих ждет петля, она подошла к нему ближе (он почувствовал, что от нее исходит какое-то тепло и обаяние) и сказала:

— Не боюсь я петли на шее. И охотно умру за мужа. Только не посылай погони, покуда Пея не доберется до плавней, до борчанских плавней, там у него родичи. Ради бога, как брата тебя прошу!

Она обняла Павла и прибавила:

— Хорошо я с мужем жила. А если мне, молодой, и придется тлеть в земле, то вместе со мною будет тлеть и та уродина, Гарсули. Убил его мой родненький. Убил! Запомнит Темишвар, как прокладывали в Махале улицы!

Тронутый ее молодостью, Исакович с грустью заметил, что погоня будет послана и что Зековича, верно, поймают. А она прижалась к его груди и стала умолять:

— Не посылай погони сегодня, а завтра можешь послать, если уж так надо. Пощади! Ради родной матери пощади! Разве ты пандур? Разве не верой и правдой служил вам Пея? Ты обещал переселить нас в Россию. Были у нас тут дома и усадьбы. А погляди на меня сейчас. Нет у нас больше, милый, ни сермяги, ни сукна, ни постолов. Разве не видишь, что я нищенка? Неужто надо было ждать, пока и лачугу отберет у нас тот изверг?

Павел в полном отчаянии воскликнул:

— Несчастная, ведь Пея убил их человека!

От этих слов она просто взбеленилась и так закричала, что ее было слышно далеко вокруг.

— Убил, говоришь? Их человека убил? Эх, Павел! А сколько они наших поубивали, и никому ничего за это не было! Убил, говоришь? А они? Скольких они на каторгу послали? Скольким принесли несчастье? Великому множеству, а мой родненький одного тюкнул, и, вишь, какой шум подняли!

И она погладила Павла по лицу.

Он был ошеломлен.

Их окружила толпа махалчан. Тщетно пытался он вырваться, крича, что ему надо как можно скорее бежать в Темишвар, надеть там парадную форму и идти просить пардону у Энгельсгофена.

А женщина все удерживала его:

— Вон, Павел, видишь те две акации и кучу глины перед ними? Это был мой дом! Пея готовил мазанку к зиме, а я кукурузной соломой да слезами ее покрывала. А в летошнем году к нам землемер пришел. Сказал, надо ломать! Дом, мол, не на линии. Надо селу спуститься к большаку, к веревке инженера. Вот погляди, уступили мы, сделали, как он сказал, лелеяли надежду на этот год. А он, когда мы только о том и думали, как нынешнюю трудную годину пережить, говорит: «Не годится! Надо опять ломать». Ты меня слышишь? Размывал мазанку дождь, мы с соседями ее сохами подпирали. А он все твердит: «Нельзя! Надо по шнуру. Спуститься надо на линию с другой стороны». Дай бог, чтобы каждый их дом так рушился! Коли хочешь, закуй меня в кандалы! Буду в земле, но и Гарсули тоже!

Не слушая больше женщину, от которой веяло теплотой, Павел, вспомнив о другом, заорал, как на учениях:

— А откуда у вас ружья, порох и свинец? Откуда у Зековича штуцер?

Вахмистры крикнули в ответ, что ружья люди прячут в очагах, а свинец — на груди у женщин. Что оружие у них всегда было и всегда будет. И если он не вернется сюда из Темишвара, завтра же тут начнут взрываться один за другим пороховые погреба.

Тогда, видимо от утомления, Павел ощутил какую-то жалость к ним. Он подумал, что в Махале и в самом деле полно несчастных, переселившихся из Сербии людей, которые вот уже шестьдесят лет перебиваются из кулька в рогожку. Легко было жить только торговцам и ремесленникам Темишвара. И, конечно, сенаторам. А тем людям, что ушли вместе с ними, Исаковичами, покинув свою Сербию и сгоревшую Црна-Бару, сейчас податься некуда. Боролись они честно за христианство, на стороне Австрии и что за это получили? Их убивали тысячами. А получили они — смотры, муштру, разоре-

ние домов да могилы. У сербских офицеров пожелтели лица от вечных хлопот — непрестанных приказов о расформировании частей, о заселениях, переселениях и нескончаемых переменах согласно плану графа Мерси. Нет и не будет здесь, в Австрии, ничего, кроме лжи да лицемерия...

Между тем жена убийцы следовала за Павлом как тень.

Сам не понимая почему, он вдруг к ней переменился, взял ее за руку и, ласково, как сестре, сказал:

— Не плачь, Джинджа! Ну же! Будешь жить в нашем доме! Ну же! В доме Исаковичей!

Позже Павел часто пересказывал братьям этот свой сон. Но к тому времени этот сон стал уже явью.

А в ту ночь сон закончился еще глупее, чем начался. Гарсули внезапно воскрес, и его экипаж направился в Вену. И самым удивительным было то,— впрочем, наяву так тоже бывает,— что Павел поехал вместе с ним.

Гарсули был весел.

Обращаясь к Исаковичу, он произнес целую речь.

Заявил, будто его, Павла, народ уже не тот, что был. Будто Сербия сейчас покорилась и притихла, потому что ею управляют просвещенные греки и в церквах тоже поют по-гречески. А все его предки — и дед Гаврила, и дед Михайло, и отец Павла, Никола, могила которого даже неизвестно где находится, и его мать Петра, чей обуглившийся труп остался в Црна-Баре,— все они приходили, мать их разэтак, чтобы униженно и угодливо целовать ему, Гарсули, руку. Нет больше гордых стягов. Остались одни лишь складные ножи! До земли ему, Гарсули, все они в три погибели кланяются.

Хорошие, смирные люди! Вот только офицеры, курвы, мутят народ, подбивают людей переселяться в Россию, не будь их, империя могла бы счастливо и спокойно прожить в ладу с сербским народом, а его Исаковича, родичи приходили бы к нему, Гарсули, да угодливо целовали руку.

Понимая, что вот-вот прольется кровь, Павел приказал кучерам остановиться. И засмеявшись, громко спросил у Гарсули, уж не приходил ли к нему и дядя Янко?

У Исаковича была нехорошая привычка — перед

тем, как обагрить руки кровью, посмеяться, словно он собирался выпить вина.

Гарсули ответил, что и Янко приходил целовать ему руку.

— Сомневаюсь! — крикнул Павел.— А чтобы вы, господин Гарсули, ненароком не впали в заблуждение, я — для большего скрепления взаимной дружбы — расскажу вам кое-что о дедушке Михайле и о дяде Янко.

Этот самый угодливый, хилый да изнеженный дядя Янко говорил о себе вот что:

«Было у нас восемьдесят голов крупных овец, и вот повадился к нам ходить волк — схватит овцу и унесет. Несмотря на двух огромных псов, которых я на цепи держал. Свирепые были собаки, а тут порой даже не лаяли, чтобы не дать о себе знать.

Смастерил я с десяток волчьих капканов и расставил их в разных местах. И вот, однажды утром, вижу — попался в капкан преогромнейший матерый волчина. А я наперед зарекся, коли поймаю какого волка, сдеру с него живьем шкуру, а потом выпущу, пусть идет в лес и расскажет, как умеют в Горачиче наказывать. Был у меня нож острый, как бритва, смастерил я рогатины, связал волка. Снохи и носа из дома высунуть не посмели. А моя старуха Христом-богом молила не мучить зверя.

Но я был верен данному слову, содрал с волка шкуру чин чином, и при этом даже нигде его не порезал. Было это до обеда, а после обеда прибегают дети и рассказывают, что из лесу доносятся волчьи голоса. Выли они в ту зиму как никогда».

— А ты вот твердишь, будто мой мирный дядя Янко униженно целовал тебе руку. Врешь ты все, Гарсули! Так и запомни — врешь!

Пробудившись от такого или похожего сна, Павел вынужден был целый день скрываться от соседей и до самого вечера глядеть с балкона на крыши и на далекие горы. Дымоходы венских домов курились у него под ногами.

Шли дни.

Ночами с нижних этажей по-прежнему доносились визг и хохот женщин, гремела музыка и раздавались крики картежников, которые под утро покидали дом

г-жи Гуммель, спустив не только деньги до последнего талера, но и оставив здесь свои часы, кольца, перстни, а порой и серебряные пуговицы с сюртуков.

Днем опять воцарялась гробовая тишина, а под вечер снова звучал печальный голос виолончели.

В русском посольстве все между тем как будто замерло.

Бестужев уехал, а граф Кейзерлинг еще никого не принимал.

Агагияниян приходил каждый вечер, но ничего нового не сообщал. Павел был уже не в силах дольше ждать, он просто изнывал от нетерпения, подобно всем нервным, побывавшим на войне людям или страстным игрокам, которые, играя всю жизнь, не выносят проигрыша. Исакович не мог себе даже представить, что ему не удастся достичь цели, которая уже так близка.

Небритый, всклокоченный, с потемневшим лицом, он метался, точно зверь в клетке, по своей тесной, как шкаф, комнатушке, на четвертом этаже.

А когда пришел и ушел десятый день его пребывания в Вене, Павел вскочил поутру как бешеный, потребовал парикмахера и начал приводить себя в порядок: бриться, мыть голову, душить свою косицу.

Тщетно г-жа Гуммель выражала опасение, что парикмахер может выдать ее тайну, донести, что она прячет у себя в доме сербского офицера, хотя даже не знает его имени. Агагияниян так и не захотел его назвать.

Словно подхваченный ураганом, Исакович потребовал, чтобы ему купили сапоги, новое жабо, новую рубаху, новую гусарскую треуголку, кисти которой спускались бы до плеч, и принялся расспрашивать молодого армянина, как добраться до русского посольства, где можно нанять экипаж и как узнать посольский особняк в Леопольдштадте? Павел решил отправиться к русскому послу открыто, на глазах у всех.

А там — будь что будет.

Он считал недостойным дольше оставаться в таком месте и в таком положении.

Кир Анастас только смеялся.

В ту ночь в нижнем этаже возникла драка, по всему дому разносился крик, визг, грохот и женский плач. Исакович все это слышал. На следующее утро г-жа Гуммель рассказала, что у ее подружки из театра графа

Дураццо начались нелады с кавалером, который пьянствует и поколачивает ее.

Услышав знакомую фамилию, Исакович насторожился.

Когда переводчик Копши впервые упомянул о графе Дураццо, Исакович пропустил эту фамилию мимо ушей. Но теперь, услыхав ее вторично, он все вспомнил и обомлел.

Фамилия знаменитого мецената графа Дураццо была в те времена хорошо известна в Вене. Исакович знал, что венка, с которой он жил до женитьбы,— актриса этого театра. И теперь при одной мысли о том, что он может сейчас в Вене встретить свою бывшую содержанку, мороз прошел у него по коже.

Видимо, это и стало той самой каплей, которая переполнила чашу его терпения. Он умолк и о театре с г-жой Гуммель больше не заговаривал.

Не расспрашивал он и о своей былой подружке.

Павел успокаивал себя тем, что Вена большой город — макрокосмос, как выражался Божич,— что та женщина неизвестно где живет и встретиться они никак не могут. Верно, та бедняжка, которую любовник поколотил прошлой ночью, ее не знает, хотя речь, конечно, идет о том же театре. Да еще неизвестно, жива ли его бывшая любовница и живет ли она теперь в Вене.

Однако она вдруг встала как живая в его памяти.

В конце войны «за австрийское наследство», после заключения мира в 1748 году в городке Экс, труппа артистов одного из венских театров случайно попала в Темишвар во время торжеств, устроенных австрийскими властями по случаю окончания войны.

Театр этот, подобно всем театрам того времени, не был театром в нынешнем понимании этого слова, а всего лишь бродячей труппой венецианских комедиантов, выступавших в трактирах вместе с несколькими хорошенькими венками. Первый, настоящий французский театр появился позднее, да и то лишь в самой Вене.

Выступала с ними в Темишваре и прехорошенькая блондинка, некая фрейлейн Бергхаммер, любовница одного кирасира, который привез ее из Вены, бросив там свою жену. Фрейлейн эта изображала на канате месяц и королеву ночи со звездой во лбу. Она была ловка, как бесенок, достаточно образованна, весела, да еще и с изю-

минкой. Настоящих пьес в то время не ставили, и представление обычно было импровизацией. Грету Бергхаммер очень ценили в труппе, благодаря ее острому язычку: у нее на все сразу же был готовый ответ.

Закончив представление, она обычно играла на виолончели и, надо сказать, играла хорошо.

Наверно, из-за пышных округлых форм у нее не было детей: она то и дело переходила из рук в руки.

Будь у такой актрисы семья или муж-актер, она ничем бы не отличалась от всех прочих. Но у нее не было никого, и Грета почти каждую ночь ложилась спать с другим.

Эту молодую женщину привез из Темишвара в Варадин один из лучших наездников среди кирасир графа Сербеллони, маленький, черный, похожий на обезьяну, но весьма богатый капитан Падовани.

Вскоре он уступил свою любовницу Исаковичу. Както, столкнувшись в манеже с другим наездником, Падовани вместе с конем полетел через барьер и остался жив только благодаря Павлу, который в самую последнюю минуту вытащил его из-под лошади. Ушибленный и покалеченный, Падовани беспомощно лежал в постели и думал о том, как избавиться от любовницы, прежде чем приедет жена. Однако выбрасывать ее на улицу он не хотел. Уговаривая Павла взять ее к себе, он твердил, что, помимо всего прочего, фрейлейн Бергхаммер — милое, доброе и ласковое создание.

Неженатые сирмийские гусары часто брали на содержание, по турецкому обычаю, какую-нибудь привезенную из Турции валашку, в большинстве случаев рано созревшую девочку, которая целовала так щекотно, словно пятки чесала. И прятали ее у себя.

Исакович был человек тщеславный и потому охотно взял к себе венку.

В первые дни фрейлейн Бергхаммер удивленно мерила взглядом статного великана-славонца, точно всадник — рослого буланого коня, после того как ездил на низком вороном. Однако она быстро привязалась к Павлу, переехала к нему и из месяца в месяц откладывала свой отъезд в Вену. Таким образом эта пара прожила счастливо, без единой ссоры, два года, прожила в любви, которая, если и не была настоящей любовью, то чем-то походила на нее. Никогда эта женщина не требовала у Исаковича денег. И довольствовалась

тем, что он давал ей сам, хотя с трудом сводила концы с концами. Он обязался только содержать ее родителей. Единственный ее недостаток заключался в том, что она с утра до вечера, без умолку говорила о них, особенно о матери. Исакович так никогда с ними и не встретился, но хорошо знал доброго, старого Бергхаммера, содержателя гостиницы в небольшом австрийском городке на берегу Дуная, городке, который, по словам Греты, был очень красив, особенно весною, когда расцветали яблони, а еще краше — зимой, когда выпадал снег.

Хорошо он знал и ее мать, которой дочь неизменно посылала все свои сбережения. Знал, по ее рассказам, и мельника из соседнего городка, с которым она впервые согрешила.

Исаковичи вступили в армию в Белграде, которым в то время владели швабы, и поначалу не ощущали никакой ненависти к Австрии. Павлу болтовня любовницы казалась скучной, он засыпал под ее полные грусти рассказы о родине, но не возмущался. Из всей семьи невзлюбил ее с самого начала один только Юрат, да и то потому, что боялся, как бы она не родила. В компании она была особенно приятна. Однако майор Юрат Исакович твердил Павлу свое: «Знаю, что у вас было ночью. Нынче кабачок снять ей не сможешь. Да и у ее матери хороший аппетит!»

Фрейлейн Бергхаммер была счастлива, что ей не нужно ездить с труппой и что чуть ли не целые ночи она проводит со страстным, молодым и сильным мужчиной, который никогда и слова худого не скажет. Она научила Павла многому, в том числе и немецкому языку, который он до тех пор знал очень плохо. Ей пришлось обучать его и тому, как надо ласкать женщину, она просила его иногда позволять ей смотреть на него голого. Требовала, чтобы он глядел ей вслед, когда она уходит, потому что любила синеву его глаз. Она объяснила ему, что женщина иной раз жаждет любви не только ночью, но и днем.

Все это златокудрому красавцу с гладкой кожей было дотоле неведомо, прежде он вел себя с женщинами точно в конной атаке. И хотя за двадцать лет службы в австрийской армии, Павел превратился в этакую нарядную куклу в стиле рококо (такую же, как все прочие иностранные офицеры-наемники того времени: венецианцы, ирландцы, якобиты, французы), он, как и

другие его соотечественники, а равно и венгры, оставался и для Австрии, и для этакой сладострастной белотелой венки человеком с большими причудами — варваром.

Павел никогда не говорил ей о любви и о женитьбе. Ее ребенка он не признал бы своим. В присутствии людей он был с ней холоден, как с чужой.

И все же благодаря своему терпению и веселому нраву она сделала его наконец таким, каким хотела. И вот именно тогда он однажды утром вдруг объявил ей, что собирается жениться и что им следует расстаться.

Для Павла в этом решении не было ничего неожиданного. Он даже не очень жалел о разрыве с актрисой.

Для нее же это был тяжелый удар, но она не стала спорить и жаловаться,— Исакович заметил только, как она побледнела, глядя на него широко раскрытыми глазами, и молча, словно онемев, схватилась за сердце рукой.

И до самого отъезда в Осек не сказала ни слова.

А когда осталась в тот день одна, неподвижно сидела до самой темноты. Так и застал ее вечером Павел. И все-таки она не роптала. Только попросила никому не говорить об ее отъезде и на следующий день уехала, даже не попрощавшись с офицерскими женами, которые, хотя и не принимали у себя актрису, но охотно болтали с нею у подворотен и даже по-своему любили эту красивую, спокойную и скромную молодую женщину с глазами, смотревшими на мир совсем по-детски.

Ее все жалели.

Павел же при расставании даже не выказал желания хотя бы еще раз встретиться с нею и никогда больше о ней не спрашивал. Подписал только вексель на трехмесячный денежный взнос родителям и подарил ей на память шелковое платье. С грустной улыбкой держала она в руках это привезенное из Темишвара платье, долго смотрела на него и назвала «прощальным» — она так и сказала по-немецки: «Paulus Abschidskleid!»

Исакович никогда о ней больше не упоминал.

Как-то случайно он узнал от капитана Падовани, что фрейлейн Бергхаммер живет теперь в Вене и выступает в театре, меценатом коего состоит некий граф Дураццо. Кирасир снова подтвердил, что эта женщи-

на — милое, доброе и ласковое создание, хоть и побывала она у многих в постели.

Спустя два-три года Исакович уже коверкал даже само ее имя. Подобно всем офицерам Подунайского полка и сирмийским гусарам, он так и не научился правильно произносить такие имена, хотя побывал не только в Праге, но и в Голландии. Единственное имя, которое Исакович и его гусары выговаривали правильно, было имя генерала, командовавшего ими во время войны. И даже под Прагой, идя на приступ, они все еще кричали: «Сербы! Vivat! Граф Валлис! Vivat!»

Австрии к тому времени уже удалось заставить их снять красные гуни, в которых они победоносно прошли по всей Европе, и натянуть тесные венгерские чикчиры, обуться в сапоги, напялить на головы треуголки, расстаться с копьями и сменить их на ружья, не удалось ей только научить их правильно говорить по-немецки, не удалось их онемечить, так, чтобы они выбросили из головы Сербию. Это, пожалуй, могло бы удасться, когда они поняли, что им не попасть уже обратно в Сербию. Но тут они вбили себе в голову Россию!

На десятый день своего заключения в чердачной комнате дома на Флейшмаркте, у г-жи Гуммель, Исакович вскочил, приосанился и решил отправиться один-одинешенек в русское посольство, сказав себе: «А там будь что будет!»

Но как раз в ту минуту, когда ему уже принесли доломан, сапоги, треуголку и он нарядился, как на свадьбу, прибежал Агагияниян и с сияющим лицом сообщил, что русские нашли в списке имя Исаковича и считают его теперь своим офицером, незаконно задержанным в Темишваре. Конференц-секретарь нового посла графа Кейзерлинга приказал разыскать Павла.

Этот вечер прошел для Исаковича весело.

Он даже разболтался с г-жой Гуммель.

А молодой армянин на радостях даже напился.

Около полуночи Павел ушел к себе в комнатушку, чтобы выспаться и назавтра пораньше встать, совершенно не подозревая, что готовит ему ночью величайший комедиант на свете — случай. В полночь в нижнем этаже вдруг раздались душераздирающие вопли: там ломали мебель и дрались.

Приотворив дверь своей комнаты, он посмотрел в

пролет лестницы и увидел, как рыжий головастый и мертвецки пьяный офицер вытолкнул на площадку растрепанную, полураздетую блондинку. Потом выбросил вслед за нею стул, платья, шляпу со страусовым пером и, наконец совершенно неожиданно,— виолончель, которая упала с громким гулом и едва не разбилась.

Женщина подбежала к инструменту, громко плача и кого-то проклиная по-немецки.

А мужчина захлопнул у нее перед носом дверь.

Где-то отворилась еще одна дверь, что-то крикнули, но вскоре все затихло.

Лестница освещалась далеко внизу слабым светом закопченного тусклого фонаря. Теперь до Исаковича доносился лишь плач да всхлипывания женщины.

Потом она села, вся в слезах, на стул и принялась натягивать на себя нижнюю юбку, чулки, потом, перестав одеваться, взяла виолончель, пристроила ее между коленями и два-три раза провела смычком по струнам. Виолончель отозвалась протяжным звуком.

Бережно опустив ее на пол, словно дитя в колыбельку, блондинка принялась приводить в порядок волосы.

Свет упал на ее лицо, и Павел чуть не вскрикнул.

Он узнал свою венку.

Конечно, Вена была для того времени макрокосмосом, но театральный мир, как и скопище игорных домов, находился тут, на Флейшмаркте. У г-жи Гуммель собирались не одни только офицеры-картежники, сюда приходили также попытать счастья в игре и предаться страсти их любовницы. И потому, чего только не случалось в кабинетах г-жи Гуммель!

Поутру она нередко обнаруживала спящей на каком-нибудь диване пьяную и почти голую свою подружку.

Фрейлейн Бергхаммер уже около года приходила в этот дом с капитаном Гансом-Георгом фон Хоркхаймером — добрым и вежливым днем, когда он бывал трезв, и грубым ночью, когда напивался. Бывшая любовница Исаковича надоела Гансу, и он обзавелся другой.

А фрейлейн Бергхаммер в ту ночь плеснула новой подружке капитана вином в лицо.

Узнав эту женщину, которая сейчас находилась от него в каких-нибудь десяти шагах. Исакович, стоя на пороге, в первое мгновение почувствовал себя как пе-

ред дулами ружей и, вздрогнув, отпрянул. В следующее мгновение ему захотелось окликнуть по имени эту оборванную, растрепанную женщину, прежде такую опрятную и хорошенькую, причесанную и нарядно одетую, а в постели — искусно подмазанную, ему захотелось окликнуть ее так, словно они расстались лишь вчера и встретились сегодня. И он кинулся к себе, чтобы надеть куртку.

Душу его затопила какая-то радость и нежность и похожее на жалость чувство к этому стоявшему у стены полуголому, плачущему созданию. Поправляя волосы, она невольно подняла голову, но не увидела мужчину, открывшего дверь на верхнем этаже,— было темно да и мешала винтовая лестница.

Фрейлейн Бергхаммер увидела лишь свою огромную тень на стене.

Устало опустившись на стул, она машинально взяла свой инструмент, к которому так привыкла, потом опять отложила его в сторону и начала искать шпильки, которые вместе со шляпой выбросил на лестницу ее любовник; затем, держа их во рту, она принялась закалывать волосы; наконец, утерла слезы и повернулась к Исаковичу спиной.

Очевидно, она собиралась покинуть дом.

Павел тем временем, вонзив ногти в ладони, медленно приходил в себя: все его существо кричало, что в эту минуту, именно в эту минуту надо преодолеть чувство, которое так его тянет к ней. Стоит ему позвать ее, сбежать вниз, помочь ей, сказать, что он здесь, в Вене, что защитит ее, уведет отсюда, что часто вспоминал о ней,— и он погубит себя. Все обнаружится. Надо сначала добраться до русских, потом расспросить г-жу Гуммель и только после этого отыскать бедную женщину, которой явно изменило счастье и у которой нет в жизни настоящего друга.

Она подняла голову и посмотрела в его сторону, словно почувствовала, что там, наверху, в темноте кто-то стоит. Но ее глаза искали не Исаковича, она просто жаждала сердечного участия. Ее лицо поблекло, хотя ей минуло только тридцать лет, тело сделалось дряблым и только длинные пышные белокурые волосы по-прежнему стекали по плечам золотистым водопадом.

Спазма перехватила Исаковичу горло, во рту стало сухо.

Эта женщина, с которой он прожил больше двух ничем не омраченных лет, в ту минуту была ему гораздо ближе и намного дороже, чем г-жа Божич. Он ощущал теперь к белокурой венке бесконечную нежность, которая не только не погасла, но разгорелась сильнее прежнего, хотя они и не виделись несколько лет. Вздрагивая всем телом, он принялся убеждать себя, что надо притаиться, что она, верно, уже совсем погибшее создание и может выдать и его, и его тайну, но чувство нежности росло в нем, и ему так хотелось тихонько позвать ее, окликнуть по имени.

Стоявшая на лестнице женщина представлялась ему в ту минуту такой же родной и близкой, какой была его покойная жена. Но не Евдокия Божич.

Вдруг внизу с шумом распахнулась дверь. Рыжий головастый офицер что-то крикнул, что́ именно — Павел не расслышал, и заплаканная женщина вошла опять в номер, откуда ее перед тем выгнали.

IX

Рядом с ним неотступно шагает лишь его тень

Венский родственник Исаковича банкир Копша, через Агагиянияна, который был мастер на все руки, выхлопотал аудиенцию для Павла в русском посольстве. День, для нее назначенный, был помечен в святцах у православных как день мученицы Евфимии, а у католиков — как день великомученицы Кристины. О той и о другой — так же как и об их муках — знали только по календарю.

Павел Исакович впервые вышел в тот день из своего тайного убежища и ходил по городу словно оглушенный; произошло это как раз после того, как он увидел свою венку с виолончелью. Когда он, между прочим, спросил о ней у г-жи Гуммель, та сказала, что фрейлейн Бергхаммер — просто шушера. Раньше она была актриса-канатоходка, а теперь только дерется со своим chevalier[1] и закатывает ему сцены ревности. Впрочем, она сюда уже не придет. Они уехали в гарнизон. После драки любовь обычно становится горячее.

[1] Кавалер *(фр.)*.

Павел больше о ней не спрашивал, в душе его теперь все пело: «Россия! Россия!»

В те дни общество, в котором мы ныне живем, только начало возникать. Под грохот колониальных войн, восстаний и грозных событий в Индии и Америке, за далекими морями родился Новый Свет, новый для Европы.

Но Исаковичи об этом не знали. Кругозор у них был ограничен. Их соплеменники, служившие в австрийской армии, воевали во многих странах Европы и хоронили своих мертвецов не только в Пруссии, Франции, Италии, но и в Испании и Голландии, однако Исаковичи мечтали только о России, хотя их земляки, уехавшие туда, тоже погибали в пустынях Персии.

Ожидая в тот день приема в русском посольстве, Павел мало-помалу забывал о своей венке, как забывают после похорон об умерших. Копша сообщил ему, что родного отца сербов, графа Бестужева в Вене уже нет. Враги сербского народа добились его перевода в Саксонию.

Для всех находящихся в Вене сербских офицеров отъезд Бестужева был как гром среди ясного неба.

Проливали горькие слезы, раздавались проклятия.

Правда, было известно, что Бестужев очень уж увлекался конспирацией, брал взятки, но кто их не брал в те времена? Однако он никогда не забывал завета Петра Великого и переселил в Россию полковников Хорвата, Шевича, Прерадовича, Иоанна Чарноевича и многих сербских офицеров из милиции Поморавья и Потисья.

Он же выпросил в Петербурге для сербов особую область на Днепре и сообщал из Саксонии, что и в будущем их не забудет! На его место прибыл барон Кейзерлинг, ставший затем, по утверждениям Копши,— графом.

— Этот граф (в те дни еще барон),— говорил Копша,— большая фигура, курляндский немец, раньше он состоял на польской службе. Он силен, надменен и кичлив. Есть у него и секретарь — пруссак, некий Битнер, который нас не любит; про него говорится так: до обеда он ненавидит сербов, а после обеда — весь мир. Чтобы не оказаться в дураках, надо заранее обдумать, о чем с ним говорить, а о чем — нет.

У Павла голова пошла кругом.

— До чего же нашему брату, сербу, не везет,— промолвил он.— После стольких мучений, когда я наконец в Вене, на месте Бестужева сидит немец, а вдобавок еще и пруссак, который нас, сербов, не любит, и это в посольстве Российской империи! Как это понять, кир Анастас?

Агагиянииян только рассмеялся.

Но жалобы Павла ничему не могли помочь.

После полудня, в назначенный час, Исакович вошел в русское посольство в Леопольдштадте в сопровождении Агагиянияна, который вел его словно арестованного. Павел шел набычившись мимо длинного ряда зеркал, поглядывая на свое отражение, и ему казалось, что за ним неотступно следует двойник, проверяя каждый его шаг. От долгого ожидания в полутемной приемной у Павла устали глаза, и ему начало казаться, что кругом никого нет, кроме его собственной тени, которая сопровождала его, когда он проходил мимо какого-нибудь канделябра. Около четырех часов дня Исаковича принял конференц-секретарь графа Кейзерлинга — Волков. Он вместе с первым секретарем, неким Чернёвым, ведал делами сербских офицеров еще в бытность графа Бестужева и продолжал ими ведать после приезда графа Кейзерлинга.

Городская стража еще до аудиенции получила aviso[1] о том, что Paul Edler von Izakowitz (так было там написано) может проживать в Вене и свободно передвигаться, что его бумаги об обставке — действительны.

И все-таки со стороны Исаковича было бы дерзостью появиться в русском посольстве и на улицах Вены в форме des neuerrichteten Illyrischen Husarenregimentes[2].

— Я хочу им всем показать, что не стыжусь своей прежней формы,— сказал Павел Агагиянияну,— а еще больше буду гордиться русской униформой! Но я офицер-серб, и останусь таковым даже в русской армии.

Суетный человек был капитан Павел Исакович!

Агагиянииян, по своему обыкновению, только посмеивался.

— Национальная принадлежность,— сказал он,—

---

[1] Письменное уведомление *(ит.)*.

[2] Вновь сформированного Иллирийского гусарского полка *(нем.)*.

особого значения для большого света не имеет. Иное дело — деньги и бриллианты.

Главное, прибавил он, для Исаковича сейчас не растеряться и попросить повысить его в чине! Так поступали все сербские офицеры. Однако Павел даже не слышал, о чем говорит ему молодой армянин, и был точно во сне.

В те времена русское посольство находилось в Леопольдштадте и занимало небольшой особняк в стиле барокко, среди роскошного платанового парка с великолепными широкими воротами, где могли разъехаться два экипажа. У ворот посетителей встречал привратник-швейцарец, весь в серебре и золоте, а на лестнице — лакей. Канцелярия конференц-секретаря посольства помещалась на втором этаже. Исаковичу почудилось, будто его провели сквозь стену: там, в голубой нише, возвышалась статуя Венеры, державшей руку на пупке.

Когда же он вошел к Волкову, ему показалось, будто в комнате совсем темно.

В ту пору в русском посольстве для приема переселяющихся в Россию сербских офицеров был установлен определенный порядок. При графе Бестужеве в переписке с венскими властями они именовались не австрийскими, а русскими офицерами, получившими разрешение переселиться в Россию. Когда Бестужев заявлял протест в канцелярии двора по поводу задержанных или арестованных офицеров-сербов, он обычно так и называл их — не австрийскими, а русскими офицерами. Так продолжалось какое-то время и при графе Кейзерлинге.

В русском посольстве в соответствии с этим сербских офицеров принимали и внимательно выслушивали. Согласно установленной процедуре действовал и Чернёв, но держал он себя с ними довольно резко.

Конференц-секретарь Волков был мягче. Ему была поручена переписка с черногорским владыкой Василием, который, проезжая через Вену в Россию, обратился с просьбой о переселении в Россию всей Черногории!

Сбитый с толку, усталый, разочарованный и огорченный Исакович молча вытянулся перед Волковым, точно на смотре перед Гарсули; при этом Павел разглядывал зеркала, гобелены, большой версальский стол, гардины на окнах, видневшиеся в них кроны платанов

и сидящего за столом человека в парике, который, не поднимая глаз, что-то писал.

Это был плотный и коренастый, как медведь, мужчина во французском платье. Губы у него дергались.

Наконец, сложив исписанный лист, он протянул его лакею и громко крикнул, словно тот был далеко:

— Ашу!

Барон Аш был помощником первого секретаря посольства Чернёва.

Когда Волков встал, Исакович увидел, что он — крупный и еще молодой человек, когда же он снял парик, оказалось, что волосы у него светлые как солома, а глаза зеленые и добрые. Улыбаясь, он вежливо подошел к Исаковичу и сказал: «Хорошо! Хорошо!»

Павел его не понял.

— Я забыл,— спохватился Волков,— что вы не понимаете по-русски. Агагияниян мне говорил, что вы знаете немецкий. И потому на немецком языке я объявляю, что вам, капитан Исакович, беспокоиться нечего. Pass [1] для переселения получат все, кто внесен в список Шевича, никто сейчас этого запретить не может. Разве только канцелярия двора докажет, что генерал, подписавший вам отставку, не имел на то права! Однако, надо надеяться, что подобного не случится. Комендатуры в Осеке (Волков сказал: «Essege») и Темишваре получат копии вашего паспорта.

Волков говорил по-немецки хорошо, но с каким-то присвистом — у него были очень острые резцы,— и Павел не сразу его понял. Он глядел во все глаза на французский фрак конференц-секретаря, на его могучие толстые икры, обтянутые шелковыми чулками, и особенно — на белый жилет с бриллиантовыми пуговицами. Исакович представлял себе русских совсем другими.

Согласно процедуре, которой придерживались секретари посольства при опросе сербских офицеров, Волков спросил, какие причины побуждают капитана Исаковича переселяться в Россию.

Павел уже пришел в себя и начал свой пространный рассказ с того, как сербы в битве при Косове потеряли свое царство, как погиб царь Лазар, как Милош зарубил Мурата, как они, Исаковичи, перешли в Австрию и

---

[1] Паспорт *(нем.)*.

— Хорошо. Хорошо.

Исакович не понял. А секретарь, глядя ему прямо в глаза, снова попросил коротко и ясно ответить, когда именно он решил ехать в Россию.

— Когда сирмийских гусар перевели из конницы в пехоту,— заорал Павел.— Когда кончилась война. Не хотим мы идти в пехоту!

— Вот это-то,— сказал Волков смеясь,— я и хотел услышать. Об этом говорили и другие офицеры, ожидающие в Вене паспортов. Вы правы. А что если сербов в России направят в пехоту? За такие дела, которые вы здесь натворили, в России строго наказывают. Там прибегают и к усекновению языка, а кое-кого за непослушание ссылают в Сибирь.

— Шевич записал нас в гусары,— побледнев, закричал Исакович.— Но все равно я предпочитаю шлепать по лужам в России, чем вернуться в Темишвар и просить пардона. Не смогу я смотреть в глаза своим людям, которых вывел из Сербии, когда они станут пахать господам землю и корчевать в лесу деревья. Живым я в Темишвар не вернусь, еду в Россию и никогда от этого не отрекусь.

Волков спросил у Павла, все ли сербы, с позволения сказать, такие же сумасшедшие. Все ли они такие?

Исакович ответил, что все сербы в подобных делах держатся одного мнения. На Россию они смотрят как на своего покровителя и уехали бы туда все, если бы только могли. Россия — их единственная надежда. Иного покровителя у них нет в целом свете.

Волков опять стал ходить перед Исаковичем и снова спросил, много ли понадобится паспортов для слуг, много ли будет лошадей, повозок? Павел помолчал, не зная, надо ли говорить, что они, Исаковичи, теперь обеднели и уже не ездят как графы.

— С нами,— сказал он,— поедут жены, дети и несколько старых слуг, которых мы не можем оставить. Приблизительно человек двести. Но коли могли бы, двинулись бы целые села!

— Если речь зайдет об этом,— заметил Волков,— то, представляясь новому послу, вы о том помалкивайте. Скажите только об офицерах. Однако я хочу спросить вас еще кое о чем. Если Австрия действительно преследует православных и гонит их из армии, чтобы заселить венгерские поместья и превратить сербов в крепост-

ных, и если, наконец, столько людей хочет переселиться и не может найти тут себе покоя и кровли над головой, то с какой стати ваш митрополит не одобряет этого переселения? Почему митрополия подкапывается в Вене под тех, кто хочет переселиться? Обвиняет Шевича в неуплате каких-то долгов, возводит напраслину на Прерадовича? Почему по ее наветам бросили в тюрьмы нескольких офицеров?

Павел сказал, что это не должно удивлять господина Волкова. Ему, Павлу, известно, что митрополит заточил владыку черногорского в Крушедольском монастыре, а ктитор (Исакович сказал: «Inhaber» [1]) — родич Исаковичей. Ему известно и то, что в Вене находится экзарх митрополита (Исакович сказал: «unser Nazionalkanzler» [2]), который пишет на сербских офицеров доносы. Митрополия считает, что отказываться от Австрии не следует, достаточно того, что народ перешел из Сербии в христианскую землю и незачем ему переселяться в далекую незнакомую страну, продавая за бесценок дома и скот (Исакович сказал: «unsere Kuh! und Ochsen» [3]). Митрополия считает также, что в Австрии жить им скоро станет лучше.

Волков заметил, что церковь рассуждает здраво.

А Исакович в ответ закричал, что церковникам, этим угодливым, вкрадчивым и не обремененным семьею людям, рассуждать так проще простого. Они-то, может, и лелеют какую-то надежду, но для солдат и офицеров таковой в Австрии нет. Австрия высосала из них всю кровь и бросила. Здесь нет для них больше места. С этим согласны все офицеры, и все бы уехали, будь тут сейчас Бестужев.

Волков мягко заметил, что капитану незачем беспокоиться обо всех сербах, русское посольство будет о них заботиться и после отъезда Бестужева, потом спросил, думают ли солдаты так же, как офицеры.

Павел сказал, что офицеры и солдаты — одна семья, все они родичи, кумовья и земляки-ландсманы, сказал Павел. И все готовы переселиться в Россию.

— Что значит Landsmann? — спросил конференц-

---

[1] Содержатель *(нем.)*.
[2] наш национальный канцлер *(нем.)*.
[3] наших коров и быков *(нем.)*.

секретарь.— Слуга, мужик, мужчина? Может, Landsbesitzer? [1]

— Это соплеменник, земляк, человек из того же села, который бывает порою милее родного брата,— объяснил Исакович.

— Все это очень интересно,— сказал Волков,— но русское посольство с сербами уже немало натерпелось. Вот, скажем, сейчас в России они бог знает что творят. Здесь сербы говорят, что жить в Австрии им невыносимо, а приехав в Россию, выражают недовольство и там. Требуют повышения в чине! С ними очень трудно. Беда еще в том, что каждый хочет быть лучше других. Я считаю, что главный порок сербов — зависть!

Павел, поглаживая усы, заметил, что с ними, Исаковичами, все будет проще. Им безразлично, какие чины даст им Россия: едут они туда не за чинами, не за порционными деньгами, они едут воевать вместе с овеянными славою русскими полками. Об одном он только просит для себя и для братьев, пусть им и впредь позволят служить в кавалерии, а не в пехоте.

Волков снова воскликнул:

— Хорошо! Хорошо! — И добавил, что посольство сообщит Военной Коллегии в Петербург, что Исаковичи, переселяясь, не просят ничего, кроме права с честью воевать и, если надо, погибнуть! И надеются, что за храбрость их удостоят ордена святого великомученика Георгия Победоносца.

Когда Волков произнес эти слова, Павлу показалось, что тот, глядя на него в упор, насмешливо улыбается.

Приосанившись, Павел объявил, что его высокоблагородию не следует удивляться. Сербия — страна горная, в ней люди дышат чистым воздухом. Мать говорила ему, что никто из Исаковичей ни разу не согнул шеи перед турками. Словом, не он один хочет уехать в Россию. А в Австрии, этом христианнейшем царстве, где на поверку нет христианства, царят только ложь, лицемерие, насилие да несправедливость.

Волков, глядя на него, стал серьезен.

— Твердо ли ваше намерение? — спросил он еще раз.— Не раскаетесь ли вы потом, ведь и здесь можно неплохо жить? Австрия обещает пожаловать дворянство и дать поместья тем офицерам, которые откажутся

---

[1] Земельный собственник *(нем.)*.

от переселения. Словно грибы после дождя, плодятся ныне измененные сербские фамилии: «Де Йовановичи, де Прерадовичи, де Руничи, де Божичи. И потому в актах и прошениях теперь сплошная путаница. Неразбериха царит и в переписке нашего посольства с австрийскими властями: скажем, мы называем кого-то «Штерба», а австрийцы — «Чорба», и трудно сказать, один и тот же это человек или нет?

Павел сказал, что Штерба — его родственник, и он его хорошо знает.

— Впрочем,— продолжал он,— пишите нас как угодно, мы хотим остаться офицерами и умереть в бою, не желаем мы кончить жизнь в постели, не желаем превращаться в купцов, лавочников или славонских синдиков.

Волков смеясь заметил, что ему нравятся Исаковичи, что такие люди ему симпатичны. Говоря по-русски, они ему по душе! Правда, венгры еще приятнее — они веселее! Но если Исакович позволит, он хочет задать еще один вопрос: не замешана ли тут несчастная любовь? Какая-нибудь женщина с красивыми глазами и стройными ножками? Не потому ли Исаковичу вдруг приспичило ехать в Россию?

Волков невольно перешел на русский язык — так, по крайней мере, рассказывал потом Павел своим братьям. Вздрогнув, Павел ответил, что он вдовец, что в прошлом году у него умерла при родах жена, с которой он был счастлив, что снова жениться он не собирается, женщины его мало занимают.

Второй секретарь подбежал к Исаковичу и по-русски воскликнул:

— Не грустите, капитан, о прошлом! — А когда увидел, что Павел не понимает, добавил уже по-немецки: — Не следует возвращаться в прошлое. (Волков сказал: «Nein, du nicht hoffnungslos! Grübeln nicht gut!»[1])

Волков так и сиял, подходя к Павлу, казалось, он вот-вот его обнимет. Глаза секретаря весело смеялись. Он сказал, что его тоже постигло в прошлом году большое горе: умер отец. Однако нельзя же вечно грустить! И снова повторил:

— Ну же, капитан! Не грустите о прошлом!

---

[1] Не так безнадежно! Нехорошо ломать себе голову! *(нем.)*

Увидев, что лицо Исаковича мрачнеет, Волков подошел к нему, обнял и сказал:

— Приходите завтра или послезавтра. Надеюсь, капитан, мне удастся представить вас послу. А сейчас гуляйте себе спокойно по Вене! Никто не посмеет вас и пальцем тронуть. Отныне вы находитесь под защитой императрицы Елисаветы и русского посла при австрийском дворе. К тому же Агагиянииян получил распоряжение всюду сопровождать вас и не терять из виду.

Потом Волков подошел к столу и снял с письменного прибора колокольчик.

Вошедший лакей проводил Павла вниз по мраморной лестнице и по саду, до самых ворот; в саду было тенисто и прохладно, хотя на дворе стояла жара.

Павел шагал набычившись. Он устал так, словно мчался без отдыха из Срема до самой Вены на бешеном коне. И не заметил даже ожидавшего его у ворот Агагиянияна.

Привратник посольства подошел к капитану и спросил, где Ihro Gnaden[1] оставил экипаж? Исакович посмотрел на него, словно пробудившись ото сна, ничего не ответил, повернулся и пошел дальше, даже не взглянув на молодого армянина, который удивленно таращил на него глаза.

Молча выйдя на улицу, Исакович опустил саблю ниже, так, чтобы она волочилась по мостовой. Для Вены это было внове. Прохожие оглядывались на него. А капитан шел вразвалку, как в те времена обычно ходили сирмийские гусары.

X

Все связи между живыми и мертвыми прерываются

Весть о предстоящем приеме Исаковича графом Кейзерлингом вызвала большую радость не только в доме банкира Копши, но и в трактире «У Ангела».

Трактир в то время был битком набит отставными сербскими офицерами из австрийской пограничной милиции, приехавшими в Вену хлопотать о русском паспорте.

[1] Его милость *(нем.)*.

Отъезд русского посла графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, брата всемогущего петербургского канцлера, поразил этих несчастных и их семьи как гром среди ясного неба. К тому же кое-кого из сербских офицеров вскоре арестовали и посадили на гауптвахту, а кое-кого, по слухам, даже отправили в Грац на Замковую Гору в Шлосберг,— а это означало быть заживо погребенным. Из тюрьмы-крепости на горе, над Грацем, редко кто возвращался живым.

Победоносно закончившиеся в середине XVIII века войны отбросили мусульман далеко от Вены. И Турция смотрела сейчас на далекие земли Австрии и Европы лишь из одного окна — из белградской крепости Калемегдан.

Правда, турецкие войска еще судорожно цеплялись за берега Черного моря со стороны Российской империи, но барабаны янычар умолкли и там. Порыжели и развевающиеся знамена турецких пашей — и не от крови, а от дождей и ветров. Мусульманский Восток не имел больше той армии, с которой можно было перейти Дунай.

И хотя турецкий полумесяц уже не вздымался неподалеку от стен Вены, а мирно светил на спокойной глади далекого Босфора, австрийская императрица все же не могла спать спокойно. Прусский король Фридрих II — этот, по мнению Марии Терезии, дьявол в человеческом образе — стал ее смертельным врагом. Он являлся ей во сне в черной прусской форме с французской треуголкой на голове и смотрел на нее своими большими, жуткими, почти безумными светло-голубыми глазами.

Магометанский Восток после долгих войн воцарился теперь на сцене — в опере и комедии, а вместо него на поле боя выступил против Габсбургов новый, гораздо более страшный враг — их сосед.

За карточный стол уселся с русской и австрийской императрицами, с английским и французским королями новый партнер, уселся, чтобы сыграть с ними роковую партию в фараон. В этой игре на карту ставили и проигрывали целые страны, и сотни тысяч солдат погибали на заснеженных полях, превращались в окровавленные трупы. А русских раненых солдат, чтобы сократить их число в будущих боях, враги закапывали в землю живьем.

Этому прусскому королю на коне и в сапогах выше колен ни разу не удалось обольстить и очаровать императрицу Марию Терезию — он был ей физически противен. Как бывают противны добродетельной женщине-матери мужчины определенного сорта,— а ведь Мария Терезия родила шестнадцать детей. И поэтому войны между Австрийской империей и Пруссией были еще ожесточеннее войн с Турцией.

Это были уже не войны за какие-то далекие балканские земли и не борьба за Венгрию. Дело шло о власти самой императрицы, о границах Австрии, о ее месте в Европе.

Спасение Австрии зависело теперь от созданной заново Петром Великим русской армии, которую он оставил в наследство своей дочери, императрице Елисавете. Союз с Россией стал теперь краеугольным камнем в политике Марии Терезии.

Вот почему австрийскому двору приходилось, елико возможно, терпеть в Вене и самого русского посла и его дерзости.

Что же касается норовистого схизматического сербского народа, то он с его патриархом, монахами, попами и конницей был нужен Австрии лишь до той поры, пока шли турецкие войны. Вместе с хорватами сербы обагрили своей кровью все южные земли империи и усеяли своими костями всю Европу. Лет двадцать тому назад, во время войн с Турцией, в австрийской армии насчитывалось свыше восьмидесяти тысяч человек, из них более половины составляли сербы.

Те времена, однако, уже миновали.

Теперь в южных землях империи надо было навести порядок, заселить опустевшие края, высушить болота и плавни, утихомирить и превратить в землепашцев тысячи отпущенных домой сербских солдат. А когда некоторые полки стали бунтовать и требовать разрешения переселиться в Россию, в дворцовой канцелярии Вены посчитали, что становиться на их пути не следует. Пусть себе идут с богом.

Первые паспорта для полковников Хорвата, Шевича, Прерадовича, Черноевича и пятидесяти офицеров с несколькими сотнями переселявшихся вместе с ними людей Бестужев получил легко. Паспорта эти были выданы Военным советом при австрийском дворе.

В одном из рескриптов Елисаветы Бестужеву читаем:

«Когда дело до того дошло, что венский двор самопроизвольно лишает себя храброго сербского войска, то нам следует прилежно стараться, чтобы его себе приобресть».

Киевский генерал-губернатор Леонтьев рассчитывал осенью 1751 года сформировать из сербских эмигрантов два гусарских, два пандурских и два пехотных полка. И только когда в банатском Потимишье стали записываться для выезда в Россию целые села, в Вене забили тревогу. А когда в Темишваре и Сомборе были схвачены тайные русские эмиссары, во дворцовой канцелярии поднялась паника. Австрийский канцлер, барон Улефельд, пожаловался Марии Терезии на то, что русский посол, граф Бестужев, за всю зиму ни разу не пожелал его посетить. Мария Терезия 11 марта 1752 года издала указ, в котором повелевала раз и навсегда покончить с переселением сербов в Россию. Шесть русских офицеров сербского происхождения, якобы по делу прибывших из России в Вену, были в конце мая того же года задержаны и высланы.

Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения графа Бестужева. Обер-хофмейстеру императрицы Елисаветы нечего было больше делать в Австрии. Его брат, всемогущий канцлер, перевел графа послом в Саксонию.

После этого сановники венской дворцовой канцелярии решили, что сербы наконец-то брошены Россией на произвол судьбы.

Но они ошиблись.

Как раз в эти дни доверенное лицо семейства Исаковичей в Вене, банкир Копша, и Агагияниян переселили Павла в трактир на Ландштрассе, который сербские офицеры называли просто «Ангелом».

Трактир этот для переселявшихся сербских офицеров был сущим раем. Исаковичу отвели там весьма скромную комнатушку окнами во двор, висевшую над самыми воротами: стены и пол в ней тряслись, когда во двор въезжали или со двора выезжали постояльцы.

В ней отставной капитан недавно сформированного Иллирийского гусарского полка Павел Исакович ожидал приема у русского посла графа Кейзерлинга, каждый день наведываясь в Леопольдштадт.



Забот у Исаковича было по горло.

В те времена белье в трактирах стирали только два раза в год, а запасной смены у Павла не было. Офицеры же тогда носили сорочку с кружевным жабо. Так что стоило немалого труда содержать ее в чистоте.

Судя по его собственному письму из Вены, Исакович был наконец принят русским послом в день великомученика Афиногена (у папежников — девы Юлии) по старому календарю шестнадцатого, а по новому — двадцать девятого июля.

Была среда.

Над Веной нависли тучи. Погромыхивало. Было душно.

Граф Кейзерлинг, который при дворе Марии Терезии считался persona grata, не был склонен продолжать политику Бестужева. Вопрос о переселении сербской милиции казался ему второстепенным. Он опасался, что это может испортить хорошие отношения между русским и австрийским дворами. Однако этого образованного и высокомерного человека весьма занимали — еще в пору его пребывания в Польше и Саксонии — вопросы религиозные. Конференц-секретарь посольства Волков заинтересовал его «австрийским вариантом», и Кейзерлинг решил лично повидать нескольких жалующихся на Австрию сербских офицеров-схизматиков.

Но то было лишь мимолетное любопытство, праздная забава, как у наблюдающего за мотыльком прохожего.

Когда в упомянутую среду Волков появился с Исаковичем в дверях кабинета посла, тот уже собирался уходить и стоял перед зеркалом.

Исаковича ослепила роскошная обстановка, зеркала и огромные французские окна, сквозь которые видны были зеленые кроны каштанов, и он сконфуженно поклонился послу — вернее его двойнику в зеркале. Кейзерлинг стоял поодаль, опершись коленом о кресло, и прикалывал к груди только что полученный австрийский орден.

Волкову пришлось повернуть Павла лицом к графу и держать капитана за рукав,— иначе Исакович подошел бы к послу и поцеловал ему руку. Конференц-секретарь громко, с расстановкой назвал имя Исаковича и его чин в армии.

Кейзерлингу в ту пору шел пятьдесят седьмой год. Он был родом из Курляндии и казался настоящим северянином и вместе с тем походил на мечтателя и моряка с задумчивым и снисходительным выражением лица. Его большие глаза цвета морского песка холодно смотрели на Исаковича. Мясистый большой нос и двойной, выдающийся вперед подбородок говорили о том, что он любит поесть и немало времени проводит за столом. Губы у него вздулись и огрубели, словно от множества грозных приказов.

Грубость его породистого лица подчеркивал огромный, обязательный в ту пору парик.

Спустя много времени Павел рассказывал братьям, что ему показалось, будто посол похож на бритого льва. А поскольку в семействе Исаковичей львов видели только на иконах в церкви, то каждый представлял себе Кейзерлинга на свой манер — так, как рисовала ему собственная фантазия.

Павел еще сказал, что посол чем-то напоминал Гарсули.

Кейзерлинг в тот день надел долгополый версальский фрак голубого бархата, украшенный орденами и бриллиантами, короткие панталоны из белого шелка, обтягивавшие его сильные ноги, и открытые туфли с серебряными пряжками. Он вовсе не был сердито настроен. Как все немцы на русской службе, он держал себя высокомерно, но, как человек воспитанный и не лишенный ума, он на первых порах был любезен. Исакович был для него мелкой сошкой, и визит сербского офицера, происходивший в обычный будний день, в самом начале дипломатической деятельности графа в Вене казался ему малозначащим.

У Кейзерлинга было немало более важных дел, чем сербы.

Пока Исакович кланялся, посол милостиво помахал ему рукой, в которой держал длинные перчатки, почти такие же огромные, как и его отвернутые, шитые золотом рукава, и с удовольствием смотрел некоторое время на статного, красивого офицера. Потом, обернувшись, сказал, что поздравляет его с тем, что отныне он — офицер императрицы Елисаветы Петровны. Желание капитана, прибавил Кейзерлинг, исполнилось. Сейчас он под защитой, под надежной защитой русского двора и беспокоиться ему больше не о чем.

Эти фразы, которые говорил обычно, принимая сербских офицеров, его предшественник, повторял теперь и Кейзерлинг, считая их весьма подходящими. Разумеется, в тех случаях, когда он хотел выказать милость.

Потом он обошел большой письменный стол с мраморной доскою и уселся.

Тогда Волков тихо и угодливо пояснил послу, что капитан Исакович, к сожалению, по-русски не говорит. Кейзерлинг поглядел Павлу прямо в глаза и рявкнул по-немецки:

— Научится! Научится! И получит паспорта для себя и для своих братьев! Все, кто внесен в список генерала Шевича и до сей поры скитается по Славонии, получат паспорта. Делается это с разрешения австрийского двора и императрицы Марии Терезии, которой сербы должны быть благодарны. А теперь, капитан, сознайтесь,— продолжал посол,— верно ли то, что вы сказали конференц-секретарю, будто все сербские офицеры уехали бы из австрийской армии в Россию, если бы им только позволили?

— Все! — подтвердил Исакович и добавил: — А вместе с ними двинулись бы и целые села!

— Этого я у вас не спрашивал! — прервал его Кейзерлинг и на мгновение вперил свой хмурый взгляд в Исаковича. Потом встал, подошел к зеркалу, прислонился к мраморной доске камина и, глядя Павлу в глаза, спросил: — Капитан, вы бывали когда-нибудь в Черногории?

— Nein, gnädigster Graf! [1] — удивленно ответил Исакович.

Кейзерлинг улыбнулся и сказал:

— Дело идет о том, сможете ли вы, капитан Исакович (посол произнес: «Изаковиц»), найти с черногорцами общий язык, если вас к ним пошлют? Сможете ли вы выведать, о чем сейчас говорят, что думают и что чувствуют черногорцы? Завоевать их доверие?

Граф умолк, видимо ожидая ответа, и Павел смущенно сказал, что они, сербы и черногорцы,— одна семья.

Кейзерлинг снова улыбнулся и добавил, что пору-

---

[1] Нет, милостивый граф! *(нем.)*

чает капитану выполнить важную доверительную и весьма деликатную миссию.

— Черногорский владыка Василий (Кейзерлинг сказал: «Bischof Basilio»), отправляясь в Россию, утверждал, что он, мол, переселит туда всю Черногорию; он якобы оставил многих своих людей в Триесте и коекого из его родичей задержали тут, в Вене, австрийские власти. Говорят, будто черногорцев много на Адриатическом побережье. И все они переселяются в Россию. А тех, кто прибыл сюда, в Вену, держат в карантине — в лазарете на Дунае. Дело это весьма неприятное. Вам, капитан, следует познакомиться с этими людьми, узнать, кто поднял их с насиженных мест и что намерен делать владыка Василий в России со своими родичами. Много ли в Черногории сторонников и противников у владыки Василия? Узнайте, что этот монах (Кейзерлинг сказал: «alberner Mönch» [1]) сулит своим людям, а главное, побывал ли владыка Василий здесь, в Вене, у венецианского посла Корнера или нет? Посольский священник утверждает, что не был, а некий Агагияниян говорит, что был. Ваша задача, капитан, узнать правду. Конференц-секретарь рекомендовал именно вас, и сейчас вам предоставляется возможность выказать свое усердие перед русским двором и передо мною лично. Понятно? — закончил граф.

Досточтимый Исакович словно онемел.

Потом собрался с духом и по-немецки объяснил, что для таких дел он не пригоден и хочет как можно скорее уехать в Россию.

Граф крикнул, что о том, кому и какое поручение следует выполнять, мнения капитана не спрашивают.

— Делайте, что вам приказано! То, что я сказал!

Увидев, что Исакович уже открывает рот, чтобы возразить, Кейзерлинг свирепо заорал:

— Капитан, пока не поздно, зарубите себе на носу, что в армии императрицы Елисаветы Петровны младший по чину не спорит со старшим, а говорит: «Слушаюсь!» — и выполняет приказ.

Кейзерлинг громко выкрикнул слово: «Слушаюсь!»

Сбитый с толку и перепуганный, Исакович невольно повторил за ним: «Слушаюсь!» Тогда граф милостиво улыбнулся и сказал, что подробности ему объяснит

---

[1] глупый монах (*нем.*).

конференц-секретарь Волков, он же устроит и все остальное. И если капитан хорошо выполнит поручение, в чем он, Кейзерлинг, не сомневается, после всего того, что слышал о нем от господина Волкова, то награда ему обеспечена. А имя Павла Исаковича будет окружено почетом.

Последнюю фразу граф Кейзерлинг произнес уже тихо, но напыщенно.

Павел молчал, словно его оглушили.

Потом он почувствовал, что Волков тянет его за рукав, и понял: аудиенция окончена. Низко кланяясь, как положено, оба, пятясь, вышли из гостиной.

В коридоре Волков прыснул в кулак и сказал, что до сих пор никто и никогда послу еще не перечил. Миссия, порученная капитану Исаковичу,— знак большого доверия, а он, Волков, все подготовит, как надо. Если дело удастся, капитан уедет в Россию с рекомендацией самого графа Кейзерлинга, уедет с триумфом. Русскому послу надо во что бы то ни стало узнать, встречался ли тут, в Вене, владыка Василий с венецианским послом.

Исакович, бледный и словно онемевший, спускался вместе с Волковым по лестнице.

Конференц-секретарь, идя рядом с ним, весело спросил, где он проводит вечера, бывает ли в обществе и что намерен делать нынче вечером: играть в карты, ужинать в дамском обществе, либо же пойдет в театр смотреть на скоморохов, или, быть может, станет любоваться фейерверком.

Исакович слабым голосом невнятно пробормотал, что в Вене он никого не знает, в театр не ходит и в жизни не видел скоморохов, а ужинает он один, у себя в трактире.

— Неужели у вас никого нет в Вене? — спросил Волков.

Павел ответил, что знает тут только банкира Копшу, но вдруг вспомнив, прибавил, что по пути в Вену он познакомился с одним своим земляком, его женою и дочерью.

Волков стал расспрашивать, кто эти его землячки и красивы ли они. Исакович сказал, что все его землячки красивы. Уродливых среди сербских женщин почти нет.

— Хорошо бы нам с этими дамами поехать за город, в поле или в лес,— сказал Волков, оживляясь.— Потанцевать там, попеть песни!

Исакович в ответ на это лишь угрюмо буркнул, что он не танцует и не поет.

— Мы, посольские служащие,— продолжал конференц-секретарь,— знакомы со многими дамами из высшего венского общества, но все они очень скучные. Высшее общество веселым никак не назовешь. Конечно, в Вене есть прелестные девушки, но только среди низших сословий. Хорошо было бы, капитан, познакомить чиновников посольства с вашими землячками. Можно было бы устроить веселую вечеринку или пикник. Об устройстве такого пикника заботиться не надо. Для таких дел есть у нас преотличный человек, господин Агагиянииян. Я пригласил бы ваших знакомых на маленький fête champêtre[1] где-нибудь в рощицах Каленберга! Могло бы получиться нечто весьма приятное! Все связи между живыми и мертвыми прерываются. Вы, капитан, чтите память покойной жены, но нельзя же из-за этого отказываться от жизни, от других женщин, ото всего на свете. Назовите мне только имена ваших земляков, а все прочее сделает Анастас.

Павел сказал, что это — майор Иоанн Божич, его жена Евдокия и дочь Текла.

Волкова это развеселило еще больше.

— Не следует,— сказал он,— сердиться на Кейзерлинга. У него много дел. И к тому же он нынче получил неприятные вести из Петербурга. Капитан,— продолжал Волков,— вам надо действовать осторожно, никому не говорить об этом поручении, быть немым как могила. Мы, секретари посольства, живем все вместе, вместе ходим и в город поразвлечься. А это очень скучно. Ведь нас здесь пятеро. И вот, встретив хорошенькую женщину, мы сами не знаем, как нам поступить, чтобы не обидеть друг друга. Мне весьма любопытно поглядеть на ваших знакомых. Говорят, будто сербы вечно на что-то сетуют, жалуются, вечно кого-то бранят. Негоже так! Надо вам жить, как живут венгры. Весело. И без озлобления.

Когда Исакович прощался с конференц-секретарем, лицо его выражало досаду, как и после аудиенции у Кейзерлинга. И все-таки у ворот посольства, узнав, что у капитана нет в Вене собственного экипажа, Волков предложил ему свою карету. Пусть, мол, капитан пока пользуется ею. У посольства несколько карет.

[1] Пикник *(фр.)*.

Исакович начал было отказываться, но в конце концов уселся в вызванную привратником карету конференц-секретаря. Волков на прощание обнял Павла за талию и повторил:

— Не грустите о прошлом!

Возвращаясь в тот день к себе в трактир, Исакович торжественно проехал мимо караульного офицера. Тот его приветствовал. Потом Павел, словно важная особа, проследовал через ворота военной тюрьмы по улицам, ведущим к Флейшмаркту, мимо освещенного солнцем Грабена и укрытого густой тенью дворца графа Хараха, а затем мимо дворца принца Лобковица. Павел знал, что где-то тут живет и Гарсули.

Его карету не только приветствовали военные посты, но в нее ласково заглядывали и ехавшие на Гюртель вéнки. Небо прояснилось, гроза миновала, туча прошла стороной, не пролив на землю ни капли дождя.

Следуя в веренице экипажей, выезжавших по обычаю того времени на прогулку, Павел угрюмо поглядывал на этих ослепительных женщин. Разодетые светские дамы и красотки полусвета улыбались ему, а его все больше охватывало раздражение. Когда карета русского посольства, запряженная белыми красавцами рысаками, покатила по одной из мрачных и узких улочек, Исакович вспомнил Божича, рассказывавшего о том, что Вена — огромный город с изысканным обществом и красивыми женщинами, но там никто не умирает от любви. Гораздо чаще венки и венцы умирают от несварения желудка, нежели от несчастной любви, а тем паче от тоски по умершей жене или покойному мужу.

У сербских офицеров, живших в трактире «Ангел» в ожидании паспортов для переселения в Россию, прием Исаковича русским послом вызвал бурное веселье. Весть о том, что русский посол уже принял одного из них, а значит, примет и всех прочих, была встречена этими несчастными как праздник, который следовало отметить пушечной пальбой.

Все они горевали об отъезде из Вены родного отца сербов, графа Бестужева, и первая аудиенция у нового русского посла стала для них и первым лучом надежды после Косова. Лучом солнца, пробившимся сквозь решетку тюрьмы.

Приподнятое настроение отчаявшихся офицеров, чье будущее все еще было туманным, омрачалось лишь

упорным молчанием Павла. Он только повторял, что паспорт получат все, кто внесен в список генерала Шевича, и этому не сможет помешать даже сотня таких проходимцев, как Гарсули.

В июле того же года в упомянутом трактире жило немало офицеров из Темишвара, Славонии и Срема, ожидавших паспортов. Все они получили отставку, их как положено отчислили из австрийской армии. Среди них были капитан Гаврило Новакович, лейтенант Георг Новакович, его благородие капитан Петр Вуич, лейтенант Макса Вуич, капитан Никола Штерба, лейтенант Суббота Чупоня, лейтенант Джюрка Гаич, лейтенант Михай Гайдаш, капитан Неца Рунич и многие, чьи имена теперь уже неизвестны.

Ко всем этим уволенным из австрийской армии офицерам приходили земляки, еще не получившие отставки, но уже с нетерпением ожидавшие паспорта. Среди них встречались и молодцы, которые двинулись в Россию через Вену на свой страх и риск. Одни ночевали в трактире у своих земляков, другие — в соседних домах. Агенты городской стражи рыскали во мраке, разыскивая их. Кое-кто был арестован. А когда схватили и посадили в венский каземат полковника Райко Прерадовича, многие потеряли всякую надежду когда-нибудь увидеть Россию.

Люди разбежались и попрятались кто куда.

В Вене ширились слухи, из уст в уста передавали, будто русский посол предал сербов.

Вдобавок ко всему экзарх митрополита Ненадовича всячески старался задержать в Австрии этих доведенных до отчаяния людей.

И притом не выбирал средств.

А хуже всего было то, что и сами земляки-побратимы, поссорившись, случалось, писали друг на друга доносы.

Вот почему надменного, дерзкого и высокомерного Исаковича и возненавидели в трактире «Ангел», словно он был родичем Гарсули.

К тому времени в доме майора Божича капитана Исаковича уже не ждали и даже почти не вспоминали о нем. Первые несколько дней Текла удивлялась, отчего он не приходит, но вскоре и она умолкла. Послала

только письмо госпоже Фемке Трандафил, в котором недоумевала, что произошло с Павлом.

Евдокия тоже перестала ждать капитана.

После возвращения в Вену и ареста мужа она чуть не каждый день бегала в Нейштадт к генералу Монтенуово хлопотать о том, чтобы Божича не увозили в Грац или Шлосберг, откуда возврата уже не было.

А вернувшись домой, терзалась сомнениями и спрашивала себя, не лучше ли ей бросить мужа и уехать к отцу, в Буду. Ведь Божич срамит ее как только может. Об Исаковиче она все-таки расспрашивала в трактире «Ангел», но тогда его еще там не было. И жившие в трактире сербские офицеры ничего о нем не знали.

Так проходили дни.

А по ночам, когда Евдокия без сна лежала в постели, ее трясло как в лихорадке. Она не могла забыть ночь, проведенную с Павлом Исаковичем, этим сильным, молчаливым, но страстным красавцем. И ей так хотелось опять заснуть на его руке.

А когда дочь за обедом или за ужином вспоминала о капитане, Евдокия изо всех сил старалась не заплакать, не покраснеть и, притворяясь безразличной, рассеянно отвечала, что этому статному, красивому, но слишком уж простоватому человеку только напрасно улыбнулось счастье. Он не сумел его удержать и выпустил, как ребенок выпускает птицу из клетки.

— Он бестолковый человек,— говорила Евдокия.— Вдовец, влюбленный в свою покойную жену. Да и в голове у него не все дома.

Текла же только посмеивалась над матерью.

— По-моему,— говорила она,— ты просто на него сердита и потому все преувеличиваешь. А ведь Исакович не такой, как прочие твои ухажеры. Он совсем как Иосиф Прекрасный, которого хотела обольстить жена Потифора. А ты, милая мама, пренебрегла таким человеком, не разглядела, что в тихом омуте черти водятся.

А когда Евдокия однажды прикрикнула на дочь и сказала, что та болтает глупости, что она не смеет так разговаривать с матерью, Текла в ответ заметила, что Исаковича следовало привязать к себе силой. Он человек слабохарактерный. Такие женщин не выбирают. Их самих выбирают. И получит его та, что первая повиснет у него на шее!

Мать и дочь даже поссорились, споря, стоящий человек Исакович или нет; на том разговоры об их дорожном спутнике закончились. Спустя неделю он был позабыт. Так улетучиваются из нашей памяти по прибытии домой красивые виды или приятные дорожные впечатления. Либо удобная скамейка, на которой мы отдыхали.

И только иногда, лежа в темную летнюю ночь голой в постели, Евдокия, вспомнив Исаковича, зарывалась с головою в подушки и долго металась без сна. Несколько лет назад она отдалась какому-то офицеру, отдалась всего один раз. Он оказался ничуть не лучше Божича, ничуть не слаще, ничуть не ласковее! И она сразу же раскаялась в своем поступке. Но на этот раз госпожа Божич влюбилась и сгорала от страсти. «Впрочем,— думала она,— моей матери тоже ни разу в жизни не улыбнулось счастье».

Итак, Евдокия больше уже не искала Исаковича, не спрашивала о нем. А он тем временем бродил точно тень по «Ангелу» либо сидел в своей убогой мрачноватой комнатушке и готовился к выполнению необычного поручения русского посла, графа Кейзерлинга.

Он не только не понимал, чего именно от него хотят. Он не знал, что таким же делом заняты несколько русских офицеров в Триесте и на побережье Адриатики. Не имел понятия, что Кейзерлинга мало интересуют черногорцы и что поручение это было дано по совету конференц-секретаря Волкова, чтобы испытать его, Исаковича, прежде чем выдать ему паспорт.

Волков сообщил Павлу лишь самые необходимые сведения о находящихся в лазарете черногорцах. Конференц-секретарю хотелось, чтобы Исакович узнал, действительно ли они свойственники владыки Василия, а не люди с венецианской территории. Следовало также убедиться, есть ли среди них больные, пораженные страшным недугом — лепрой.

Исакович должен был самолично во всем убедиться и дать ответ на эти вопросы. Он знал только, что черногорцев содержат в старом карантине на рукаве Дуная, в бывшем лазарете австрийского военного флота, находившемся у подножия горы Леопольдсберг.

А главное, надо было стороной узнать, встречался ли владыка Василий с венецианским послом в Вене, Корнером.

Кир Анастас Агагияниян утверждал, будто встречался. И говорил, что черногорцы сидят под замком лишь потому, что за них никто не платит. Их караулит стража. К ним никого не пускают, и никому не разрешают выходить из лазарета. Пищу им ставят перед решетчатой калиткой, прямо на землю, как собакам. Раньше к ним еще заходили врач и аптекарь, но сейчас уже давно никто не приходит.

Они как бы похоронены заживо.

Банкир Копша, родственник и totum factum[1] Исаковичей в Вене, советовал Павлу в это не вмешиваться, потому что, говорил он, дело это — великий позор и для Вены, и для сербов. И великое несчастье. Впрочем, не первое и не последнее, добавлял он. Бедолагам посылают какое-то подаяние, чтобы они не умерли с голоду. Писали о них и в местную комендатуру, но толку никакого. Ответ неизменно гласит: «Лепра!»

Копша слышал, будто двое в лазарете уже при смерти, если они умрут, появится надежда, что вспомнят о живых и вопрос как-то решится. Тут большая вина посещавшего их раньше священника, отца Михаила, этого послушника, который доносил в русском посольстве, будто эти люди отреклись и от властей земных и от бога. И потому, мол, не следует разрешать им продолжать путь в Киев.

Копша не любил попа Михаила и уверял, будто тот и перекреститься-то толком не умеет и разделить просфору больным не может, не может он ни причастить умирающего, ни отпеть его, он и вообще-то никакой не священник, а монах. Когда он возглашает: «Во имя отца, и сына!», то как и полагается, бьет себя тремя перстами, но делает это так, точно бьет отца в лоб и в пупок сына! Но когда поет «и святого духа!», то как бы делит этого духа надвое, ударяя трехперстием одну половину в правое плечо, другую — в левое. А уж «Аминь!» просто швыряет куда-то далеко за спину. Вот как крестится Михаил Вани!

Павел попытался проникнуть в лазарет обманным путем, при помощи Агагиянияна.

В тот же день к вечеру отправились к рукаву Дуная.

Лазарет белел за бывшей пристанью дунайских военных лодок-шаек: тут их в свое время мастерили и

---

[1] Доверенное лицо (*лат.*).

спускали к занятому турками Белграду. Сейчас здесь стояли у причала несколько прибывших из Пожуна пустых барок для перевозки зерна. Лазарет, когда к нему подходили, казался каким-то нелепым нагромождением старых каменных домов.

В нем содержалось тогда тридцать семь мужчин-черногорцев и десятка два женщин с детьми. Все они двинулись за владыкой Василием в Россию с первым транспортом переселенцев.

Бывший русский посол граф Бестужев просил у австрийского двора разрешить им либо продолжить путь через Саксонию,— за его счет,— либо спуститься по Дунаю до Буды и Токая, где их встретит русская миссия. Однако венецианский посол в Вене утверждал, будто это рекруты-оруженосцы, набранные на территории Венеции, и требовал их возвращения туда. Беда заключалась в том, что от переписки владыки Василия и конференц-секретаря посольства Волкова не осталось и следа. Австрийские же власти считали этих черногорцев турецкими подданными.

Все спрашивали их: кто они?

Копша со старческим раздражением винил во всем Михаила Вани и называл его проходимцем. Этот поп сопровождал в Вене владыку Василия, ходил и в лазарет к черногорцам, пока те не пригрозили его оскопить за то, что он волочится за их женами. Называет он себя Михаилом Вани, но никто не знает, кто он и откуда. В Вену он явился голый и босый, с ликом мученика, а теперь ходит в шелковой рясе и шелковых чулках. И пересыпает свою речь философскими и скабрезными выражениями. Тем не менее даже конференц-секретарь русского посольства ничего не может с ним поделать.

Копша считал, будто главная опасность состоит в том, что Вани станет теперь пресмыкаться перед Кейзерлингом, и тогда сербам в Вене конец.

— Это,— говорил он,— страшный человек. Змея!

Павел решил после посещения лазарета познакомиться с отцом Михаилом. Агагияниян пообещал все устроить в тот же вечер. Надо было торопиться. Когда стемнело, они подъехали в экипаже к лазарету. Точно призрак он белел среди болот и верболоза дунайского рукава, неподалеку от разрушенного бастиона, где стоял у причала старый, уже списанный в расход фрегат дунайской флотилии «La fortuna». На нем не было ни

пушек, ни парусов, ни мачт. Сохранились одни только борта да промасленный, черный от смолы бревенчатый корпус. Вокруг этого старого фрегата квакали лягушки.

Вдали зеленела покрытая лесом пирамида Леопольдсберга.

У самого входа в лазарет чернел мост, составленный из старых понтонов, у края моста виднелась сторожка. В ней уже горел свет.

Исакович обрадовался, узнав, что стражу тут несет полувзвод славонских солдат. Перед караульным помещением горел костер. Здесь раньше был, видимо, кирпичный завод. Вокруг висели рыбацкие сети, над ними роились крупные ночные комары. Всюду поблескивала вода. До ближних домишек венского пригорода было не меньше тысячи шагов. И когда умолкал собачий лай, тут воцарялась мертвая тишина. Ничто не говорило о присутствии людей в лазарете. Сюда не доходил человеческий голос. Противоположный берег реки терялся во тьме. Исакович послал молодого армянина на разведку.

Павел рассчитывал войти в лазарет, если понадобится, наперекор страже, как он это проделывал со своими сербскими гусарами. Внезапно появиться из темноты, напасть на часового и силой отобрать у него ружье! Дело это было опасное, но неизменно ему удавалось. Сонные постовые при виде разъяренного офицера до смерти пугались и отдавали ружья, за что их потом сажали под арест и били палками.

Агагияниян принялся кричать, что в лазарете — два умирающих, что он аптекарь и пришел их осмотреть, а потому требует позвать караульного начальника. У него, мол, имеется разрешение на вход в лазарет.

Часовые послушно отворили ворота и позвали караульного начальника. Это был унтер-офицер в новенькой форме и с косицей, которая тряслась, словно железная. Недоверчиво оглядев штатского, он заявил, что в лазарет никого пускать не велено. Потом, стуча тяжелыми башмаками, он остановился перед Агагиянияном в своем новом, застегнутом до подбородка мундире — в такие мундиры Австрия в те годы обряжала славонцев,— и рявкнул:

— Господину аптекарю следует обратиться к командиру. Ворота отворяются только по его приказу.

Но когда молодой армянин закричал, что у него есть

разрешение на вход, и добавил, что в лагере сидят черногорцы, их, славонцев, братья, унтер-офицер взял у солдата штуцер, приставил его к ноге и сказал:

— Честь и уважение черногорцам! Они и впрямь наши братья! (Он сказал: «unsere Brüder!»)

Однако прибавил, что не может нарушить приказ.

Тщетно молил его Агагияниян.

Наконец Исакович, оставшийся в экипаже, позвал армянина.

И они возвратились к себе, так ничего и не добившись.

По совету Агагиянияна Исакович в тот же вечер встретился в греческом кабачке на Флейшмаркте, неподалеку от греческой церкви, с уже упомянутым выше Михаилом Вани.

Кем был этот Вани, известно из секретного сообщения некоего Карла Имбрияни, венского полицейского пристава и шпиона венецианского посла. Сообщение, датированное 31 июля 1752 года, было обнаружено в венецианском посольстве спустя сорок лет, когда Венеция вошла в состав Австрийской империи.

В нем Имбрияни пишет, что за большие деньги, прибегнув к посулам и к помощи женщины, он получил новые сведения от попа Михаила о черногорцах и о некоем офицере Павле Исаковиче, направлявшемся по поручению русского посла в Черногорию.

Этому офицеру было поручено вербовать людей на русскую военную службу и отправлять их в Киев. Он, Имбрияни, и в дальнейшем готов сообщать об Исаковиче все, что узнает, но просит как можно скорее прислать ему, по условленному каналу, не выплаченные до сих пор деньги. Просит его превосходительство позаботиться и о той малой толике средств, сейчас ему столь необходимой (Имбрияни написал: «Notdürftigkeit» [1] и «mancanza» [2]). А он уж постарается разузнать побольше.

В последующих сообщениях Имбрияни упоминает о каких-то других офицерах.

На свидании Михаил Вани очаровал Исаковича, выманил у него деньги и завоевал его дружбу.

---

[1] Скудность *(нем.)*.
[2] Недостаток *(ит.)*.

Позднее Павел рассказывал братьям, что Вани — человек весьма любезный, холеный, лет сорока — пятидесяти, высокий, что лицо у него смуглое, точно лик на иконе, пред которой полвека зажигали и тушили свечи. У него, как у многих сербов, большие черные глаза, красивая белая рука, которой он то и дело поглаживает свою шелковистую, тронутую сединой бороду. Такие белые, холеные и теплые руки у его земляков встречаются редко.

У Вани,— вспоминал Павел,— приятная улыбка и красные, очень красные пухлые губы. Когда он говорит, от этих губ просто нельзя оторвать взгляда. Он строен, но очень худ, словно его сжигает какой-то внутренний огонь. А когда Вани смотрит на собеседника, глаза у него горят как угли. По слухам, такие люди, как совы, видят даже в темноте. Он неслышно появляется в своей черной рясе. И каждый раз, глядя на него, диву даешься, откуда взялся среди сербов такой человек.

Правдой было то, что Вани носил дорогую скуфью, шелковые чулки и был весьма обходителен, а неправдой было то, что не знали, откуда он родом. Агагиянин говорил Исаковичу, что Вани — монах Ходошского монастыря, что в Вену он приехал по делам, промотал монастырские деньги да так здесь и остался. Копша уверял, будто митрополит Ненадович требовал арестовать этого монаха как авантюриста и блудника.

Однако известно было также и то, что Вани удалось проникнуть в русское посольство и угодить графу Бестужеву, вернее сначала — посольскому священнику, которого он потом и очернил в глазах Бестужева, чтобы самому занять его место.

Неверно было и то, что Вани не умел ни читать, ни писать.

Он долго потел и мучился, но все же одолел в Вене грамоту.

Ни один человек не знает, что ему готовит в будущем судьба, не знал этого ни Вани, ни Исакович. Михаил Вани, как и предполагал, уехал позднее в Россию.

Но там след его потерялся...

Так вот, в тот вечер в Вене, в греческом кабачке, отец Михаил очаровал и поразил Павла. Он сказал, что будет нетрудно добиться того, чтобы перед Исаковичем отворились двери в лазарет. Есть у него знакомый аптекарь, который раньше туда ходил. Он приведет его

к капитану. Этот аптекарь все может устроить. Только, разумеется, придется раскошелиться.

Во время разговора с Исаковичем Вани с завидным аппетитом ел и пил.

Он признался Павлу, что никакой он не священник, что его просто так называют, ругал митрополита, но сдержанно, уверял, будто Ненадович ненавидит его за преданность черногорскому владыке Василию Петровичу. А митрополит, как известно, заточил владыку в Крушедольский монастырь за то, что тот призывал сербов переселяться в Россию.

Сидя на втором этаже трактира, где стены пропитались запахом кофе, среди зеркал, при свете мерцавших свечей, Михаил Вани с воодушевлением рассказывал о владыке Василии. Что же касается лазарета, повторял он, то это пустяк. Завтра или послезавтра они попадут в лазарет, если Исакович немного потратится.

Павел сказал, что предпочитает отправиться туда один, поскольку черногорцы грозятся: «Выхолостим попа Михаила!» И нож уже приготовили.

Услыхав это, Вани добродушно улыбнулся.

— Да,— сказал он,— знаю, так завистники, злые языки, судачат. Грех ведь оскопить духовное лицо! Просто кое-кто из черногорцев бесится, потому что раньше ко мне приходили их жены и приводили своих детей. И если бы я даже и решился на грех, то ведь ни один человек на свете праведником не рождается, а только готовится им стать. Огонь вожделения к женщине горит в каждом мужчине, и в монахе тоже, такова божья воля. Соблазн посылается монаху для того, чтобы потом, в монастырской тиши, он в молитве, со слезами на глазах, каялся, мучился и узрел бы во всей наготе бренность мира сего.

Павел, которому после долгого одиночества хотелось просто человеческого общения, весело спросил:

— Хорошо, хорошо. А что будет с этим грешником в смертный час? Когда душе его придется идти в ад?

— Все эти ужасы ада придумали папежники! — сказал Вани, грустно улыбнувшись.— Нет этого в нашем сладчайшем православии! Господь наш, Иисус Христос, искупил своей смертью на кресте все наши грехи и простил грешников еще на этом свете как сын божий. Нет ни страха, ни адских мучений для того, кто покается в свой смертный час! Ему все простится!

О себе Вани сказал, что женщины никогда его не провожают слезами и проклятьями, напротив, они благословляют его и спрашивают: «Где ж это наш поп Михаил?» А сказку о его блуде и о том, будто его хотят оскопить, придумали земляки-бездельники в угоду Ненадовичу! Настоятель сербской церкви в Вене, Константин Бершкович, заварил всю эту кашу и даже написал на него донос местным властям.

После этого Исакович спросил, знает ли отец Михаил владыку?

Вани обиженно ответил, что у него нет привычки врать и что он хорошо знает владыку Василия. Когда владыка ехал в Вену через Триест, он, Михаил, стоял на коленях и целовал ему руку. Владыка хотел даже взять его с собою в Россию, но всемогущий граф Бестужев задержал его у себя на службе в Вене. Только капитан должен помнить, что русские не любят владыку Василия.

Когда русские упоминают о Василии, лучше помалкивать. Безрогий с рогатым не бодается. Но если владыка Василий во здравии и благополучии вернется из России, то еще услышат и о нем, священнике Михаиле Вани!

А пока надобно ждать!

— Правда ли,— выспрашивал далее Исакович,— будто, как уверяют русские и как говорит его родич Копша, владыка Василий ополчился на владыку Савву? Что на Россию ему наплевать, он хочет только как можно скорее сесть на место Саввы? А своих родичей он просто бросил в лазарете.

— Владыка Савва правит Черногорией по божескому соизволению,— смиренно отвечал Вани,— а владыка Василий правит мудростью и силой. Савва уже состарился, потому-то люди и пошли за Василием. Так всегда было, так всегда и будет. Ведь владыка Василий сейчас в самом расцвете сил. Я преклоняюсь перед ним и каждое утро мысленно целую ему руку, как делал это на самом деле в свое время. Надо идти за ним! А Савву надобно уважать. Будущее Черногории — за Василием!

Исакович сказал, что, по слухам, владыка Василий задумал переселить в Россию всю Черногорию, а народ там этого не хочет и бунтует. Что за ним идет меньшинство, а за Саввой — большинство.

Не зная, как приступить к делу, Исакович, который никогда еще не получал подобного задания, в глаза не видел владыку Василия и не бывал в Черногории, решил выудить побольше сведений у отца Михаила о содержащихся в лазарете черногорцах.

А Вани тем временем все посмеивался.

Его взгляд лишь изредка отрывался от Исаковича, пробегал по трактиру и останавливался на соседнем игорном зале или на женщинах, отражавшихся в зеркале и напоминавших пестрых птиц, которые как бы порхали перед ним.

— Разумеется,— сказал Вани с грустью в голосе, перестав есть,— когда речь заходит о переселении в Россию, за Василием идет пока меньшинство, вот когда он оттуда вернется, оно наверняка превратится в большинство. Владыка Василий умен. Он прекрасно справляется с труднейшими делами. И едет он в Россию не без расчета. Хочет озолотить нашу святую, православную церковь на Адриатике.

— Но владыка Василий продает людей в русскую армию,— бросил Павел.— Им придется воевать и гибнуть за Россию.

Поп Михаил стал серьезным.

— Капитан,— снова заговорил он,— кто бы вы ни были и кому бы ни служили, не берите греха на душу. Вы и сами не понимаете, что говорите. Владыка Василий — истинный мученик. Он знает, что делает! Действительно, он надумал послать людей сражаться за Россию, но вовсе не бескорыстно. Взамен он хочет попросить, чтобы в Черногорию прислали русский полк. Когда турки узнают об этом, они в Черногорию больше не сунутся!

И тут Исакович сказал, что он слышал, будто владыка Василий нанес визит венецианскому послу.

Священник задумчиво посмотрел на него. Потом сказал:

— Если бы Василий нанес такой визит, он бы не вышел живым из посольства! У Венеции рука длинная, до самой Вены тянется. Однако вам, капитан, следовало бы знать, что Венеция против Василия не потому, что он задумал переселить черногорцев в Россию, а потому, что Венеция хочет, чтобы черногорцы погибали за ее интересы.

Там из них уже было набрали полк, да Василий все дело испортил.

Павел все чаще подливал вино в стакан Вани.

— Выпьем,— говорил он,— и забудем все наши горести. Как говорится, ум за морем, а смерть за порогом.

Священник вперил взор в пространство и перестал пить.

— Смерть, точно рука матери, усыпляет и грешника, и блудника, и убийцу,— сказал он.— И напрасно вы, капитан, пугаете меня, вам это не удастся. Смерть всемогуща и всесильна, она уносит нас, как море уносит песок с берега. Но ада нет, я в нем не буду гореть, не будет там гореть и никто другой. Смерть сотрет все, что с нами было, как мать утирает слезу с глаз ребенка. Только вот жить среди людей тяжко. Волки они! Кто вас подослал ко мне, капитан? Кто хочет подвергнуть искушению и погубить бедного одинокого монаха?

— Я встретился с вами,— запротестовал Павел,— только потому, что мне сказали, будто вы можете провести меня в лазарет к черногорцам.

Вани поднялся и пообещал, что завтра постарается это сделать. Нужны только деньги.

Тем временем шум в трактире нарастал, людей становилось все больше, в дверях у зеркала все чаще останавливались женщины. Однако священник теперь на них уже не смотрел.

И только тут Павел увидел дожидавшегося у порога Агагияниияна.

Прощаясь, отец Михаил посоветовал ему не беспокоиться о владыке Василии. Владыка хоть и говорит, будто задумал переселить в Россию всю Черногорию, а черногорцев-воинов зачислить в сербский гусарский полк в Санкт-Петербурге, на деле все кончится тем, что в Черногорию придут русские. Владыка Василий едет в Россию не для того, чтобы переселить Черногорию в Москву, а для того, чтобы призвать в свое отечество москалей. Владыка Василий мудр, пусть капитан, кто бы он ни был, запомнит это.

— А когда Российская империя появится на Адриатике, все наши кровные враги попрячутся в норы, как мыши,— закончил Вани.

Когда Исакович и Агагияниян вышли из трактира на Флейшмаркте, вокруг царила темнота, но темнота про-

зрачная, летняя, с синевой. В этой синеве мерцали фонари. Слова, услышанные им при расставании с Михаилом Вани, глубоко потрясли Павла, словно пред ним свершилось великое, грозное чудо, словно с невероятным грохотом сверкнула во мраке молния и осветила путь: он увидел Россию такой, какой она до тех пор ему еще ни разу не представлялась. И он буквально онемел от этих слов, сказанных неученым, полуграмотным, погрязшим в блуде монахом, растратчиком монастырской казны.

Ему показалось даже, что отец Михаил вознесся куда-то в вышину...

При помощи Вани, вернее при помощи аптекаря Игнаца Штенгеля, который бывал раньше в лазарете, Исакович получил разрешение посетить переселявшихся в Россию больных черногорцев. Некий доктор Долчетти, известный венский врач, письменно засвидетельствовал, что в лазарете находятся истощенные от голода, страдающие лихорадкой и поносом, отравившиеся грибами люди, но больных лепрой среди них нет!

Первого августа 1752 года Исакович побывал в лазарете.

Он вошел, сверкая своей сирмийской гусарской формой, в сопровождении аптекаря и караульного начальника.

У ворот поднялся шум. Черногорцам сказали, что прибыла комиссия, чтобы осмотреть двух мужчин, которые якобы находятся при смерти. И потому, когда Исакович вошел, все вокруг притихли. Однако никто, казалось, не обращал на него внимания.

Мужчины и женщины молча стояли вдоль стен в длинных, сырых и темных коридорах, куда свет не проникал даже среди бела дня. Собственно это был не лазарет, а сохранившийся с давних времен карантин, который теперь именовали лазаретом. Постройки стояли у самой реки, через высокие, узкие, походившие на бойницы окна видны были лишь плавни, болота и вода. Кирпичные своды и стены пока еще кое-как держались. Внутри помещения было несколько очень больших палат, застеленных дощатым, поросшим травою полом. Исаковичу сказали, что под полом гнездятся змеи, но эти странные люди не разрешают их уничтожить. Говорят, что змеи, мол, их хранительницы!

Из коридоров и палат другого выхода, кроме того, который вел к воротам и к понтонам, очевидно, не было. Мост тоже был огорожен палисадником, за которым расхаживала стража. Лазарет Мариенхильф был отрезан от мира. Как и всякая тюрьма в те времена.

У входа было еще светло, но чем дальше шли Исакович и его спутники, тем становилось темнее, и глаза только постепенно привыкали к полумраку. У ворот с важным видом сидели на корточках старики, подставляя спины лучам уже неяркого закатного солнца.

Они едва удостоили Исаковича взглядом.

Все тут были одеты в какие-то чудные одежды, даже толпившиеся вокруг пришедших дети. Аптекарь объяснил Павлу, что, когда пронесся слух о лепре, у черногорцев отобрали и сожгли всю одежду вплоть до рубах. А вместо нее выдали то, что смогли собрать в Вене. Дело дошло до драки с караулом, но, когда черногорцам пригрозили, что их оставят без пищи, если они не подчинятся, эти бедолаги смирились — ради своих детей.

Аптекарь Штенгель был им хорошо знаком, и против него они, видимо, ничего не имели. Хотя он мог произнести всего несколько слов на их языке, они, зная, что через него поступает провизия, относились к нему хотя и с раздражением, но все же и с некоторым доверием и уважением.

Когда они услышали, что посетивший карантин офицер говорит на их родном языке, вокруг Исаковича поднялся крик, посыпались вопросы:

— Звать-то тебя как?

— Уж не из Рагузы ли ты?

— Албанец?

— Или венецианец?

— Папежник?

И люди повалили за ним, решив, что и в самом деле прибыла какая-то комиссия, назначенная австрийскими властями.

Павел неуверенно шагал по коридорам, где стояла промозглая сырость, как осенью или зимой; он с трудом различал во влажном полумраке лица людей и отчетливо видел только прыгавших вокруг него оборванных, полуголых и высохших, как скелеты, ребятишек. Он шел вслед за аптекарем, рядом с караульным начальником, который старался быть любезным и разговорчивым,

и этот подвал с настеленной соломой, которая, верно, месяцами не менялась, напоминал Павлу конюшню. Лежавшие на полу люди были укрыты тряпьем.

Однако, несмотря на весь этот ужас, ни один стон, ни одна жалоба не нарушали тишины. Люди не приближались к Исаковичу, так что нельзя было даже уловить их выражение лиц. По большей части они стояли неподвижно, прислонившись к стене. Точно высохшие мумии с темными, покрытыми смертельной бледностью восковыми лицами, они стояли спокойно и ждали, пока мимо них пройдет комиссия. А потом, точно тени, скользили вдоль стен. Кто знает, куда. Человеческое ухо не могло уловить ни единого звука, кроме непрерывного шума тихо двигавшихся людей, которые шли то туда, то обратно, шли, почти не останавливаясь, хотя и знали, что выхода отсюда нет.

Когда глаза Павла привыкли к полумраку, а уши — к необычной тишине, он начал улавливать отдельные слова, но ему показалось, что они доносятся издалека и едва слышно, словно кто-то перекликался в горах или в ущельях. Перекликался хрипло. Слова эти будто вырывались из каких-то пещер и чуть слышно летели по лазарету, как летят ласточки.

Павел уловил несколько имен, несколько вопросов, но ответа на них не услышал.

Неясный шум голосов не стихал ни на минуту.

Исакович не мог понять, кто именно спрашивает и о чем, кто и что отвечает. «Видно, мне только чудится, будто я слышу голоса людей,— подумал он.— Это только непрестанно звучит эхо! На самом же деле кругом по-прежнему царит тишина».

Он будто онемел от ужаса.

Штенгель что-то объяснял по-немецки, уверяя, что вначале все тут было совсем по-другому. Людям разрешалось выходить до захода солнца в город. И пищу им давали аккуратно, и врачи их посещали. Но все изменилось, когда был обнаружен покойник. Лепра! Тогда принялись жечь одежду, отбирая ее даже у женщин, всем запретили выходить из лазарета, пищу приносили редко и ставили ее прямо на землю, перед воротами. Теперь никто сюда больше не заходит, никто этими несчастными не интересуется. И он не удивится, если в одно прекрасное утро окажется, что все они тут перемерли.

Они не кричат, не шумят, никто из них не воет у ворот.

Но сейчас, когда капитану удалось заполучить свидетельство доктора Долчетти, все переменится! У Долчетти большие связи наверху.

Исакович остановился у какого-то прохода, где стояли несколько женщин с малыми детьми. На их осунувшихся испитых лицах еще можно было различить следы былой красоты.

Он подошел ближе к стоявшей у стены женщине — в складках ее юбки пряталась девочка— и вдруг увидел, что женщина эта — писаная красавица, так ему по крайней мере показалось. Точно изваянная из камня, высокая, статная, закутанная с головы до пят в черное одеяло, она смотрела на него огромными зелеными глазами. Она была еще совсем молода. Ему показалось, что ее длинные ресницы — пепельного цвета.

Павел был потрясен ее красотою, которая могла любого свести с ума, и внезапно подумал, что эта женщина с гибким упругим телом, пламенная, нежная, дивная, достойна глубокой любви и страстных объятий.

Еще немного, и он высказал бы ей все, что думал.

«А что, если схватить ее и увести отсюда?»

Но вслух он только сказал, что девочка у нее опухла, верно больна, однако, бог даст, все они скоро выйдут из лазарета. Пусть она не отчаивается. Пусть потерпит еще день или два. Голос у Павла дрожал, как у завзятого бабника, хотя он им никогда не был. И все-таки он долго не мог оторвать взгляд от ее груди, потом посмотрел в ее глаза с такими необычными ресницами. Над бледным лбом женщины алела сдвинутая набок венецианская шапочка, бог знает где приобретенная, с этой шапки свисала серебряная кисть.

— Вы скоро выйдете отсюда,— снова повторил Павел.

Женщина молчала.

Стоявшая поблизости старуха, услышав родной язык, спросила у Исаковича, кто он такой.

— Почудилось мне,— сказала она,— будто солнце проглянуло сквозь еловые ветви.

Вокруг о чем-то кричали.

А он, точно заколдованный, все стоял перед женщиной с девочкой и твердил, чтобы она не теряла на-

ской и правде божьей тут задержали. Беды начали их преследовать с самого Триеста. Обманным путем у них отобрали оружие (старик сказал: «оружо»), не будь этого, они теперь свободно разгуливали бы по Вене. Ведь и сейчас еще движутся в Россию, вдоль всего Адриатического побережья через малые города и пристани небольшие группы черногорцев.

— Заперли нас тут, словно мы не свободные люди. И кормят мясом, которое ставят прямо на землю у порога, как собакам. А мясо-то вонючее! Верно, кошачье.

— Это кроличье мясо,— сказал Павел.

Баевич повторил:

— Воняет оно!

— Придется немного потерпеть,— проговорил Павел.

В это время кто-то крикнул, что им даже белья не дают.

Павел принялся расспрашивать, кто их уговаривал ехать в Россию.

Баевич ответил, что их уговаривать не пришлось. Они сами двинулись вслед за владыкой Василием в Россию, и вот потерялись. Уговаривать же их нет надобности!

А когда Исакович спросил, не обманывал ли их кто-нибудь, суля им деньги и обещая бог знает что, лишь бы они покинули свой край, поднялся шум, и Баевич с трудом утихомирил толпу.

— Кто бы ты ни был, офицер,— сказал он,— но говоришь ты по-ребячьи. Не знаешь Черногории! Сорок лет тому назад русский царь Петр позвал князя Луку на помощь — воевать против турка. Так что всем известно, кто нас вербовал. А другого вербовщика нам не требуется.

— А зачем же ехать сейчас, когда наступил мир и турки притихли, разве не лучше повременить, покуда вернется владыка? — спросил Павел.

— А чего тянуть? — зашипел Баевич.— Достаточно мы ждали, хватит того, что двадцать пять лет тому назад нас жег Ченгич Бечир-паша, а двадцать лет тому назад — Топал Осман-паша. Зачем же еще временить? Мы идем, чтобы умереть среди своих. Довольно уж мы ждали.

— Есть ли у вас какая-нибудь бумага? — спросил

Исакович.— Показывал ли вам владыка Василий какую-нибудь грамоту от русских?

Баевич сердито крикнул в ответ:

— Зачем нам грамота? Мы и на слово поверили. Без позора слова не нарушишь!

— А что будет, коли вы останетесь один на один с турками, у которых целых три султана? Почему не дожидаетесь помощи от России?

Тут снова поднялся шум.

Баевич, заглушая всех, крикнул:

— Нас жгут, огонь не ждет, на австрийцев, венецианцев и прочие христианские царства мы больше не надеемся. Единственная наша надежная опора — Дрекалович.

— А разве вы не могли бы,— спросил Павел,— найти себе в Вене какую-нибудь работу? Чтобы прокормиться до отъезда?

— Поначалу,— сказал Баевич,— венцы приходили на нас глазеть. Подавали кое-какую милостыню, когда совсем не стало у нас денег. Предлагали наниматься носильщиками паланкинов, есть такие и в Рагузе, они превращают мужчину в бабу. А женщин уговаривали идти стирать белье да выносить мусор из кабаков!

— А что будет, если всех вас вернут в Черногорию? Ведь среди вас есть и умирающие!

После долгого молчания Баевич ответил:

— Коли Россия о нас забыла, то все мы, конечно, по дороге помрем. Да и чего стоит такая жизнь! Но зато хоть те, кто выживет, будут знать, что их ждет. Но мы не верим, что о нас забудет владыка Василий, а тем более — Россия. Нас ждут в Киеве родичи.

Когда Исакович спросил, не слишком ли они доверяют владыке Василию, в ответ ему закричали, что лучше его им не требуется!

Исакович умолк, потом велел всем стать в кружок и выслушать его.

— Знайте, я слов на ветер не бросаю,— сказал он.— Меня прислали поглядеть на вас и сообщить, что Россия вас не забыла, что для вас уже готовят паспорта. Перед вами отворятся ворота лазарета, если не завтра или послезавтра, то в ближайшие дни, непременно отворятся. К вам будет приходить врач. Больных положат в больницу. Здоровые отправятся в Киев. Клянусь вам в том святым Мратом.

И тут Исакович пережил нечто такое, чего вовсе не ожидал, и произошло это внезапно, точно гром среди ясного неба. Впрочем, зачем пытаться объяснять то, что не поддается объяснению?

Его слова из уст в уста передавались по темным коридорам лазарета.

Пришел, мол, русский офицер, и всех их вот-вот отправят в Россию. Началось всеобщее ликование, зазвучал веселый смех, но звучал он не так, как у других людей, казалось, заворковали горлицы.

Эти костистые, угрюмые, высохшие люди с горных кряжей и вершин, закаленные в жестокой резне, обагренные кровью и, казалось, забывшие, как смеются, сейчас смеялись какими-то дробными птичьими голосами.

Потом Исакович услышал, что они перекликаются друг с другом.

Уже у ворот он спросил Баевича, кто такая женщина в красной шапочке с маленькой опухшей девочкой, что испуганно жмется к ней.

— Это Йока Стане Дрекова. Ее позорно бросил муж в Триесте. Надоело ему, видите ли, ждать. А почему вы спрашиваете?

Выйдя с аптекарем из лазарета, Павел оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на весь этот ужас, и увидел, как в конце коридора в полумраке люди помоложе становятся в круг, берутся за руки и, покачиваясь, начинают танцевать коло.

До его ушей донесся частый топоток.

Если в Темишваре его земляки, отплясывая коло, вертелись волчком, то эти люди нагибались, словно тащили камни.

Топот становился все громче.

Когда он шел к экипажу, ему мерещилось, будто глухие удары их ног уже отдаются по всему лазарету, бегут по воде, пробиваются сквозь спустившиеся после захода солнца сумерки, разносятся эхом по земле и по небу до самой Вены.

Исакович был вторично принят графом Кейзерлингом в полдень 21 июня по православному календарю, или 3 августа по новому.

Его снова провели, так по крайней мере ему представлялось, сквозь зеркала, сквозь мраморные ниши, мимо канделябров и висящих на стенах гобеленов.

Пока разодетый и надушенный Исакович ждал перед дверью графа, возле него, статного серба с благородной осанкой, собрались конференц-секретарь Волков с несколькими гостями; все они от души смеялись над тем, что капитан Исакович не знает, как зовут стоящих в приемной Кейзерлинга голых богинь и не имеет даже понятия о том, кто такая Психея.

Гостями русского посольства в то лето были два великосветских санкт-петербургских льва — некий господин Левашов и господин Алексей Семенович Мусин-Пушкин, по словам Волкова, человек близорукий и весьма богатый, но конфузливый с женщинами.

Левашов приехал в Вену из Англии, Мусин-Пушкин — из Парижа.

Оба были в париках.

Узнав, что Павел даже не слыхал об Апулее, они сочли его каким-то монстром, чем-то вроде уроженца американских прерий. Левашов рассмеялся ему прямо в лицо.

Хорош русский брат!

Перед тем как войти к послу, Волков еще раз предупредил Павла, что дело с черногорцами закончено, точка поставлена и возвращаться к нему — значит только попусту тратить слова. К тому же кто-то уже сообщил о нем венецианцам. И Кейзерлинг очень сердит из-за того, что венецианскому послу все стало известно.

Так что, пусть капитан прежде думает, а уж потом говорит.

Конференц-секретарь добавил еще, что ему лично кажется, будто Исакович в составленном для посла и переданном через барона Аша рапорте, слишком уж расхваливает владыку Василия. Он, Волков, считает своим долгом предупредить его, что граф на сей счет иного мнения.

Исакович в ответ на это рявкнул:

— Я такого мнения, а вы как хотите! («Ich so. Ihro Hochwohlgeboren wie Sie wollen!»[1])

Чтобы понять немецкий язык капитана Исаковича, Волкову каждый раз требовалось какое-то время. Уловив смысл его слов, он подумал: «Этот сербский офицер сильно переменился».

---

[1] Я так, ваше благородие, а вы как хотите! *(нем.)*

Они просидели в приемной около часа, пока наконец лакей не провел их к послу.

У Исаковича не осталось и следа от прежнего восторга и почтения к Волкову. И тот удивленно на него поглядывал.

Кейзерлинг, как и в прошлый раз, стоял прислонившись к мраморному камину, в котором лежало несколько приготовленных для растопки поленьев. На его груди красовалось еще больше орденов, а через плечо свисала только что полученная от Марии Терезии лента. Накануне он был на аудиенции у императрицы.

Он надел новый, только что напудренный парик и новый версальский, бархатный, цвета красного вина, фрак и черные шелковые штаны, скрадывавшие непомерную толщину его ног. Одну руку он по привычке сунул за белый шелковый жилет, а другой, казалось, что-то искал в своем огромном, полузасученном рукаве. Он был в хорошем настроении и улыбался Исаковичу, пока тот почтительно ему кланялся.

Волков остановился в двух шагах позади Павла. С припухшим от жары лицом граф задумчиво минуты две или три смотрел на Исаковича глазами цвета морского песка.

Потом сказал, что прочел его доклад о состоянии лазарета. И с этим покончено. Может быть, только придется ему еще съездить в Черногорию. Судя по докладу, переданному ему бароном Ашем, прибавил посол, можно заключить, что капитан пишет, вернее говорит о владыке Василии слишком мягко (граф сказал: «Bischof Bazilio»). Всю историю с переселением черногорцев (граф сказал: «Exodus» [1]) этот чертов владыка придумал только для того, чтобы выманить в Санкт-Петербурге побольше денег. От русских офицеров получены сведения о том, что Черногория — бедная страна, что там — одни лишь голые скалы, а владыка разглагольствует о каких-то безбрежных и тучных нивах. Мало того, перед отъездом в Россию владыка Василий собрал черногорских сердаров (граф сказал: «Sirdaren»), наградил офицерскими чинами своих родичей и пообещал узаконить это в Москве, в то время как это —

---

[1] Исход *(лат.)*.

прерогатива русского посла в Вене. И наконец, капитан ничего не сообщил о том, что владыка придумал себе новый сан: «Смиренный пастырь славяно-сербского и черногорского народов» (Кейзерлинг прочел это на русском языке с трудом, по бумаге, которую вытащил из рукава). Потом посол сердито добавил, что владыка пообещал одному своему родичу звание губернатора, какового в Черногории никогда не существовало.

Умолкнув, Кейзерлинг обошел свой стол, уселся в кресло и принялся рыться в лежащих на столе бумагах. Исакович молчал.

Наконец граф поднял голову и ядовито спросил:

— Считаете ли вы нужным, капитан, добавить еще что-нибудь к своему донесению?

Тогда Исакович, заикаясь, попросил разрешения доложить в устной форме обо всем, что он слышал в лазарете, но толком, видимо, не сумел изложить.

Кейзерлинг заметил, что именно для этого он и пригласил капитана. Пусть расскажет все прямо, без обиняков: почему число едущих в Россию черногорцев так ничтожно, в то время как владыка уверяет, будто поднял всю Черногорию? Все ее население.

Говорят, будто это лишь первая партия, ответил Павел. По дороге ее остановили, и все застопорилось. Он, Исакович, полагает, что, если бы транспорт не задержали и черногорцы узнали бы, что Россия их принимает, весь народ повалил бы туда с радостью.

Кейзерлинг, обращаясь к Волкову, заметил, что немецкий язык капитана Исаковича ему не совсем понятен. Он, Кейзерлинг, хотел бы знать, откуда возник у владыки Василия план переселения в Россию? Ведь это фантасмагория, мистика! (Кейзерлинг сначала сказал: «Mystikers», а потом добавил: «mystificateur» [1].)

Павел не понял ни того, ни другого слова.

Затем, обращаясь главным образом к Волкову, Кейзерлинг сказал, что все это пахнет либо серьезной бедой, либо надувательством. После чего он спросил Павла, можно ли, в конце концов, верить, что владыка действительно хочет переселить в Россию весь черногорский народ? Почему капитан не отметил этого в своем докладе? На это Василия никто не уполномочивал.

Исакович сказал, что находящиеся в лазарете чер-

---

[1] Мистификатор, обманщик *(фр.)*.

ногорцы поднялись с насиженных мест, отвечая на призыв, посланный им сорок лет тому назад русским царем. Когда надо было воевать с турками. Потому народ и верит Василию!

Кейзерлинг сердито зарычал и крикнул, что, мол, этому негодяю мало того, что он именовал себя митрополитом Черногорским, Скутарским и Приморским, теперь он именует себя и наместником сербского престола. Василий ко всему еще и poltron[1].

Исакович не понял последнего слова.

Однако, видя, что граф вне себя от бешенства, он виновато замолчал. Но когда Кейзерлинг надменно смерил его взглядом, Павел дерзко усмехнулся и пробормотал, словно в извинение, что он в духовных санах не разбирается, его дело — лошади да пистолеты, но поскольку и он и черногорцы выходцы из одного края, то ему, по крайней мере, известно, что владыка Черногории может считать себя и экзархом сербских королей и царей. Это точно. Более или менее точно. Впрочем, все это не так уж важно. Черногорцы надеются на владыку Василия. (Исакович сказал: «Hoffnung haben Ihro Gnaden!»)

Не успел он это проговорить, как граф Кейзерлинг оттолкнул бумаги, отшвырнул гусиное перо и снова заорал, что Василий — бездельник (граф сказал: «ein alberner Mönch»). Авантюрист! Василий мутит черногорцев на территории Венеции, и это встревожило венецианского посла в Вене. Потом, обратившись к Волкову, он спросил:

— Вам ведь тоже в докладе барона Аша все это показалось не столь нелепым, как сейчас? Дело обстоит хуже, чем я предполагал.

Волков почтительно заметил, что помощник первого секретаря, вероятно, не хотел тревожить посла. А может быть, все то, что говорил капитан о лазарете, и преувеличено?

Тогда Кейзерлинг поднялся, подошел к Павлу и уставился на него своими холодными глазами цвета песка.

— Не объясните ли вы нам, капитан,— спросил он,— почему так волнуется этот народ и какова истин-

---

[1] Трус *(фр.)*.

ная причина поездки Василия в Россию? Что говорят черногорцы? И что думают? Какова тут подоплека?

Исакович, переминаясь с ноги на ногу, ответил, что, по его мнению, черногорцев взволновали войны. Они воспевают русские победы. Считают, что Черногория и Россия — одно целое! Владыке Василию известно, что в Санкт-Петербурге стоит гусарский полк. И он хочет, чтобы в Черногории стоял такой же русский полк. Хочет получить деньги для Черногории. К Василию прислушаться следует. Он послужит на пользу высочайших интересов государства Российского. (Эту фразу Павел уже столько раз слыхал от Волкова, что теперь решил ею воспользоваться.) И с Василием вести переговоры необходимо.

Услыхав эти слова, Кейзерлинг совсем взбесился и заорал, что об этом он капитана не спрашивает.

Этот бездельник Василий (граф сказал: «Faulenzer»[1]), если ему не помешать и не задержать его в России, чего доброго провозгласит себя монархом. Переселяется он в Россию, чтобы жить там принцем.

Разве капитан ничего не слышал об этом в лазарете?

Тогда Исакович решил рубить правду-матку.

Он, мол, с Василием незнаком и даже в глаза его не видел. Не был он и в Черногории. Он старался лишь выполнить поручение графа. Но готов спорить, что владыка Василий не собирается переселять всю Черногорию и не намерен жить в России принцем, владыка Василий никогда об этом своим родичам даже и не заикался. И едет он в Санкт-Петербург не для того, чтобы переселить Черногорию в Россию, а напротив, чтобы привести русских и Россию в Черногорию. Владыка Савва ездил в Россию просить денег для церкви, Василий же старается поднять восстание на всей территории Турции.

Когда Павел вымолвил последнюю фразу, Кейзерлинг вздрогнул, словно его ошпарили.

Он крикнул Волкову, чтобы тот после прислал к нему первого секретаря Чернёва.

Потом вплотную подошел к Павлу и сказал:

— Капитан, вам придется какое-то время пожить в

---

[1] Лентяй *(нем.)*.

Вене, ибо позднее вам будет поручена новая миссия в южных пограничных территориях, откуда вы приехали. На турецкой границе. Согласно вновь поступившим сведениям, которые подтверждают имевшиеся еще у Бестужева данные, черногорцы переходят границу как раз в тех местах, у главного австрийского пропускного пункта — Митровицы. Это может встревожить Турцию, что в настоящее время нежелательно. Вы, капитан, отправитесь туда, осмотрите границу, познакомитесь с людьми, с переселенцами, с офицерами, которые готовятся ехать в Россию, и узнаете, сколько черногорцев уже перешло турецкую границу. Волков растолкует вам все остальное. Понятно?

Исакович стоял точно окаменев.

Хотя учился он мало и только по букварям, а книги читал лишь по слогам, но географию знал хорошо. И карту, будучи сирмийским гусаром, выучил назубок. И вот теперь в полном недоумении спрашивал себя: как попали в Митровицу черногорцы?

Неужто предстоит ему вернуться туда, откуда он приехал?

Неужто он опять будет стоять на могиле жены?

Неужто вновь появится в манеже в Темишваре, вместо того чтобы ехать в Россию?

И он стоял точно в тяжком сне.

Потом, спохватившись, нагнулся, чтобы взять свою треуголку. Посмотрел в глаза Кейзерлингу и громко крикнул:

— Слушаюсь!

Граф милостиво улыбнулся.

— Сейчас понятно, почему мой коллега, венецианский посол, не спит спокойно,— сказал он. И отпустил капитана.

Даже когда Исакович и Волков уже подходили, кланяясь, к порогу, граф все еще милостиво помахивал им рукой.

XI

Нет той женщины с зелеными глазами

Конференц-секретарь русского посольства в Вене, Алексей Степанович Волков, назначил отъезд Исаковича на 11 августа по венскому календарю. Павлу пред-

стояла новая миссия в Среме. В Sanct Demeter, или так называемой Mitrowitz.

Чтобы показать свою осведомленность, Кейзерлинг добавил: «Comitat Sirmiensis», что означало: сремская жупания. Послу вторил и Волков. А пока готовили бумаги, конференц-секретарь предложил Павлу немного поразвлечься.

— Хорошо бы встретиться с этой госпожой Божич! — сказал Волков.— И устроить маленький «fête champêtre».

Павел не знал, что это такое, но догадавшись, посоветовал пригласить и мужа.

Однако Волков закричал:

— Пусть муж убирается к дьяволу! Ко всем чертям мужа, да и всех мужей на свете!

Так они и не столковались, и Павел сидел в трактире «У ангела» один, готовясь со дня на день двинуться в путь. Через Ракосавлевича в Буде и Копшу в Вене он получил первые письма от братьев из Темишвара. Письма были невеселые: Петр и Юрат находятся под домашним арестом; Кумра оставила Трифуна и вернулась к отцу; в Махале у Трифуна беда — за бунт повешены два инвалида. Письма были слезные. Родичи больше не надеялись когда-либо встретиться с Павлом.

Да поможет им святой Мрат!

Павел ходил теперь по Вене хмурый. Все на его пути в Россию складывалось не так, как он хотел и надеялся. Вместо великих свершений и радостных событий его дорога в Россию была устлана неприятностями, злоключениями и глупейшими неожиданностями.

Помедлив дня два или три, Павел решил сообщить г-же Божич, что он в Вене и остановился в трактире «У ангела». И попросил назначить ему день для визита.

Согласно обычаю, он отправил с письмом две коробки конфет — ей и дочери. А коробки велел украсить золотыми монограммами.

Когда все это было сделано, вернее когда все это сделал Агагияниян, Павел завалился в постель и целыми днями дремал или бормотал себе что-то под нос.

Чувствовал он себя как муха в тенетах паука. Все получалось шиворот-навыворот. Через три дня — на святого мученика Ермолая — с ним опять произошло нечто такое, чего он никак не ожидал.

Побывав у Копши и подойдя к широкой деревянной лестнице трактира, Павел встретился со слугой, который целыми днями катал под сводом ворот пустые пивные бочки. Парень был одноглазый и закрывал страшную пустую глазницу черной повязкой. Звали его Сеп Руч.

Встречая постояльцев, он обычно заговаривал с ними.

— Вас тут спрашивали, капитан! Два красивых женских глаза искали вас целый день. Дама даже заходила к вам в комнату, капитан.

Досточтимый Исакович вздрогнул всем телом, но не решился осведомиться, кто его спрашивал, и только рявкнул, чтобы Руч поменьше болтал и занимался бы своим делом. Потом, понурившись, поднялся на второй этаж и направился к себе в номер.

Было очень душно, надвигалась гроза.

Двери, выходившие на веранду, стояли настежь, и никто их не затворял. И если кто-либо разыскивал нужного ему человека, то он сквозь кружевные занавеси на дверях заглядывал в комнаты, пока не находил, кого искал. Веранда была сплошь увита вьюнками, на столбах висели вазоны с красной геранью и другими цветами.

По ночам над ними горели фонари, свет от которых падал в каждую третью комнату. А с наступлением темноты в окнах горели в шандалах свечи.

Весь тот вечер Исакович стирал и мылся, его обнаженный торс белел в темноте. Как настоящий кавалерист он был широк в плечах и узок в талии. У него были длинные руки, на правой, под локтем, краснел рубец давно зажившей раны, и на груди был такой же рубец, но пошире, похожий на борозду, оставленную кнутом.

По своему обыкновению Павел что-то бормотал и напевал себе под нос.

После умывания он было собрался пойти на кухню, которая одновременно служила столовой для постояльцев, но решил прежде немного отдохнуть и прилег на кровать, широкую французскую кровать — единственный роскошный предмет обстановки в комнате. Но тут кто-то внезапно появился на пороге.

Исакович замер.

Госпожа Божич быстро вошла в комнату и плотно притворила за собой дверь.

Потом она тихо засмеялась и, прежде чем обнять Павла, громко спросила, где это он весь день пропадал. Она ждала его, искала повсюду и совсем потеряла надежду увидеть. Уже уходя из трактира, она шла мимо его комнаты и вдруг заметила что-то белеющее в темноте.

Евдокия была весела и приветлива.

И вдруг случилось то, чего она вовсе не ожидала: Исакович закричал, что она, видно, сошла с ума, и велел ей убираться вон, пока он ее сам не выгнал. Неужто она совсем выжила из ума, неужто хочет обесчестить и себя и его?

Схватив Евдокию одной рукой за кисть, Павел другой рукою попытался отворить дверь на веранду, чтобы силой заставить ее уйти.

Однако, как это часто случалось в жизни Павла Исаковича, когда он имел дело с женщинами, его неистовый гнев тут же перешел в сострадание, которое все сильнее охватывало его. Евдокия жалостливо уверяла, что она, придя в трактир к одинокому вдовцу, ставит на карту свою жизнь, свою честь и свое доброе имя. Ведь сюда кто-нибудь может войти! Когда она шла к нему, ее наверняка видели. И муж все узнает. Так зачем же ее гнать?

Она заплакала.

— Вы не должны забывать,— возразил Павел,— что вас знают в высшем свете, что у вас муж, которого вы сделаете убийцей! То, что майор может убить меня, это неважно, но ведь он убьет и вас. А главное, вы всех опозорите. Покроете срамом и свою и мою семью. Ведь вы замужняя женщина!

Евдокия не стала спорить, но принялась рассказывать, что Божич в ожидании суда сидит в казематах Нейштадта, и кто знает, когда он вернется.

— Услышав, что ты в «Ангеле», я точно с ума сошла. Так захотелось мне увидеть тебя. Я была не в силах побороть свое сердце, я должна была прийти сюда и обнять тебя. Меня мучит бессонница. Хожу по дому как помешанная. Где ты был так долго? Почему не давал о себе весточки? А когда я входила сюда, никто меня не видал. Кого нам бояться? Божича? Божича я не боюсь! Почему ты так со мной обращаешься? Словно конюх какой. Другой на твоем месте был бы счастлив!

Исакович, как поп, разразился целой проповедью:

она, мол, поступает нечестно, он не может быть любовником замужней женщины, им следует подождать, пока вернется Божич, и тогда они объяснятся с ним начистоту. Он, Павел, не желает чернить свое имя. А ей, верно, просто хочется поразвлечься да скоротать с ним время, а любит он ее или нет, ей все равно. Ему неизвестно, нет ли у нее в Вене еще кого-нибудь. И кто знает, какой он по счету в списке ее любовников. Кто знает! От тоски по нему она не умрет!

К удивлению Павла эта проповедь только развеселила г-жу Божич.

— Глупенький,— сказала она,— как все мужчины, ты и сам не знаешь, что говоришь. Неужто ты меня не поцелуешь, не обнимешь? Я так ждала, так ждала!

Она поднялась и теперь стояла перед ним в летнем голубом платье, отороченном серебристым кружевом, с большим вырезом на груди и короткими рукавами. Ее голые холодные руки были как змеи. Она бесстыдно льнула к нему. Притянула к себе его голову, и он невольно уткнулся носом в ее обнаженную грудь с уходящей вглубь ложбинкой, где темнел нежный пушок. Высоко зачесанные на французский манер волосы Евдокии, точно черная грива, ниспадали прядями на шею. А когда она стала его целовать, у него помутился разум. Ее большие, черные глаза, мерцавшие в полумраке точно черные звезды, лишили Исаковича прежней решимости разорвать с ней. Он слабел в ее страстных объятиях. От этой чернокудрой женщины исходила необычайная влекущая сила. И хотя ее лицо было печально, Павлу казалось, что перед ним — запыхавшийся молодой борец, который, стиснув его, с вызовом восклицает:

— Ну-ка, милый, давай!

Потом эта бесстыжая красивая женщина лежала совсем голая в его постели и что-то бессвязно шептала. Предаваясь любви, она обычно свешивала голову с кровати и волосы ее рассыпались по полу. При этом она что-то бессвязно бормотала, как безумная. Исакович навсегда сохранил в памяти зрачки ее широко раскрытых опрокинутых глаз, эти едва мерцавшие, черные звезды, которые, казалось, падали куда-то в бездну, увлекая его за собой — в звездное сияние, в опрокинутый мир, куда она смотрела.

А когда он, совсем позабыв, что еще недавно хотел выгнать Евдокию, глядя на эту, словно отрезанную голову с румяным от прилившей крови лицом, попытался приподнять ее, она не далась и только страстно зашептала, что ей так хорошо.

Потом она сквозь слезы говорила, что ей безразлично, когда вернется Божич да и вернется ли он вообще. Лучше бы уж вовсе его не видеть. Ей безразлично, что ждет ее завтра. Отвратительно, мерзко, ужасно жить с человеком, которого не любишь и который подсовывает тебя старому развратнику. А самое главное, что она встретила его, Павла Исаковича. Встретила совсем случайно. Трандафил задержал их на два дня в Буде: Божич собирался уехать раньше. Не задержись он тогда, ей так и не улыбнулось бы счастье!

Немного успокоившись, Евдокия, стыдливо прикрывшись, спросила, почему он так недобро на нее смотрит? Разве не видит, что она его безумно любит? Чего он так смотрит? Что хочет найти в ее глазах? О чем думает?

Исакович сначала упрекнул ее за то, что она пришла. Потом, неизвестно почему — кто знает, что двигало им в ту минуту,— сказал, что она очень хороша, но была бы еще краше, будь у нее зеленые глаза, обрамленные ресницами пепельного цвета. Выпалил он все это, сам не зная зачем, и в голосе его зазвучала насмешка. Павел вспомнил в эту минуту черногорку из лазарета.

Евдокия вздрогнула, поднялась на колени и, точно загнанный зверь, впилась в него глазами. Внутреннее чувство подсказало ей, что женщина с зелеными глазами где-то существует. И что Исакович, лежа в ее объятиях, вспоминал об этой женщине. Вскочив, как кошка, она осыпала его градом ударов, потом зарыдала, снова рухнула на постель и скатилась на пол, к окну. Громко плача, она кричала, что он боров, хам и мужик.

Но самым удивительным было то, что Павел в ответ лишь засмеялся. И ему уже не хотелось выставлять Евдокию за дверь, он поднял ее, нежно обнял и принялся утешать.

— Дурочка,— говорил он,— не надо меня слушать. Эта женщина с зелеными глазами — мне совсем чужая, она уже уехала, и между нами ничего не было. Да я вообще пошутил. Нет такой женщины! Жаль только,

что позоришь ты себя из-за вдовца-солдафона, который и любить-то толком не умеет. Нет на свете никаких ресниц пепельного цвета!

Однако Евдокия рыдала, твердя:

— Я знаю, есть она, эта женщина, моя разлучница! Мне ни разу в жизни еще не улыбалось счастье. Я надеялась обрести его хотя бы в нашей внебрачной любви. Божич вечно вздыхает по своей первой жене и старик Монтенуово — тоже. Мужьям первая жена всегда милее. Но ведь оба они — и Божич и Монтенуово — старые развратники. И вот теперь, после того как я решила — в тот самый миг, когда ты, Павел, садился в Буде в наш экипаж,— пренебречь родными, мужем, светом и без оглядки отдаться тебе, чего я дождалась? В моих объятиях ты вспоминаешь другую! И ведь даже не покойную жену, а какую-то потаскуху, появившуюся уже после нашего путешествия, какую-то дрянь с зелеными глазами и ресницами цвета пепла!

Говоря это, Евдокия тряслась от рыданий.

Досточтимый Павел Исакович не был ни шутником, как Юрат, ни фанфароном, как Петр, ни простаком, как Трифун. Допустив оплошность и попав с Евдокией как кур в ощип, он не знал, что ему делать, и лишь твердил, что женщины с зелеными глазами не существует на свете. Слезы Евдокии из-за черногорки, которую он встретил в лазарете и случайно, сам не зная почему, теперь вспомнил, казались ему смешными. И Павлу вдруг стало весело.

Тем не менее он все твердил, что смешно плакать из-за несуществующей женщины. Да и не бывает ресниц цвета пепла.

Однако женское чутье подсказывало Евдокии, что эта женщина существует и что Исакович, обнимая ее, Евдокию, вспомнил о той, другой. Прошло много времени, прежде чем Павлу удалось ее успокоить. И наконец после долгих утешений и ласковых слов, она снова отдалась ему.

Дрожащими от страсти губами она шептала, что вот уже несколько недель они с дочерью только о нем и говорят. Что он — единственная в ее жизни отрада. Единственная надежда!

Любовники — особенно когда они на крыльях любви —чудной народ, с ними в минуты страсти может случиться все, что угодно. Ничто в их мире не связано

с действительной жизнью, со здравым смыслом и благоразумием, им чужд трезвый взгляд на вещи. Поэтому возникшая между Павлом Исаковичем и Евдокией Божич любовная ссора, которая могла бы привести к полному разрыву, на самом деле еще больше их сблизила. Евдокия быстро забыла о женщине с зелеными глазами и отдалась Павлу с еще большей страстью и самозабвением. Она клятвенно уверяла, что никто не будет его любить так, как она!

Услыхав от кого-то — видимо от Копши,— что Исакович собирается в дорогу, Евдокия все же представить себе не могла, что его отъезд так близок.

Когда Павел понял это, он решил ничего не говорить Евдокии, страшась ее вспыльчивости и гнева. И на все ее вопросы отвечал уклончиво.

Она же до самого рассвета твердила, что все уже подготовлено, чтобы им вместе провести лето. Такая удача выпадает в жизни только раз. Она хочет, чтобы он пожил у них в доме. Хочет хотя бы месяц насладиться любовью. Мечтала о том еще в Буде, когда он впервые сел к ним в экипаж. И умрет с горя, если ее желание не исполнится.

Тщетно Исакович доказывал, что негоже ей в доме мужа заниматься такими делами, Евдокия уверяла, будто офицеры-сербы часто останавливаются у них в доме, почему же не остановиться там и ему? Божич в тюрьме, впрочем даже не будь этого, она все равно устроила бы так, чтобы остаться вдвоем с ним, с Павлом.

Заметив, что он смотрит на нее каким-то странным взглядом и молчит, она испугалась. При догорающей свече, которая мерцала, точно трепещущее в ожидании вечного покоя сердце, Евдокия всячески старалась перед уходом очаровать и задобрить Павла. Ей казалось, что он уже забыл о ночи в Визельбурге.

А Исаковичу было жутко, ему все чудилось, будто он обнимает свою покойную жену.

Жена, которую он при жизни не успел полюбить, теперь как бы воплотилась в Евдокии с ее страстным шепотом и объятиями, с ее черными глазами.

Только жена в его памяти оставалась бледной, молчаливой и смотрела грустно, как умирающая, а госпожа Божич — живая, сильная и пылкая — словно танцевала в его объятиях и порою, замирая от наслаждения, даже громко вскрикивала.

Лишь когда на улице перед трактиром забрезжил свет, Евдокия вспомнила, что ее могут увидеть в «Ангеле», что у нее есть муж и дочь и ей пора уходить.

Соскочив с постели, словно юноша с лошади, она начала одеваться, то и дело при этом целуя Павла. И тут же уславливалась о новом свидании.

— Буду ждать тебя в четверг. Сделаю так, чтобы дочери не было дома. Приходи. Только непременно. А то я сойду с ума.

Ей нужна его любовь! А о Божиче нечего и думать.

Она пойдет просить за мужа к генералу и генеральше Монтенуово. Они сделают все возможное, чтобы его освободить, говорила Евдокия.

— Но с тобой я расставаться не хочу! Не могу без тебя жить! — восклицала она.— Вся моя молодость прошла так нелепо с этим мерзким Божичем. Хочу вкусить хоть немного радости, пока я молода. Дочь у меня уже взрослая, скоро выйдет замуж. А это лето, это короткое лето я хочу провести с тобой. И ничто нас не разлучит. Даже Божич! Только смерть!

На свете столько несчастных, неудачных браков без любви, говорила она.

А ему, Павлу, надо забыть про Божича. Пусть думает только о ней, думает о том, как они проведут лето.

Она стремится к этому с того самого мгновения, когда он сел возле дома Трандафила в их экипаж, и умрет, если ее мечта не исполнится.

Исакович молчал.

На улице было уже совсем светло, когда Евдокия наконец ушла.

Она не захотела, чтобы Павел ее проводил.

Дома она скажет, что заходила к Зиминским, своим дальним родственникам, которые живут в трактире «Ангел».

Пусть он не беспокоится, она вошла сюда через двор из соседнего сада, тем же путем она и выйдет.

Исчезнет, словно тень, как в их первую ночь.

Текла не знает, что она ушла из дома, было уже поздно, разве что слуги видели. Дочь уже не ребенок, следит за каждым ее шагом. И все понимает.

Он, Павел, совсем вскружил ей голову, как ему только не стыдно! — воскликнула Евдокия на прощание.

Потом, тихонько приоткрыв дверь, повторила, что ждет его послезавтра у себя. И сделает так, что оста-

нется дома одна. Отошлет куда-нибудь гусар мужа. И Текла уйдет. Она, Евдокия, будет одна.

Послезавтра полнолуние.

А с ее постели так хорошо видна луна!

Исакович, словно против собственной воли, уже с раннего утра готовился в четверг, который был днем поминовения святых мучеников Прохора и Никанора, посетить Евдокию.

Условились, что она пришлет за ним экипаж.

Павлу в тот день было не до любви. Он решил признаться Евдокии, что уезжает по важным делам и свой отъезд отложить не может. Решил еще сказать, что стыдится их связи и не может да и не хочет быть любовником женщины, своей землячки, у которой есть муж и дочь на выданье.

Достойный Исакович надумал порвать с Евдокией. Он полагал, что к его возвращению сердечная буря в ее душе уляжется и она утешится с кем-нибудь другим, а о нем и думать позабудет.

Сначала он был потрясен, но ненадолго. Госпожа Божич его словно холодной водой окатила, когда при расставании в Швехате шепнула ему о той ночи в Визельбурге:

— Если спросили бы: «Где была?», сказала бы: «Ходила к белому зайцу».

Павел Исакович был человек простой, и он воспринял эти ее слова как святотатство, как оскорбление божественного начала любви. И хотя он не мог бы выразить это, он понял, что эта светская дама мало чем отличается от обычных гулящих девок.

Особенно неприятно ему было то, что она зовет его к себе теперь, когда ее муж сидит в тюрьме, а дочь, молодая очаровательная девушка, живет в том же доме. Павел чувствовал, что связь с этой распущенной женщиной кончится для него бесчестием и опозорит весь род Исаковичей. Что было, то прошло, думал он. Уступил мужскому желанию, и баста. С такой любовью надо кончать.

Он уезжает в Россию. Никто и ничто не может его заставить свернуть с пути, отказаться от своей цели.

В тот четверг — девятой седьмицы по Пятидесятнице 1752 года — в Вене с раннего утра стояла духота и страшная жара.

Даже вода в ушате, где Исакович долго полоскался и мыл ноги, была теплая, как в луже.

Ему было жарко. Думая о госпоже Божич, он позевывал.

Никогда еще он не был любовником замужней женщины.

О майоре Иоанне Божиче Исакович знал мало.

Корнет Зиминский, живший в этом же трактире, сказал Павлу, что Божич — человек скверный, душегуб, картежник и распутник. Что он богатый и наглый. И что на днях его будто бы выпустят из тюрьмы. Так, по крайней мере, говорит сам Божич. Другие же уверяют, что с ним все кончено и он останется в Шлосберге пожизненно.

На него, Божича, его же земляки, те, с кем он играл в карты, написали донос, сообщили, будто он опять что-то болтал об императрице. Впрочем, сам Божич тоже не остается в долгу. Он строчит доносы на всех, кто собирается ехать в Россию, и кроет их почем зря.

Павел, сам того не подозревая, попал в сеть плетущихся в «Ангеле» интриг. До сих пор Божич был известен ему лишь как всеми признанный герой.

В то утро Исакович долго колебался, идти ли ему вниз в столовую, вернее находившуюся на первом этаже кухню. Уже наполовину одетый, он все еще твердил про себя, что лучше, пожалуй, избежать свидания с Евдокией и, уехав не попрощавшись, избавиться от неприятностей, скандала и слез.

Для чего ему накануне отъезда снова встречаться с этой взбалмошной женщиной?

Лучше бы и вовсе ее не знать!

Да, она хороша собой, и тело у нее красивое, баба хоть куда! Но в эту ночь ему приснилось, будто они переходят по узкому бревну через пропасть. И пришлось тащить ее, как овцу, на спине.

Не зная, что ему делать, Исакович уселся на кровать. Было, вероятно, около десяти часов, когда он вдруг услышал разговор у двери и женский смех. Потом кто-то постучался к нему.

В тот же миг Павел увидел сквозь белую занавеску на застекленной двери силуэт трактирного слуги Сепа.

Поднявшись, он отворил дверь. Перед ним стояла Текла.

Точно пава она вплыла в комнату.

Павел онемел.

До его ушей донеслось хихиканье удалявшегося Сепа.

Текла Божич весело защебетала: да, ей известно, что он ждет к себе мать. А вот вместо нее явилась дочь. Знает, что он нынче должен быть у них, хотя мама о том и не заикалась, и вот прибежала сказать ему, чтобы он не приходил. Отец выпущен из тюрьмы. И пришел домой. Вернулся. Она, Текла, знает и то, что Исакович с ее матерью стремглав катятся в бездну. И боится за своего престарелого отца. Да и его, глупого, жалеет!

Голый до пояса Исакович только и успел надеть свою голубую гусарскую куртку, а потом остановился посреди комнаты, возле ушата с грязной водой, и следил, как Текла, разглагольствуя, прогуливается взад и вперед, каждый раз обходя этот ушат, словно драгоценную вазу с цветами.

Заметила она, конечно, и его постиранные портянки, сохнувшие на веревке под настенным зеркалом...

За те несколько недель, что они не виделись, Текла Божич очень выросла и повзрослела. От прежней болтливой девочки, с которой он познакомился в Буде в начале своего путешествия, почти ничего не осталось. Теперь она очень походила на мать — и лицом и фигурой.

В то утро на ней было легкое муслиновое платье цвета белой черешни, перехваченное в талии зеленым шелковым шарфом. На ногах — венские башмачки. На голове — огромная соломенная шляпа с искусственными полевыми цветами и красным маком. Одета она была, как бывшая любовница Павла — актриса из Венского театра.

Лицо ее было скрыто белым кружевным рюшем и черной вуалеткой. Торчал только упрямый носик, да поблескивали живые глаза — ни дать ни взять цареградская турчанка.

Глаза ее казались сейчас большими и напоминали материнские.

Исакович оцепенел.

Текла бросила свою широкополую шляпу на кровать и, смеясь, села.

— Я спасаю свою глупую маму, спасаю и вас,— сказала она.— Я знаю, что мои родители больше не любят друг друга, знаю, что мама и вы, капитан, встречаетесь.

Она задумчиво смотрела на Исаковича своими темными глазами, точно серна — на оленя, стоящего на опушке леса.

— Видимо, мама не рассказала мне всего, что произошло между вами в Визельбурге! Хотя в сказках говорится, что между матерью и дочерью не должно быть тайн.

Исакович был настолько удивлен и приходом ее и речами, что в первую минуту не знал, что делать. И только сказал, что негоже девушке одной приходить в трактир, что она болтает чепуху и он просит ее удалиться и как можно скорее.

— Немедленно уходите из моей комнаты! В трактире полно сербских офицеров, стоит им только вас увидеть, и они наболтают бог знает что! Кто знает, как мерзко могут истолковать люди ваш приход в трактир, к вдовцу. Очень глупо, что вам пришло в голову явиться ко мне сюда!

Она, смеясь, ответила, что у нее в «Ангеле» есть знакомые — семья Зиминских,— и никого не удивит, что она пришла к ним в гости.

— Я только зашла сообщить вам, что вернулся отец. Слышите? Или вы совсем оглохли?

Исакович, весь красный от смущения, промямлил, что он, мол, уважает ее отца, ценит его дружбу, рад его повидать и обязательно нанесет ему визит.

— Я,— сказал он,— друг Божичу.

Однако Текла лишь насмешливо поглядывала на капитана.

За последние несколько недель она не только повзрослела, но и очень похорошела, загорев на солнце. Это была уже не прежняя девочка, с которой он встретился в пути, а юная девушка, хотя ей едва минуло пятнадцать.

Лицо у нее еще оставалось кукольным, но уже как у взрослой куклы. И губы теперь были уже не по-детски мягкими, как во время путешествия, когда она дулась, а упругими и румяными, точно бутоны роз.

Черные брови казались нарисованными. А темные волосы спускались с шеи, словно хвост веселого жеребенка.

— Я знаю,— сказала она,— и о том, что мама была у вас в «Ангеле». Известно об этом и Зиминским. Но что будет, если узнает отец? Он вас убьет.

Исакович, изнывая от мук, снова принялся осыпать комплиментами Божичей, называя Евдокию твердыней нравственности, а ее мужа — рыцарем и своим другом.

— Никогда,— уверял он,— ваша мама не являлась ко мне, как это сделали вы, ее глупенькая, как гусыня, дочка. Может быть, госпожа Божич и заходила к нам в трактир, но только к своим родственникам, и на правах родственницы.

Текла в ответ только смеялась и смеялась от души.

— Откуда у мамы в «Ангеле» родственники? Черта с два! Она приходила сюда потому, что ревнует вас, ей хотелось узнать, нет ли тут какой-нибудь женщины. По правде говоря, поначалу меня тоже разбирало любопытство... Ну, теперь вам известно, что отец вернулся. А я еще немного посижу — как родственница — и уйду. Потом загляну к Зиминским. Так и лисичка делает, если верить словам моей тетки Ракич из Вуковара, вернее маминой тетки,— заметая следы, когда выпадает снег.

В ответ на это Павел грубо потребовал, чтоб она убиралась вон. И даже попытался взять ее за руки и вытолкнуть за дверь.

— Как не стыдно! — сказала она, упираясь.— Что если бы вы пришли к нам в гости, а вас стали бы выгонять? Я немного посижу и сама уйду. Прибежала сказать, что грозит несчастье... Мама только о вас и говорит. Ее терзает какая-то странная ревность. И она обманывает меня, клянется, что у нее с вами, капитан, ничего нет. Отец пока ни о чем не знает, но если кто-нибудь ему скажет, случится большая беда. Ведь я уже не ребенок, все понимаю. Отец никому не прощает обид! И ничего не забывает! Но война идет не между мною и им. Он очень ко мне добр, и я могу обвести его вокруг пальца. Вернувшись из тюрьмы, он спросил: «Ну, где твой длинный? Если бы этот капитан принес тебе, детка, счастье, я подписал бы обязательство каждое утро до конца дней своих чистить ему сапоги».

Тут Павел закричал, что она бесстыдница, плетет всякую чепуху и не уважает собственного отца. Пусть немедленно уходит, прибавил он. Не к лицу ей сидеть в трактире, в номере у постороннего мужчины, да еще вдовца, и болтать невесть что. Пусть уходит, да побыстрее.

Однако Текла Божич — дотоле такая же упрямая и

беззастенчивая, как мать,— вдруг стала серьезной и спросила:

— А вы уверены в том, что любовь замужней женщины принесет вам счастье? Какое счастье может дать замужняя женщина? Какое счастье может принести вам моя мать, Евдокия Божич? Она и раньше без зазрения совести отбивала у меня ухажеров, а теперь хочет отбить и вас. Но я не уступлю. Я знаю, что если бы мы ехали с вами из Буды вдвоем, без мамы, то вы поняли бы мой чистый порыв и посватались бы ко мне. А мама все испортила.

Ей известно, продолжала Текла, что капитан старше ее на двадцать лет, но какое это имеет значение? Они любили бы друг друга, пока оба молоды, а с годами, в старости, брак все равно ничего не стоит. Как брак ее родителей. А если и говорят, будто он чего-то стоит, то это вранье. Просто хотят скрыть от нас, что супружеская жизнь полна мерзости.

Да, она это знает.

Капитан — вдовец, но это вовсе не значит, что он должен оставаться вдовцом до конца дней своих. Она полюбила его в первое же мгновение, когда он сел к ним в экипаж и они выехали из Буды.

Внезапно Текла легла на кровать и приняла такую позу, какую, должно быть, видела на картинках, начала вздыхать и, широко раскрыв глаза, уставилась помутневшим взглядом на Исаковича.

Павел, не зная, что делать, крикнул, чтобы она немедленно встала и ушла. Ей нельзя дольше оставаться у него в номере.

И вдруг ему стало смешно, он обозвал ее взбалмошной девчонкой, сказал, чтобы она проваливала подобру-поздорову, что никакая она еще не невеста. Она только позорит отца и не понимает, до чего она развязна, противна и смешна. Никогда он не женится на девчонке, у которой еще молоко на губах не обсохло, закончил Павел.

И, подойдя к Текле, взял ее за руку, чтобы поднять с постели и выставить за дверь.

Текла встала и объявила, что сейчас уйдет. Она ведь пришла только предупредить, что они с матерью ходят по краю пропасти. И все.

А если он ее не послушает, прибавила она, значит, ему наплевать и на ее маму, госпожу Евдокию Божич.

Значит, он весь соткан из лжи и притворства. Значит, он просто охочий до баб вдовец! Да только он не в силах покорить женщину. Не любит он по-настоящему и ее мать, встреча с ним им обеим принесла одно только горе!

— Я ведь слышу, как мама плачет по ночам. Не следовало вам так с нею шутить! Она же у нас совсем сумасшедшая! — воскликнула Текла.— В семье Деспотовичей знают: если Евдокии что втемяшилось в голову, то и колом оттуда не вышибешь, она натворит бог знает что. Моя тетка Ракич, которая живет в Вуковаре, где гуси гогочут прямо на улицах, уверяет, будто мама — сумасшедшая! Может натворить все, что угодно, потом только диву даются. С самого утра, как только вернулся отец, она ходит по дому точно помешанная. И говорит только о вас, капитан.

Видя, что время идет, а девушка все не уходит, Павел начал ласково уговаривать ее уйти домой, снова напомнив о том, какой может разыграться скандал, если кто-нибудь узнает о ее приходе. Неприлично барышне приходить в гости к вдовцу, да еще в трактир. Потом Исакович сказал, что она слишком много болтает, хотя и сама не верит в то, что говорит. Ему нечего скрывать ни от людей, ни от Божича. Он глубоко почитает госпожу Божич, эту чудесную, безупречную и всеми уважаемую женщину. И польщен знакомством с нею.

И Текла ему тоже мила, прибавил Исакович. Она красивая и уже почти совсем взрослая девушка, она станет отрадой и гордостью для своих родителей. Говорят, она собирается замуж, а если ее увидят у него в комнате, пойдут разные толки. Позор падет на ее отца, известного офицера, и на мать. А ведь ее мать — всеми уважаемая дама. Возможно, госпожа Божич и приходила в «Ангел», но, разумеется, она никогда бы не отважилась нанести ему визит, хотя они и ехали вместе из Буды.

Текла поднялась с постели, на которую она опять было уселась, слушая Павла, подошла к нему и нежно взяла под руку.

— Почему,— спросила она,— почему вы говорите неправду? Отец учил меня: что лежит на сердце — пусть будет и на языке, а о последствиях думать не надо. Я знаю, что мама потихоньку уходила из дому, и

знаю, куда она уходила. Конечно, она заходила к Зиминским, но была и у вас. Я это чувствую. Я прямо ей об этом сказала, глядя в глаза. И мама не выдержала моего взгляда. Отвела глаза. Мама отбила у меня стольких ухажеров, а вот теперь и вас, мою первую любовь, хочет отбить. Нет, не выйдет! Вас я ей не отдам.

Вконец взбеленившийся Исакович заорал:

— Довольно! Хватит вам позорить отца и подозревать мать, словно она потаскушка. Уходите сию же минуту, или я вышвырну вас за дверь.

Текла выпустила его руку и печально склонила голову.

— Вы ничуть не лучше тех, кто, охотясь за моим приданым, хочет меня обмануть и затащить к себе в постель,— сказала она.— Вы просто лицемер и все! Вам наплевать на девичью любовь, вам нужна замужняя женщина. Сейчас я понимаю, почему вы сидели как чурбан, как турок на молитве, там, в траве, среди маков, на той поляне, когда мы ехали из Буды в Гран. Почему испугались поцеловать меня, девушку, которая дарила вам свой первый поцелуй. Хотели поволочиться за моей матерью! Хотели потешиться с замужней женщиной, а первая девичья любовь вам ни к чему! Но разве может быть настоящей любовью внебрачная связь?

А теперь, продолжала Текла, ее выдают за богача, который старше отца и у которого изо рта дурно пахнет.

Сейчас она уйдет.

Она, мол, пришла спасти его от беды, от недостойной офицера дуэли.

Надеялась, что он, быть может, переменился. И не потащит с собою в пропасть ее мать.

Вспомнит о той полянке, поверит, что она послана ему богом, что такова их судьба. И не пройдет мимо улыбнувшегося ему счастья — ее любви, которая вспыхнула в ней еще на пути в Вену, в лесочке, на лужайке, среди маков. Она так ждала его!

А он, безумец, волочится за замужней женщиной, видно, хочет и сам погибнуть от руки Божича и погубить ее маму!

Отец шутить не любит...

Увидя, что Текла встала и направляется к двери, Исакович обрадовался и захотел на прощание немного ее утешить, сказать что-нибудь ласковое, нежное.

Да и жаль ему стало эту девочку. Поддавшись порыву, он наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, как сестренку, как родную дочь.

А она обхватила его обеими руками и принялась целовать с такой страстью, словно ее научила этому Евдокия.

Исакович оттолкнул Теклу и хотел отворить дверь. А она стояла, побледнев, с трудом переводя дух. Точно ребенок, попытавшийся бороться со взрослым.

Павел все же решил наконец ее выпроводить.

Но не успел он отворить дверь, как на веранде послышался дикий крик. Кто-то орал во все горло. Потом принялся колотить в дверь, требуя немедленно открыть ее.

Отворив дверь, Исакович столкнулся с кричащей во все горло трактирной служанкой, которая каждое утро мыла лестницу, веранду и полы в номерах.

Эту рыжую, неряшливую, жирную бабищу звали Розой. Зеленый платок сполз с ее головы. Она орала во все горло:

— Где эта дрянь? Она разбила умывальный таз и не заплатила! Вот она где, оказывается, у капитана!

Павел в первую минуту не понял, почему она кричит и о чем идет речь. Он попытался захлопнуть у нее перед носом дверь, но служанка поставила ногу на порог: она решила войти в комнату, чтобы отодрать за волосы Теклу, прятавшуюся за спину Исаковича.

— Вот она, эта курва! Ходит в трактир к офицерам! Разбила таз и не хочет платить!

Павел шире отворил дверь и, увидев, что со всех сторон спешат на шум трактирные завсегдатаи, крикнул пьяной служанке, чтобы она убиралась вон, не то он спустит ее с лестницы.

Но та продолжала вопить и визжать.

Кто знает, чем бы это все кончилось, если бы не прибежал Сеп; он схватил пьяную служанку и, как мешок, поволок ее с веранды.

Исакович дошел со слугою до лестницы и только тут спохватился, что оставил девушку у себя в номере.

Он весь дрожал от ярости и отвращения.

Текла неподвижно стояла посреди комнаты в своем легком платьице и в шляпке и смотрела на него, испуганно вытаращив глаза.

Павлу вдруг показалось, что в этот мерзкий трак-

тир, который славонцы прозвали «Ангелом», заглянул чудесный летний день.

Девушка была очень бледна.

И все-таки, опустив голову, она засмеялась и воскликнула:

— Ну вот! Чего только не бывает в гостях у родственника! И чем все это кончится?

Тем временем прибежал с извинениями трактирный слуга Сеп.

Запыхавшись, он начал объяснять Исаковичу, что у горемыки Розы умер муж, и теперь, оставшись одна с малыми детьми, она точно обезумела. Напьется и уже ничего не видит, не соображает, что делает. Разумеется, ему известно, что барышня никогда ни к каким офицерам не ходила, да и к капитану пришла впервые, но что тут поделаешь? Он отвесил несчастной Розе две-три затрещины, но она упорно твердит, что, мол, эта дрянь разбила таз и не заплатила за него.

Исакович сказал, что сегодня же съедет из трактира.

Пусть Сеп позовет хозяина, а сам убирается вон.

Текла между тем с озабоченным видом вновь уселась на постель и сняла шляпу.

Глаза у нее были грустные.

Как она вернется домой?

Отец у нее добрый, но очень вспыльчивый. Если все всплывет наружу, ей плохо придется. Кто знает, что теперь будет.

А сейчас ей, Текле, предстоит столкнуться с глазу на глаз с матерью.

Ссора у нее не с отцом.

Ссора у нее с матерью, из-за него, Исаковича.

Она понимает, она чувствует, что в этой войне с родной матерью пощады не будет.

Утром она была так счастлива, так весела. Шла к нему и мечтала о поцелуях. А сейчас у нее на душе все померкло! Дома ее ждут трудные минуты, тяжкие и горькие дни.

Тут Павел заорал, что он самолично отведет ее к родителям и расскажет обо всем, что произошло. Ни в чем она не виновата. Не виновата и в том, что зашла к нему. Ничего дурного между ними не было. Он любит ее, как дочь. И ей нечего бояться.

Но девушка вдруг как-то сникла, казалось, она вот-вот расплачется.

Она ведь пришла предупредить дуэль между ним и отцом. Пришла, чтобы не пострадали ни он, ни мать, хотела воспрепятствовать большей беде. А что получилось?

Весь «Ангел» был свидетелем ее позора.

Все всплывет наружу.

Отец, может, и поверит, что между ними ничего плохого не было. Но мать ни за что не поверит. Она и так ревновала ее всю дорогу.

Исакович взял девушку за руку, погладил ее по голове и принялся утешать.

— Я уже не ребенок,— сказала она, глядя ему прямо в глаза.— Я знаю, что мать не любит отца и без памяти от вас. Никогда еще она так не влюблялась. Просто обезумела, бессовестная. Замужняя женщина, а потеряла всякий стыд.

Пусть капитан скажет правду: отдавалась ему ее мать или нет?

Услыхав это, Исакович точно окаменел.

Он смотрел на красивое лицо девушки, на ее черные глаза, на большую слезу, повисшую на ресницах, видел ее взгляд, полный ожидания и мольбы, и не знал, что ответить.

Она снова попыталась обнять его и повторила, что хочет знать правду. Пусть он поклянется спасением души той, что лежит в гробу.

Исакович опустил голову и сказал, что он связан с госпожой Божич узами любви. (Он даже сказал узами любострастия, которые один только господь бог может разорвать.)

Услыхав это, Текла медленно отошла в сторону и заплакала.

— Отняла вас у меня родная мать, отобрала! — восклицала она.— А я-то хотела молить вас оставить меня здесь, ведь после всего, что произошло в трактире, я боюсь идти домой.

Тогда Павел, потрясенный видом девушки, предложил ей остаться в номере, пока он сходит к Божичу, все объяснит и вымолит для нее прощение. Она ведь ни в чем не виновата.

Однако Текла, рыдая, только твердила, что его отняла у нее родная мать, что она этим сражена и ей очень больно.

Потом вытерла слезы и вдруг совершенно спокойно

попросила Исаковича проводить ее. Она не боится этой пьяной бабы. Ее тетку однажды тоже с кем-то перепутали вуковарские женщины, среди которых была даже попадья, и всю растрепали из-за одного офицера. Но она, Текла, боится этого одноглазого слугу, который так страшно смотрит. Ей кажется, будто у него под черной тряпкой глаз и он все видит.

Исакович быстро обулся, обхватил девушку за талию так, чтобы загородить ее своей широкой спиной, и повел через веранду. Они медленно спускались по ступенькам, точно слепые.

Павел хотел отвести ее домой.

Но Текла сказала, что сперва зайдет к Зиминским.

После отвратительного происшествия в «Ангеле» Исакович тотчас перебрался к Анастасу Агагиянияну.

Как буря, ворвался он к конференц-секретарю посольства Волкову и попросил поскорее выдать ему бумаги, чтобы он мог немедля покинуть Вену.

— Нужно спешить,— сказал Павел.— Хочется мне перевалить Карпаты еще до того, как занесет снегом Дуклю!

Увидя, что капитан вне себя, Волков решил: причина такого волнения скорее всего женщина, любовь. (Ах, стройные ножки! Ах, чудесный цвет лица! Ах, пышная грудь!)

Он спросил, побывал ли уже Исакович у первого секретаря Чернёва и получил ли паспорт. Павел ответил, что с этим все в порядке. (Он сказал: «gegeben!»)

Волков еще раз напомнил ему, чтобы денег в дороге он не жалел, а о своей миссии молчал как могила. Потом прибавил, что в области вдоль Савы послано еще несколько офицеров, его земляков, по тому же поводу. Пожелал ему удачи. А все прочее, мол, сделает Агагиниян. Потом Волков вскользь заметил, что возникли некоторые трудности: не решено еще, какие чины получат его братья в русской армии, но все это уладится по их приезде в Киев.

— Может, вашим братьям стоило бы приехать в Вену и представиться графу Кейзерлингу,— сказал в заключение второй секретарь.— Кстати, черногорцы, родичи владыки Василия,— прибавил он,— будут отправ-

лены в Россию через Саксонию. И Кейзерлинг очень доволен, что все так хорошо кончилось.

Павел о черногорцах уже и думать позабыл.

И теперь перед его глазами вдруг снова всплыли картины нищеты, грязи и ужаса, которые он видел в лазарете, и он снова вспомнил красавицу черногорку с дочерью, у которой распухла шея. (Доктор Долчетти сказал ему, что если бы девочку не увезли в больницу и не вскрыли нарыв, она умерла бы.)

Павел на какое-то мгновение опять увидел ее крепко сбитую, точеную фигуру, писаное лицо, венецианскую шапочку на голове, большие зеленые глаза и длинные пепельные ресницы. И, сам не зная почему, обмер, вся кровь прилила у него к голове.

Перед тем как покинуть трактир «Ангел», Павел настрочил на скорую руку письмо родичам. Ему хотелось, чтобы письмо это через Копшу и Ракосавлевича в Буде прибыло в Темишвар еще до его приезда.

Исакович был человек не очень-то грамотный.

Немудряще, но сердечно, он успокаивал родичей и сообщал о своем скором прибытии в Темишвар. Писал, что возвращается он для того, чтобы продать усадьбу и лошадей. А паспорт он уже получил!

Паспорта получат и они, и все, кого Шевич внес в свой список. Комендатуры в Темишваре, Варадине и, разумеется, в Осеке получат соответствующие указания.

Таким образом, бояться им больше нечего, ничто и никто изменить этого не может — ни Гарсули, ни кто-либо другой. Пусть готовятся в путь, собираются в Россию!

Он же, покончив с делами, уезжает из Вены. Исакович сообщал также— после смерти жены он стал застенчивым, чувствительным и заботливым,— что купил для Анны два локтя красивых серебристых голландских кружев, для Кумрии — два локтя очень красивой голубой тафты и для Варвары тоже, но фиолетовой. И еще всем трем он привезет миланские носовые платки, отороченные кружевами. Пусть потом сами поделятся.

Написал он и о том, что купил Петру, Юрату и Трифуну по несколько локтей таких золотых гайтанов, какие им и не снились.

Павел покупал все эти вещи, не имея о них никакого понятия, покупал без всякой охоты, только ради то-

го, чтобы задобрить своих родичей, перед тем как тащить их в далекое путешествие.

Потому он всячески обхаживал их в письме и называл ласковыми именами.

В те времена в Среме такие подарки были редкостью в семьях сербских офицеров и торговцев Темишвара.

Письмо при посредстве Копши и Ракосавлевича шло быстро и прибыло до приезда Павла. Оно сохранилось в архиве лейтенанта Исака Исаковича, их весьма болезненного родственника, который тем не менее пережил всех братьев.

Витиеватый почерк Павла говорит о том, что он был человек положительный, самоуверенный и хотя вспыльчивый, но очень мягкий. Подписывался же он по испанской моде, принятой в то время среди австрийских офицеров. Большая буква «П» в его имени походила не то на акацию с накинутой на нее петлей, не то на аиста, которому свернули шею, не то на кривую саблю.

Потом стояло несколько черточек, напоминавших тропинки среди бездорожья, а в конце завитушка — ни дать ни взять улетающие куда-то вдаль дикие гуси.

Когда измученным, униженным и до предела раздраженным сербским офицерам, проживавшим и скрывавшимся в трактире «У ангела», стало известно, что Исакович получил паспорт и уезжает, они принялись его разыскивать и вскоре обнаружили на квартире Агагияниянa. Началось сущее паломничество туда, все спрашивали лишь об одном: есть ли еще надежда дождаться лучших дней и переселиться в Россию?

Когда в «Ангеле» расставались с отъезжающими, обычно звучали настойчивые просьбы, клятвы, плач, а многие в такие минуты обнимались, братались и роднились.

Эти настрадавшиеся горемыки совсем отчаялись и потеряли уже всякую надежду.

Исакович больше помалкивал. В «Ангеле» он общался, да и то не слишком, лишь с одним офицером, Марко Зиминским, что весьма обижало остальных. И под конец его даже за глаза ругали на чем свет стоит. Никто даже понятия не имел о том, что Кейзерлинг посылает капитана Исаковича в Срем, на Саву, туда, «где черногорцы переходят в Митровицу».

«Болван этот Кейзерлинг! Настоящий Гарсули! От-

куда взяться там черногорцам? Как из Митровицы перейдешь в Россию?« — думал Павел.

Когда Исаковичи были приняты в австрийскую армию, они отлично ездили верхом, хорошо стреляли на скаку из пистолета и прославились отнюдь не своей образованностью, а тем, что брали в плен вражеских офицеров — ночью, в засаде, или во время атаки.

Однако в армии они многому научились. И не только командовать по-немецки, правда на довольно странном языке (вместо: «Wer da?» — сирмийские гусары кричали: «Бер до?»), но и толково объяснять солдатам, как пользоваться седлом, лошадью, пистолетом, как брать барьеры и тому подобное. Обучили их в Осеке и читать географическую карту. И они могли разыскать на ней любой укрепленный городок, вдоль Савы или Границы. Любой монастырь. Любой остров. Каждый шанец в славонском пограничье.

Откуда же было взяться у Митровицы переселяющимся в Россию черногорцам?

И досточтимому Павлу Исаковичу все чаще чудился смех его братьев. Он представлял себе, как толстый Юрат кричит, что его выросший на конюшне вахмистр Пивар ориентируется по карте лучше, чем Кейзерлинг. И потому граф все больше напоминал Павлу русского Гарсули.

Исаковичу, как и его землякам в Вене, казалось, что с отъездом Бестужева для сербов наступили трудные времена. Кейзерлинг, на их взгляд, был чужой, иностранец, немец, он как жук-точильщик вгрызся в могучий русский дуб, он несет им всем, переселенцам, несчастье. Он ненавидит владыку Василия и Черногорию. Ему безразличны их слезы. Он не русский и только слушает, что ему нашептывают австрийцы.

Исакович вспомнил, как однажды Волков в шутку заметил, что в Вене все берут деньги.

Тем не менее Павел ошибался.

Кейзерлинг не был русским, но он не служил ни Австрии, ни Пруссии, ни Саксонии. Этот остзейский барон на русской службе и в самом деле решил покончить с политикой Бестужева, но вовсе не потому, что продался Марии Терезии, а для того, чтобы еще крепче связать Австрию с Россией. Не собирался он изменить и делу сербов. Однако переселение сербских офицеров казалось Кейзерлингу мелочью, пустяком. Оно могло поме-

шать дипломатической игре, которую он вел с Марией Терезией.

Бестужев переправлял сербских офицеров в Россию, рекомендовал их двору, ради их, как он выражался, «неизмеримой преданности русскому народу». Кейзерлинга это не занимало. Он считал, что для России гораздо важнее добиться того, чтобы австрийские войска выступили против Турции. А размышлять, что и как будет потом, не входило в его обязанности: это решали в Петербурге. И ему порою приходилось, как Павлу Исаковичу, лишь твердить: «Слушаюсь!»

Он недавно приехал в Вену и только что представился императрице. Понравился ей и теперь боялся, как бы не испортить ее милостивое отношение к себе.

Кейзерлинг проводил с императрицей дипломатический медовый месяц.

Он не намеревался бросать сербов на произвол судьбы, ни тем более предавать их.

— Пусть переселяются в Россию,— говорил он.— Однако нежелательно, чтобы они переселялись целыми селами. Совершенно нежелательно!

То, о чем еще не знал Исакович, был уже ранее упомянутый нами интерес Кейзерлинга к вопросам веры.

Еще будучи в Польше, он покровительствовал православным. И хотя Кейзерлинг — как и большинство просвещенных людей Европы того времени — сам в бога не верил, был атеистом, он все же защищал от католиков дело православия. И следя за тем, что делается и что говорится в ортодоксальной Вене, он вовсе не собирался равнодушно взирать на то, как ее, подобно морской волне, захлестывает католицизм.

Новый русский посол в Вене с согласия русского двора в вопросах веры придерживался той же политики, что и Бестужев, и проводил ее не менее упорно, чем Бестужев.

Накануне отъезда из Вены у Исаковича было две встречи, о которых он никому не рассказывал. Первая— с его родичем, корнетом Зиминским в «Ангеле», вторая — с черногоркой, которую он впервые увидел в лазарете на Дунае.

Зиминский был единственным офицером, с которым Павел, живя в трактире «Ангел», общался, а желание повидать еще раз черногорку было просто непреодоли-

мым. Исакович уверял самого себя, что им движет жалость.

Да и как объяснить то, что не поддается объяснению!

Зиминского Павел повидал в полдень, когда тот с женою и свояченицей обедал, вернее тщетно старался утолить голод.

Обедали в «Ангеле» в то время на кухне, на первом этаже, точнее в полуподвале со стенами из красного кирпича, которые каждый день мыли.

Трактирный слуга Сеп Руч жил в этой же кухне-столовой,— возле окна. Никогда не унывая, он целыми днями напевал и насвистывал. Его смех звучал то в погребе, то на лестнице, то на втором этаже. Этот человек был, как видно, доволен своей жизнью.

Усевшись у окна чистить картофель, он неизменно следил за Павлом.

Павел ел из турецкого военного котелка и никогда не пил пива. То, что статный красавец офицер не пьет пива, а все время подходит и пьет воду из бочонка, который словно в ярме висел среди комнаты на козлах, постоянно смешило и удивляло Руча.

И он каждый раз вставал, когда Исакович подходил к бочонку.

Зиминский был самый угрюмый человек среди сербских офицеров в «Ангеле». Все прочие, невзирая на муки и опасности, были люди веселые и громкоголосые. К Исаковичу они подходили неохотно и, если подходили, то лишь для того, чтобы, как мы уже упоминали, спросить: «Есть ли надежда, что и мы когда-нибудь увидим Россию?»

В большинстве своем то были молодые фендрики, корнеты, лейтенанты, люди холостые и одинокие, а если кто из них и был женат, то оставил жену в Потисье или Поморишье до тех пор, пока не раздобудет в Вене паспорт. Они считали Исаковича дурным человеком, тем более его считали таким их жены. Надутым и чванным, который только и знает, что режется в карты. Все они порядком обеднели и были раздражительны, измучены, готовы на клевету и донос. Но не это отделяло их от Исаковича, их возмущало то, что когда они по вечерам, позабыв о всех бедах и горестях, веселились, Исакович, насупившись, молча проходил мимо.

Например, Милка, жена уехавшего из «Ангела» в

Россию лейтенанта Петра Шевича, считала Исаковича очень злым, спесивым и холодным человеком. Эта красивая, молодая брюнетка, щедрая и веселая, обычно говорила о Павле: «Ах, чтоб ему! Вытянулся как тополь! Ни тени, ни плодов!»

Но Марко Зиминский любил Исаковича.

Зиминскому исполнилось всего двадцать лет. Он давно уже разгуливал по «Ангелу» в ожидании паспорта. Дни проходили, денег становилось все меньше. В одной рубашке, в узких красных гусарских чикчирах и коротеньких сапожках, которые чистила ему жена, Марко мелкими шажками переходил из одного номера в другой или мрачно сидел по вечерам в самом темном углу столовой.

Он ни за что не хотел отказаться от переселения в Россию, хотя Австрия в то лето начала наделять землею всех, кто оставался. Им давали не только землю, но даже пенсион и дворянство.

Исаковичу тоже нравился этот его родич.

Низкого роста, с впалыми щеками, короткими усиками и торчащими, как иглы у ежа, волосами, Марко не казался уродом, но глаза у него были какие-то странные — маленькие и очень блестящие, а сам он отличался, видимо, величайшей копотливостью, вечно запаздывал на смотры и парады. Пуговицы на мундире Зиминского, к его удивлению, почему-то всегда отрывались, и он каждый раз клялся, что этого больше никогда не повторится. Ему приходилось в последнюю минуту пришивать их на себе.

Но при этом был он отличный наездник, храбрый офицер и сердечный человек. За товарища готов был душу отдать.

Он следовал за Павлом по трактиру словно тень.

У него была маленькая красивая жена, а у нее — младшая сестра, такая же красивая, но хромая. Потеряв надежду выйти когда-нибудь замуж, она чувствовала себя среди мужчин очень неловко. Но Зиминский хотел ее просватать во что бы то ни стало.

Марко Зиминский знал, что у Исаковича умерла жена, и считал, что эта молодая красивая девушка, несмотря на свою хромоту, будет хорошей женою для Павла, которого он очень почитал, как старшего и богатого родича и юнака.

И Павел тоже охотно с ним встречался. Однако по-

следняя их беседа закончилась вовсе не так, как того хотелось Зиминскому.

Когда Исакович простился с г-жой Зиминской, Марко вышел с ним, чтобы сказать ему несколько слов. Пробормотав что-то невнятное на деревянной веранде, он предложил Павлу спуститься в столовую.

Они уселись в углу, и Зиминский сказал, что его жена видела, как к Исаковичу приходили госпожа Евдокия Божич и ее дочь Текла. Видела своими глазами.

Он пригрозил жене, хотя никогда еще так не поступал, поколотить ее, если она кому-нибудь даже заикнется об этом. Жена поклялась молчать, но ведь известно, как мучает тайна любую женщину, пока она ее не выскажет, потому-то женщины и сходятся «поболтать». Вот он и хочет предупредить Павла, чтобы тот остерегался Божича, ведь у Божича на совести уже два убийства.

Исакович на это спокойно ответил, что госпожа Божич действительно приходила к своим родственникам, но никогда не поднималась даже на веранду. Вероятно, госпожа Зиминская ошиблась, ей просто показалось, почудилось в полумраке.

Огорошенный Зиминский, немного помолчав, пробормотал, что не только его жена, но сам он тоже видел Евдокию Божич.

Исакович в ответ на это сказал, что, значит, Зиминский тоже обознался в темноте.

Что же касается Божича, то не так страшен черт, как его малюют. И никто не знает, у кого сколько убийств на совести.

Кому придет в голову прийти к нему, Исаковичу? Какая дура явится с визитом к вдовцу?

Однако им пора расстаться, закончил Павел, чтобы потом встретиться, по-человечески, уже в Киеве. И он обнял на прощание Зиминского.

— Надеюсь,— прибавил он,— что мы встретимся в Киеве еще в этом году.

Когда Павел ушел, все завертелось в голове Зиминского. Казалось, крыша валится ему на голову. Родич, которого он так уважал, офицер, которым он так восторгался, человек богатый, достойный — и вдруг лжет!

Для Зиминского это было едва ли не самым тягостным переживанием в жизни. Он стоял, сбитый с толку, и долго смотрел на дверь, за которой исчез Исакович.

Когда Марко поднялся к себе наверх и жена тревожно спросила, предупредил ли он Павла насчет Евдокии и что тот на это ответил, Зиминский сказал, чтобы она помолчала и хотя бы на минуту оставила его в покое.

Пусть она ни о чем его не спрашивает, прибавил он. И не надо им в это дело вмешиваться.

— Я говорю ему, что мы всё видели, говорю, что Божич убийца, а Павел только смеется и смотрит как баран на новые ворота. Погибнет он из-за женщины и, что хуже всего, опозорит наш род. Сам Божич его убивать не станет, просто подыщет какого-нибудь негодяя, который сведет счеты с Павлом в темноте, и концы в воду! А ведь до сегодняшнего дня я все еще надеялся женить Павла на твоей сестре. Но я все равно найду ей мужа.

Вот каким образом Павел Исакович, который казался Зиминскому исполином, столпом, дубом, что стоит наперекор всем стихиям, утратил свой прежний ореол в глазах юного корнета.

— Никакой он не столп, не дуб, он просто старый пень,— с горечью шептал Зиминский.— Отперся от того, что к нему приходили женщины, солгал! Видно, он похож на того нищенствующего монаха, который ходил ночевать в село Рибарицу к богомолке и записал в поминальную книгу: «Село Рибарица. Дала богомолка кружок сыра и штуку полотна»...

Солнце в Вене уже зашло, когда Исакович во второй раз пришел в лазарет.

Доступ туда был теперь свободен: транспорт черногорцев уже готовился к отъезду в Россию.

Исакович шел молча в сопровождении Баевича и караульного офицера. Его походка была ленива и небрежна.

К лазарету подогнали барку. На ней уже горели фонари. С барки черногорцам выдавали одежду, белье, пищу, воду и соль. У лазарета сновали какие-то лодки, а длинная вереница крытых возов вытянулась на песчаном берегу.

Радуле Баевич встретил Исаковича приветливо.

— Нам известно,— сказал он,— что вы нас вызволили из беды и что Россия нас не забыла. Все, кто в силах, готовятся уезжать. И вдруг, перед самым нашим отъездом, Вена опять словно с ума спятила. Отобрали у нас всю одежду и выдали новую, еще более чудну́ю и пест-

рую. И какое-то уж совсем немыслимое белье. Едва я народ утихомирил. До самой смерти люди не забудут, что побывали в Вене.

Исакович, как бы вскользь, спросил о женщине с больной дочерью. Баевич сказал, что девочка поправилась. Ей сделали разрез на шее, и сейчас у нее горло просто царское. Она совсем здорова. У ее матери брат живет в Киеве. Потом Баевич стал жаловаться, что им не вернули оружие. И заторопился делить хлеб, привезенный в караульное помещение. Исакович спросил, может ли он повидать эту девочку, которую вылечил медик, и ее мать?

— Йоку, жену Стане Дрекова? — хмуро спросил Баевич.— А зачем она вам?

Павел стоял на понтонном мосту, глядел на красный закат, вернее на еще пламеневшие на глади Дуная его отблески, и спрашивал самого себя, чего он хочет и зачем явился сюда.

Не дождавшись ответа, Баевич насупился и ушел.

А дети, как козлята, подбегали к офицеру, которого узнали по треуголке. Как раз в ту минуту, когда Баевич направился к людям, выгружавшим из лодки какие-то бочки, Исакович увидел ту, которую искал. Черногорка вышла из лазарета и спустилась на берег, к караульному помещению. Положив на голову несколько хлебов, она повернула обратно, поднимаясь по узкому бревну. Видела ли эта женщина, как он пришел, или только теперь его заметила, Павел не знал, но в десяти шагах от моста она вдруг остановилась и пристально посмотрела на него. Потом неторопливо стала приближаться, неся на голове хлебы.

На ней было поношенное черное платье, сидевшее мешком.

Когда она, некрасиво семеня ногами, медленно подходила к нему все ближе и ближе, напоминая столп, по которому вьются черные змеи, он окликнул ее.

Женщина покраснела.

Павел спросил, где ее дочь и муж.

Решив, что Исакович, видимо, командир отряда стражи, который распределяет хлеб, и на его вопросы полагается отвечать, она подошла к нему совсем близко. На ногах у нее были шелковые голубые туфли с оторванными каблуками, поэтому она и ходила как босая.

Черногорка спокойно, будто увидела его впервые,

ответила, что она Йока, жена Стане Дрекова, что ее муж в Триесте, он опозорил и бросил ее. Надоело ему тут ждать, и он удрал. А она едет в Россию, к брату. Поедет, верно, и Дреков. А его, капитана, кто бы он ни был и куда бы ни ехал, пусть наградит бог за все то, что он для нее сделал. Только теперь она поняла, что дочка была близка к смерти и умерла бы, не приведи капитан того врача. И тогда будто солнышко красное взошло! Женщина смотрела на Павла спокойно, но радость светилась в ее больших, широко раскрытых зеленых глазах, а ресницы у нее и впрямь были совсем пепельные.

Чтобы лучше разглядеть ее, Исакович нагнулся с понтона и почти вплотную приблизил свое лицо к ее лицу. Он сказал, что тоже едет в Киев и на месте Дрекова никогда не бросил бы ее.

И тут же раскаялся, увидев, что лицо женщины покрывается смертельной бледностью и глаза ее меркнут. Она пробормотала, что капитан, видно, из тех, кто носит на голове вместо своих чужие волосы, снятые с мертвеца. Зачем он говорит неправду, будто едет с ними в Россию? Кто он такой?

Исакович сказал, что если б он даже хотел, то не смог бы ей солгать. Он и в самом деле едет в Россию, а ее, если бы только мог, нес бы на руках и берег как зеницу ока. И пришел он сюда, чтобы это ей сказать!

Женщина молча постояла возле своих хлебов, которые опустила с головы на землю, открыв при этом свои черные косы, походившие на клубок змей. Но когда Исакович, точно обезумев, повторил, что пришел ей об этом сказать, она переменилась в лице. На ее губах появилась странная улыбка, как у женщины, которая могла бы многое сказать, но не хочет. Потом она подняла хлебы и пошла к лазарету, как будто Павел ничего и не говорил. Но в ее походке, в покачивании бедер появилась какая-то легкость, которой не было прежде. Исакович смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась в темном проходе лазарета.

В бумагах, оставшихся после Исаковичей, не обнаружено никаких сведений об этой женщине.

Покидая точно беглец Вену и дом Агагиянияна, Исакович испытывал странное чувство. Словно идя в атаку, он вдруг повернул совсем в другую сторону, оставляя

и столицу и г-жу Божич, будто никогда их не видел и нет ему до них никакого дела.

Приехавший за Исаковичем экипаж Волкова, запряженный белыми лошадьми, на которых в те времена обычные путники не ездили, должен был отвезти Павла по определенному адресу в городок Рааб. Там его должна была ждать карета купца Кречаревича.

Все это устроил молодой армянин, помощник Копши.

Однако в тот день кира Анастаса словно подменили.

Исакович в дорогу надушился и разоделся, но вид у него был весьма грустный. Впрочем, и Агагиянииян — всегда улыбающийся щеголь,— впервые со времени их знакомства, был невесел. И теперь этот чернобровый и черноглазый человек походил уже не на ворона во французском фраке, а скорее на мокрую ворону. Несмотря на черный фрак, он весь как-то побелел в своих белых панталонах, белых чулках и белом жабо.

Точно на похороны собрался.

Жизнь, говорил он, для бедняка сплошное страдание. На всем белом свете нет места для армянина, некуда ему податься, всюду он будет мучеником. Хорошо Исаковичу, у него есть родичи, и он к ним едет. А вот у него, Агагиянияна, турки вырезали всю его семью, он верой и правдой служил русским в Цареграде, а теперь в Вене служит Волкову и чего дождался? Сильно разочаровал его Волков. Вчера — впервые с тех пор, как они знакомы,— ударил его тростью. Из-за женщины! Никак не ожидал он такого от секретаря посольства. С каким удовольствием он уехал бы сейчас с Исаковичем и никогда не возвращался бы в Вену.

Слушая молодого армянина, Павел подумал, что несчастных на свете тьма-тьмущая. Как звезд на небе. И ему стало жаль Анастаса.

В качестве кого, спросил Павел, он и Копша работают у конференц-секретаря посольства и почему русские суют их во всякое дело, точно укроп в похлебку. И тут впервые Агагиянииян откровенно рассказал, что он — и переводчик, и почтальон, и сводник, и тайно меняет Волкову дукаты. Надо ведь на что-то жить, если у человека нет ни дома, ни семьи. Копша состарился. Боится малейшего риска. Но он может поставить капитану печать на любой паспорт — и на австрийский с двуглавым австрийским орлом, и на русский с двуглавым рус-

ским орлом и с царской короной, может поставить подписи венского полицмейстера и офицера гауптвахты. И все они будут фальшивыми!..

Наконец наступила минута отъезда.

Человека в огромной соломенной шляпе на голове, который вез Исаковича, звали Шиф. Агагияниян тепло его отрекомендовал. Этот пожилой дунайский рыбак отлично знал дорогу и умел держать язык за зубами. Ничего не спрашивая, он усадил Исаковича, точно куклу, в экипаж.

Павел спрятался под черным кожаным верхом, словно боялся, как бы глаза Евдокии Божич не увидели его с небес.

Редкие прохожие в предместьях Вены испуганно сторонились бешеных белых коней. Поднятые ночью, кони все еще тревожно храпели. Выехав из Вены, кучер Агагиянияна, вернее Волкова, погнал в Швехат так, будто вез Павла на свадьбу.

Исакович смотрел, как мелькают придорожные дубы и каштаны, как проплывают мимо последние, окруженные садами белые дома и далекие перелески. Зайцы перебегали дорогу, лисы выглядывали из канав. А когда поднялось солнце, Павел увидел и серну.

Серна подпустила их совсем близко, он ласково протянул ей руку, и она побежала за экипажем, как жеребенок.

Сквозь дрему Исакович услышал замечание Шифа, что серне недолго осталось жить. В этом краю часто охотятся.

Экипаж катил все дальше, Павел клевал носом, поглядывал на деревья, которые уже видел, когда ехал с Божичами, и думал о том, как велика разница между здешними местами, где можно легко убить серну, и Сремом, где за это можно поплатиться головой, если не умилостивить его сиятельство графа в Осеке.

Он вдруг заметил, что его воспоминания о жене снова перемешиваются с воспоминаниями о Евдокии Божич. Сейчас она преследовала его своим шепотом, глядела полными желания глазами, словно заменила жену. Досадуя и стыдясь, что он поддался похотливому чувству и спутался с этой женщиной, Исакович клялся больше никогда ее не видеть. Вспомнил он и слова Зиминского о том, что поединок из-за госпожи Евдокии Божич с ее мужем — если дело дойдет до этого — ля-

жет позорным пятном на всех, кто собирается уезжать в Россию. Исаковичи, эти простые и бесхитростные люди, не отделяли своих невзгод от невзгод сербского народа. И особенно внимательно следили за тем, чтобы не опозорить народ ни своим поведением, ни личной жизнью.

Потому достойный Исакович, мчась в тучах пыли из Швехата к венгерской границе мимо перелесков, болот и солончаков, еще раз поклялся навеки остаться вдовцом. И никогда не забывать покойную жену.

Тело покойной Катинки, которое он когда-то обнимал, теперь казалось ему необычайно красивым и целомудренным. И тень мертвой жены, не отступавшая ни на шаг от Евдокии Божич, становилась все милей его сердцу. Прошлое было прекрасно, гораздо лучше настоящего!

То, что Катинка, такая добрая к нему, прожила с ним в браке всего лишь год, казалось Павлу величайшей несправедливостью на свете. Смерть жены потрясла его, но он смирился с нею. Стряслась беда не такая уж редкая в жизни. Однако сейчас — после того как прошло столько времени — жена все чаще приходила ему на ум, когда он укладывался спать, или снилась во сне, и эта несправедливость казалась ему все ужаснее. Воля рока представлялась ему низкой, злой, коварной, свирепой, неодолимой и беспощадной!

Лошади ржали.

Тяжелое, синее, будто свинцовое, небо, цветущие каштаны, придорожные вербы, дубы, пробегавшие мимо зайцы и лисицы, которых он видел в сумерках,— все потеряло для него смысл, ничто его больше не трогало. Пролетало мимо. Пролетало без следа.

Пролетало, словно он ехал с закрытыми глазами.

А ехал он сейчас à la grande!

Статный, в высоких сапогах, в обтянутых белых лосинах, в темно-синем офицерском мундире с белыми отворотами, с красными лентами в волосах и расшитой серебром грудью, Исакович сейчас походил... на куклу!

И держался он надменно.

На его треуголке была теперь русская кокарда.

А его лицо, напоминавшее конференц-секретарю посольства Волкову древнего воина, убивающего свою жену, чтобы та не попала в руки римлян, не было уже ни веселым, ни полным достоинства. И синие глаза смо-

трели сейчас устало; и улыбка на красных губах под пшеничными усами, так чаровавшая женщин, больше уже не была ласковой.

Вена пропитала Исаковича горечью...

По пути в Буду его впервые остановили на развилке дороги, которая сворачивала в Эйзенштадт. Караульный офицер известил коменданта рапортом, что русский капитан Исаков проследовал по пути в Буду с тем, чтобы задержаться в Визельбурге. Паспорт у него в порядке. О чем Франц Баумайстер, корнет пограничного караула номер 7, покорно извещает.

Ohngehindert passiert, Grenzpost № 7[1].

Исакович прибыл в Визельбург лишь на следующий день.

А ночевал он во ржи, усеянной маками.

Позднее Павел рассказывал, будто и сам не знал до последней минуты, что заедет в Визельбург.

Это вовсе не было любовной тоской по г-же Божич. Исакович рассказывал, будто на том пути он часто видел на краю дороги одуванчик, который не выносит даже человеческого дыхания: цветок этот, говорила Евдокия, сравнивают с женской верностью, а его следовало бы сравнивать с мужской любовью. Достаточно на него дунуть, и одуванчик разлетается, будто волшебная паутина в заколдованном царстве...

Честнейший Исакович не думал во время того пути и о Текле.

Ему просто хотелось, как можно дольше наслаждаться тишиной звездной ночи, проезжать безлюдные поля, леса и болота, хотелось, чтобы где-то далеко на горизонте синело небо.

То, что приходится возвращаться той же дорогой, казалось ему нелепым. Его переселение в Россию получилось совсем не таким, каким он себе представлял.

Все кругом рушилось, точно карточный домик: нужно зачем-то возвращаться в Темишвар! А то, что произошло с ним в Вене, казалось Павлу какой-то нелепостью. Нелепым было поведение и Евдокии Божич и ее дочери, а все прочие были и вовсе глупцы. Все царство, которое он теперь покидает, походило на сумасшедший дом. А войны, в которых он участвовал — сейчас казались ему озорными проказами парикмахера-великана, который причесывает всех по своему вкусу. Причесы-

[1] Проехал без задержки, пограничный пост № 7 *(нем.)*.

вает и царицу, и венский двор, и Евдокию Божич, и его, Павла, и всех остальных, и лжет при этом верующим во Христа миллионам. Вéнки вздыхают и охают, льют слезы, шепчут влюбленно, будто любовь для них — вопрос жизни или смерти. А потом преотлично сходятся с другими мужчинами.

И австрийская армия — христианское воинство, которое направляло сербскому народу столько посланий с уверениями в веротерпимости, обещало привилегии, выражало соболезнование и призывало на борьбу с неверными во имя Христа,— тоже ничуть не лучше. Ею командуют комедианты в париках, картежники, лгуны, авантюристы и продажные шкуры. Они именуют себя щитом христианства, но целых тридцать лет они предавали огню и мечу не только убогий сербский край, но и христианские земли Франции, Фландрии, Пруссии, Чехии и Италии.

Да и стольная Вена, по которой вздыхали жены сербских коммерсантов, считая ее райским местом, где высятся мраморные дворцы, зеленеют сады и где по улицам скачут, играя копытами, белые красавцы кони, тоже оказалась средоточием лжи. Там все продажно. Ничего нельзя получить без взятки. И взятки берут все, без зазрения совести.

Жители столицы считали высшим признаком утонченности закут, откуда несло вонью и на двери которого был нарисован белый заяц, сидящий на желтых яйцах. Эта часть дома считалась главной, будто в ней хранилась фамильная реликвия, колыбель или гробница.

В том мире прославляли зад.

По мере того, как Павел удалялся от Вены, где ему и его соотечественникам приходилось жить, весь этот мир офицерской среды столичного гарнизона просвещенной империи, пронизанный причудливым рококо, рассыпался в прах.

И он говорил себе: «Значит, вот что я теряю! Столицу, где по вечерам сама императрица смотрит гансвурста?[1]»

Никогда еще Хртковицы и Паневы не представлялись ему более прекрасным и достойным для человека местом, где светят мириады звезд.

В детстве Павел с восторгом смотрел на украшен-

---

[1] Hanswurst — персонаж кукольного театра *(нем.)*.

ные страусовыми перьями офицерские треуголки — тогда австрийская армия вступала в Белград, и впереди шел полк во главе с Вуком Исаковичем. Павел был свидетелем того, как эта армия расползлась затем по Сербии, будто располагалась тут на века, и вдруг растаяла, как снег весною, оставив за собой сожженные деревни, болезни и брошенные впопыхах возы с медными котлами. Словно пестрая ярмарка, катилась она мимо пожарищ, откуда неслись плач и стоны, а за нею по пятам шли турки.

Когда Павел уходил тринадцать лет тому назад с кавалерией Вука Исаковича и со всей австрийской армией из Сербии, он надеялся вернуться обратно. Сейчас, на пути из Вены, таких надежд у него уже не было.

Будто под сполохи ночных пожаров, прежняя жизнь, родители, дома́, лошади, все, что было и сгинуло во время войны, вспоминалось ему теперь как тяжкий сон. Его горная Сербия осталась на той стороне Савы и представлялась ему голубой, чистой как небо. Зачем же тогда чего-то искать, куда-то переселяться, где-то обосновываться, строить дом на чужой стороне, к чему вообще этот переезд на чужбину? Все ведь опять может кончиться бедою!

Не следовало им, сербам, идти сюда!

Надо было лучше умереть там на Цере, в Црна-Баре.

Вспоминая свою жизнь день за днем, он понимал теперь всю ее бессмысленность и суетность. Лошадей, которых он так любил и выращивал годами, он вынужден сейчас бросить на произвол судьбы, на чужбине. В силу обстоятельств приходилось продавать даже сабли, благодаря которым он остался жив.

Уже больше года его преследуют, словно похоронное шествие, воспоминания об умершей жене, вот и сейчас ему кажется, будто она сидит перед ним в экипаже и смотрит на него глазами, полными слез.

В сотый раз он повторял про себя, что не успел по-настоящему полюбить ее, пока она была жива. И даже теперь, мчась на бешеных жеребцах, он оскорбляет ее память, вспоминая не только о ней, но и о Евдокии Божич. Эти воспоминания душили его, и он расстегнул ворот. Потом устало, будто плача, закрыл лицо ладонями.

Между тем в траве запели цикады, а в глубоком темном небе снова воцарилась звездная ночь, немая и безответная, которой нет дела ни до человеческого голоса, ни до смеха, ни до плача.

Что заставило Исаковича свернуть по пути из Вены на конный завод под Визельбургом? Воспоминание о Евдокии Божич? О веселом вечере, проведенном у Вальдензера? О гибели красавца жеребца, которого звали Юпитером? Или просто ему захотелось удобного ночлега? Позднее Павел толком не мог этого объяснить братьям. Уверял, будто свернул туда, чтобы условиться о том, что он пригонит из Темишвара на завод своих лошадей, при помощи ветеринара продаст их графу Парри и выручит за них перед отъездом в Россию хорошие деньги.

Однако на самом деле на конный завод его потянуло какое-то необъяснимое предчувствие. Словно его кто-то ждал, словно ему нужно было что-то увидеть, словно там осталось нечто родное. Потому он и свернул с дороги.

— И что ж ты увидел? — спросил его как-то Юрат.

Павел обнаружил там большие перемены. Вальдензера на заводе уже не было. Его место занял другой Bereiter, родственник де Ронкали. И Вальдензер с семьей в Herrenhaus'е уже не жил. Их поместили в богадельню для престарелых и бедняков в Раабе.

Вальдензер был глубоко подавлен. Все на нем обвисло: и живот, и щеки, и сапоги, и одежда. Обвисли и веки, когда он заплакал. А жена его держалась в постигшей их беде на удивление мужественно. «Вот что,— говорила она,— получил мой муж за сорок лет верной и безупречной службы. Жаль только зимнего сада, создания моих рук».

Павел рассказывал, что пробыл он у них недолго. Сердце его обливалось кровью, когда он глядел на двух стариков, которые даже не были его родичами. Их поместили в темной мрачной каморке с низким потолком и кирпичными стенами, напоминавшей собачью конуру, в скверной каморке, которая была намного хуже конюшни.

Крохотные оконца с цветными стеклами пропускали мало света, и все окружающее представлялось темным, мрачным, искаженным.

Граф Парри не простил Вальдензеру гибели жеребца.

Запрещено было даже произносить в его присутствии имя Андреаса.

Госпожа Вальдензер опять рассказала сквозь слезы о том, как ее не хотели выдавать замуж за Андреаса и как ее отец однажды ночью подстерег его под окном и точно грушу сшиб с лестницы.

Когда Исакович спросил об их дочке, Вальдензер, словно утешая самого себя, сказал, что она на этих днях уезжает в Вену к его другу, де Ронкали, в качестве горничной. Ветеринар взял было к себе в дом Францель, но эта молоденькая горничная натворила глупостей — забеременела в Вене. Сейчас ее спешно выдают замуж. Все недоумевают, с кем это она могла согрешить. Вот дочь и уезжает теперь на место этой несчастной.

В доме отцовского друга ей будет хорошо, наверняка будет хорошо. Вальдензер был рад, что он свое дитя хотя бы вызволил из богадельни.

Сославшись на то, что он должен еще заглянуть в магистрат Визельбурга, Павел попрощался.

В магистрате ему показали большие амбары с зерном, новые водочерпальные колеса для полива графской земли. И попросили, чтобы он написал в общинной книге, что думает о Визельбурге.

Что же он написал?

А что можно написать впопыхах?

Написал он в книге короткий отзыв в стихах: Визельбург чудесный город, и у него хороший бургомистр. («Wieselburg ist eine schöne Stadt! Sie einen guten Bürgermeister hat!») Так и написал, по-немецки.

Потом спросил, нужно ли еще что-нибудь добавить? Ему сказали, что не нужно. Хорошо, мол, и так.

Тем не менее, на этот раз в Раабе он был подвергнут строгому досмотру караульного офицера. И потом полицейские проверки в городах участились. Экипаж задерживали почти у каждой заставы. Приходилось без конца показывать паспорт. Осмотрели и его багаж. Задавали вопросы и записывали ответы в книгу. По какому делу едет? Где провел прошлую ночь? У кого собирается остановиться в Буде? Какую веру исповедует? Везет ли с собой русские книги? С кем и о чем разговаривал на последнем ночлеге?

И, что глупее всего, экипаж задерживали на рыночных площадях.

В Визельбурге Исаковича отвели в церковь и показали ему распятого Христа, у которого в Страстную пятницу на глазах появляются слезы. А на постоялом дворе в Раабе Павла чуть не убили. Какой-то полубезумный кирасир предложил ему купить позолоченное колечко, уверяя, что ему необходимы деньги. Все, мол, проиграл в карты.

Когда Исакович отказался и стал подниматься по лестнице в свою комнату, кирасир, вне себя от злости, выстрелил в него.

Несмотря на это, Исакович остался там ночевать.

Однако спокойно уснуть ему так и не удалось. Над окном в номере висели большие часы с кукушкой, которая каждый час выскакивала и куковала время. «Когда я уеду,— думал Павел,— кукушка будет так же куковать, и маятник — отсчитывать секунды и после моей смерти».

Он до того устал от венской жизни, что беда Вальдензеров лишь слегка испортила ему настроение, да и то ненадолго.

Подумав о дочери Вальдензера, Павел решил, что ей, вероятно, в Вене будет лучше, чем с родителями в богадельне для престарелых и бедняков. Если она даже и закончит, как молоденькая служанка Вальдензера, Францель.

После пребывания в Вене в душе Исаковича остался налет какой-то горечи. Роскошь, богатство, которые он видел в столице, как и несчастье Вальдензера, навели его на грустные мысли. Перед отъездом в Россию надо было продавать землю, дом, серебро, лошадей, и за все это он получит лишь столько, сколько в Вене тратит на себя за год какая-нибудь господская потаскушка.

И дочка Вальдензера, наверно, если забеременеет, как и Францель, в приданое получит маленькую гостиницу в окрестностях столицы и мужа в придачу.

Офицеры, приезжавшие, подобно Павлу, в Вену, полагали, что знают город так, будто всю жизнь прожили в нем. В ту эпоху изящества, музыки и роскоши, просвещения и разврата они видели в домах Вены лишь кровати красного дерева, мраморные столики, фарфоровую посуду да хрусталь. Исакович в Среме считался богатым человеком, но все, что он имел, стоило мень-

ше, чем наряды г-жи Монтенуово, которые она покупала в один сезон. Все эти переселявшиеся в Россию сербские офицеры, попадая в Вену, впервые понимали, что они, в сущности, бедняки.

Неподалеку от Буды Павла встретил летний проливной дождь, и потом долго еще капало с веток деревьев и с кустов. А его самого вдруг охватили, окутали, точно черной как ночь непроницаемой вуалью, воспоминания о Евдокии Божич. В ушах зазвучали ее восклицания, шепот, страстные вздохи.

Эта красивая, пылкая, прелестная женщина то и дело вставала у него перед глазами. Лишь одно оскорбляло Павла, когда он о ней вспоминал: все, происшедшее между ними, случилось не по его, а по ее воле. И в Темишваре среди его знакомых и родственниц были любвеобильные, пламенные женщины, однако между ними и г-жой Божич была большая разница. Даже в Футоге самые страстные женщины ждали, пока у мужчины не потемнеет в глазах, и только потом давали волю своей чувственности. Ни одна варадинка, даже вдова, не согласилась бы впустить офицера в дверь. Он должен был томиться в ожидании, долго торчать у собачьей конуры и лишь глухой ночью влезть в окно. Евдокия Божич перевернула все его понятия с ног на голову. И овладела им, будто мужчина — она, а он — молоденькая женщина, что дрожит и стонет от наслаждения.

Когда в городе Раабе досматривали багаж Исаковича, к нему подошли два францисканца и, церемонно кланяясь, попросили подвезти их до города Грана.

В такой просьбе никто в те времена не отказывал.

Павел любезно усадил патеров, втиснулся на сиденье сам и, кляня про себя все на свете, угрюмо отвечал на их вопросы.

Выяснилось, что только старший из францисканцев, отец Леонард Габрич, говорит по-славонски, а младший, отец Целестин Кора, только недавно приехал из Триеста. Оба рассыпались перед капитаном в извинениях за то, что так его стеснили, и на все лады благодарили его.

Беседуя с монахами, досточтимый Исакович услыхал и сказал многое, о чем никогда еще не слышал и не говорил. Случай, этот величайший комедиант на свете,

опять сыграл с ним шутку. Да такую, что она запомнилась ему на всю жизнь.

Старший патер, похожий на матерую свинью, услыхав, что Павел — офицер русской службы, принялся жаловаться, что русские, по слухам, с этого года берут на свое попечение православные церкви на Адриатическом побережье. Младший монах, отец Целестин, который напоминал петуха с очками на клюве, пожаловался, что слышал, будто русские собираются посылать деньги и в церкви венецианского побережья, что тоже является весьма печальным фактом. Исакович сказал, что он не имеет и никогда не имел понятия об этих делах.

Вспомнив Михаила Вани, с которым он беседовал о подобных вещах, Исакович решил спросить у патеров, людей, по его мнению, ученых, коль скоро уж они ему встретились, все ли грешники попадут в ад.

Протирая свои очки, младший патер на ломаном немецком языке ответил, что сие весьма прискорбно и о том сожалеет даже его святейшество папа, человек весьма просвещенный. Ламбертини (францисканец назвал Бенедикта XIV его светским именем) печалится о том, что и Сократ, и Марк Аврелий осуждены на всякие муки лишь потому, что не знали учения спасителя, господа нашего Иисуса Христа.

Павел только диву давался, хоть и не понимал всего и не знал, кто был Сократ и тот другой, но, как всегда, спрашивать не стал. Сказал только, что сам он давно уже не был в церкви и не молился. Он, мол, кавалерист, солдат, всю жизнь провел на коне, сражаясь и убивая врагов.

Габрич заметил, что церковь это прощает, прощает даже схизматику. Однако самые возвышенные слова молитвы, если ее читают не понимая, превращаются в болтовню темного невежды. Так часто случается в православных храмах. Но церковь прощает и это. Негоже церкви захватывать штурмом царство небесное. Точнейшее изображение лика нашего господа Иисуса Христа — распятие. С него надо брать пример! Исакович признался, что он до того одичал в боях и вечных странствиях, что даже не мог бы прочесть на память «Отче наш».

Габрич заявил, что схизматику достаточно знать хотя бы одну эту прекраснейшую господню молитву, она

стоит всех других, которые в церквах целыми днями бормочут верующие. Даже сам святой Августин не требовал проводить все дни в молитве, он говорил: «Смотри в себя и станешь храмом божьим!»

Услыхав, что Павел офицер русской службы, отец Целестин ожесточился. А поскольку беседа велась на языке, которого ни один, ни другой, ни третий толком не знали, то слова пускались на ветер. Все, что говорили францисканцы, казалось Павлу непонятным, чудным и даже смешным. И он смеялся над ними. Младший патер горько его упрекал, уверяя, что бог выслушивает всякую молитву, даже самую нелепую. Поэтому надо молиться!

Исакович удивлялся и спрашивал себя, откуда вдруг взялись на его пути францисканцы и для чего они все это ему говорят. И Павел осведомился у младшего патера, неужто тот и в самом деле верит, что у бога такое большое ухо, что он может одновременно слышать, о чем шепчут, бормочут и кричат ему в молитвах люди всего мира. Весь сербский народ столетиями взывал к богу. А разве бог его услышал?

Младший монах, точно взбесившись, закричал:

— Схизматик, рито сервиано[1], хулишь бога! Помни — ум человеческий за горами, а смерть за плечами! В смертный час мы все творим молитвы богу. Каждый человек страшится перед уходом в бездну небытия. Однако при последней молитве, любой молитве, он отрешается от тьмы прошлого и приходит к пониманию вечности. Кто молится с душою, ощущает присутствие бога.

Тогда Исакович сказал, что он празднует свою славу на святого Стефана Дечанского, что его патрон — святой Мрат, но вот молитвы из-за этих войн он все перезабыл. И надеется умереть не в постели, а с саблей в руках и с высоко поднятой головою.

Он не испугается смерти, точно баба темноты.

Старший францисканец, Габрич, заметил, что схизматики заблуждаются и не знают, что святой Мрат — в сущности святой Мартин. Был он кавалеристом, подобно капитану, и добрым католиком. Встретив однажды нагого бедняка, он отдал ему половину своего плаща. Был он француз и жил во Франции, в городе Туре!

---

[1] Сербское богослужение (*лат.*).

Исаковичу, который хоть и позабыл молитвы, было досадно, что францисканец задевает его патрона, но он не захотел обижать так униженно благодаривших его монахов.

Чудеса в решете! Выходит, они, Исаковичи, уже бог знает сколько лет славят французского кавалериста как своего патрона, и в то же время они дрались с французами под Прагой и убивали их из пистолетов. Оказывается, их святой Мрат отдал половину своего плаща бедняку, и они, Исаковичи, почитая его, о том ничего не знают. Чудно́! Только он, Павел, не назовет Юрату города, где родился этот их святой покровитель. Узнав, что город называется Тур[1], Юрат обязательно что-нибудь брякнет. Все на свете глупо! Никогда бы он, Павел, об этом не узнал, не повстречай он в дороге этих францисканцев.

А что касается молитвы в смертный час, то это, верно, вздор! Болтовня!

Габрич схватил Исаковича за руку, пожал ее и посоветовал капитану не огорчаться из-за того, что схизматики не знают молитв! Молитва никогда не бывает втуне, даже если это простое бормотание. Его тезка, апостол Павел, говорит: «Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»[2].

Так с этими францисканцами Исакович и доехал до Грана.

От Грана до Буды он ехал уже один, без всяких происшествий.

Когда Павел подъезжал к Буде, ему вдруг захотелось после всего пережитого в Вене спокойно отдохнуть в доме Трандафила или Ракосавлевича. Впрочем, он теперь и сам толком не знал, как относиться к этой жизни. Уж очень его надломила Вена.

Все получилось совсем не так, как он предполагал.

Но и в доме Трандафила ничего хорошего его не ждало. Правда, в то лето после дождей распустились душистые липы и акации, и город выглядел празднично. Расциянский город, поставлявший империи в прошлые войны стольких солдат, сейчас просто утопал в море пече-

---

[1] Зад *(сербскохорват.)*.
[2] Послание к Римлянам, 8, 26.

ных тыкв и кабачков, вареной баранины и выплаченных в тот год за верную военную службу талерах. Торговля, находившаяся в руках расциянских купцов, цвела, словно подсолнухи в тех краях.

Однако в доме Трандафила, где Павел рассчитывал спокойно отдохнуть, получить деньги за проданный в Темишваре дом и договориться о маршруте в Россию, он застал не веселье, а горе и причитания, как на панихиде.

Фемка, эта бой-баба из Футога, сбежала от своего Георгия. Достопочтенный Трандафил тщетно прождал ее с детьми всю осень и зиму. Старик весь как-то изменился и, казалось, тронулся в уме. Привел в дом каких-то родичей, чтобы те помогали ему, пока не вернется жена — если только она вообще вернется,— и они превратили дом в настоящий базар: ничто больше не стояло на своем месте. Счета были запутаны. Надвигалась катастрофа.

Когда Юрат позднее спросил, как именно убежала Фемка, Павел ничего толком не мог ответить. Трандафил не сказал ему этого, лишь твердил, что жену увел соседский подмастерье, ловелас и озорник, Бркич, и сам дьявол не знает, как Бркич все это состряпал, когда они закрутили любовь, неизвестно, ни куда они уехали, ни где находятся.

Сгинули, точно сквозь землю провалились. Зима уже не за горами, и ему, Трандафилу, надо будет заботиться о детях, о больных детях. А матери и горя мало.

Что же касается лошадей и предстоящей дороги в Россию, то пусть Павел не беспокоится: он, Трандафил, и Ракосавлевич все устроят, как надо. Капитан поедет как на свадьбу. Продадутся и его земля, и дом. И деньги будут. Пусть не тревожится. А вот он, Трандафил, теперь не тот, что был, и не будет таким уже никогда.

Он, Исакович, сказал купец, все витает в облаках, все чего-то ищет. Царства у него виноваты в том, что счастье не улыбнулось людям. Уходит из австрийской армии и думает, что виноват в том Гарсули. Что может Гарсули сделать со всеми своими кирасирами? Ничего! Вот коли попадется человеку плохая жена, тут уж несдобровать! Никто не в силах так погубить за здорово живешь человека, как дурная жена. Обведет мужа вокруг пальца, да так, что не поможет и сам святой Мрат!

Павел рассказывал потом, что до самого его отъезда из Буды Трандафил оставался таким же растерянным,

невеселым и огорошенным. Сядет, бывало, вечером перед свечой и твердит, что Бркич страшный озорник. Укачивает ребят, сам стирает пеленки и мучается до утра бессонницей...

А тем временем весь рацкий город, который был виден из сада Трандафила, горланил песни и плясал. Выплачены были порционные деньги за целый год. Окна домов светились в темноте. Трещали пистолетные выстрелы. Получены были награды и за успех на прошлогодних маневрах, а потому пыль стояла столбом в Пеште. Не отстал от других и митрополит Павел. Он тоже плясал и пел с горожанами. Его преосвященство даже оскоромился — поел мясца.

— Негоже сербам,— поучал он в Буде,— переселяться в Россию и покидать сие царство, где наши родичи почиют на кладбищах и томятся в узилищах.

ПРИМЕЧАНИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 25. *...на войну с французами...* — Имеется в виду война за австрийское наследство (1741—1748), в которой против империи Габсбургов выступили Франция, Испания, Бавария, Савойя и Пруссия. В ней участвовало около 25 000 жителей Военной границы — граничар.

Стр. 33. *Славония, Срем* — исторические области на юге Австрийской империи, населенные преимущественно сербами и хорватами. В XVIII в. частично входили в систему Военной границы (см. примеч. к стр. 103).

...капитана Пишчевича из Шида.— Семен Степанович Пишчевич (род. в 1731 г.) переселился в Россию в 1752 г. в группе под предводительством подполковника Ивана Хорвата, участвовал в колонизации Новой Сербии. В рядах русской армии принимал участие в войнах с Турцией, дослужился до чина генерал-майора. В книге «Известие о похождении Семена Степанова сына Пишчевича...» (М., 1884) описал переселение сербов-граничар в Россию.

Стр. 35. *Проливали кровь и под Белградом и Гроцкой и даже рубили турок у Варадина и Темишвара под знаменами принца Евгения Савойского почти тридцать лет тому назад.*— В австро-турецкой войне 1716—1718 гг. австрийские войска под командованием видного полководца принца Евгения Савойского (1663—1736) нанесли серьезное поражение войскам Оттоманской империи под Петроварадином (в Среме), перешли Дунай, разгромили главные силы турок южнее Белграда и преследовали их до Ниша. Пожаревацкий мир (1718 г.) зафиксировал наиболее глубокое проникновение Австрии на Балканы (в ее владение перешли

значительная часть Сербии, часть Северной Боснии, Малая Валахия до р. Олты).

Стр. 40. *...что натворили ночью в Печуе пандуры.*— Пандурами первоначально называли вооруженных стражников, охранявших личность и имущество крупных феодалов. Во время войны за австрийское наследство в австрийских войсках действовала рота пандуров, набранная в Славонии бароном Францем Тренком из числа добровольцев и помилованных хайдуков, известных своей храбростью и разнузданностью.

Стр. 41. *...о беспорядках, учиненных приморскими граничарами...*— Военная граница делилась на тринадцать полковых округов, из которых три (Ликский, Оточацкий и Огулинский) находились в приморской полосе.

Стр. 44. *...инспектор действующей армии, генерал от кавалерии граф Сербеллони...*— Граф Сербеллони — австрийский военный деятель. Участвовал в 30—50-х гг. XVIII в. в проведении ряда реформ в области Военной границы, направленных на то, чтобы ее население, с одной стороны, давало как можно больше солдат, а с другой — обеспечивало бы собственными силами все экономические потребности области.

Стр. 45—46. *Вот таким образом было решено пролить кровь Славонско-Подунайского полка...*— В действительности такого полка не было. В состав Славонской границы входили Градишчанский, Бродский и Петроварадинский полки.

Стр. 60. *Он доставил двору письмо от патриарха Шакабенты, работал с графом Гайсруком над переписью военных славонских поселений...*— Патриарх печский Арсений IV Йованович — Шакабента (1699—1748) в 1737 г. в связи с началом войны России и Австрии против Турции пытался поднять сербский народ на восстание против ига Оттоманской империи. Однако поражение австрийских войск заставило его в том же году со значительной массой народа искать убежища на австрийской территории. По просьбе сербского духовенства и населения австрийский император назначил его карловацким митрополитом с сохранением титула патриарха (1741 г.). Арсений IV добился от венского двора подтверждения привилегий, данных сербскому народу в Венгрии императором Леопольдом I.

Стр. 103. *...своими земляками с Военной границы.*— В связи с угрозой продвижения Оттоманской империи в глубь Европы с середины XVI в. Австрия начала создавать вдоль своих южных границ пояс военных поселений, жители которых — граничары — за несение военной службы по охране границы освобождались от большинства феодальных повинностей. К началу XVIII в. область Военной границы (Militärgrenze) простиралась

от берегов Адриатики на западе до предгорьев Карпат на востоке. Вся область Военной границы делилась на Границы (или генералаты) — Карловацкую, Вараждинскую, Банийскую, Славонскую и Банатскую, которые, в свою очередь, подразделялись на полки. Администрация Военной границы подчинялась непосредственно Военному совету и осуществляла не только военно-административные, но и судебные и другие функции. Местное (хорватское и венгерское) дворянство неоднократно выдвигало требования демилитаризации Границы и превращения граничар в обычных крепостных крестьян. Однако двор и Военный совет предпочитали сохранение Военной границы, служившей дешевым источником пополнения австрийской армии (граничары за свой счет приобретали необходимое военное снаряжение и получали денежное содержание только во время военных действий). С ослаблением Оттоманской империи и стабилизацией австро-турецкой границы, в основном по рекам Саве и Дунаю, граничар стали привлекать к военным действиям и в других областях Европы. Так, в войне за австрийское наследство (1741—1748) участвовало около 25 тысяч граничар; в Семилетней войне (1756—1763) — около 88 тыс.; в войне за баварское наследство (1778—1779) — около 30 тыс.; в войнах против революционной Франции (1792—1800) — около 100 тыс. и т. д. Демилитаризация Военной границы и слияние ее территории с соседними областями Хорватии и Венгрии завершились в 70—80-х гг. XIX в.

Стр. 105. *...народ этот заслужил особые привилегии императора.*— Стремясь привлечь на пограничные с Оттоманской империей территории как можно больше населения, австрийские императоры особыми указами (дипломами, патентами) освобождали сербов, переселявшихся из областей, захваченных Турцией, и становившихся граничарами, от феодальных повинностей. Первый такой диплом, дававший сербам-граничарам право на известное самоуправление, был издан императором Фердинандом II в 1630 г.

...но и до́ма, в родном краю, расселят по разным округам и городам как рабов, как слуг, как паоров.— Страхи Исаковича отражали настроения граничар, опасавшихся, что изменение их положения приведет к превращению их в крепостных крестьян. «Паор» — искаженное немецкое бауер (Bauer) — крестьянин, мужик. В отличие от Военной границы гражданские области часто назывались «паориями».

...не позволят молиться в своих церквах, как не позволяют называть свой край Новой Сербией.— Сербская православная церковь испытывала сильное давление со стороны господство-

вавшей в Австрии католической церкви. До середины XIX в. глава сербской православной церкви в Южной Венгрии — карловацкий митрополит играл важную роль в борьбе за предоставление сербскому населению национальной автономии, обладая правом созыва так называемых сербских церковно-народных соборов (собраний), решавших, помимо церковных, и некоторые вопросы школьного образования, развития культуры и т. д. В исторических источниках не отмечено стремление сербов — жителей Южной Венгрии назвать свой край «Новой Сербией».

...о солдатах Вуича, собранных по долинам Савы, Дравы и Пакры.— Перечисленные районы относились в основном к территории Славонской военной границы.

Стр. 107. *...когда Дунайский полк воевал против турок и стоял гарнизоном в Белградской крепости.*— В ходе австро-турецкой войны 1716—1718 гг. австрийскими войсками, в составе которых сражались граничарские полки и отряды сербских добровольцев, была освобождена от власти Турции значительная часть Сербии. В августе 1717 г. был захвачен Белград, остававшийся в руках австрийцев до 1739 г.

Стр. 122. *...полк «разбойников», собранный бароном Тренком в славонских лесах.*— См. примеч. к стр. 40.

Стр. 130. *Лотарингская кампания.*— Такое название получили действия австрийских войск против французской армии на среднем Рейне в ходе войны за австрийское наследство. Вормс, Шпейер, Сен Луи — города на западном берегу Рейна.

Стр. 133. *...удастся ли Марии Терезии короновать своего мужа после победы в Германии...*— Не имея мужского потомства, отец императрицы Марии Терезии Карл VI после переговоров с сословными учреждениями империи и европейскими государями издал в 1713 г. специальный закон о престолонаследии (Прагматическая санкция), согласно которому императорская корона могла наследоваться и по женской линии. При этом объявлялась неприкосновенность и неделимость наследственных земель Габсбургского дома — Австрии, Чехии и Венгрии. Несмотря на признание Прагматической санкции, ряд европейских государств (Франция, Пруссия, Испания, Бавария и Савойя) после смерти Карла VI в 1740 г. начали войну за австрийское наследство. В 1742 г. был избран германским императором баварский курфюрст Карл Альбрехт. Однако еще в ходе войны Марии Терезии удалось добиться избрания германским императором ее мужа Франца Лотарингского (1745). После подписания Ахенского мира (1748) Прагматическая санкция была окончательно признана всеми европейскими государствами.

Стр. 133—134. *...в окрестностях Хэба, откуда недавно Рашкович перенес тело... деспота Георгия Бранковича.*— Георгий (Джордже) Бранкович (1645—1711) — граф, историк. По старой семейной традиции считал себя потомком династии сербских деспотов XIV—XVI вв. Рос в доме старшего брата Саввы — трансильванского митрополита, давшего ему хорошее образование и подготовку к дипломатической службе. В составе трансильванского посольства посетил Турцию. В 1668 г. с братом Саввой отправился в Россию просить поддержки русской церкви, позднее был послом в Турции, но по возвращении заподозрен в заговоре против князя, арестован, а затем эмигрировал в Валахию. Во время австро-турецкой войны 1683 г. и осады Вены Бранкович оказывал содействие Австрии и изъявлял готовность возглавить сербских добровольцев при условии, что после изгнания турок из сербских земель будет восстановлено сербское государство. По его просьбе сербский патриарх Арсений III Черноевич выдал ему свидетельство о том, что он является законным потомком старых сербских деспотов. Тогда же император Леопольд I возвел его в баронское достоинство. В 1688 г. Бранкович посетил Вену, где он выдвинул проект создания на территории европейской Турции некоего Иллирийского королевства, которое простиралось бы от Черного до Адриатического моря и было бы в вассальных отношениях с Австрией. Для осуществления этого проекта он просил от Австрии помощи, а для себя — титул сербского деспота. Стремясь привлечь к войне с Турцией сербских добровольцев, австрийский император благосклонно отнесся к плану Бранковича, возвел его в достоинство графа Священной Римской империи и признал его потомком сербских деспотов. Однако слишком самостоятельная деятельность Бранковича, обратившегося в 1689 г. ко всем балканским народам с призывом объединиться вокруг него в борьбе против турецкого ига, а также просочившиеся в Вену сведения о его прежних связях с Россией, встревожили австрийский двор. Бранковича пригласили на переговоры в Кладово, где он был схвачен и заключен в тюрьму, откуда вскоре был доставлен в Вену, где до 1703 г. находился под домашним арестом. Бранкович пользовался огромной популярностью среди сербов, переселившихся в 1690 г. в Австрию и требовавших автономии. Неоднократные обращения сербов к императору освободить Бранковича остались без ответа, и, опасаясь роста популярности Бранковича как вождя сербов в Австрии, власти перевели его в 1703 г. в крепость Хэб в Чехии, где он и умер в 1711 г. В 1743 г. его прах тайно был перенесен в монастырь Крушедол на Фрушка-Горе и похоронен рядом с могилами последних сербских деспотов. Перенос пра-

ха осуществил Атанасий Рашкович (1697—1753) — представитель одной из немногих сербских дворянских фамилий, сохранившихся в Старом Влахе (Южная Сербия) до конца XVII в. и переселившихся в Австрию. Участвовал в австро-турецкой войне 1737—1739 гг., после нее был полковником «сербской милиции»; в 1743—1744 гг. принимал участие в боевых действиях в Германии.

Стр. 139. *...шел его любимый святой... деспот Стефан Штилянович.*— Стефан Штилянович переселился в Срем в конце XVI в. из Черногории. В 30-х гг. XVII в. участвовал в боях с турками. Хотя он не был дворянином, в народной памяти ему присвоены титулы князя, деспота, короля, даже царя. Церковью причислен к лику святых.

Стр. 156. *За графа Валлиса!* — Граф Валлис — австрийский полководец. Под его командованием сербские отряды сражались в австро-турецкой войне 1737—1739 гг.

Стр. 173. *...портрет блаженнопочившего царя Уроша Слабого...*— Сербский царь Урош (1355—1371), сын царя Стефана Душана Сильного, при котором сербское феодальное государство достигло наибольшего могущества. Но уже вскоре после смерти Стефана Душана начался процесс распада его царства, переживавшего процесс феодальной раздробленности, ослаблявшей его силы перед угрозой османского нашествия. За полтора десятилетия правления Уроша его царство значительно сократилось. Отсюда и прозвище Уроша — Слабый.

Стр. 178. *...говорил епископу Ненадовичу...*— Павле Ненадович (1699—1768) — сербский церковный деятель в Австрии. Родился в Буде, где окончил сербскую, немецкую и латинскую школы; в 1721 г. служил в городском магистрате, в 1726 г. постригся в монахи. В 1742 г. стал епископом Верхнекарловацким, а в 1749 — архиепископом и митрополитом Карловацким.

Стр. 212. *...явиться в распоряжение барона Энгельсгофена, коменданта Темишвара.*— Барону Энгельсгофену, австрийскому генералу, в 40-е годы XVIII в. было поручено проведение демилитаризации Потисской (по реке Тисе) и Поморишской (т. е. проходившей по реке Мориш) границы. Граничары должны были либо переселиться в Банат и войти в состав других полков, либо стать крепостными крестьянами. Эта реформа послужила толчком к возникновению движения за переселение сербов в Россию. Первую группу переселенцев возглавил граничарский офицер Иван Хорват. По донесению Энгельсгофена на июль 1751 г. из Потисской и Поморишской границы переселилось в Россию 3099 семей. Переселенцам была отведена земля на Украине в верховьях р. Ингул, где была заложена крепость Ели-

саветград. Хорват был произведен в генерал-майоры. Этот край получил название Новой Сербии. В 1752 г. за злоупотребления в управлении основанной им колонией Хорват был отдан под суд, лишен чинов и сослан в Вологду, где и умер в 1780 г.

КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 221. *Последними отступали к Вене расцияне...*— Расцияне, раси, рацы — венгерское наименование сербов.

Стр. 228. *Их имена уже внесены в список генерала Шевича...*— Капитан Йован Шевич возглавил вторую волну переселенцев в Россию с Поморишской границы. Около 800 человек прибыли на место в сентябре 1752 г. Группе Шевича был отведен район между Бахмутом и Луганском. Свои поселения они назвали Славяносербией. Шевич был произведен в генерал-майоры.

Стр. 229. *Будем рыть каналы по системе графа Мерси.*— Граф Флоримунд Клаудиус Мерси — австрийский генерал и государственный деятель, убежденный меркантилист. Во время его управления Банатом в 30-х гг. XVIII в. проводились в широких масштабах мелиорационные работы, строительство дорог и мостов, осуществлялось внедрение новых сельскохозяйственных культур, разведение породистого скота и т. д. Мерси привлек в Банат значительное число немцев-колонистов.

...отправить на камеральные территории.— Часть Баната, не входившая в состав Военной границы, находилась в непосредственном управлении Дворцовой палаты в Вене (Hofkammer). Отсюда название — камеральные территории. Территория Венгрии делилась на округа — комитаты.

Стр. 235. *Сирмийский гусарский полк.*— В состав Военной границы входила историко-географическая область Срем, носившая в период римского владычества (I в. до н. э.— IV в. н. э.) название Сирмиум. Первоначально так назывался центр этой провинции Сирмиум, в XII в. переименованный в Сремскую Митровицу. В народе название долгое время бытовало в форме Сирмий.

Стр. 249. *...сербы сейчас относятся к нам так, как относились до Людовика Баденского.*— Принц Людовик Баденский, австрийский полководец, разбил сильное турецкое войско в битве при Сланкамене 19 августа 1691 г. В этом сражении корпус сербских войск под командованием Йована Монастерлии численностью около десяти тысяч человек в первый и последний раз сражался как самостоятельное национальное формирование.

Стр. 281. *...у них старые счеты из-за какого-то Косова.*— На Косовом поле 15 (28) июня 1389 г. сербское войско, возглавляемое царем Лазаром, было разгромлено турецкими войсками. Этот день в памяти народа запечатлелся как начало многовекового османского владычества.

Стр. 290. *В тот год после войны с турками из Вены в Срем впервые прибыл русский посол в Австрии Возницын...*— Возницын Прокофий Богданович, русский дипломат, участник Великого посольства, посетившего ряд стран Европы в 1697—1698 гг., в составе которого был сам Петр I под именем Петра Михайлова. На заключительном этапе посольства Возницын был оставлен в Вене для участия в мирных переговорах с Турцией, состоявшихся в Карловцах в 1698 г. Карловацкий мир, подписанный 26 января 1699 г., подвел итоги пятнадцатилетней войны с Турцией. Он означал исторический поворот в судьбах народов Балкан. После него началось постепенное ослабление Османской империи, сопровождавшееся усилением освободительной борьбы угнетенных балканских народов, пользовавшихся всесторонней помощью и поддержкой России.

Стр. 306. *...для переселенцев из далеких земель Неметчины, Лотарингии и Рейнланда.*— На протяжении всего XVIII в. австрийские власти проводили планомерное переселение немецких колонистов в Банат, для приема которых предварительно проводились землемерные работы, планировка населенных пунктов и строительство домов, распашка земель и т. д. Всего за время правления Марии Терезии в Банат переселилось 11 тыс. семей (42 тыс. душ).

Стр. 311. *Неоплатенси.*— В 1526 г. турецкие войска под предводительством султана Сулеймана Великолепного захватили австрийскую крепость на правом берегу Дуная Петроварадин (часто называлась и Варадин). Для защиты левого берега напротив Петроварадина австрийцы построили укрепление — Петроварадинский шанец, развившееся впоследствии в значительный торговый и ремесленный центр с преимущественно сербским населением. В 1748 г. в благодарность за то, что купечество Петроварадинского шанца выделило в распоряжение Военного совета огромную по тем временам сумму в размере 80 тысяч флоринов, Мария Терезия возвела его в ранг свободных королевских городов под названием Неопланта — Нейзатц — Уйвидек — Нови-Сад (т. е. «Новое поселение» на латинском, немецком, венгерском и сербском языках). Неоплатенси — искаж. латинское название.

Стр. 323. *...Бестужев снабдил паспортами уже многих сербских офицеров...*— Граф Михаил Петрович Бестужев (1688—1760),

видный русский дипломат, во время своего пребывания на посту посла в Вене (1748—1752) вел очень активную агитацию за переселение сербов в Россию, за что по требованию венского кабинета был отозван.

Пойдет и в Хофдепутацию.— Для управления землями на юго-востоке в 1745 г. была создана в Вене специальная Иллирская дворцовая комиссия, в 1747 г. преобразованная в Иллирскую дворцовую депутацию (полное название: Hofdeputatio in Transsylvanicis, Banaticis et Ilyricis) — самостоятельное учреждение, подчинявшееся непосредственно императрице.

Стр. 361. *...новые поселенцы Марии Терезии, немцы с Рейна... Монтенуово считает, что отсюда необходимо выселить славянское население.*— Заселение немцами многих областей Хорватии и особенно Словении, начавшееся еще в XVI в., продолжалось и в правление Марии Терезии.

Стр. 363. *...принесли в Срем руку царя Лазара...*— Сербский князь Лазар возглавлял сербское войско в знаменитой битве на Косовом поле 15 (28) июня 1389 г., завершившейся победой турецких войск и открывшей путь завоевателям к полному захвату Балканского полуострова. В народных песнях и легендах царь Лазар — олицетворение борца за национальную свободу.

Стр. 384. *...верившая, что она ведет свое происхождение от деспотов...*— Деспотами (по византийскому образцу) звались правители сербских феодальных государств XV в. до окончательного покорения Балкан османами. Первым деспотом стал Стефан Лазаревич, получивший этот титул от византийского императора в 1402 г. Последними сербскими деспотами были Георгий (Джордже) Бранкович и его младший брат Йован (умер в 1502 г.). Территория, которой владели сербские деспоты, охватывала большую часть Сербии и нынешней Воеводины.

Стр. 389. *Борьба Ормузда и Аримана!* — В древнеиранской мифологии бог Ормузд — бог света, бог Ариман — олицетворение мрака.

Стр. 399. *Караульным офицерам было известно о восстании банийцев...*— В связи с так называемой «регуляцией» Банийской границы в 1751 г., в ходе которой при создании двух новых полков (Костайницкого и Глинского) на граничар ложились многочисленные дополнительные тяготы и расходы, вспыхнул бунт, который возглавил местный кнез (сельский староста) Теодор Киюк. Офицеры укрылись под защитой крепостных стен. Лишь перебросив войска из других районов, власти смогли подавить этот бунт. Граничарские бунты происходили в то время и в других районах, в том числе в Лике и Крбаве.

Стр. 407. *Новый же посол, граф Кейзерлинг, еще не при-*

был.— Герман Карл Кейзерлинг (1696—1764), барон, впоследствии граф, русский дипломат и государственный деятель, выходец из германского дворянского рода. На русскую службу перешел в 1730 г. Короткое время был президентом императорской Академии. Русскому языку обучался у В. К. Тредьяковского. Занимал дипломатические посты в Польше, Австрии и др.

Стр. 416. *...по случаю избрания митрополита...*— Глава сербской православной церкви в Австрии митрополит и архиепископ Карловацкий избирался на церковно-народных соборах. Известно, что майор Вук Исакович (1695—1759) был депутатом одного из таких соборов в 1726 г.

Стр. 444. *...принял конференц-секретарь графа Кейзерлинга Волков. Он вместе с первым секретарем, неким Чернёвым...*— Алексей Волков получил образование в сухопутном шляхетском корпусе, был переводчиком при посольстве в Вене, Лондоне и Варшаве. По поручению русского правительства вел агитацию среди славян в Турции и Венгрии. Николай Чернёв, первый секретарь русского посольства в Вене, был активным сторонником переселения сербов в Россию. При графе М. П. Бестужеве вел переговоры с сербами, изъявившими желание переселиться в Россию.

Стр. 445. *...с черногорским владыкой Василием, который, проезжая через Вену в Россию, обратился с просьбой о переселении в Россию всей Черногории!* — Черногорский митрополит Василий Петрович в борьбе за независимость Черногории опирался на всестороннюю помощь России, куда он ездил три раза (1752—1754, 1757—1760, 1765—1766). Во время своей первой поездки он, получив сведения о переселении в Россию сербов из Баната, предложил переселить в Россию некоторое число черногорцев, из которых можно было бы сформировать один полк. Владыка Василий умер в Петербурге в 1766 г. и похоронен в Александро-Невской лавре.

Стр. 450. *...с какой стати ваш митрополит не одобряет этого переселения?* — Карловацкий митрополит Павле Ненадович был противником переселения сербов-граничар в Россию, так как видел в этом ослабление сербского населения в Южной Австрии, что, в свою очередь, повлекло бы за собой резкое сокращение его доходов. Как верноподданный австрийского императорского двора Ненадович направил Марии Терезии подробный доклад о действиях И. Хорвата, назвав в нем всех офицеров, собравшихся в Россию, с точным числом людей, которых каждый из них вел за собой.

...митрополит заточил владыку черногорского в Крушедольском монастыре.— Черногорский владыка Василий в эти годы

(1752—1754) был в России и не мог быть заточен в одном из монастырей Фрушка-Горы.

Стр. 456. *Киевский генерал-губернатор Леонтьев...*— Михаил Иванович Леонтьев — русский вельможа. В начале 50-х гг. XVIII в. был киевским генерал-губернатором.

Мария Терезия 11 марта 1752 года издала указ, в котором повелевала раз и навсегда покончить с переселением сербов в Россию.— Напуганная размахом движения за переселение в Россию, Мария Терезия в 1752 г. издала специальный «Патент о наказаниях», предписывавший суровые наказания лицам, занимавшимся вербовкой людей для переселения в Россию.

Стр. 458. *...по старому календарю шестнадцатого, а по новому двадцать девятого июля.*— Здесь и далее Црнянский ошибается, называя даты по старому и новому календарю, исчисляя разницу между ними в четырнадцать дней, а не в одиннадцать, как должно быть в XVIII веке.

Стр. 461. *...побывал ли владыка Василий здесь, в Вене, у венецианского посла Корнера...*— Владыка Василий Петрович в основу своей политики положил борьбу против Турции и Венеции, угрожавших независимости Черногории. Свои главные надежды он возлагал на Россию. Венецианцы неоднократно пытались отравить владыку Василия.

Стр. 474. *Владыка Савва правит Черногорией...*— Черногорский владыка Савва не вел энергичной борьбы против Турции и Венеции, и уже при его жизни фактическая власть, особенно ведение внешней политики, перешла в руки его ближайшего сподвижника, позднее черногорского митрополита Василия.

Стр. 483. *...русский царь Петр позвал князя Луку на помощь — воевать против турка.*— Когда Россия в 1710 г. вступила в войну с Турцией, Петр обратился с воззванием к христианским народам Балканского полуострова, в первую очередь к черногорцам, призывая их к совместной борьбе против общего врага. Летом 1711 г. в Черногорию прибыли русские эмиссары — полковник Михайло Милорадович и капитан Иван Лукачевич — с царской грамотой и большой суммой денег. Призыв Петра вызвал огромный отклик в Черногории, начавшей боевые действия против турок. Однако нехватка оружия не позволила черногорцам добиться значительных успехов.

...двадцать пять лет тому назад нас жег Ченгич Бечир-паша...— Бечир-паша Ченгич, боснийский визирь, возглавлял отряд численностью около десяти тысяч человек в войне 1735—1737 гг.; участвовал в походах против черногорцев.

Стр. 484. *Единственная наша надежная опора Дрекалович.*—

Илия Дрекалович — черногорский воевода. Один из главных организаторов борьбы против турок в племени кучи в середине XV в.

Стр. 486. *...господин Левашов...*— Возможно, имеется в виду русский дипломат и писатель XVIII в. Павел Артемьевич Левашов. В 50-х гг. XVIII в. был советником русского посольства в Константинополе.

Алексей Семенович Мусин-Пушкин.— А. С. Мусин-Пушкин был послом в Лондоне и Стокгольме.

Стр. 533. *...он празднует свою славу на святого Стефана Дечанского...*— Стефан Урош III Дечанский (1321—1331) — сербский король. Начал строить один из красивейших сербских монастырей — Дечаны, за что впоследствии был канонизирован. Слава — религиозный обычай православных сербов, день поминовения святого, передающийся в семье из поколения в поколение.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ВТОРАЯ

Црнянский Милош

Ц 82 Переселение: Роман. Кн. I, кн. II (гл. I—XI) /Пер. с сербскохорват. И. Дорбы; Предисл. Н. Яковлевой. М.: Худож. лит., 1978—550 с.

Исторический роман видного югославского писателя Милоша Црнянского (1893—1977) «Переселение» написан на материале европейской действительности XVIII века. На примере жизни нескольких поколений семьи Исаковичей писатель показывает, как народ, прозревая, отказывается сражаться за чуждые ему интересы, стремится сам строить свою судьбу.

И(Югосл)

Ц $\frac{70304\text{-}422}{028(01)\text{-}78}$ **166-78**

Милош Црнянский

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Роман

Книга первая

Книга вторая

Главы I—XI

Редактор О. Кутасова

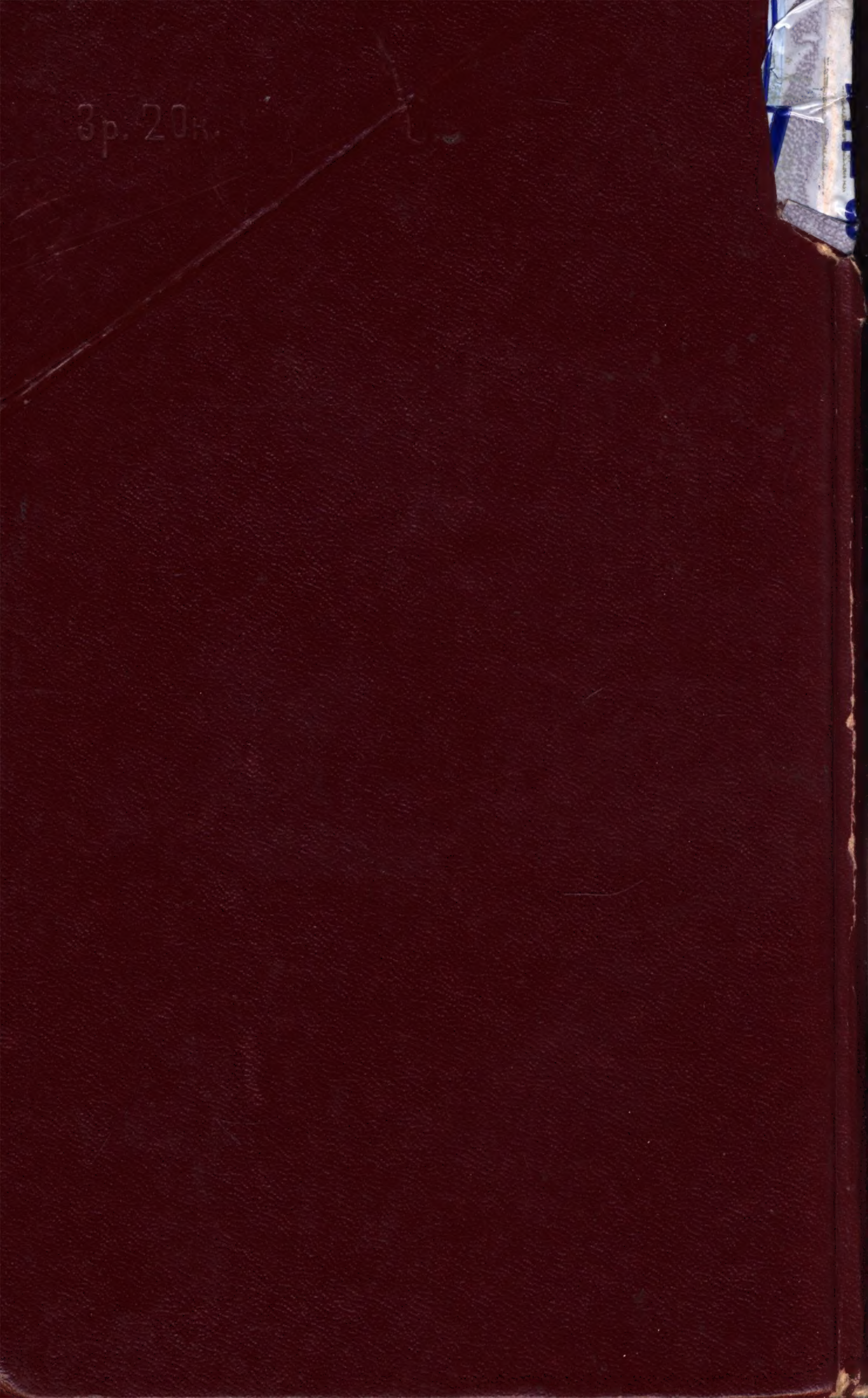
Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор А. Влазнева

ИБ № 953

Сдано в набор 18.05.78. Подписано в печать 03.10.78. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Журнальная». Печать высокая. 28,98 усл. печ. л.; 30,051 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ 417. Цена 3 р. 20 к. Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.


3р. 20к.

· ПЕРЕСЕЛЕ

I